СЕРГЕЙ
ЗАЛЫГИН

3

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ТРЕТИЙ

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ

РОМАН

КОМИССИЯ

РОМАН

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р7
З-24

Оформление художника
Д. ШИМИЛИСА

З $\frac{4702010201-028}{028(01)-90}$ Подписное

ISBN 5-280-01042-1 (Т. 3)
ISBN 5-280-00785-4

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ

РОМАН

Глава первая

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Новый год Мансуровы встречали у Канунниковых — четыре просторные комнаты, нет маленьких детей, покладистые соседи.

Ночь была истинно новогодняя — темная, со снежком, с загадочным серпом яркого полумесяца и счастливо приходилась с пятницы на субботу, так что впереди было два полных выходных — Новый год как таковой и очередное воскресенье.

В ту пору суббота еще не была нерабочим днем, об этом только-только начинали довольно пессимистически говорить, не очень-то доверяя слухам.

В минувшем году, начиная чуть ли не с лета, у Канунниковых, а у Мансуровых особенно, дали себя знать всяческие напасти: у Ирины Викторовны был грипп с тяжелым осложнением, Аркашка после переэкзаменовок остался на второй год, у Мансурова-главы были серьезные осложнения на службе. Он, этот глава, службу принимал близко к сердцу, таким частенько выпадают всякого рода неприятности.

У Канунниковых все в том же самом роде: глава только что ездил в Сибирь на похороны брата; Ася Дмитриевна в октябре лечилась на курорте, но неудачно; у дочери Леночки, хотя об этом и не говорилось прямо,— только недавно миновал кризис в душевных делах.

Но как раз ко второй половине декабря и там, и здесь, в обеих семьях, все так или иначе, а утряслось. Еще тридцатого декабря на работе, в обеденный перерыв, Ирине Викторовне пришел в голову тост: «Выпьем за семейный ренессанс!»

«Очень хороший, очень женский тост!— обрадовалась она.— Особенно если в тот момент, когда его будешь произносить — нет, провозглашать!— посмотреть в глаза Леночке!»

Ирина Викторовна очень жалела Леночку, прямо

как себя... Такая хорошая девочка, такая хорошая девочка, а мальчишка ей встретился — бирюк. Все понимает и все уходит в сторону. Коли так — ушел бы совсем. Совсем — не уходит!

И не уйдет: неизвестно, на каком основании, но что-то заранее подсказало Ирине Викторовне, что под Новый год у Канунниковых произойдет нечто вроде помолвки.

Тоже по традиции, собрались около десяти. Опыт показывал, что так лучше — двенадцать часов должно пробить не в начале застолья, а на подступах к самой кульминации, когда гости уже присмотрелись друг к другу, когда, не поминая лихом, из дома успели проводить старый год и когда становится очевидным, кому и что следует пожелать в Новом году, таком молодом и тепленьком, словно цыпленок, но всемогущем, словно бог.

Итак, вначале одиннадцатого, что называется с места в карьер, все веселились вовсю, танцевали под любопытную, в меру модерновую музыку, которую тактично обеспечила молодежь из Леночкиного окружения, и то, как сразу же всем стало хорошо в этот вечер, Ирина Викторовна безошибочно ощутила на себе: на ней было фиолетовое платье, сама она была приятной, она понравилась всем, уже успела, больше всех — самой себе, а это был для нее верный признак того, что хорошо не только ей, но и всем вокруг.

Леночки Канунниковой бирюк — в самом деле очень привлекательный, лобастый, думающий, с четкой мужской фигурой — играл блиц на двух шахматных досках не глядя, и пока его партнеры да еще трое или четверо активных болельщиков принимали решения, этот, стоя в своем углу, спиной ко всем присутствующим, облокотившись на пианино, успевал-таки поглядеть на танцующих в соседней комнате, в том числе — на Ирину Викторовну. Наверное, представлял себе, какая она была в молодости... До чего, в самом деле, способный человек — не глядя играет на двух досках и еще поглядывает в соседнюю комнату! Напрасно, мальчик! Что было, то прошло... Какой Ирина Викторовна была, такой уже никогда-никогда не будет!

Хорошо было ей в эти хорошие минуты, а она ждала еще лучших, ждала боя часов, тостов и того момента, когда без всяких обиняков обратится прямо к Леночке: «За семейный ренессанс!»

И вот наконец-то: Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь!

Как раз против нее, очень удачно, за столом сидела трепещущая под легким кремовым платьицем, вся поразительно видимая насквозь Леночка со своим бирюком...

Рядом слева — Ася Дмитриевна, с двумя недавно народившимися морщинками по небольшому выпуклому лбу, с широко раскрытыми и слишком уж чуткими ко всяким невзгодам и тревогам глазами... Хотя, что там и говорить: маленькие дети — маленькие заботы, большие дети... Кроме того, Асенька на четыре года и пять месяцев старше Ирины Викторовны.

Рядом справа был муж, которого она почему-то всегда называла Мансуровым, а иногда, то ли в насмешку, то ли в память давно минувших лет их островной жизни,— Мансуровым-Курильским. Было такое дело: они жили на Курилах. Еще до того, как у них появился сын Аркашка.

Девять! Десять! Одиннадцать! Двенад...

— Ур-ра-а-а!— неожиданно громко завопил Мансуров-Курильский, обняв Ирину Викторовну левой рукой, поднимая бокал правой и глядя в одну какую-то точку на лице Леночки Канунниковой.

И Леночка, звонко и тревожно перекрывая «ура», закричала тоже:

— Все! Все-все! Загадывайте, загадывайте что-нибудь невероятное! Скорее — невероятное!

Был большой шум, и в этом шуме и звоне Ирина Викторовна прошептала про себя:

— Господи! Пошли мне Большую Любовь! Огромную!

И еще раз: мне... Огромную... пошли... Большую... И так до тех пор, пока окончательно не заглохли все до одного тосты...

Потом до утра она пела и танцевала, даже отчаяннее, чем в только что ушедшем году, всем показывая свое платье и себя, еще и еще проверяя себя по взглядам всех — и молодых, и старых, и чувствуя, что в один какой-то миг в ней произошло что-то такое, чего не происходило за многие-многие годы, никогда не происходило, даже в молодости, в Леночкином возрасте.

Она попробовала было упрекнуть себя в банальности: надо же — новогодняя ночь и, соответственно, персональная новогодняя сказка, Дед Мороз принес, что

ли, и уже тогда, с самого начала, любые упреки самой себе были ей как об стенку горох.

«Ренессанс? Да??? — спрашивала у себя Ирина Викторовна, танцуя, и отвечала себе же: — Ренессанс! Да!!!»

В задуманном тексте потерялось слово «семейный», и, должно быть, поэтому, чтобы восполнить жутковатую потерю, Ирина Викторовна несколько раз бросалась обнимать Аркашку, а тот, думая, что так и нужно, тоже лез обнимать всех подряд: мать, отца, Леночку Канунникову, вообще всех, кто попадался под руку.

— Курильский! — возбужденно говорила Ирина Викторовна всякий раз, как танцевала в паре с мужем.— Не будем стареть, а? Ты понял меня, Курильский?

Курильский довольно охотно двигался в паре с собственной женой, особенно когда танец был новым, и он не очень-то уверенно, для первого раза, чувствовал себя.

— Ну вот еще! — отвечал он, смахивая пот с лица.— Вот еще! Зачем это нам с тобой нужно — стареть? Старость — это прежде всего знаешь что? Это, лапонька, прежде всего предрассудок! Даю честное слово! — В то же самое время Мансуров-Курильский поглядывал и по сторонам, на гостей,— кто из них так необычно взволновал его жену? Не угадывая в этом смысле никого и ничего, потому что угадывать действительно было нечего, он возвращался к прежней теме, которая ему так понравилась: «Пред-рас-су-док!»

«Мне... Большую... пошли...» — до самого конца новогодней вечеринки, до рассвета, явственно звучало в ушах Ирины Викторовны...

Уже дома, укладываясь около семи часов утра в постель, Курильский повторил несколько раз:

— Ни к чему! Ни за что! Чего ради?! Пред-рассудок!

А Ирина Викторовна не спала.

Она и прежде-то, как бы ни уставала, с трудом могла соснуть в течение дня полчасика, тем более не шел к ней сон нынче.

Лежала и думала: жить нужно. Обязательно и безоговорочно!

Зимою, не обращая внимания на тесноту и давку, в восемь пятнадцать утра нужно втискиваться в трол-

лейбус, с удивлением угадывая, что в изделия из искусственных волокон, в натуральные сукна, драпы и недорогие меха, которые плотно окружают тебя со всех сторон, завернуты приблизительно такие же воодушевленные предметы, как и ты сама, что они обладают дыханием, голосами и такой же, как у тебя, теплой кровью, может быть, даже кровью той же самой группы...

Но так как в это время и в этой спешке, при почти неизбежном опаздывании на работу, все сосредоточено только в тебе самой и так еще много ты скрываешь под собственной шубой и шапкой домашних запахов, забот, не высказанных до конца напутствий и указаний Аркашке — каким образом он должен вести себя и что делать в течение каждого часа с половины девятого утра до шести с четвертью вечера,— то и в самой невероятной толкотне все равно чувствуешь только себя. Себя, и никого больше. В троллейбусе тебя давят, так это даже не кто-то, а что-то давит.

Летом же неисчислимые плечи, спины, животы и груди навязывают тебе сосуществование, в летние месяцы, в июне — июле — августе, у тебя вырабатывается своеобразный инстинкт самоизоляции, благодаря которому ты поддерживаешь постоянный люфт между собой и всем остальным человечеством.

Зато зимой и летом, всегда,— хочется самой прижимать к себе Аркашку, утром, по пути на работу, ухитриться и проводить его в школу, а вечером, если бы это было можно, она пошла бы с ним к его товарищу. Это глупо, тем более что отчетливо понимаешь: материнство — это ведь умение отчуждаться от своего ребенка.

Аркашка все еще домашний и несамостоятельный мальчик, это мешает ему во многом, но не в том, чтобы иметь свою собственную биографию, и не раз, и не два им написаны школьные сочинения о том, как он провел очередное в своей жизни лето, а если бы учительница рискнула и дала Аркашке другую тему, например: «Периоды подъема и спада в моей жизни»,— он и тут мог бы кое-что написать. Безусловно, кое-что интересное и поучительное для окружающих.

Аркашка рассказал бы о субъективном и объективном в жизни человека, о том, как жестоко он болел прошлой весной, как, справляясь с болезнью, мечтал о возвращении к жизни — новой, разумной и прекрасной, но как тогда же, еще в постели, поддался незапланирован-

ной страсти собирания марок, как по этой именно причине остался на второй год. Как, при всем при этом, он существовал человеком. Легкомысленный, добрый и нежный человек, пока еще с петушиным голоском, с неисчерпаемым интересом к жизни, но уже вот-вот — мужчина. Почти что странно, но все-таки — вот-вот.

Муж...

Муж был очень близок Ирине Викторовне, всегда слишком доступен, покряхтывая в глубоком сне; у него был очень хороший, здоровый сон, тем более теперь, после бессонной ночи, когда он, может быть, все еще повторял в подсознании: «Пред-рас-су-док!» Он был во всем очевиден и более чем реален, должно быть, поэтому и размышления Ирины Викторовны не шли дальше мысли о чрезмерной близости его к ней, о его слишком очевидной реальности. Слишком!

Ей ведь всегда была необходима некоторая дистанция между собою и тем предметом, о котором она думала, тем более, о котором хотелось помечтать. Вот это пусть небольшое, но свободное расстояние она и любила заполнять своей мыслью.

Присутствие же людей поблизости, рядом, мешало ей об этих людях думать, бывало даже, что она уходила в соседнюю комнату, чтобы таким образом отстраниться от какого-нибудь человека и решить, какой он — плохой или хороший, правду он говорит или неправду; а давным-давно не испытывая достаточного расстояния между собой и Мансуровым-Курильским, она с годами совсем разучилась представлять его в своем воображении. Тем более сейчас не хотела о нем думать: боялась до чего-нибудь додуматься.

Работа...

Вот этот предмет был для нее исключением, о работе она могла думать и на работе, и дома, и где угодно.

У Ирины Викторовны была незаурядная память, которая ничуть не потеряла своего значения с появлением в институте информационно-запоминающих машин. С некоторых пор Ирина Викторовна вообще не боялась никаких на свете машин, не испытывала страха от того, что роботы могут вытеснить человека из жизни или стихийно взбунтоваться, как об этом написано у многих довольно умных, но теперь уже не оригинальных авторов...

Пустяки! Каждому свое, машине — машинное, человеку — человеческое. Человек не погиб, покуда

таскал на себе камни, глину, зерно, бревна и все прочие тяжести, когда гонял костяшки счетов, от руки переписывал огромные фолианты,— почему бы ему погибать теперь, если он переложил всю эту адскую работу на плечи машины? Оружие — это другое дело, но в мирной машине всегда заложен элемент гуманности, им и надо пользоваться.

Ну, конечно, у Ирины Викторовны не было трогательной мужской привязанности к машинам, более того — она не понимала тех девиц, которые по своей воле или вслед за своим возлюбленным избирают механические факультеты,— не женское это дело. По ее наблюдениям, даже женщины-моряки, женщины-пилоты и те достигают большего, чем женщины-механики и машиностроители. Однако в принципе машину она ценить умела, то есть умела понимать, чего от машины требовать можно, а чего — нельзя. Когда лет шесть или семь назад отдел информации был оснащен сразу несколькими новейшими по тем временам счетно-запоминающими устройствами, она поняла их способности так быстро, что даже видавшие виды специалисты и те удивились... Как и почему машины умеют — она этого не знала и никогда не хотела разузнать; ей казалось, что это их собственное дело, а она не любила вмешиваться в чужие дела, но вот что они умеют, а чего нет — об этом она догадывалась сразу. Впрочем, точно так же было, когда она купила первый в своей жизни пылесос с многочисленной арматурой и когда на кухонный комбайн взглянула впервые через витрину магазина — тоже сразу же все о его способностях узнала... По форме деталей, по внешнему виду и компоновке узнала безо всяких инструкций и объяснений со стороны, какие и куда в этот комбайн следует закладывать продукты, откуда и какой субпродукт должен появиться — молотый, мятый, мытый, очищенный... Вообще с любой машиной, касалось ли это пылесоса или счетно-запоминающего устройства, она предпочитала сначала знакомиться лично и непосредственно, а уж потом — с инструкцией по ее использованию.

У счетных машин, на взгляд Ирины Викторовны, внешнего вида не только не было, но, кажется, и не могло быть — ящики и футляры, футляры и ящики — больше ничего, и это поначалу ввергло ее в ужас, несколько дней она носила в сумочке заявление об уходе с работы «по семейным обстоятельствам», но потом

внимательно стала слушать обо всем, что они, эти машины, умеют; и когда однажды машине задали непосильную задачу — она сразу сказала, что у нее ничего не получится. И действительно, несмотря на утверждение монтажников,— не получилось, и тогда-то она и удивила спецов, которым казалось, что получиться не только может, но и должно. Над спецами всегда тяготеет это самое «должно».

А ей вообще легко давался и смысл и бессмыслица какого-либо существования, и, должно быть, поэтому она раз и навсегда была шокирована существованием атомной бомбы,— она не могла ни вообразить ее, ни думать о ней. Ее удивляло, что атомной бомбой способны заниматься обыкновенные люди, может быть, женщины; может быть, женщины, чем-то похожие на Ирину Викторовну Мансурову.

Впрочем, на свете были какие-то удивительно нелепые вещи, о которых она тоже совсем не могла думать, которыми точно так же бывала шокирована. Были, например, дома и другие сооружения, которые она никак не могла понять — что за предмет, зачем такой? С такой нелепой башней, с такими ненужными и потому заколоченными дверями?

А однажды она была свидетельницей того, как официантка в столовой, подавая какому-то старичку второе, спросила у него:

— А ложка где? Украли?

И существование девочки-официантки, сказавшей это, тоже стало для нее не только нелепостью, но и мрачной загадкой: «Как же она живет-то после этого?»

Так вот, на работе Ирину Викторовну ценили, а она ценила работу — там никто не мог заподозрить ее в краже ложки, никто не навязывался с разговорами об атомной бомбе, так как все знали, что она этого не переносит. В этом и было все дело: ее там знали. Зная ее, ей там кое-что прощали, довольно частые опоздания, например, а это не так уж мало, когда молча и тактично вам что-нибудь прощают, хотя бы и самую мелочь.

Это даже необходимо, а отсюда необходимо быть там, где тебя знают и ценят, где с тобой считаются...

Одно время по начальству прошел разговор, что Мансуровой следует дать отпуск на полгода, даже — на год, чтобы она защитила диссертацию. Когда разговор коснулся ее непосредственно, она заявила, что против отпуска не возражает, особенно — против годичного, но

что защищаться никогда в жизни не будет. Разговор прекратился.

На работе она больше всего любила работать, ощущая, как ей удается создать некоторую дистанцию, которая обязательно должна быть между ней самой и ее собственной, частной жизнью. Она ведь совершенно необходима, такая дистанция, такое ощущение, что вот — твоя жизнь, вот оно — твое имя, твои родственники, твои заботы, твое рождение и твоя смерть, наконец, а ты взяла и ото всего этого отошла, отошла туда, где все это не имеет никакого значения, где ты — это твоя сегодняшняя задача по обработке технической информации относительно такого-то универсального станка и такой-то системы автоматизации, а больше ничего. Чуть-чуть даже сомнамбулическое состояние, из которого через час-другой приятно выходить прямо в свою собственную жизнь, выходить, к примеру, таким образом:

— А что, бабоньки,— нету ведь у нас в институте мужчин, хоть шаром покати! Одни только и. о.?

Первая подхватит эту мысль Анна Михайловна Бессонова, она же — Нюрок:

— Черт с ними, с мужиками, но ведь и женщины из-за этого лишены своего самого сильного оружия — любовных чар! Кого очаровывать-то: исполняющих обязанности, да?

Отрываешь глаза от работы, смотришь на Нюрка... Действительно, что же делать такой женщине, такому воплощению женщины, как Нюрок, если вокруг одни только и. о. мужчин?

Дальше можно было выяснять, кто из сотрудниц отдела допустил бы, а кто не допустил дуэли между своими поклонниками, кто из них оправдывает, а кто считает врагом человечества Наталью Гончарову. Кто считает, что Жаклин была хорошей женой для Джона Кеннеди, а кто весьма и весьма в этом сомневается?

И что особенно существенно, единственный в отделе мужчина, техник Мишель, по названию Дамский Мастер,— тот действительно по любому поводу и даже без был способен пустить слезу, а вот среди женщин в отделе информации и библиографии таких не было. Не было плакс и нытиков.

И если уж слезы — значит, ни много ни мало как ЧП.

И хроник семейных событий, которых сколько угодно можно было наслушаться у Мишеля в его закуточке-

мастерской, у женщин тоже не было, а между тем дружба — была, откровенность — была... Разобраться, так тут все было, что истинно должно быть между людьми, в частности — между женщинами. Только обо всем этом никогда не говорилось словами, а все понималось с полуслова:

— Денег нет, да?

— Что ты — шикую!

Или:

— Читала в газете?

— Во вчерашней? Ужасно интересно!

Или:

— Влюбиться бы в кого-нибудь, а?

Молчание...

И дело было не в каком-то там жаргоне — жаргон всегда лежит на самой поверхности любого стиля, но это еще не он сам, дело — в интонации или в выражении лица и в некотором неуловимом, ничем не обозначенном, а все-таки существующем порядке, который был раз и навсегда установлен в отношениях между сотрудницами отдела.

Ведь лаборатории, отделы, мастерские, главки, канцелярии, цехи, секции, КБ, кабинеты, приемные, прилавки, забегаловки — все это производит не только тематики, отчеты, статьи, резолюции, протоколы, проекты, решения, прибыли, убытки, плановую и сверхплановую продукцию, все это, даже помимо месткомов, обязательно производит еще и свой стиль.

Можно производить, например: «А вы ложку — не украли?»

Но можно — другое. До́лжно производить что-то другое, если даже неизвестно, что именно. Что-то другое, и обязательно противоположное первому. Стиль — это человек, известно, а вот в обратном порядке это известно гораздо меньше: если ты человек, у тебя должен быть стиль! Какой? Трудная задача, но обязательная. Хотя бы стиль твоего дела, потому что, если не будет и этого,— откуда узнать, откуда почувствовать существование человеческого стиля? А ведь он есть, существует, если существует человечество...

«А вы ложку — не украли?» — от этого стиля до другого должна быть дистанция, потому что без такой дистанции жить уже нельзя. Еще и еще раз понятно, что тот, другой, человеческий стиль — величина искомая и у этой величины нет и не может быть в такой же

мере четкой и определенной формулы... Тем более он нужен и необходим.

Тем более в отделе информации и библиографии необходимо было повседневное присутствие Ирины Викторовны: она хоть и не невесть какая, а все-таки была созидательница и даже — смешно сказать! — блюстительница того, другого, стиля... И все женские души отдела, а Нюрок особенно, тоже понимали это...

Вот она как думала, Ирина Викторовна, обо всем по порядку — об Аркашке, о муже, о работе, думала после бессонной ночи, лежа полураздетая в кровати, положив на грудь какой-то затрепанный переводной романчик и глядя через окно в серое, типично зимнее небо нового, 19.. года.

Можно было и еще в том же порядке подумать, например о свекрови, Евгении Семеновне, женщине, пожалуй, слишком уж справедливой и слишком рьяной заступнице Ирины Викторовны не только от всякого рода напастей, но и вообще ото всего на свете.

Можно было...

Но в этом порядке размышлений чего-то не хватало... «Ах, да, — с удивлением догадалась Ирина Викторовна, — меня-то и не хватает! Вот чего — меня самой!» И в самом деле, она так много думала о работе, потому что работа то и дело заменяла ей ее самое. И, в общем, это была приемлемая замена, хотя все-таки замена. Еще работа была для нее постоянной, не прекращающейся ни на один день тренировкой ее интеллекта, постоянным средством поддержания тонуса и подготовкой... подготовкой — к чему?

Сорок пять — вот возраст, до которого, ей казалось, женщина еще не все теряет, еще может распорядиться своей судьбой, еще может сделать какой-то выбор.

По существу, она не собиралась ничего менять и сейчас, но без ощущения этой возможности и собственной способности к этому, без надежды на случай, который окажется не чем иным, как такой возможностью, временами становилось так грустно, как будто бы ты не живешь, а только доживаешь кем-то назначенную для тебя жизнь. Может быть, только чей-то завалящий остаток жизни...

Не всегда, но временами бывало и так — вот такое ощущение, и когда оно приходило, Ирина Викторовна, с точностью чуть ли не до одного дня, начинала подсчи-

тывать, сколько же ей еще осталось до сорока пяти, до того рубикона, который она сама себе назначила.

Сорок пять минус ее годы — на эту разность, так стремительно приближавшуюся к нулю, Ирина Викторовна возлагала тем большие надежды, чем разность становилась меньше.

А тут еще за новогодним столом, как раз напротив, анфас,— немного даже подурневшее и потемневшее откуда-то изнутри, от внутреннего ощущения счастья,— лицо Леночки Канунниковой... Не надо было садиться как раз напротив Леночки — опасен был этот анфас. Не надо было заранее загадывать тост.

Не надо было выпускать себя из своих рук...

Глава вторая

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК!

А ведь Ирина Викторовна очень боялась, очень не хотела бы встретиться с таким человеком. Ну, вот с таким! Легко и просто было бы избежать с ним встреч, если бы его не было. Легко и просто дотянуться до рубежа в сорок пять, который она сама себе назначила и за которым, казалось ей, никаких встреч уже не может быть.

Дотянуть до сорока пяти при Мансурове-Курильском, ну, если уж требуется разнообразие,— при Курильском-Мансурове, и все, значит, так и надо, значит, такая судьба. Просто, ясно, и ничего от тебя не зависит...

Но в том-то и дело, что она подозревала о существовании такого человека...

Имя-то: Василий Никандрович! Что-то серьезное, что-то от народа, от натуры и от природы, не выдуманное, а настоящее. Василий Никандрович Никандров — вот вам, получите!

Василий Никандрович заведовал самым большим отделом в институте, пятым отделом, можно сказать — ведущим; и заведование, и высокое положение, и авторитет, и проч., и проч. как раз и могли бы оттолкнуть Ирину Викторовну, насторожить, раз и навсегда определить к нему отношение, как отношение весьма уважительное, добрососедское и даже дружественное и в то же время вполне, вполне официальное.

Но официальное отсутствовало, правда, отсутствовало, не будучи, кажется, заменено чем-нибудь иным:

особым расположением, интересом или чувством отчужденности, чем-то еще. Значит, существовал вакуум. Какая-то заманчивая неопределенность и неточность.

Впрочем, это опять не совсем точно, а точно: ни она, ни, пожалуй, ни одна другая женщина в институте не могла бы определить к Никандрову своего отношения. Для всех ясно было одно: сколько-нибудь серьезно влюбиться в Василия Никандровича — это ужасно банально, ужасно глупо! Кроме того, это почти что самоубийство.

Поэтому запросто можно было сказать: «Ах, Василий Никандрович, да ведь я вот уж десять лет, как влюблена в вас! Неужели не замечали?» А он тоже запросто мог ответить: «Как же, как же! Девять лет тому назад — замечал!» После этого надо бы на него обидеться, и всерьез. А за что?

Он был лапа — вот кто.

Он был очень умным и поэтому поглощен своими научными проблемами, но такими умниками — пруд пруди, а он — особый умник. Например, откуда-нибудь из-за границы, с очередного симпозиума, не забывал поздравить с днем рождения эмэнэса (младшего научного сотрудника) или лаборантку своего отдела.

И не только его собственный отдел, а, кажется, институт в целом ощущал постоянное доброжелательство этого человека, его готовность если уж не каждому помочь, так, по крайней мере, каждого заметить и понять.

И кому-то это нужно — с таким человеком связываться? Да пропади он в этом смысле пропадом, чур меня! Чур меня от человека, на которого без конца найдется кому пялить глаза, который к этому привык уже давным-давно, который у всех на виду, так что и в киношку-то с ним незаметно не сбегаешь, по поводу которого видавшие виды дамы просто обязаны предупреждать молодежь женского пола: «И не вздумайте! Кроме головной боли, ничего не маячит!» И наконец все это, весь этот человек, не из ничего берется, а из чего-нибудь, уж это обязательно; закон сохранения вещества — строгий закон, играть и шутить с ним никогда не следует. Безупречность — сомнительное качество и может проистекать только из какой-то своей противоположности: из незримого педантизма, из занудности, из эгоизма... Ведь не может же человек быть виден весь: что-то в нем видно, а что-то — нет. Чего в Никандрове не видно?

Говорили, что у Василия Никандровича есть своя компания, тоже из числа серьезных научных работников, но только не своего института, а из гуманитариев. С нею он и проводит время: летом — путешествуя по горным районам, главным образом по Киргизии, зимой — слушая музыку; он, кажется, порядочный меломан.

Нет, что-то тут было не то.

Все тут было не то, честное слово!

Ведь когда Ирина Викторовна в новогоднюю ночь влюбилась неизвестно в кого, она отчетливо чувствовала, что должна этого кого-то открыть. Где-то совсем рядом или рядом, но не совсем, живет человек, работает, почитывает книги...

А она к нему приближается, глядит на него и почти что вот так — раз! два! три!— по наитию, по какой-то своей озаренности, угадывает, распознает, что человек-то совсем особенный, вовсе не такой, как все, только никто этого не знает, даже — он сам... Он бы так и умер, ничего о себе не узнав, если бы не она. Если бы не ее открытие.

А Василий Никандрович? Совершенно не нуждается ни в чьем открытии... Наоборот, его бы закрыть подальше от женских глаз...

Не то, не то!

Она всегда представляла себе, что, когда поведает о таком вот необычайном открытии верному другу — Нюрку, Нюрок страшно удивится: «Да ты что, Иришка! Ведь нет же ничего! Ведь ничего же такого нет! Поверь мне!»

А потом, когда присмотрится, изменит мнение: «У тебя глаз да глаз, Иришка! Надо же — открыла!»

А что скажет Нюрок, если и в самом деле назвать Василия Никандровича?

«Хочешь, Иришка, упаду на колени? Хочешь отрубить мне правую руку? Руби, только послушай меня...»

С другой стороны, совершенно с другой: чем дальше, тем все больше и больше росла необходимость в том, чтобы кто-то открыл ее. Ее самое — Мансурову Ирину Викторовну.

Для чего-то она ведь взрослела и умнела, для чего-то была матерью, была женой,— наверное, не только для того, чтобы быть только матерью и только женой, а еще и того ради, чтобы быть женщиной. Какой?

Все, что она пережила, все, с чем она соприкасалась

во время своей жизни — воздух, люди, книги, железные дороги,— все это создавало ее... Какую?

Сама она этого почти не знала. Но кто-то был обязан узнать, обязан открыть! Перед нею обязан, перед собою обязан, перед всем тем миром, который изо дня в день столько лет ее создавал,— тоже обязан!

Ирина Викторовна, атеистка, все-таки знала, что в христианском учении существует троица: бог-отец, бог-сын и бог — дух святой. Она приравнивала, она любила приравнивать всякого рода притчи к самой себе, и у нее получалось: бог-жена, бог-мать, а где же дух святой? Кто откроет его в ней?

Уже, наверное, прошло несколько лет с тех пор, как Ирина Викторовна перестала знать себя. Она ведь тоже не сидела сложа руки, в ожидании — а что из нее получится? Упорно и с надеждой она создавала себя из своих платьев, зимних и летних, из прически, из голоса, из выражения и цвета своих глаз, из своих форм, из своего замужества, из своего материнства, из своего стиля, из своей работы, из своего общения с людьми и со всем окружающим ее миром, а что же все-таки в результате получилось? Где итог? Или все это был сизифов труд?

Не Мансуров же Курильский способен все это открыть и объяснить, ему и в голову никогда не придет, будто он что-то в ней не знает. Он любил ее, он был чуть ли не идеальным мужем, но только для той, которой она когда-то, совсем недолго была... А та, которая есть,— как же?

И когда вот так подумаешь, тогда — что же?

Тогда — Василий Никандрович то самое и единственное, что должно быть...

И еще было что-то удивительное в том, как Ирина Викторовна отнеслась к новогоднему пожеланию самой себе: «Господи! Пошли мне Большую Любовь! Огромную!»

Она отнеслась к этому восклицанию и к этой мысли вовсе не так, как люди обычно относятся к восклицанию, к мысли или к желанию, нет,— это было для нее фактом, событием. Оно — совершилось, и не было никакого смысла к нему возвращаться, его оценивать: хорошее это событие или плохое, легкое или трудное, к чему оно приведет, как выглядит она в этом событии...

Оно совершилось, суди его, не суди.

Вот так же, вспомнилось ей, она когда-то решила, что у нее должен быть ребенок... По состоянию ее тог-

дашнего здоровья это был очень серьезный вопрос. Она серьезно и задумалась и решила: «Будет!» И это решение уже было поступком, фактом, событием и одной-единственной, первой и последней причиной того, другого факта, что спустя определенное время на свет действительно появился маленький Аркашка, других причин как будто бы и не существовало — только ее мысленное решение.

Нынче — опять то же самое, опять безоговорочное решение.

Ирина Викторовна была смущена, испытывала неловкость и смятение, но не потому, что к ней это решение пришло, и не потому, что она его приняла, вовсе нет, неловкость была из-за того, что все произошло — она так и говорила про себя: «Все произошло» — слишком банально: в новогоднюю ночь, ни раньше, ни позже, а в момент новогоднего тоста, притом — в присутствии Мансурова, в общем-то неплохого человека, и Аркашки — удивительного несмышленыша, который чересчур доверчиво ночь напролет ластился к матери. Совсем как маленький.

Хотя бы Мансуров-Курильский, что ли, изменил ей?! Как же, от него дождешься!

Хотя бы на вечере у Канунниковых кто-нибудь взял бы да и «положил» на нее глаз — она ведь такая была красивая, так готова была принять даже не свою, а какую-то чужую, только бы еще неведомую судьбу! Как же — от кого-то там дождешься! Там таких и не было!

Пускай бы все зависело не от нее: как снег на голову — любовь! И ничего тут не сделаешь — судьба! Как же — от судьбы дождешься! Судьба требует, чтобы любовь и та была создана твоими руками, собственными руками Ирины Викторовны, сама же судьба — будто бы в стороне, будто вовсе ни при чем! Никакого ей, судьбе, дела до этой самой Мансуровой Ирины Викторовны в определенном смысле нет, не было и не будет.

И отвечать за последствия судьба тоже не будет...

— Нюрок? — спросила Ирина Викторовна на работе.

— Ась?

Но больше Ирина Викторовна ничего не спросила, она глядела в окно, на старый тополь, который стоял во дворе НИИ-9.

Помолчали, Ирина Викторовна стала догадываться: о чем сейчас может догадываться Нюрок?

«Да ни о чем!— ответила она самой себе.— Ничего же не произошло? Совершенно ничего, о чем кто-то может догадаться?»

«...все произошло...» — тут же сказала она самой себе.

Конечно, Нюрок ждала хотя бы краткой, в общих чертах, информации о том, как прошел новогодний вечер у Канунниковых: кто в чем был, как выглядела Леночка, вообще кто как выглядел, какие там были сказаны интересные слова...

И вскоре Ирина Викторовна почувствовала себя разоблаченной под тем взглядом, который Нюрок и раз, и другой бросила как бы мимо нее...

«Да-да, случилось,— подтвердила она тревожную догадку приятельницы,— только... подожди. Не сейчас. Потом». Она хотела и еще продолжить эту безмолвную фразу: «...потом, когда-нибудь!», но не успела, потому что Нюрок уже опустила глаза, и «когда-нибудь» повисло в воздухе, неувиденное и непонятое, а «потом» приобрело силу твердой договоренности между ними, силу обещания и необходимости...

Ирина Викторовна стала противиться этому, стала доказывать себе, что «потом» — это вовсе не сейчас, не сегодня, и даже не завтра, что оно как раз и есть «когда-нибудь», и в это время в комнату вошел Василий Никандрович.

— Девочки!— сказал он и запустил руку в свои седеющие волосы, сосредоточиваясь на том деле, ради которого он пришел в информацию. Он постоял так, в этой мальчишеской позе, высокий и стройный, хотя и несколько тяжеловатый, особенно в плечах,— плечи были у него мужицкие, костистые и торчали из костюмов любого покроя.

Когда-то давно, точно Ирина Викторовна и не помнит когда, она поняла, что Никандров к ней благоволит. Очень. Может быть, это было то, что называется «положить глаз».

И хотя она это знала точно, это ничуть не проясняло положения дел: мало ли что «положил глаз», а для чего? И на нее ли одну? Серьезно или просто так? Положенные на себя глаза Ирина Викторовна могла бы перечислять довольно долго, ну и что? Что из этого? Ничего из этого!..

— Здравствуйте, Василий Никандрович! С наступившим вас!— ответили ему в несколько голосов сразу,

и он решил, что, наверное, не совсем удобно вот так, сразу же, обращаться по делу к приветливым женщинам, а спросил сначала:

— Чем будем заниматься? Может, огуречным рассолом?

— Ну вот еще! Как это можно? Если уж вы не занимаетесь рассолом, так мы и подавно! Мы женщины скромные, нам и в голову не приходит никакой рассол!

— Да?— спросил Никандров.— Старый год проводили, новый — встретили, последствий никаких? Очень странно! Как вы-то думаете, Ирочка?— И тут он взял стул, придвинул его к столу Ирины Викторовны и сел почти вплотную к ней.

— Тогда вот что, скромницы, тогда мне нужно...— и стал объяснять Ирине Викторовне, что ему нужно: самые — самые!— полные сведения о последних конструктивных разработках универсального станка такого-то типа.

Она знала, что, как всегда, он ставит перед ней задачу четко и толково, что спустя день, а то и час — не прибежит снова как ошалелый, с выпученными глазами: «А вот еще что забыл сказать: мне, кроме всего, нужны еще сведения о...», тем более не сделает удивленного лица: «Да разве я вам об этом не говорил? Да разве в моей заявке это сказано недостаточно ясно?» С Никандровым так не бывало и никогда не будет, она знала, что все без исключения слова, с которыми он к ней обращается устно и письменно, изложив суть дела на стандартном бланке-заявке, все его слова — толковые, продуманные и отчетливые, в общем, такие же, как и он сам, но теперь она ничуть не понимала его... Она была поражена тем, что этот человек — вот этот!— имеет какое-то отношение к тому, что произошло с ней в новогодний вечер у Канунниковых, к тому роковому мгновению, в которое «произошло все», и теперь она ненавидела его за это, за грубое, беззастенчивое вмешательство в ее жизнь, во все то, чем была она — Мансурова Ирина Викторовна! Она согласно кивала ему головой, почти отвернувшись от него в сторону, почти закрыв глаза, чтобы не видеть его, и думая о том, что самое правильное сейчас — это встать, сказаться больной и уйти. Она, кажется, действительно заболела... Между тем Никандров говорил с ней долго и подробно, делая на стандартном бланке-заявке еще и еще какие-то пометки красным фломастером, объясняя, что больше всего ему

интересна теоретическая часть вопроса, еще что-то подчеркивая фломастерами, интонацией своего голоса — чуть прерывистого и напряженного,— выражением лица, от которого она хотела отвернуться совсем и все-таки видела немолодую его розоватость — и выражение упорства и напряженности. Его обычные шутливость и непосредственность потому, должно быть, и производили впечатление на окружающих, потому и нравились, что они исходили от человека не шутливого, не от болтуна и не от рубахи-парня, а от работника, непрерывно думающего над чем-то своим, над каким-то подтекстом, над какой-то одному ему известной задачей... Нынче его напряжение действовало на Ирину Викторовну особенно, наверное, потому, что она и сама-то тоже до крайности была напряжена. Она отметила, что не замечает в себе того чувства, которое можно было бы назвать чувством любви или хотя бы чувством увлечения, которое память могла бы подсказать ей из ее далекого девичьего прошлого, из романов, которые она во множестве прочла в свое время,— ничего, ничего, только напряжение, почти механическое, как бы материальное, которое испытывают, скорее всего, машины, перед тем как что-то, какие-то детали и узлы,— разрушатся в них от чрезмерной нагрузки, от неправильной, безграмотной эксплуатации и отсутствия нормального режима работы и ухода...

«Двадцатый век, что ли?» — подумала она, как будто до сих пор жила в веке девятнадцатом, и даже еще раньше, и только сию секунду уяснила, что век — в самом деле двадцатый, что день — первый рабочий день после Нового года и что все, что с ней происходит, происходит именно с ней, а не с героиней чьего-нибудь устного рассказа или широко известного печатного романа.

Никандров попрощался и ушел, и кто-то в отделе сказал ему вслед, едва закрылась дверь: «Надо же — какая голуба!», а когда Ирина Викторовна поглядела на Нюрка, Нюрок — на Ирину Викторовну, то результат оказался вот каким: Нюрок была теперь уверена, что в новогодние праздники Ирина Викторовна и Василий Никандрович где-то встречались, и встречались не просто так.

Разуверить Нюрка будет невозможно ни сегодня, ни завтра, у Ирины Викторовны не хватит для этого самообладания: разуверять Нюрка, может быть, не придется

совсем, потому что и в самом деле — а не был ли Василий Никандрович на вечере у Канунниковых? Не присутствовал ли он там? Зримо — незримо, не все ли равно! Какое это имеет значение?

Часа через полтора Ирина Викторовна более или менее пришла в себя, стала давать указания своим сотрудницам, избегая, правда, Нюрка; стала вдумываться в смысл заявки, которую Никандров там и здесь исчеркал цветными фломастерами, и не поняла этот исчерканный бланк...

Впервые она не поняла Никандрова — ей казалось, будто он что-то напутал, в чем-то ошибся — выписал не те шифры из картотеки и неправильно наметил программу, которую следует задать машине... «А ведь придется к нему идти!» — подумала она с содроганием. Идти к нему?! Оказывается, в эти мгновения он уже стал для нее «им», он уже был «он», а не кто-то там имярек, не какой-то отвлеченный доктор физико-математических наук Никандров Василий Никандрович, заведующий пятым отделом НИИ-9.

Ей снова еще больше и еще дальше стало не по себе, стало болезненно; необходимость пойти к нему или по телефону попросить еще раз прийти его сюда, чтобы выяснить все, что она не поняла в бланке-заявке, эта необходимость была уже событием огромной важности: с Никандровым надо было что-то выяснять!

Она углубилась в бланк-заявку и стала искать — что же, какая же все-таки неточность была Никандровым допущена? Неточность была, но какая — она сообразить не могла и стала на бумажке формулировать те вопросы, которые должна была задать ему, чтобы выяснить его ошибку. Она исписала листок снизу доверху — это все были варианты ее вопросов к нему, но все они при внимательном вчитывании были глупыми.

В конце концов она записала так:

«В. Н-ч! Из-те, пож-а, что я п-ла к В., но мне к-ся, что в В-й з-ке, вот тут (ук-ть!), к-я-то ош-ка. Или я что-то не п-ю?» Что значило: «Василий Никандрович! Извините, пожалуйста, что я пришла к Вам, но мне кажется, что в Вашей заявке, вот тут (указать!), какая-то ошибка. Или я что-то не понимаю?»

Она выучила эту свою запись наизусть и только встала из-за стола, чтобы пойти к Никандрову, как дверь распахнулась, и в комнате № 475 быстро, может быть, даже бегом, появился Василий Никандрович:

— Ирина Викторовна! — сказал он.— Извините, пожалуйста, что я снова пришел к вам, но мне кажется, что в своей заявке, вот тут,— он указал пальцем почти на середину бланка, который лежал на столе,— вот тут у меня ошибка!

Они молча глядели друг на друга...

«Когда мы будем близкими людьми,— подумала Ирина Викторовна,— я спрошу у него, как все это могло случиться?.. Как могло случиться такое совпадение — текстуальное?» И, стараясь сделать это незаметно, сложила вчетверо листочек, на котором только что, сию минуту, записывала для себя эти же самые слова: «В. Н-ч! Из-те, пож-а, что я п-ла к В., но...» И спрятала его в карман.

«Когда мы будем близкими людьми, я покажу ему эту бумажку, это вещественное доказательство... Иначе ведь трудно поверить, что все, что происходит сейчас, действительно происходило, а не выдумано мною...»

А пока Ирина Викторовна думала вот так, совсем невероятно, Никандров еще поразил ее, весь отдел поразил, выговорив фразу, которую кто угодно, но только не он, мог выговорить:

— Я вот еще что забыл — мне, кроме того, что я написал в заявке, мне нужно еще...

И он стал не очень четко объяснять, что ему нужно, кроме того, что он уже написал, а Ирина Викторовна слушала его и думала: «Судьба! А чем это еще может быть?»

Теперь уже не только Нюрок, а все остальные сотрудницы отдела в комнате № 475 это, кажется, поняли...

«Судьба!» — повторила Ирина Викторовна еще раз и спросила себя: «А что вообще-то я могу сказать о своей судьбе, что я о ней знаю, помню? Ничего...» А потом поправила себя: «Ну, как же это — ничего?! Неправда: кое-что помню!»

Шел поезд, и в поезде, в четырехместном плацкартном купе, непринужденно пересекая пространство сперва Европы, а потом и Азии, ехала Ирочка.

Ехала, как жила: в непрерывном и во сне, и наяву ожидании той жизни, которая притаилась то ли в соседнем вагоне, то ли за следующим поворотом поезда на

блестящей рельсовой кривой, то ли в завтрашнем дне или в следующем часе.

Каждую минуту эта жизнь могла, незаметно подкравшись сзади, закрыть Ирочке глаза ладошками: «Угадай! Кто? Что?»

Ирочка, не задумываясь, угадала бы ее. Потому что ждала. Не то чтобы совсем безрассудная, совсем глупая молодость, но уже понимала: и «кто», и «что» могут оказаться не приведи бог какими — какими трудными, даже непосильными, а все равно было вот так и никак иначе: ожидание, уверенность в близости и неизбежности какого-то случая своей собственной жизни, какого-то ее поворота. И в поезде-то ехать было так легко, интересно и свободно, потому что, ни у кого не спрашиваясь, можно выйти на любом полустанке, пересесть на встречный и уехать обратно, домой, к маме, а можно на том же полустанке остаться жить, посмотреть, что из этого получится?

И ведь все было уже после того, как Ирочка долго принимала и наконец приняла решение — ехать! И поехала. Но ничего особенного: если она решилась на это, значит, могла решиться и на другое, на что угодно; если ее собственное решение было для нее неожиданностью, значит, неожиданностей вообще очень много вокруг, и каждая из них действительно ждет своего случая, чтобы объявиться. И надо, хотя бы поначалу, встретить неожиданность с радостью, а там — видно будет.

Поезда в ту пору, вскоре после войны, не слишком придерживались расписания. Отправляясь из Москвы, как и теперь, с Ярославского вокзала в один и тот же час и даже почти в одни и те же минуты, они доставляли своих пассажиров во Владивосток на девятые, десятые, а иногда и на двенадцатые сутки,— никого это не удивляло.

Удивлялись тогда другому: только-только прошла война, а поезда, как и до войны, идут по блестящим рельсам навстречу друг другу; в плацкартных вагонах, пусть не во всех, а все-таки выдается постельное белье, повсюду, по всей длине поезда, кипятится в титанах кипяток, а на остановках не только меняют на иголки и спички, но и продают на обыкновенные деньги топленое молоко и соленые огурцы.

Поезда шли тогда в разреженном воздухе, в котором уже довольно давно и нигде не было бомбежек и пронзительных сиренных воплей; не было сводок с театров

военных действий, и самих театров тоже не было. Не было в нем и множества жизней, которые театры унесли с собой, чтобы никогда и никому не вернуть их. И все-таки шли навстречу друг другу поезда сквозь разреженность Европы и Азии, шли, минуя военных комендантов и распоряжения начальников по передвижению войск.

Впервые Ирочка покинула родной дом и сразу — в такую даль!

Странное чувство переживала тогдашняя Ирочка, участвуя в движении поезда, и радуясь, и ощущая боль этой трагической разреженности воздуха и всего окружающего пространства, ощущая смятение от непрерывности, с которой где-то за нею или рядом с нею следовал случай... Необыкновенный случай ее судьбы.

И, должно быть, по причине всего этого на восьмые сутки пути, сразу за Хабаровском, пассажир из соседнего — восьмого — купе объяснился Ирочке в любви.

Только она легла на свою полку — верхнюю и справа, если считать по ходу поезда, только распустила волосы и поправила тощую вагонную, может быть, еще довоенную подушечку под головой и повернулась лицом к стене, как этот самый пассажир постучал в дверь и срочно вызвал ее.

Ирочка почти поняла, для чего он это сделал: они ведь только-только расстались, отстояв в коридоре у окна полный рабочий день военного времени — двенадцать часов, причем это был уже не первый день, и ноги у нее гудели и стонали так, словно это на них, а не на вагонных колесных парах она двигалась из Москвы во Владивосток; во рту у нее пересохло от множества слов, которые она произнесла за эти часы громко и тихо, весело и грустно, торопливо и медленно; в ушах звенело от слов, которые произнес для нее этот самый пассажир, неугомонный и двужильный; в глазах ее, словно в кино, мелькали пейзажи — с лесами, горами, с восходами и закатами солнца, с ярко-звездным небом.

Ему-то было что — этому самому пассажиру,— он уже проехал, проплыл, пролетел полсвета, повоевал, поумирал и снова взялся за свое привычное путешествие, а каково было ей — непривычной и слабой?! Она-то давно уже держалась не столько на ногах, сколько на нервах, больше ей не на чем было держаться!

И вот, убиваясь и рыдая про себя, а отчасти и вслух, боясь разбудить пассажиров своего купе, не находя пе-

тель на ситцевом халатике, который она исхитрилась получить на промтоварную карточку за день до отъезда из дома, неизвестно как причесавшись в темноте, она снова выскочила в коридор, слава богу, тоже полутемный, только с двумя тусклыми лампочками — при входе и при выходе. Это позволяло надеяться, что ни ее всклокоченные волосы, ни мятый халатик, который по вине все того же неуемного пассажира она за всю дорогу не успела привести хотя бы в относительный порядок, не будут им замечены.

Конечно, не надо было выходить на его зов и стук, пускай бы он звал и стучал, и будил все купе, а все купе его за это ругало бы и поносило,— но было поздно, она подумала об этом оптимальном варианте уже в коридоре.

— Значит, так,— спросил он,— вам все понятно, да?

И снова переложил этим вопросом всю тяжесть на ее плечи, на худенькие и вздрагивающие плечики.

Но на этот раз она сказала все без обиняков:

— Вы что, в самом деле изверг, что ли? Так и есть — изверг!— сказала она.

Он понял:

— Страшно! Страшно, поверите ли?!

— А другим — не страшно?! Нашли, тоже мне, бесстрашную героиню!

Тогда он взял ее голову в свои руки, склонил к своему плечу — он был высокий, как раз на голову выше, чем она,— и все сказал. На ухо. Шепотом.

— Ну, вот — слава богу!— ответила она, все выслушав.— Наконец-то! Наконец-то можно пойти и уснуть. Спокойной ночи!

— Вы с ума сошли?! Как это можно?

— Просто! Повернуться — вот так!— Она взяла его за плечи и повернула.— Открыть дверь своего купе — вот так! И вот так туда войти! Спокойной ночи!

— Нам не о чем больше говорить?

— Ведь сказано все! Все слова! Слов не осталось, и надо подумать молча. Молча и наедине!

Но прежде чем уйти, она все-таки оглянулась:

— Это правда, что существует Южная Америка?

— Клянусь — существует! Мы остановимся во Владивостоке, оформим все документы, и через месяц, еще раньше, вы убедитесь в этом сами!

Взбираясь на свою полку, Ирочка уронила бутылку,— бутылка упала со столика, разбилась, а все три

остальных пассажира, все три чужих, неизвестных и неизвестно зачем и куда едущих и почему-то спящих в ее купе,— эти три пассажира разом проснулись и разом заворчали. Все они были тем странным, неизвестно по какому праву существующим человечеством, которое и в этот час совсем ничего не знало о том, что случилось с нею — с неумелой Ирочкой. И ничего не зная об этом, это человечество ничем не хотело ей помочь — ни одной мыслью, ни одним соображением, ни одним ни да, ни нет.

Ведь ехала-то Ирочка на Курильские острова, и ехала она туда не просто так, а к будущему мужу, и будущим ее мужем был добрый человек — старший техник-лейтенант Мансуров.

Все было как у людей, как у нормальных, добрых и даже счастливых людей,— они познакомились в госпитале. Лейтенант Мансуров лежал там после ранения, а она, ученица десятого класса, приходила шефствовать над ранеными.

Потом она окончила школу, а он выписался из госпиталя.

Она стала работать чертежницей в заводском КБ, он — техником на том же заводе.

Она поступила в институт, он был признан ограниченно годным к военной службе; она перешла на третий курс, он получил назначение на Дальний Восток.

Он поехал на Курилы, и писал ей, и без конца звал ее, звал так, что она взяла в институте отпуск и поехала к нему на этот зов. И вот встретила такого пассажира, который ехал еще дальше, за океан, в Южную Америку. Вообще-то она никогда ведь по-настоящему не верила, будто такая часть света тоже существует на свете. Северная — да, в этом она была уверена, относительно Южной закрадывались сомнения. Понятие — другое дело, об этом и спорить нечего, и сомневаться не в чем; все, что было положено знать и понимать по школьной программе о Южной Америке, она всегда знала и понимала, имела по географии пять. Но то, что Южная Америка была действительно Южной, действительно Америкой, что туда кто-то может поехать, пожить там, а потом еще и вернуться обратно, не верилось, нет!

Она ведь была в этом путешествии готова ко всему, к любой неожиданности,— к тому, что поезд сойдет

с рельсов и ринется в Байкал; к тому, что она сойдет с этого поезда на каком-нибудь полустанке и надолго останется там жить; что какая-нибудь женщина попросит взять у нее своего ребенка, и она возьмет, приедет с ним к старшему лейтенанту на Курилы и спросит: «Любишь — не любишь?»; что она поедет к нему одна, они посидят час-другой в его избушке на берегу моря, а потом она скажет: «Вот и повидались... Теперь мне пора возвращаться домой — спокойной ночи...» Все могло быть.

А могло ли быть то, что было?

Три пассажира не сразу, но уснули снова, двое — похрапывая легко и невинно, третий — по-разбойничьи сотрясая воздух и стенки купе свистом и грохотом.

Ирочка уткнулась в подушку и начала плакать на всю ночь, до утра.

До самого утра, потому что к ней подступила страшная обида на себя. Она ведь все время, всю дорогу, ждала какого-нибудь загадочного и невероятного случая своей судьбы, а когда этот случай пришел — оказалась бессильной перед ним.

То, что для этого вот мужчины — такого взрослого, такого умного, такого сильного, такого южноамериканского, с такими глазами не нашлось на белом свете ничего более необходимого, чем она, почти что девочка, девочка Ирочка,— потрясло ее сознание, но тут же выяснилось, что это сознание совершенно не подготовлено к такому потрясению, не соответствует ему и потому не может с ним справиться и хоть как-то на него ответить, а единственно что может — это дрожать, кажется, счастливой дрожью, сотрясающей весь организм до последней косточки.

Тем более не могла девочка Ирочка осознать разницу между Курилами, которые до сих пор были для нее самым крайним краем света, и только что возникшей в какой-то уже совсем невероятной дали Южной Америкой — немыслимой судьбой и страной.

И, должно быть, однажды совершившись, ни одна история не остается затем постоянной в умах людей — время от времени люди обязательно пересматривают свое прошлое. А история или исчезает из их сознания как будто навсегда, или вдруг является словно в первый раз во всем своем могуществе, чтобы снова существовать даже более, чем наяву.

Но чтобы спустя столько лет Южная Америка предстала перед ней, как ее собственная и нынешняя судьба,— такая неожиданность казалась Ирине Викторовне совершенно невероятной.

А ведь она — предстала...

То есть снова, как и тогда, явилась вдруг возможность выбора: могу быть вот таким человеком, вот такой женщиной, но могу быть и совсем другой, чуть ли не прямой противоположностью той, которая существует в настоящее время!

Не совсем известно — какой именно, но совсем-совсем другой, уж это точно!

Снова, как и тогда, много-много лет тому назад, гудели и стонали у Ирины Викторовны ноги...

Ни с того ни с сего, ни к кому не обращаясь, она спросила:

— А что, в Южной Америке существует или нет танец живота?

Нюрок ответила, что не знает, но ей кажется, что существует; потом спросила — не собирается ли Ирина Викторовна разучить этот самый танец, а если собирается — для чего?

Когда-то и что-то такое Ирина Викторовна рассказывала Нюрку о дальневосточном экспрессе, о Южной Америке, о том, как гудели у нее тогда ноги. Нюрок не только все поняла, но и все запомнила, и теперь, спросив, зачем ей понадобился танец живота, она поняла еще больше — связь времен отчетливо представилась ей, и она затревожилась уже всерьез.

А это очень тревожно, когда Нюрок тревожится за тебя.

Глава третья

№ 475

Отдел технической информации и библиографии — он же «информашка», он же ТИБ, или «Тибошка»,— это четвертый этаж, левое крыло, «Вход посторонним запрещен», комната № 475.

В комнате — четыре сотрудницы: летом в открытых платьях, зимой, осенью и ранней весной — в сине-голубых халатах со стоячими воротничками.

Стоячие воротнички — это, можно сказать, марка фирмы и предмет дискуссии, особенно в тех немногих отделах девятого НИИ, в которых большинство или даже меньшинство, но — заметное, составляют лица женского пола.

Воротничок — это, с одной стороны, удобно, поскольку позволяет приходить на работу в помятой кофточке и вовсе без, со стороны же другой — почти недопустимое в наше время пуританство и школьничество. Поверх такого халата еще фартучек, и вот — ни дать ни взять — школьная форма.

Но дискуссии отшумели давно, года два тому назад, кое-кто за свой собственный страх, риск и бюджет уже сшил себе халаты с отложными воротниками, другие ходят вовсе без них, все обошлось само по себе, помимо месткома, завхоза и коменданта; в отделе же информации и библиографии вопрос вот так и решался: зимой, да еще покуда халаты новые,— ими грех пренебрегать, и все носят эти самые халаты, атласные, вполне прилично сшитые, не очень-то их оберегая; летом, в жару, они без движения висят в институтском гардеробе, а все сотрудницы носят открытые платья или легкие кофточки. Иногда, наверное, в порядке компенсации за ту монашески-школьную униформу, которая была зимой,— очень открытые и очень легкие.

Это было приятно и как будто даже необходимо — в один поистине прекрасный и светлый летний день, не сговариваясь, по крайней мере, почти не сговариваясь, вдруг прийти на работу всем четверым вот так, по-новому — в открытых платьях и в открытом настроении...

На другие отделы это производило впечатление, мужики — эмэнэсы и старшие — два-три дня подряд проявляли усиленный интерес к информации, посещаемость отдела с их стороны резко возрастала, и один раз был даже налажен учет этой посещаемости: тайно галочками отмечалось, кто сколько раз посетил отдел в эти дни открытых дверей. Рекорд — увы!— побил седенький инженерик из того коридора на пятом этаже, в который надо было оформлять особый пропуск с красной чертой по диагонали и который поэтому назывался «диагоналкой». Даже удивительно, как этот седенький, да еще, кажется, и слегка хроменький, в диагоналке прижился — там народ все был солидный, хорошо знающий себе цену, очень редко снисходивший до личного посещения отдела информации и библиографии. Впро-

чем, этот учет, эти самые галочки практиковались только однажды,— каждая выдумка хороша, пока она свеженькая, пока о ней не подозревает никто, кроме тех, кто ее выдумал.

Ну, воротнички — это все пустяки, не так серьезно, как может показаться с первого взгляда, а на самом деле?

На самом деле «Тибошка» был не таким уж несерьезным и не таким уж маленьким отделом — туда входили технический архив, библиотека, машинное отделение и, наконец, работники технической информации как таковой, то есть комната № 475.

Но это только формально числилось — по отделу кадров и по структуре НИИ-9, сама же Ирина Викторовна по-своему судила о своем отделе. Она знала, что если она заболеет и не выйдет на работу, положим, в понедельник, так только в пятницу об этом узнают в архиве, в четверг или в среду — в библиотеке, во вторник или даже в тот же самый понедельник узнают в «машинке», но узнают как бы только между прочим, а вот в комнате № 475 ее опоздание в пределах четверти часа уже становилось настоящим ЧП.

Иногда в разгар рабочего дня Ирина Викторовна вдруг охватывала взглядом трех своих сотрудниц и себя, четвертую, каким-то образом тоже видела среди них.

«Четверо...— подводила она итог, а потом пересчитывала:— раз, два, три, четыре...», чувствуя в это время не себя одну и даже не себя вместе с Нюрком, а действительно сразу всех четверых...

Она удивлялась этому чувству, почти что физическому ощущению не только своей собственной кожи, но и кожи всех четверых, она знала, кому прохладно сейчас от форточки, а кому в то же самое время мешает духота, знала, кто и в каком настроении пришел сегодня на работу, и угадывала тот момент, когда работа окончательно оттесняет первичное, то есть домашнее настроение. Это знание, по сути дела, и было ее руководством коллективом, если оно действительно было и если его можно было так нескладно назвать.

«Раз, два, три, четыре...» А почему же все-таки четверо — это было что-то одно?

А потому, что казалось, будто когда-то, поначалу, все эти четверо были чем-то одним, и только потом, много позже, это одно прошло через четыре судьбы, если еще точнее,— через четыре такие жизни, которые называ-

ются любовью. Прошло и разъединилось на четвертушки, но ведь все равно когда-то было одним!

Самую скромную и малозначительную роль в жизни-любви, несмотря на то что она была старше всех, Ирина Викторовна до сих пор отводила самой себе. Ну, и еще, пожалуй, Валерии Владимировне Поспитович. Самой же выразительной и значительной фигурой, несомненно, была в этом смысле Нюрок — Анна Михайловна Бессонова.

Она пережила несколько историй, и каких! Замужем она была два раза, в третий раз тоже была, но не замужем, и все это — по любви, по любви истинной... У Нюрок росла прелестная дочурка — невеста Аркашке! — посмеивались между собой приятельницы, но Ирина Викторовна отчетливо понимала, что Аркашка никогда не будет достоин этого чудного создания; единственно, что он может,— искалечить судьбу удивительной будущей женщины, у которой даже взрослым женщинам неизменно хотелось чему-то научиться, что-то перенять...

И Нюрок это понимала тоже, и чем дальше, тем подруги все реже шутили на эту тему, зато чем дальше, тем все в больших подробностях Нюрок посвящала Ирину Викторовну в свои душевные дела — в настоящие и, главным образом, в прошлые. Посвящала и просвещала: Ирина Викторовна понимала, что ей просвещение требуется, что без Нюрка — она темная женщина.

О Нюрке она твердо знала, что та в любви себя не жалела никогда, что если любовь с ней случалась, так это было для нее все равно что пожар, все равно что крест, который, раз поднявши, нужно нести и нести — все равно в какую сторону, даже если ни в одной стороне не видно никакого выхода и ничего не маячит. Такой была Нюрок — ничуть не бережливой по отношению к самой себе, но других женщин, Ирину Викторовну особенно, она считала необходимым оберегать. «Поверь мне...» — начинала она рассказ о какой-нибудь из своих собственных историй, и уже эти первые слова произносила так и смотрела тебе в глаза так, и так дышала, что не поверить ей было невозможно.

Будь Ирина Викторовна мужчиной — молодым или старым, женатым или одиноким — в любом случае она носила бы Нюрка на руках, она влюблялась бы в нее не только с первого взгляда, а с первого взгляда каждый день.

Нельзя сказать, чтобы мужчины этого совсем не понимали — понимали, но от этого Нюрку еще никогда не было легко, зато тяжело было всегда.

Нюрок была красивой под мальчишку, с челочкой, с девичьей легкой и даже легкомысленной фигуркой, так что все еще невозможно было представить, что ей — около сорока, что у нее такое женское прошлое, которое другую испепелило бы до конца, ничего не оставило бы ни от души, ни от тела, ни от зеленовато-серых доброжелательных и даже наивных глаз, но у нее все это осталось, больше того — все это еще развивалось и шло вперед, к чему-то и куда-то...

Ирина Викторовна думала, что тут, пожалуй, и была причина великих трагедий этой женщины: никто не мог хотя бы приблизительно угадать настоящего Нюрка, ее всегда принимали не за ту; когда же наконец ее угадывали, узнавали — было уже поздно, уже слишком многое до этого совершилось не так, было не тем...

Ладно, Нюрок — особое явление, редкость, другие сотрудницы отдела — раз, два, три! — редкостями не были: одно-другое увлечение, замужество, ребенок, общее для женских лиц сходство в том выражении, которое приносит еще не привычное, еще не освоенное материнство, а потом — оно же, но уже как привычка, как добровольная, но необходимость, а все равно — боже мой! — сколько же в них, почти одинаковых, своей собственной, а не общей судьбы, как чрезмерно они переполнены этой судьбой вот сейчас, сегодня и сиюминутно! Судьбой вчерашней и вечерней, длившейся те несколько часов, в которые необходимо успеть сделать все по дому, которые, собственно, и составляют семейную жизнь, и даже — семейное счастье, если ты в него все еще веришь; судьбой уже сегодняшней, утренней и поэтому мгновенной, оформившейся в одну секунду, в ту, например, когда, торопясь на работу, с одним ботинком в руке, а с другим на ноге, ты, на прощание, чмокаешь мужа в одеколоновую, только что побритую щеку; судьбой текущего рабочего дня, когда случился какой-то долгожданный, а то и совсем неожиданный и поэтому ошеломляющий телефонный звонок...

И, в общем, так: стены, вся атмосфера комнаты № 475 словно материальными частицами были пронизаны и пропитаны вовсе не проблемами технической информации, а проблемой любви в самых разных ее проявлениях: сиюминутной и вековой, действительной

и воображаемой, не поддающейся никакой машинной обработке.

Это вовсе не значило, будто в комнате № 475 то и дело произносилось это слово — любовь, скорее наоборот; если кто-то из сотрудниц — какая-то одна из этих «раз, два, три, четыре» — пыталась информировать всех остальных о положении своих дел в этой области, ее тут же отвлекали, уводили в сторону.

Так нужно было, а еще так было потому, что шеф отдела строго придерживалась этого порядка. И в результате ей были благодарны: искренность часто бывает хороша сегодня, назавтра она может стать излишеством и неудобством. Ей были благодарны за себя и за нее тоже, за то, что она твердо держит определенный стиль и, общительная, даже милая, умеющая увлекаться, все равно неизменно держится так, словно к ней эта проблема имеет лишь теоретическое отношение.

Нюрок ее за это просто обожала, завидовала и говорила, что будь у нее хотя бы одна десятая такого умения переводить в теоретический план и наблюдать за «всем» как бы со стороны,— она считала бы себя самой счастливой женщиной на свете, а главное, научила бы этому умению своего Светлячка.

В ответ Ирина Викторовна думала, что вот сейчас, в образе какого-нибудь шалопая из шестого или седьмого «Б» класса, где-то растет деспот и противный человек, который в свое время загубит судьбу чудной женщины, Светланы Бессоновой,— совершенству никогда ведь не бывает уютно на этом свете; а еще, где-то в глубине души, на зависть и на похвалы Нюрка, она отвечала ей глубочайшим признанием и удивлением; она ведь чувствовала себя перед Нюрком, словно перед Монбланом — нужно было круто-круто запрокидывать лицо, чтобы распознать, что же там, наверху, так ослепительно и недоступно сияет? И — ослепляет?

Но когда нынче Василий Никандрович пришел в отдел, чтобы вручить ей свой бланк-заявку, потом ушел, потом пришел снова и сказал: «А вот еще что забыл сказать», а потом, уходя, еще раз признался: «Может, опять чего-то недосмотрел?», когда это все-таки случилось, причем сразу же после того, как с Ириной Викторовной «произошло все»,— все изменилось в отделе информации и библиографии.

Ирина Викторовна почти что слышала грохот: рушился стиль, который она сама годами создавала в от-

деле. Незримые, но безусловно материальные частицы, частицы любви, до нынешнего дня располагавшиеся в атмосфере комнаты № 475 в определенном порядке и в определенной системе, вдруг пришли в турбулентное движение, пронизывая все одушевленные и неодушевленные предметы. Все в один миг зашло так далеко, что уже ничего нельзя было объяснить никому, даже Нюрку, нельзя было рассеять свои страхи, боязнь и опасения. Уже не было и следа теории этой проблемы, за которую Нюрок так уважала своего шефа,— только одна практика, хаотическая и сумасбродная.

Ирина Викторовна забилась в библиотеку, да так, что даже Нюрок не нашла ее там; за несколько минут до звонка она выскочила на улицу, на автобусную остановку и уехала домой, испытывая небывалый страх: если уж нынешний день был таким, что же будет дальше?

А между тем неделя прошла как неделя. И другая неделя — тоже как неделя. Потом прошел месяц, начался второй, начался конец зимы, дни стали очень заметно прибывать, Аркашка стал мечтать о весенних и чуть ли не о летних каникулах, а Ирину Викторовну стали вызывать в школу, чтобы делать ей серьезные и самые серьезные предупреждения в отношении Аркашки. Однако в комнате № 475 ничего больше не происходило. Ничего такого особенного...

Ирина Викторовна стала подумывать: ну, если «призошло все», так, может быть, уже нечему больше происходить?

Впрочем, она не только думала так, а еще и совершенно иначе, совсем по-другому, но только сама не знала, как же все-таки она думает?

Чего-то она теперь всегда ждала на работе, в комнате № 475,— очень отчетливо, тревожно, конкретно, ну, вот так же примерно, как иной раз приходилось ей ждать Аркашку, когда он задерживался в музыкальном кружке или у своего друга-филателиста: вот Аркашка поднимается на лифте, вот проходит по лестничной площадке, вот звонит в дверь... Все так и есть: и поднимается, и проходит, и звонит, но только не Аркашка, а соседский молодой человек, и не в твою, а в свою собственную квартиру. Очень конкретное и явственное ожидание.

Ей становилось грустно, и она знала — от чего грусть: от того, что годы уже прошли, молодость прошла и нет никаких признаков, что она вернется, от того, что вместо чувств, естественных и определенных, ей досаждают мысли, рассуждения и бесконечные ассоциации, которые теснят ее самое, ее жизнь, ее готовность к жизни, снедают жалкий остаток женской судьбы.

Иногда становилось радостно, но вот тут она уже не знала, от чего радость: от того ли, что впереди ее ждет что-то очень трудное и все-таки посильное, или от того, что ничего ее уже не ждет, и она свободна от своего будущего, и нет у нее никаких тревог и забот — как хорошо?!

Мансуров-Курильский удивлялся и так, и этак,— то говорил, чтобы она немедленно прошла все этапы диспансеризации, то упрекал в легкомыслии:

— Скажи на милость, мать, что ты хохочешь? Как девчонка?

Редко, а все-таки он бывал прав, Мансуров-Курильский: с ней, странно сказать, происходило, должно быть, то самое, что происходит с мальчишками и девчонками в девятых и в десятых классах.

...Неужели она только сейчас повторяет пропущенный материал?

Когда-то ее учило военное время, а она хотела быть в полной власти этого обучения: просыпаясь чуть свет, шила солдатские рукавицы, потом бежала в школу, из школы — в госпиталь, навещать раненых, милого лейтенанта Мансурова, потом — домой; дома делала уроки и допоздна готовила «школьный информационный бюллетень» о положении на фронтах, о героизме наших воинов, наклеивая на лист оберточной бумаги вырезки из газет... Потом — снова рукавицы и немного сна. Какой там сон — и во сне ведь терзалась упреками, что вот спит в теплой кровати, а какой-то солдат, тот самый, сообщение о героизме которого она только что наклеила на желтый оберточный лист, сейчас лежит на снегу под пулями, а кто-то, тоже сейчас, сию секунду, обязательно умирает, а еще кто-то... Так было несколько лет изо дня в день, из ночи в ночь.

И вот так, еще в школе, она пропустила необходимый материал, а Никандров — при чем? При чем оказался он?

У него своя собственная семья, собственная жизнь, он в руках у самого себя, и это получается у него не-

плохо, отлично получается, все это видят, все это уважают, она-то какое отношение имеет к этому всему? Почему она решила, что когда «произошло все», так произошло именно по отношению к нему? Что это вдруг за дикое желание поставить человека в положение десятиклассника?

«Ах, да,— вспоминала Ирина Викторовна,— я же ведь его не люблю, еще — нет, я только хочу узнать — люблю ли я его? Вот узнаю и успокоюсь. Я его никак не потревожу, не нарушу его жизни!»

«Так это же значит, что все заранее обречено и безнадежно?» — вела она диалог сама с собою.

«И хорошо, так и надо: перешагнуть через безнадежность — значит доказать истину! Нюрок говорит о Никандрове: «Какой мужик — убиться можно!», называет его, вздыхая, «голубой» и «лапой», но ведь убиться-то просто так, безнадежно, даже она не убьется! А кому-то надо это сделать — убиться просто так... Надо, обязательно!»

Еще Нюрок говорит:

«Не люблю недоступных мужиков! Прямо-таки ненавижу! Для женщины — это еще позволительно, для мужика — это грех и святотатство!»

Но на вопрос «а Никандров?» отвечает:

«Он-то — все равно лапа!»

А Ирина Викторовна — убьется. Без всякой надежды. А что?! Выяснит для себя окончательно, что Никандров — это то, то самое, и молча, никому ничего не сказав, тем более ничего не сказав ему, будет убиваться, чахнуть, страдать и мучиться... И — стариться.

«Да ты уже и сейчас, дура, мучаешься!— увещевала она себя.— Чего тебе еще-то надо, какого черта, какого мучения?»

Иногда же она возводила себя в абсолют: если она действительно любит, значит, любовь существует, а если не любит, значит, и любви тоже нет, не было и вообще никогда не будет — одни только выдумки, одно баловство романистов... Но отсюда тоже следовало, что она обязательно должна любить — ради спасения любви как таковой, в интересах всего человечества.

«И вообще — что бы там ни было, лишь бы что-нибудь было!»

«Все дело в возрасте,— думала она дальше,— слишком много я знаю, хотя бы и теоретически, из книг,

а женщине необходимо незнание, темнота... Тогда будет порядок!»

Наконец на некоторое время Ирине Викторовне удавалось настроиться на иронический лад — она смотрела на себя со стороны, и тут видно было, какая она смешная. Ну просто умора! Десятиклассница в возрасте 45—n! Разве не смешно?!

— Знаешь что,— говорила ей Нюрок те самые слова, кроме которых она ничего другого сказать и не могла,— знаешь что? Никандров — это нам гибель... Если уж он — тогда сразу же присматривай второго любовника, невропатолога или психотерапевта по специальности! Честно говорю! Поверь мне! Веришь?

Как будто Ирина Викторовна Нюрку когда-нибудь не верила! Она Нюрку верила всегда, но только теперь она старалась как можно меньше ей о чем-нибудь серьезном говорить, чтобы не было поводов ей верить. Чтобы не спрашивать у самой себя: а в чем, собственно, она может, в чем по долгу их дружбы и по необходимости она должна Нюрку открываться?

Никогда и ни у кого из своих сотрудниц Ирина Викторовна ничего не искала — ни утешений, ни откровений, никаких душеспасительных собеседований. В этом заключалось ее положение шефа и законодательницы стиля — быть не «в», а «над», быть теоретиком, а не практиком.

Но теперь она почувствовала острую необходимость самой уяснить реальный опыт других женщин.

Ей казалось, что она не знает самого главного о себе, то есть не знает, любит она или не любит, а другие могут это знать и могут запросто ей ответить.

Валерия Владимировна Поспитович — это была особая статья, не совсем понятная, и общаться с ней Ирина Викторовна не хотела. Тем более — по такому деликатному поводу.

Но вот, кроме Нюрка, в комнате № 475 была еще одна Анна — Анна Борисовна Глеб — такая уж странная фамилия! В отличие от Нюрка, она прозывалась Анютой. Недавно, месяца два назад, ей исполнилось тридцать два; как обычно в таких случаях, не очень круглая, а все-таки дата была отмечена в отделе шампанским, цветами и несколькими коробками конфет, тем более что Анюта еще не скрывала своих лет, дело выглядело честно, откровенно, а это всегда бывает украшением любого мероприятия. Это шло и к самой

Анюте — она была высокой, тонкой и совершенно круглолицей. Оригинальное сочетание! У нее был развитый бюст и настолько тонкая талия, что, одеваясь, Анюта даже старалась немножечко себя утолщить в этом месте. Потом у нее были крупные мужские руки и очень резкие движения.

Ирина Викторовна пригласила Анюту в кино.

Пошли, и вот что оказалось: Анюта втайне от комнаты № 475 исповедовала свободную любовь.

Факт невероятный!

Анюта краснела, если в отделе кто-нибудь затрагивал какую-нибудь любовную историю, тем более если при этом упоминались подробности в какой-то мере щепетильные,— ее круглые глаза на круглом и кумачовом лице начинали выражать такое смущение, что всем становилось жалко Анюту, и разговор прекращался.

Едва в шесть ноль-ноль в комнату № 475 доносился звонок — окончание работы,— как Анюта была уже в конце коридора, через ступеньку прыгала с четвертого до первого этажа, а у дверей ее ждал муж — Володя Глеб из архитектурной мастерской, которая была неподалеку от НИИ-9. В мастерской рабочий день кончался раньше...

Встретившись, Анюта и Володя Глеб галопировали по магазинам, а потом, тоже вдвоем,— к двоим детишкам в сад, которых они любили до изнеможения.

— Да,— говорила эта самая Анюта Ирине Викторовне после кино,— да-да; свободная любовь или — никакой! Без этого женщина — мать, жена, сестра, дочь, работница, домработница, кто угодно, но только не женщина — нет и нет! Я просто завидую тем женщинам, которые в средние века шли на свидание, рискуя тем, что их живыми закопают в землю! Представить себе: ночь, темно, может быть, даже буря, а ты, закутавшись с ног до головы в покрывало, спешишь на свидание и знаешь, что за измену тебя обязательно закопают живой в землю! Или сожгут на костре! Или еще что-нибудь такое... А?! — И Анюта Глеб вытаращила глаза и залилась краской, а ее огромные, сильные ручищи схватили аккуратные руки Ирины Викторовны и почти по-настоящему больно сжали их...

Ирина Викторовна вдруг поняла весь нескладный, крупноголовый, словно ребенком нарисованный рисунок Анюты Глеб, поняла, насколько эта нескладность

и необычность может быть привлекательной, как Анюта может потрясти сознание мужчины, сначала будучи потрясенной сама.

«Боже мой!— подумала она.— А я-то, я чем могу кого-нибудь потрясти! Сплошная же ординарность! Среднеарифметическая величина!»

Ирина Викторовна тоже представила женщину, которая спешит на свидание, зная, что ее могут закопать, почти что наверняка закопают в землю или сожгут на костре, и ею овладело ощущение безумного риска, и пришла догадка о той сумасшедшей любви, которая совершалась в ночь такого вот свидания!

Они с Анютой Глеб были в это время в сквере неподалеку от кино и от входа в метро, под ногами хлюпала весенняя ростепель — желтый песок с серым городским залежалым снегом, и над головами у них тоже было что-то в этом же роде — низкие, темные и тяжелые облака. Сыро было на улице, сумрачно, и Анюта торопилась домой, к мужу Володе, к детишкам, один из которых был нездоров как раз по причине всей этой слякоти и сырости, и, торопясь, быстро переступая с ноги на ногу, но оставаясь на месте, Анюта вот так сразу, без обиняков и страстно, изложила Ирине Викторовне свою точку зрения.

— Анюта, это ты?— спросила у нее Ирина Викторовна.

— Я!— ответила Анюта.— Это я!

— Володя?

— Володя все знает! Все-все на свете!

— То есть?

— Он знает все точно так же, как и я; еще когда мы женились, мы сказали друг другу: семья, брак, семейная любовь — это одно, одна жизнь, а любовь может быть чем-то совсем другим, и мы не должны, мы не имеем права мешать друг другу в этом другом!

— Ну и что? Как же у вас? На практике?

— Ужасно: не дай бог, если вдруг будет практика!— воскликнула Анюта и, кажется, чуть не заплакала, повторяя:— Ужасно! Это — ужасно!— Потом она вдруг просияла, потом круглое лицо ее выразило заботу, она кинулась в метро и, оглядываясь, указывая на часы, брызгая на чулки пятнами желтого песка и серого снега, прокричала:

— Ну, это же — потом! Когда-нибудь, не сейчас. Потом, потом!

Василий Никандрович последнее время стал заметно меньше бывать в отделе информации и библиографии, а присылал своего заместителя — молодого, очень самоуверенного и разговорчивого доктора наук Ефименко.

Ефименко усвоил деловитость и некоторые манеры своего шефа, но ошибся при этом, потому что манер у Никандрова не было никаких — Никандров был таким, какой он есть, больше ничего; когда же Ефименко совместил свою собственную самоуверенность и разговорчивость с некоторыми чисто внешними чертами никандровского поведения — это получилось очень нелепо, даже глупо. Единственно, что в какой-то мере сглаживало эту глупость,— искреннее уважение и, должно быть, тоже искренняя любовь Ефименко к своему шефу.

Несмотря на то, что «произошло все», жизнь и работа в комнате № 475 шли своим обычным чередом.

Глава четвертая

БОРДОВЫЙ «МОСКВИЧ»

У Никандрова был бордовый «Москвич», и стоял он в длинном и сером ряду индивидуальных гаражей, а этот ряд под общей односкатной кровлей едва ли не на километр тянулся вдоль захламленного оврага.

В овраге уже давно и многое что начиналось, но еще ничего не кончилось: начиналось строительство водного бассейна, и пирамиды коричневого грунта возвышались вплотную друг к другу; начинался пешеходный виадук, и высокие металлические сваи парами протыкали овраг на значительном протяжении; начинался коллектор, и повсюду были раскиданы железобетонные кольца большого диаметра.

Тут же произрастали хиленькие деревца — остатки той рощи, которая была здесь когда-то, и вновь высаженные в плановом порядке деревья, которым когда-нибудь, после завершения работ по строительству бассейна, виадука и коллектора, предстояло создать сквер или еще какой-то «зеленый пояс».

Зато по другую сторону серой гаражной ленты строительство было закончено несколько лет назад, и там возвышались добротные дома, оттенками и архитектурой напоминающие здание НИИ-9, только жилые, с ма-

ленькими балкончиками по фасаду и с большими — по торцам...

В одном из таких домов — корпус четыре, кажется, на пятом этаже жил Василий Никандрович Никандров.

Все это — и окружающий пейзаж, и корпус четыре — Ирина Викторовна уже видела два раза, приезжая сюда просто так: не все ли равно, где погулять, провести свободное время? Теперь она видела это все в третий раз, и уже не просто так...

Было утро, весна, яркое, доброе и доброжелательное солнце, которое, должно быть, и подтолкнуло Ирину Викторовну сюда, к этому оврагу, но были и мучительные упреки самой себе — как же так, до чего же она в самом деле дошла, до чего опустилась, где же ее достоинство? Было страшное, прямо-таки непостижимое волнение, которое, казалось, невозможно было в себе подавить.

Но Ирина Викторовна его подавила, и когда бордовый «Москвич» выехал с дорожки от гаража на проезжую часть, она оказалась тут же:

— Ах!

«Москвич» притормозил, дверца открылась, и очень удивленный Никандров спросил:

— Ирочка? Вы здесь оказались?! На работу, да?

— Оказалась!— подтвердила Ирина Викторовна, кивнула, засмеялась, а когда сидела уже в машине, рядом с Никандровым, пояснила:

— Родственница в вашем районе. Старенькая. Тетушка. Иногда приходится у нее ночевать...

— Бессонная ночь?

— Конечно!

— А выглядите прекрасно! После бессонной!

— На том стоим...

Вот так самостоятельная женщина, до слез жалея себя, влезла в чужой «Москвич» и поехала — куда? Если бы в темный лес, или куда-нибудь на дачу, или в какой-нибудь городок, название которого она и не слышала никогда прежде!

Нет, она поехала в НИИ-9, в комнату № 475. Если бы ее везли сейчас силой, душили, затыкали рот, чтобы не кричала,— вот было бы счастье!

Если бы бордовый «Москвич» вез ее не в НИИ-9, а из НИИ-9 и рабочий день не предстоял бы ей впереди, а был уже прошлым днем, и Никандров никуда бы не торопился, и она могла бы попросить его, чтобы он

свернул в сторону с этих улиц — полутемных с одной стороны и слишком ярко освещенных утренним солнцем с другой, или чтобы он высадил ее из бордового «Москвича» и чтобы она пошла и пошла куда-нибудь прочь в ощущении минувшего плена и вновь обретенной свободы!

Но Никандров никогда не возвращался с работы один, не было случая, чтобы у него не оказалось попутчика, а ей-то зачем были попутчики? Для чего?

Другое дело, что сейчас, сию минуту, она рада-радешенька была бы любому попутчику, хотя бы технику Мишелю, лишь бы кто-нибудь рядом, а не это мучительное одиночество с глазу на глаз с Никандровым!

Ирина Викторовна почувствовала боль в сердце, должно быть, стенокардическую... «Вот бы умереть! Самое-самое время!»

Однако она ехала в бордовом «Москвиче» и ехала, жила и жила под муторным и тягостным грузом как раз той самой банальности, от которой так хотела избавиться нынче же и навсегда.

«Ерунда!— сказала ей не так давно Нюрок.— Если любишь, то знаешь об этом; не дай бог, как знаешь! А тогда — ничего не страшно!»

Но Ирине Викторовне было страшно.

Страшась, она вспомнила, как Анюта Глеб, на ее очень издалека поставленный вопрос, ответила: «Узнать? Просто! Надо до этого человека дотронуться. Тогда будет ясно: он или не он!»

Легко давать советы, ах, как легко, оскорбительно легко!

Все-таки Ирина Викторовна заставила себя дотронуться. Это был он.

И он заметил, как до него дотронулись.

Все еще мелькали встречные машины, светофоры и дома — справа с тусклыми окнами, слева освещенные солнцем, яркие. Ни те, ни другие нельзя было разглядеть: одни были в тумане, другие — слепили глаза. И времени не было разглядывать: уже и станция метро, здесь многие сотрудники НИИ-9, следуя к месту работы, пересаживались на автобус и еще три остановки ехали по прямому и широкому шоссе.

О чем-то Ирина Викторовна и Василий Никандрович сказали друг другу, о чем-то очень незначительном, и приехали.

Через полчаса, сидя за столом в своем отделе, Ирина Викторовна разбиралась в событии. «И все-таки,— думала она,— хотя это и он, но это не по мне! Надо считаться с тем, что ты есть, а не выдумывать себя. Если я не певица, так и не лезу на сцену, не исполняю перед публикой: «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви мо-о-ей!» Не исполняю ведь? И перед самой собой петь и танцевать тоже не надо, и для этого тоже нужен талант, а его — нет! Это надо понять однажды, а тогда все встанет на свои места, все и навсегда! Бесталанность — это же очень хорошо, это отлично, это гораздо лучше маленького талантишки, который только и способен что обманывать человека, издеваться над ним, ставить его в нелепое положение перед всем светом! Так что я — счастливый человек, да!»

Неожиданно эти рассуждения отчасти успокоили ее, и в благодарность она продолжила их: «Признать, понять и почувствовать отсутствие в себе таланта — это уже талант, уже достоинство и руководство к жизни!»

Она и еще что-то думала вокруг этого, а вокруг этого оказался Мансуров-Курильский, человек, безусловно, бесталанный, но, в общем-то, не плохой и, следовательно, по всем статьям под стать ей самой; оказался и Аркашка — милый шалопай, которого матери нужно воспитывать да воспитывать, забыв про все остальное, а про себя — прежде всего; оказалась самоотверженная, даже благородная свекровь Евгения Семеновна, дня ведь не проходило, чтобы она не похвалила невестку, не приняла ее сторону в любом семейном деле, и, наконец, вокруг этого оказалась и она сама, Ирина Викторовна Мансурова, действительная и нисколько не выдуманная, а такая, какая есть: жена, мать, невестка, шеф «Тибошки», которую надо было бы забыть, вычеркнуть из своей памяти, из своих чувств, но никак не удается это сделать... Потом вокруг оказалось еще и небо, светившее в просторное окно комнаты № 475, и солнце, и воздух... Вот и бери из всего, что вокруг, свою собственную жизнь, вполне хватит, чтобы взять, хватит с лихвой, еще и останется, очень-очень много останется, так что бери, не прибедняйся, условие только одно: не хватай чужого, тебе несвойственного. Чужое — не твое, а главное, оно ведь все равно обернется грустью.

Не надо, ни в коем случае, не надо чужого!

«Ну, конечно,— еще простила она себя,— я перепутала свое с чужим по той же причине: у меня было ран-

нее повзросление, ранние заботы и слишком скромное девичество, оно даже не успело наложить своего отпечатка на мою личность, а теперь я почувствовала этот дефицит, отсутствие в организме некоторых витаминов...»

«Конечно, женщина, если она не то чтобы хороша, а хотя бы только неплоха, не может оставлять при себе все это неплохое: оставлять все, что ей и самой нравится,— это для нее непосильная задача, равная добровольному и пожизненному заключению. Если у нее неплохие ножки — кто-то обязательно должен это увидеть, быть задетым этим за живое, еще лучше — кто-то должен быть этим потрясен.

Так что скупых рыцарей среди женщин нет и не должно быть, зато легко погибнуть от единоличного обладания самою собой».

«Женщина — это всегда звезда какой-нибудь величины, и пусть чуть-чуть, но должна сиять. Если уж не звезда — так хотя бы кинозвезда... От того, что она кинозвезда домашнего масштаба, дело ничуть не меняется...»

«Вот и буду домашней кинозвездой. Трудно, очень трудно, потому что Аркашка этого не поймет, Мансуров-Курильский этого совсем не поймет; неплохой человек, он давным-давно не способен хотя бы немного освободить ее от единоличного обладания всем тем, что она есть; у него, пожалуй, и никогда-то не было таких способностей... Мансуров-Курильский думает, что если он не заглядывается на других женщин, так это хорошо, это отлично, прежде всего — для нее. Отлично-то отлично, но ему и в голову не придет, что ему никогда уже ничего не увидеть и не открыть и в своей собственной жене. Он раз и навсегда решил о ней: «Точка!», в то время как в действительности она — многоточие...»

«Да, трудная это роль — домашней кинозвезды. Конечно, было гораздо легче и естественнее исполнять эту роль до тех пор, пока не «произошло все», но она исполнит ее и после этого. И никто так и не узнает, что она — хоть и домашняя, а все-таки звезда, а это незнание также оскорбительно и необъяснимо, как услышанные ею однажды слова официантки: «А вы случайно ложку — не украли?» Так, кажется...

«Кроме того — усталость... Тягостная усталость от мыслей о любви. Так что если завтра придет настоящая

и взаимная любовь,— ее, настоящую, не хватит сил встретить. Будет банкротство».

Она вспомнила, как Никандров когда-то смотрел на нее — совершенно особенным образом. Он как будто бы знал о ней и даже в ней что-то такое, чего она сама о себе не знала. Она отвечала ему взглядом на взгляд: «Отстаньте! Я и моя жизнь — запомните раз и навсегда!— это совсем не ваше дело! Понятно?! Отстаньте, вам говорят! Или вы — уличный хулиган и приставала? Тогда мне не остается ничего другого, как съездить вам по физиономии и крикнуть милиционера!» Ну а зачем Никандрову милицейская ситуация? Он и перестал на нее вот так смотреть — смотрел, но почти что никак. А тогда она стала томиться и до того дотомилась, что «произошло все», до того, что сама и по-хамски влезла к нему в «Москвич». Нет-нет, действительно, сейчас же надо звать милиционера, сейчас же наводить порядок, пресекать не чужое, а свое собственное хамство: «Милиционер, пресеките, пожалуйста! Разъясните вот этой самой даме, что неприлично выпрашивать у господа бога любовь, находясь в районе сорока — сорока пяти лет!» — «Слова-то у вас, гражданка: «находясь», «в районе»?!» — «Сойдет! В метро на вывесках написано: «Находясь на эскалаторе...» — «Ну, ладно. А где же эта самая дама?» — «А эта самая — это я!»

Вот так. Моя милиция меня бережет.

«И куда только деваться от мыслей? Как избавиться от них? Это что-то ужасное — чувствуешь себя амебой наоборот: амеба существует, но не думает, а ты думаешь и думаешь, но не существуешь. Последовательно приближаешь свое собственное реальное существование к нулю. Она не бесчувственна, совсем нет! Но только ее все время преследует чувство мысли. И размышления».

«Ведь как учила тебя когда-то мама? Как ты сама учишь нынче сына Аркашку? Учишь соображать по поводу собственных поступков, а главное, по поводу собственного характера — какой ты? Добрый или злой? Покладистый или зануда? Хороший человек или несносный для всех окружающих? Его-то учишь, а сама?»

«Ты сама в этом житейском и реальном смысле совсем недостаточно интересуешься собой, особенно — дома. Какая ты есть, такая и ладно. Зато все время думаешь обо всем на свете, а потом думаешь: почему ты думаешь обо всем на свете именно так, а не как-нибудь иначе, потом — воображаешь свою жизнь с милиционе-

рами и без. Одно воображение, а где же натура? Действительно, век такой, что ли — этот самый двадцатый? Одни только представления о жизни, а где же жизнь?»

«Ну вот, потому ты и хочешь любви — ведь любовь, настоящая-то, она же натуральна! Естественна!»

«А ты уже давно испорченная собственным воображением женщина. А главное, пришедшая по всем статьям в полную негодность для настоящей любви!»

Действительно — не дай бог кто-нибудь вдруг проник бы во все ее мысли: и смех, и грех, и страшный ералаш, и какая-то белка в колесе.

Почти бесконечно размышляла Ирина Викторовна и глядела в окно на старый тополь.

Если кто-нибудь в комнате № 475 задумывается — обязательно смотрит на тополь.

Тополь этот был единственным свидетелем и даже участником той не столь уж отдаленной жизни, которая текла здесь, когда на месте современного НИИ стояло несколько десятков небольших деревянных домиков под толевыми крышами, а вокруг были кустарники, сады и такие вот, уже в ту пору почерневшие от времени тополя, на ветвях которых сушилось белье, а под ветвями, на земле, копошились курицы с цыплятами и поросята, а то, может быть, стояли столики грубой работы, за которыми по вечерам летних и теплых дней сумерничали семьи, а по воскресеньям собирались соседи — «забить козла», почитать газетку...

От этой минувшей жизни не осталось ничего: ни садов, ни куриц, ни доминошников, ни деревянных домиков,— кругом асфальт, кругом стены и окна огромного здания НИИ-9, один этот тополь все еще тянется от земли вверх, но достает лишь до карниза третьего этажа, в то время как всего этажей — пять, да еще один подвальный; и кажется, единственно, для чего хоть немного еще нужно это очень древнее дерево — чтобы на него изредка смотреть в задумчивости. Оно уже все обсмотрено — оба ствола и все ветви, а заодно, наверное, и все обдумано; однако же Ирина Викторовна довольно часто наблюдает, как из окон напротив малознакомые лица сотрудников самых разных отделов, секторов и экспериментальных мастерских НИИ-9 задумчиво посматривают на очень нескладное дерево, по чьей-то прихоти оставленное в живых на асфальтовом дворе. По каким только поводам, наверное, не глядят на него?!

Кто-то ищет оптимальное решение технической задачи, а кто-то не ладит со своим начальником и думает — как ему быть? А у кого-то ноксироновое лето — дочь или сын сдает экзамен в вуз, и, против ожидания, завалил математику либо сочинение.

А после обеденного перерыва, когда в состоянии все той же задумчивости Ирина Викторовна перехватила в институтском буфете суп с клецками и сосиски с кисленькой горчицей, а потом вернулась в свою «контору», в комнату № 475, ей позвонили из библиотеки:

— Восемь посылок с английской литературой. Помогите просмотреть и разобраться!

— Одни не можете?

— Одни не можем!

— Вот как?!

— А так: у нас над душой стоит Василий Никандрович и требует. А мы — одни не можем. Приходите. Мы без вас погибнем!

— Ну уж?!

— Уже погибли! Он тоже вас требует. Тоже, и еще как!

— Это что же такое происходит, а? — спросила она.

— Мы и сами не знаем что!

Ирина Викторовна бежала по коридорам в библиотеку, в противоположный конец НИИ-9, и думала о том, что когда люди начнут в массовом порядке летать на другие планеты, женщины гораздо лучше мужчин будут переносить выход из сферы земного притяжения в состояние невесомости и обратно, потому что они гораздо больше к этому подготовлены — к переходу из одного состояния в совершенно другое. Из состояния детства — в состояние девичества. Из состояния девичества — в состояние женщины, из состояния женщины в состояние матери. Из состояния матери — куда-то еще, неизвестно куда... «Ясно, что в космических полетах,— думала она,— будет гораздо легче. Там заранее будешь в курсе дела, что тебя ждет впереди — весомость или невесомость!»

В библиотеке на загроможденном столе лежали свеженькие английские издания — много, несколько десятков, за столом сидел Василий Никандрович, раскинув над книгами руки и повторяя:

— Не подходить! Не прикасаться: опасно для жизни!

Ирина Викторовна сразу же поняла, что Никандров хочет получить эти книги сейчас же, до того, как они пройдут библиотечную обработку и встанут на полки, и тем более до того, как библиотека разошлет по отделам извещения о том, что они получены. Извещения эти рассылались каждую неделю по средам. Ею же, Ириной Викторовной, и был заведен этот порядок, причем — твердый. Она очень сердилась на библиотеку, если книги расходились по рукам под честное слово и необработанные.

— ...Опасно для жизни! — повторил Никандров и посмотрел на Ирину Викторовну, и она поняла, что поездка на бордовом «Москвиче» не кончилась — они все еще куда-то едут вместе.

Снова у Ирины Викторовны покалывало в сердце и где-то немного ниже сердца, и снова на лице Никандрова появились те розоватые пятна и та сосредоточенность, которые были у него сегодня утром, в «Москвиче».

Никандров безобразничал в библиотеке, точно зная, что ему это можно, что библиотечные дамы все простят ему — милашке, лапе и обаяшке. Другого они уже давным-давно так направили бы из своих владений, что тот после этого месяца два, а то и три посылал бы к ним какого-нибудь посредника, а сам — ни ногой. Строгие это были дамы.

Но он ведь действительно был неповторим в почти мальчишеском и в то же время вполне серьезном упорстве и настойчивости, он шутил, а между тем был уверен, что добьется своего, и не торопясь убеждал в этом библиотечных дам. Остроумным, умным и хорошо владеющим собою людям удается такая игра не игра, дело не дело, ни то, ни другое, а в то же время — верное достижение своей цели.

Улыбаясь розоватым, открытым и даже простоватым лицом, Никандров стал рассказывать историю о какой-то женщине-пиратке, большой любительнице чтения, потом оборвал рассказ на интересном месте и заявил, что никто и никогда не узнает конца этой истории, если библиотека сию же минуту не пойдет ему навстречу.

Библиотека — две пожилые дамы, еще одна среднего возраста и еще молоденькая девушка,— сердясь, смеясь и возмущаясь, пошла ему навстречу. Никандров по-

мальчишески сунул две книги под пиджак, не то чтобы пряча их, но и не оставляя на виду... У него была сильная, плотная фигура, не спортивная, зато рабочая, широкая в плечах, словно у пожилого фабричного мастера, который лет тридцать простоял на трудовой вахте и лет пятнадцать готов еще простоять. Книги под пиджаком ничуть его не толстили, держались там легко и незаметно, без всяких усилий с его стороны, где-то под мышками и как бы сами по себе.

— Теперь вот эти две,— говорил Никандров, выдергивая из стопы не две, а еще три книги.— На чем договариваемся? На целый рабочий день пришлю вам в помощь свою лаборантку? На два дня — ну?! Ну? Оцените по достоинству собственные блага? Или...

И дело было даже не в словах и не в обещаниях Никандрова, а опять-таки в том, как Никандров держался,— не ерничая, не выпрашивая, он как будто решал занятный кроссворд, привлекая, между прочим, к этому решению и тех женщин, которые его окружали, не то негодуя на него, не то — любуясь им...

Появление в темной комнатушке, именуемой библиотечной кладовой и даже складом, Ирины Викторовны с самого начала было принято библиотечными дамами доброжелательно и с любопытством: «А ну-ка, начальница, что сделаешь ты?»

Ирина Викторовна удовлетворила притязания Никандрова «в порядке исключения», отменив при этом все его обязательства — и рассказ о женщине-пиратке, и обещание прислать лаборантку.

Она сделала распоряжение со всей строгостью, и две пожилые библиотекарши, почувствовав себя уличенными в глупых шалостях, заметно смутились; одна — среднего возраста — с удивлением с ног до головы осмотрела Ирину Викторовну: «Вот командир так командир!», а девочка чуть не заплакала потому, что веселый спектакль был прерван на середине... Все они тотчас разошлись по своим рабочим местам, а Василий Никандрович, когда они остались в кладовой вдвоем, учтиво поблагодарил Ирину Викторовну за то, что та проявила государственную мудрость.

Ирина Викторовна не без вызова сказала:

— Для вас-то, Василий Никандрович? Для вас — любое исключение!

Тогда он положил очень крупную, мужскую руку на ее плечо:

— Добро за добро: в любой момент готов отвезти вас на побывку к вашей тетушке.

— В среду! — ответила она, не слыша себя. — После работы!

Глава пятая

ЖИЛПЛОЩАДЬ ТЕТУШКИ МАРИНЫ

А ведь у Ирины Викторовны действительно была тетушка. Тетушка Марина.

Другое дело, что она жила совсем не в том районе, в котором жил Никандров, но все равно она жила на свете.

При этом ночевать у тетушки, а тем более помогать ей и ухаживать за нею не было ни малейшей необходимости, она сама в свои семьдесят помогала двум почти что пятидесятилетним сыновьям, и вовсе не по-стариковски, а вполне серьезно помогала: по вечерам неустанно ходила из квартиры в квартиру жителей Советского района и страховала их от смерти и увечий, а имущество — от огня и, кажется, всех других бедствий.

Импозантная фигура тетушки Марины, а еще, должно быть, ее глубокая убежденность в жизненной необходимости страхования, всегда производили неотразимое впечатление, и тетушка из квартала в квартал, из года в год, из десятилетия в десятилетие перевыполняла план и была на самом лучшем счету в районной инспекции Госстраха.

К племяннице тетушка Марина относилась сочувственно и в каждую их встречу — один, редко два раза в год — непременно спрашивала:

— А не надо ли тебе, милая, чем-нибудь помочь?

Она была старшей сестрой покойной матери Ирины Викторовны, и мать, бывало, тоже редко, но вспоминала о Марине так:

— Что-то давно не виделись. А надо посоветоваться с Мариной. Обязательно!

Младшая сестра ушла из жизни уже давно, почти молодой, старшая — осталась, и уже в этом заключалась какая-то мудрость тетушки, какое-то ее преимущество.

Давно, Иришка была еще студенткой, тетушка Марина убедительно объясняла своей младшей сестре:

— Все дело в том, что ты, милая, все на свете перепутала! Все-все! Вечно у тебя любовь — к мужу, к детям, к людям... А это — ерунда! Любви нет, есть обязанности. Перед мужем, перед детьми, перед людьми... Нужно отдавать себе в этом отчет умом и даже — сердцем. И все встанет на свои места. Ты существуешь, ты — человек, и поэтому ты обязана, обязана и обязана! Без конца! А любовь?! Что такое? Рабочая лошадь тоже любит своего хозяина... Но лошадь — это другое дело, это существо безотчетное! Она не думает, поэтому и любит...

Вот эту тетушки Марины мораль Ирина Викторовна знала давно, поняла же сравнительно недавно, несколько месяцев назад, когда вся семья Мансуровых долго болела гриппом с разными осложнениями. Болел «сам», болел Аркашка, болела свекровь, жестоко болела Ирина Викторовна. Но в то время как все лежали и стонали, Ирина Викторовна держалась на ногах и за всеми ухаживала. А почему держалась? Почему за всеми ухаживала? Ведь по-настоящему она любила только одного Аркашку, к Мансурову-Курильскому относилась сносно, а еще точнее — никак не относилась, свекровь она не любила никогда, при всем том, что уважала и ценила ее больше других. Спрашивается — в чем же дело? Почему она с одинаковым рвением ухаживала за всеми, чувствуя, какой страшной перегрузке и опасности подвергает свой собственный организм? Потому что: о-бязан-ность!..

Слово нескладное, должно быть, древнее, какое-нибудь азиатское, монгольское; служить на службе — обязанность и воспитывать своего ребенка, исполнять любой другой нравственный долг — тоже обязанность. В английском это точнее, там в это больше вложено человеческого опыта, там — одно дело исполнять служебные обязанности — другое — быть морально обязанным что-то сделать для близкого человека,— а тут, когда Ирина Викторовна не могла стоять на ногах, а все-таки стояла, она стояла исключительно на о-бя-зан-ности, во всех ее смыслах, в том числе — и в азиатском.

Этот азиатский или какой-то другой смысл в последнее время был особенно страшноват: начиная с того новогоднего вечера у Канунниковых, когда «произошло все», произошло, кажется, и исчезновение Мансурова-Курильского: он, как всегда, был рядом с нею и в то же

время его больше не было, вообще не было, он ею не замечался, не попадал в ее поле зрения...

Но случись так,— об этом Ирина Викторовна знала,— случись так, что Мансуров-Курильский завтра серьезно заболеет,— она все забудет, все, что произошло, она днем и ночью будет около него, и в ее поле зрения окажется только он, почти что один, а больше никого... О-бя-зан-ность!

И все-таки тетушка Марина, умная, образованная здравомыслящая женщина, была бы, наверное, права, если бы не одно обстоятельство: обязанность существует еще и перед самою собой, перед своим собственным телом и душой. Мало ли что у тетушки Марины в свое время было два мужа, а теперь было два сына, это еще ни о чем не говорит, она могла так и пройти мимо личной обязанности — обязанности любить для самой себя. Чтобы самой собою быть.

Тетушку Марину вполне можно было понять, когда она объясняла:

— Родился внук, я пошла в больницу, посмотрела на него и решила, что это — уже не мое дело, не моя забота, тем более что сил у меня оставалось немного. Но, представляешь, потом я заметила, что у моего сына недостаточно развито чувство обязанности по отношению к своему сыну, и я уже не могла не вмешаться. Тут и силы у меня появились... То же самое, когда появился второй ребенок у второго сына — внучка. А в чем все дело? Все дело в обязанностях: пока я живу — я обязана. Жить — это значит быть обязанной. А больше — почти ничего. И все люди делятся на обязанных и необязанных, и все. Вот и вся разница между ними.

— А любовь?— спрашивала тетушку Марину Ирина Викторовна в их последнюю встречу.

— Любовь? Что это такое, ты хочешь спросить? А это только обозначение обязанностей. Да. Пошлое и уж, во всяком случае, легкомысленное обозначение, которое позволяет человеку в любой момент отказаться от своих самых главных обязанностей: разлюбил, и конец, а там хоть трава не расти, там дело пусть хоть до суда об алиментах доходит — не все ли равно, если «разлюбил»?

Никак нельзя было представить как тетушку Марину, такую красивую, особенно в молодости, высокую и стройную, с почти античным профилем, кто-то любил, обнимал и целовал, не чувствуя при этом ее скорби?

И вот, отбросив весь тот умный и благородный комплекс, которым была тетушка Марина в целом, Ирина Викторовна остановилась на ее одном-единственном свойстве — на готовности всегда и во всем помочь близкому человеку: в тот же самый день, когда Василий Никандрович положил ей руку на плечо, она поехала к тетушке и попросила ключи от ее квартиры.

Ведь тетушка Марина была на самом лучшем счету в районной инспекции Госстраха, она каждый вечер ходила по своему участку в Советском районе и страховала людей на случай увечий, потери трудоспособности и смерти, а имущество — от пожара, поэтому ее никогда не было дома по вечерам в будни, а в выходные и в праздники ее не было дома потому, что она отправлялась нянчиться со своими внуками.

Тетушка Марина удивилась неожиданному появлению племянницы.

Она удивилась еще больше, когда племянница, не дослушав ее суровой критики последнего романа Ремарка, попросила ключи.

Ключи нужны были Ирине Викторовне, ключи — французский плоский и обычный — круглый, а больше ничего: ни критика Ремарка, ни сам Эрих Мария Ремарк, ни убеждения тетушки Марины, ни ее скорбь и благородство — ничего, кроме вот этих ключей!

Неловкости, угрызений совести, стыда перед тетушкой и упреков самой себе было тут, конечно, у Ирины Викторовны без конца и без края. Страхов — не оберешься!

Но в том-то и дело, что однажды ей уже довелось перешагнуть через край, это когда она втиснулась в бордовый «Москвич» Никандрова и переболела в нем стенокардическими и всеми другими болями. Поэтому теперь, как только ей становилось неловко или больно, она торопилась восстановить в памяти, во всей своей нервной системе ту первую и самую сильную неловкость, тот первый и самый большой страх и то, что уже было — тотчас заглушало в ней все, что есть и даже, казалось ей, способно будет заглушить все, что случится с нею в том же роде когда-нибудь в будущем.

Затем Ирина Викторовна — наконец-то! — стала чувствовать, как ее жизнь достигает апогея. Совершенно отчетливое чувство! Ей даже страшно бывало: ведь

«все» могло и не произойти, и тогда она жила бы, как жила до сих пор — вот ужас-то! Оказывается, она годами шла в полнейшей тьме, но не догадывалась об этом, а когда достигла света и оглянулась назад, тогда эта тьма и представилась ей!

Она удивлялась тому, что это ее новое чувство и новое состояние были настолько новыми, что не поддавались не только мысли, но даже и памяти — через час-другой после того, как Ирина Викторовна уходила с жилплощади тетушки Марины, она уже никак не могла вспомнить, что же там было с нею? Нет, ни о чем она не помнила и только обо всем догадывалась... Догадывалась, что в первую их встречу с Никандровым они были в комнате Марины просто так, неподвижно и молча, а во вторую Никандров сначала вышел в кухню и долго, и тоже молча, стоял там и смотрел в занавешенное окно. И еще, и еще догадки, воспоминания...

И ведь это было с нею не совсем впервые, что-то похожее происходило, когда она приехала к Мансурову на Курилы.

«Вообще-то,— думала она,— я, наверное, очень неинтересная женщина, если не помню ничего, что происходит со мной сейчас, и только обо всем догадываюсь?» — но и это соображение ее ничуть не смущало: «Вообще — это ведь как об стенку горох, честное слово! Тем чудеснее все, что происходит со мной сейчас, на фоне этого безликого вообще!»

Вот уж чего она никогда не ожидала от себя! Если бы кто-то сказал ей, будто наступит такая жизнь, когда у нее не хватит воображения, чтобы прибавить к действительности еще что-нибудь? Разве она поверила бы?

Но теперь ее воображение ушло от нее в долгосрочный отпуск, неизвестно было, когда оно вернется и вернется ли когда-нибудь.

Воображения у нее всегда было так много, что теперь она чувствовала непривычный и незнакомый вакуум в самой себе, и, должно быть, именно от этого кружилась голова, пошатывало, походка становилась легкой. А ведь она до сих пор была уверена, что легкости можно достигнуть как раз другим путем: о чем-нибудь мечтая, воображая что-нибудь далеко не реальное.

Воображения у нее всегда было много, но она никогда, ни разу в жизни, даже в те времена, когда происходило, а затем и «произошло все», не мечтала о том, как это когда-нибудь случится, как все это будет. Ни разу не

вообразила она ни комнату тетушки Марины, ни какую-то другую комнату. И теперь Ирина Викторовна была убеждена, что, никогда не позволив забежать воображению вперед, она уберегла этим нынешнюю реальность и вот сполна пожинает ее плоды.

Она гордилась собою.

Тем более что все это, все, что было,— она с самого начала сделала своими собственными руками. Следовательно, она знала, что делала, и даже знала, что нужно, а чего совсем не нужно было делать. А точное знание — это что? Это истина, подлинная и неопровержимая!

И вот теперь-то оно и существовало — ее истинное настоящее и было превыше мыслей о нем.

В наше-то время! Мыслимо ли? Да и возможно ли такое?

Оказывается — возможно, Ирине Викторовне стало даже казаться, будто она вступила совсем в иную жизнь, на другую очень отдаленную планету, но это ее тоже ничуть не удивляло, а удивляло другое: чрезмерное сходство двух планет — той и этой.

Было бы правильнее, если бы на этой, нынешней планете люди меньше толкали ее в автобусах, особенно когда было жарко; тем более в те дни, когда она бывала на жилплощади тетушки Марины; если бы звонок, возвещавший конец рабочего дня в НИИ-9, звонил не в шесть, а в четыре часа, если бы неделя состояла только из понедельников и пятниц, если бы Мансуров-Курильский приобрел какие-то новые служебные обязанности, которые заставили бы его надолго отъезжать в командировки, и если бы он, такой занятый и незаметный, благодаря своей занятости и незаметности и вовсе исчез куда-нибудь на какое-нибудь время. Она ведь никогда не желала Мансурову-Курильскому ничего плохого и знала, что никогда не пожелает, кроме того, что желала нынче, но в этом ничуть не винила себя: не от нее зависит такое существование Мансурова-Курильского, при котором его совсем не стало рядом с нею. Кто виноват, когда чего-нибудь не становится на свете? Никто не виноват. Не стало, и все.

Но и так, как было на этой планете, тоже было неплохо: она засыпала только перед рассветом, а ей легко было вставать рано утром и легко работалось в отделе информации и библиографии, хорошие люди вокруг нее похорошели, а плохие перестали мозолить ей глаза, так что «А вы ложку — не украли?» уже не могло иметь

к ней лично какого-то отношения. Аркашкины двойки по математике, да и по другим предметам, хотя и продолжали иметь место, однако тоже перестали быть чем-то первостепенным.

Несмотря на то что из ее сознания почти ни на минуту не исчезал Василий Никандрович, она не связывала все происшедшие перемены только с ним.

Время, казалось ей, наполнилось новым смыслом, причем — своим собственным, не зависимым ни от кого и ни от кого не требующим осмысления или каких-то связей с чем-нибудь, кроме самого себя.

Но при такой-то вот отчетливости и самостоятельности это время представлялось Ирине Викторовне в некоторой дымке, в легком полумраке... Должно быть, потому, что однокомнатная квартирка тетушки Марины находилась на первом этаже, низко над землей и рядом с тротуаром, и каждый раз, когда Ирина Викторовна и Василий Никандрович бывали здесь, прежде всего нужно было занавесить шторы на окнах и в комнате, и в кухне, а наступивший в ту же минуту полумрак сопровождал затем Ирину Викторовну неотступно и постоянно — от встречи до встречи.

Местоположение квартиры тетушки Марины определяло, должно быть, и другое неизменное ощущение — будто, входя туда, в этот коридор, в эту кухню, в эту комнату и в эту ванную, Ирина Викторовна погружается в глубину всякий раз неизвестную и бесконечную.

Она была удивлена — ей показалось, что должно быть наоборот — что в эти часы, минуты и мгновения она должна устремляться только вверх и вверх, в пределы никогда не виданного ею сияния, но потом догадалась: там, на высоте, она подверглась бы всеобщему обозрению и сама тоже видела бы оттуда все и всех, а ни то ни другое было ей совершенно ни к чему. К чему — действительно был полумрак, отчуждение, глубина, из которой она, будто впервые, снова выходила в белый свет, в улицу, составленную из панельных пятиэтажек, испытывая при этом усталость, легкое нытье всех своих косточек, только что едва не умершая от счастья, которое было и которое должно было повториться не позже следующей пятницы или понедельника.

Сначала на эту улицу, к которой она всякий раз испытывала полную доброжелательность, выходил Василий Никандрович, минуту-другую спустя — она, и вот такую — задумчивую, будто впервые и неторопливо

воспринимающую этот мир,— Никандров подвозил ее на своем бордовом «Москвиче» к продуктовому магазину самообслуживания. Отсюда она обычно шла домой уже пешком...

По ночам же ей слышался стук — тот самый, который то и дело был слышен в комнате тетушки Марины, так как эта комната одной стеной выходила в подъезд первого этажа, и каждый, кто входил или выходил из подъезда, стучал дверью, не обращая никакого внимания на объявление, вывешенное тетушкой Мариной: «Убедительная просьба — дверью не стучать!!!», так что казалось, будто кто-то один, словно на вечном дежурстве, постоянно стоит за стеной и, не входя и не выходя через дверь, стучит ею, исполняя свою странную, никому не нужную обязанность.

Ирине Викторовне становилось грустно за всех, за всю ту планету, на которой был возможен этот бессмысленный стук, и особенно за тетушку Марину, которая, когда спит — на семьдесят втором году своей благородной жизни,— время от времени должна слушать все тот же стук, не зная, ради чего ей приходится его слушать.

Так шли для Ирины Викторовны, находившейся в этом инопланетном состоянии, день за днем, шла первая половина лета, а на июль-август Никандров со своей семьей поехал на курорт, в Киргизию: он не любил общепринятых курортов, а вот Киргизию — озеро Иссык-Куль и его окрестности — любил очень.

Он сказал ей о своем намерении как раз за неделю до отъезда, и у нее быстро-быстро и бестолково забилось сердце, как в те прошедшие времена, когда она боялась, что Василий Никандрович не полюбит ее, и поэтому избегала с ним встреч в коридорах НИИ-9 или же всячески этих встреч искала.

Так же, как и тогда, в те, казалось бы, далекие, но, оказывается, совсем еще не забытые времена, у нее вдруг исчезло ощущение самой себя, своей жизни — прошлой, настоящей, будущей, всякой жизни, на той или на этой планете. Безжизненно и бесчувственно она спросила:

— Надолго? Скоро ли?

Никандров объяснил — через неделю ровно, и хотя в эту минуту они подъехали к продовольственному магазину самообслуживания, не высадил ее из бордового «Москвича», а поехал куда-то дальше. Она поняла, что

просто так поехал — куда глаза глядят, где поменьше светофоров и милиционеров.

Ездили часа полтора и молчали.

Ирина Викторовна думала о том, что Никандров умеет, если захочет, успокаивать своим присутствием, она это и в институте замечала, еще давно, а его теплое, сильное и костистое плечо, его молчание и дыхание еще способствовали этому. И несколько слов, сказанных им, чтобы она не волновалась, не расстраивалась,— способствовали тоже.

А когда Никандров уехал в Киргизию, Ирина Викторовна спросила себя: «Ну, а на самом-то деле — для чего это нужно, оставаться одной? Без Никандрова?»

И ведь нашла ответ: ей необходимо познакомиться с самой собою, новой и теперешней.

С той минуты, когда она получила у тетушки Марины ключи от квартиры, она ведь стала совсем другим человеком, а главное — совсем другой женщиной.

Какой же?

Конечно, та, прежняя Ирина Викторовна, без ключей от квартиры тетушки Марины, могла бы запросто оценить эту — с ключами. Но той уже не было.

Ирина Викторовна махнула рукой: если так, нечего той, прошлой, привязываться к этой, настоящей! У той и чувств-то не было, разве только одни предчувствия, та о самой себе не раз думала, что у нее нет жизни, а Нюрок однажды сказала той по секрету, что она, в общем-то, женщина «затюканная», и это ей не совсем идет, рано еще.

Теперь она кругом одна — Никандров в Киргизии, не пишет, они договорились не переписываться; он убедил ее, что так будет лучше; той, прошлой Ирины Викторовны Мансуровой, с давнишней и привычной не то жизнью, не то — полужизнью, с добрыми знакомыми Канунниковыми, с приятной и привлекательно-загадочной сослуживицей Анютой Глеб,— как не бывало, и вот Нюрок смотрит на нее испуганными глазами, будто впервые видит перед собой такой вот случай и даже не знает, как этот случай называется.

Канунниковы, так те и вовсе исчезли из ее сознания, исчезли вообще, испепелились и, вернее всего, это случилось с ними в тот самый новогодний вечер, когда в их доме с Ириной Викторовной «произошло все». Они ока-

зались такой материей, которой вдруг наступает время навсегда или хотя бы ненадолго исчезнуть, чтобы произвести вместо себя что-то другое.

Наверное, это неприлично — так думать, но что поделаешь, если бывает и так?

Впрочем, вполне могло быть и наоборот: все еще не совсем-то гладко развивался роман Леночки Канунниковой с ее бирюком, и вся семья замкнулась в этих отношениях, и не Ирина Викторовна отошла от Канунниковых, а они от нее. И не все ли равно это теперь: кто первый сказал «а», кто первый его не сказал?

В общем, именно на себя прежнюю она и махнула рукой, распрощалась без сантиментов, а себя нынешнюю все еще не знает.

Ирина Викторовна задумала было последовательно повторить про себя, по памяти, все, что ею было пережито в квартире тетушки Марины, хотела все, что там произошло, извлечь из сумрака на белый свет, посмотреть на все это еще раз.

Оказалось, что к реальности всего того, что там происходило с ней в квартире тетушки Марины,— она и теперь не может дотянуться даже своей памятью.

Значит, все, что было с нею и Василием Никандровичем, что было с ними вместе, так и оставалось в полумраке и должно было там оставаться.

Это была такая реальность, которую можно было представить себе одним-единственным способом: повторив ее снова...

Глава шестая

НОВАЯ ПРИЧЕСКА

Она очень хотела бы близко познакомиться с самою собой нынешней, но это знакомство все откладывалось, и не было никакой уверенности в том, что оно когда-нибудь состоится. В то же время она очень не хотела и не могла оставаться в бездеятельности — надо было хоть что-нибудь делать с собою теперешней, современной.

И вот Ирина Викторовна решила заняться тем, что оказалось для нее доступным: своею внешностью.

Это было серьезно.

Конечно, она понимала, что не имеет никакого права сразу же, как будто ни с того ни с сего, перекраситься

в какой-нибудь экстравагантный цвет или изменить тем строгим и экономичным фасонам, которых ей удавалось придерживаться чуть ли не с тех пор, когда она стала женщиной; тем более недопустимо было шокировать Василия Никандровича, но удивить и поразить его, когда он снова вернется к ней из Киргизии, еще раз открыть ему глаза на себя, отблагодарить его за возвращение, внушить ему, что их отношения неисчерпаемы, потому что она всегда будет находить в себе что-то новое для него — все это и еще многое другое не оставило в ней ни капли сомнения на этот счет. «Действовать!» — сказала она себе, чувствуя, что может сказать и больше: «Вперед! И только вперед!»

В общем-то отчаянный шаг, но разве вся ее новая реальность не была отчаянной?!

Так возникла задача из задач, если учесть, что свое решение она должна как-то объяснить дома, что деньжонок у нее на эту статью расхода было очень немного, и главное — самое главное! — что она могла ведь не только выиграть, но могла ужасно проиграть: вдруг в новом обличье она не понравится Никандрову?

В то же время — каким же это образом она могла оставаться с прежней внешностью, если все в ее душе и теле переменилось?

Мансурову-Курильскому, Аркашке и свекрови она объяснила, что ей до чертиков надоел весь тот вид, в котором она неизвестно почему существует едва ли не четверть века; но когда посмотрела на себя в зеркало, после очень долгих очередей и протекций сидя в кресле лучшей мастерицы едва ли не самого лучшего дамского салона, пришла в полное отчаяние:

«А что? Вот вполне сумасшедшая баба, и смотрите, люди, что она делает с собою? Кто из вас это способен понять и объяснить?!»

Между тем Сонечка Золотая Ручка, лучшая мастерица, непринужденно болтая, делала свое, кажется, роковое дело...

Ирине Викторовне стало горько и обидно: при чем тут разные люди, зачем ей мнение Золотой Ручки, когда имеет значение только один человек, ради которого и происходит все это светопреставление? И зачем ей было от добра искать добра — ведь этот человек уже неплохо отнесся к ней к такой, какой она была, а что-то будет теперь?

Это был страх перед будущим, но ей предстоял еще и суд сегодняшний, самый первый и потому тоже страшный, как первая партия очень ответственного шахматного поединка, как предсказание будущего.

Первым судьей была, конечно, Нюрок.

Нюрок ждала ее дома, заглянув будто ненароком, а потом, тоже будто бы ненароком, решив дождаться, и когда Ирина Викторовна вошла в прихожую своей квартиры, Нюрок громко на всю квартиру завопила:

— Вот это да — убиться можно! Неотразимо!

Это была агитация на массы, на Мансурова-Курильского, который только удивленно похлопал глазами, а потом сказал: «Делать тебе, что ли, нечего, мать?»; на Аркашку, который завизжал в диком восторге, потому что теперь, когда классный руководитель снова вызовет мамочку в школу, он этой самой мамочки ни за что не узнает; на свекровь, которая, стараясь быть конфиденциальной, тихо спросила у Ирины Викторовны:

— Ирочка, а это — по моде? Или как-нибудь еще?

Спустя несколько минут, Ирина Викторовна и Нюрок уединились в спальне, поплотнее закрыв двери.

Начинался закрытый судебный процесс, без публики, и Нюрок сказала:

— Все, что угодно, но этого я не ожидала!

— Топиться? Или пить уксусную кислоту? — спросила Ирина Викторовна.

— Не знаю, не знаю! Честное слово — пока ничего не могу посоветовать! Давай так: возьмем себя в руки, подождем, и вернемся к вопросу через четверть часа!

Ирина Викторовна была у себя дома, а дома она всю жизнь только и делала, что брала себя в руки, они замолчали, Ирина Викторовна стала молча, серьезно и детально обдумывать создавшееся положение.

«Какой это судья? — думала она, глядя на Нюрка. — Это не судья, а черт знает что! У этого судьи внешность, которую она приобрела без отца и без матери, а в закрытой мастерской, то ли у модернистов, то ли у антикваров, то ли у тех и у других пополам. А может быть, просто-напросто выиграла ее по лотерейному билету! Вот ей и противопоказано что-нибудь менять в себе, искать новый рисунок самой себя, ей свою внешность надо только подчеркивать и выявлять — больше ничего. Вот она и не понимает ничего, что касается внешности других. Имеется в виду — других женщин...»

А ведь у других женщин тоже все может быть не так уж плохо и даже — хорошо, только это хорошее не принадлежит им персонально и безраздельно, а встречается еще и еще у кого-то: и такое же очертание лица встречается, и такое же его выражение, и такая же походка, фигура и манеры. К такому неярко выраженному рисунку прикасаться трудно, он тотчас рассыпается, имея склонность становиться и одним, и другим, и третьим — а где оптимум? Этого никто не знает, ни один судья, тем более — Нюрок, поскольку ей-то свойственна определенность, причем — неповторимая. По всей вероятности, тот рисунок, в котором Ирина Викторовна существовала почти всю свою женскую жизнь, отличался лишь одной особенностью: она обращала на него внимания чуть-чуть меньше, чем он того заслуживал. Иначе говоря, дело было в ее снисходительном умении обращаться с ним, с этим рисунком самой себя. И такое умение тоже становилось частью самого рисунка, что очень важно. Выводы: что упало, то пропало; хорош был ее прежний рисунок или плох — его больше нет, так же как вообще больше нет ее прежней, а есть только она настоящая, и ей поэтому остается одно — установить новые отношения со своим новым рисунком... Установить же с ним отношения это, как в большой политике,— признать его де-факто и де-юре, считать его хорошим и хорошо обходиться с ним. Незаметно, а все-таки согласовать с ним свою улыбку, некоторые движения, даже — походку, еще что-то такое...

Ровно через пятнадцать минут Нюрок, глубоко вдохнув, сказала:

— Ты знаешь, Иришка, мое мнение начинает...

— Ах ты дрянь!— ответила ей Ирина Викторовна.— Очень-то мне нужно твое мнение! Ты вот попробуй угадать — каким будет его мнение!

— Действительно!— пожала плечами Нюрок, похлопала своими огромными, чуть диковатыми глазищами, тряхнула мальчишеским чубиком.— Действительно, давай я побываю с Никандровым разок-другой у тетушки Марины, поподробнее узнаю его вкус, а тогда и отвечу тебе! Идет?

И в самом деле, почему это удивительно нежное и удивительно отчаянное существо до сих пор не влюбило в себя Никандрова? Почему это он прошел мимо нее, тем более что она вполне свободна, что ее собственное всегда возвышенное отношение к Никандрову — это

уже почти любовь, а стоило пошевелить пальцем, и любовь была бы без почти. Очень естественная, красивая была бы любовь, без необходимости делать политику из собственного рисунка, без того прямо-таки страшного времени, которое предшествовало первой встрече в квартире тетушки Марины. И — мало ли еще без чего? Ирина Викторовна знала за собой это свойство: она многое умела, ко многому была способна, но в то же время, когда что-нибудь делала, обязательно делала много лишнего: волновалась, переживала, выдумывала страсти-мордасти почти такие же, как в некоторых многосерийных телевизионных фильмах, и вместо того чтобы пойти куда-то по делу один раз, «на всякий случай» бегала и два, и три раза, и даже больше — до полного изнеможения.

У Нюрка этого не было, Нюрок либо никак не делала и не поступала, либо поступала решительно, безоговорочно; вот у нее и получилось два замужества, потом еще что-то, а потом — не осталось ничего, кроме ее чудесной Светланки.

У Ирины же Викторовны — так считалось всеми и ею самой в том числе — была порядочно сложившаяся женская судьба, поэтому до сих пор она не то чтобы опекала Нюрка, но временами имела на это некоторое право.

До сих пор...

Нюрок еще поговорила о том, о другом и ушла.

«Вот дрянь так дрянь!— сказала после ее ухода Ирина Викторовна, теперь уже в свой собственный адрес.— А еще требуешь и взываешь, чтобы тебя кто-то любил! Какой-то хороший человек!»

Стало грустно, и до того отвратительна показалась ей ее новая физиономия, что Ирина Викторовна даже мысленно не нашла слов, чтобы эту отвратительность как-то выразить.

Предстояла бессонная ночь...

А тут Мансуров, возникнув откуда-то из небытия, из своей незаметности, стал ее убеждать, будто бы ее новая физиономия лучше старой, интересней,— завтра она увидит, как в институте на нее будут глазеть мужики; стал осторожно, чтобы не повредить прическу, гладить ее по голове, очень хотел ее приласкать,— такое впечатление произвел на него ее новый рисунок.

Мансурову-Курильскому Ирина Викторовна сказалась нездоровой.

Однако же Мансуров-Курильский был прав: несмотря на бессонную ночь, которая, казалось бы, не могла не повлиять отрицательно, Ирина Викторовна произвела на работе самое благоприятное впечатление.

Уже к обеденному перерыву был отмечен повышенный интерес сотрудниц и сотрудников НИИ-9 к «информашке», то есть к отделу информации и библиографии. Среди сотрудников старших и эмэнэсов сразу же наметилось две категории. Умные говорили Ирине Викторовне:

— Десять лет, Ирочка (или Ирина Викторовна), как не бывало! Как — в корзинку для бумаг!

Те же, что поглупее, не говорили ничего, пялили на нее глаза и делали вид, что пришли в «информашку» по делу.

Анюта Глеб подняла огромную пятерню над своей лохматой головой и громко сказала:

— Гоните их, Ирина Викторовна, гоните, жлобов! Что они задаром глаза-то пялят, хоть бы конфет, что ли, принесли в отдел!

И Нюрок тоже принимала к собственному сердцу весь этот реагаж, в конце концов сжала в кулачки свои тонкие, прямо-таки детские ладошки и, оттопырив большой палец на левой, а потом и на правой руке, показала и тот и другой Ирине Викторовне.

Так или иначе, а Ирина Викторовна прошла в НИИ-9 на «ура», в тот же день почти что привыкла к своему новому рисунку и, кажется, установила с ним вполне приемлемые отношения. Весь эпизод не сразу, но становился тем, чем он был на самом деле — эпизодом.

Когда-то у Ирины Викторовны была прическа не прическа — лирический беспорядок на голове; теперь ее небольшие, аккуратные уши розовели на виду, лицо и голова в целом потеряли округлость, приподнялись, да и вся-то она сделалась повыше, постройнее.

Цвет волос у нее был каштановый, неопределенный, но как раз эту неопределенность Сонечка Золотая Ручка углубила — по каштановому легло несколько едва заметных сизых полосок цвета голубиного крыла.

И брови стали у нее повыше, потоньше, и они шире стали открывать глаза.

А на глаза Ирина Викторовна как-никак, а надеялась всегда.

Наверное — не зря; все говорили, что совсем-совсем не зря, только Ирина Викторовна до сих пор этому не то чтобы не верила, а верила не совсем: мало ли что серо-голубые и большие, задумчивые, что выразительные? Глаза — это такой предмет, в котором каждый видит то, что хочет. Техник Мишель-Анатоль, например, утверждает, что более злых глаз он ни у кого никогда не видывал,— так ему и надо!

Далее, от прически и глаз, модернизм распространился на два новых платья: открытое, беж — дело испытанное и в цвете, и в фасоне, и цвета бордо, под окраску одного «Москвича».

От платьев — к туфлям, причем одни — надо же, опять бордо!— были тридцать шестого размера и подошли, в то время как обычно подходил только тридцать седьмой — по современной классификации двадцать четвертый размер. От туфель потянулось ко всей фигуре... Ну, конечно, Ирина Викторовна — это не птичка Нюрок, но и ей тоже пока что никакой диеты не требуется, а это уже говорит само за себя и о многом. Нет худа без добра: в молодости она часто прихварывала, а должно быть, тогда-то и были заложены ее формы. Хворь прошла, формы — остались!

Еще к истории вопроса: года три тому назад Ирина Викторовна вдруг забоялась пополнеть и перешла на довольно строгую диету. А потом взяла да и махнула: будь что будет! И ведь правильно сделала, что махнула,— питаться стала нормально, как все люди, и выглядеть стала лучше, глаже, все те кости, которые из нее столько лет торчали, перестали торчать. Никандров, должно быть, потому, что любил подчеркивать свое крестьянское происхождение, говорил об этом так: «Хорошо! И вполне даже справно...»

И то, что предстояло,— одна неделя и два дня ожиданий — то и было: и неделя была, и два дня были. И часы, и минуты...

Но только все они оказались уже не тем, чем должны были быть, оказались не столько ожиданием, сколько — сомнением...

Как-то уж очень круто, кажется, ни с того ни с сего и вдруг переменились все мысли, и вместо того чтобы и дальше думать о себе, о своем новом рисунке, о том, как этот рисунок понравится Василию Никандровичу,

Ирина Викторовна стала у кого-то, неизвестно у кого, спрашивать снова и снова:

— А что за человек этот Никандров? Какой это человек?

Он — «лапа», высокий, плечистый, с одним-единственным мазком седины на голове, в коричневых, пожалуй, рыжеватых, волосах, он — толковый, он — человек твердых правил и еще многое можно сказать и вспомнить о том, какой он, потому что личность известная в НИИ-9 и в других смежных НИИ и в КБ тоже известная...

Ирина Викторовна была уверена, что Никандров никого не обманывает: каким его знают и в разных НИИ, и в КБ — такой он и есть на самом деле, но она-то, она сама, не КБ, не НИИ и должна знать о нем что-то, чего не знают все, чего не знает никто!

Она, как могла, с трудом, восстанавливала его в своей памяти. Нет, нет — она все еще не знает его.

Конечно, какой-то своей стороной, очень интимной, деликатной и даже застенчивой, он открылся ей, но открылся ровно настолько, насколько ему невозможно было в таких обстоятельствах не открыться. Дальше же этого, этого минимума, он ни разу не перешагнул. И, может быть, все, что было,— было только ее поражением, и ничем больше? Он-то ее завоевал, это легко было сделать, а она его?

Что за человек?

Ему от его нераскрытости, должно быть, хорошо, это его НЗ — неприкосновенный запас, никому не выговоренный вслух, ни на кого не израсходованный, это его сила и достоинство, которое, вполне может быть, и влюбило ее в него. Но от этого ей ничуть не легче. У нее-то этого НЗ нет и не было,— наоборот, она всегда расходовала сил и жизни больше, чем их у нее было, объясняла себе больше, чем умела объяснить.

Он же на ее трудные вопросы мог ответить никак:

«Это — трудно. И вообще — что-то надо делать со своими понятиями... Искать новые, возвращаться к старым... Что-то надо с ними делать...»

Что за человек?

Когда они бывали рядом, ей от такого ответа было даже хорошо: вот человек — чувствовала она — неизрасходованный, с какой-то личной сверхзадачей, еще не сложившейся, но зреющей. С какой-то загадкой самого себя, которую ему предстоит решить, а ей предстоит

быть причастной к этому решению. Предстоит его благодарность за такую причастность.

Но что же она все-таки любит — человека или его задачу и загадку? Человека или только ту его часть, которую он подставляет для ее любви?

Ведь пока человек не весь — он все еще играет. А ведь игр не бывает без игрушек. А игрушки почти всегда бывают дареные, они как будто сами сваливаются с неба, сами навязываются для игры, сами преследуют того, кому хотят отдаться. Сами с нетерпением ждут, когда же за ними протянут руку!

«Ладно-ладно!— срочно искала Ирина Викторовна вместо этой какую-нибудь другую логику:— Все это — природа, природа мужчины, и больше ничего... Если бы мужчины уходили в любовь с головой, они не изобрели бы двигатели, водные и космические корабли, гильотины, таблицы логарифмов, аборты, «Преступление и наказание», еще многое другое. И как раз эта неизрасходованность в любви, этот их НЗ, и привлекает к ним женщин. Поэтому же они и любить могут сразу нескольких женщин: одну — за одни качества, другую — за другие, третью — ради искусства любви».

«Вот дрянь так дрянь!— упрекала себя затем Ирина Викторовна по ходу еще какой-то, уже третьей логики — тебе нужна не сама любовь, а понятия о ней, ты — порочное поветрие двадцатого века! Игра ума, опять игра! Упрекая игру, ты сама не можешь от нее отделаться! Тем более нелепо, что все это пришло к тебе в возрасте 45 — n, и никакая прическа тебе уже не поможет!»

«Ну и что? Нынче я гораздо моложе, чем тогда, когда была молодой, когда ехала к Мансурову далеко-далеко на Восток, на Курилы... Если бы мне пришлось ехать сейчас, уехала бы не на Курилы, а еще дальше, бог знает куда! В Южную Америку — точно!»

«Моложе во всем, кроме вот этих рассуждений... Кроме того, что нынче тебе обязательно нужно знать — какого человека ты любишь? В молодости об этом не спрашивают!»

Только однажды она решилась спросить его в сумраке тетушкиной квартиры:

— Ты — опытный человек?

— Приготовишка...

— Не надо! Не надо скромничать!

— Ты не дослушала: приготовишка-теоретик... Начитанный и не по годам развитый!

«Вместе с тем,— убеждала она себя,— вот так, время от времени вспоминая то одни, то другие слова Никандрова — вместе с тем Никандров никогда не скажет: «Знаешь, все, что произошло,— произошло только по причине моей неопытности и мальчишества! Не буду больше!» Он все возьмет на себя! Он не такой, как все мужчины-мальчики, надоевшие женщинам во всем мире! От которых зла больше, чем от умельцев! Которые повелись с тех пор, как мужчины стали ходить в туфлях, а женщины — в сапожках!»

Шло время — неделя и два дня, а между делом, между делом своей любви, Ирина Викторовна работала в НИИ-9, моталась по знакомым в поисках надежных и недорогих репетиторов для Аркашки, который завалил физику, математику и русский язык, причем ни одним из этих предметов заниматься так и не хотел, а хотел играть в школьном оркестре или на саксофоне, или на ударных инструментах, хлопотала о путевке в санаторий с кардиологическим уклоном для Мансурова-Курильского, ездила в райсобес по поводу пенсии Евгении Семеновны и еще многим другим приходилось ей заниматься между делом. Например, исполнять за Аркашку нехитрые чертежики, поскольку черчение он тоже завалил, только не официально, а с условием, что представит работы осенью.

В течение все той же недели и двух дней вдруг появилась у Ирины Викторовны и еще одна, тоже, можно сказать, семейная слабость: она стала побаиваться вещей в собственном доме.

Однажды она догадалась, что дом теперь для нее уже не столько дом, сколько театр, в котором она должна играть роль самой себя прежней, существующей так, как будто бы не «произошло все», как будто бы не произошло ничего.

Ну, что же — в этом довольно легко было убедить и мужа, и сына, и свекровь, потому что, вольно или невольно, там, где появляется один актер, тем более — ведущий, все остальные тоже становятся актерами, даже не подозревая этого, потому что для людей всегда имеет значение вид главного и ведущего актера — его голос, выражение глаз или вот новый рисунок его лица. Ведущий — ведет, а все остальные с удовольствием подыгрывают ему.

...Но заставить играть вещи — нельзя. Ни голосом, ни выражением глаз, ни каким бы то ни было рисунком

своей внешности — нельзя да и только; и вот они усиленно начинают попадаться под руку, когда по театру этого совсем не нужно, и напоминают тебе о тебе уже не существующей, и о том времени, когда они, эти вещи, были приобретены тобою или тебе подарены, когда начинали считаться потерянными и вдруг находились снова, о том, как они лежали или стояли не на своих нынешних местах, а на каких-то других.

Театра ведь не видно, если он — кругом тебя, но домашние вещи всеми силами разрушают этот круг.

Домашние вещи не хотят играть и быть реквизитом. Это в театре, если чайная чашка стоит на столе, так из нее кто-нибудь обязательно должен напиться, а если в углу сцены стоит зонтик — так этим зонтиком кто-нибудь на кого-нибудь да замахнется.

Домашние вещи не запрограммированы так же строго, и вот они пользуются своей свободой и разрушают театр, твою собственную роль в нем — прежде всего. Роль заботливой хозяйки дома, например. Им для этого нужно немногое: без всякой надобности попадаться на глаза, напоминать о себе, о своей истории, а тем самым напоминать тебе твою собственную историю.

И Мансуров-Курильский, и свекровь, и даже Аркашка были участниками ее истории, следовательно, были лицами ответственными и даже виновными за все то, что в этой истории случилось, на них можно было обижаться, возлагать вину или чувствовать свое право на возмездие.

Еще бы!

Отказался же Мансуров-Курильский признавать в своей жене женщину, и не только женщину, но звезду, хотя бы самую крохотную звездочку,— отказался!

Имел же право Аркашка на свое собственное счастье, увлекаясь то почтовыми марками, то джазом, увлекаясь так, что от этого всей семье ни днем, ни ночью не было покоя. Имел он это право? Во всяком случае — пользовался им... А другим, что же — пользоваться своей жизнью уже нельзя? Можно и должно!

Приехала же из Харькова свекровь Евгения Семеновна — очень хорошая, очень заботливая по отношению к невестке женщина, но — нереалистическая, любящая невестку, но не ту, которая есть, а какую-то другую, приехала, чтобы взять в свои руки воспитание Аркашки, и первое, что пришлось сделать,— это выселить

Аркашку из отдельной комнаты и поселить в проходной... Приехала!

И только лица домашних вещей — ложек и вилок, шапок и обуви, одеял, простыней и подушек — были безупречно невинными, резко отличаясь этой невинностью от всех остальных лиц, от ее собственного лица.

Когда до возвращения Никандрова оставалось двое суток с небольшим — Ирина Викторовна подхватила Нюрка после работы под руку, вышла с ней из подъезда НИИ-9 и почти тотчас в упор спросила:

— Почему ты не влюбилась в Никандрова?

Нюрок не удивилась, пожала плечами в знак того, что сейчас ответит, одну-другую секунду подумала, обратила к Ирине Викторовне свои чудные глаза:

— Страшно!

— То есть как это?

— Да очень просто! Очень страшно, и больше ничего!

— Объясни!

— Страшно потерять голову!

— Зачем тебе голова? Ты же — не замужем. Свободная женщина!

— Глупая! Ей-богу! Я-то не замужем, так ведь он-то — женат?

— А я как же? Как же я-то не испугалась?

— Ты и он — на равных. Ты — замужем, он — женат. Ты ведь не бросишь своего Курильского, тем более — Аркашку. Никандров тоже не бросит семью. Вот переболеете оба и вернетесь к самим себе... А я бы к чему вернулась? К своей свободе? Да?

Ирина Викторовна удивилась, каким это образом Нюрок обнаружила какое-то преимущество в ее положении? Что-то более легкое, чем в своем положении вполне свободной женщины? Удивительно — к чему только не приводит женская логика!

— Так ты думаешь — это со мной когда-нибудь кончится? — спросила Ирина Викторовна.

— А ты вечная, что ли?

— Ну-ну... Это — тоже будет страшно... Ну-ну, дай-то бог, дай-то бог!

И тут Ирина Викторовна услышала собственный голос в тот момент, когда она обращалась к богу: «Госпо-

ди! Пошли мне Большую Любовь! Огромную! Пошли обязательно! Пошли...»

— Ладно! — сказала она Нюрку. — До завтра!

«Еще двое суток и несколько часов...» — подумала она про себя.

Но двое суток и несколько часов не прошли просто так.

В течение этого времени случилось вот что...

Во-первых, в комнату № 475 зашел техник по счетным машинам, красавчик и типичный мальчик-мужчина, сентиментальный циник Мишель, и, войдя, не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Инстинкт, когда он половой — не заменишь головой!

Вот дурак, вот дурак! Да к тому же еще и нахал, каких мало! Ирина Викторовна с давних пор удивлялась немыслимому обману и фокусу: каким это образом прилизанная головка Мишеля с черными по-дамски затуманенными глазками, с миниатюрными усиками приказчика из пьес А. Н. Островского могла справляться со сложными узлами и деталями счетных машин? А ведь могла, и даже неплохо! Загадочными созданиями могут быть мужчины!

И как это дураки умеют попадать в точку?

Ирина Викторовна тотчас выгнала Мишеля из комнаты № 475, причем, будто бы оговорившись, назвала его Анатолем.

Для Мишеля эта оговорка всегда была ножом в сердце, он возмутился, а Ирина Викторовна сказала ему, махнув рукой:

— Да ну, не все ли равно? Мишель, Анатоль — какая разница?

Во-вторых, когда до возвращения Никандрова оставался только один день и еще несколько часов, Ирина Викторовна ехала с работы в троллейбусе, а рядом с ней оказался какой-то молодой человек, а на сиденье впереди — ехала девушка этого какого-то молодого человека. Они о чем-то разговаривали, и вдруг девушка, не оглядываясь, протянула своему собеседнику руку, но как протянула!

Она поставила руку вертикально, а ладонь под прямым углом откинула назад и стала шевелить пальцами...

Вот это были пальцы, вот это была ладонь, и вот это была, следовательно, и вся эта девушка, а вернее все-

го — молодая женщина! Даже если бы кроме этих рук у нее ничего больше не было, и тогда она была бы выдающейся женщиной!

Таких ладоней, длинных и чутких, таких пальцев, еще более длинных, чутких и белоснежных, Ирина Викторовна никогда в жизни не видела и знала, что не увидит никогда. Пошевеливание пальцев уже было музыкой, лаской, еще бог знает чем!

Молодой человек положил в эту ладонь, в это чудо, дешевенькую конфетку в пестрой обертке, ладонь исчезла, а Ирина Викторовна пришла в ужас от того, что у нее нет ничего такого же единственного и неповторимого, ей нечем так же пошевелить — легко, небрежно и уверенно. Нечем кого-то поразить, нечем кому-то запомниться на всю жизнь!

И тут она внезапно догадалась, что Никандров ее не любит, и правильно делает — не за что!

Правильно, правильно он делает, когда не любит! Он ее не преследовал, не ухаживал за ней, никаких персональных знаков внимания ей не оказывал, относился, как ко всем вокруг относится. Ну, а когда она бросилась к нему, почему бы ему и не подобрать кусочек, если даже он и не бог весть какой лакомый? Если даже он сам не бог весть какой лакомка?

Правильно, правильно он делает и правильно делал, когда предупредил ее о предстоящем отъезде в любимую Киргизию всего за неделю, когда не велел писать ей в эту Киргизию и сам не пишет — только так, а не иначе можно и должно с ней обращаться!

Вот он вернется и не узнает ее, встретив в НИИ-9, и скажет на «вы»: «Ирина Викторовна! Вы ли это? Что это вы разрисовали себя? Ну и ну!», а больше ничего не скажет...

Она-то готовила для него любовные слова, а ей надо было готовить совсем другие — антилюбовные!

И так вот по случаям и по мелочам из-под ее ног ускользала новая, чудесная, совсем еще молодая планета, на которой она совсем недавно поселилась и даже не успела ее толком разглядеть, узнать, какие дороги, входы и выходы куда ведут... Она думала, будто на той планете ничего этого и не надо, и не имеет смысла знать, потому что вся она — одна-единственная дорога от любви к любви, а больше никуда...

И, должно быть, все эти мысли, догадки и жуткие открытия были точными: из своей любимой Киргизии

Никандров прислал в институт телеграмму с просьбой продлить ему отпуск на пять дней без сохранения содержания — у него заболела жена, они не могут вернуться вовремя.

Директор института Строковский ответил согласием, а как мог он ответить иначе?

Все это Ирина Викторовна узнала, случайно забежав в канцелярию утром того дня, когда Никандров должен был выйти на работу.

Потом она перепугалась себя: может быть, Никандров все еще ее любит, во всяком случае, все еще не намерен с ней порывать, но она — она сама — заставит его это сделать — как только он вернется, она все свои тревоги, все сомнения не сумеет удержать при себе и обрушит на него! Огромный, шумный, то холодный, то горячий и страшно бестолковый поток слов!

А ему-то какое дело до всего этого? Ему-то это все будет ни с того ни с сего! Он-то ведь не знает, что тут происходило без него. Не знает, чего ей стоила эта новая прическа!

Нет, если у нее сохранилась хоть капля здравого смысла, она должна понять его эгоизм.

Кому-то нужна издерганная, сама собою замученная баба?! Кому-то нужен стопроцентный псих! Шизик! Февралик!

Это ведь в феврале до нормального месяца всегда не хватает нескольких дней.

Глава седьмая

ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ

А все оказалось напрасным: Никандров вернулся, они встретились, и как с белых яблонь дым!

Ей представился почти что атлет, высокий и плечистый, интеллигентный и в то же время мужиковатый. Немножко азиат — скуластый, но голубоглазый, со светлыми волосами, которые, вот это она уже знала, не оставались постоянными и время от времени сами по себе то рыжели, то темнели, становились чуть ли не каштановыми. Что за секрет? Она Никандрова об этом, помнится, спрашивала, а он и сам не знал, как и почему это случается. Он почти не придавал значения своей

внешности, но внешность была у него такая, что другой не нужно.

С ее собственным новым рисунком, который она сначала так старательно для него готовила, а потом сама себя испугалась, а потом — начисто о нем забыла, получилось так: она-то забыла, а он, встретив в первый же день Ирину Викторовну в коридоре НИИ-9, рядом с библиотекой, не сразу узнал ее... Было кино: сначала он узнал ее по фигуре, потом не узнал ее лица, потом узнал и лицо, и фигуру, а она не сразу поняла, почему он ее то узнает, то снова не узнает, и приходила в эти секунды то в ужас и отчаяние, то — в восторг. Кино! Цирк! Средняя школа, восьмой класс, да и только! И коридор-то в НИИ-9 — длинный-предлинный, с окнами слева, с большими дверями справа — был совсем похож на школьный.

Но рядом с Никандровым ее организм становился другим — отчаянным, она ничему не удивлялась — восьмой класс так восьмой, не все ли равно, хоть пятый!

В квартире тетушки Марины они были в тот самый день, когда Никандров вернулся из своей любимой Киргизии: он был в полном восторге от ее нового рисунка и хотел как можно подробнее его рассмотреть.

Не пропал ее скорбный труд, и заботы тоже не пропали! Ее планета — с твердой почвой, с легкой атмосферой, с высоким небом — возвращалась к ней, возвращалась, как бы чувствуя себя виноватой за прогул без уважительной причины, не подтвержденный ни больничным листком, ни какой-нибудь другой справкой... Ирина Викторовна, посмотрев на такую недисциплинированность сквозь пальцы, приняла возвращение планеты благосклонно, хотя и сделала для себя пометки: на ее планете тоже нужно знать, какие дороги и перекрестки, какие входы и выходы куда ведут. На всякий случай — нужно!

Сделав же эти пометки, она снова приняла жизнь своей планеты как нечто само собою разумеющееся, приняла такую жизнь, которая всегда находится чуть-чуть поверхностнее и чуть-чуть выше собственного смысла, ну, хотя бы на одну ступень. А это очень важно — принимать жизнь так, чтобы она, хотя бы и совсем немного, но была выше, чем ее смысл.

Одной ступени уже достаточно, чтобы быть «над» и не прикасаться к глубине, не заглядывать в нее, тайную и непостижимую по смыслу.

Кроме того, разве смысл — это всегда истина?

Смысл — это ведь слова, это — обозначение, а слова и обозначения всегда готовы ворваться в чувство любви, и надо быть очень бдительной, надо установить деспотическую цензуру над словами! Подумать только, что бы произошло, если бы она дала волю словам и сказала Никандрову все, что думала о нем и о себе в его отсутствие? Все могло случиться после этого — и атомный взрыв, и наводнение, и разрушительное землетрясение на ее новой планете, и засуха, и гром, и молния, и пустыня — все могло быть! Недаром нынешние писатели, когда пишут о любви — так только о том, как влюбленные обнимаются и лежат в постели, а что они думают и говорят — об этом помалкивают: боятся разрушить свое собственное любовное творение, догадываясь, что оно может и не выдержать испытания словом.

И она дала зарок — не начинать слова первой. Если первым заговорит он, станет ей что-то объяснять в ней самой, в самом себе, в их любви — пожалуйста!

Но первая — ни за что!

Пусть ее планета крутится вокруг собственной оси без помощи слов!

Так оно и было. И оказалось, что это не очень трудно — не говорить ничего о любви и ничего о ней не спрашивать.

Чего только не сделаешь ради любви! Все сделаешь, даже будешь молчать о ней!

Так оно и длилось некоторое время, это молчание, но однажды Никандров произнес ужасные слова:

— Ты — хороший парень! — похвалил он ее.

Может быть, как раз потому похвалил, что заметил ее умение вовремя и умно молчать.

Ирина Викторовна обмерла.

Сколько она себя помнила — она была женщиной, сколько помнила — всегда готовилась быть ею еще и еще, всегда боялась, что женщины в ней почему-то мало, гораздо меньше, чем, например, в Нюрке. Это началось со школы, возможно,— еще раньше, с детского сада, может быть, это было плохо, может быть, было напрасно, но так было всегда, а быть иначе не могло. И Никандров ничего этого о ней не знал? Не догадывался?! До сих пор этого не понимал?!

Хорошим парнем она давным-давно была для Мансурова-Курильского, ей вот так — по горло! — хватало такого бытия, от него-то она всеми силами и хотела из-

бавиться, а ради избавления выпросила в новогоднюю ночь у господа бога свою любовь!

— Это серьезно?— спросила она у Никандрова вслух, а не вслух спрашивая у него: «Тоже — хочешь? Хочешь поменять женщину на рубаху-парня? На своего в доску? Которому не важно, скажут ему что-то ласковое или похлопают по плечу? Которому все равно — подарят ему цветы или не подарят? Который не обидится, если опоздать на свидание, не прийти совсем, а потом позвонить и, объяснив причину, спросить: «Лады?», которому можно рассказать мужской анекдот, которому...»

Мансуров-Курильский, когда хотел ее похвалить, говорил значительно: «С тобой — не пропадешь. Ты — хороший парень!»

— Это я не серьезно, а просто так...— что-то такое понял Никандров. Деликатный монгол, догадливый...

Она перевела дыхание и спросила:

— Странно, Василий, но я тебя не знаю. Что за человек, а?— Она погладила его по скуластым щекам, сначала по одной, потом по другой.— Скажи?

Никандров сложил руки трубкой:

— Э-эй! Тайны!

В сумраке квартиры тетушки Марины — комната, кухня, коридор, санузел — ему что-то отозвалось. Дребезжанием чего-то стеклянного.

— Так я позвал?— спросил он.— Правильно?

— Тише...

— Э-эй! Тайны!..— снова позвал Никандров, теперь уже негромко. И привлек ее к себе:— Вот она, тайна! И — не задумывайся,— напрасная потеря. Потеря жизни.

Ирине Викторовне и хотелось бы забыть свой вопрос, но уже нельзя было его забыть.

— Что за человек? Ну?

Он еще молчал...

— Знаешь,— сказал он,— тайна — это сама жизнь. Но над ней мы не думаем, не привыкли. Другое дело — тайны второго, третьего ранга и таинственная мелюзга. Эти — занимают нас все время... Хорошо жирафам: и живут, и любят, и тайн для них нет.

— Неплохо...— согласилась Ирина Викторовна.— Неплохо быть жирафом.

— Ну, а как быть Ирочкой Мансуровой? Хорошо? Или — плохо?

— Так, как сейчас,— ею быть хорошо. Даже лучше, чем жирафом.

— Спрашивай, спрашивай! Знаю, как тебе хочется спрашивать!

— Ты — какой?

— У, как трудно!

— Мало ли что трудно?!

— Значит, так: стараюсь! Всегда стараюсь быть хорошим.

— Всегда? И во всем? Или — не во всем?

— Стараюсь, чтобы всегда и во всем...

Все он сказал о себе или не все? Или — далеко не все?!

Ирина Викторовна, приподнявшись, глядела Никандрову в глаза.

— Не сердись,— сказала она ему.

— Не сержусь...

— Конечно, я должна была узнать все, ни о чем тебя не спрашивая. Но... Мы ведь с тобой только вот так — от встречи до встречи,— и приходится быть глупой, наивной и приставать с расспросами. Скажи: для чего ты стараешься? Стараешься быть?..

— Я так хочу... Хочу, чтобы со мной могла быть вот такая женщина. Вот такая! Чтобы ко мне имело отношение все то, что я прочитал когда-то в настоящих книгах... То, ради чего я их читал. Ну, а еще для чего? Должно быть, я уже внушил себе и кому-то, что я должен стараться. А теперь не могу иначе... Ну, и беспредметно, просто так. Просто — такая необходимость. Неизвестно для чего. Это не поддается доказательствам. Я читал: доказывать можно отступления от нравственности. Но нравственность — нельзя! Видишь: я не напрасно читал!

— Тетушка Марина говорит, будто некоторые люди, не все — родятся с чувством такой необходимости. С чувством своей обязанности быть хорошим, то есть обязательным... Впрочем, ладно. Ты уже сказал. Уже кое-что должна знать за тебя я — пора!

— Пора...— вздохнул Никандров.— Сейчас ведь вернется тетушка Марина, которая говорила, что некоторые люди...

Было тихо, уже долго никто не стучал дверью в подъезде. Наконец дверь простучала.

— Марина уже вернулась,— вздохнула Ирина Викторовна.

— Ты думаешь?— встрепенулся Никандров.— Она ждет? На улице?

— И еще будет ждать. Целый час. Пока в кухне горит свет — тетушка Марина не войдет сюда.

А между тем другая, кажется, даже не ее и не его, жизнь шла своим чередом и по своему усмотрению двигала им и ею: Никандров снова уехал.

К удовольствию и гордости чуть ли не всего НИИ-9, на Северном Кавказе открывался новый филиал со штатом чуть ли не в двести человек, и вот научные работники головного института должны были часто бывать там. Для связи, для налаживания работы.

Для связи, для налаживания работы поехал на Кавказ и Никандров.

Ирина Викторовна снова осталась одна и снова успокаивала себя: теперь она все-таки знает о Никандрове гораздо больше, чем прежде. Еще бы не больше?!

Знает, о чем его тревоги...

Об урожае будущего года — безусловно! О школьном воспитании — конечно! О станкостроении — тем более! О металлических сплавах и абразивах, которые должны широко применяться в станкостроении, но до сих пор не применяются,— об этом все время! О Вьетнаме — как же иначе?! О биосфере — еще бы! И так — обо всем на свете... Обо всем на свете он объяснял и ей: «Вот я сию минуту погрешу против чего-нибудь, возьму, например, и поверю: общественные интересы человека выше личных! Тотчас кино закрутится совсем не в ту сторону, и весь мир представится мне хаотическим или, наоборот, выстроится в одну шеренгу: переустраивай меня, я — в твоей власти! А велик ли мой грех? Грех пустяшный: всего-то навсего одно неточное утверждение».

И это было понятно.

Непонятно другое: как же это он, без конца тревожась и задумываясь, остается спокойным? Он же — «лапа» для всего НИИ-9, а теперь еще наверняка и для северокавказского филиала, для всех его двухсот штатных единиц?!

Кроме того — а вдруг эта речь, эта философия вовсе не обо всем на свете, вовсе нет, а об одной или двух крохотных деталях: о том, что они забыли, что он — чей-то муж, что она — чья-то жена, забыли и сразу же погру-

зились в мир нереальный? Которого нет? Который — только кино? И крутится совсем не в ту сторону?

Или: Никандрову не нравилась работа в НИИ-9, не нравилась не по мелочам, а в целом! Если бы дело зависело от него, так он начал бы не с конструкций, а со сплавов и абразивов. Новые сплавы и абразивы решают дело разумно и надолго. Без этого Никандров считал коэффициент полезного действия самого себя равным 0,15. Лучший случай — 0,17!

Цифра ошеломила Ирину Викторовну: 0,17?!

Она была техником, он был техником, время было техническим, избавиться от себя и от этого времени было невозможно, и вот она думала об этой цифре ужасно много, без конца, эта цифра — еще не хватало!— была для нее ну прямо как нож в сердце: почему же тогда Никандров такой энергичный, почему «лапа», спокойный, выдержанный? Если его КПД равен всего-навсего ноль-пятнадцати? Ради чего же тогда стараться, хватать обеими руками литературу? Прятать ее под пиджак — английскую и не английскую?

Вот так нелепо она тратила минуты их свиданий: выясняла все эти вопросы. Втайне она даже надеялась, что он засмеется над ней, однако он не смеялся, отвечал серьезно.

— А — иначе? Как — иначе? Стараюсь: ведь ноль-пятнадцать лучше ноля-десяти? Ноль-двадцать — лучше ноля-пятнадцати?

— Ну, а махнуть рукой? Ведь эти цифры, все, как одна,— мизер для тебя? Мизер и ничего больше?!

— Многие машут... Многие — кому махать не на что, а очень хочется сделать вид, будто бы есть на что!

— Ладно. Но ты еще и доброжелательный. Ты ведь самый доброжелательный человек в институте!

— Не буду доброжелательным, буду злыднем. Хочешь?

— Не надо.

И ведь это, вероятно, только честный, честно растревоженный человек может определить свой КПД равным 0,15—0,17! Другим — в голову не придет! А придет, они подсчитают: 0,9 или 1,0. Еще выше, 1,25, например!..

Ирина Викторовна изобретала судьбы для этого честного, растревоженного человека: делала его директором НИИ-9, в силах которого изменить все направления работы, все начать сначала — со сплавов, с абразивов, или она увольняла его из НИИ-9, а потом заса-

живала в крохотную лабораторию, в которой он делал свое дело денно и нощно, и никто не знал, чем же он все-таки занят, она одна только и знала, одна только и верила...

Необходимо было понять себя, понять его и понять себя и его вместе в нынешнем, в сегодняшнем дне, в нынешнем, а не в прошлом и не в будущем времени. До смерти хотелось этого понимания, и вот она задавала Никандрову множество самых разных, неожиданных даже для самой себя вопросов: что ему нынче нравится, а что — нет, что — так, а что, он думает, на этом свете совершается совсем не так, а утомив его своею серьезностью и дотошностью, она пыталась облечь эту серьезность в каламбур:

— Ты знаешь, что мы с тобой — р-революционеры? Знаешь или нет?— спрашивала она его в сумраке Марининой комнаты, в очень хорошие и нежные для них минуты, опять не жалея этих минут.

Никандров был охотником до таких неожиданностей, усталость с него как рукой снимало, он сразу же начинал морщить лоб и догадываться:

— Революционеры, да? Почему бы это?

— Ну как же: на дворе НТР — научно-техническая революция, а мы с тобой — кто? Мы с тобой научные работники и техники. Значит?!

Она добивалась своего: Никандров начинал рассуждать.

— Кто знает, кто знает — делаем ли мы эту самую революцию или только работаем на подхвате, пожинаем чьи-то плоды, может быть, неумело пожинаем?.. И не мы ее — она делает нас?

— Как понять?

И Никандров говорил ей, что на его глазах не произошло ведь почти ни одного крупного открытия из таких открытий, которые меняют жизнь, которые — величайшие и неповторимые. Ну, разве одно, два, и уж, конечно, не более того, что свойственно любой, самой ординарной эпохе. Разве вот телевидение позволило людям видеть на огромные расстояния. А рассматривать жизнь на экране кинематографа, слышать на расстоянии по проволочному и беспроволочному телефону, ездить на машинах по земле, плавать по воде и под водой, летать по воздуху, записывать на пластинки голоса и музыку, просвечивать человека и другие предметы лучами рентгена — всему этому он лично, Никандров,

никого не учил, а учили его, причем учили вовсе не многие поколения, а только отцы и деды... Вот те действительно были открыватели, изобретатели и гении! И среди писателей — так же. И среди мыслителей. Ну, да — телевидение составляет исключение. А еще — атомная энергия и полет в космос.

— Но и это не влияет на мой быт, на мою повседневность,— если на Луну и еще куда-нибудь станет летать сто тысяч человек ежегодно — и тогда это будет капля в море человечества и его быта! Это все будет проходить мимо меня.

— А меня — не мимо! А я собиралась,— тихо говорила вдруг Ирина Викторовна,— а я собиралась не то чтобы летать, а пережить полет! Отвести на это дело какой-нибудь день, а то и два и пережить все. От начала до конца, от старта до финиша.

— Ты ушла дальше меня...— соглашался Никандров.— Я знаю — дальше: тебе ведь все равно, что ты сама, что твоя фантазия. И то, и другое для тебя — ты.

Она соглашалась с ним целиком, всей душою и всеми ощущениями, обнимала его всего, с ног до головы, и объясняла:

— Знаешь, для меня вот это не только жизнь, но и фантазия. А для тебя только жизнь — да?

Молчали. Никандров снова возвращался к своей мысли:

— Для меня, что поделаешь, уже нет научных открытий, а есть только задача их использования! Я не конструктор, я только чертежник. Черчу я действительно в грандиозных масштабах. Что от меня требуется прежде всего, так это прилежание. Может быть, кто-то и думает, что совершил открытие, а я, очень прилежный, посмотрю на такого и вижу: еще одно повторение. Может быть, на каком-то новом, еще не известном в мире языке, но все равно повторяется старая истина и даже не вся, а только в какой-то частности. Лирики это касается или техники — все равно.

Нет, этими мыслями Никандров ее не радовал... А все-таки он радовал ее: она ведь открывала его, его самого — какой он, как думает, как живет в нем их общее время? Давно-давно, до того еще, как «произошло все», она догадывалась, какой он. Теперь ее догадки, кажется, подтверждались, и ее прозорливость становилась ее радостью, а этой радости она готова была добиваться еще и еще. И чем больше он говорил, чем больше

открывался, тем больше она боялась, что все еще не знает его.

Так они бывали вместе — сознавая свое неоспоримое право на жизнь, на любовь, на свое присутствие в квартире тетушки Марины, сознавая, что такое космос, что такое мужчина, а что такое женщина, и не сознавая, что вот это за мужчина и что вот это — за женщина? Конструкторы они или Чертежники?

Ну, что же, только потому, что Ирина Викторовна и сознавала, и не сознавала не одна, а вместе с Никандровым, ей было уже хорошо и можно было жить не просто так, а жить счастливо.

Единственное, что ее смущало: а ему? А ему — тоже можно или нет?

Но этот вопрос она уже не имела права ему задать при всем своем эгоизме. Тут ее что-то неизменно останавливало, не совсем известно, что именно, но правильно останавливало.

Об этом она должна была догадаться сама... Если сможет.

Она спрашивала себя — чем же она-то должна быть около него? И для него? Вот такого?

Ну, конечно, Никандрову не хватало аксиом — самоочевидных и не требующих доказательств истин.

Хороший парень — это вызвало в ней обиду, горечь, отвращение.

Другое дело — аксиома! Вот чем она хотела быть для Никандрова: аксиомой!

Глава восьмая

МУЖСКОЙ КРУГ

Был поздний вечер, почти ночь, Ирина Викторовна чертила Аркашке его нехитрые классные работы, удивляясь, как и почему могло случиться, что такой пустяк Аркашка не может сделать сам.

Чертила она в кухне, чтобы никому не мешать в комнатах, к тому же кухонный стол, большой и плоский, был удобным для черчения.

В квартире стояла уверенная в себе ночная тишина, все уже спали, а вот у соседей кто-то все еще плескался в ванне, гудели водяные краны, замолкали и начинали гудеть снова.

Вдруг скрипнула кухонная дверь, приотворилась, и медленно вошел Мансуров-Курильский.

Он был в пижаме и в домашних туфлях, сосредоточенный на чем-то, на чем — ей не трудно было догадаться.

Мансуров-Курильский подвинул ногой стул с низенькой, почти детской спинкой и молча сел напротив.

Ирина Викторовна продолжала чертить, и хотя она смотрела на ватманский лист, все равно видела мужа — усталое лицо с большим лбом, который когда-то очень нравился ей, а позже больше, чем что-нибудь другое в его облике, не то чтобы ее раздражал, но вызывал недоумение: почему у человека такой умный лоб, что за обман?

В общем-то, лицо Мансурова было довольно красивым, особенно на первый взгляд: лоб, глаза, все крупное и как будто бы значительное. На самом же деле это была не значительность, а многозначительность, и выражение внимательности этого лица тоже было только видимостью,— как будто человек занят, думает что-то про себя, и для того чтобы выслушать вас, ему надо сделать немалое усилие — оторваться от собственных мыслей. Он и отрывается, а вы — должны ценить это. На самом же деле отрываться ему не от чего, и вас он тоже почти не слушает. Такая уж манера — почти что слушать или почти что не слушать.

Тут давно не было никакой игры, манера была уже не манерой, а самим человеком, его нынешним складом, это когда-то Мансуров привил сам себе манеру, у кого-то ее позаимствовал, да так с ней и остался навсегда, сам ей подчинился.

Может быть, и правильно — он нашел в этом самого себя, такого человека, у которого КПД по его собственным подсчетам, безусловно, равен единице и который умел оберегать себя от всего того окружающего, в котором или что-то не так, или что-то не то.

Теперь он тоже был им же, тем не очень заметным, не очень значительным для других, но очень заметным и значительным для самого себя, пришел, подвинул ногой стул и сел, а потом, на какое-то время, будто и совсем забыл — зачем пришел.

Было долгое молчание — минута, две, может быть, и дольше.

Наконец Мансуров как будто что-то вспомнил:

— Ну? И что же ты мне скажешь, мать?

— Вот уж не знаю! — пожала плечами Ирина Викторовна.

— Не знаешь?

— Нет...

— Ну-ну... — На чертеже Ирина Викторовна изображала гаечный ключ. Мансуров присмотрелся к чертежу, вздохнул, снова о чем-то будто бы подумал и сказал: — А я пришел тебя поздравить, мать...

Это было неожиданно. Ирина Викторовна отложила в сторону рейсфедер и спросила:

— То есть — как это? Поздравить? — И тут все вспомнила: в течение всей супружеской жизни этот день они всегда отмечали, не пропустили ни разу — в этот день она когда-то приехала к Мансурову на Курилы...

— Вот так... — пожал плечами Мансуров. — Значит, так!

— Вот так... — кивнула Ирина Викторовна, снова взяла рейсфедер со стола и стала заполнять его тушью... — Действительно! Подумать только!.. — Она наполняла рейсфедер тушью, а сама — и лицо, и даже руки — наполнялась краской, горячей и влажной. Провела тушью одну-другую линию — не получалось. Руки дрожали... Ирина Викторовна давно знала, что особый разговор с мужем рано или поздно начнется, что начнет его он, а не она, но почему-то не могла себе представить, что все это будет вот так, как было сейчас. Сию минуту...

Она не боялась, бояться ей было нечего, ни о чем, что с нею случилось, не жалела, нужно будет — она обо всем скажет Мансурову-Курильскому, не нужно — промолчит, а вот руки у нее дрожали и — противно...

— А ведь это — серьезно. Серьезная дата! — заметил Мансуров, а еще он заметил, что руки у нее дрожат.

Надо было ему ответить...

— Конечно...

Сейчас Мансуров должен был подняться, подойти к ней, обнять ее и все понять... И даже не понять, а только еще раз убедиться во всем том, что он уже довольно давно понял.

Сразу же после того как впервые она встретилась с Никандровым на жилплощади тетушки Марины, она ведь всячески и под разными предлогами старалась избежать близости с мужем, а он это не сразу, но заметил, потом замечал еще и еще, а сейчас, в юбилейную дату,

когда «это серьезно»,— он должен был в этом окончательно убедиться... Вот зачем он и пришел к ней на кухню... Вот почему он и ждал целый день молча, ни словом не напоминая о серьезности этого дня...

А она?

Ей вдруг спустя столько лет впервые захотелось сказать Мансурову о том, как ехала она к нему на Курилы, а в поезде ей встретился человек, с которым она простояла много суток подряд у вагонного окна, как гудели и стонали у нее в тот раз ноги... Как этот человек звал ее поехать с ним куда-то далеко-далеко. За океан... Она — не поехала... это правда. Но ведь могла бы поехать. Не тогда, а вот сейчас она поняла, что могла бы!

«Глупости!— упрекала она самое себя.— Глупости, потому что это было чуть ли не четверть века тому назад. Очень серьезные вещи за такой срок становятся глупостями!»

Но отогнав прочь это видение — дальневосточный поезд, который именовался «экспрессом», но шел без расписания, и высокого, стройного, голубоглазого человека, о котором она и не вспоминала с тех пор почти никогда, Ирина Викторовна в один миг приблизилась ко всему тому, что происходит вот сейчас, сию минуту, и сию же минуту ей захотелось спросить мужа: «Курильский! Разве ты не замечаешь, что мы все еще иногда близки с тобой единственно потому, что я не могу избежать твоей близости? Не хватает у меня сил для этого, для того, чтобы последовательно, изо дня в день избегать тебя, не хватает еще чего-то, не знаю, и вот на все то время, когда мы с тобой вместе, я научилась заменять себя другой женщиной... Та, другая, еще ни разу не подвела меня, не подвела окончательно, но ты-то, ты сам — неужели не уразумел этой замены?! Неужели ты дождешься, когда та, другая, выдаст меня?»

Мансуров-Курильский сидел молча, неподвижно, все с тем же многозначительным выражением лица — удивительно!

«Неужели ты встанешь сейчас, подойдешь и обнимешь меня? Неужели тебе все еще в чем-то надо убеждаться?»

Курильский встал... Подошел... Постоял. Повернулся и ушел из кухни.

А Ирина Викторовна долго еще сидела в прежней позе — склонившись над нехитрым чертежиком, с рей-

сфедером, наполненным тушью, в руке, потом положила рейсфедер на стол и подвинулась к окну.

За ситцевой занавеской, за окном, стояла глубокая и темная ночь, в сквере напротив среди густой ночи один за другим просматривались неподвижные и еще более темные сгустки деревьев, над ними — слабые и неяркие звезды, а ниже, вдоль набережной, быстро-быстро двигались красные огоньки машин, движение там было одностороннее, и огни были только красные, светлых не было.

...Развод?

Объяснения с мужем не произошло, но все-таки оно было.

Ирина Викторовна и еще чертила, читала какую-то книжку, которая попалась под руку, а с рассветом вошла в спальню.

Вошла не одна, а снова с той женщиной, которая, в общем-то, очень неплохо и умело имитировала ее.

Она прихватила эту женщину, которая была не то чтобы ее двойником, а скорее, ее поддежурной, просто так, на всякий случай, уже твердо зная, что и эта поддежурная нынче не понадобится...

Мансуров-Курильский не спал, и не сделал вида, что спит, и не пошевелился...

Часы в прихожей пробили один удар — половину пятого, Ирина Викторовна разделась, легла и неожиданно для себя уснула на те короткие часы, которые еще оставались для сна.

Уснула так, как будто бы она что-то совершила, что-то очень важное для себя, и вот — наверное, уже навсегда,— вышла из какого-то привычного круга.

А круг этот был не только Мансуровым, конечно, нет: один только Мансуров не смог бы его составить, но для того, чтобы весь круг возник в ее воображении, с чего-то ведь нужно было начать?

Когда-то Мансуров подавал большие надежды, много надежд, и никто так не верил в них, как сам он. И ему, да и ей тоже, представлялось, что Мансуров — это будущий ученый, Мансуров — будущий крупный организатор, Мансуров — умный семьянин, с которым легко и счастливо всем, а особенно жене. И все это должно было прийти вскоре; подождать год-другой, и все придет. Они и поджидали, им было легко ждать, Мансурова знал весь остров, знали и на других островах Курил, знали и любили за легкость характера, за общитель-

ность и даже за беззаботность, которая была, однако, беззаботностью уверенности: «Видите, какой я радостный? Это потому, что у меня все впереди. А пока что мне вполне достаточно одного острова из группы Курильских островов, вас, милые жители этого острова, избушки на курьих ножках да милой жены!»

Когда Ирочка ехала на Курилы, она везла в корзинке для белья учебники английского и кое-что по специальности, Мансуров же ни к одной книге не притронулся: «Что я — фронтовик, и не получу диплома, что ли?» Диплом-то он получил, это верно. Как только вернулся с Курил на материк, так и получил.

И по службе Мансуров кое-чего достиг — персональной машины, например, которой он был очень горд, надо было видеть, каким образом он в нее садился по утрам у подъезда своей квартиры; выходил из машины нормально, как все, а вот садился...

А надежды, несмотря на персональную машину, всетаки исчезли, только вот признаки надежд — те остались!

Обычно бывает не так, обычно в природе имеет место какой-либо факт, но открыть его трудно, потому что он, этот факт, недостаточно подает о себе признаков. У Мансурова фактов почти не было — ни факта его знаний, ни факта его организаторских способностей, ни факта семейной мудрости, но признаки всего этого, причем очевидные и даже непререкаемые,— никогда его не покидали.

Наверное, Леонид Мартынов сказал бы об этом так:

О, эти признаки как призраки!..

Андрей Вознесенский пошел бы дальше и не менее чем на десять строк разрифмовал семь слов и три знака препинания:

Признаки — это призраки!
Без признания!
Без призвания!

И это было бы интересно. Потому что Вознесенский это умеет.

Но Ирине Викторовне это интересно не было. И она — не умела. И когда вокруг говорили: «Мансуров-то? Он ведь со временем...» — ей было очень неловко, стыдно было.

В свое время Мансуров и сам понял, что неловко, и завел такую песню — вот, дескать, неудачный брак. Другой брак, и я был бы другим!

Последовала размолвка, которую затем никогда загладить уже не удалось, несмотря на все старания Евгении Семеновны, сразу же и безоговорочно принявшей сторону Ирочки. Мансуров скоро одумался и больше никогда к своей песне не возвращался. Но все равно она была спета и вот сыграла, вероятно, даже более роковую роль, чем крах всех надежд Мансурова. Мотивы до сих пор начинали звучать в ушах Ирины Викторовны — стоило только возникнуть соответствующим обстоятельствам.

И хотя песни не стало, кончилась, но и семьи в начальном ее виде не стало тоже, вместо семьи была теперь домашняя работа.

Не в том дело, что домашние обязанности тяготили Ирину Викторовну, и не в том, что этих обязанностей, несмотря на помощь свекрови, не то что с каждым годом, а с каждым днем становилось почему-то все больше и больше, а в том, что из обязанностей начисто исключалась их домашность, семейность, благодарность и обычное уважение, которые должны следовать за любой добросовестно и от души выполненной обязанностью.

Ты делаешь с энтузиазмом, хлопочешь, а тебя вызывают в кабинет и дают задание-наряд на следующий день: пойти туда-то, вот это отнести в химчистку, это выгладить — насчет костюмов и галстуков Курильский большой аккуратист, а вот это — в библиотеку, за это срочно заплатить, это — пришить, это — укоротить, это — вообще убрать с глаз долой, чтобы больше на глаза не попадалось и не раздражало. Все — обязательно не позже завтрашнего дня, на обратном пути с работы «выбрать время», но — это очень-очень важно, и потому подтверждается еще и еще раз — не позже, чем завтра!

А если не успела? Бывает же — не успеваешь?!

Тогда святое недоумение: так ведь я же тебя просил?!

И это при всем том, что в отношении самого Мансурова как такового — последнее слово было за ней, а не за ним: ехать ли ему на курорт или не ехать, а если ехать — то когда; надевать тот или этот костюм на официальный прием; идти к врачу или не ходить; часто даже — принимать ему на работе это решение или дру-

гое — в конце-то концов обо всем должна была сказать она...

Она и говорила, а если потом получалось неладно — на курорте была плохая погода и кормили неважно или он сходил раза три к врачу и все напрасно, выяснилось, что и не надо было ходить,— тут уж, разумеется, других виновников не было — только она.

Ну, чем не работа?! Причем — казенная, казеннее, чем в НИИ-9, чем на любом другом «производстве»!

Однако на этом «производство» не кончалось, этими ценными указаниями главного руководителя.

Помимо указательных, Мансуров как-то незаметно-незаметно, а присвоил себе еще и запретительные функции: этого не покупать, туда не ездить, таких-то в гости не приглашать, у таких-то в гостях не бывать... Почему?

Потому что — нельзя!

Опять-таки это произошло, разумеется, не без участия ее самой — когда-то ей даже нравилось подчиняться мужу — он ведь мужчина, знает, что делает. Далеко не сразу выяснилось, что делать-то он делает, а что — не знает. И знать не хочет. Ему даже казалось, что если он перестанет запрещать — завтра же все рухнет, полетит в тартарары, вся семья погибнет, разве только он один и останется в целости и сохранности, так что он вовсе и не о себе заботится, запрещая, а о других.

Так он думал, Мансуров, но почему-то его «нельзя» оставалось непререкаемым только для жены, Аркашка, тот и в ус не дул, Евгения Семеновна сердилась и — были случаи — топала на сына ногами, а вот Ирина Викторовна должна была и в ус дуть, и ногами топать не могла — иначе что же в самом-то деле будет с семьей?!

Ирина Викторовна убеждала Мансурова, объясняла ему: чтобы запрещать, не надо ничего — ни ума, ни знаний, ни трудолюбия, ни изобретательности, ни инициативы, ни доброжелательства, ну как есть ничего, потому-то в жизни и встречается так много запретителей,— до Мансурова не доходило или доходило как-то наоборот: «Ты в чем же это меня подозреваешь?» А она действительно подозревала, что, заняв свою роль запретителя, он свел все семейные и супружеские отношения к тому минимуму, за которым их уже вообще нет, что сделал свой дом некоторым «производством», а сам оказался в послужном списке своей жены: «Под руко-

водством кого вы когда-либо работали?» «Работала под руководством такого-то, такого-то и такого-то», а в числе таких-то и Мансуров Николай Осипович, руководитель скорее из глупых, чем из умных, но ей-то пришлось потрафлять и делать за него то, чего он сам, руководитель, делать не умеет, и находить с ним, хотя и несколько своеобразный, а в общем-то все равно служебный язык.

Больше того, с некоторых пор Мансуров потерял для нее свой собственный облик, а стал незначительной частью того мужского коллективного и производственного портрета, того замкнутого круга мужчин, который так или иначе сложился в том же НИИ-9.

Ирина Викторовна не знала — существует ли такой круг в сознании каждой женщины, но для нее он существовал. Он не был ни всеобъемлющим, ни художественно-обобщенным, она ведь тоже не была ни социологом, ни художником, не выбирала и не создавала круг, а только много-много лет работала в НИИ-9, и какой коллектив это учреждение ей представило, таким он для нее и был.

Даже описание его, этого мужского коллективного круга, все-таки удобнее было начать не с Мансурова, а в порядке бюрократическом — от мужчин старших к мужчинам младшим по должности, тем более что тон такому порядку задавал директор института Строковский, действительно соответствуя фигуре № 1.

Строковский Андрей Леонтьевич возглавлял институт много лет, с каждым годом сокращая число своих присутственных дней в подчиненном ему учреждении, так что теперь все это число едва ли достигало сорока — пятидесяти за все двенадцать месяцев года.

Все остальное время он проводит в заграничных и отечественных командировках, в международных и ведомственных симпозиумах и конференциях, в министерствах, комитетах, комиссиях, экспертизах и на курортах.

Когда-то это был настолько оригинальный конструктор и ученый, что и сейчас еще каждое его появление в институте, благодаря этому «старому жиру», сопровождается каким-нибудь интересным предложением или замечанием, которое он к тому же излагает с эффектом.

Можно даже сказать, что в институте Строковского любят, но только недоверчивой любовью: он сделает те-

бе замечание правильно, умно и даже отечески любовно, а вот какие будут выводы — этого никто не знает, кажется, даже он сам не знает... Проходит год — он вспомнил все и понизил тебя в должности либо с повышением переправляет в другой институт.

Он актер, и немало, но где он актер, а где нет — тоже не знает сам, позабыл когда-то, да так и не вспомнил; он демократ — в командировку может поехать и не в мягком вагоне, может выпить с подчиненными водочки, в то же время он недоступен, и никто не узнает от него ничего такого, о чем, по его мнению, должен знать только он.

Строковского можно завтра снять за развал работы и очковтирательство, поступая в соответствии с его же собственными словами: «Совершенно неважно, что вы делаете, уважаемый товарищ! Важно то, как вы об этом деле написали!», и тоже в соответствии с его словами можно наградить и высоко поднять: «Скажите, пожалуйста, что́ для нас мировые стандарты? Ровным счетом ничего! Стандарт, хотя бы и мировой,— всегда нелепое ограничение!»

О начальстве, которое выше его, Строковский никогда не говорит иначе как «умница». И тот умница, и другой, и третий, и десятый, но все дело в том, с какой интонацией это слово произносится, какими жестами сопровождается.

Отдел информации и библиографии Строковский поддерживает и лелеет: «Не так важно делать самим, как важно знать, что делают другие!», «Вообще все исследовательские институты надо поделить на две равные части: первая часть — техническая информация, вторая — все остальные отделы»; а что касается Ирины Викторовны, так к ней у него было персональное отношение: «Отдел информации и библиографии — мое детище и он должен быть самым красивым. Пока его возглавляет Мансурова — у меня нет на этот счет никаких опасений».

И пойти в кабинет к Строковскому — это всегда для нее значило пойти не только на деловой и дельный разговор, но и на какое-то пикирование, даже на злословие. В чем Строковский, безусловно, был мастером — это в умении сочетать дело с шуткой, серьезное с несерьезным и даже с легкомысленным. И в этом надо было шагать с ним в ногу, особенно женщинам, особенно Ирине Викторовне, если уж однажды он признал за ней такого

рода способности. Вообще Строковский, общаясь с людьми, как будто только и делает, что испытывает их на сообразительность, на остроумие, на приверженность к своему делу и даже — на элементарную порядочность, хотя вот этого ему не надо было бы делать. Однажды, давно уже, Ирина Викторовна дала ему понять, что вот этого — не надо, что испытывать и тем самым подвергать сомнению порядочность собеседника, особенно своего подчиненного — недостойно умного человека, и Строковский с тех пор ни-ни, ни разу себе этого с ней не позволил. А вот головоломочки на юмор и на другие качества ума он ей задавал, потом поглядывал: как-то она отреагирует, поймет — не поймет? Она понимала, ей было даже интересно, она знала, что у нее в это время краснеют щеки и вся она становится тоже интереснее. Однако всякий раз после разговора с начальником к ней приходило ощущение какой-то холодности. Было интересно, увлекательно, а прошло время — и ничего-то от этой увлекательности не осталось.

Строковскому было только-только за пятьдесят.

Ну, а дальше кто? Дальше, положим,— Иван Иванович Поляшко. Вот уже полная противоположность Строковскому: тяжелодум, упрямец, говорит и слушает сам себя — не сказал ли чего-нибудь лишнего? Если не сказал, значит, он сам перед собой — большой умник и молодец, тем более умник и молодец перед всем остальным человечеством. Знать Поляшко ничего не знает и не хочет знать, причем правильно делает, потому что подкреплять себя знаниями ему уже поздно. Учится он совсем не знанию, а произношению общих слов и фраз таким образом, чтобы они «звучали» и даже оказывались к месту. В этом он преуспел, да еще в требовательности к подчиненным, а больше — ни в чем. Вопрос, почему Строковский держит Поляшко в институте, да еще на первых ролях, никогда не сходил с повестки дня кулуарных разговоров. Говорили, что Поляшко был когда-то и откуда-то «сослан» в НИИ-9 высоким лицом и одно только имя этого высокого лица внушало Строковскому уважение; говорили, что и сам Строковский должен был идти на серьезное повышение, да не пошел, и это тоже было чем-то вроде «ссылки», так вот они с Поляшко — товарищи по несчастью, а это много значит; говорили, что Поляшко, будучи высоко, оказал услугу Строковскому; говорили, что Строковский когда-то подложил серьезную свинью Поляшко,

а теперь хотел бы загладить вину. Говорили, что у Поляшко до сих пор сохранились связи, которых не было и у Строковского.

Так или иначе, а Поляшко, не говоря ничего ни о чем, мог толкнуть в ученом совете такую речь, что уши завянут, а Строковский не только — ни гугу, а даже как будто доволен, у него был, кажется, своего рода спортивный интерес — в заключительном слове доказать, что Поляшко говорил дельные вещи. И он-таки доказывал, находясь в самых безвыходных положениях. Если даже Поляшко бил себя в грудь, утверждая, что дважды два — четыре, Строковский и тут развивал мысль о необходимости чаще обращаться к испытанным истинам.

Еще дальше, но уже без какой-то определенной последовательности, приходил на ум симпатичный и неприметный Гордейчиков. Говорили, будто у него железный зад, а больше никаких данных, ну, разве еще — стаж работы в «системе»: Гордейчиков начал работу в НИИ-9 еще до войны, когда, собственно, о современном НИИ никто и не помышлял, а была лишь маленькая захудалая лаборатория, вместе с которой Гордейчиков и претерпел все на свете реорганизации: слияния, разделения, передачи и даже одну или две ликвидации. Все это так, однако Ирина Викторовна, кроме железа и стажа, видела в Гордейчикове и другие деловые качества. Это верно: в те дни, когда в институте появлялся Строковский, Гордейчикова как бы совсем не было на свете, никто о нем не вспоминал, никто к нему не шел, даже и в том случае, если не удавалось попасть к «самому»,— считалось не очень хорошим тоном идти к Гордейчикову в тот день, когда «сам» здесь, сидит за смежной стеной. Но вот «сам» исчезал, его молоденькая секретарша тотчас натаскивала в приемную кучу переводных романов и поуютнее располагалась за своим столом, а секретарша Гордейчикова, пожилая и очень строгая дама, выстраивала к его дверям длинную, почти без различия чинов и ученых званий очередь, и Гордейчиков успевал принять всех, хотя и не торопился, успевал с каждым поговорить на своем ничуть не специальном, а очень простом, отчасти даже примитивном языке и еще попить во время разговора крепенький чаек с бубликом. Никогда и ничего Гордейчиков не изобретал, не имел авторства и патентов, не писал статей в специальные журналы, но читал много, только поче-

му-то опять-таки не запоминая авторов: «Ну, как его, этот — знаете? О котором в прошлом году в журнале писали, ну, в этом журнале, как он называется-то — помните?», однако все это не мешало ему запоминать суть дела не только каждой статьи, но и каждого сколько-нибудь стоящего разговора, который у него с кем-нибудь состоялся в течение трех-четырех последних лет. У него была способность необычайно, почти по-детски, упрощать любую техническую проблему, а это, в свою очередь, помогало ему видеть нечто общее в самых, казалось бы, различных конструкциях и задачах. Сколько раз бывало, что две лаборатории разругаются между собой, а потом эта ругань дойдет до Гордейчикова, он вызывает зачинщиков и заводит: «С чего вы цапаетесь-то? Никак не могу понять. Объясните? У вас и расхождения-то с гулькин нос!» Ему начинают объяснять каждый свою концепцию, каждый — свой принцип, каждый — свои технические воззрения, но объяснить не могут. Гордейчиков качает лысоватой головой: «Не вижу принципиальной разницы. Слова — разные, это точно,— а еще?», и в конце концов противники, озадаченные и как бы что-то нечаянно потерявшие, удаляются: «Мы между собой еще провентилируемся... Сегодня же...»

Вот так Гордейчиков, сам не умея конструировать, рассчитывать и выдвигать технические идеи, мог учить всему этому других. И так бывает!

Еще, безусловно, участвовал в этом групповом портрете Великанов — очень небольшой человек с усиками а-ля Чарли Чаплин, с неизменным энтузиазмом разрабатывающий какую-то проблему, какую — об этом никто, в том числе и он сам, и Строковский, и Гордейчиков, не мог, по-видимому, сказать.

Ирина Викторовна тоже не представляла существа этой проблемы, так как Великанов то месяцами не делал заявок ее отделу, а то вдруг хватал информацию самых различных направлений. Бывали случаи, что в спешке, которую Великанов прямо-таки обожал, отдел ошибочно давал ему совсем не те сведения и обзоры, которые он заказывал,— и ни разу Великанов не заметил ошибки, а только благодарил Ирину Викторовну «за неоценимые услуги и помощь, которые скоро-скоро окупятся сторицей».

Должно быть, Строковскому было интересно иметь лабораторию Великанова в составе института — что-то

таинственное, что-то, о чем никто не знает. А вдруг из этой таинственности возникнет нечто серьезное?.. Вот будет занятно! Годами никаких «вдруг» не происходило — ну и ладно, расход на общем фоне невелик, зато из лаборатории Великанова всегда можно кого-то перебросить в другую, авральную лабораторию, можно, не нарушая общего плана, провести тот или иной эксперимент или разработку для диссертации какого-нибудь значительного лица, можно остановить какую-нибудь комиссию у дверей великановской лаборатории: «А вот сюда мы почти не входим, только в случаях исключительных», можно быстренько сколотить команду для посылки на уборочную, для торжественных встреч и проводов. Удобно и вполне лояльно.

И, наконец, были еще Светлые Головы, четыре или пять голов, зав. лабораториями, которых где-то в глубине души Строковский ценил, должно быть, больше всех других. И — не зря. Это были люди средних лет, ближе к молодым, чем к старикам и столпам, прирожденные инженеры и конструкторы, а может быть, даже и чокнутые этим делом. Как в специалистах Ирина Викторовна чувствовала в них только один недостаток — они хранили в своих черепных коробках массу никому не нужного научно-технического барахла: каких-то заумных схем и прожектов, каких-то справок по истории науки и техники, казусов, анекдотов, цифр и еще бог знает чего. Они всегда напоминали Ирине Викторовне старых модниц, у которых все чуланы, да и не только чуланы, забиты ненужными нарядами и безделушками. На этом, правда, сходство и кончалось, но все равно ей было обидно: если бы барахлишко выкинуть вон, а еще и еще расширить жилплощадь для истинных знаний, которых им было тоже не занимать,— что бы тут было? Каждый из них, вероятно, в течение двадцати четырех часов стал бы Строковским. Светлые Головы им, впрочем, уже были, за исключением того, что не обладали ни административными способностями Строковского, ни его актерскими данными, ни его проницательностью в отношениях с людьми, расположенными в разных должностях и выше, и ниже, чем он сам. Ах, если бы ее Аркашка стал бы когда-нибудь Светлой Головой! Ирина Викторовна авансом собственную голову за такое счастье отдала бы! Без звука!

Да, это были герои, подлинные герои НИИ-9 и вершители его судеб. Строковский мог уйти, но если новый

начальник будет уметь слушать и ладить со Светлыми Головами — НИИ-9 будет существовать и дальше; уйдут Светлые Головы — несколько Строковских их не заменят.

Наблюдая их много лет, Ирина Викторовна поняла, почему положительные герои так трудно даются для изображения художникам, писателям, актерам и режиссерам: потому что писатели и актеры видят вокруг себя только тех положительных героев, которые хотят, чтобы их увидели, которые знают о себе, что они — положительные. Светлые Головы этого никогда о себе не знали, вопрос попросту не интересовал их и даже — не существовал, вместо них интересовался вопросом Строковский, и если он приглашал всех сразу Светлых Голов и закрывался с ними в кабинете на целый день — значит, дела шли к серьезным нововведениям и установкам, значит, какое-то дело принимало очень серьезный оборот.

Теперь подключить сюда техника Мишеля-Анатоля с его противной сентиментальностью и с завидным умением чувствовать счетно-запоминающие машины, вахтера Бормотова — большого грубияна и формалиста, и мужской производственно-групповой портрет, который существовал в сознании Ирины Викторовны,— закончен, и круг, который можно проследить, начиная от Мансурова, от Строковского или от какой-то другой точки,— замыкался.

Конечно, мир необозрим, хотя бы и мужской, но ту часть этого мира, которая находилась в поле зрения Ирины Викторовны повседневно, с которой тоже повседневно и совершенно конкретно, без посредников, она общалась,— такой вот замкнутый круг отражал довольно точно. Во всяком случае, у Ирины Викторовны не было желания его пересматривать, сокращать или дополнять, он устраивал ее в такой же мере, в какой ее устраивали собственные технические и все другие знания, необходимые для того, чтобы заведовать отделом информации и библиографии. Он ведь всегда, этот круг, имел для нее то же самое назначение, что и технические знания,— прикладное, чисто служебное, чего-то иного она в нем никогда и не подозревала и поэтому почти не думала о нем, помимо размышлений о работе, по ходу того или иного институтского дела. Так оно и шло до некоторых пор, точнее до тех пор, пока из этого круга не вышел для нее Никандров и она не догадалась, что Ни-

кандров — нечто иное, сам себе начало и конец и сам себе круг — только гораздо более значительный, оригинальный, самостоятельный и, наконец, гораздо большего радиуса. Так ей представлялось, и не только ей, и другие понимали это так же, только иначе это для себя формулировали.

Ирине Викторовне почти не случалось наблюдать Строковского и Никандрова, беседующих между собой, но раза два-три она видела, как со Строковского при этом словно рукой снимало его актерство, и умение сочетать серьезность с легкомыслием становилось ни к чему, и вальяжность — тоже, так что он оказывался в своем существе: очень умный и сообразительный, но не очень знающий, очень проницательный по отношению к другим, но не очень — к самому себе, преуспевающий, но не совсем уверенный в своих успехах.

Весь тот круг, частью которого Строковский был сам, не действовал на него так, как действовал один только Никандров.

Это ничуть не удивляло ее, она ведь была в состоянии почти что межпланетном, и подобные открытия казались ей совершенно естественными, более того, открытия как будто бы были даже обязаны ей тем, что она запросто их угадывала... Тем более когда они касались Никандрова и, следовательно, сами шли к ней почти непрерывной чередой.

Ирине Викторовне пришло как-то в голову, что она и замуж-то поехала выходить на Курилы только ради того, чтобы выйти из такого же вот круга. Конечно, в то время она еще ничего не знала о существовании подобных кругов, групповых или коллективных портретов, галерей — как они там еще называются,— откуда ей было что-нибудь знать об этом, если у нее не было ни малейших наблюдений и сведений о мужчинах на работе, о мужчинах в семье, о мужчинах вообще где-нибудь? Она и не догадывалась, что такие наблюдения не только возможны и бывают, но бывают обязательно, но все равно она заранее стремилась выйти из круга величин и показателей, которые еще не скоро должна была узнать. Значит, тут было что-то от природы вещей, в этой предусмотрительности.

Это было давно, настолько давно, что как будто не с ней, а с кем-то другим, теперь же для нее — и в этом уже не было никаких сомнений, что для нее именно,— снова возникла та же проблема: выйти из круга по той

причине, что его по-прежнему изо дня в день представлял Мансуров, и это в то время, когда, оставаясь с ним лицом к лицу, она видела, что Мансурова — нет...

Ну, вот так: есть человек и в то же время его нет. И ничего он не представляет сам по себе, разве только без конца занимается имитацией и повторением кого-то другого, других частей мужского круга.

По вечерам Мансуров приглашал ее к себе в кабинет — именно приглашал, хотя и на «ты»,— и, сидя вполоборота в кресле, сообщал ей задание-наряд на завтра: кому позвонить, что подшить, о чем не забыть, а она рассеянно смотрела на него, в силу давно выработанной многолетней привычки почти ничего не слыша и почти все запоминая, и определяла про себя:

«Это — Гордейчиков...»

Мансуров говорил, что они собирались навестить Канунниковых, а он сегодня подумал, и что же оказалось? А вот что: нельзя!

«Поляшко...»

Мансуров жаловался на какие-то свои невзгоды...

«Мишель-Анатоль...»

Мансуров грубил...

«Вахтер Бормотов или по-другому: «А вы ложку — не украли?»

До Строковского никогда не доходило, куда там — Строковский!

Ну, а где же все-таки Мансуров был сам?

А в том-то и дело, что Мансурова самого не было. И это уже давно так было.

Нюрок никогда и ничего не говорила Ирине Викторовне о ее муже, но однажды все-таки высказалась так: «Обезжизненный товарищ».

Значит — развод?

Глава девятая

НА ДВУХ ПЛАНЕТАХ

Вот какие события происходили, когда Никандров снова был в командировке на Северном Кавказе, во вновь созданном филиале НИИ-9.

Во времена Никандрова, то есть во все те дни, когда он хотя бы и не совсем, а все-таки был рядом, не в отъезде, и пусть издали, где-нибудь в конце коридора, но

его можно было увидеть,— в эти дни и времена она становилась обладательницей нового вида энергии.

А что? Что-то ведь уносило ее на новую планету, какая-то сила?! Она и ела-то мало, и спала того меньше, и днем не отдыхала почти совсем, а энергия все равно возникала, и какая!

Но чем выше и дальше уносилась на своей новой планете благодаря этому perpetuum mobile Ирина Викторовна, тем сильнее действовала на нее Земля в те дни, когда ей приходилось жить на этой Земле в одиночестве, то есть в отсутствие Никандрова, зачастившего на Северный Кавказ.

Тут Земля брала реванш, слишком плотно окружая ее своей земной и приземленной атмосферой, слишком сильно действуя своим притяжением, навязывая Ирине Викторовне множество ненужных и грубых дел, забот, обязанностей.

Развод? Действительно — это он?

А что?! Ей ведь уже было несвойственно дышать воздухом своего дома, у нее появилась, кажется, другая кожа, другое кровообращение, вообще ее не покидало ощущение нового организма, которым она стала, мало того — это ощущение было ее главной, почти непрерывной мыслью.

Развод — всякие там справки, заявления, суды и загсы — явился бы для этого нового организма — сильного, молодого и в то же время очень хрупкого, неопытного — самым несвойственным занятием, чем-то вроде самосожжения. Однако же Ирина Викторовна понимала, что без этого на ее новой коже снова проступят пятна старой и мертвой. И с кровью тоже случится нечто подобное, и со всей ее судьбой: она окажется ни в прошлом, которого уже нет, ни в будущем, которого нет еще, ни в настоящем, которое не может состояться без будущего.

Ну, а как быть с Аркашкой?

Будь Аркашка еще бесшабашнее, еще хуже, чем он есть,— ей, наверное, было бы не так жаль его; будь он хоть немного лучше и не такой бесшабашный — он бы меньше нуждался в материнских заботах и скорее бы понял мать, все, что с ней случилось. Но такой, какой он есть, Аркашка больше всего требует от нее жалости и забот, меньше всего способен уразуметь родную mutter, войти в ее положение. Будь Аркашка чуть повзрослее — тоже было бы несравненно легче; многие так ведь

и делают — выращивают детей от первого брака до определенного возраста, а потом заключают второй брак и начинают все сначала,— помолодевшие и умудренные опытом.

Но этот «определенный возраст» детей — отнюдь не семнадцать лет, а семнадцать, да еще при Аркашкиной бесшабашности, как раз такой возраст, который в подобной ситуации создает самый критический вариант из всех возможных вариантов.

А ведь все это — и возможность развода, и Аркашкина судьба, и необходимость бегать по всяким загсам, все страшное и все критическое, напряженное — обдумывается ею одной, решается одной, про себя и как будто только ради себя!

Но не одна же она живет на свете, если она любит и ее любят тоже?!

Когда Никандров назвал ее хорошим парнем, она сначала чуть не умерла, а потом подумала: с той минуты, как «произошло все», она ведь все взяла на себя и любовь вдвоем сделала вот этими собственными руками! Сделала так, как сделал бы очень хороший, очень толковый парень! Так почему же она обиделась?! И позже она ни в чем и никогда не попросила у Никандрова помощи или поддержки, ни разу и ни на что ему не пожаловалась, ни в чем его не упрекнула... Это ли не отличный парень?

Но?!

Но до каких пор это будет?! Когда же она обретет свое святое право быть в любви тем, что она есть,— женщиной?!

Ладно, вернется из командировки Никандров, будет встреча... Она еще сыграет роль хорошего парня, сыграет лучше, чем Папазян играл в свое время Отелло, лучше, чем Комиссаржевская играла Нору,— им, артистам, что?! Им, артистам, только и забот, что сыграть на сцене, а вот у нее сцены нет, гримеров, костюмеров, режиссеров — нет, текста пьесы и суфлера — нет, она ведь если и должна быть звездой, так только домашней, у нее — одна жизнь, а больше ничего — играй! Чтобы было без сучка, без задоринки и благородно — играй!

Ну, хотя бы она знала, что это — ее последняя роль на постылой планете, так нет же, как раз наоборот: чем лучше она сыграет завтра, тем больше потребуется от нее послезавтра, тем больше спектаклей ей будет предстоять впереди!

Вот будет встреча у тетушки Марины, Никандров ее спросит:

— А что сказал тебе муж?

А муж ей ничего не сказал, ни слова.

— А что говорит твой сын? Семнадцать лет мужчине...

А сын ей не только ничего не сказал, но и ничего не скажет, от него не дождешься.

— А что ты по этому поводу решила сама?

А она ничего не решила по этому поводу сама. Она — не может...

— А чего ты хочешь от меня?— спросит наконец Никандров.

А она не знает, что хочет от него. Это он должен знать, чего она от него хочет...

Он скажет:

— Странно...

Ну, еще бы не странно! Страннее некуда! Действительно — давно ли она мечтала о том, чтобы стать покровительницей его интеллекта, что-то ему объяснять, чему-то научить, какой-то свой опыт и даже свое содержание ему передать? Быть для него не чем-то, но аксиомой! Вчера да и сегодня тоже мечтала...

В годы своей юности и позже Ирина Викторовна очень много читала. Удавалось благодаря не совсем обычному свойству ее организма: ей хватало пяти и того меньше часов сна в сутки. Ну, разве еще днем прихватить минут двадцать даже и не сна, а хотя бы только отдыха. Вот она и успевала не только читать, но еще и пережить прочитанное, и все это в ней, в одной, накапливалось из года в год, вот она и мечтала, что когда-нибудь все свое богатство сможет опрокинуть на чью-нибудь голову. Не на чужую, разумеется, а на любимую... Голова Никандрова, ученая, возведенная в докторскую степень, чуть рыжеватая, с сединой, с монгольскими скулами, с самого начала показалась ей очень подходящей для этой цели.

Но не очень-то Никандров нуждался в покровительстве над его интеллектом. Если и нуждался, так только отчасти.

Она пыталась понять — почему? Он ведь читал меньше, чем она? И неужели ему было нипочем ее содержание? Содержание любимой им женщины?

Но тут вот что она увидела: едва ли не впервые она увидела знания, которые были не столько знаниями,

сколько тем человеком, которому они принадлежат. Все, что Никандров знал, становилось для него им самим, его собственной личностью, а остальное он и знать не хотел: «Это не для меня!» Он всегда знал не просто так, а мог еще и объяснить, для чего и почему он это знает. Знания без применения ему были попросту не нужны.

Он вот неплохо знал античную литературу, так это потому, что считал ее самой важной в истории человечества, а себя — причастным к античности. Опять-таки уже по одному тому, что он ее знал и вот так высоко ценил. Ну, и вот еще музыку он любил.

Когда он открылся ей своею слабостью, откровенно, с истинно мужской прямотой подсчитав свой КПД,— она была ошеломлена, даже мучилась за него, а в то же время у нее явилась надежда: вот тут-то она, может быть, всерьез и понадобится ему, тут-то ему и поможет. Тут-то и станет для него желанной аксиомой, точкой опоры?

Как — поможет? Как станет желанной аксиомой?

Трудно сказать...

У нее ведь семья, Аркашка, а у него-то семья еще больше и ответственность за семью тоже гораздо больше!

У нее — Мансуров-Курильский. У него — его жена.

Однажды Ирина Викторовна издалека попробовала узнать: что это за человек? Никандров сказал:

— Мало ли что и как случается у нас, мужиков, но она — моя жена, и пока она моя жена — я не скажу о ней ни одного худого слова. Вообще — ни слова!

Ирина Викторовна испугалась тогда Никандрова, но и зауважала его еще больше... Ей бы, наверное, надо было обидеться, и даже очень, но почему-то она застеснялась этой обиды, которая обязательно должна быть, и еще чего-то застеснялась: усталости Никандрова, его озабоченности и своей навязчивости... Кроме того, важно не только то, что сказано, но и как это сказано, а Никандров умел говорить неприятные вещи, она давно заметила: касалось ли дело его отъезда, еще чего-то — он спокойно говорил об этом, вдумчиво и убедительно, очень необидно. И вот, вместо того чтобы обидеться — она зауважала его, а в этом состоянии между обидой и счастьем ее продолжало бросать с планеты на планету: от хорошего и отличного парня — к слабой женщине, потом обратно, потом — опять обратно.

Она и всегда-то недолюбливала, а теперь относилась совсем нетерпимо к Анне Аркадьевне Карениной за то, что та своей собственной трагедией замордовала всех вокруг себя... Но и таких сил, как у Анны Сергеевны фон Дидериц, дамы с собачкой, которая могла на бесконечно долгое время, на всю жизнь, оставить свою трагедию только при себе одной,— у нее тоже не было.

Так и шло время... шло словно бы к чему-то... Это опять-таки артисты, тысячный раз играя пьесу, делают вид, будто им неизвестно — чем кончится. А зрителям того и надо, они тоже ждут давно известного конца, и вот из этого почти что преступного взаимного сговора конец возникает. У Шекспира занавес неизменно закрывается над трупами, когда на сцене уже ни одной живой души, у других — призывом жить хорошо и честно. В жизни — не то, в жизни конца не бывает, время идет почти что так же, как шло оно и вчера, и всегда: оно не знает и не подсказывает никаких решений — должен быть развод или должна быть семья? А если развод — как быть с Аркашкой? А если семья — кем Аркашка в ней будет, и кем будешь ты — слабой женщиной или хорошим парнем, и на какой планете тебе придется жить — на той или на этой?

Никандров приехал из очередной командировки и в тот же день подал ей по внутреннему телефону сигнал, в тот же день они встретились на жилплощади тетушки Марины, Ирина Викторовна вступила в свои права и... снова была хорошим парнем.

Отличным парнем, который, в какой-то мере даже естественно, стеснялся своей женской слабости, а о том, чтобы нынче же разрыдаться,— и подумать не смел, сразу отложил это дело на неопределенное будущее.

Ведь для того чтобы рыдать, надо было одновременно выяснять отношения, а в той среде, в которой жили Ирина Викторовна и Василий Никандрович, эти слова «выяснение отношений» вот уже много лет как приобрели тайный и недобрый смысл, звучали как подозрение, как упрек и намек на какую-то истеричность, на нервотрепку...

Может быть, как раз поэтому они и не любили изъяснять себя друг другу, было один раз, Ирина Викторовна спрашивала у Никандрова — какой он? Хороший

ли он? — но только один раз, и это было на лезвии ножа, а ходить по лезвию ножа дважды — безумие.

Они чувствовали необходимость сохранения некоторой дистанции между собой, чтобы, не дай бог, не случилось такой близости, когда одному известно о другом все и уже нечего больше открывать друг в друге и узнавать — ни духовного, ни биографического, ни биологического, никакого.

Она снова и снова ощущала тот НЗ, которым так умело обладал Никандров — неизрасходованный и неприкосновенный запас знаний, сил, интеллекта, и, только имея его, он и подсчитывал свой КПД, имея НЗ, он и был любим Ириной Викторовной,— разве можно любить человека израсходованного, не чувствующего в себе ничего нетронутого? А он тоже любил ее за то, что она любит, ценит и понимает его НЗ.

Узнавали же они друг друга совсем иначе, без выяснения взаимных отношений, но с выяснением отношений одного и другого ко всему окружающему — к природе в целом, к людям, к животным, к проблемам станкостроения и биосферы...

Вообще-то говоря, Ирина Викторовна с какого-то времени стала побаиваться информации и знаний: слишком уж много их было кругом, слишком жадны становились к ним люди, а зачем? Информация угрожала стать мировой инфекцией.

Впрочем, вдвоем они не боялись всего этого — всякого рода знаний, фактов, информации, чем каждый из них сам по себе, во всяком случае, Ирина Викторовна это чувствовала — гораздо меньше!

Никандров чего бы ни касался, в нем сразу говорил инженер:

— Пушкин? Это два вопроса. Конечно два: был ли он и будет ли?

— Ну-ну?— поощряла Ирина Викторовна.— Ну?— Она тоже была инженером, но была им как-то иначе, подругому, и далеко не в той мере, мера же Никандрова ее поражала, смущала, иногда и шокировала, а в то же время неизменно бывала интересна ей.— Дальше?!

— Значит, так: Пушкин был, это надо твердо уяснить, так как многие не испытывают в нем необходимости, поэтому спрашивают: «А был ли Пушкин?» Дальше: Пушкина больше не будет.

— А это почему?

Никандров задумывался, она очень любила его в минуты глубокой сосредоточенной задумчивости: он теребил себя то ли за ухо, то ли за волосы на голове и прикрывал глаза...

— Чтобы Пушкину быть — надо, чтобы мир был вечным. Ну, а если завтра мир может быть, а может случиться, что его и не будет, что он взорвется — он не вправе ждать Пушкина в будущем, да и может ли опираться на него в настоящем? Правильно говорю?!

Она с ним не только соглашалась, она вспыхивала этим чувством согласия, ей становилось горячо от ее согласия.

Еще проходило время.

— Античность? Мы совсем недавно ее пережили. Я помню прекрасно! Это наш, русский, крестьянский быт. Более современная, но тоже античность!

Ирина Викторовна удивлялась, ей хотелось узнать — ну, а тут в чем дело? Что за категоричность? Какая формула и конструкция? Ей приятно, а еще ей было счастливо немного его завести:

— Похлебать бы тебе, мой антик, ложкой из общей чашки! Блох на печке покормить. Ты ничего не слыхивал об идиотизме деревенской жизни?

— А ты ничего не слыхивала о блохах и об идиотизме античной жизни? Они же, безусловно, были. Но — забылись. А искусство, а взгляд на мир остались, о них помнят все. И с крестьянским бытом будет точно так же. Ты что же, думаешь, будто в нашей, современной жизни идиотизма и след простыл? У каждого времени — свой собственный идиотизм, да! Правильно говорю? Ты знаешь, чего я больше всего боюсь?

— Ну-ну?

— Гениальных глупостей. Точно!

Вот бы когда ей зареветь у него на груди, когда признаться, что она — женщина, что женщина слабая, что женщина — со всеми проблемами и слабостями женского существования! Что ей нынче не до гениев — умных и глупых, ей нынче самое главное — ее любовь, вот что! Если уж он такой умный, если такой самостоятельный, если так понимает и рассуждает о Пушкине, а вот так — об античности, вот и понял бы, и рассудил бы ее. Только ее одну!

Ужасно и нестерпимо хотелось ей иногда в это время зареветь, когда он был таким умным, таким интересным!

Но... не за слезы же он ее любил?

За слезы любить нельзя.

Их можно понимать, можно им сочувствовать и не более того.

К тому же он как только почувствует что-то, приближение какой-то опасности, и в тот же миг обнимет ее...

После она уже и забудет о своем страхе, не возвращается больше к проблеме хорошего парня, а как будто в первый раз, но устало и неторопливо начинает рассматривать жилплощадь тетушки Марины: нехитрую расцветку оконных занавесок, пластмассовую люстру о трех маленьких рожках, голубка Пикассо в простенке; начинает слушать, а иногда и считать удары входных дверей в подъезде — раз, два, три, четыре — начинает чувствовать, что в жизни тетушки Марины так и не случилось жизни, и это очень заметно, и нельзя сказать, что за человек здесь живет, какого возраста... Даже — какого пола и то, пожалуй, не угадаешь, и, должно быть, в силу этого свой собственный случай жизни, который привел ее сюда, начинал казаться Ирине Викторовне чем-то совершенно невероятным, никому другому, кроме нее, не доступным и неповторимым.

Вот так она и жила при встречах и без встреч — на двух планетах...

Утешение же, а может быть, это и не утешением было, а чем-то другим — каким-то источником новых сил,— она стала находить в квартирке Нюрка, на тринадцатом этаже жилой башни.

Там, на тринадцатом, Нюрок ей отчасти даже мешала — она ведь приходила не к Нюрку, а к Светланочке. К ней.

Обнимая удивительное тельце, Ирина Викторовна восторгалась природой, которая могла это создать, причем не где-то там, в небе, среди ангелов, а здесь, на земле, среди людей, для людей.

Ей было жутковато. А что, если и это совершенство люди не оценят, не поймут? И неужели вот сейчас, сию же секунду, нельзя Светку предупредить обо всем, объяснить ей — что такое женщина? Неужели даже Нюрок, мать, и та не умеет объяснить ей своего огромного, чуть ли не всеобъемлющего опыта, и этому идеальному существу придется начинать все сначала, через все пройти самой? Неужели ей встретится не тот человек? Мансуров-Курильский, например? Еще хуже — Аркашка

Мансуров? Ирина Викторовна очень любила сына, но ведь она любила и растила его на чью-то голову! Неужели на судьбу и голову такого создания, как Светка? Вот ужас-то! А выдастся Светке свой Никандров, так неужели тоже — урывками, от встречи и до встречи, и для того, чтобы скрывать от него слезы? Ах, наверное, наверное, вышла ошибка: надо было Ирине Викторовне родить не мальчишку, а девочку! Право же, своей собственной дочери она смогла бы объяснить если не все, так многое-многое. Напрасно Нюрок поверила, будто бы нельзя, будто бы бессмысленно объяснять жизнь собственной дочурке, Ирина Викторовна смогла бы — у нее бы получилось!

Но пока что Ирина Викторовна была в неоплатном долгу перед Светланкой: часами любуясь ею, она молчала. Разве только восторженные звуки — «Ах!», «Милая!», «Ну, какая же ты!» — и еще, и еще что-то, а больше — ничего, только смотрит во все глаза, как эта кукла, закусив язычок, рисует на листочке бумаги других кукол — наверное, тоже милых и доверчивых, как произносит она английское стихотворение, как существует в каждой минуте, в каждом своем деле, в каждом поручении матери — посуду вымыть, кровать прибрать, в магазин сбегать,— в каждом слове, которое она слышит от кого-нибудь или произносит сама. Светланка еще не отчуждала себя ни от чего на свете, она существовала доподлинно и со страстью не вчерашней, не завтрашней, а сегодняшней и даже сиюминутной жизни.

Вот этим, этой страстью жить, она и была нынче так близка Ирине Викторовне, за эту же страсть Ирина Викторовна оставалась в долгу перед Светланкой.

В любую минуту, ну, хотя бы и в ту, когда из-под карандаша Светланки являлась на свет толстоморденькая, с завитушками Поленька, Наденька, Эмма, Мэри или Розочка, в эту самую минуту один миллион двести пятьдесят тысяч взрослых женщин обсуждали покрой своего платья, еще один миллион семьсот двадцать две тысячи — вели разговор о том, каков был минувший курортный сезон, еще двадцать два миллиона сто сорок восемь тысяч — вслух и про себя думали о том, из чего и как приготовить обед... И т. д. и т. д. без конца, и счет — на миллионы, десятки и сотни миллионов, на миллиарды... И только тот мир, в котором в эту же са-

мую минуту жила Светка,— был неповторим и принадлежал только ей, а она — только ему.

За эту неповторимость Ирина Викторовна тоже была в долгу перед ребенком.

Еще один Новый год наступил.

Новый год Мансуровы провели — не встречали, а провели,— дома. А как можно было сделать иначе? Идти куда-нибудь вместе? Уже давно они нигде вместе не бывали. Порознь? До этого они еще не дошли, все оставалось пока что между ними, в пределах семьи...

К двенадцати вышли в столовую каждый из своей комнаты — Ирина Викторовна, Евгения Семеновна, чуть позже — Мансуров-Курильский. Аркашка, разумеется, новогодничал где-то в своей компании, музыкально-джазовой или еще какой-то в том же роде.

Выйдя в столовую, все трое что-то такое друг другу сказали, что-то выпили, посидели молча, поговорили об Аркашке, пожелали ему ни пуха ни пера — год-то был для него выпускной.

Конечно, все понимали, что будет нынче Аркашке и пух, и перо, и еще многое другое.

Когда разошлись по комнатам снова — Евгения Семеновна, кажется, всплакнула...

Чуть спустя начались звонки — поздравляли...

Нюрок поздравляла, Канунниковы поздравляли, Анюта Глеб поздравляла, Никандров — нет, ему, наверное, было почему-либо неудобно звонить.

И Курильскому тоже звонили, а потом кто-то из сослуживцев стал уговаривать его приехать, довести дело встречи Нового года до победного конца. Курильский отказывался, а ему звонили еще и еще. Наконец уговорили — часов около двух он оделся и ушел. По существу, для нормальной семьи — ЧП; муж уходит один в новогоднюю ночь, еще бы не ЧП!

Евгения Семеновна всплакнула еще, теперь уже откровенно, Ирина Викторовна сделала вид, что спит, она боялась, как бы свекровь не начала выяснять отношения, просить, чтобы ей объяснили — что же все-таки в доме происходит?

В ее представлении до сих пор, кажется, виновником положения был сын, а вовсе не Ирина Викторовна. Впрочем, могло быть уже и по-другому — кто его знает?! Не все ли это равно в конце концов? Очень хорошая

женщина Евгения Семеновна, но отвлеченная, никогда и ничего не понимающая в той семье, в которой она живет, для которой она много и бескорыстно старается.

Недавно снова давала Ирине Викторовне советы: «Да плюнули бы вы, Ирочка, на этого башибузука, на своего милого муженька, и погуляли бы где-нибудь одна!.. Пройдут ведь годы-то. Я знаю: пройдут!»

А чему удивляться — все на этой планете не то, не так. Все шиворот-навыворот. Ведь на этой — бог знает что случается и что может еще случиться — и не придумаешь!

Глава десятая

ФОКУС

Ирина Викторовна последнее время бывала у Нюрка без приглашений — она ведь не к ней, а к Светланке ходила в гости, но тут после работы Нюрок сказала:

— Иришка! Поедем ко мне!

— А что?! — сразу насторожилась Ирина Викторовна.— Что-нибудь?..

— Ничего... Отрез. Отрез купила, посоветуешь фасон...

В башне на тринадцатом этаже Ирина Викторовна прежде всего занялась Светланкой, им было нынче както особенно хорошо и все понятно друг в друге — женщине в возрасте $45-n$ и другой: $12+0{,}5$. Нюрок строгими шажками ходила в соседней комнате — тук, тук, тук... «Чего это она не наденет домашние туфли?» — подумала Ирина Викторовна, и в это время Нюрок позвала:

— Иришка... Вот смотри — новый отрез... Посоветуй фасон!

Ирина Викторовна чмокнула Светланку в щечку, пошла в соседнюю комнату и... сразу же что-то поняла, только еще не знала — что именно.

— Ну, да,— сказала Нюрок шепотом.— Значит, он действительно не успел тебя предупредить...

— О чем?

— О своем отъезде.

— Куда?

— Да все туда же. На Северный Кавказ. В северокавказский филиал.

— Так ведь он все время ездит... Может быть, теперь надолго?

— Как тебе сказать? В общем — да...

— Надолго?

— Год... Ну, может быть, немного меньше...

— Да это что же за командировка? Помилуй!

— А это не командировка. Он временно принял директорство над филиалом. На весь наладочный период. Пустит машину в ход, подготовит директора из местных и только тогда вернется.

— Он что же — с женой... туда?

— Конечно...

Ирина Викторовна передохнула.

Потом спросила:

— Откуда ты все это знаешь? Точно ли?

— Он мне сказал. Он мне сказал, что если не успеет предупредить тебя, чтобы это сделала я.

— Да?

— Да...

— Почему же он успел предупредить тебя и не успел — меня?

— Наверное, потому, что так лучше... Для него. И для тебя.

— Вот что, друг мой. Пошли-ка куда-нибудь Светланку. К соседям куда-нибудь, поиграть.

— Нет,— сказала Нюрок.— Этого я не сделаю.

— Вот как?! Ну, тогда, по крайней мере, давай-ка выйдем на улицу. В сквер. И там поговорим!

— Нет,— сказала Нюрок,— и этого я не сделаю.

— Ты мне — враг?

— Я тебе друг!

— Тогда — в чем дело? Идем сейчас же!

— Не пойду...

— Почему? Скажи?

— По секрету: потому что я тебя знаю. Как облупленную... Если ты сейчас будешь с кем-нибудь, если кто-нибудь будет тебя внимательно слушать, ты такого наговоришь — ужас! Потом ты еще и сама поверишь в этот ужас. Поверишь, что обязана в него поверить, если кому-то, ну хотя бы и мне, высказала весь свой ужас вслух. Нет уж — подумай сама по себе! И так, и совсем с другой стороны. Логически. Критически. Еще как-нибудь. Ты это умеешь. Подумай — ведь должно было все это кончиться? И так, как это кончилось,— вовсе не

худший вариант, поверь мне. Я-то знаю. Знаю варианты во сто крат хуже!

— Ты жестокий человек, Нюрок! Да?

— А что поделаешь?

— Ладно, я уйду. А ты что будешь делать?

— Уложу Светланку спать, а потом буду реветь. Еще пуще, чем ты: тебе дома нельзя реветь — Мансуров помешает, на улице — помешают прохожие, а мне? Никто мне не помешает, некому!

— Ты меня, пожалуйста, не жалей, Нюрок, это очень противно.

— Вот я и не знаю, кого я буду жалеть — тебя или себя... Там видно будет...

— Эгоистка!

— Дура ты, Иришка! Ты как ребенок. Сколько тебе говорить: конец должен быть, вот он и был. И был очень хорошим концом...

— Как ты смеешь...

— Тсс... Светланка! А я смею, потому что это — действительно хороший конец. Благородный. Прямой. Откровенный. Великолепный! Вот так! Из тебя ведь не вытягивали жилы, не доводили дело до такого конца, когда и конца-то уже не может быть, на тебя не взваливали обязанность порвать первой, тебя не упрекали в каких-то низменных интересах, тебя вообще ни в чем никогда не упрекали и не подозревали, не играли с тобой и не разыгрывали тебя, не спровоцировали тебя на какую-нибудь ссору, чтобы потом сказать: «Сама виновата!» Ты начала первой, а тебе даже и об этом никогда не напомнили. Он взял на себя все, порвал все разом, уехал, чтобы мотаться где-то целый год на чемоданах, и ты обойдешься без гнусных звонков, без извинений, обвинений и бог знает без чего еще, что бывает после первой размолвки, после второй и третьей, после первого разрыва, после второго и третьего. Тебе не будут как будто нечаянно показывать себя в коридоре уже после третьего разрыва, и в затылок тебе никто не встанет в троллейбусе, чтобы молча дышать в твою голову и вот сюда — в плечо, а потом внимательно смотреть, что из этого получается! Я всегда говорила тебе, Иришка, что ты — необыкновенно счастливая женщина! Таких, как ты,— одна на десять тысяч, одна сотая процента! Ты и не дома счастлива, и дома. Ты до сих пор не знаешь, что такое семейный скандал и распри, тебя везде лелеют, вот как я Светланку; тебя ничем не оскорби-

ли ни Мансуров, ни Василий Никандрович... У тебя даже свекровь и та — ангел! Ты привыкла ко всему этому, так привыкла, что и благородство готова топтать ногами!

— Нищенская философия!

— Все счастливые женщины — эгоистки! И вот я буду реветь всю ночь и жалеть себя. А тебя — нисколько! Вот и все!

— Ну тебя к черту! — сказала Ирина Викторовна.— Я тоже сейчас буду выть, валяться на полу или лезть в петлю, а больше ничего! Никакие слова ничего не выражают! Вот сейчас! — Ирина Викторовна зарыдала, схватилась за голову... Тотчас прическа у нее рассыпалась, по лицу пошли синие пятнышки и пятна.

— Светланка! — позвала Нюрок.

Появилась Светка — уже расстроенная, с вытаращенными глазенками, с тем истинным пониманием справедливости и несправедливости, которым отличаются только дети. Она подозревала, что между мамой и тетей Ириной происходит что-то очень серьезное, но без разрешения не могла открыть дверь и узнать, что же все-таки происходит...

— Светланка,— сказала ей мама,— успокой, пожалуйста, тетю Ирину. Она расхныкалась!

Светлана прижалась к Ирине Викторовне и стала ее гладить по лицу, по плечам и рукам, как бы незряче и необдуманно, но безукоризненно, точно прощупывая в тете Ире ее судьбу, остатки судьбы, а Ирина Викторовна встала, не глядя на Светланку, надела пальто и, не попрощавшись, вышла прочь.

На лестничной площадке ее остановила Нюрок.

— Ребенка-то зачем приобщать? — спросила Ирина Викторовна.— И тебе не стыдно?

— Стыдно...— сказала Нюрок. А когда Ирина Викторовна уже спускалась по лестнице, Нюрок еще говорила ей вслед.— Ты подумай, Иришка... Ты подумай логически, что я тебе говорила,— я ведь права...— Еще Нюрок сказала: — Мы с тобой, Иришка, хорошие, настоящие парни — выдержим!

А что еще оставалось Ирине Викторовне? Только — думать, а больше ничего... Но тут оказалось, что она полностью разучилась думать для себя, она привыкла к другому — думать для того, чтобы высказать свои мысли Никандрову.

Никандрова нет и не будет, и вот каждая ее мысль теперь — это бег или даже полет на одном и том же месте: чем этот бег быстрее, устремленнее и упорнее, тем бессмысленнее.

В одну какую-то минуту все изменилось еще и потому, что вдруг в действие, в невероятно активное действие, вступила ее память.

До сих пор она ведь не столько помнила, сколько догадывалась обо всем том, что происходило с ними — с нею и с Никандровым, а теперь ее память как бы мстила ей за свое унижение, еще за что-то и не как-нибудь, а жестоко и в самых мельчайших подробностях, в красках, в звуках, во всех пяти и даже более человеческих чувствах одну за другой восстанавливая перед нею сцены их встреч на жилплощади тетушки Марины, а последнюю встречу Ирина Викторовна увидела так, как вообще невозможно что-нибудь и когда-нибудь увидеть.

Все, что было кругом, становилось враждебным ей.

Небо и то было несправедливо жестоким. За кем, за кем, а за небом Ирина Викторовна в жизни не подозревала этого. О деревьях, о домах, об улицах, о прохожих, об Аркашке и говорить нечего. Они глумились над нею одним своим видом, своей независимостью от всего того, что происходило с нею нынче и что ей предстояло впереди.

Таким было ее возвращение на эту планету, в прежний мир, прах которого, казалось ей, она уже давным-давно отряхнула со своих ног.

Конечно, мысли ее не могли не быть жестокими, но ведь это были все-таки ее мысли, ее крошечная, но собственная воля, а не тот плен, которым изо дня в день, из часа в час стал угнетать ее весь окружающий мир. Вот она и думала и почти непрерывно обвиняла весь мир в тоталитарной жестокости.

А все, что было у нее с Никандровым, все их отношения очень странным образом, но вполне ощутимо представлялись ей как пирамида или конус, поставленный на вершину основанием вверх... Это основание, обращенное в атмосферу, в ничто, становилось все больше и больше, расширялось по периметру перед каждой их встречей, и во время встреч, и после них — всегда, но ведь основанием оно никогда так и не было и не имело возможности им стать... Действительным основанием была одна-единственная, случайная и почти невидимая

простым глазом точка, на которую почему-то ими возлагался все больший и больший груз...

Очень неустойчивое равновесие, почти полное его отсутствие, которое по любой логике и по любой практике могло продолжаться одно мгновение. Но вопреки физике, логике и здравому смыслу оно все-таки продолжалось — одно, другое, третье, десятое, сотое мгновение, одна, другая, третья, а может быть, и сотая их встреча на жилплощади тетушки Марины — счет ведь был ими потерян. Вот какой фокус имел место! И чем он был невероятнее, этот фокус, тем, в свое время, Ирина Викторовна считала его необходимее для себя, считала его вполне естественным, а неестественным становилось для нее все то, что этим фокусом не было, что хоть каким-то образом, но мешало фокусу продолжаться.

А что?!

Вся-то окружающая жизнь тоже представилась нынче Ирине Викторовне таким же фокусом, вся без конца распространяясь только вверх, только вширь и нисколько — вглубь. Вот уже и спасения от нее, от этой перевернутой жизни, не было нигде, она была повсюду — и дома, и на улице, и на работе, и везде мозолила глаза своим внешним видом, своим количеством, своим умением прикидываться, будто она стоит на ногах...

Случилось так, что Ирина Викторовна выпала из этого фокуса и вот смотрела на него со стороны, смотрела с удивлением и неприязнью... главный в ее жизни фокус не удался.

А ведь, оказывается, Никандров предупреждал ее на этот счет.

Конечно, предупреждал...

— Интересно,— заметил он однажды, в одну из первых встреч на жилплощади тетушки Марины,— интересно будет много лет спустя, после того, как все это минет и остынет... встретиться и узнать друг у друга — как же все-таки было?

— Как?— не поняла Ирина Викторовна, и Никандров пояснил:

— Для всего, что происходит,— нужно время. Пока в настоящем нет прошлого — его и самого тоже нет...

Она в тот раз испугалась, очень, а все-таки, должно быть, мало испугалась, потому что ее, как это всегда бывало, увлекла логика его рассуждений, которая каса-

лась уже не ее, не его и не их, а вообще чьего бы то ни было прошлого и настоящего.

Она все-таки спросила:

— А почему откровенность ты ставишь в будущем времени?

— Сиюминутная откровенность — тоже сиюминутна...

— Ну, я-то знаю, как это случится, что это такое будет после того, как все минет и остынет... Как будет, когда ничего не будет,— ничего и не будет! Ни откровенности, ни неоткровенности. Ни мысли, ни бессмыслицы. Ни жизни, ни смерти. Вот и все!

Вот когда, в какие далекие времена, она уже понимала, каким будет ее нынешнее состояние, но только думала, будто это была случайная фраза Никандрова, еще не привыкшего к сумраку квартиры тетушки Марины, что это — не что иное, как его способность вписывать себя и в прошлое, и в будущее, способность, за которую она любила его еще и еще. Что это — его умение думать и быть глубокомысленным на той опасной, но притягательной для нее грани, за которой глубокомысленность становится уже неприличной, самодовлеющей и окончательно отрешает человека от его же чувств, от самого себя.

В общем, почти совершенно так же, как Ирина Викторовна ждала когда-то, чтобы к ней пришла любовь, ждала она теперь, чтобы любовь эта ушла, покинула ее раз и навсегда.

Ей даже снилось, будто бы она сидит на работе за своим столом, погрузившись в срочные материалы, подсчитывает, пишет, поругивает техника Мишеля, а потом поднимает голову, смотрит в окно на старый тополь во дворе НИИ-9,— что такое? Ее собственный организм переживает, оказывается, какое-то почти незнакомое состояние... И вот она с радостью начинает чувствовать: ушла любовь, она больше не любит! Нисколько!

Или другой сон: большое, огромное и сизое поле, вдали — горизонт, и так вокруг — сизые поля и горизонт, больше ничего, иди куда хочешь, в любую сторону, и она идет в одном, а потом и в другом направлении. Сначала ей кажется, что она заблудилась, что свобода ее движения затрудняет ее, внушает ей страх, угрожает ее жизни. Но вот она задумывается... Думает, думает долго и напряженно, и догадывается: это же свобода от любви! Слава богу, наконец-то!

Тем более невыносимо было сознавать, что в действительности свободы у нее нет и в ощущаемом ею будущем — не будет; может быть, не будет никогда, и никто в этом так не виноват, как сама она.

У нее было желание любви, и вот она довела это желание до любви. Спрашивается, кто же в этом виноват, кроме нее?

В этом мире ей понадобился крохотный, но свой собственный островок, и вот она пустилась в отчаянное, в безнадежное плавание, завидуя «Кон-Тики», который знал, в какую сторону плывет,— она и этого не знала, тайно и не совсем честно надеясь, что если она вот так безоговорочно доверяет океану, то и океан должен и даже серьезно обязан отнестись к ней доброжелательно, то есть позволить ей плыть и достигнуть искомого островка. А он этого не сделал, океан, он, как и следовало ожидать, вынес ее в Никуда, с ним нельзя ни хитрить, ни шутить, ни возлагать надежд на его снисходительность.

Но ведь человек не может обвинять и ненавидеть себя, оставляя в стороне и в покое окружающий мир; скорее всего, наоборот — он с этого начинает, с обвинений всему миру, и только заканчивает собою, вот она и дошла уже до того, что представила весь мир как перевернутую пирамиду или конус, как величайшую несправедливость, которую не обойти, не опровергнуть, не объяснить... Странная инфекция, при которой, однако, и сердце бьется нормально, и температура нормальная, но эта нормальность всячески усугубляет ненормальность болезни, распространяет ее на все слышимое, видимое и ощущаемое, на все прошлое, настоящее и будущее, которые тоже стоят на голове, на одной-единственной и случайной точке опоры, которая, как и всякая случайность, совершенно ничтожна.

Должно быть, верно, что жизнь никто не создает, а если уж от двух каких-то клеток или молекул могут произойти и леса, и звери, и птицы, и человечество,— значит, верно, что сама жизнь производит себя, и не ради чего-нибудь, а опять-таки ради самой себя. Выше жизни — бога нет, но разве это в какой-то мере оправдывает фокусничание жизни?!

Аркашка, хотя это и было совсем не похоже на него, и тот заметил состояние матери,— вечером, перед сном, прижался к ней и сказал:

— Не огорчайся, муттер, не надо,— я ведь как-нибудь, а закончу школу. Вот увидишь. Меня ценят и любят, и мне кто-нибудь поможет.

— Тебя — ценят? И — любят?— удивилась Ирина Викторовна.— Это за что же?

— Как за что? За музыку! За саксофон! Ты придика к нам на самодеятельность и посмотри своими глазами, как меня любят, встречают и провожают! В конце концов, разве это так важно, за что тебя любят — за пятерки и четверки или за саксофон и ударные инструменты? Вот ты любишь меня даже без саксофона, вообще без самодеятельности, а только за то, что я твой сын, а разве мне от этого плохо?

Что там дальше будет с этим человеком, с Аркадием Мансуровым? В конце концов Ирина Викторовна стала подозревать, что сам-то он не пропадет, не погибнет, а вот других действительно погубит: день ото дня количество телефонных звонков —«Позовите, пожалуйста, Аркашу...» — все увеличивалось, но редко-редко это были мальчишеские голоса.

Мансуров-Курильский удивил ее очень сильно, окончательно научившись жить в собственном доме как добропорядочный, сдержанный и совершенно посторонний человек: приходил с работы, ел, спал, снова ел и снова уходил. Все! Если обстоятельства все-таки заставляли его обратиться к жене, он обращался лаконично и заменял имя местоимениями: «ты», «тебе», иногда же ему удавалось избежать и этого: «Спрашивали. Телефон!», «Библиотечные книги — отнеси!»

Это ведь был довольно слабый и добрый характер плюс благоприобретенное умение держаться в трех положениях: дома, на работе и в гостях, но тут откуда-то взялась выдержка и даже готовность без видимых усилий над собой продолжать в том же духе неопределенно долгое время. Сколько лет Курильский собирался заняться гантелями, все были только обещания, а тут появились и гантели, и утренний душ, и вечерние прогулки!

Очень правильно,— пожалуй, благородно, если бы все это не появилось как раз после отъезда Никандрова. Ну, а теперь это значит вот что — она выдала себя, показала, что ей стало очень-очень плохо, а у Курильского от этого появилась выдержка и готовность ждать: «Посмотрим, голубушка, что будет дальше. Я-то держусь, а ты?!»

Курильский поставил перед собой задачу, а она? Разве что — выжить, да и то потому, что нельзя окончательно испортить Аркашкину жизнь... Время что-нибудь да сделает...

«Время...» — читала она и в почти отсутствующем взгляде Мансурова-Курильского и вспоминала, как однажды, еще давно, когда и в помине не было, что может «произойти все», они поссорились...

Редко это случалось, поскольку всякого рода текущие недоразумения разменивались на квиты тут же, безотлагательно, но раз в полтора-два года все-таки случалось: и тому, и другому требовалось выпускать серьезный пар, который накапливался за этот срок... Вот они и поссорились тот раз всерьез, теперь уже почти забылось из-за чего именно. Поссорившись, не разговаривали друг с другом дней пять или шесть, и вот настало время договориться — интеллигентно, но и не очень вдаваясь в «выяснения отношений». Ясно было, однако, что в предстоящем договоре должна присутствовать обоюдная откровенность, что-то в их отношениях им необходимо было назвать новыми и, судя по всему, не очень-то приятными для того и другого именами — без этого и разговор и договор не имели бы никакого положительного смысла, разве только отрицательный.

И действительно, коснувшись того и сего, почти всех текущих домашних дел, которые расплодились почти за целую неделю их обоюдного молчания, Мансуров-Курильский походил по комнате туда-сюда и сказал:

— Удивляюсь! Ты ведешь себя так, как будто тебе ничего не стоит переиграть все сначала. Как будто ты совсем еще молодая! Напрасно! Возраст не тот, и характер, особенно когда с ним столкнешься поближе, не ангельский, и своими привычками ты ни в чью пользу поступиться уже не можешь. Так что вот: научись уважать то, что у тебя есть!

Тут Курильский остановился у окна и стал ждать — что будет за ответ.

Он правильно сделал и точно — Ирина Викторовна неизменно подхватывала любой его вызов. И в этот раз она поступила так же.

— Конечно, ты прав,— сказала она.— Менять что-либо поздно. Особенно мне — женщине... Да и что менять: кукушку на ястреба?

— Вот-вот!— откликнулся Курильский, стоя у книжных полок, к которым он медленно перешел от

окна, и рассматривая чье-то полное собрание сочинений, может быть, и сразу несколько полных.— В чем я всегда был уверен — что ты умница, а умницам ястребы не нужны. Воробьи, разумеется, тоже. Ну, а как же насчет орлов? Если уж разговор принял орнитологическое направление!

— О!— воскликнула Ирина Викторовна и махнула рукой.— А тут дело совсем просто: орлов нет! Вывелись! Наверное, виновато общее загрязнение атмосферы! Тебя-то, надеюсь, это не тревожит?

Курильский произнес что-то не совсем определенное, из чего, однако, можно было заключить, что это его в основном устраивает, во всяком случае, не очень тревожит, а вот по поводу кукушки он все-таки обиделся, собрался с мыслями и ответил:

— Все это о птицах, о небесных созданиях. А на земле, на этой вот жилплощади, у тебя существует семья, а в семье у тебя сын и муж. Ситуация естественная, но не простая: жене, кажется, надо бы знать и понимать своего мужа. Мужчина ведь и в возрасте еще мужчина...

Ирина Викторовна ответила тем же: он тоже имеет ограниченное представление о том, что за человек его жена. Разговору стала угрожать мелочность, перепалка, и они кончили его.

Тогда кончили, а теперь тот самый разговор снова вступил в действие. Ирина Викторовна это видела все и в том же отсутствующем взгляде Курильского: «Все-таки — Орел?— не столько спрашивал, сколько констатировал этот взгляд...— Ну, что же — твое дело, твое дело... Посмотрим, посмотрим, что это будет за Орел?.. Вот так безразлично и посмотрим. И вот так же холодно я решу — в чем тут будет состоять мое дело, как поступлю я — хозяин положения!»

И наконец завершающим персонажем была здесь Евгения Семеновна: «Вы, Ирочка, пожалуйста, как можно меньше обращайте на все это внимание. Я вам сейчас объясню, что это такое: это второй переходный и сердечно-сосудистый возраст. У мужчин бывает, я точно знаю!»

Так-то вот...

Мансуров-Курильский находился в особом положении: он был во всем прав, а она — во всем не права.

Будет ли он и дальше таким же выдержанным или через четверть часа начнет колотить посуду — он все

равно останется прав; какую бы линию поведения ни заняла она — она все равно будет не права, ясно же! Ну, а тогда почему бы ей и не признаться в своей неправоте? Хотя бы перед самой собою? Раскаяться, а это и будет избавлением от любви?

С каким облегчением она бы это сделала... если бы могла! Если бы видела в этом смысл опять-таки хотя бы только для себя одной!

Но правоту Мансурова-Курильского и ее неправоту и после признания не только нельзя будет совместить — нельзя будет противопоставить друг другу. Это настолько разные вещи, что они несовместимы и несравнимы и в противопоставлении.

Она всегда была убеждена, что любовь — очень личное чувство и личное дело, а теперь не могла понять, почему из-за этого личного дела она ухитрилась поссориться со всем белым светом? Это было тем более странным, что в то время, когда она любила, а главное — когда была любимой, ей до белого света зачастую не было никакого дела, она низводила его до положения отдельного, даже не первостепенного, предмета своей любви, и только. Теперь же этот предмет мстил ей, мстил коварно: он как будто бы вовсе не отрицал ее, Мансурову Ирину Викторовну.

Ну, а после этого кто бы во всем мире мог понять ее? Правоту и то не находится охотников понимать, что же тогда и говорить о неправоте?

Никандров, Никандров Василий Никандрович,— это было единственное существо на свете, которое могло разделить с ней ее неправоту.

Но его-то и не было, а без него она слишком много знала о всем белом свете, а больше всего — о любви.

Ну, вот как музыкант, который, еще не прикасаясь к инструменту, а только пробежав глазами по нотному листу, сразу же улавливает всю мелодию, так и она, взглянув на любую парочку в сквере, под сенью стриженых лип, тотчас угадывала, что это такое: самое начало или уже начало, подход к кульминации или кульминация, приближение финала или финал. Ее поражала несообразительность, тупость и полная необразованность женских персонажей, совершенно не способных понять ситуацию, в то время как мужчины почти не скрывали ни своих намерений, ни своего желания начать, не откладывая в долгий ящик, либо — сию же ми-

нуту кончить, встать и не более, чем единожды, махнуть рукой: «Адью, дорогая!»

Не имело никакого значения, что сама Ирина Викторовна прошла, по сути дела, через один-единственный опыт, и тот был неудачным, быстротечным, словно предисловие к какой-то книге, все равно она теперь и представить себе не могла, будто тот же Нюрок или какая-нибудь другая женщина опытнее, чем она.

Она читала когда-то, будто рано или поздно появится человек, который исчерпает шахматы до конца, объяв умственным взглядом всю эту игру, все возможные ее варианты.

Нынче Ирина Викторовна чувствовала себя в любви, во всех ее мыслимых вариантах — в дебютах, миттельшпилях и эндшпилях — такой же всеобъемлющей личностью, как тот великий шахматист. Но тот был еще предположением, был чьей-то фантазией, она же была реальной, и эта ее собственная реальность ошеломляла ее и была ей не под силу.

Тоже странный фокус.

Глава одиннадцатая

ГРУППА «ОМЕГА»

А где же ей было хоть немного под силу? В комнате № 475?

Комната № 475 составляла ведь особый женский клан, к тому же созданный при ее активном участии.

В комнате № 475 все сотрудники были женщинами, все женщины были инженерами, все — инженеры-неудачники, в том смысле, что они не нашли себя ни в заводских цехах, ни в КБ. Но что они бросили свою специальность — этого ни в коем случае сказать было нельзя. Скорее, наоборот, они нашли себе дело по душе и занимались им с интересом, только не в прямой своей специальности, не в технике, как таковой, а рядом с нею — в технической информации. Они, эти полуинженеры, стали в какой-то мере и лингвистами, изучив специальную терминологию, и библиографами; хоть и не в совершенстве, но изучили по одному, по два иностранных языка, и наконец, научились обращаться со счетно-запоминающими механизмами, так что теперь отдел информации и библиографии НИИ-9 считался

одним из наиболее сильных среди других институтов того же профиля. Будучи действительно делом рук Строковского, он являлся предметом его гордости.

Ирина Викторовна удивлялась: каким это образом она сумела возглавить свой отдел, каким образом была его начальницей и тем более каким образом получилось так, что она всерьез болела за него, переживала чувство недовольства его работой, всегда желая чего-то и более совершенного, и более современного?

Ну, ладно, мужикам, по их натуре, нужна любая техника, лишь бы она была новой, любая теория, лишь бы она сводила какие-нибудь концы с какими-нибудь другими концами, а женщинам? Им-то какое дело до всего этого, если в этом начисто отсутствовали проблемы семьи, брака, деторождения, воспитания, домоустройства, любви, вообще человеческой психологии и морали? Вообще непосредственной жизни?

Ирина Викторовна никогда не находила удовлетворительного ответа на свое недоумение, однако уже в самом недоумении и скрывалась, кажется, та загадка, которая была импульсом ее, в общем-то очень активной, деятельности по должности завотделом: «Загадочно? Непонятно? Что-то не совсем так, не совсем, и даже совсем нелогично? Значит — интересно!»

Мало того что интересно было Ирине Викторовне, она еще умела внушать этот интерес, эту логику алогичности даже таким женским женщинам, как Нюрок и Анюта Глеб.

А вот Валерии Владимировне, еще одной своей сотруднице, она этого интереса внушить не смогла, потому что, будучи очень хорошим работником, Валерочка совершенно не нуждалась ни в интересе, ни в безразличии. Не нуждалась же она ни в том, ни в другом потому, что не была женщиной. По крайней мере в том смысле, в каком это понимала Ирина Викторовна, или Нюрок, или Анюта Глеб.

К ней-то, к Валерии Владимировне, под ее защиту, и решила теперь обратиться Ирина Викторовна — вот до чего она дошла!

Валерию Владимировну Поспитович — несмотря на то, что сотрудницы отдела очень редко и мельком видели ее мать, Поспитович-старшую, и ее дочь, младшую Поспитович,— трудно было представить одну, без этого старшего и младшего окружения.

Все три женщины — старая, но моложавая, не старая и не молодая, а скорее всего вневозрастная Валерия и Светочкиного возраста, но очень старообразная девочка — все были односерийные, серьезные и умные, сизовато-седого цвета, с лицами, словно вписанными в треугольник.

Немногочисленными деталями и чертами своих индивидуальных обликов все трое, казалось, могли обмениваться между собой так же легко и просто, как носовыми платочками: внучкины косички можно было на недельку-другую приплести к бабушкиной голове; бабушкины очки — водрузить на внучкин нос; косички и очки — совершенно подошли бы Валерии Владимировне.

Все трое были женщинами, имея на этот счет совершенно неопровержимые доказательства: прически, косички, кофточки по некоторой моде, бюсты, фигуры необходимых очертаний. Они отнюдь не были мужеподобны, две из них были матерями, а у третьей не было никаких видимых препятствий на этом пути, но, несмотря на все и как бы даже вопреки всему этому, у всех трех отсутствовал главный признак: пол.

Они были женщинами, но только в силу некоторых конструктивных особенностей организма, женственности же в них не было ни капли, о понимании ими того факта, что они — женщины, тем более что такое женщина вообще,— не говорила ни одна их черта, ни одно выражение глаз, ни один жест и ни одно движение.

Более того, у всех трех было, по всей вероятности, полное пренебрежение к такому пониманию, а за скромностью и сдержанностью скрывалась тоже полная и безусловная уверенность, что такие, какие они есть, они и должны быть.

У них был род, а пола не было, словно у неодушевленных предметов, таких, например, как гайка, сосна или полка. Разница состояла только в том, что никто и никогда не сможет доказать, почему гайка называется гайкой, а не гаем и не гайком, почему сосна женского рода, а кедр — мужского, почему среда — это она, а четверг — он, где-то и когда-то так повелось, вот и все; у Поспитовичей же дело обстояло иначе — они как будто сами, по собственному желанию, после долгих размышлений и подсчетов присвоили себе грамматический род и отказались от пола. Они стали как бы самоопыляющимися.

Никто никогда не видел их в обществе мужчин, они как будто вообще не имели к мужчинам ни малейшего отношения.

Однако если у Поспитович старшей и средней были дети, значит, все-таки их обнимали мужчины. Трудно было представить себе этих мужчин, даже внешне. Разве что — в очках с тонкой позолоченной оправой (точь-в-точь таких же, как у Поспитович-бабушки), расчесанных на прямой пробор, с желтыми портфелями в руках, с желтыми узорчатыми ботинками и с безукоризненным педикюром на ногах, три раза в неделю принимающих общий массаж и два раза — пурген.

И, должно быть, в силу всего этого, по сумме всех этих данных, Ирина Викторовна и Анюта Глеб, а Нюрок тем более, однажды почувствовав свою несовместимость с Валерией Владимировной, никогда уже не пытались это чувство преодолеть...

Пожалуй, наиболее терпимо, лояльно и даже более других безразлично относилась к Поспитович Ирина Викторовна, вероятно потому, что по долгу службы она должна была утверждать и действительно утверждала в отделе дух взаимного уважения, но так было лишь до тех пор, пока с нею не «произошло все».

Все произошло, она еще и сама-то себе не отдала в этом отчета, а Нюрок и Анюта уже это поняли, и первое, что сделали,— размолвились с Валерией Владимировной, безотлагательно подчеркнули различие между нею и собой. Ирина Викторовна, занятая в то время совсем иными мыслями и соображениями, не сразу заметила свое упущение в организации труда своих сотрудниц, заметив, не сразу придала ему значение и тем самым уже приняла сторону Нюрка и Анюты.

Для Поспитович все это было — все равно как об стенку горох, а вот для самой Ирины Викторовны далеко не все равно; не прошло и месяца, как присутствие в отделе Поспитович стало и для нее чем-то ненормальным и даже обидным...

Ей стало казаться, будто Валерию Поспитович очень легко разобрать на части, а потом, в соответствии со спецификацией отдельных узлов, собрать снова. Это был бы своеобразный стриптиз, лишенный каких бы то ни было эмоций, эволюций, неприличия и цинизма,— чисто механическая операция, обидная тем, что она бросала тень и на тебя: вот и тебя тоже можно разо-

брать, а если понадобится, собрать снова, и не воображай, пожалуйста, будто в этой публичной сборке-разборке будет что-то тайное, немыслимое, стыдное, что-то доступное далеко не всякому... Не воображай, будто далеко не по всякому случаю и далеко не каждый сколько-нибудь технически грамотный человек, если к тому же он обладает точной спецификацией и толковой инструкцией, может запросто освоить этот процесс! Может! Каждый! И по всякому случаю!

Поэтому, когда в четыреста семьдесят пятую ни с того ни с сего заявится техник Мишель и будто бы ненароком задаст Валерии Владимировне почти откровенно скабрезный вопрос, а та, на минуту оторвавшись от работы, совершенно безразличным тоном, интеллигентно и в подробностях отвечает ему,— не надо удивляться...

Когда Нюрок с вытаращенными глазами вдруг сообщает о чьем-то намечающемся романе, а Валерия Владимировна опять-таки тем же тоном проговорит: «Ребенок будет? Один — это ничего, это даже полезно и необходимо, но двойня — гораздо хуже»,— не удивляйся тоже.

Когда без всякой логики и предисловий сама Валерия Владимировна сообщает что-либо из статистики не совсем обычных заболеваний, или хотя бы о фасонах, в которых она совсем ничего не понимает, или о кино, в котором кто-то и кого-то любит, но как и кто — ей не запомнилось, не удивляйся тем более.

Вот с кем, с каким человеком Ирина Викторовна хотела нынче сблизиться, вопреки своей давней и безраздельной дружбе с Нюрком, вопреки давнему и глубокому взаимопониманию с Анютой Глеб, и, наконец, совершенно очевидно вопреки самой себе.

В том состоянии, в котором Ирина Викторовна была, к ней пришла одна немаловажная мысль...

Будто бы среди женщин нынче происходит некая поляризация на противоположные группы альфа и омега: «α» — киношные героини свободного и более чем свободного толка; «ω» — механические женщины.

А ей нужно было обрести где-нибудь покой, хотя бы и в группе «ω». Ей это желание не казалось естественным, но что-то надо было с собою делать, а мир для группы «ω», безусловно, стоял вершиной вверх, на прочном, хотя и чуждом для Ирины Викторовны основании.

Разговор состоялся в понедельник во второй половине рабочего дня, после того как Нюрок ушла в библиотеку, а вслед за ней Ирина Викторовна отправила туда и Анюту Глеб.

День был солнечный, свет из окна наполнял притихшую комнату № 475. Ирина Викторовна подсела к Валерии Владимировне и спросила ее о чем-то незначительном.

На нее тотчас глянули умные, даже проницательные, глаза — во взгляде точно фиксировалось начало разговора, а также умение и готовность в любой момент зафиксировать и его конец, в этом состояла их неизменная привычка: отчетливо начинать и столь же отчетливо кончать.

А Ирина Викторовна, первая обратившись к Валерии Владимировне, вдруг почувствовала совершенно не свойственную ей растерянность, и полную неподготовленность к общению со своей давней, очень дисциплинированной и знающей сотрудницей. Оказывается, она действительно не знала и не представляла себе заранее, каким должно быть это общение, как должна она отнестись к Валерии Владимировне — как больной человек к здоровому или, наоборот, как здоровый к больному и не совсем нормальному? Приступая к разговору с Поспитович — требует ли она или просит? А может быть, ее обращение к Валерии Владимировне — это обращение донжуана к скопцу? Или — чем не шутит нынче черт! — тот же донжуан, претерпев серьезную техническую реконструкцию, ни к кому уже так не благоволит, как к Валерии Поспитович, представительнице межполовой группы «ω»? «Что это,— подумала о Поспитович в среднем роде Ирина Викторовна,— что это, совсем противно и неприлично, или с этим все-таки можно согласиться, как с необходимым компромиссом, как с реальной силой, противостоящей полудикому и полуглупому племени «α», которое отсутствие всякой красоты выдает за красоту, а уродство — за оригинальность! Согласиться, понять и принять?! Здесь, по крайней мере, не выдают ничто за что-нибудь!»

«Самоопыляющийся взгляд!» — подумала еще Ирина Викторовна и тут же отчетливо поняла, что ее отношение к предстоящему разговору должно быть таким, в котором не будет никакого отношения — ни доброго, ни сердитого, ни доверительного, ни даже официального. Совсем никакого.

Вот так.

Ровным голосом, с легким повышением интонации в конце каждой фразы Валерия Владимировна говорила о том, что отношения замужней женщины с женатым человеком — дело не простое, а сложное, поэтому хорошо, что женатый человек сел в поезд и уехал далеко, и хотя замужней женщине это, само собою разумеется, не легко, но это ничего — не легко ей будет месяц-два, максимум три, а потом все пройдет. А чтобы это кончилось как можно скорее, не затянулось, замужней женщине нужно как можно более критически отнестись к себе, еще более критически — к тому женатому мужчине, нужно припомнить о нем все самое худшее. Тем более что у замужней женщины сын — это тоже само собою разумеется — переходного и потому неуравновешенного возраста. Есть еще и муж — фактор в данной ситуации отрицательный.

Оказывается, Валерия Владимировна знала все, знала все точно и, по-видимому, давно, а теперь выложила всю правду.

Эту правду, точную и безупречную, а в то же время — никакую, вот так же глядя толковыми глазами, так же повышая ровный голос в конце каждой фразы, Валерия Владимировна могла бы изложить кому угодно и какому угодно количеству людей, хотя бы миллиону сразу. И хотя ни одному человеку из целого миллиона это было бы ни к чему, Валерию Владимировну это ничуть не смутило бы...

Более того, она, пожалуй, смогла бы объединить этот миллион как раз вокруг отсутствия смысла и значения своих слов, словно вокруг какой-то истины. Ведь если не очень-то задумываться над тем: а почему? а для чего? а какой смысл?— то в словах Валерии Владимировны все было именно так, как надо, именно то, что надо, все было правильно, не требовало дальнейших доказательств, а это как раз и устраивает людей, они даже испытывают удовольствие и взаимное уважение друг к другу на такой основе.

Ирина Викторовна, конечно, и раньше знала о существовании такого языка и такого способа общения, но только думала, будто этот язык и это общение — чисто официальные, газетные. Но что они могут проникнуть всюду, даже в самые интимные отношения, даже в разговор двух женщин с глазу на глаз,— она никогда прежде не подозревала.

Она встала и вышла из 475-й комнаты, и пока она вставала и пока уходила, Валерия Владимировна интонационно зафиксировала конец разговора и отключилась от него.

Тем мгновеннее весь белый свет снова перевернулся перед Ириной Викторовной вверх тормашками, сама же себе в этом перевернутом свете она показалась подлой, способной изменить и себе, и Нюрку, и Анюте Глеб, и тетушке Марине — всем женщинам.

— Черт с ней, с этой группой «омега»! Черт с ней раз и навсегда!— только и сказала Ирина Викторовна самой себе.

Нет, нет, несмотря на все свое воображение, Ирина Викторовна действительно не представляла себе этой группы, способов и логики ее существования, тем более — своего собственного существования в этой группе, потому что там — понимали все. Там ни в чем не было тайны, даже в любви, разве только вопрос о том — один ребенок или двойняшки родятся в результате той или иной любви, вот и только, а больше — никакой недоговоренности, никакого сочувствия, которое потому и сочувствие, что не совсем тебя понимает, не совсем разоблачает и само не хочет ни этого понимания, ни разоблачения. И очень хорошо, что Валерия Владимировна не оказалась чуть-чуть человечнее или даже женственнее: будь в ней это чуть-чуть, Ирина Викторовна могла бы, пожалуй, обмануться; неизменно испытывая отвращение к группе «α», она могла бы найти какое-то прибежище в группе «ω».

Этого не случилось. Хотя легче ей от того, что не случилось, тоже не было нисколько.

И она возненавидела Никандрова. Потому что ничего другого ей уже не оставалось.

Ведь ненависть — та же любовь, только с обратным знаком, ну, а кто же это обращает нынче внимание на знаки? Важны абсолютные значения и величины, чем бы они ни были: достижениями, преступлениями, тоннами, тиражами, гонорарами, штуками, километрами, словами, этажами, таблетками, учеными степенями, спасенными, уничтоженными...

Ирина Викторовна давно уже существовала в мире громадных абсолютных величин, высоких напряжений, немыслимых и в то же самое время реальных ситуаций,

ассоциаций и бог весть еще чего, и вот все эти огромные величины она преобразовала в ненависть к Никандрову.

Она вспомнила, что в последнюю встречу с Никандровым на жилплощади тетушки Марины она больше, чем когда-нибудь, любила и больше, чем когда-нибудь, была хорошим парнем.

И, стало быть, в тот последний раз она спасла его — попробовал бы он уехать на Северный Кавказ, еще куда-нибудь после того, как узнал, что она — слабая женщина? Со следами ее слез на своей груди?! Это уже было бы подлостью, бог знает чем! Вот она и спасла его, не позволила ему низко пасть, освободила его от долга перед собою, а он? Ему только этого и надо было — вовремя исчезнуть. Воспользоваться спасательным кругом, который она протянула ему, а не себе.

Он знал, он тонко чувствовал не самое любовь, а тот момент, когда с любовью нужно кончить; в последнюю, самую счастливую, самую возвышенную встречу он понимал, что это — конец, но не сказал ничего, ни слова.

Он играл с ней, а может быть, играл не одну, а много встреч, ведь не за один же день он решил уехать на Северный Кавказ? Он ездил туда и раньше — зачем? Чтобы подготовить позиции и мгновенно на них отступить!

А она, как девчонка, верила и верила в бесконечность их встреч, и накапливала чувства, мысли и желания до следующей, и еще до следующей, и еще до следующей встречи, а потом осталась с этим огромным и непосильным грузом совсем одна... Лицом к лицу с Мансуровым-Курильским, с Аркашкой, со свекровью, с отделом информации и библиографии, с тетушкой Мариной, с Валерией Поспитович, со всем светом, а главное — с той Ириной Викторовной Мансуровой, которую она за последние полгода почти совсем разучилась понимать.

Что там Нюрок, что ее объяснения по поводу того, что Никандров прав?! Что там Нюрок, что ее объяснения по поводу Никандрова — какой он честный, какой благородный человек, как взял все на себя одного и... уехал!

Опыт Нюрка пошел, должно быть, ей во вред. Разве не бывает, что у человека настолько много опыта, что он становится величиной отрицательной?

Валерия Поспитович и та оказалась объективнее, когда говорила: о том человеке, о чужом муже, нужно

вспомнить все худшее... И ведь Ирина Викторовна и сама бы дошла до этого вывода, безусловно, дошла бы!

И как могло случиться, что она с чем к нему — к тому человеку — пришла, с тем от него и ушла: хотела узнать, тот ли это человек, т а к о й ли, которого она может и должна любить,— и ничего, совершенно ничего так и не узнала!

Никандров был крестьянским сыном, любил об этом говорить, любил это в себе, умел связать это с чем-то далеким и очень нужным для себя — ни больше ни меньше как с самой античностью, но все это не мешало ему ездить транзитом через свою родную Куйбышевскую область в Киргизию и ни разу на родине не задержаться! Ни на один день!

Как понять?

А разве он имел право оставить ее вот с такими вопросами к нему? Возбудить в ней эти вопросы, занять этими вопросами ее всю, все ее сознание, все ее силы, а потом оставить одну? Так и не сделав себя известным ей. Так поступают только мертвые, а он же — живет!

Она пришла к Никандрову не только ведь ради него, не только ради себя, а чуть ли не ради всего мира. Приходя, она горячо надеялась, что вместе с ним она что-то очень большое раз и навсегда поймет, а этим обрадует весь мир, которому так необходимы понимающие люди!

Но Никандров ушел и оставил ее даже не при своих,— он к ее непониманию прибавил еще и свое собственное: проблемы Чертежников и Конструкторов, вопрос о личном КПД, если на то пошло — об античности, да мало ли чего он еще и еще неизменно взваливал на ее плечи?

Ну, положим, он оставил бы ее с ребенком на руках... Трудно, однако же совершенно ясно, что нужно делать: растить и воспитывать.

А что делать со всем тем, что он оставил ей нынче? Совершенно неизвестно...

Пожалеешь о ребенке.

...Вспомнишь про карибов, где-то Ирина Викторовна читала, будто у этого племени два языка: на одном говорят мужчины, а на другом — женщины...

Она боялась. Она ходила по самому краешку пропасти, а в черной и холодной глубине могла разглядеть уже не самого Никандрова, а только его предательство — неужели не страшно? Но, собравшись с силами, она вызывала Никандрова на словесные дуэли и убива-

ла его, убивала то жестоко, хладнокровно и в упор, как Дантес, то откуда-нибудь из-за угла, куда сама же его и увлекала,— он ведь первый отверг какие-либо правила игры и чести...

Она вспомнила, как Никандров, бывало, выступал на ученых советах НИИ-9, всякий раз это было событием — сбегались все аспиранты и эмэнэсы, ученые мужи, позволявшие себе по возрасту или по положению вздремнуть на заседаниях, и те просыпались: ведь просто так, зря, Никандров никогда не выступал.

Он для всех был авторитет, для многих —«лапой» и «душкой», а почему? Потому что некому было крикнуть ему с места: «А ноль пятнадцать? Абразивы? Сплавы? Если ты не говоришь о них здесь и во всеуслышание — значит, фарисействуешь?!»

Не раз и не два Ирина Викторовна оставалась в институте после работы и писала Никандрову на Северный Кавказ письма о своей ненависти к нему и о том, как ненависть угрожает сделать ее способной на все. На все! Одно из писем она даже начала со слов: «А Вы ложку — не украли?» Но ни одного письма она не отправила, все оказались в мусорных, а не в почтовых ящиках.

Она объясняла подлинную натуру Никандрова не только ему и себе, но и Нюрку — объясняла заочно. Очный и реальный кретинизм Нюрка, восхвалявший это «красное солнышко», этого «лапу», был Ирине Викторовне ни к чему, был убийственно-вредным.

Нет, Нюрок — не учитель!

Если на то пошло, у Ирины Викторовны никогда не было учителя, не нашлось во всем белом свете. Одни только советники, консультанты, наставники, вожатые, воспитатели, тренеры, инструкторы, секретари и председатели, а учителя — ни одного!

Но даже и тоска по учителю, почти святое чувство, и то отравляло сознание, что своего учителя — даже его — она тайно, а все-таки искала опять-таки в любви, то есть все в том же Никандрове, а он и в этом обманул ее.

Если на то пошло, она понимала, что ее любовь была умозрительной. Она сама такая, или век такой, но только она мечтала и мечтала, думала и думала о любви гораздо больше, чем в реальной любви жила. Это можно как угодно назвать — и вырождением, и кретинизмом, но это — так.

Но тогда почему же ее расплата оказалась совсем не

умозрительной, почему она не условна, а безусловна, ощутима физически, да еще как ощутима?! Держит за горло и всякую минуту мешает дышать, мешает видеть небо и солнце, ощущать дождь, исполнять предназначенную тебе повседневную жизнь, выжимает из тебя все живое, словно ты не человек, а брикет... Расплата идет натурой, хотя ты знаешь, что никому на свете твоя натура не нужна,— изничтожь ее до последнего грамма, никто этого и не заметит.

Горестно-влюбленные девицы и дамы когда-то, бывало, лезли в петли, кушали спичечные головки, прыгали под поезда, и все это имело какой-никакой, а смысл, доказывало их пусть ни для кого другого неприемлемую, а все-таки правоту.

А нынче?

— Удивишь, что ли, кого-нибудь всем этим?

И газеты о твоей кончине не напишут: как ты выглядела после этого, какое скорбное было у тебя лицо, сколько упреков оно выражало; местком постарается поскорее и побыстрее сбыть тебя в крематорий; и ближние заподозрят в самом неприличном сумасшествии — ведь нормальные сумасшедшие так не поступают; и никому-то ты ничего не докажешь, никакой правоты! Никому, в том числе и себе!

А поскольку всем ясно, что ты никому, даже себе, ничего не доказала,— ты же и останешься в самых больших дураках, и Нюрок, чего доброго, подумает про себя, а то и скажет по секрету Анюте Глеб: «И как это Никандров — умница, лапа и красное солнышко — позволил себе связаться с дурой?! Вот уж никогда от него не ожидала!»

В ненависти, в брикетно-спрессованном состоянии и жила Ирина Викторовна... Не то чтобы она примкнула к группе «ω», совсем нет, хотя, по совести, что-то влекло ее туда, какой-то механический уют, но холодный расчет и логику этой группы она усвоила, а усвоенный материал применила к науке ненавидеть.

Глава двенадцатая

ПРОВОДЫ

Никандров все не возвращался.

Между прочим, говорили, что там, в филиале НИИ-9, он организует отдел технической информации и биб-

лиографии ничуть не меньше, чем в головном институте.

Другой бы так и сделал: сам окончательно переехал бы на Северный Кавказ и ее увез туда же заведовать самым крупным отделом. Вот уж где она развернула бы общественно полезную деятельность!..

Дома были теперь заботы. Разумеется, об Аркашке.

Должно быть, с помощью девочек, которые и уроки за него делали, и даже ухитрились подсунуть решение задачи на выпускном экзамене, этот шалопай окончил школу, а теперь ждал призыва в армию.

В вуз он и не пытался пойти, какой там вуз с его знаниями, кроме того — возраст. Благодаря второгодничеству несмышленыш вымахал в доброго пехотного сержанта-сверхсрочника, только вот до сих пор был не в отца и не в мать, а неизвестно в кого: кудряв, пучеглаз и знать ничего не знал о каких-нибудь заботах и тревогах.

В армию Аркадий должен был пойти вот-вот, но никогда и не вспоминал об этом, ходил на танцы, играл на саксофоне, а за него ждала призыва родная мать: ей предстояло расставание, и надолго.

Ей везло на расставания.

Мансуров-Курильский сорвался-таки со своего спартански-отчужденного тона, устроил скандал вполне, в общем-то, в рамках, и это знаменовало наступление нового этапа семейной жизни, который, однако, до сих пор трудно было определить — что за этап? Невыносимый или сносный?

Нет, она не упрекала Мансурова-Курильского.

Пожалуй, самое лучшее было бы, если бы Мансуров-Курильский вдруг заболел. Не от ревности, не на почве семейного разлада, а по-настоящему, инфекционно-опасно, но если бы уж вылечился, то без последствий и рецидивов. И это она не дала бы ему умереть, сделала бы для этого все возможное и все невозможное, день и ночь не отходила бы от постели, и не исключена возможность, что внутренне даже покаялась бы перед ним.

Мансуров-Курильский ничего не знал о возможности такого варианта и не заболевал; Ирине Викторовне так и не представился случай подтвердить на практике логику и философию тетушки Марины о тождестве любви и обязанности... Жаль! А что, если действительно

любовь можно заменить одними обязанностями — вот уж тогда не соскучишься!

Тем более это оказалось бы неплохо, что ведь и у Курильского чувство обязанности тоже было развитым, он вообще-то был человеком порядочным.

Правда, он был далеко не таким обязательным человеком, как тетушка Марина, зато всякое внушение у него звучало почти так же, как у нее: «Я должен и обязан, а значит, ты тоже должна и обязана, значит, все вокруг нас — должны и обязаны!» Больше ничего. Никакой другой логики.

Ирина Викторовна подозревала, что, если бы в свое время отец не столь рьяно втолковывал Аркашке все, что касается его обязанностей, может быть, у мальчишки и не зародилось такой лютой ненависти к ним. Ну, а когда она появилась, эта ненависть,— отец спасовал, отступился и стал Аркашку хвалить за то, что он — не злодей, не бьет окон, не шляется неизвестно где по ночам, разве только изредка...

Господи, как же все-таки знала и понимала Курильского Ирина Викторовна! Право, бестактно и даже бесчеловечно так знать человека во всем, хотя бы даже и в том — как знает и понимает он тебя! Все тебе известно: что он подумал о тебе сейчас, что подумает завтра, в глубоком убеждении, что уж кто-кто, а он-то знает тебя лучше, чем ты самое себя!

Когда-то, задолго до того, как «произошло все», Мансуров-Курильский, бывая в командировках, писал ей дважды в неделю, не реже. Очень подробно писал.

А она, отвечая, делала это в телеграфном стиле.

И вот этот именно стиль, который ей и самой-то казался уже тогда и странным, и неуместным, за который она, бывало, жестоко упрекала себя, теперь утвердился у них в доме, и Курильский был уверен, что это не кто как он ввел его, что это полная неожиданность для нее — ни единого лишнего слова, отсутствие всяких интонаций и даже, кажется, знаков препинания в фразах: «Я — пошел», «Обедать — когда», «Телефон — звонили».

Предстоящий отъезд Аркадия наложил печать на семью Мансуровых, печать некоторой грусти, недоумения: ну, как это так — Аркашка, мальчишечка, несмышленыш, и вдруг в армию? В этом недоумении все сходились и даже сближались, разногласий не было, но даже там, где они были, и там состоялась как бы не-

гласная договоренность: серьезных вопросов до поры до времени не поднимать. Вот уедет сын — тогда уж. Пусть человек уедет в хорошем настроении, с хорошими представлениями о родительском гнезде.

Поэтому и тот скандал, который поднял-таки Мансуров, протекал тоже в рамках, а, строго говоря, может быть, и не был скандалом, не шел дальше выяснения некоторых отношений.

Во всяком случае, Ирина Викторовна очень терпимо отнеслась к нему, а одна фраза Мансурова-Курильского задела ее душевно, за одну фразу она была даже благодарна ему.

Мансуров-Курильский почти под самый занавес сказал:

— А тебе не приходило, что я за эти годы тоже ведь мог бы найти чего-то?

Нет, Ирине Викторовне не приходило.

Ирина Викторовна не ответила, только пожала плечами, но задумалась, думала еще долгое время после того, как занавес был окончательно опущен, да и теперь еще мысленно возвращалась к этим словам: «Найти чего-то».

Что у Мансурова-Курильского могла бы возникнуть своя собственная любовная история — она представить не могла: в нем не было готовности рисковать, переживать, ну, например, переживать неофициальные, а тем более официальные призывы к благоразумию по месту службы, это он воспринял бы как полнейший крах и катастрофу. Того проще — будет назначено свидание, значит, нужно идти, не опаздывать, а служебную машину использовать неудобно и неприлично, а идти просто так — тоже неудобно и, пожалуй, тоже неприлично.

Но вот, несмотря на все это, у Мансурова, должно быть, могла появиться тоска по чему-то другому, и ему было не чуждо «найти чего-то».

Ведь не сказал Курильский — «найти кого-то». Нет, не сказал. А это уже было, как и у нее,— она ведь тоже прежде всего искала не столько кого-то, сколько чего-то и что-то, какую-то иную жизнь, какие-то иные представления и понятия. Другое дело, что все это можно было найти только через кого-то. Она и не скрывала этого от Никандрова, наоборот, подчеркивала это перед ним и сама хотела быть для него «чем-то». Хотела быть аксиомой.

«Но вот в чем дело,— тут же, еще во время разговора с мужем, побежала ее мысль дальше,— а ему-то, Никандрову, действительно ли нужно было что-то? Да или нет? Может быть, его вполне устраивал кто-то — безо всякого там чего-то?» Поставив, как это ни удивительно, только сейчас, только в разговоре с мужем этот вопрос, она уже не могла не развивать его дальше и дальше.

«Ну, в самом деле,— думала она,— зачем Никандрову «что-то»? Этого добра ему с избытком хватало своего собственного, он не знал, куда от него деваться,— от своих мыслей, предположений и представлений, от частных и глобальных проблем, от персонального КПД, который он определил так жестоко, и т. д. и т. п. Он, вполне вероятно, хотел, чтобы всего этого было у него поменьше, нужно-то ему было масло в огонь, если этот огонь только досаждал ему, подступая со всех сторон? Нет и нет — не что-то ему было при таких условиях нужно, а кто-то... Кто же? А вот кто: недурная, неглупая, неиспорченная, неизбалованная, не толстая и не слишком тонкая, с формами, не молодая, но и не старая, не очень скромная, но и не разбитная бабенка! Чтобы все в ней — в самый раз, по вкусу, а больше — не дай бог! Такая бабенка, на которую мужики из НИИ-9, да и не только из НИИ, не один год пялили глаза, а она — ни-ни, и общепризнанная репутация у нее — ни-ни, недотрога, а потом недотрога сама по себе, без малейших хлопот с его стороны, взяла да и бросилась к нему! Приятно, наверное, когда к тебе бросаются недотроги?!»

Еще Мансуров спросил в том же разговоре:

— Как же будем решать?

— Как хочешь...— ответила она.— Дело твое.

— Так... Значит, так будет и дальше: общая крыша над головой, а больше — ничего? По-твоему, это вариант? Это — безобразие! Или ты привыкла?

— Я привыкла...

— И давно? Давно ли успела?

— Наверное, лет десять тому назад. Может быть, и еще раньше.

— Конкретно? Или ты не можешь конкретно? Избегаешь?

— Нет, почему же! Лет десять назад ты уже окончательно и бесповоротно приучил меня к этому. К этой отчужденности и безразличию. А сам привык к нему еще раньше. Много раньше. Боюсь, как бы еще не на

Курилах. Но там было хорошо, там был Тихий океан рядом, и мне не хочется думать, что уже тогда было плохо.

— Да?

— Да...

— Странно... Почему же ты никогда не говорила мне об этом? Не предупреждала? Не объясняла?

— Семья тем и отличается от канцелярии, что в ней не ведутся протоколы и акты происшествий. Кроме того, выяснять отношения сейчас, а тем более прошлые отношения — поздно.

Разговор происходил тогда в кабинете Мансурова, и его письменный стол, беспорядочно заваленный бумагами и когда-то нелюбимый Ириной Викторовной за то, что Курильский проводил за ним глубокомысленные часы, месяцы и годы, но никаких результатов от этого так и не было; и книжные полки, заставленные главным образом собраниями сочинений самых разных авторов; и старый-старый диван, который она многие годы собиралась заменить современным диваном-кроватью, а Мансуров упирался, и ей надоело его уговаривать — все было тоскливым и навязчиво знакомым, а в общем-то безразличным.

Мансуров-Курильский все-таки попросил:

— Ну, напомни?! Хотя бы один случай, когда ты меня предупреждала, говорила мне вот так же откровенно?!

Ирина Викторовна напомнила о другом, не столь уж отдаленном разговоре, который он сам назвал когда-то «орнитологическим». О кукушках, ястребах и орлах.

— Вот как ты это поняла... Вот как... Ну, а тогда,— сказал Мансуров,— тогда я бы на твоем месте первым и давно ушел бы от меня.

— Я бы на своем месте тоже давно сделала бы так. Если бы — не Аркадий.

— Теперь это взрослый человек.

— Вот и решай! Будь мужчиной — решай! За себя. За меня!

— Один?— опять-таки удивился и даже умно удивился Курильский.— В конце концов, я же не настолько свободен от тебя, чтобы принимать решение без твоего участия?

— Я же сказала: я заранее согласна. Делай, как тебе лучше, а я — согласна.

— Еще один вопрос...— подумав, проговорил Мансуров.— У тебя есть... ну, какой-нибудь, собственный вариант? Реальная перспектива? Ведь для того, чтобы решать, и притом одному, я должен это знать?

И действительно, он должен был это знать, Курильский. Он имел право это знать, хотя бы в силу своего спокойного умиротворенного тона.

— У меня нет никакого варианта,— ответила Ирина Викторовна.

— Будет?

— Не думаю...

«Был?» — хотел еще спросить Курильский. Но не спросил. И правильно сделал. А кончил он совсем хорошо:

— Знаешь что, Иришка? Мы постараемся расстаться. Надо постараться. Вот проводим Аркадия...

Так оно и было: вся жизнь, все события в доме Мансуровых шли нынче под знаком Аркадия, под знаком его проводов.

И это несмотря на то, что сам Аркашка как бы уже давно и заранее распрощался с родителями и с бабушкой, дома почти не бывал, самых обыкновенных слов для отца с матерью не находил — ему некогда было со всеми ими общаться перед отъездом. Но все равно очень беспокойно: как-то он будет жить не здесь, а где-то в другом месте, под началом какого-нибудь старшины?

Ирина Викторовна всерьез задумалась: а не приобрести ли ей японского пуделя? Все говорят, будто собака — лучший друг человека.

Но тут она вспомнила тех собак, с которыми когда-то очень дружила на Курилах,— вот там были собаки так собаки, друзья так друзья! Природные, и гордые своей природностью, с сознанием собственной необходимости и достоинства.

Пудели же, слюнявые бульдоги и все прочие пародии на животных, которых человек навсегда искалечил ради своей забавы, придав им то ли смешной, то ли уютный, то ли вовсе невероятный вид, лишил их всякой самостоятельности и трудолюбия и научил только одному — обожать хозяина, а потом посадил к себе на шею и вот сам трепещет, если собачка — упаси бог!— почему-либо им недовольна; все эти искусственные, как бы синтетические создания почему-то не радовали Ирину Викторовну, хотя она и помалкивала на этот счет, чтобы не обидеть некоторых своих знакомых, Канунниковых,

например... Так что номер с пуделем не удался, еще не начавшись.

Тогда, уже переживая отъезд Аркашки, она решила, что как только Аркадий уедет, она станет каждый божий день бегать в кино...

Кино?

А ведь Ирина Викторовна его тоже не любила. То есть как раз она любила его, но только как таковое и вполне самостоятельное — Эйзенштейна, Чаплина, Крамера, которые неизменно с кино начинали и им же кончали, не изменяя ему нигде и ни в чем, которые возвеличивали кино такими задачами, которые ничто другое исполнить не могло.

Ах, как она любила такое самостоятельное и великое кино!

Но когда то же самое кино начинало жадно хватать то литературу, то театр, то оперу, все без разбора, все без разбора подминать под себя, пользуясь своей молодой силой, радуясь отсутствию у себя своих собственных традиций и настоящей истории, ничего не открывая заново, но все технизируя и выдавая эту технизацию за искусство,— тут уже Ирине Викторовне становилось не по себе, горько на душе становилось у нее, обидно за это развязное поведение техники... Она ведь тоже была техником и поэтому болела за нее, а нехорошо, когда команда, за которую ты болеешь, ведет себя непристойно.

Тем самым такая команда обижает не столько своих противников, сколько своих болельщиков.

Тем самым кино грубо врывалось в ее собственные представления о классической литературе, которые сложились у нее с детства и с юности, а потом еще и подкрепились размышлениями зрелых лет, и вот она воспринимала такое кино как попытку разрушить не что-нибудь, а ее личность, разрушить не только духовно, но, кажется, даже и физически — так ей, по крайней мере, казалось...

Когда на глазах у всех режиссер тщится дотянуться до Льва Толстого или до Федора Достоевского, и не только дотянуться, а еще и поправить их на свой собственный лад, да еще и уверен при этом в своем успехе,— Ирина Викторовна не могла перенести трагикомедии, вставала во время сеанса и уходила на свежий воздух. И долго потом что-то мешало ей жить ее собственной, ни у кого не заимствованной жизнью, поскольку нельзя

же назвать заимствованием свое приобщение к тем десяти или двадцати именам, которые ты считаешь самыми великими и как бы основополагающими для человечества! А уж для самой себя — тем более; недаром о личной свободе говорят как об осознанной необходимости! Она понимала, что многим техническое кино нравится, и сердилась еще раз: оно отдаляло ее от этих многих, а она, где-то в глубине души, не хотела вот такого, навязанного извне, одиночества и обособленности. В конце концов одиночества ей хватало и без этого, то и дело одиночество ей даже требовалось, но вот так уходить от людей, сразу от тысячи и больше, только потому, что им что-то нравится, они что-то принимают и с чем-то мирятся, а тебе это претит и не нравится,— нет и нет, это очень неприятно! И не для того же существует искусство, чтобы разъединять людей! Тогда что же их будет объединять?

Вот она и помалкивала и, во избежание разъединения, ни разу не обмолвилась перед Канунниковыми о том, что не любит комнатных собак, а Нюрочке Бессоновой лишь очень сдержанно говорила, что не любит киношного Льва Толстого, какие бы знаменитые и красивые актеры и актрисы его ни играли. Толстой ведь оставил для них еще и пьесы — вот пускай бы в пьесах и подвизались, там авторского текста нет и нет необходимости по своему произволу что-то сокращать и опускать.

И, значит, так: ни собаки, ни кино не отвечали ее развлекательно-успокоительным, да и всем другим нынешним целям. Ох, ни к чему, совсем ни к чему все эти антипатии женщине, которая переживает разлуку за разлукой! А если где-нибудь еще и проговоришься об этих антипатиях — сколько сразу же, в самом деле, схлопочешь отрицательных мнений о своей персоне?!

...Театр?

Ну, театр — уже другое дело, все-таки живые люди, а не их изображения.

Надоели изображения! Надоела бесчисленность изображений, когда и сама-то себе тоже начинаешь казаться хоть и собственным, а изображением!

Но еще раньше, чем она окончательно решила остановиться на театре, в ее жизни произошел такой странный случай.

Мансуров-Курильский не ночевал дома — они с Ка-

нунниковым «самим» с субботы на воскресенье, после долгого-долгого перерыва, уехали порыбачить, а вернее всего, тоже посоветоваться насчет вопросов жизни,— в квартире было тихо и пусто, Аркадий еще не скоро должен был вернуться, Ирина Викторовна легла спать пораньше и не уснула, а только еще задремала, как в дверь спальни кто-то постучал... «Странно!» — подумала она, но тут же ответила: «Войдите!» И появился человек, которого ей не пришлось долго угадывать, хотя со времени встречи с ним прошли десятилетия. Десятилетия прошли, но их как будто и не бывало никогда для этого человека.

— Почему вы здесь?— спросил он.

— Здесь не так уж плохо...— ответила она, скрывая досаду от его излишней проницательности.

— Не так уж плохо — это и есть хорошо?

— Привычка...

— Пузатенькие вот эти часики тоже — привычка? А вот это окно, в которое ночью заглядывает нескромная луна? А вот это одеяло? А эта кровать? А этот халат? И вообще! Вас это не удивляет?..

— Я сказала: привычка! Вторая натура!

— Но вторая — это же не первая?!

Бог знает почему ей самой до сих пор не приходило это в голову?! Очень странно! Столько в этом смысле пережить и ни разу вот так не подумать?! И она не нашлась что ответить, а он сказал снова:

— Ясно!

— Ошибкам не радуются!— сказала она.

— Радуются!— подтвердил он.— Радуются!

— Тсс! Поздно, в доме все спят. Вот за этой стеной спит Евгения Семеновна, свекровь. А с минуты на минуту вернется Аркадий. Сын. Я его жду.

— Так вы — не узнаете меня? Нет?

Ну как ей было не узнать его — у нее и ноги-то до сих пор все еще гудели и стонали, и в глазах-то мелькали Уралы, Барабы, Саяны, Байкалы, Амуры, Дальние Востоки, и в ушах стоял звон от перестука вагонных колес, от разреженной атмосферы, в котором не так давно оборвалось тяжелое, аритмичное дыхание войны.

Однако он понял ее молчание по-своему:

— Действительно,— сказал он,— действительно, на улице уже темно. Да? И оставаться мне здесь совсем неудобно.

На другой день Ирина Викторовна подивилась: какой эпизод! Короткий, но яркий. Ну совершенно как наяву!

Аркадия провожали отец, мать, бабушка и ни много ни мало четыре девочки, из которых одна, как выяснилось из беглого знакомства, была уже студенткой-третьекурсницей.

И на всех у этого шалопая Аркашки без зазрения совести хватало улыбок и самого доброго, самого невинного расположения! Ну, хотя бы в одном глазу какое-нибудь уныние, тоска, горечь расставания! Смущение от этого количества девиц. Хотя бы одно слово в том смысле, что служба в армии — дело серьезное, но что он постарается держаться. Ничего подобного!.. Отец, мать, бабушка и четыре девочки только и слышали о том, какие мелодии он разучит на саксофоне в ближайшем будущем.

— В армии, запомни, Аркадий,— сказал отец,— саксофонов нет. Там барабаны, духовые инструменты и наряды вне очереди...

— А я думаю — найдутся!— уверенно сказал Аркашка.— Найдутся саксофоны. Нет, так попрошу начальство где-нибудь достать.

Проходил мимо по перрону серьезный старший сержант из сопровождающих эшелон, мрачноватый и здоровенный, остановился около Аркашки, оглядел его каштановые кудри:

— Вот этого каракуля мы на месте в двадцать четыре часа обстригем!

На другого это произвело бы, наверное, плохое впечатление, Аркашка засмеялся:

— Музыкальные команды не обстригиваются, товарищ старший сержант!— И старший сержант ушел, Аркашка же еще раз подтвердил:— Музыка — везде нужна!— и легонько, непринужденно отвел в сторонку третьекурсницу.

Девочка самая младшенькая, класса из седьмого, отошла в это время в другую сторонку и, поглядывая в небо, набиравшее синеву и тепло, стала шмыгать аккуратным носиком.

На перроне шумела общая для всех судьба... Уходил эшелон призывников, а два эшелона вот таких же отцов, матерей и бабушек провожали их, еще эшелона три бы-

ло тут девиц, с небольшой, но активной прослойкой тоже провожающих парней, и все-все делали совершенно одно и то же: обнимались, плакали, просили писать, спешно набивали рюкзаки призывников одинаковыми консервными банками, все уверяли друг друга в привязанностях друг к другу, и казалась странной и не совсем уместной необходимость самой еще и еще повторять и повторять все это. А не повторить было невозможно, поэтому Ирина Викторовна терялась, не знала, что лучше сделать — еще раз обнять Аркадия или уступить его отцу, бабушке, самой младшенькой девочке, которая с минуты на минуту чувствовала себя все хуже и хуже.

От такой вот общей судьбы, как эта, громко шумевшей на весь вокзал тоже общим для всех гитарно-приподнятым шумом, Ирина Викторовна давным-давно отвыкла, привыкла же существовать сама по себе, в своей собственной, скрытой от посторонних глаз жизни. Там скрывались вещи тоже самые обиходные, распространенные и для всех обязательные, но все равно без ощущения скрытности ей давно уже обойтись было почти невозможно, а тут приходилось обходиться.

Приходилось, понятно, еще труднее в силу определенных семейных обстоятельств, и она это остро чувствовала, и Мансуров-Курильский чувствовал, и свекровь, должно быть, тоже чувствовала, и что было ей совершенно несвойственно — свекровь плакала, не скрываясь и громко всхлипывая.

Что переживали тут четыре девицы — было не совсем понятно, но что-то они тоже ведь чувствовали, и каждая сама по себе, и все вместе.

Снова прошел мимо по платформе серьезный старший сержант и снова посмотрел на Аркашку, но ничего не сказал...

Отец поворошил Аркашкину шевелюру:

— Ты вот что, Аркадий, ты первым делом, как наденут форму,— пришли нам фото. Понял?

— Как не понять!— ответил Аркашка.— Две или одну?

Отец поморгал, Ирина Викторовна отвернулась слегка в сторону, Евгения Семеновна перестала всхлипывать.

— Как хочешь...— сказал отец, поскольку вопрос адресовался непосредственно к нему.— Можно и три... Бабушке вот...

— В рост фото или в рост и еще — анфас? — еще спросил Аркадий и сам же решил: — Лучше сперва одну, а уж потом, через полгодика, другую...

— И совсем хорошо! — подтвердил отец и стал вспоминать, как было, когда он сам служил на Курилах. Сначала один, а потом к нему приехала мать... — Ну, разумеется, она тогда еще не была твоей матерью, — пояснил он Аркадию.

Толпа все густела, все больше волновалась, словно с синего неба на нее время от времени налетали порывы сильного ветра, хотя в действительности погода была чудная, тихая... Суматоха возрастала и возрастала, так что казалось — все это дело обязательно кончится путаницей: те, кто должен уехать, почему-либо останутся, а из тех, кто должен остаться, кто-нибудь да уедет. Или с электровозом что-нибудь случится, или — со станционными стрелками...

Наконец-то офицеры крикнули: «По вагонам!», и радио, продолжительно почихав и погудев, тоже объявило об этом же, тотчас из всех вагонных окон начали торчать головы отъезжающих, казалось, по десятку и больше из каждого окна, через головы стало махать на перрон бессчетное количество рук, некоторые с носовыми платочками, но больше всего так, с растопыренными пальцами; провожающие пришли в окончательный раж, как бы даже в восторг, поезд лязгнул, скрипнул, вздрогнул, потом замер, потом снова вздрогнул, тронулся и пошел, и пошел точь-в-точь так же, как уходят и уходят ежечасно поезда... Электровоз сработал безотказно, и станционные стрелки тоже. Никакой путаницы не произошло. Кого надо было увезти, поезд увез, а кого надо было оставить — тех оставил глядеть на блестящие рельсы и друг на друга.

Когда вышли с перрона на площадь, потом на улицу, взять такси не удалось — очень было много охотников на такси, и хвост выстроился на остановке через всю площадь, служебной машины у Мансурова почему-то не было. Ирина Викторовна не спрашивала — почему, идти по улице троим в ряд было неудобно, пошли так: Ирина Викторовна, а чуть позади — Мансуров под руку с матерью.

Так и в метро вошли, в толкучку, так же — от метро к дому, хотя здесь толкучки не было никакой.

А всегда было иначе, всегда Евгения Семеновна держалась ближе к невестке, чем к сыну...

Дома разошлись по комнатам, и опять всем, должно быть, стало странно и непривычно, теперь уже от сознания, что вот всю жизнь жил в этих комнатах Аркашка,— он ведь и родился здесь, только тогда здесь была коммунальная квартира, на две семьи, это позже Мансуровым дали ордер на расширение — жил, рос, безалаберничал, болел, собирал почтовые марки, бренчал на гитаре и вдруг не бренчит больше и не собирает марки, а вместо этого едет куда-то в общем вагоне, даже неизвестно куда, и как будет жить там, куда он едет,— тоже неизвестно. Известно только одно — жив... Но жив — это ведь один только принцип, совершенно безо всяких частностей и конкретностей, это уже и не жизнь, а краткая информация о ней, отвлеченная величина, как пятью пять — двадцать пять, а чего — двадцать пять? Где — двадцать пять? По какому поводу — двадцать пять?

Снова Ирина Викторовна, может быть, даже острее, чем во время проводов на вокзале, ощутила раздвоенность своей жизни, как эта жизнь раскололась и вот сейчас раскалывается еще.

Вот Ирина Викторовна оглянулась вокруг себя — на стены, окна и дверь своей квартиры, на пузатенькие часики, на трельяж, пудреницу и на футлярчик с губной помадой — и не узнала ничего этого, не признала за свое, потому что она и сама-то себя не узнает тоже: она ли это, привычная и много-много лет знакомая самой себе, или в самом деле уже не она, а другая, незнакомая и непривычная, взгляды и жизнь которой еще предстоит узнать? Узнать не только нынешнюю жизнь, но и всю прошлую — что же там было, что там с нею случалось? Что было действительно, а чего, тоже действительно, не было?

Почему люди становятся непонятными сами себе? Да только потому, что с ними происходит что-нибудь непонятное!

Такие же инженеры, как и она сама, но только инженеры душ — писатели — кажется, гордятся тем, что создают обобщенные образы, так это, может быть, потому, что точный образ одного-единственного человека им создать не под силу.

А если бы им удалось такое претенциозно-художественное исследование?

Оказалось бы, что в отдельном человеке нет ничего существенно отличительного, все — общее, все присуще

всем, разве только некоторые сочетания этих общих качеств имели бы разные формулы...

Ирина Викторовна чувствовала себя сейчас кем-то, кажется, писателем, но только не по умению писать, а по неумению достигнуть той очевидности, ради которой, собственно, и пишутся все на свете книги, чувствовала себя не столько собою, сколько каким-то неотчетливым состоянием себя — не то переходным от чего-то к чему-то и временным, даже мимолетным, не то, наоборот,— состоянием какой-то константы, которую возможно достигнуть, только пройдя через все то, через что прошла она...

— Ах ты, женщина, женщина!— вздохнула Ирина Викторовна, потом захотела узнать, почему она сказала себе так, но в комнату вошел Курильский:

— Командуй ужинать, что ли?

— Не хочется...

— Мало ли что... А мне, думаешь, хочется? Надо...— И тем же самым тоном, которым предлагал ей командовать на ужин, потоптавшись немного на месте, Курильский не то спросил, не то напомнил:— Мы как с тобой договаривались? В тот раз? Подождать, пока проводим Аркадия, да?

— Да...— кивнула Ирина Викторовна и удивилась: неужели Курильский вот так, с ходу, едва проводив Аркадия, приступает к решению дела? Уже? Наверное, пока он шел нынче с вокзала позади нее и под руку с матерью — они вдвоем согласовали все, и вот... «Ну, что же,— еще подумала она,— действительно, разве для этого кому-нибудь еще требуется подготовка? Никому для этого уже ничего больше не требуется...»

— Ну вот — мы и проводили...

— Проводили...— подтвердила Ирина Викторовна.

— А нам с тобой придется и еще подождать. Я лично не могу торопиться — не получается... И ты подожди. Так пойдешь ужинать?

— Не хочется.

— Дело хозяйское. Как хочешь.

Курильский ушел, Ирина Викторовна горько упрекнула и его, и еще больше себя: а чего, в самом деле, ее тянуть, эту резину, эту совместно-несовместимую жизнь? О которой и говорить-то можно вот такими бледными, бездушными словами, какими только что говорил Курильский, словами, которые и сами-то себя не

знают, не понимают ни своего значения, ни смысла! А если — разом?!

Оставшись снова одна в комнате, Ирина Викторовна отчетливо представила себя одной и во всей жизни и не испугалась. А что?! Ей не страшно, не привыкать; уехал Никандров, уехал Аркашка; ушел, словно в небытие, Мансуров-Курильский, за ним и Евгения Семеновна уйдет. Все ушли...

Появился было в ее комнате человек, прекрасно объяснил ей, что привычка — не первая, а только вторая натура, должно быть, от этого напоминания уже снова, как когда-то в дальневосточном экспрессе, заныло и загудело в ногах, промелькнули перед глазами удивительные, сказочные пейзажи, а он, этот человек, тоже исчез.

«Где же ты — мой первый и последний Рыцарь?»

Глава тринадцатая

НА УНТЕР-ДЕН-ЛИНДЕН И НА ТРИНАДЦАТОМ ЭТАЖЕ

Ирина Викторовна ехала в троллейбусе и довольно издалека увидела церемонию возложения венка на могилу Неизвестного солдата.

Какая-то чернокожая делегация возлагала венок, а несколько фотографов — один с колена, а другие, поднявшись на цыпочки,— запечатлевали сцену.

Тут же толпился, хотя и не в очень большом числе, народ: дети, старушки, несколько военных, еще прохожие. Старушки были строги и строже всех стояли — словно в карауле, Ирина Викторовна догадалась, что среди них, наверное, есть и такие, у кого сыновья пропали без вести в войну, и каждая из них думает, что Неизвестный солдат — это ее сын, это над ним горит Вечный огонь.

После того как Ирина Викторовна проводила Аркадия в армию, такие вот старички и старушки стали ей ближе, будто она что-то о них узнала, чему-то от них научилась.

Ирина Викторовна вышла из троллейбуса, обогнула ограду и тоже подошла к Огню и Могиле.

Она видела и то и другое не раз, но теперь всматривалась в прозрачную яркость и в синеву огня с особым

вниманием, угадывая и как бы даже ощущая процесс сгорания, превращения одного вещества в другое.

И там, внизу, ниже Огня, ниже тяжелой могильной плиты, тоже шло по своим законам другое превращение, только невидимое глазу,— во что-то все еще превращался Неизвестный солдат, из своего мира — в другой мир.

Делегация закончила церемонию, села в машины и уехала, унося с собою сознание исполненного долга. Постояв подольше других, разошлись и старушки, а Ирина Викторовна еще долго прохаживалась около Неизвестной могилы и Вечного огня, ей хотелось их запомнить. Она уже давно ничего не запоминала отчетливо, кроме того, что касалось ее непосредственно, а от этого ей было как-то неловко теперь перед самою собой.

Грустно было и оттого, что вот она запомнит этот Огонь, может быть, даже что-то поймет и узнает, глядя в него, но рассказать ей об этом будет некому... «Жаль все-таки,— подумала она,— что Нюрок — не мужчина... Еще жаль, что мой Рыцарь — только Рыцарь, больше никто. Будь он еще кем-нибудь, он, наверное, не прошел бы мимо еще не старой женщины, а выслушал бы ее с интересом, а эта еще не старая женщина, рассказывая что-нибудь ему, и сама поняла бы — что же все-таки она увидела, вглядываясь в Вечный огонь?»

В таком настроении, реально существуя и в то же время существуя не совсем, не до конца, потому что ей некому было рассказать об Огне, некому было о нем спросить, Ирина Викторовна вернулась домой, рассеянно поужинала, что-то почитала, все ожидая чьего-то вопроса.

И действительно, уже перед самым сном этот вопрос был задан ей:

— Зачем ты смотрела в огонь? Что ты увидела?

Подумав, она должна была признаться:

— Не знаю.

— А я знаю! Пошли!

Нужно было решиться — все это было так неожиданно! Ей казалось, что все неожиданности для нее давно прошли, а тут — снова! Она задумалась. Задумалась и — решилась.

Были поля кругом и очень прозрачный воздух, а в стороне там и здесь были города. Позади них, идущих, было солнце, оно просвечивало воздух.

Ирина Викторовна прислушалась к какому-то движению, происходившему, но тоже невидимому, и не сразу, но поняла, в чем дело: они шли с востока на запад, и Земля вращалась в том же направлении. Два эти движения совпадали, вот почему идти было легко.

Наконец почувствовалось приближение такого города, который уже не должен был остаться в стороне, замерцали красные, желтые и зеленые светофоры, небо над этим городом оказалось проткнутым высокой телевизионной башней, а Земля — покрытой бетонными дорогами.

Чуть позже появились контуры огромных жилищ, жилища, выстроившись в ряды, образовали улицу — одну, другую, множество улиц, вдоль одной из них по обеим сторонам и посередине, почти примыкая друг к другу, стояли и не шевелились огромные липы, и все линии этой улицы — линии серых жилищ, линии зеленых лип, черные линии тротуаров и проезжей части, все до одной упирались в высокую темнокаменную колоннаду.

Но не было видно ни на этой улице и нигде людей — ни одного, безлюден был город со всеми своими улицами, он спал; за прозрачностью окружающей его атмосферы скрывалась ночь, может быть, только самое начало рассвета, и город, угадывая в этой прозрачности свою ночь, спал и видел какие-то сны, и не у кого было узнать имена — имена города, улиц и колоннады.

Но Ирина Викторовна узнала все эти имена, спросивши у своей памяти: город назывался Берлином, улица — Унтер-ден-Линден, колоннада — Бранденбургскими воротами.

Когда-то она ведь была здесь по командировке НИИ-9.

Теперь пришлось вспомнить и об этом.

Теперь она шла по Унтер-ден-Линден рядом со своим спутником и в сознании сурово-трагической истории этой улицы, такой жестокой и в отношении самой себя, и окружающего мира, и в то же время как бы подспудно обладающей и житейским уютом, и неповторимой в иных местах городской красотою, и непререкаемым смыслом своего дальнейшего существования. Покуда они шли — двое под липами,— липы стали чуть-чуть шелестеть, будто ожидая смены ночи, а сама ночь, не замечая этого шелеста, была по-прежнему прозрачна и тиха, словно она стояла не над Берлином, а над Рей-

кьявиком, и солнце не показывалось кому-либо на глаза, срывалось где-то очень далеко и продолжало подсвечивать эту ночь своим сиянием...

Бранденбургские ворота, темно-коричневые и совсем черные, приближались с каждым шагом, замыкая на себе все уличные линии и обнажая свои осколочные шрамы.

Все это вместе взятое — и тишина, и прозрачная ночь, и внешний облик Унтер-ден-Линден, и тот смысл, который скрывался в этом облике, и шрамы на колоннах, и еще неизведанная близость спутника, с которым пришла сюда Ирина Викторовна, и уже отрешенная от нее, но тем сильнее отзывавшаяся томительной болью судьба безалаберного человека Аркашки Мансурова, и вдруг пробежавшее по всем пальцам осязание тех солдатских рукавиц, которые когда-то девочкой она шила в своем затемненном доме, было для нее никогда еще не испытанной, кажется, даже не подозреваемой, но тем не менее собственной жизнью, может быть, наиболее явной среди всех тех жизней, сквозь которые она успела к этому времени пройти...

Так подсказывало ей ее состояние, а этим состоянием была она вся.

Ирина Викторовна еще крепче сжала в руке руку своего спутника и доверила ему этот случай своей жизни.

Так же неподвижно, как стояли здесь двое часовых в форме армии Германской Демократической Республики, они постояли около изгороди из колючей проволоки, а потом рука ее спутника пошевелила ее руку.

Они прошли мимо проволоки, они приблизились к поросшему сорной травой холму, возвышавшемуся — Ирина Викторовна это знала — над бункером, в котором закончил свою страшную жизнь Адольф Гитлер. И тут ее спутник развернул свиток и положил его на холм. Надпись на свитке была:

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Ирина Викторовна пришла в ужас:

— Это кощунственно!— воскликнула она.

— Молчи!— ответил ей ее спутник, и тут же раздался страшный грохот... Из глубины холма, сквозь сорную траву, вырвался столб дыма с белыми космами, взметнувшись, дым почти тут же стал падать, сгибаться,

потом появился совершенно черный огонь, он распространял жар и запах тлена.

А когда и этот огонь погас, а дым рассеялся, спутник Ирины Викторовны сказал ей:

— Смотри!

Она посмотрела: на откосе, на покрытой копотью траве, лежал закопченный свиток...

МОГИЛА ИЗВЕСТНОГО НЕСОЛДАТА

была надпись на нем...

Конечно, все это произошло только с ней и только для нее одной и рассказывать кому-то обо всем, что с ней одной произошло, было ни к чему, было бы бестактным и, пожалуй, безнадежным делом.

В воскресенье после обеда Ирина Викторовна отправилась к Нюрку. Выбирать не приходилось, это был единственно возможный вариант — кто бы это, кроме Нюрка, оказался способным выслушать столь необычную и, по крайней мере на первый взгляд, несерьезную историю? Выслушать и не усомниться?

В последнее время Нюрок была нервной, то есть сдержанной, малоразговорчивой и очень исполнительной на работе: что бы ни сказала Ирина Викторовна, она все исполняла быстро и точно. Как раз в этом и проявлялась у Нюрка ее нервозность; когда она чувствовала себя хорошо и свободно, она много и не очень остроумно шутила и трепалась, работала с ленцой, зато по поводу почти каждого задания у нее возникали свои соображения — как лучше и быстрее сделать, как совместить два задания в одно. Нюрок и сама говорила, что единственным стимулом ее рабочей инициативы является лень: долго и неохота делать так, как тебе сказано, вот и выдумываешь — а нельзя ли сделать побыстрее?

Нынешняя затянувшаяся исполнительность Нюрка не очень смущала Ирину Викторовну — что ж, что Нюрок нервничала? Вполне вероятно, что и она тоже давно испытывает потребность поговорить без регламента на какую-нибудь закрытую тему.

Итак, в воскресенье Ирина Викторовна была у Нюрка и вот что, для начала, выслушала от нее:

— Ты, Иришка, такая образованная, такая умница,— вечно не в своем уме! Как ты заведуешь мной, как

ладишь с начальством, как осваиваешь новую счетную машину — ничего этого я понять не могу и никогда не пойму! Точно! Знаю только, что ты все это делаешь, и, не дай бог, делать не будешь, а больше не знаю ничего! Так что же ты решила насчет своего Курильского, ну? Говори!

— Насчет моего Курильского?— пожала плечами Ирина Викторовна.— Я? Да ничего я не решаю, все предоставлено решать ему. И не о нем у нас с тобой должен быть разговор. Совсем не о нем!

— Так о чем же вы говорили? Когда ты объясняла Курильскому ситуацию?

— Я ничего ему не объясняла.

— Ну, а что объяснял он тебе?

— Ничего. Ведь мы же решили ничего не решать. Пока. Время покажет что-нибудь.

— Более чем странно,— развела ручки в стороны Нюрок.— Гораздо более! Да что вы — чурбаны, чтобы без объяснений? Ты вот что, Иришка, ты по-человечески должна сказать Курильскому: надо набраться терпения, подождать, пока у обоих перегорит до окончательного конца, а это произойдет тогда, когда вмешается кто-то третий.

— Третий? Вот уж не обязательно! Тем более не обязательно об этом друг с другом говорить.

— Да кто же это уходит от мужа ни к кому, а просто так: «Будь здоров!»? Кто же оставляет мужа никому, а тоже просто так? Нет, без третьего у вас ничего не выйдет, и вы об этом прямо и недвусмысленно должны сказать друг другу!

— Не пойму: зачем нам с тобой об этом говорить? Тем более если третьего — нет? Что-то не так: ты сегодня не понимаешь меня, я — тебя!

— Не беспокойся, третий найдется — свято место не бывает пусто!— очень-очень горячилась Нюрок.— Пустое место пахнет медом, а все третьи, словно пчелы, прилетят на мед. На обе стороны прилетят, к мужчине — потому что мужчины податливее, они всегда в этих случаях оказываются более молодыми и более способными. К женщине это тоже придет, разве только чуть позже.

— То есть — ко мне?— уточнила Ирина Викторовна.

— Дуреха! — подтвердила Нюрок. — Лиха беда начало! У француза Ларошфуко сказано, что женщине проще не изменять ни разу, чем один-единственный раз.

— Да? Прямо так и сказано? Нахал он, твой француз.

— Умница и знал свое дело. Не в пример тебе.

— Бог с ним, с твоим знатоком, — вздохнула Ирина Викторовна. — О чем это мы говорим?

— Да! — ответила Нюрок. — Да, я беру свои слова обратно: когда-то я говорила, что ты одна такая на десять тысяч женщин. Так вот: не на десять, а на сто тысяч. Это что же получается? Одна тысячная процента, вот что! Теоретически!

— В теории вероятностей я смыслю немножко.

— Немножко — это ничто, это меньше, а главное, хуже ноля! Второй раз и убедительно на том же самом месте объясняю тебе: Мансуровой Ирине Викторовне — дико везет! Ее муж не раскапывал историю — историю своей жены, жена Никандрова не приходила жаловаться на своего мужа ни в местком, ни в партбюро, и весь роман остался событием для очень узкого круга — это ли не везение?! Да, иметь одну только тетушку Марину с ее пристанищем, вдали от собственного жилища и от службы, — ты понимаешь ли, что это такое? А твой опять-таки муж? Он заслуженный ангел республики, он ни разу не заехал тебе в ухо, не вынудил тебя выцарапать ему ни одного глаза, а все происходит так, что ты ему ничем не обязана, он тебе ничем не обязан, он найдет кого-нибудь — его дело, ты найдешь — твое дело, оба вы найдете — ваше дело. А Никандров? Да кто бы это другой из-за одного-единственного, оставшегося негласным романа взял да и уехал к черту на кулички и на целый год? Ты думаешь, это ему малина, да? Кто бы это взял на себя, разрубил узел самостоятельно, как взрослый человек, не замешав ни словом, ни упреком женщину? Знаешь ли, что бы случилось, если бы женщины узнали, что романы кончаются вот так, как кончился у тебя?

— Нет. Не знаю.

— И правильно: этого и представить себе нельзя! Я вот это знаю и очень сожалею, что знаю. Очень!.. Ну вот, я все сказала. Кажется, ничего не забыла, — глубоко вздохнула Нюрок — мальчишеский чубчик на лбу, открытый сарафанчик, темные, матово-загорелые плечики, не женщина — объедение! Восторг! Но только

восторг с грустинкой... И правда, зачем это Нюрок так много знает? Зачем уверена в своих знаниях? Такая уверенность и есть грусть этого восторга...

— Да,— согласилась Ирина Викторовна,— мне тоже кажется, что ты сказала все. Все, что хотела сказать! Ты — высказалась, а я до сих пор — нет!

Они замолчали, Ирина Викторовна еще любовалась Нюрком, грустила по поводу ее грусти и все еще ждала мгновения, чтобы начать высказываться по поводу Унтер-ден-Линден, а Нюрок переживала свою зависть. Потом Нюрок спросила:

— У тебя Иришка, глаза светятся... О лирике думаешь?

— Может быть...

— Об огоньках? Которые в нас только мерцают, а разгораются не в нас, а в ком-то другом? Даже — в какой-то другой вечности, да?— Нюрок придвинулась к Ирине Викторовне, легонько погладила ее:— Вот так — не горят и не потухают, да?

— Ты вот что, Нюрок, ты об этих самых огоньках почитай у армянской поэтессы Маро Маркарян. Она — умеет!

— Почитаю... Если советуешь — почитаю. Я ведь не глупо тебе завидую, Иришка. Только — не на том уровне.

— Как понять?

— Видишь ли, когда имеешь дело с тобой, нельзя забывать, что ты — явление временное, редкая химическая реакция... Не плохая, не хорошая — редкая. Которую и обозначить-то нельзя. Нет таких обозначений.

Ирина Викторовна не любила, если в ее присутствии ей выдавались общие и положительные характеристики: «Ах, какой вы человек!», «Вы человек такой-то». На это бывают горазды неумные мужчины: двух-трехдневное сидение за общим столом в санатории или на каком-нибудь симпозиуме — и вот тебе характеристика, развернутая по всем статьям.

А что?! Принять похвалу за какое-то стоящее дело, за поступок, за фасон платья или прически, даже за фигуру в целом, в этом, если разобраться, Ирина Викторовна нуждалась, конечно, при условии, что соблюдается тактичность и хотя бы небольшая, а все-таки оригинальность. Она вот знала рецепт экзотического пирога с солеными огурцами, и один раз гости качали ее за такой пирог, и это было очень приятно, а вот характе-

ристики общего плана повергали ее в растерянность и в подозрение: человек-то, хвалитель-то, кажется, глуп?

Кому это можно было, кому Ирина Викторовна верила и в этом — так Нюрку, потому что Нюрок пользовалась своей привилегией либо в шутливом, либо в очень серьезном тоне и по делу.

Вот так — по делу — Нюрок высказалась и сейчас, наконец-то без ругани, без ссылок на то, что ее приятельница дура, или дуреха, или не в своем уме.

Ну, конечно, чего там скрывать — случай на Унтер-ден-Линден — это почти что детское состояние.

Детство прошло, и если уж разность 45 — n приближается нынче к нулю, значит, оно прошло в незапамятные времена, но теперь так сложились обстоятельства, такими серьезными они стали, что без величия принципов детской жизни, прежде всего без девочкиных принципов, обойтись уже никак нельзя! Без этого, как известно, не обходилось ни одно крупное открытие и там это не вызывало сомнений, и очень жаль, что несомненный принцип мы не умеем применять к жизни повседневной, поэтому она и полна сомнений.

Дети — наше будущее, значит, и детские принципы — тоже, и вот стремление к будущему для взрослой Ирины Викторовны было всегда стремлением к своему детству и к своей юности.

Нынешняя Ирина Викторовна ужасно любила ту юную Ирочку, у которой был минимум требований к миру, и потому она сама легко вписывалась в мир, он был хорошим для нее, а она была также хороша для него.

Ее детство и девичество были испытанием — они проходили сквозь военное время и совершали это со всей серьезностью, но испытание еще больше уверило Ирочку в ее единении с миром. Как было бы хорошо возвратить себе сегодня хотя бы небольшую часть утерянного богатства! А все, что было с нею и с ее спутником на Унтер-ден-Линден,— было ведь не чем иным, как такой попыткой!

Помолчали еще. Ирина Викторовна приготовилась к своему повествованию.

И вдруг Нюрок, тряхнув головой, сказала:

— Вот так!

— Как?— вздрогнула Ирина Викторовна.— Что это такое ты говоришь?

— Так и говорю: не будь Ирочка редкой реакцией, нельзя было бы простить ей блажь! А может быть, и сейчас тоже нельзя, и только кажется, что можно?

— Что за блажь? О чем ты? Уж не о любви ли?

— За кого ты меня считаешь?— возмутилась Нюрок.— Это болезнь святая, судить ее нельзя! Простудилась женщина и заболела, так не все ли равно теперь, почему простудилась — по глупости, по добросердечию или в подражание другим?! Факт есть факт — простудилась! И ты меня не обижай, Иришка, откуда эти грязные подозрения?

— Ладно. Я тебя не подозреваю. Как есть ни в чем. А ты меня? В какой блажи — меня? Разве я дала тебе повод, тем более — сегодня? Сейчас?

— Это потому, что я тебя сдерживаю. Как мощная плотина... Тебе волю — и ты не остановишься!..

«Что за Нюрок нынче? Какой?— напряженно стала думать Ирина Викторовна.— Что-то с ней случилось... В самом деле, уж не случилось ли с ней чего-нибудь — вот она и глупит?! И сердится. И нервничает. И...»

— А мы — Аркадия проводили... Старшина там был такой, на перроне, грозился Аркашку остричь,— сказала Ирина Викторовна, а Нюрок и тут взбеленилась:

— Аркашка этого старшину острижет первый! Поверь мне!

— Дальше? Что еще сделает Аркашка — безалаберный человек?

— А еще он тебя уже остриг. И отца. И у многих такая же судьба — быть остриженными Аркашкой! Точно!

— А ты — могучее существо, Нюрок!— вздохнула Ирина Викторовна.— Не боишься, что когда-нибудь тебе придется взглянуть человеку в глаза, а этот человек и в самом деле будет несчастным, ничего не умеющим, неприспособленным! Разве что будет дуть в саксофон. Не боишься?

— Нет!— сказала Нюрок.— Нет, не боюсь! Сегодня он, милая моя, дует куда-нибудь, ну, хотя бы и в саксофон, а завтра будет подавать такие зычные команды, что все только ушами захлопают. Сегодня он дует, а завтра займет кресло, о котором мы с тобой и не слыхивали! Бог ты мой, неужели ты не видишь, что он давно умеет делать так, чтобы за него все делали — и задачки реша-

ли, и школу кончали, и устраивали в те оркестры, в которых он желает подвизаться? Под свою безалаберность он всегда кого-нибудь эксплуатирует — мать, отца, каких-то там приятелей, а прежде всего приятельниц!

Час от часу было не легче. Ирина Викторовна спросила:

— Значит, ты меня окунаешь, милая? В действительность?

— Что же мне остается делать, Иришка? Что еще?

— Отложить до другого раза. Ты же ведь знала, что сегодня этого делать нельзя. Нельзя было меня окунать. Знала?

— Потому и окунула, что знала.

— Почему так?

— А ты пустилась бы в какие-нибудь фантазии. Ты что — хочешь сказать, что пришла ко мне безо всяких фантазий? Не поверю...

И Нюрок — женщина-восторг — закинула руки за голову, закрыла глаза, покачалась молча, а потом сказала:

— Знаешь, нам иногда до крайности необходимо вить друг из друга веревки.

— Необходимо... а почему?

— Наверное, потому, что мы не можем обойтись без того, чтобы не вить веревок из самих себя. Ну, а если так, наступает момент, когда приобретенные навыки обязательно нужно на ком-то испробовать.

— Уже логично.

— Еще бы не логично!— всхлипнула Нюрок.— Еще бы! Скажу тебе по секрету, Иришка: иди-ка ты домой. Ну, еще куда-нибудь! Я тебя то и дело выпроваживаю, значит, такой период! Значит, сегодня мы с тобой слишком разные женщины!

Уже в прихожей Ирина Викторовна вспомнила, что не видела Светланки.

— А Светлячок?— спросила она тихо и только между прочим, между другими какими-то мыслями.— Дома нет? Гуляет?

— Дома нет. Гуляет!— подтвердила Нюрок.

«Так вот,— говорила себе Ирина Викторовна, спускаясь из гостей в лифте с тринадцатого этажа жилой башни,— так вот, Нюрок пережила первые тревоги за Светланку-женщину... Ей давно надо было бы их пережить, даже раньше, чем мне за моего Аркашку. Аркашка — мужчина, ему действительно все на свете про-

ще и даже — трын-трава. Конечно, Светланочка еще мала, еще ничего такого с ней случиться не может, но, как подумаешь, что с ней может случиться в недалеком будущем?! Такая девочка, добрая, а главное — такая доверчивая... Ужас! И живет-то ведь — на тринадцатом этаже!»

Ирина Викторовна вспомнила, что как-то так случилось, что уже давно-давно она не гладила Светланку, не осязала ее. «Это подтверждает,— подумала Ирина Викторовна,— что действительно Нюрок стала иначе относиться к дочери, ну, скажем, она стала опасаться таких балбесов, которые называются «смерть девкам», таких, как Аркашка хотя бы. А эти материнские чувства Нюрка́ оттеснили меня от девочки, и вот уже я не могу осязать ее, как бывало прежде... Осязание — это чувство, которое должно быть только твоим, его нельзя разделить даже с тем, кто имеет на это несомненно большие права».

Ах, напрасно она подумала об осязании, совсем напрасно, потому что тут же, в тот же миг она вспомнила Никандрова. Несмотря на ее ненависть к нему, он все равно ведь продолжал оставаться для нее недосказанным, недоосознанным и недоосязенным, и вот это последнее ощущение прямо-таки сковало Ирину Викторовну... Ей пришлось завернуть за угол башни, в которой на тринадцатом этаже жила Нюрок, остановиться и переждать странную сковывающую боль в руках, боль в пальцах, боль везде. «Ну́ это уже не я виновата,— подумала Ирина Викторовна,— сегодня в этом виновата Нюрок!» И оттого, что ею была обнаружена причина боли, боль стала отступать, и это позволило ей вернуться мыслями к Нюрку, к несостоявшемуся разговору с нею — это был выход из положения. «Ну, конечно,— стала думать она снова,— я сколько раз бывала у Нюрка, а зачем? Чтобы на бегу поплакаться в жилетку. А когда мне бывало хорошо,— а ведь это правда, что мне бывало хорошо,— так я о ней и совсем забывала. А у Нюрка и без меня на жилетке, должно быть, нет сухого места, вот и правильно, что она в конце концов решила свить из приятельницы веревочку! Это я, а не она эгоистка! И неужели все это правда, что Нюрок сказала об Аркашке? Час от часу не легче! Как это она однажды сказала мне? «Дура! Отдала бы мне ключи от квартиры тетушки Марины! Уж я бы сумела воспользоваться ими!» Вот как сказала мне однажды Нюрок...»

В троллейбусе Ирина Викторовна села у окна. А в троллейбусе у окна ей всегда встречались либо очень хорошие, либо очень трудные мысли и даже — откровения. Надо было бы ехать стоя, но она все равно села, было много свободных мест. «Ничего,— подумала она,— уж лучше мысли, чем снова боль в пальцах и везде...»

«А что?!— думала она дальше.— А что, если жизнь будет обращать внимание на жалобы и претензии каждой козявки? Ей тогда окажется недосуг заниматься своим главным делом и призванием — бесконечным производством самое себя...»

Ирина Викторовна стала очень чувствительной к любому проявлению женщины, будь то улитка-мама, тигрица, зайчиха или скворчиха. «От возраста,— думала она.— И от опыта. И от того, что женщина. Вот у мужчин, вероятно, меньше общности и единения пола, поскольку они не рожают и совсем по-другому переживают любовь. И — последствия любви».

По вечерней, почти что уже зимней улице, кое-где присыпанной песком, обледенелой и с лужами, с низким туманом над головами прохожих, троллейбус шел медленно, и потому еще какая-то, наверное, уже последняя, мысль, которая должна была прийти к Ирине Викторовне, тоже не торопилась прийти.

А для чего ей были ее мысли? Зачем? Раньше ей надо было сберечь их до ближайшей встречи в квартире тетушки Марины, на худой конец — до встречи с Нюрком, а теперь? И уже перед самым домом, пересев в другой троллейбус и снова к окну, Ирина Викторовна произнесла следующий монолог:

«Вот что, милый мой Рыцарь! Видит бог, я хотела сказать Нюрку о твоем существовании! (Может быть, все-таки о «Вашем» существовании?) Ничего из этого намерения не получилось, поверь мне! (Тут она окончательно решила перейти на «ты»). Мне некому рассказать о тебе! Анюте Глеб? Анюта поймет, но только в принципе. А кому нужны принципы без частностей и деталей? Не к Валерии же Поспитович мне обращаться? И значит, так: на всю жизнь мы остаемся с тобой только вдвоем, мой первый и последний Рыцарь!»

Глава четырнадцатая

«ЮАВ»

Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы Рыцарь тоже был включен в какой-то мужской круг — вот уж кто был свободен от кругов, от любых геометрических фигур, от рыцарских и прочих орденов! Он был сам по себе, настолько сам, что и Строковский никогда не разгадал бы его, не определил бы, что Рыцарю надо делать в коллективе, чем заняться сегодня, завтра, послезавтра...

Откуда Строковскому было догадаться, что Рыцарь принял решение повторить опыт Робинзона Крузо? С той, конечно, разницей, что он отправился на необитаемый остров не один, а с Ириной Викторовной Мансуровой, заведующей отделом информации и библиографии подчиненного Строковскому института.

У них была полная возможность респектабельного уединения — в четырех-пятикомнатном домике со всеми удобствами, с запасами пром- и продтоваров, с библиотекой, радио и телевизором, с магнитофоном, но ничего этого им не нужно было, по той простой причине, что они почти ничего не замечали вокруг себя — были бы стены, тепло и сухой воздух, поскольку Ирина Викторовна имела склонность к ангинам, вот они и поселились в большой, просторной, светлой и сухой пещере. Для них особенно важной была духовная пища, а также все, что было их отношением друг к другу. Именно на эту тему они вели дневники. Обычно один из них подавал какую-нибудь мысль, они ее обсуждали вслух, потом замолкали, думая каждый сам по себе, и только после этого принимались за дневники.

Содержание и обстановка несколько иные, а методика как у Льва Толстого,— тот за утренним, а чаще за вечерним чаем тоже подхватывал чью-нибудь фразу, обдумывал ее, потом записывал, потом, записанную, снова прочитывал за столом, в кругу все тех же близких ему людей.

И почти так же, как Толстой, они приходили к серьезным выводам.

В супружеской жизни, решили они, всегда и для всех необходимо твердо оговорить по меньшей мере один день в год, ну, предположим, следующий за днем рождения мужа или жены или последнее воскресенье

мая месяца, когда супруги должны высказываться друг перед другом по всем вопросам и проблемам своих отношений — моральных, семейных, деловых, всех, какие только возникают между ними.

А что?!

Как будет называться этот день — «Днем рождения-бис», «Днем выяснения» или «Днем работников коммунального хозяйства»,— не столь существенно. Важно, чтобы он был, чтобы ни тот, ни другой из супругов не забывал, что он есть и будет.

А без этого происходит вот что: детали и подробности жизни в течение двух, трех и более лет беспрепятственно вырастают в принципы, а эти последние — в разногласия. При этом существо дела остается прежним, так как принципы — это не что иное, как бывшие мелочи.

Вообще Ирине Викторовне казалось, что если бы эти дневники попали в чьи-то умные и порядочные руки, они могли бы принести немалую пользу человечеству.

А что?! Ведь был же в ее жизни период, когда она знала о любви все! Только посмотрит на какую-нибудь парочку в сквере, и все ясно — далеко ли зашло дело, на какой оно стадии, а если кто-нибудь обманывает, тоже ясно — кто и кого: он — ее, она — его, он и она друг друга. Для этого последнего случая русский язык даже предусмотрел иронию: «друг друга». Ничего себе — хороши «друзья»!

Тем более она могла верить в себя, в свои силы и в свою проницательность теперь, когда свой опыт она обсуждала с Рыцарем.

В Краткой литературной энциклопедии она прочла о том, что Робинзон Крузо — это «воплощение буржуазного индивида, порвавшего все старые «естественные связи», выделившегося как личность из прежних форм человеческого коллектива». Так, по крайней мере, написал в энциклопедии автор статьи о Даниеле Дефо, товарищ Ю. И. Кагарлицкий, судя по всему, литературовед, а закончил ее довольно неутешительным выводом: «После острова герой возвращается к буржуазному образу жизни...»

Почему-то Ирину Викторовну не совсем устроили эти научные данные, она разыскала «Путешествие вокруг света», изданное в 1837 году под руководством Дюмон-Дюрвиля, капитана французского Королевского

Флота, и в этом капитальном труде прочла кое-что о матросе Селкирке, прототипе Робинзона Крузо.

На острове Жуан-Фернандес, что в ста десяти милях от побережья Южной Америки, Селкирк прожил четыре года в одиночестве, одичал и научился бегать так быстро, что ему ничего не стоило догнать дикого козла, а для развлечения он выучил кошек и козлят и играл с ними. Когда капитан Роджерс взял его на корабль свой,— сообщал далее тот же источник,— он так отвык говорить, что сперва произносил только почти невнятные звуки, отказался от предлагаемой ему водки и несколько недель не мог отведать на корабле мяса, приготовленного по-европейски.

Как видно, это были не такие близкие люди: матрос Селкирк — Ирина Мансурова, но здесь не был виноват ни тот, ни другая, а скорее всего — Даниель Дефо, потому что он, вопреки правде жизни, поведал миру о мужчине на необитаемом острове, но сделал это в изложении для детей дошкольного возраста, настолько дошкольного, что за все время своего одиночества этот мужчина ни разу не вспомнил ни об одной женщине, кроме разве своей мамы. Поэтому становится особенно непонятным, что имеет в виду литературовед Ю. И. Кагарлицкий, утверждая, будто Робинзон — личность, выделившаяся «из прежних форм человеческого коллектива»?

Личность? Коллектив? Человеческий? И не имеет никакого отношения к женщинам?! Даже в мыслях! Очень странная личность, очень странный, если не сказать более, коллектив! Можно себе представить, сколько и чего не передумает о женщинах мужчина, многие годы обладая полной свободой, но — в одиночестве!

Само собой разумеется, что Ирина Викторовна и ее Рыцарь поселились на острове Жуан-Фернандес вовсе не для того, чтобы изобличить в отступлениях от правды жизни Даниеля Дефо, тем более — литературоведа Ю. И. Кагарлицкого, они только воспользовались более или менее сходной ситуацией.

И поскольку воспользовались, могли с полной уверенностью утверждать, что если бы даже они оказались на необитаемом острове в самом нежном возрасте и выросли бы там, совершенно ничего не зная ни о мужчинах, ни о женщинах,— они все равно догадались бы, кто из них кто и что из этого следует.

Потому что это — жизнь, ее миллиардолетний опыт, опыт самых первых клеток и генов, а скрыть жизнь от жизни невозможно, даже в том случае, если нет ни радио, ни телефона, ни печатных изданий, ни высших учебных заведений, ни детсадов.

Они убедились, что парное существование когда-то являлось высшей последовательностью и тоже высшей логикой, согласуясь с движениями Луны и Солнца, с временами года, с наличием питательной и воздушной среды, с возрастом самой пары.

Вот о чем они писали для человечества в свои дневники, а для того чтобы это написать, Ирине Викторовне до́лжно было быть женщиной, а ее Рыцарю — мужчиной.

Они ими были.

Они ими были прежде всего потому, что нашли благородный ключ к своему существованию на острове Жуан-Фернандес.

Довольно часто Ирина Викторовна наблюдала супружеские пары, вступившие в борьбу с разладом, который их уже постиг либо только угрожал им, а тогда эти пары прибегали к такому средству, как ирония и насмешка, часто — грубая насмешка: «Посмотрите, пожалуйста, за моим родным донжуаном, а я пойду выкупаюсь в море!», «Ах, какой хам! Это еще что — то ли бывает! Очень сердитый Собакевич!», «Милая! Я тебе много раз говорил: не будь дрянью, это неприлично!».

Все это вызывало у Ирины Викторовны недоумение, даже резкую неприязнь, прежде всего потому, что выдавало разлад, потому что уже само сокрытие разлада почти невозможно осуществить тактично, и вот оно никогда не могло найти золотой середины самого себя, это сокрытие.

А Ирина Викторовна и ее Рыцарь искали и нашли принципиально другой путь и другой ключ: из отношений между собой они исключали любой прием, будь то грубоватость, сентиментальность, ирония или даже юмор, их отношения должны были быть и были вне приемов, а только такие, какие они есть сами по себе. Согласованность отношения к миру — вот что и стало их отношением друг к другу,— ведь как человек относится ко всему окружающему, таков он и есть сам!

Вот им и легко было усмехнуться по поводу литературоведения, и поселиться на острове Жуан-Фернандес — тоже нетрудно, и проследить за существованием

пар, начиная от одноклеточного состояния,— тоже возможно. В общем-то, они сделали попытку гармонически и толково соединить науку с искусством — наука открывает факт, не имея к нему своего собственного отношения, искусство открывает отношение к факту, но не сам факт...

Таким образом все, что привлекало их внимание, интерес и чувства, что привлекало их интеллект — то и становилось их отношением друг к другу, и они одновременно или каждый порознь могли поставить себя на место какого угодно человека — современного или доисторического, раба или императора, все равно.

А что?! Ирину Викторовну когда-то заинтересовала царевна Софья — очень интересная особа, которая начала править на Руси в возрасте восемнадцати лет, утвердила свой порядок при дворе и, наперекор всему и всем, открыто завела себе любовника — умного и красивого князя Голицына... Братец Петр, будущий Великий, жестоко разделался с сестрицей, но, кто знает,— восемнадцатилетняя девочка, сидя на царском троне, тоже ведь имела удивительные замыслы. Кто знает, кто знает... А вдруг петровские начинания да были бы осуществлены женской рукой?

Вообще человеку неумно и нерасчетливо оставаться в рамках самого себя после того, как природа наградила его способностью перевоплощения, вот Ирина Викторовна и рискнула... В свое время... Рискнула Большой Любовью.

Было явное фиаско.

Ну и что? Зато Ирина Викторовна убедилась, что ни в Софьи, ни вообще в какие-либо царицы она не годилась, не ладилось у нее дело ни с сидением на троне, ни с расправами и казнями, которые хочешь — не хочешь, а надо было чинить... И с придворными любовниками тоже не ладилось: ночью он любовник, а поутру уже стоит у твоих ног коленопреклоненный, тянется к трону, целует у тебя пальчик... Нет, что-то не то!

А вот что Ирину Викторовну истинно обрадовало: она ведь вполне годилась в бабы, годилась к жизни в курной избе, к тому, чтобы ходить по воду и полоскаться на речке, обихаживать разную скотину и птицу, прясть, печь хлебы, чутко спать на печи. И все это — на жилплощади 4×6 аршин, которую в современном понимании нельзя было назвать полезной,

а только вспомогательной, поскольку все это была одна-единственная кухня.

В такой ситуации ее Рыцарь иногда и поколачивал ее, но это нисколько не мешало ей трепетно ждать его на печи, когда он в метель запаздывал из ближнего леса или из дальнего извоза. Свидетельством такого ожидания были дети — множество погодков, которые не обременяли ее, потому что они разумелись сами собой, их появление не было ни проблемой, ни тем более трагедией, и если это и ставило кого-нибудь в тупик, так только ее современную: куда же это смотрела она по меньшей мере двадцать лет? Подумаешь — безалаберный Аркашка? Да еще всякие специальные меры — вот и все!

А что же в этом виноватого? В этом безобразии?

Ирина Викторовна думала-думала и надумала: образование виновато, больше некому! Не будь образования — вот и было бы человек десять сынков и дочек, а тогда — разве тебе явилось бы дело до НИИ-9 с его отделом информации и библиографии? Тут и до̀ Никандрова никогда не возникло бы никакого дела, и до собственного мужика, даже если бы он все равно оказался Мансуровым-Курильским,— некогда было бы разбираться, Мансуров он или не Мансуров, из того он круга или из другого?!

Жаль: вот какие были в свое время упущены возможности!

Но нисколько не жаль было, что она заглянула в ту несостоявшуюся бабью жизнь — надо было заглянуть, обязательно! Надо было почувствовать себя произошедшей не откуда-то и не из ничего, а из такой вот 4×6 аршин избы, из такого вот уклада и нрава. Это ведь тоже появилось не сейчас, а давно — это желание. Ирина Викторовна хорошо помнила, когда и как появилось...

Она ехала однажды шоссейной дорогой в автобусе, а на обочине, не обращая ни на что внимания, с зажмуренными глазами стояла густо-бурая корова с огромным и желтым выменем, а под коровой, обхватив блестящее ведро коленями,— крупными, круглыми и с загорелой, тоже буроватой кожей, сидела женщина и доила корову. Собственно, женщины и не было видно — одни только колени и ее крупные руки на коровьих сосках и голубоватые, словно платиновые, стержни молочных струй, которые она держала в руках.

«Икарус» промчался, корова не повернула к нему головы, как стояла с зажмуренными глазами, так и продолжала стоять, платиновые струи не прервались ни на миг, а Ирина Викторовна пережила такое чувство, будто «Икарус» уносит ее не из одного курортного местечка в другое, а от одной известной и понятной жизни в другую, неизвестную и непонятную. Она и хотела бы никуда не уноситься, но не может, а не может потому, что не способна сесть около коровы, обхватить коленями ведро и выжать из коровьих сосков молочные струи. Под страхом смерти — не сможет! Вот она останется в открытом поле с Аркашкой, а больше — нигде никого, и вдруг они встретят бурую корову, а она не сумеет напоить молоком ни себя — о себе и речи нет,— не сумеет напоить Аркашку! Будет утешать его рассказами из истории какого-нибудь технического изобретения, и это после того, как собственным молоком она Аркашку вскормила!

Это — комплекс неполноценности, тошнит, если вот так отчетливо представить себе всю меру своей неспособности и весь тот регресс, которому ты подвергаешь себя ради прогресса, ради того, чтобы быть завотделом и жить в условиях цивилизации!

И не сейчас, а уже давно Ирина Викторовна считала себя отчасти тунеядкой, и своих знакомых тоже — особенно если сами себя они таковыми не считали, не желали за собою никакого тунеядства признать. Она-то признавала, и ей казалось, что за это своевременное и чистосердечное признание при каком-то окончательном расчете, неизвестно только — при каком, ей должна выйти хоть некоторая поблажка.

Она считала и даже ощущала труд по добыванию человеческой пищи святым трудом, изначальнее и святее не было ничего, потому что именно он поделил мир на живой и неживой, и если сама она была живой,— так прежде всего благодаря ему, этому труду.

Она не раз читала о том, что во всех странах неимоверно быстро уменьшается сельское и возрастает городское население, читала — и тайно злорадствовала... «Так и надо,— думала она,— в конце концов дело кончится тем, что люди науки, искусства и другие интеллектуалы должны будут создавать исключительно привилегированные условия для земледельцев, то есть оплачивать свое право изобретать, петь, танцевать, писать книги. Времена меняются — сначала земледельцы

гордились тем, что среди них существуют Ньютоны, Сен-Симоны и Шаляпины, потом Ньютоны, Сен-Симоны и Шаляпины будут гордиться тем, что среди них есть и земледельцы. А что?! Вот уже и сейчас заслуженному деятелю науки и техники не так-то просто договориться с водопроводчиком из домоуправления о замене крана в ванне!»

Так они думали вдвоем с Рыцарем — о том, о другом, обо всем, но иногда в их мысли все-таки проникал третий: Никандров. В этих случаях Рыцарь деликатно, тактично и чуть-чуть отступал в сторону, предоставляя ей право вспомнить Никандрова, однако вспомнить не всего, тем более — не во всем, а только некоторые его мысли. Вероятно, так же незаметно и тактично отступал бы и сам Никандров, если бы для нее когда-нибудь возникла необходимость вспомнить и рассказать в его присутствии о некоторых мыслях Мансурова-Курильского.

Так вот, в свое время Никандров гордился перед нею своим крестьянским происхождением, ну, если и не гордился, так любил утверждать сам себя в крестьянском чине, а для нее это было неожиданностью, ей казалось это чем-то новым, таким, чего она не встречала в других людях своего круга.

И вот что странно: подтолкни Никандров в том же направлении не только свою, но и ее мысль — и она, конечно, тоже увидела бы себя в курной избе, так, как видела теперь. Но он этого не сделал — эгоизм, что ли? Он не спросил ее — откуда она-то ведет свой счет, в чем чувствует свое прошлое? Может, ему действительно была нужна не столько их общность, сколько ее удивление им? Поэтому они и разминулись, и еще там, в курной избе, не узнали друг друга?

И хорошо, что Ирина Викторовна прошла через жесточайшую ненависть к Никандрову, ненависть — это способ защититься от страха за завтрашний день.

Завтра, завтра и завтра, ну, хорошо, а где же сегодня? Что это за пресмыкание перед завтра? Что — завтра солнце будет лучше, небо голубее?

Вот она, чтобы утвердить сегодня, поддержать его значение и достоинство, а в нем поддержать и себя самое, и решила в свое время, что должно «произойти все». Все произошло — явился Никандров. Явился и... толкнул ее в еще большую умозрительность и большие тревоги, чем те, от которых она хотела спастись. От нее ведь ни на минуту не отступали ее мысли, казалось,

весь мир сваливался на нее одну: «Обдумай меня, не то — задавлю!», а ей, конечно, это было не под силу, ей нужно было уйти от этого в нечто вещественное, разобраться, а по-честному, так ей была нужна такая любовь, чтобы о ней можно было не только думать, а и осязать ее — чтобы она была подлинной, о которой не стыдно ни писать, ни читать, ни вспоминать, ни рассказать, чтобы было не стыдно пережить ее снова и снова от начала до конца.

А когда Никандров предал — выбора у нее не стало, и она снова пошла по пути, на котором была до встречи с ним, пошла еще дальше в умозрительность, пошла до конца — клин вышибают клином. И — встретила Рыцаря.

А что?! Любовь всегда сколько-нибудь да выдумана, а кто скажет, где граница выдуманности? Это всегда за́мок из слоновой кости, так уж пусть он будет из слоновой, а не из ширпотребовских пластмассовых конструкций... Слоновая кость, слава богу, не обрабатывается конвейерным способом, и всякое изделие из нее — ручная индивидуальная работа.

И — вообще...

Почему-то, может быть, потому, что на Ирину Викторовну через газеты, по радио, с самого неба ежедневно сваливалась необъятная информация, или потому, что к средине двадцатого века вся земля в каждой своей песчаной и гумусной частице оказалась пропитанной человеческой историей, но только ее представления о жизни все время вклинивались между нею и ее реальной жизнью.

Без них ей было уже нельзя, без этих представлений, поздно было учиться обходиться без них хотя бы кое-как и кое-когда, и вот они следовали за нею всегда и всюду... Она, бывало, спешила на свидание, а они и тут были с нею, занимали ее, она должна была делить с ними свое волнение. Она погружалась в сумрак на жилплощади тетушки Марины, весь мир только и был там, в этом сумраке, она и Никандров, Никандров и она, больше ничего, а все равно эти представления не оставляли ее, по-прежнему хотели сделаться — и делались — ее личной, ее самой интимной жизнью.

Она побаивалась: как бы весь мир и вся ее жизнь не стали только этими представлениями, но и не хотела с ними расставаться — без них она была бы уже не она, а кто-то и что-то совсем другое.

Из-за этой боязни, должно быть, она и искала общения с натуральной женщиной Нюрком, с Анной Михайловной Бессоновой, иногда это общение было ей прямо-таки необходимо.

И все-таки она надеялась на свой здравый смысл, а точнее — на свой здравый женский смысл и, в общем-то, эта надежда была сильнее ее боязни.

К тому же, когда-то любя Никандрова, она привлекла к своей любви всю планету и ничуть не удивилась этому. Чему же ей было удивляться теперь, если она сохранила и упрочила за собой это завоевание? Не упрекать — радоваться надо! Надеяться!

Вот она и радовалась. Надеялась.

Она училась радоваться не только в принципе,— это легко и просто, этому можно научиться из газет и женских журналов, она радовалась и деталям, и прямо-таки микроскопическим подробностям совместного существования с Рыцарем...

Стоило ей заболеть, к примеру, как утром Рыцарь навещал ее и предлагал сбегать в аптеку, еще куда-нибудь. На рынок за самыми свежими фруктами... А она берегла его: вот когда ей действительно придется очень туго, тогда она и попросит его о помощи, а пока — не надо, пока она обойдется. Право, не надо!

Если же она примеривала новое платье, присматривалась к интересному материалу в магазине «Ткани», он тоже тактично участвовал в этом деле, однако же не прилипал к ней, помня, что дело это — женское.

Обед готовила, он тоже был не то чтобы у плиты, но где-то рядом. Подгорит у нее что-нибудь, он покачает головой: «Ай-ай, Ирина!» — а получатся щи здорово, он так и оценит, что это — здорово!

Он умел относиться ко всему на свете.

Что там говорить, есть мелочи, которые недоступны самым тонким словам, но это не мешает им существовать, всякое же существование требует и требует к себе отношения: справедливого, несправедливого, нежного, грубого, чуткого и нечуткого и даже — бесчувственного, но требует.

Ирина Викторовна об этом знала, знала, может быть, слишком хорошо и слишком давно — с девичьих, а то и с детских лет, и даже не встречала людей, которые знали бы об этом так же хорошо, как довелось знать ей... Вот почему Ирина Викторовна прямо-таки поразилась,

когда заметила, что ее Рыцарь обладает, кажется, даже более острым отношением и зрением, более тонким слухом к микромиру, чем она сама. Поразительно! Очень!

А может быть, и не очень...

Тот, кто отчетливо видит далекий морской горизонт, волны на горизонте, облака и небо, видит все это объемно, и не с одной точки, а откуда угодно — сверху, со стороны, из самой глубины этих волн, из самих облаков и с неба, тот видит и другое: как по влажному песчаному берегу, быстро-быстро перебирая странными ножками, небыстро двигаются чайки, а в песчаной амальгаме вслед за каждым шагом каждой чайки мелькают красно-оранжевые блики...

Нет, это не очень поразительно, тем более что Ирина Викторовна все еще была не так стара, не так полна и не так неженственна, чтобы, глядя на нее, не появлялось желание полюбоваться чем-то и вокруг нее — хотя бы чайками... Мужики в НИИ-9 пялили на нее глаза ничуть не меньше, чем два, три, пять, а может быть, даже и десять лет тому назад, и стоило бы ей дать малейший повод, как тот же Строковский очень и очень заинтересовался бы ею не только по служебной линии. Опыт, который она теперь имела, безошибочно подсказывал ей, что так оно и было.

Ну, а Рыцарь?

Кому-кому, а ему-то грех было не реагировать на нее! А затем уже и на весь остальной мир...

Конечно, объективности ради надо признать и другое: разность 45—n практически можно было считать равной нулю, в то время как Рыцарь оставался прежним, тем самым, которого она встретила когда-то в вагоне дальневосточного поезда, именовавшегося «экспрессом», но следовавшего без расписания, встретила да и простояла с ним у окна не то пять, не то шесть суток подряд,— до сих пор, как вспомнишь, сразу же начинают болеть, гудеть и прямо-таки стонать ноги...

Ну, тогда он был заметно старше ее, и это ее смутило. Не то на двенадцать, не то на пятнадцать лет, он говорил тот раз — на сколько, а ей и в голову не пришло запомнить, ей вообще показалось это слишком много. Принципиально много. Не подумала, что когда-нибудь она будет старше его.

Тогда не подумала, а теперь только и делала, что занималась своеобразными арифметическими выкладками, но, так или иначе, а нынче он оказался приблизительно настолько же лет младше ее, насколько был когда-то старше...

И несколько раз по утрам, одеваясь, Ирина Викторовна не со своей, а с его точки зрения оценивала все, все свои достоинства. Выходило — не очень идеально, не совсем... Но ведь что же это случится, если в действии будут одни только идеалы, а чуть что, чуть только перестанешь соответствовать идеальным стандартам и требованиям — как тебе уже ни в каком действии жизни нет хода?

Пусть жизнь потерпит, она ведь привыкла, и ничего особенного с ней не случится, если даже в самых высоких ее действиях и проявлениях будут участвовать не одни только высокие идеалы...

И — что такое идеал? На первый взгляд, Анюта Глеб нескладна и нелепа, а ведь она — красива, да еще как!

Ее Рыцарь еще больше был рыцарем оттого, что прощал ей некоторые несовершенства, так, что если бы она не имела недостатков, надо было бы их тотчас приобрести — ради него. Чтобы ему было что прощать, было к чему относиться по-рыцарски снисходительно!

Говорила же она ему вещи, которые требовали его уступок и снисходительности, например: «Знаешь, мой милый,— ни завтра, ни послезавтра мы с тобой не встретимся. Я не смогу».

А все это, всю свою жизнь, в которой Рыцарь занял такое место, она однажды назвала так: ЮАВ...

Все три буквы — прописные.

Южно-Американский Вариант... Хотя по современной орфографии и полагается по-другому: «южноамериканский», но эта новая орфография не устраивала Ирину Викторовну.

Ведь в дальневосточном поезде Рыцарь ехал не куда-нибудь, а в Южную Америку. И ее звал туда же. С собой. Как звал, как звал!

Теперь все, что происходило с ними и между ними, происходило не только в Южной Америке, как таковой, но и на острове Жуан-Фернандес, и в ее собственном доме, и в НИИ-9 — везде, но все равно везде и всюду это был он — ЮАВ!

Глава пятнадцатая

N=45

Вот сила была у этого варианта, так сила!

Когда Ирина Викторовна думала о себе, ей становилось удивительно: работа в НИИ-9, новая счетно-запоминающая установка, да чтение специальных журналов по вечерам, да собственный дом с тем же самым Мансуровым-Курильским, который теперь выдавал ежедневные задания-наряды почти прежнего объема Евгении Семеновне, ну, а что же ей-то оставалось, как не взять на себя исполнение? Не старухе же мотаться по городу из-за всяких мелочей — срочных, неотложных, совершенно обязательных?! И вот еще хватало времени для жизни по Южно-Американскому Варианту. Мало того, что хватало,— вся остальная жизнь как бы только подверстывалась к нему, была его частью!

А что? Уже год так было. Подумать только — год!

И откуда, и сколько сил у этих людей, которые — женщины? Особенно если что-нибудь взбредет им в голову?!

Не только силы, а еще и удовлетворение: имеется ЮАВ — Южно-Американский Вариант, ее собственный,— как это говорят?— без отца нажитый, и уж что-что, а это никто у нее не отнимет.

Некому. Да и чего ради?

А ведь Нюрок-то была права! Откуда только под мальчишеской челочкой такое безупречно точное соображение: между Ириной Викторовной и Мансуровым-Курильским не промелькнул никто третий, и поэтому, действительно, ничего не происходило — ни да, ни нет. Так вот и тянулось нечто, тем не менее называемое семейной жизнью.

Это нечто ухитрялось даже устроить обе стороны, не то чтобы примирить, а именно устроить, свести концы с концами их повседневных отношений.

Ирина Викторовна это понимала и могла это объяснить только так: у нее был ЮАВ.

А что было у Мансурова? Ничего?!

Кто его знает, очень может быть, что для этого человека ничего играло такую же роль, как для нее — Южно-Американский Вариант? Что оно было для него не ничего, а — Ничего?

В последние месяц-полтора в доме Мансуровых стало не то чтобы лучше, но мирно: ждали Аркадия. Он должен был приехать на неделю. Не то на побывку, не то в какую-то командировку, непонятно, но должен был.

И подобно тому, как год назад Мансуровы откладывали «серьезные» разговоры на время после отъезда Аркадия в армию, так и нынче они договорились не затевать ничего, пока Аркашку ждут на побывку, пока он дома, пока его не проводят на службу снова. Ну, а там — видно будет.

И договорились-то, кажется, безмолвно, однако же — твердо.

За истекший год корреспонденция от Аркадия составила четыре письма и четыре телеграммы. Письма были короткими, о том, что жив-здоров, что служба идет и что писать подробнее — некогда. Телеграммы — того короче: «Вышлите 35», «Вышлите 40», «Вышлите 50» и «Вышлите 60».

В соответствии с этими телеграммами Мансуров-Курильский в очередном задании-наряде давал Евгении Семеновне распоряжение: «Выслать!»

Ну, а чтобы не затруднять старушку — на почту ходила Ирина Викторовна и высылала: 35, 40, 50 и 60.

Кроме того, совершенно неожиданно было получено письмо за подписями начальника и политрука музыкальной команды военной части номер такой-то, в котором родителям ефрейтора Аркадия Мансурова от лица командования выражалась благодарность за хорошее воспитание сына в духе...

Ай да Аркашка!

Но вот чуть больше месяца тому назад пришла пятая по счету телеграмма: «Дорогие скоро приеду пробуду неделю вышлите 85 обнимаю целую ваш Аркадий».

Что значило «скоро», понять было нельзя, запрашивать — бесполезно, и Мансуровы поступили по своему усмотрению: безо всяких запросов стали ждать сына и внука со дня на день, с часа на час.

Евгения Семеновна охала и ахала, бегала за тортами, выспрашивала у окружающих, где продается языковая колбаса — Аркадий был до нее большой охотник, а колбас было в общедоступной торговой сети — любительская и зельц — выбирай что хочешь! Кроме того Евгения Семеновна много вздыхала и разок-другой всплакнула. Частенько теперь она стала на этот счет грешить. Еще год-два тому назад за ней не замечалось. Она вооб-

ще сильно сдала за последнее время, Евгения Семеновна, и даже не внешне,— по-прежнему была подвижной, даже суетливой, в меру своего возраста седенькая и в неизменных мужских очках с черной оправой, а вот по характеру — стала сентиментальной, любопытной и обрела еще большую страсть всем и все объяснять.

Ну, а Ирина Викторовна уже давно заметила, что события никогда не приходят одни — или они к чему-то приурочиваются, или что-то к ним, и здесь было так же: как раз пришелся и ее день рождения.

Такое появилось тождество: $n=45$.

От Ирины Викторовны зависело в этом немногое — придать событию то самое значение, которое ей хотелось придать.

Она так и сделала.

Поскольку у нее были дни отгула — и немало,— заранее сообщила на работу, что такого-то числа она по семейным обстоятельствам быть не сможет, дома же очень расстроенной этим обстоятельством Евгении Семеновне сказала, что свой день рождения будет отмечать на даче одной из своих приятельниц.

Утром встала пораньше и уехала электричкой за город.

День был осенний, ей всю жизнь везло на осень: и родиться пришлось осенью, и замуж выходить, и с Никандровым встретиться, и Аркашку родить — все-все осенью. Она любила осень, особенно раннюю.

Нынче день был осенним по-хорошему: тихий, с голубым небом, с прозрачными облаками, с почти уже безлиственными деревьями, с черными и бурыми пашнями, с черно-белыми коровами, бродившими на взгорке неподалеку от зеленоватой, почти непроточной речушки...

Тут, среди далеко видимого мира, и должна была сегодня быть Ирина Викторовна, быть одна, Рыцарь не обижался, что иногда ей хотелось быть настолько одной, что даже без него.

За сорок пять лет она ведь прижилась в этом мире так, что иногда мир казался ей родственным и даже — понятным, она ощущала, что где-то вот здесь, в огромной атмосфере, летают крохотные частицы, которые когда-то, может быть, лет сорок тому назад, побывали в ее груди... Она их вдохнула и выдохнула, а где после этого они еще побывали, как расщеплялись, в какие со-

единения входили — уже другое дело. Что бы с ними ни случалось потом, все равно это были ее частицы.

Была эта связь между нею и всем на свете потому, что все, что когда-нибудь касалось ее, тоже ведь становилось ею. Вот сейчас тихо в природе, безветренно, но она может ощутить на своем лице ветер. И дождь, и снег, и палящий зной. И воду рек, озер и морей, в которых она купалась когда-нибудь, и ощущение листвы, трав и цветов, которые держала когда-то в руках,— тоже знает, знает не только руками, а собою всей...

Вон далеко-далеко и высоко-высоко летит самолет — она и его знает осязанием, чувствует его холодный фюзеляж. Блеск металла и тот угадывает в своих пальцах, хотя никогда не прикасалась к самолетам, а только к трапам.

Птица летит... Какая, какой породы — Ирина Викторовна не знает, но все равно чувствует мягкость ее пуха на груди, твердость ее крыльев, тепло ее тела и всю ее устремленность туда, куда она летит.

Червяк выполз из земли на землю, и его она знает: он тоже самолетно-холоден, она знает его скользкость, растяжение и сжатие его тела...

То есть она знает огромное множество предметов этого мира — искусственных и естественных, но одинаково видимых и осязаемых, а другое множество даже и не выдает ей своего существования, вследствие своей малости или своей огромности, однако же она тоже знает и видит и молекулу, и весь сразу Великий или Тихий океан.

Потому что они существуют, а она — тоже, и одна только общность существования дает ей понятие о них. Знания — книги и лекции профессоров — ничто по сравнению с чувством всеобщего существования, и единственно, что знания могут,— привести это чувство в действие.

Значит, так оно и есть: все окружающее существует в ней, а она — в нем... Это проявилось наглядно в день ее сорокапятилетия, а то обстоятельство, что она женщина и ни на минуту не забывает об этом, еще и еще усугубляло то ощущение, по которому все вокруг нее было поразительно разным, но только ради того, чтобы быть чем-то одним — одним всеобщим существованием. Тем самым, которое — природа и жизнь, само существование и движение которого выше, чем смысл этого существования...

Есть такая восточная мудрость: «Собаки лают, а караван идет».

Интересно: почему лают собаки? Наверное, в по исках того смысла, ради которого движется караван! Оно им непонятно, это движение, вот они и лают.

Не надо лаять. Не надо быть посторонней собакой, ведь те собаки, которые идут вместе с караваном,— не лают на него, хотя они тоже не знают, куда идут и к чему придут.

Тем более не должны лаять женщины — им существование ближе, чем его смысл, они ведь не только существуют, но и сами создают существование...

Они — тот якорь и тормоз, который удерживает людей в их природном существовании, а без тормоза люди стали бы только техниками, изобретателями, художниками, философами, кем и чем угодно, какой-нибудь плазмой, например, но только не людьми как таковыми. Помимо женщин, мужчинам нужно очень немного: нужны знания, знания, знания, умения, умения, умения, а жизнь — не нужна иной раз — совсем ни к чему, лишь бы что-то знать и уметь.

Ведь то самое сознание, которое с такой запальчивостью и даже с яростью ищет смысл Существования,— не более, чем крохотная частица этого Существования. Почему же тогда частица все время стремится к подчинению себе и даже к порабощению Целого? Почему теряет чувство всякой меры?

И хорошо нынче ей было, хорошо, что все эти очень и не очень высокие материи ничуть не отрывали ее от самой себя, а, наоборот, ее к самой себе приближали. Чувственно и ощутимо приближали. За это она даже похвалила свой интеллект, а ведь бывало, что она его и поругивала, он ей надоедал, всюду напрашивался и лез туда, где ему делать нечего, все усложнял, все запутывал, все делал отвлеченным и на все подзуживал полаять. Нет, с одним только серым мозговым веществом далеко не уедешь!

О чем и о ком только она не думала сегодня?!

Об Аркашке: ей показалось, будто бы лишь вчера она отделила Аркашку от себя, что до вчерашнего дня они были чем-то одним; о Никандрове: тут она почувствовала, что приступ недоосязенности ею Никандрова, который охватил ее в последний раз за углом жилой башни, где была квартира Нюрка,— этот приступ может повториться сейчас, а это совсем-совсем ни к чему, и она

долго, молча и неподвижно смотрела в небо, чтобы движение какой-нибудь мышцы не повлекло к возобновлению приступа. Небо помогло ей.

О Светлых Головах НИИ-9 думала, о том, как они ей милы и близки, ну, хотя бы тем, что в ее собственной голове так же много всякого барахла, как и у них, только у них барахло касается техники, а у нее — бог знает чего: истории, психологии, специальной информации, каких-то вычитанных и реальных образов... Ах, поменьше бы, поменьше бы им всем вместе барахла, которое только по виду — модерн и достижение, а на самом деле — барахло, а побольше бы чего-нибудь главного! Для кого и существует главное, если не для Светлых Голов!

Так или иначе, а Светлые Головы были именно теми людьми, и даже тем человечеством, к которому Ирина Викторовна питала доверие, к которым она очень хотела бы причислить и себя. Надо же к кому-то себя причислять!

О Южно-Американском Варианте она думала — так это само собою разумеется.

Где-то там, на далеком континенте, на другой стороне планеты, бродила ее судьба, то вблизи вулкана Котопахи, то в пустыне Атакама, то у водопада Игуасу, в Буэнос-Айресе, в Асунсьоне и Боготе. И за все это она снова отнеслась благожелательно к своему интеллекту, он внушал ей нынче доверие.

Конечно, нынче был условный рубеж: $n=45$.

Справедливо, что в жизни есть дни, которые не обойдешь и не проживешь запросто, незаметно для них и для себя... Они могут быть сами по себе, такие дни, но можно их себе назначить, и они тоже будут. Ни с того ни с сего, что ли, а только между серьезным вспомнились вдруг ей и не очень серьезные дни, давно прошедшие, полузабытые. Их можно бы и забыть, да они не забываются, у них такое свойство.

В санатории когда-то, в Крыму, встретился ей человек, которого иначе и нельзя было назвать, как «смерть бабам»: высокий, красивый, щедрый. У таких любовь и спорт — одно и то же, вот он и начал брать очередной рекорд с места в карьер.

Начать-то начал, но уже через неделю сам попался, должно быть, крепко.

Ирина Викторовна сказала:

А так вам и надо — не будете в другой раз везде и всюду заниматься спортом!

— Ну, мы еще посмотрим! — ответил он. — Впереди еще две недели, а вы ведь не прогоните меня сегодня же?! Ведь вам со мной интересно?

— Еще бы! — согласилась Ирина Викторовна. — Конечно, интересно, конечно — не прогоню, только предупреждаю на берегу: ваш счет будет нулевым!

— Посмотрим, посмотрим!

И они стали смотреть.

Что верно, то верно — держался он великолепно, выдержанно, всегда понимал, что это единственный шанс произвести впечатление, и действительно, впечатление он производил.

Куда они только не ездили по горным и даже по степным дорогам Крыма! В каких ресторанах и забегаловках не сиживали! Ирину Викторовну иной раз брал страх — как бы выдержка не изменила Соискателю?

По вечерам крымские берега горели огнями и на Черное море тоже бросали свет, а по вершинам гор и над вершинами ярко и замкнуто, не отлучая от себя своего сияния, горели звезды, множество звезд, а по темной середине между двумя вереницами огней — земных и небесных — шла машина, и Соискатель наклонялся к ней близко-близко:

— Дыхание не перехватывает?

— Слегка.

— Вы не деревянная?

— Нисколько.

— Начинаю сомневаться!

— Давно пора!

Ну, а как было на самом-то деле, в действительности?

В действительности — дыхание перехватывало. Временами — сильно. Но всякий раз, когда это случалось, она вспоминала, что рядом с нею — спортсмен. Соискатель. Конечно, она допускала, что он уже перестал им быть, так ведь — надолго ли? Каждый спортсмен, когда он берет рекорд, прыгая в длину или в высоту, бросая диск или копье, тоже ведь забывает о спорте. Ненадолго. Но спорт есть спорт — кто кого, и она не должна была об этом забыть. И не забыла: накануне того дня, как ей уехать из санатория, Соискатель поднял руки вверх:

— Сдаюсь! На милость победителя!

Милостей не было никаких, хотя в момент капитуляции он ей нравился больше, чем прежде, за всю минувшую шестнадцатидневную, ни на что не похожую жизнь. Но ему нужна была победа, ей она нужна была тоже; он сам вызвал ее на этот необычный марафон, и менять победу на поражение было тем же самым, что изменять самой себе, а это — очень тяжелое занятие, хотя оно и дается легко: долго-долго потом не находишь себе места в настоящем и в будущем.

Ей нужно было самоутверждение, проверка самой себя, и впоследствии она ни разу не пожалела о том, что поступила именно так, а не иначе.

Другое дело, что этот случай смутил ее одним непредвиденным обстоятельством: полная и безусловная капитуляция Соискателя произошла без малейшего участия Мансурова-Курильского — она ни разу не привлекла его на свою сторону, ни разу и ничего не обещала ему, ни разу его не испугалась, вообще ни разу не вспомнила ни его, ни каких-либо обязанностей по отношению к нему, полностью обошлась собственными силами.

Вот, оказывается, еще когда — а было это одиннадцать лет тому назад — Курильский уже занял в ее жизни то место, которое только с натяжкой и очень условно можно назвать местом...

Ну, а если уж вспоминать, так в разное время бывали и еще какие-то, в общем-то довольно милые Добровольцы, они ее встречали, провожали, сопровождали, дарили ей безделушки, иногда пробовали письменно сообщать ей новости из своей личной жизни, а кое-кто из них разживался ее телефонами и позванивал домой и на работу. Они доставали билеты в театр и в концерты, и даже был случай — Ирина Викторовна по такой вот протекции сшила платье в одном ателье, недоступном для простых смертных. Хорошее было платье. Как раз то самое — под цвет одного «Москвича».

Но все это — корректно и бескорыстно, без дальнего и, уж конечно, без ближнего прицела. Корыстных на все это не хватало, корыстные быстро отшивались в сторону.

А вот Добровольцы, те внесли свою положительную лепту в представления Ирины Викторовны о человечестве. Без них эти представления многое потеряли бы, оказались гораздо негативнее.

Нет, она всем этим не гордилась, не заносила это в анналы своей женской истории, не вздыхала ни по одному из Добровольцев и не считала, будто что-то такое невозвратно потеряла в жизни, нанесла самой себе урон. У нее всегда было довольно точное ощущение того, что — эпизод, а что — история, она редко в этом ошибалась. А тут были эпизоды, милые, приятные, грустные эпизоды, а если она их вспоминала нынче, так ведь как же иначе — день такой, когда принято заниматься статистикой...

Она немного попела. Какие-то нечеткие и неясные мотивы.

Пение для себя — это совсем другой процесс, чем пение для других, прежде всего потому, что тот, кто поет для кого-нибудь, обязательно должен знать, что он поет. А для себя это совершенно необязательно. Для себя пение и музыка существуют вообще, а не только в песнях и в музыкальных мелодиях.

Конечно, она любила слушать хороших певиц и певцов, вбирать их голоса в себя, но время от времени появлялась необходимость услышать и себя тоже, медленно наполняться звуками собственного голоса и ждать того момента, когда эти звуки начнут переливаться через край, то есть опять-таки через тебя же, а ты оказываешься уже внутри них, словно внутри легкого и прозрачного водопада, который обтекает тебя со всех сторон, нигде тебя не касаясь и всюду на тебя действуя.

Она никому и никогда не доверяла такого звучания самой себя, даже Никандрову, хотя и напела ему раз-другой какие-то мотивчики, и он ее похвалил и просил напеть еще.

Но еще у нее не получалось, она вдруг вспоминала, что он хоть и не меломан, но большой любитель музыки, и начинала стесняться его. «Успеешь,— говорила она Никандрову,— не в последний раз встречаемся, так что — не все сразу!» И эти слова вполне отвечали ее намерениям оставить что-то в себе, про запас, но для него же. На будущее...

Курильский, тот, конечно, ни разу не заподозрил ее в том, что ее организм и вся она может быть в каком-то неизвестном для него состоянии, ну, хотя бы в состоянии напевности.

А вот Рыцарю Ирина Викторовна напевала сама, по собственной инициативе, без всяких просьб с его сторо-

ны. И Рыцарь слушал и понимал. Он умел понимать все, что слышал от нее.

Уже в поезде на обратном пути Ирина Викторовна подумала: и какая это нелегкая занесла ее и Рыцаря на остров Жуан-Фернандес? И зачем? Когда почти что дома, рукой подать, существует для души все? И она ведь давно, а не только что, об этом узнала, но как-то складывалось, что близкое становилось далеким, а вот далекое — близким.

Ей ведь обязательно нужно было жить не только во времени, но и в пространстве, глубже и чаще пространством дышать, вбирать его в себя!

Иначе получается большой разрыв с философией и теорией существования: теория утверждает, что пространство и время — это основные формулы существования материи, что бытие без того и без другого — это бессмыслица, а что в это время делает практика?

Кто на практике понимает, что Время — бог всему, что из Времени возникла Природа, из него же возникло человечество, из него же — Бог... Все из Него. И не в том ли дело, что люди считают Время на часы, минуты и секунды, на тысячные доли секунд, но время как Время им до лампочки... Вот и досчитались... Доигрались...

Уже никто не вспоминает и о пространстве, будто оно ни при чем, а если человек пролетел на самолете три тысячи километров, он об этом скажет так: «Три часа сорок минут!» И все! И на поездах тоже проезжают не километры, а сутки и часы. И это при всем при том, что миллионы, десятки миллионов получили высшее образование да еще окончили вечерние университеты повышения политического и культурного уровня и не могут не знать классиков философии! Нет, когда Ирина Викторовна жила в курной избе, там прекрасно понимали, что такое пространство, как его преодолевать в санях или в телеге... Тогда был порядок: мир в пространстве был необозрим, а мир человеческий — ограничен и обозрим вполне. Иное дело теперь: людей на своей-то лестничной площадке и то не знаешь — так их много вокруг, так они необозримы; зато пространство тебе — тьфу! Ты запросто можешь наблюдать игру в футбол на стадионе Буэнос-Айреса, рассмотреть каждого игрока сборной Аргентины... Конечно, в этом есть свое достоинство, без этого ее Южно-Американский Вариант многое потерял бы, верно, однако же обходиться без такого

вот натурального пространства с черно-белыми коровами на взгорке тоже нельзя — нелепо и грех.

Мансуров-Курильский не один раз поднимал вопрос о том, что надо обзавестись недвижимой собственностью — дачей, и если постараться поэкономить — можно было это сделать.

Но Ирина Викторовна отмахивалась: Мансуров любит поднимать вопросы, а дойдет до дела — и покупка дачи, и ремонт, и житье на два дома — все будет на ней одной. Сколько бы еще свалилось на нее утренних и вечерних заданий-нарядов — не счесть! Но и это не все — в последние годы не хотелось ей бывать с Курильским, хотелось одной. Не хотелось оставаться с ним целыми днями на даче. В городе — там был Аркашка, когда он уехал — оставалась Евгения Семеновна, наконец, какие-то посторонние люди на улице и уличный шум...

А на даче? В тишине, и один на один с Курильским? Не то...

Не то — всерьез, не то и по мелочам, в деталях.

Слава богу, что память у нее хорошая, и она всегда точно знала, где лежат малахитовые запонки Мансурова-Курильского и где висит его галстук с кружочками в виде совиных глаз. А осваивать все это еще и во втором, в дачном варианте — у нее не было никакого желания ни теперь, ни в прошлом. А может быть, уже и сил не было для этого.

Ну, а теперь-то что ей мешает почаще бывать на природе со своим Рыцарем? И вместо острова в Тихом океане поселиться с ним в какой-нибудь избушке, километров на шестьдесят от города?

Ирина Викторовна осторожненько стала рисовать пальцем на оконном стекле электрички план того домика, в котором они поселятся с Рыцарем: прихожая, столовая, кухонька, две комнатушки... А может быть, стоит обойтись одной? Много ли им нужно на двоих? Гости бывать не будут. А лишняя жилплощадь — это лишняя уборка, тоже надо принять в расчет.

Пассажиры с недоумением посматривали на нее: что за женщина — не шизик и не февралик ли?

А ей было все равно...

Интересно — кто и сколько лет ей дает? Кто помладше — тот ей прибавляет, а кто старик — тот сбрасывает лет пять, может, и больше.

В массах она все-таки вполне сойдет за сорокадвухлетнюю, может быть, на годок и еще моложе. Это — в чужих глазах, а в своих?

Вот уж трудно сказать! Неизвестно ведь, когда ты была интереснее — в двадцать пять лет или сейчас? Почему-то ей показалось нынче, что сейчас она интереснее — больше знает, больше понимает, что такое женщина, а ведь это — достоинство?

Потом ей стало немножко неудобно перед комнатой № 475, но только немножко. Ничего не случится от того, что в комнате № 475 день прошел без нее и без самого маленького сабантуйчика. Неосведомленные эмэнэсы — и не один — были, наверное, удивлены, явившись в четыреста семьдесят пятую с гвоздичками и с конфетками. Кое-кто из старших тоже попал впросак.

Завтра Нюрок будет на нее не то чтобы дуться, а выражать ей некоторое неудовольствие, а она, как будто бы ничего не замечая, заведет разговор:

— Нюрок?

— Ась!

— Ты не знаешь ли: в Южной Америке исполняется танец живота?

— В Южной? Все исполняется!

— Точнее?

— Говорят же — там все на свете исполняется! А ты хочешь быть участницей ансамбля? Или солисткой?

Нюрок последнее время была несколько отчуждена от своей приятельницы: не захотела в свое время узнать ни о Рыцаре, ни о путешествии по Унтер-ден-Линден, ну, а не в свое — это уже трудно. В свою очередь, Ирина Викторовна тоже подозревает, что в тот раз, в последнюю их встречу в квартирке на тринадцатом этаже, Нюрок что-то не рассказала о себе. Что-то серьезное.

Но это все ничего не значит, дружба — это дружба.

Анюта Глеб всплеснет своими некрасиво-красивыми руками:

— Ирина Викторовна! У вас получится! Вижу отчетливо, что у вас получается этот самый танец с животом!

Валерия Поспитович поразмыслит по-своему:

— У меня есть знакомая, она — теоретик в области этнографического танца. Может быть, спросить у нее, Ирина Викторовна? Она должна знать...

А вдруг как раз в день рождения матери приехал Аркашка? Приехал и ждет ее — Ирину, мать солдат-

скую? А она ходит в чистом поле сама по себе и ничего-то не знает.

Уже гнали домой стадо черно-белых и еще каких-то коров...

И вообще — как бы чего не вышло, уж очень умиротворенным и спокойным оказался нынче день, а за спокойствием всегда что-нибудь да кроется. В каком-то неожиданном согласии с нею прошел этот день, а ведь она его боялась всегда — вот он наступит, вот наступит! Почему-то боялась, что-то такое в нем предчувствовала... А может быть, напрасно?!

Глава шестнадцатая

В ЗЕРКАЛАХ

Нет, Аркашки не было. Не приехал.

Сначала Ирине Викторовне как будто даже полегчало: ей не хотелось огорчить сына своим отсутствием дома в день рождения. Нехорошо, очень нехорошо получилось бы, если бы он торопился успеть к дню рождения матери, успел бы, а матери дома нет как нет!

Потом стало грустно и страшновато: в самом деле — что же это за человек приедет домой? Целый год, немногим больше года, его дома не было, и вот он, может быть, так изменился, что и не узнаешь? Она его и раньше-то, своего собственного, не бог весть как хорошо знала, а через год разлуки? Как отнесется он к матери? А не помешает ли ему ее Рыцарь?

Не в первый раз уже Ирина Викторовна убеждалась в том, что Южно-Американский Вариант, по существу, перестал быть для нее вариантом, наоборот, это почти что вся остальная жизнь стала его вариацией. Как у Бетховена — основная музыкальная фраза, а потом идут и идут ее разработки, дальнейшие вариации.

Ирина Викторовна проверяла себя, но так оно и было: к ЮАВ подверстывалось все — и Мансуров современный, и Мансуров на Курилах, и Никандров, и даже Аркашка. Не говоря уже о ней самой. А вдруг Аркашка не захочет ничего этого? Никакого ее варианта? Возмутится? И все разрушит? Или скажет, чтобы она разрушила все сама?

«Так ведь он же — не в курсе, ничего не знает! Не знает даже, что разрушать?» — отвечала она на свой собственный вопрос, но тут же возникали сомнения:

«И не знает, да сделает. Догадается! Не догадается и все равно сделает!»

«Но никому же это не мешает! Всем только польза! Мансурову-Курильскому — разве не польза? Если бы не Рыцарь — такой добрый, такой тактичный — что бы делал Мансуров-Курильский? И Евгения Семеновна?»

«А этого никто, кроме тебя, не понимает!»

«И никто, кроме меня, этого у меня не отнимет!»

Аркадий явился ночью — высокий и кудрявый, веселый и беззаботный. Позвонил, вошел, кинул чемоданчик на пол, заглянул в зеркало, обнял мать, отца и бабушку, и вдруг тут же, в прихожей, снова образовалась семья, которой давно уже никто не видел и не чувствовал, которой, очень может быть, не только не было давно, но не было никогда.

Аркашка, смеясь, с места в карьер рассказывая какие-то байки про «духачей» — духачами он называл музыкантов духовых инструментов,— сам пошел на кухню, распахнул холодильник, сказал: «Ого! Порядок!», да через пятнадцать минут и ополовинил все, все подобрал, что было: холодное и холодные котлеты, торт, арбуз, сырки, еще что-то. Потом еще раз бурно облобызал всех, бросился на диван и проспал до обеда следующего дня.

Проснувшись — это уже бабушка рассказывала, Ирина Викторовна была на работе,— приблизительно в том же объеме пообедал, переоделся в гражданское, навел на себя всяческий блеск и марафет — и был таков.

Родители ждали его до полночи, но он вернулся гораздо позже, опять принялся за холодильник, опять бросился на диван, и так пошло и пошло, ни дня ни ночи в доме, а бог знает что...

Никто Аркадия толком не видел, разве только ночью можно было глянуть на него, словно на пожар выскочив в пижаме на кухню, никто ни о чем не успевал его расспросить, ничего ему рассказать.

Отец помрачнел, Евгения Семеновна похудела, Ирина Викторовна побледнела и похудела, Аркадий повеселел и порозовел — такой приглядный, такой красивый парень!

Семьи снова как не бывало, даже той, которая была, хотя Аркадий ничем никому не угрожал: ни малейшим вмешательством, ни расспросами, самым обычным и естественным интересом: «Ну, как вы тут живете?

Как тут у вас ладится?» Это все Аркашке было до лампочки.

И вдруг за два дня до отъезда он сказал Ирине Викторовне:

— Муттер! Какое дело: хочу пригласить и приглашаю тебя в ресторан! Попрощаться перед отъездом к месту службы в воинскую часть номер пятьдесят восемь девяносто шесть, дробь двенадцать!

Покуда Аркашки не было дома, Ирина Викторовна знала, что ни минуты не колеблясь, согласилась бы пойти служить за него в армии под началом того старшины, который еще на перроне, при проводах Аркадия, обещал остричь его наголо, только бы Аркадий оставался дома, хотя бы кое-как, но сдал в институт, хотя бы и на тройки, а все-таки учился в институте. Поэтому отказывать в просьбе сына теперь — было совершенно нелогично. К тому же если уж Аркадию некогда было поговорить с матерью дома — он, может быть, поговорит с нею в ресторане? Попрощается и поговорит?

И на другой день, прямо с работы, в меру напудренная и надушенная, минута в минуту, как договаривались, она была уже у главного входа шикарного заведения.

А вот Аркашки не было. Неотложные дела!

Редкие листья почти уже совсем опавших лип оборачивались к Ирине Викторовне то одной, то другой своей стороной и, наверное, шелестели при этом, но уличный гул и грохот заглушал их слабые голоса, а сами липы, выстроившись вдоль тротуара по ранжиру, как будто на Унтер-ден-Линден, как будто в ожидании чего-то, наверное зимы, были влажны, кое-где леденисты, и остатки летнего одеяния им были уже ни к чему.

Ирина Викторовна поеживалась, ей тоже было прохладно и неудобно стоять на виду у входа в ресторан. Она ведь надела легкое платье, чтобы не утолщать фигуру. А поверх — тоже легкое пальтишко! Смешно!

Она успокаивала себя, что это не первое неудобство, которое доставил ей Аркашка. Надо думать, и не последнее. Она вспомнила, как бывало ей неудобно и даже холодно стоять или сидеть за столом директора той школы, в которой учился Аркашка, и объяснять, почему он плохо учится. Сама Ирина Викторовна всегда училась легко, без усилий и хорошо и, наверное, поэтому ни разу не сумела дать директору сколько-нибудь разум-

ных объяснений. Мямлила что-то, после сама не могла вспомнить об этом без содрогания. Ну, а что еще предстоит, кому и что предстоит объяснять ей за Аркадия? Там видно будет!

С опозданием на семнадцать минут он появился наконец-то, Ирина Викторовна увидела его сразу же, а он — нет, она этому удивилась: куда же он смотрит? Но вот Аркадий стал подходить ближе, ближе, и стало понятно, почему он ее не видит: он был не один.

«Ах, вот в чем дело!— мысленно воскликнула Ирина Викторовна.— Как же это я не догадалась?! Не вспомнила, что на вокзале его провожали в армию сразу три или четыре девочки... Три? Или четыре? Может быть, это одна из них?» И она сама себе удивилась еще раз: будь вокруг Аркадия хоть десять девочек — она почему-то всегда принимает их не всерьез. А почему?

— Здравствуй, мама!— приветствовал ее Аркадий, широко взмахивая рукой над своим плечом и над головой своей спутницы.— Мы припоздали, но ты же сама знаешь, что значит женщине собраться в ресторан?! Знаешь, да?

— Ира!— представилась девушка в длиннополом, по моде, пальто из коричневой синтетической кожи и в ту же секунду поняла, что Ирине Викторовне ее пальто показалось непомерно длинным.

— Не Ира!— прервал знакомство Аркашка.— Не Ира, а Ирунчик!

— Ирина Викторовна!— представилась Ирина Викторовна.

Путаница и какая-то нескладность появилась сразу же, с первых слов.

«Нет, не та,— подумала Ирина Викторовна про себя.— Такой на вокзале не было, это точно! Значит, новенькая...», а Ирунчик опять почувствовала что-то во взгляде Ирины Викторовны, какую-то оценку, какое-то сравнение, и опять получилось нехорошо.

Столик, за который официант учтиво проводил кавалера в прекрасном расположении духа и его разновозрастных дам в состоянии почти полной растерянности,— был на троих, примыкая к четырехугольной тяжелой и ядовито-зеленой колонне. И в этом сейчас же обнаружилось неудобство: как раз над столиком помещалось зеркало, и, чтобы без конца не лицезреть друг друга и себя, надо было либо смотреть в сторону и вниз, в тарелки, либо заслоняться от зеркала рукой.

Аркадия же это развеселило.

— Ну и как? На троих будем заказывать или на шестерых?

Ира-Ирунчик оказалась без ума от Аркашки и не могла этого скрыть, ничего ей не помогало, даже то обстоятельство, что сама-то она была не бог весть какой свежести, что вообще-то сиживать в ресторане было для нее делом вполне привычным. Но все равно, несмотря на эти навыки или благодаря им, не будь Аркашка с мамочкой, она, не теряя ни минуты, облапала бы его обеими руками и с большим чувством. Теперь Ирунчик сдерживалась, и руки у нее — красивые руки, обнаженные и курортно-загорелые — подрагивали и шевелились и на столе, и в зеркале.

Ах, как ни к чему была Ирунчику Ирина Викторовна! Совершенно ни к чему!

Поговорили о погоде. О Крыме, Кавказе и Рижском взморье.

И еще не подали первого, как Ирина Викторовна почувствовала прилив ревности — не хотела она отдавать этой девчонке своего Аркашку! Нечего ей лапать его, нет у нее для этого ни малейшего основания! Что — потеряла голову? Это тоже ничего не значит, может, она теряет ее периодически?

«Господи!— думала Ирина Викторовна.— Страшно-то как! Как будто вот сейчас, только доедим первое,— а первое уже подали,— и Аркашке предстоит это: головой в бездну! Да неужели же родная мать в такой ситуации ничего не может сделать, даже не вправе предупредить сына?! Выгнать девку из-за стола, а сыну все как следует объяснить?! Господи, как люблю-то я его, шалопая и безобразника! Несправедливо же это — надо любить достойных людей, а любить шалопая только за то, что ты сама произвела его на свет,— это нехорошо, это даже низко!»

Аркашка весело рассказывал про какого-то старшину. Как старшина вместо команды «Встать!», подал команду «Ложись!».

Ужасно интересно!

А ему что — Аркашке? Ему тем более ничего, что это ведь не Ирунчик опутала его, а он опутал Ирунчика! Вот он и сидит посмеивается, полон всяческих мужских достоинств, а главное — чувства своего превосходства над всем женским полом, над матерью в том числе:

«Вот как надо с вашим братом, с женщинами! Понятно вам! Если непонятно — могу и еще доказать!»

«Вот сейчас,— думала в ответ Аркашке Ирина Викторовна,— вот сейчас скажу Ирунчику, чтобы убиралась подальше, если ей дорога собственная жизнь: ведь я же знаю — Аркашка с ней долго канителиться не будет, поиграет и прогонит... Он ведь не в отца, не такой, чтобы тянуть волынку годами! Вот сейчас и наклепаю на собственного сына, и предам его: единственно возможный и даже благородный способ предотвратить катастрофу! Если бы Ирунчик была цыпленком, несмышленышем — она, может быть, и не поняла бы предупреждения, а эта — поймет!»

«Доказать или нет?— поглядывал на мать Аркашка.— Ну, вот смотри — какой я мужчина...»

И он дотронулся до обнаженного плеча Ирунчика, и на ее сухоньком, очень правильном личике это прикосновение отразилось в тот же миг: она прикрыла глаза и глубоко вздохнула.

«Ну?» — спросил Аркашка.

Ирина Викторовна мысленно промолчала.

«А вдруг Ирунчик уже все-все понимает?— подумала Ирина Викторовна.— Понимает прекрасно, что на этот раз не она, а ее опутали, и вполне с этим согласна, это ее устраивает?! Она к этому готова. Потому что пройдет какое-то время, она возьмет себя в руки, и не только себя, но и Аркашку, возьмет так, что от него полетит пух-перо, так, что согнет его в бараний рог и, конечно, не в ту сторону, где обитают нормальные человеческие отношения! Тем более — нормальные отношения между мужчиной и женщиной!»

Аркашка рассказывал про старшину. Про того, который заснул на барабане и провалился в него.

«Ребенок ведь может быть!— вдруг догадалась Ирина Викторовна.— Внук или внучка!.. Если от нормального Мансурова-Курильского и от его более или менее нормальной жены когда-то произошел такой балбес, как Аркашка,— что же теперь может произойти от этих двоих?!»

Аркашка рассказывал про помкомвзвода, который подал письменный рапорт об увольнении в запас и начал его со слов: «Посему придерживаюсь мнения...»

«Остолоп!— отвечала ему Ирина Викторовна.— Тебе-то что?! Тебе — ничего! А каково мамочке остолопа? Если мамочка до потери сознания любит своего сына?

Аркашенька, будь умницей, а? Один раз в жизни — будь, пожалуйста!»

И тут Аркадий поднял тост:

— Пошалили! А теперь — за серьезные планы и перспективы! Я не кричу «ура», мамочка, я знаю — ты этого не любишь, но тост поднимаю: за перспективы!

Ира-Ирунчик приподняла бокал, кивнула Ирине Викторовне и стала ждать — чокнется ли она с ней. Ирина Викторовна, глядя на Ирунчика через зеркало, все-таки чокнулась. И с Аркадием тоже... И, глотая шампанское, спросила:

— Аркадий! Ну, что это у тебя может быть серьезного, а? Тем более — в перспективе? Разве ты способен мыслить пер-спек-тивно?

— Немножко, мамочка! Как раз столько, сколько мне нужно!

— Поясни!

— Ну, конечно, поясню, еще бы! Тем более времени в обрез, все мы — на марше. Времени у нас только для... Ну, как это по-английски? Как, муттер, по-английски называется резюме?

— Так и называется: резюме. Иногда по-другому: суммари.

— Вот-вот — суммари! Я как раз это имел в виду — хорошее название, мне подходит. Итак, муттер, Ирунчик очень симпатичный человек. Это видно каждому и с первого взгляда!

— С первого?

— Конечно! Первый — самый верный взгляд, муттер. Тем более что когда начнешь искать второй взгляд — обязательно потеряешь первый и не найдешь второго. Ты никогда не замечала этого?

— Приходилось...

— Ну вот видишь.

— Но не всегда!

— Всегда ничего не бывает, муттер. Дальше: Ирунчик и я хотим, чтобы тебе было все ясно. Ну, например, так же ясно, как нам самим. Мы — дружим. И очень. Мы дружим совсем. Но настоящая дружба должна иметь тоже настоящую реальную почву. И вот нам очень-очень поможет фатер Ирунчика. По части музыки, разумеется. И отчасти — по части жилплощади. Ну, это несколько позже.

— Музыки?

— Конечно! Не в физике же и не в математике мне нужна помощь?! Ты об этом лучше меня знаешь!

— Ну, ну... Предположим. И как ты представляешь себе эту помощь?— поинтересовалась Ирина Викторовна.

— Признаться, муттер, не очень ясно. А в общих чертах так: дальнейшая военная служба, хорошая, а по возможности и отличная характеристика, какое-нибудь среднее военно-музыкальное образование, и наконец оно же, но по возможности высшее... Так, Ирунчик?

Ирунчик кивнула, но промолчала. Потому что она понимала в Аркашкиных планах гораздо больше, чем сам Аркашка.

— Предположим. А что значит «какое-нибудь»? Какое-нибудь среднее? Какое-нибудь высшее?— Ирина Викторовна зачем-то была настойчива.

— То есть — как? Ведь не обходится же военная музыка без специалистов с высшим образованием?

— Но без тебя-то, Аркадий, любая музыка обойдется! Я в этом нисколько не сомневаюсь!

— Еще бы, конечно! Но ведь мне-то без нее — куда? Я без нее — ни шагу, а шагать-то ведь надо!

— Да...— вздохнула Ирина Викторовна.— Я вот что хочу спросить: а вы давно знакомы, Ирочка и Аркаша?

— Не очень, муттер. Но мы тебя понимаем. И хотим успокоить: мы не сделаем глупостей, которые нас свяжут по рукам и ногам. То есть не сделаем сразу же, не откладывая в долгий ящик. Мы их отложим, эти глупости.

— А это как понять?

— Ах, муттер! Такая умная, а ко всякому пояснению требуешь пояснений: мы просто будем украшать друг другу жизнь — понятно? Кроме того, сначала Ирочка и ее фатер будут помогать мне, ну а потом уже, когда-нибудь... Если точнее — то мы стажируемся. По шведскому образцу. В Швеции принято: пожить совместно до заключения официального брака годика два. Убедиться, что ошибки нет. И не будет. Не знаю, как ты, муттер, а я, наблюдая современные супружеские пары, пришел к выводу, что шведский образец — очень умная и необходимая штука! Ты знаешь, мне кажется, я все тебе объяснил — полное и откровенное суммари. Это потому, что мы не хотели бы просто так... Скрываться от родителей. И вообще. Я знаю, тебе было неприятно, что ты не знала, где я провел все дни и ночи

своего отпуска. А теперь ты узнала и, конечно, будешь спокойна.

Ирина Викторовна долго и молча переживала шведский образец, все то, что было сказано Аркадием по его поводу.

— Да. Вернемся к школьным воспоминаниям: сколько ребят из твоего класса пошло в физики, в химики, в артисты, в хорошие сержанты и почему-то ни одного из них не устроил шведский образец? Как ты думаешь — почему?

— Ах, муттер,— вздохнул Аркадий,— ну чего же ты, право, хочешь от меня? Чтобы мы поссорились? Чтобы я сказал тебе что-нибудь злое? А я этого не хочу. И — не скажу. Многие из твоих любимцев-физиков-химиков сейчас же это сделали бы, а я — ни за что!

— А родители Ирочки? Они?

— Они? Я же сказал: они уже не только в курсе, они сделают все возможное, чтобы помочь нам. Чтобы когда-нибудь наши отношения завершились логически. Я бы сказал еще, что они очень трезво посмотрели на факты. И, если хочешь знать, муттер, позавчера, в это же время, вон за тем столиком, который на четверых, мы посидели с Ирочкиными муттером и фатером. Окончательно выяснили отношения и обговорили те самые перспективы, за которые ты сегодня поднимаешь тост. Ну, что касается нашей, мансуровской стороны, так я решил созвать нынешнюю встречу уже не в четырех, а только в трех лицах. Правильно я решил, муттер? Или я ошибся?

Ирина Викторовна посмотрела в глаза сыну — в черносмородиновые, добрые и бесшабашные глаза. И откуда такие? И в кого? Евгения Семеновна объясняла, что в ее деда... Ирина Викторовна посмотрела в эти глаза еще раз. Аркашка что ей говорил? Какое суммари высказывал без слов? «Муттер! Ты же прекрасно знаешь — всякие в жизни бывают ситуации. У тебя вот такая, а у меня вот этакая!.. Давай по рукам!»

— Знаешь, сын,— сказала Ирина Викторовна,— а я ведь тебя не знала. Я, кажется, еще час тому назад не знала тебя. А вот кто тебя узнал, и давно — это Анна Михайловна Бессонова, она!

— Ну, еще бы!— обрадовался Аркашка.— Нюрок! Такая женщина, такая женщина! Закачаешься! Будь она раза в два помоложе, или будь ее дочка раза в пол-

тора постарше — пропало бы мое высшее музыкальное образование, Ирунчик! Ей-богу! Откровенно!

Ирунчик, улыбнувшись несколько странным образом, вздохнула и стала в упор рассматривать себя в зеркале. Все-таки она вздохнула свободно: наконец-то Аркадий объяснил своей бестолковой старухе все, что он обязательно хотел ей объяснить,— наконец-то! Ну, а если старуха до сих пор ничего не поняла, тем более если она ничего не хочет понять — так это ее личное дело...

Так, кажется, думала Ирунчик.

— Это нормально, муттер,— продолжал между тем благожелательно вести беседу Аркадий,— это очень нормально, когда твоя подруга лучше, чем ты сама, понимает твоего сына! Я лично давно тебе об этом говорю, с пяти лет: «Ты меня не понимаешь, мама!» Но ты мне никогда не верила и поэтому давала ценные указания — как мне расти и каким быть, но давала их не мне, а какому-то другому мальчику. Я бы сказал, какому-то другому пай-мальчику! Наверное, Мишке Кононыхину, помнишь, который физик по призванию? От которого я отстал не то в шестом, не то еще в каком-то классе. Ну, которого я тоже чуть было не совратил, уговорив собирать почтовые марки, а ты сказала мне: «Аркаша! Что хочешь, только не будь злодеем!» А в общем, спасибо Ирунчику — не будь ее, ты и до сих пор принимала бы меня за Мишку Кононыхина или еще за кого-нибудь. Но ты не расстраивайся, муттер,— мы с тобой ведь все равно любим друг друга, да? Ты меня, а я тебя! Совершенно разные люди могут очень любить друг друга, да? Просто-напросто тут опять действует закон первого взгляда — самого точного взгляда! Ты на меня, муттер, слишком много смотрела, вот и просмотрела мою личность!

– Твою? Личность?

— А что же еще? Может быть, и еще что-нибудь?

Сначала про себя, потом вслух Ирина Викторовна проговорила:

— Скажи на милость, Аркадий, ты ведь очень много не понимал в школе на русском языке, а вот на шведском почему-то понял все сразу, и без помощи учителей?

— А это потому, муттер, что одно всегда компенсируется чем-то другим. Если человек чего-то не понимает, не способен, значит, он готов понять что-то другое.

Что-то совсем в другой области. Если, конечно, он не круглый дурак.

Ирина Викторовна задумалась. И тяжело задумалась...

И тоже стала рассматривать лицо Ирунчика анфас и в зеркало. А почему бы нет? Ирунчик ведь очень внимательно рассматривала в том же зеркале самое себя, следовательно, это было приглашением посмотреть на нее со стороны — неловкость миновала для нее, поскольку Аркадий все объяснил, и вот непринужденно положив руку на плечо Аркадия, она спрашивала Ирину Викторовну:

«Вот какая я — видите? А вот какие мы с Аркашей — видите?!»

Ирина Викторовна видела: Ирунчик, конечно, была ничего себе женщина — в пропорциях и с фигурой, вполне пригодной для всего на свете: для верхней одежды, для дневного костюма, для вечернего платья, для купальника и т. д. И красивенькой была. И всего только годика на два-три она была старше Аркадия.

— Аркадий! — спросила Ирина Викторовна. — Я вот чего не понимаю: Ирочка украшает твою жизнь? Так?

— Конечно, муттер! Еще бы!

— Ирочкин папа — тоже?

Аркадий пожал одним плечом, не тем, на котором лежала рука Ирунчика, и сказал:

— В общем — да! Я же об этом говорил: папа Ирунчика, Матвей Ильич... да! Кажется, мы тебе и фамилии-то Ирунчика не назвали? Вот упущение!

— Я не об этом. Я о другом: ну, а ты-то, ты-то чем украшаешь Ирочкину жизнь?

— Я? Что за вопрос? Да самим собою... Да если бы я не украшал — неужели бы мы сидели нынче вот так, вот здесь, и вели бы вот такой непринужденный разговор?!

Ни одна черточка не дрогнула в лице Ирунчика.

Поели молча.

По программе Аркадия, должно быть, закончилась первая часть встречи — ознакомительная, и теперь был антракт, а дальше, по всей видимости, должно было последовать почти что семейное застолье и даже — поцелуй Ирины Викторовны в Ирочкину щечку.

Но не губами, а всей кожей своих рук Ирина Викторовна уже ощущала кожу Ирочкиных рук, и это ощущение было по меньшей мере антипатично ей.

Надо было взять разговор в свои руки, а тогда его можно будет самой и кончить...

— Ну, а как у тебя служба, Аркадий? Как дисциплина?

— Нормально, муттер. Всегда и все будет нормально, если усвоить один-два главных принципа.

— Принципа? Например?

— Например — не обижаться! Не понимаешь? А между прочим это очень просто. Скажем, послали тебя в наряд внеочередь — не обижайся. Зря отругал комвзвода — опять не обижайся. И так дальше, и вот уже дисциплина тебе — как зеленая улица! А то есть, муттер, солдаты — не солдаты, одно горе: ему на сон положено семь часов, а он пять не спит, обижается. На старшину обижается, на начальника команды, на министра обороны и так далее. Да разве это служба?

...Самое неприятное и трудное — что у Ирины Викторовны не было ощущения конца этой встречи. Конечно, так или иначе она должна была кончиться, хотя бы потому, что она уже кончилась по существу, а теперь только повторялась в вариациях, но когда, как и чем будет конец — это было неясным, было очень смутным.

Что там еще Аркадий мог выдумать? А вдруг он запланировал еще одну встречу — с фатером Ирунчика, например? Пройдет час-полтора, и Аркадий скажет: «Муттер, а теперь прошу тебя поехать с нами к Ирунчику». Хватит или не хватит у муттер сил отказаться? По-другому: через полчаса фатер Ирунчика появится здесь собственной персоной... Хватит или не хватит у нее сил... для чего? Она не только этого, она уже и другого не знала: хватило или не хватило у нее сил пережить все то, что она услышала нынче от сына? Услышала и увидела! В зеркало и помимо него, непосредственно?!

И, не зная этого, Ирина Викторовна снова стала всматриваться в ядовито-зеленый блеск колонны и в это зеркало: а вдруг и в самом деле кто-то там появится? Кто-то такой! Какой-то такой! Что-то, показалось ей, промелькнуло в зеркале невероятное...

И вот что действительно случилось, вот как оправдалось ее предчувствие и страшная догадка: в зеркале появился Никандров...

Он сидел за столиком, за тем самым, где вчера в это же время сидели Аркадий, Ирунчик, папа и мама

Ирунчика, а рядом с Никандровым усаживался человек в меховом пиджачке, не молодой, но моложавый, кавказского вида... А два других места за столиком были еще свободны, и на одном стуле висела женская легкая косынка, а на другом лежала тоже женская перчатка... Почему-то одна перчатка.

В один миг Ирина Викторовна объяснила себе все: Василий Никандрович с женой принимает своего северо-кавказского коллегу, тоже — с женой...

Дальше — подробности, тысячи подробностей, каких угодно. Фамилия человека, которого принимает Никандров? Ахтубеев! А почему бы ему не быть Ахтубеевым? Что-то кавказское в такой фамилии есть, а больше ничего и не надо. Почему не дома принимает, а в ресторане? Ахтубеевы-то в свое время, конечно, принимали Никандровых дома — широко, с кавказским размахом?! Значит, у Никандровых в квартире сегодня что-то должны делать, полы натирать например,— начали еще вчера натирать, а сегодня не кончили... Никандровы извинились и вот принимают гостей в ресторане. По какому случаю принимают? А просто так, в порядке вежливости и доброго отношения друг к другу. На «ты» или на «вы» разговаривают? Мужчины — на «ты», а женщины пока что на «вы».

Подошли дамы...

Ирина Викторовна никогда не видела жену Никандрова, но кто из двух женщин — его жена, можно было сказать не задумываясь: та, которая пополнее, постарше, поскромнее и, главное, которая хоть и старше, и скромнее — одета с бо́льшим вкусом: в шерстяной костюм бордо с воротничком из норки...

Ахтубеева — та была в плотном, но открытом платье и с большим кулоном на груди. Ахтубеева была заметно моложе своего мужа — не первая жена, не может быть, чтобы первая... Первая и последняя — была у Никандрова... Была в платье почти такого же цвета, какое было на Ирине Викторовне. Они обе сшили себе платья под цвет одного и того же «Москвича»...

Никандрова посмотрела в ее сторону: у кого это почти такое же платье, как у нее самой? Неприятно, когда ты одета так же, как твоя соседка за столиком ресторана, что за стандарт?! Что за сходство?

Вот тут у Ирины Викторовны и случилось что-то с головой или с глазами, с сердцем — она не поняла.

Нынешний день перестал быть нынешним, он стал

смешанным: что когда-то с ней было, а что есть с ней только сейчас — она уже не различала, не могла она и вспомнить — все еще она любит Аркашку и страдает за него, бесконечно его любя, или страдает потому, что ненавидит его? Давно ли все кончилось у нее с Никандровым, или только вчера, или ничего не кончилось и сегодня? Понимает ли она хоть капельку Ирунчика или нисколько? Одного они с нею поля ягоды или с разных планет?

Мало того что все сместилось во времени, но то же случилось и в пространстве — в зеркале, которое висело на ядовито-зеленой колонне, закрутился кинематограф: Никандров и она с ним, жилплощадь тетушки Марины и сама тетушка при этом, Аркашка с Ирунчиком, Мансуров-Курильский с кем-то, Ахтубеев и Ахтубеева, жена Никандрова, а кто был впереди, на первом плане, кто — сзади, почему все эти люди и она сама тоже были то в лицах, а то без лиц — все это невозможно и страшно было понять...

Ш-шумел камыш, деревья гнулись,—

пропела вдруг Ира-Ирунчик на какой-то совершенно не свойственный этой песне мотив. Первую строку она произнесла почти речитативом, а вторую растянула свободно и вальяжно, на нижнем регистре, по-цыгански.

Аркадий весело засмеялся, откинулся на спинку стула и, тотчас подхватив текст, проаккомпанировал Ирунчику пальцами по столу, словно по клавишам рояля.

— Аркадий!— Закрыв лицо руками, но нисколько не закрывшись от всего этого кинематографа, позвала Ирина Викторовна.— Выйдем в вестибюль, и ты скорее беги за такси: мне плохо... Деньги-то у вас есть — рассчитаться с официантом?

Когда они шли к выходу мимо столика, за которым сидели реальные Никандровы с реальными Ахтубеевыми, там что-то обо что-то как нарочно ударилось — тарелка о стол, вилка или ножик о тарелку,— звук был резким и как бы сопровождал тот кинематограф, который все крутился и крутился перед ее глазами, хотя она уже далеко отошла от зеркала...

Аркадий поддерживал мать обеими руками, заглядывал ей в глаза и впервые за все это время не улыбался.

Глава семнадцатая

ОДНАЖДЫ УТРОМ

Давно еще, где-то вскоре после того, как Мансуровы вернулись с Курил, в жизни Ирины Викторовны был такой случай.

Приболела тетушка Марина, и надо было ее навестить. А жила Марина в то время за городом, это много позже у нее появилась кооперативная жилплощадь в городе.

Как обычно, дел у Ирины Викторовны, а по-тогдашнему у Ирочки,— она ведь очень моложаво выглядела,— дел было, что называется, невпроворот, и пока она забежала туда да сюда, да кому-то позвонила, да к какой-то электричке опоздала — время настало позднее, и только в двенадцатом часу она сошла на пригородной станции. А идти было к тетушке еще километра три-четыре.

Попутчиков не оказалось.

Она посомневалась, подумала, что не надо бы идти одной, и пошла.

В какое-то время послышались позади шаги и снова пропали, отстал человек или свернул куда-нибудь в сторону, но только стало совсем тихо, если что и было слушать — так собственные шаги: цок-цок-цок... Четко по асфальту.

Но потом чужие шаги послышались сзади снова, торопливые, теперь уже двух людей, и что-то защемило у Ирочки, и ей стало холодно-холодно.

Она испугалась. Она испугалась очень сильно, но не так, чтобы ничего уже не соображать, а, наоборот, стала соображать быстро.

И с той, и с другой стороны, немного отступая от дороги, тянулись изгороди из колючей проволоки и высокие, глухие, черные, чернее, чем сама ночь, заборы... Свернуть было некуда, и бежать вперед что есть мочи тоже не было смысла: если уж ее будут догонять, тогда — догонят. Она вынула из сумки жакетик и надела его на кофточку, потому что кофточка была светлой, очень заметной в темноте, потом она сняла туфли и в одних чулках, бесшумно и быстро, но не бегом пошла обочиной дороги вперед.

Она прошла, почти пробежала минуту-другую и за поворотом дороги увидела искру, крохотную, но яр-

кую... Там, впереди, стоял человек, стоял неподвижно и курил. Она даже поняла, как этот человек курил: затягивался и тотчас опускал руку вниз и прятал папироску в кулаке. Этот человек, не замеченный ею, ушел по дороге вперед, а теперь ждал ее...

А сзади приближались те двое.

Тогда она сошла с дороги и встала за одну из тех немногих, но крупных сосен, которые были здесь — между поблескивающим под луной полотном дороги и черными, высокими, как будто крепостными заборами.

И только она остановилась неподвижно, как человек, который был впереди, пошел в ее сторону. Но по тому, как он шел — неторопливо и тоже держась в тени, Ирина Викторовна поняла, что он ее не видит. Так оно и было: он приблизился к ней на расстояние шагов в двадцать и тоже встал за дерево, за такую же сосну, за которой стояла и она.

Прошло еще с минуту...

Со стороны станции все отчетливее становились шаги тех двоих, и вот они вышли из-за поворота в свете луны: один высокий, с раскачивающейся тенью и в шляпе, другой — приземистый и лохматый, с открытой головой... Они двигались торопливо и совершенно молча, сосредоточенные в своем движении, обо всем между собой договорившиеся.

Они ее догоняли и, должно быть, тревожились, не слыша ее шагов.

Они ее миновали, сильно и четко дыша, и тоже четко, но не враз взмахивая руками.

Они ее миновали, и тотчас им навстречу вышел тот, что стоял за деревом в десяти шагах от нее, и спросил:

— А где ж девка-то?

Те остановились резко, с ходу, и один из них, глубоко вздохнув, сказал:

— То есть как — где? Ты же ее и пропустил! Пропустил, дура, а с нас спрашиваешь?

— Сами — дуры,— ответил этот.— Она, значит, сморокoвала и в лес ушла от вас. Топочете, будто жеребцы!— И он снова полез в карман, и все трое закурили, а Ирина Викторовна при свете спички увидела лица тех двоих, которые только что подошли: высокий был молодым, в измятой соломенной шляпе, с горбатым и тонким носом, а низкий оказался седым, и лицо у него было очень широкое, будто расплюснутое.

— Нет,— сказал молодой,— в лес ей некуда, только у самой станции. Так мы там глядели. Она где-нибудь здесь и хоронится невдалеке...

— Да что у нее в руках-то было?

— Добра-то у такой в руках: кофтенка какая-нибудь и трешка денег. Добро-то у нее не в руках! Сама-то — сладкая баба!

Ругаясь последними словами, поплевывая на асфальт, все трое стали говорить о ней: какая у нее грудь, какие ноги, какое у нее что и как бы все это могло им пригодиться, а она слушала, понимая, что они разглядели ее еще в электричке, и чувствовала омертвление себя всей — с ног до головы — от страха и ужаса, от той неподвижности, которая одна только и могла ее спасти.

Где-то за стеной забора, который возвышался рядом с нею, были другие, еще более непроницаемые и недоступные стены — домашние, и там, в домашних стенах, люди уже спали или читали перед сном какие-нибудь романы, быть может, и страшные, но не чувствовали в окружающем их тепле, спокойствии и уюте никаких признаков того действительного и потрясающего страха, который переживала Ирочка Мансурова. И той ненависти, которую испытывала к ним, домоседам, она — тоже не чувствовали.

Трое постояли еще, поругались, поплевали и пошли обратно на станцию, и один из них — седой — прошел на расстоянии метра от нее, еще ближе... А она поняла, что все трое были пьяны — не совсем, а в состоянии пьяной энергичности.

С тех пор она всегда жутко ненавидела и страшилась пьяных, подозревая их в самых низких умыслах, не верила, будто в состоянии опьянения люди действуют бессознательно и безотчетно,— неправда это! Она вот ни разу не видела, чтобы пьяный приставал к милиционеру, значит, прекрасно отдает себе отчет в том, что ему интересно, можно и выгодно, а что — нет!

Теперь, очень много лет спустя, она вспомнила все это, потому что это был единственный ужас, который можно было поставить рядом и как-то сравнить с ужасом, пережитым ею перед зеркалом ресторана, и позже, когда Аркадий привез ее домой, а запущенный кем-то перед ее глазами еще в ресторане кинематограф крутился, крутился и крутился...

То, что было тогда в ночном лесу, среди крепостных заборов, и то, что было теперь,— было хуже смерти, ху-

же потому, что смерти-то, в общем, она ведь не боялась, не то чтобы совсем, а знала меру своего страха перед ней.

Но это было тогда, а теперь этой меры не было. И не могло быть.

Тогда ей угрожало насилие над ее телом, теперь — над ее сознанием: то и другое было одинаково невероятным. Она ведь никогда не отделяла себя — свои руки, ноги, кожу — от сознания, она вся была пропитана своим сознанием словно кровью; а случилось бы, что она потеряла руку или ногу,— и у нее тотчас изменилось бы и ее сознание, и все ее ощущения, от самого ничтожного, преходящего, до мироощущения включительно.

Вот уже сорок пять лет она была вписана в окружающий мир точно такая, какая есть, а будет она не такой, не точно такой, и придется начинать сначала, начинать в этом мире неизвестно как.

И, должно быть, поэтому она не верила, что у нее могут быть галлюцинации, вообще ненормальная психика, и никогда не боялась и не стеснялась своих фантазий, принимая их как что-то совершенно природное и естественное, так же, как самое себя физическую.

Все ее мысли и домыслы были ее жизнедеятельностью, самым живучим и самым бессмертным в ней. Вот настанет смерть, и сначала у нее умрут сердце и легкие, а уже потом, по причине их смерти, а вовсе не сами по себе, умрут и ее мысли.

А что?! Мысли готовы были жить сколько угодно, хоть целую вечность, и тоже целую вечность противостоять любым потрясениям и страхам — страху атомной войны или какому-нибудь другому, пока еще не известному людям страху и ужасу.

Она ведь жила, а чтобы жить — жизнь надо ощущать, а чтобы ее ощущать — надо противостоять антижизни. Иначе — и не стоит путаться с жизнью в нашем веке.

И хотя Нюрок, да и она сама себе очень много раз выносила приговор: «С ума сошла!» — все это просто так и только по случаю, по случаю любви, например, в уверенности, что в целом этого нет и не может быть... Пусть принципиально с ума сходит слабый пол — мужской, недаром о сумасшествии в романах и помимо романов пишут главным образом мужчины и о мужчинах, а женщине, помимо всего прочего, надо спасать человечество, а для этого ей надо быть природой... Природа же

никогда с ума не сходит. Ну, закатит скандал, разгуляется стихией, сменит одну климатическую эпоху на другую,— так это не более чем переходное и возрастное, в целом же природа всегда в своем уме.

И это впервые в жизни Ирину Викторовну настигло такое воображение, которого она не хотела и не признавала, которому она противилась всеми силами, но которое все равно схватило ее за горло, за руки, за кожу и там же, в ресторане, свалило с ног...

Кажется, показались тогда в зеркале и лица тех двоих, которые догоняли ее на темной лесной дороге: высокого и молодого, низкого и старого, уже седого... А может быть, мелькнуло и лицо третьего, который ждал ее на дороге, покуривал за поворотом. В тот раз в лесу она не увидела его лица, теперь оно представилось.

Все это было испытанием, вся эта нынешняя ее болезнь,— выдержит она или не выдержит? А если выдержит и будет жить — сможет ли снова допустить к себе свое воображение? Или испугается его навсегда?

Прошло два дня в состоянии очень неустойчивого равновесия.

Прошло три дня.

Ирина Викторовна лежала, стараясь не пошевелить ни рукой, ни мыслью, ничем.

В тот раз, в лесу, ее спасением оказалась неподвижность, почти окаменелость, с которой она стояла за деревом; вот и сейчас — чтобы спастись и жить, надо было сделаться неживой...

И думать тоже не надо было, если она хотела спасти свои будущие мысли, а она хотела их спасти. Чуть что, чуть какое-то волнение, какая-то мысль — она сразу же начинала украдкой поглаживать одной рукой свою другую руку, или лоб, или плечо: «Лежи, лежи! Ни во что не встревай, все кругом — не твое дело. Твое дело — ты сама, все твои клетки, как таковые. А они, представь, лучше тебя знают, как надо себя вести, как надо выздоравливать. Похитри с ними: сделай вид, что тебе нет до них никакого дела, что они предоставлены самим себе — пусть они как хотят, так себя и ведут. Они выздоровеют, а тогда уже ты снова распорядишься ими!»

Она все знала, что происходит вокруг нее, но знала как бы только информационно, очень кратко.

Аркадий телеграфировал на место службы, что опаздывает,— мать находится в тяжелом состоянии.

А это грозило ему серьезными неприятностями... Судя по этому, он все-таки любил свою родную мать.

И где только в человеке находила место сыновняя любовь? И как эта любовь могла с ним ужиться — с шалопаем и даже со злодеем?

Курильский очень тревожился за нее.

Мансуров-Курильский не знал, что если бы не она, а он в свое время серьезно заболел и заставил бы ухаживать за собою свою жену,— он много выиграл бы. Не зная этого, он заботился теперь о ней.

А это тоже кое-что.

Приезжала тетушка Марина — скорбная и благородная.

Приезжала Нюрок — сама готовность все узнать и все понять.

Ирина Викторовна показала ей глазами: «Когда-нибудь...» — «Конечно, конечно!— с той же готовностью ответила Нюрок.— Да разве я тороплю?! Я ведь тоже в долгу перед тобой — помнишь, еще давно, я выпроводила тебя из своего дома? И не один, а целых два раза! А почему выпроводила? Почему обругала твоего Аркашку и тебя тоже? Ты уж извини, но это потому, что я боялась не удержаться и не ко времени рассказать кое-что о себе... А рассказывать надо ко времени».

Ирина Викторовна подтвердила:

«Конечно, конечно».

Звонил телефон...

Канунниковы, Анюта Глеб, Валерия Поспитович, Мишель-Анатоль справлялись о ее здоровье. Мишелю-то-Анатолю это зачем?

Звонил и справлялся Никандров. Очень коротко, всего несколько слов: ну-ну, все мы тут обеспокоены... Все. Дело не ждет... Все мы ждем.

Одна за другой следовали кардиограммы и анализы. Приезжал врач. Мужчина. Он выслушал Ирину Викторовну с удовольствием, но с удовольствием приятным и тактичным, которое поддерживает пациента. «Ишемия!» — сказал врач.

Приезжал другой врач — женщина. Она выслушала Ирину Викторовну без малейшего удовольствия, сказала: «Стенокардия!» — и гораздо меньше понравилась Ирине Викторовне.

Потом снова — первый. Сопоставив оба диагноза, он обрадовался: «Ну, конечно, одним словом — коронар-

ная недостаточность!» Но затем сказал что-то о психологических явлениях, и после этого Ирина Викторовна окончательно стала предпочитать врача-женщину.

Говорят, что больным помогает выздороветь чье-то слово, или улыбка, или солнечный зайчик на блестящем полу.

Ирине Викторовне ничто не помогало, ни один солнечный зайчик, хотя стоило им только появиться на полу или на стене — все равно на чем,— она их уже любила, хотя и знала, что должна выздороветь сама по себе.

Она так и выздоровела: проснулась после глубокого сна и поняла, что кино больше перед нею не крутится и не угрожает кручением.

Сердечко — это, конечно, другое дело, это материя хлипкая, ведет же себя слишком независимо: хочет — выздоравливает, хочет — нет, и ничего с ним не поделаешь.

Вот говорят — будто прежде люди были выносливее — правда ли?

Раньше женщины умирали в обмороках, в душевных потрясениях, а теперь — нет. Вот она отдала дань этому прошлому, проболела недельку, пора, наверное, вставать, закрывать бюллетень. Дела! Нужно заведовать «Тибошкой».

Было раннее утро, по осеннему времени — почти что ночь, воздух в комнате походил на воду, если заглянуть в нее глубоко, но был он легок, легче, чем когда-нибудь прежде, и, вглядываясь в него, в этот воздух, и ничего в нем не увидев, кроме сумеречности и легкости, Ирина Викторовна вспомнила о звонке Никандрова.

«Глупый ты человек,— сказала она ему,— умный, а глупый! Такую женщину проворонить, оттолкнуть запросто! Она же от тебя ничего не требовала, она и дальше оставалась бы хорошим парнем! Да где ты еще такую найдешь, глупый?! Таких больше нет и не бывает, клянусь!»

Ирина Викторовна чуть-чуть всплакнула: никто же не видит, даже она сама.

«Если звонил, так, может быть, и сам понимает, что глупый?»

Она вспомнила, что впервые за время болезни, навестив ее, Нюрок сообщила:

— Гордейчиков уходит. На пенсию.

— Ну, и кто — за него? Кто будет замом у Строковского?

— Не знаю...

Не хотела Нюрок сказать: за Гордейчикова будет Никандров, вот кто.

Странно-то как: человек считает свой КПД в стенах НИИ-9 равным 0,15—0,17 и вдруг становится заместителем директора? А как же со сплавами? С абразивами? Ведь ему не поможет его заместительство, наоборот, он теперь будет меньше заниматься своим отделом, а больше — исполнять директивы Строковского.

Нет, не упрекать хотелось бы Ирине Викторовне Никандрова, не досаждать вопросами, а только узнать ход его мыслей, логику и самочувствие. Не за стеной же все это за китайской, и неужели нельзя во все это хоть краешком глаза заглянуть? Не кому-то там, а ей — и нельзя?!.

Должно быть, так и есть — нельзя...

Надо было бы всерьез подумать — что же с ней действительно произошло? С тех пор как «произошло все»?

Ну, наверное, немыслимо вот так сразу взять, да и понять это, но хотя бы кое-что понять необходимо и даже — немыслимо не понять. И вот она ухватилась за какую-то ниточку своих размышлений и потянула за нее, и получилось для начала так: где-то, когда-то и что-то она, оказывается, потеряла.

С чего-то она ведь начинала, с какой-то самой себя, когда «произошло все», а когда все кончилось — чего-то недосчитывается в себе?

«Где» и «когда»,— она установить не могла, другое дело — «что»: потеряно было чувство самоиронии.

Еще не так давно она посмеивалась над собой и призывала на помощь милицию, чтобы милиция пресекла нелепые действия «этой вот дамы», сравнивала себя с антиамебой, которая почти не живет, а только думает и воображает, но где-то, в какой-то день от этой иронии не осталось и следа, она исчезла. Пустяк?

Для кого как.

У нее после этой потери все пошло на полный серьез, на самый полный! Она как будто бы ушла после этого далеко-далеко от себя реальной, ушла к Рыцарю, с Рыцарем они уходили на остров Жуан-Фернандес и мало ли еще куда, а на самом-то деле разве это был уход от себя? Да ничего подобного — в себя! Она так в себя погрузилась, что вот и надо бы сейчас обратно, а не полу-

чается. Впрочем, если уж болеть, так болеть, безо всяких там ценных указаний самой себе. Разве что только одно ценное и допустимо: долго не болеть!

Потом она подумала о Рыцаре: вот так история, где же нынче он-то?! Где же он был все время, покуда перед нею крутился кинематограф? Покуда она болела, приходила в себя?

И тут Ирина Викторовна поняла, что все, что случилось с нею, случилось и с ним, с ним даже больше, чем с нею. Это против него было задумано кино.

Выдержит ли он этот натиск, вернется ли?

Он появился еще через два дня: вошел в комнату, бросил взгляд на пузатенькие часики-будильник, которые стояли рядом с кроватью, на тумбочке, и недолго и молча посидел около Ирины Викторовны.

Он был как всегда: высокий, голубоглазый и с теми морщинками около глаз, которые у некоторых людей появляются еще в юности, но не старят, а придают лицу особую выразительность... И задумчивость.

Он был несколько больше, чем обычно, застенчив нынче, ее Рыцарь.

Ирина Викторовна прислушалась: могут ли ныть и гудеть у нее ноги? Ноги ныли и гудели — только дай им волю. Они помнили дальнюю дорогу на Владивосток, как будто сами по себе прошли ее всю, от самого начала до самого конца.

У Ирины Викторовны возникло желание пожурить Рыцаря — где был, куда скрывался в такое время? Если серьезно, так он заслуживал хорошего разгона, хорошего бенца. Ирина Викторовна не раз слышала, как мужчины говорят: «Моя-то — дала мне вчера бенца!»

Но, подумав, она промолчала, опыт подсказывал ей, что так лучше, что и с Рыцарем иногда не мешает быть хорошим парнем. Особенно после того, как у них долго не было встреч.

С появлением Рыцаря все в доме окончательно встало на свои места. Иначе говоря, Ирина Викторовна не болела, Мансуров-Курильский снова вошел в роль по части ценных указаний, хотя и высказывал их в более лояльной форме, Евгения Семеновна объясняла минувшую болезнь невестки: «Переутомление! Переутомление и безрежимное питание на работе — я знаю!» Аркашка, умчавшись к месту службы сразу же, как только матери стало лучше, сообщал, что «Все порядке вышлите девяносто пять».

Можно было подумать, что она совсем и не болела, и не переживала всего того, что пережила в действительности.

Все встало на свои места во времени — утро, день, вечер, ночь, снова утро, и в пространстве — дом, троллейбус — автобус, НИИ-9, автобус — троллейбус, снова дом.

Твердый порядок!

А это уже другое дело, что неизвестно, кто же все-таки живет в доме: муж и жена или — не муж и не жена?

Что есть какая-то правда-порядок в том, что в НИИ-9 не полагается опаздывать хотя бы на пять минут, несмотря на то, что КПД этого учреждения равен 0,15 или 0,17.

Что Ирине Викторовне аккуратно звонит Ирунчик и говорит:

— Когда Аркаша уезжал, он просил справляться о вашем здоровье. Как ваше здоровье?

Странная штука — порядок, да еще — твердый. Но что будет за странная штука, если его не будет?

И вот однажды утром, перед тем как торжественно сесть в свою персональную машину, Мансуров-Курильский пил кофе с молоком. Иногда, по желанию, он пьет кофе и без молока, но всегда ест что-нибудь горячее, преимущественно мясное — мясо он любит, а завтрак считает самым главным приемом пищи, хотя отнюдь не пренебрегает и обедом. Тут он пил кофе с молоком, и, поскольку в доме был порядок, он, завтракая, читал газету.

Читает он обычно тоже не только для себя, он при этом и окружающим — жене и матери — передает краткую информацию:

«Еще три самолета. Сбили. Вьетнам».

«Громыко — речь. Европейская безопасность».

«Наши выиграли. У испанцев. Два — один. Футбол».

«Катастрофа. Больше ста человек. Железная дорога. Япония».

И вот в том же самом порядке, в то утро, уже вставая из-за стола, протягивая руку за пиджаком, который, завтракая, Мансуров-Курильский имел обыкновение вешать на спинку своего стула, он сообщил:

— После тяжелой. И продолжительной. Викентьевский. Николай Петрович. Наверное, рак.

Главной и самой интересной темой разговора для Мансурова-Курильского, которую он неизменно затевал и при первом знакомстве, и при встречах с давнишними друзьями, была одна: кто и кого знал, кто и кого нынче знает. Разумеется, знает из числа лиц определенного круга, известных и значительных.

«Ну как же,— говорил Курильский и не между прочим, а задавая очень серьезную работу своей памяти, всему умственному аппарату,— ну как же! Павел Николаевич Л-й курировал сектор в республиканском Совмине, а с тысяча девятьсот пятьдесят девятого года перешел в союзный Госплан. Даже не перешел, а был отозван. А с тысяча девятьсот шестьдесят шестого...»

Курильский страшно возмущался и негодовал, уличая кого-нибудь в ошибках такого рода, ему всегда казалось, что это не ошибка, а очень злой умысел: «Вот хам так хам! Говорит, что давно знает К-го, а я ему один, другой, третий вопросик — и что же вижу? Вижу — пшик! Нет никакого знакомства, нет даже правильного представления! Если бы было правильное представление, так знал бы, что К-й в тысяча девятьсот шестьдесят первом году уже не был заместителем у Р-го, а был начальником главка у С-ва! Вот хам, бывают же, Иришка, люди, а? Ты только подумай!?»

И в силу именно этой привычки Мансуров тотчас вспомнил все, что знал когда-либо о Викентьевском. У него ведь тоже был свой собственный, очень подробный и очень служебный коллективный мужской портрет.

А посмотревшись в кухонное зеркало и поправив галстук, он сказал еще:

— Знал Викентьевского. Встречались на приемах и так. Был на заграничной работе, потом вернулся. Наверное, рак.

Курильский уехал.

Ирина Викторовна взяла газету.

Группа товарищей сообщала, что на пятьдесят девятом году жизни, после тяжелой и продолжительной скончался Николай Петрович Викентьевский, который долгое время работал за границей, а потом — на Родине, повсюду проявляя энергию и организаторские способности.

Еще группа товарищей сообщала:

что он отличался скромностью и деловитостью,

что он будет вечно жить в сердцах всех тех, кто его знал...

А ведь это был ее Рыцарь, это был он — Викентьевский Николай Петрович!

Странно, что Ирина Викторовна, точно помня фамилию, имя и отчество человека и почти точно год его рождения, никогда ничего этого не вспоминала, не произносила про себя... Она ведь знала человека не сознанием, а подсознанием,— для нее так и нужно было.

В этот день Ирина Викторовна должна была ехать в НИИ-9 не с утра, а после обеда,— в последнее время почти всем научным сотрудникам института хотелось иметь так много технической информации, что машины работали на них с утра и до позднего вечера, и вот свои восемь рабочих часов Ирине Викторовне нередко приходилось распределять между двумя сменами: на вторую половину первой смены и на первую — второй.

Нынче был как раз такой день, и до обеда она провела время дома, думая и никак не додумываясь о том, что же все-таки случилось?

Мало ли что с ней случалось в жизни: болезни, выздоровления, поездки, разные встречи, любовь, дни рождения — свои и своих близких, замужество, роды, проводы сына в армию, путешествие на Унтер-ден-Линден, на остров Жуан-Фернандес и в курную русскую избу — мало ли что?— но она всегда могла назвать по имени, тем или иным словом все то, что случалось, и только нынешнее событие оказалось безымянным.

Оно — было, но чем оно было — Ирина Викторовна не знала и чувствовала, что не узнает. Грустно, очень — вот в этом она не сомневалась, но недоумение было еще сильнее грусти...

Где-то далеко-далеко, на другой стороне планеты, сначала жила, а потом погибла ее судьба,— неужели и в таком далеке, почти вне времени и пространства, тоже бывают потери и гибели?

Кроме того, Ирина Викторовна узнала, что после Южной Америки Викентьевский многие годы жил в одном городе с нею, ездил по тем же улицам, по которым ездила она, бывал в тех же театрах, может быть, когда-то они сидели в соседних рядах, но не увидели друг друга? И все это было так же невероятно и так же безымянно...

Доведись ей говорить обо всем этом очень близкому человеку, Нюрку например, и ничего, ни слова она не могла бы ей сказать.

А то, что Мансуров-Курильский не то чтобы близко, а все-таки знал Викентьевского, это казалось ей полным невероятием, абсурдом.

Наскоро пообедав, Ирина Викторовна поехала в НИИ-9.

Села в троллейбус у окна. И, глядя сквозь слегка запотевшее стекло, снова принялась думать — а что же теперь случится с ее Рыцарем?

Троллейбус шел по проспекту, через мост, через площадь и снова по проспекту — обычный пожизненный маршрут. Исполняя его, Ирина Викторовна всегда планировала свое ближайшее существование: что сделать, куда сходить, кому позвонить, о чем прочитать, а кроме того, обсуждала сама с собой свой ЮАВ — Южно-Американский Вариант,— и так была этим занята, что, и глядя в окно, никогда не замечала ни людей — люди были для нее толпой, ни домов — дома были улицами, ни улиц — улицы были городом, ни деревьев — деревья были садами и скверами, они-то механически и отмечали одну за другой остановки. Ирина Викторовна всегда боялась проехать остановку «Гастроном», на которой она пересаживалась из троллейбуса в автобус или из автобуса в троллейбус — как придется.

Она не могла упрекнуть себя в отсутствии наблюдательности и если хотела на что-нибудь в мире посмотреть, то смотрела, видела, слышала, чувствовала и запоминала, но это желание смотреть и помнить бывало у нее не часто, в последнее время и вовсе не бывало, потому что она экономила себя — и свой слух, и зрение, и чувства, и память — для самой себя, для того, чтобы воспринимать не «вне», а «в» — в самой себе.

Должно быть, и для всех людей мир делится на две приблизительно равные части — человек сам и все, что человека окружает, у нее же первая часть все заметнее превышала вторую, и только иногда, сознавая свой долг перед всем окружающим, она почти растворялась в нем, вглядываясь, вслушиваясь и вчувствоваясь в него, как это было с нею не так давно, в день ее сорокапятилетия.

Но нынче, ничуть не ощущая за собою такого долга, такого желания, она все равно видела в окно троллейбуса людей — мужчин и женщин, видела дома —

с окнами и подъездами, с витринами и вывесками, серые, желтые и зеленоватые, видела очень похожие друг на друга деревья — с остатками первого или второго снега на ветвях, видела все вокруг, и это вскоре сильно обеспокоило ее: если она так остро видит вокруг себя,— значит, в ней самой появился какой-то вакуум, на котором нельзя остановить ни взгляда, ни слуха, ни чувства?

Так?

Так оно и было: исчез ее ЮАВ — Южно-Американский Вариант... И не временно, не на день-два — навсегда. Исчез.

Когда она вышла у гастронома и встала в очередь на автобус, начался новый снегопад, сначала редкий и сразу же сгустившийся, почти сплошной и ей пришла догадка, что именно сейчас какие-то люди сквозь этот пухлый и влажный снег несут гроб...

Кто-то плачет сейчас, кто-то молча несет венки с черными лентами, кто-то — ордена на красных бархатных подушечках, кто-то, жмурясь от снега, дует в трубу, кто-то бьет в повлажневший от снега барабан... Совершаются проводы человека в последний путь, и все знают, куда этот путь ведет, но никто не догадывается, откуда он возник, из какой Америки, из какого Варианта...

Ни один человек не знает, какого он провожает Рыцаря, ни один не знает и того человека, для которого это был Рыцарь...

Кажется, даже ее не удивила эта картина проводов — они, наверное, захворали вместе, Ирина Викторовна и ее Рыцарь, в один день. Она захворала в ресторане, за столиком около четырехугольного зеркала, он — где-то еще, он — умер, Ирина Викторовна должна была умереть тоже, и не ее вина, что она все еще живет, но ей не надо было, ей ни в коем случае нельзя было узнавать о его смерти...

До сих пор она не знала — жив Викентьевский или нет, и этого было вполне достаточно, чтобы он жил и существовал в образе Рыцаря и чтобы она тоже существовала рядом с ним в той системе координат, которую она обозначила как ЮАВ...

Но теперь, когда она узнала, что Викентьевский, по существу совсем незнакомый ей человек, умер,— вместе с ним навсегда умер и ее Рыцарь, и вся эта система тоже умерла, разрушилась.

«Все на свете — от существования!— думала Ирина Викторовна.— Все от него. Даже все то, чего нет... Рыцарь умер, сейчас его хоронят. Я узнала об этом и сразу же узнала другое: больше не может быть и Южно-Американского Варианта, нет, не может! Для любого Варианта должно быть что-то существующее...»

Потом она вспомнила о Нюрке.

«Нехорошо-то как! Нюрок дважды выставляла меня из своего дома, это так, но когда я болела — навещала меня, а я — ничего! Никакого участия в ее судьбе! Ясно же, ясно как день: у Нюрка — произошло, вероятнее всего «произошло все» и очень-очень серьезно! Сегодня, в крайнем случае завтра, надо пойти к Нюрку, все как следует узнать... Надо будет запастись сухой жилеткой и пойти к Нюрку...»

«Еще надо будет как можно ближе пообщаться с Анютой Глеб. Без общения можно ведь и потерять человека, запросто можно...»

«Снег-то какой!— поежилась она еще через минуту. Автобуса почему-то долго нет.— Какой густой снег! Очень трудно сейчас музыкантам дуть в трубы, исполнять марш Шопена...»

Подошел автобус.

Она втиснулась с передней площадки, поехала и попрощалась:

«Прощай, остров Жуан-Фернандес! В Тихом океане!»

Ну, а дальше?

Что же, что разность 45—n стала отрицательной?

Отрицательные величины — тоже величины, это обывательское представление, будто они не настоящие и хуже положительных.

Вот пойти да и улыбнуться Строковскому. А что?! Улыбнуться, храня в памяти светлый образ Рыцаря!

Строковскому больше и не надо — одну улыбку со значением, он из таких, которые все остальное сразу же берут в свои руки... Он и возьмет, да еще как!

Но, если разобраться, так ведь Строковский для нее в определенном смысле мальчик. А может быть, и во всех смыслах тоже мальчик... Умный, остроумный, многое знающий, еще больше — умеющий, а все-таки мальчик. Ну, пусть будет юноша, этакий шустрый под-

росток. Доказательства? А вот хотя бы: у нее уже нет и не может быть перед ним ни капли смущения!

Она ведь только что прошла по определенному кругу, о котором Строковский не имеет ни малейшего понятия. Если даже ему усердно втолковывать, что это за круг,— он и тогда не поймет, не сможет.

Она потеряла что-то на этом круге, например, самоиронию, например, годы, но это потери только с одной стороны, а с другой — они могут быть и приобретениями. Во всяком случае, люди делятся на взрослых и детей не столько возрастом, сколько такими вот минувшими кругами.

И пусть будет прав почитаемый Нюрком за умницу француз Ларошфуко, который когда-то сказал, что женщине легче не изменить ни разу, чем только один раз... Может быть, он и в самом деле был умница, этот француз?

Или встретить в коридоре НИИ-9 Никандрова и сказать, чтобы он снова и немедленно уезжал на Северный Кавказ?

К Ахтубеевым — они ведь друзья!

А Никандров не уедет. Не уедет сразу, а только тогда, когда у него снова не будет другого выхода. Он ведь и в тот раз тоже не просто так уезжал, он спасался, и, значит, было все, от чего люди вынуждены спасаться бегством.

А вот она не убежит, нет. Ни к одному Рыцарю.

Не так давно она заметила — издалека,— что Никандров стал светлее. Он не поседел, а посветлел, стал больше поддаваться солнечному и электрическому освещению: освещение тусклое, и он не так заметен, но яркий свет из ламп, из коридорных окон НИИ-9 делает его слегка прозрачным. К такому — опаснее подойти: будешь думать «а вдруг он тоже и. о. мужчины?» Поскольку он ведь не убедил ее в своем умении отказываться — отказываться от должности заместителя Строковского, отказываться, причем в самом начале, от недотрог, когда они ни с того ни с сего бросаются к нему, отказываться от бегства на Северный Кавказ. Мужчина же — настоящий — должен уметь отказываться.

А что?! Ей было просто обвинять Никандрова во всех смертных грехах, когда у нее был ее Рыцарь! А теперь? Без Рыцаря?

1973

КОМИССИЯ

РОМАН

Памяти
Александра Трифоновича Твардовского

Разного облика произрастают леса по великой Сибири...

Одни — прозрачно-зеленые, легкие, другие — и не зеленые вовсе, а иссиня-темные;

одни — в светлых рощах-островках, пронизанных солнцем, разбросаны по степям, по склонам, по речным долинам, другие волнуются на тысячеверстных протяжениях;

одни — вздымаются в горы под самую кромку снегов, под грани вечного льда, другие — ниспадают к северу, к морям и океанам холодным, почти безжизненным;

одни — лелеют буйное разнотравие на лесной своей подстилке, привечают кустарниковую молодь, а в других местах лесной почвы только бурая хвоя, мхи серые и останки мертвых древес.

Но есть и еще леса — ленточными борами зовутся они...

Те вдоль невеликих речек и неширокой полосой разматываются с юга на север или обратно, не известно, как и почему возникая в ковыльном либо в озерном крае земли. И неизменно сопровождает ленточный бор течение то веселых и бойких, то едва тронутых движением вод с древними татарскими названиями: Карасук, Бурла, Кулунда, Касмала, Барнаулка, Алей, Чарыш.

Только не эти малые речушки, а леса при них всюду, где они существуют, преображают степь, сливают свой запах с ее запахом, свой цвет и свет с ее цветом и светом, свое молчание с ее тишиною и шепотом, свой гул и шум — с ее вьюгами-буранами, меняют природу, все степное существо земли.

Весь мир вокруг себя преображают они.

И жизнь человеческая тоже издавна становилась иной при ленточных борах, не степная была там и затерянная жизнь, не лесная глухоманная,— была она просторна пашенной землею и не бедна лесом, его дарами; была не вдали от всего света, но и не жалась, не лепилась к большакам, к путям водным и ямщицким.

Была она сама по себе — со своим укладом, со своею привычкой, со своими корнями, погруженными в лесостепные почвы.

Глава первая

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Какое случилось в боровой деревне Лебяжке событие: там была выбрана Лесная Комиссия!

Наверное, только в Лебяжке это и могло случиться, больше нигде, ни в одной другой деревне, ни в одном селении.

Осень одна тысяча девятьсот восемнадцатого года наступала, жизнь с каждым днем становилась непонятнее: порядка все меньше, страха — все больше, война — все ближе, власть — неизвестнее.

Старики хотели рассудить по деньгам: чьи деньги ходят, у того и власть. Но и тут как было понять: царские деньги ходили, керенки Временного Всероссийского правительства все еще огромными листами, с чьими-то красными и черными напечатками ходили, советские — встречались, а веры никаким не было.

Какая там вера!

До сих пор висело над столом лебяжинского писаря Постановление № 3 Временного Сибирского правительства от 26 июля 1918 года «О регулировании хлебной торговли».

В Постановлении этом говорилось о вольных ценах и тут же указывалось, какими они должны быть: пшеница 690 копеек за пуд, овес — по 573 копейки. Опять же насмешка! Издевательство над мужиком! Над трудами его и всей его жизнью, потому что никто не знает, какая цена той цене?! За эти копейки хлеб свой можно продать, а что и где за них можно купить?

И насмешка эта подписана Председателем Совета Министров и Министром иностранных дел П. Вологод-

ским, министрами внутренних дел, туземных дел и юстиции и скреплена Управляющим Ник. Зефировым.

И давно бы циркуляр этот, указ Временного правительства мужики искурили на цигарки, но сельский писарь слишком густо смазал его мучным клейстером, приклеивая к стенке, испортил бумагу окончательно.

Нет, веры гораздо больше оказалось барахлишку — суконный мужской пиджак, солдатская шинелька, бабья юбка, ребячий картуз, а еще — иголки, спички, нитки — вот это имело цену. Притом немалую.

Размахнулась торговать кооперация, но не всюду дело удалось — где она проворовалась, где ее позакрывали власти, а где так и сами мужики отнеслись к ней с недоверием.

Барахольщики, те оказались надежнее, они же сообщали Лебяжке новости. О Сибири, о России, обо всем белом свете — что и как. Не все правильно сообщали, но и не слабее тех газеток, которые в Лебяжку попадали из Омска, Томска, Уфы, Самары, Челябинска, из Семипалатинска, Новониколаевска, из Барнаула, от различных правительств и властей. Столько их было, временных, что и сама-то жизнь тоже вот-вот временной могла сделаться.

Что было доподлинно известно: в России идет гражданская война!

Не миновать этого пожара и Сибири. Лебяжке тоже не миновать его.

Деревня Лебяжка перед всем остальным миром умела за себя постоять, главное же — умела жить сама по себе — чужого в свои дела не допускать, самой в чужие дела-заботы носа не совать.

Начальство могла ублаготворить, но так, чтобы быть от него подальше, и, когда однажды прошел слух, будто Лебяжку могут сделать волостным, базарным и церковным селом,— всего этого, всех этих почестей лебяжинцы миновали, предпочли ездить на базар в Крушиху, а попика держали скромного, обществу послушного и при малой деревянной церквушке.

При всем том попик доволен был — за послушание общество мздою его никогда не обходило.

И долгие-долгие годы было так, что все вокруг знали — лебяжинского мужика, хоть трезвого, хоть пьяного, не обидь, не задень. Все лавочники и в волости и даже в уезде опасались — лебяжинского не приведи бог обмерить, обвесить, сдачу не дать! Через год, а все равно

ему припомнится, и стекла у него в магазине будут побиты, вывеска искалечена, и сам лавочник тоже в синяках запросто может оказаться.

И даже лебяжинский пьяный лежит, бывало, где-нибудь на дороге, а какой-то мужик проехал и сделал вид, будто ничего не заметил,— лебяжинские и его найдут и спросят: «Ты что же, гад ленивый — да? Гляделками-то худо глядишь — да? Ну мы тебе их подправим, гляделки-то!» И подправят.

О конокрадах разговора нет — они верст на тридцать к Лебяжке не приближались.

А как будет нынче между собой?

Не то за эти годы, за войну, стало лебяжинское общество, совсем не то!

Раньше — кто где встанет на сходе, там и стоит, а нынче? Наперед лезут фронтовики — привыкли митинговать, друг друга агитировать, да и в самом деле — неужто не заслужили они, чтобы быть впереди других? Но это еще немного значит, когда они станут в кучу, громче всех кричат, больше других требуют. Это только вид. Тем более что после свержения Советской власти и они присмирели, при народе не шумят, больше шепчутся между собой, подальше от чужих глаз. А позади где-то становятся матерые мужики, братья Кругловы, смирные, не горластые, а сход могут повернуть по-своему. От фронтовика что возьмешь? Не возьмешь ничего, а вот Кругловы братья, те в долг дадут при нужде. Если захотят.

И еще, и еще делятся люди войной на одних и на других. Одних война сделала калеками, других — вдовами, и вдовы эти молча стоят на сходах, но не там, где стояли бы их мужики, а вовсе в стороне и в забытьи, а вот другим, хотя и немногим, но война пошла в пользу: мужикам на возрасте либо малость покалеченным, хромым, косым, но работящим. Их в солдаты не брали, и вот за военные годы они успели поднять хозяйство, обзавестись машинами, одеть в чистенькое своих баб и ребятишек.

Общественных дел у лебяжинских как никогда: вдовы, сироты и калеки — через два дома в третьем, а кто и чем будет им помогать? И торговли, кроме тех же самых барахольщиков, нет, и поскотина порушена, надо ее городить верст на пятнадцать, и еще — лес.

В лесу, в Лебяжинской лесной даче, надо было наводить порядок, покуда, пользуясь безвластием, окрестные да и свои мужики не вырубили ее до основания.

В такое время для жизни человеческой всего нужнее общество крепкое, дружное, а где и откуда возьмешь и крепость, и дружбу, когда и то, что было, на глазах рушится?

И все-таки лебяжинский сход собрался и выбрал Комиссию.

Выборы были долгие.

Каждый край деревни выдвигал своих кандидатов, кричали и шумели на самом что ни на есть русском языке, и вдруг, что такое — слышится речь немецкая?!

А это, оказалось, лебяжинские, которые были в немецком плену, и австрийцы пленные, несколько человек, все еще проживавшие к тому времени в Лебяжке, выясняют, как у них-то там, в Австрии, поставлено дело с охраной леса. И с отпуском его на дрова и на постройку?

Так на чужом-то языке мало ли до чего можно додуматься? Касается ли дело леса или собственного соседа? Если к тому же с войны мужики вернулись кто с оружием, кто с книжками и газетками про революцию, кто будто бы и вовсе ни с чем, но — с мыслями?

Но как бы там ни было, кто и чего ни думал бы про себя, какие бы мысли ни шевелились в голове, а всем было ясно и понятно: лес нужно охранять, нужно составить нормы отпуска и ценник на дрова и на строительный лес, нужно соседним всем деревням доказать, что Лебяжинская лесная дача — она лебяжинская, а не всеобщая.

На сходе старики так и сказали: когда не сумеем это сами по себе сделать, то непонятно становится, зачем прогоняли царя? Он-то, царь, лес охранять умел, у него, бывало, ни к одной лесине без настоящего сражения с объездчиками не подступишься. Покупай за хорошие деньги билет либо сражайся. А нынче каждый запрягает и едет рубить, сколько ему бог на душу положит.

А Иван Иванович Саморуков, которого совет стариков лет двадцать пять назад назвал лучшим человеком лебяжинского общества, тот, сильно рассердившись, сказал особо:

— Я, хотя и правда, что гляжу глазами-то на белый свет не шибко как, но все одно пойду с берданой в лес и стрелю там первого попавшего мне порубщика!

И хотя известно было, что Иван Иванович от других жителей не отставал и с племяшами своими тоже успел срубить три полномерных лесины и шесть маломерок, это дела не меняло. После разбирайся, что к чему, когда в живого человека засажена будет хорошая горсть дроби.

А что делать тогда с Иваном-то Ивановичем? Он уже и на одно плечо спал, правая половина была в нем выше левой, и борода перестала держаться у него — пустяки какие-то оставались на месте, остальной выпал волос, но он правду говорил и не зря грозился: пора было положить конец собственному разбою в лесной даче. Это урманным жителям верст за триста на север от Лебяжки — тем лес цены не имел, если загорится, так и пусть себе горит, покуда сам не потухнет, ну а в степной местности, рядом с киргизскими степями-пустынями, тонкая ленточка бора — богатство несметное.

И так была выбрана Лесная Комиссия — сокращенно ЛЛК — пять человек, председатель Калашников Петр, а еще — лесная охрана, двадцать четыре человека, по одному от каждых десяти дворов. Но из этих кандидатов уже сама Комиссия должна была отобрать десять человек первой очереди.

Этой десятке, понятно, надлежало быть отборной и самой лучшей: честной и неподкупной, преданной обществу, а не своим личным интересам, проворной и храброй. Мало ли какие могли случиться обстоятельства и со своими порубщиками, а тем более из дальних степных деревень? Те деревни и всегда-то завидовали Лебяжке — что она земли прихватила наилучшие, что притулилась к самому лесу, и нынче они вполне могли сделать настоящий лесной набег. А пока суд да дело, пока по тревоге будет поднято все мужское население Лебяжки, способное к обороне, до тех пор эта десятка должна держать рубежи, стоять твердо. Потому что только дать пример, только показать, что лебяжинские не могут охранять бывшую царскую собственность, которую они сами же во всеуслышание объявили социализированной в пользу своего общества,— охотников на чужое добро враз найдется сколько угодно.

И вот в избе Панкратовых собралась Лесная Комиссия, пять человек, председатель Петр Калашников, и принялась за работу.

Калашников произнес речь такого содержания:

— Граждане и товарищи! Члены Комиссии и другие присутствующие здесь гости! Хозяин и хозяйка этой избы, где мы нонче собрались для наилучшего исполнения народного наказа и поручения! Три, а может, и меньше годов назад нам было странно, что мы, мужики, должны сами делать для себя хотя лесной, хотя и другой какой-то закон. Но после всех уже происшедших революционных пожаров нам вовсе наоборот странно: как это мы, крестьянство, приучены были в веках кормить-поить, одевать-обувать, обеспечивать собственным трудом и гужевой повинностью все человечество, а сами кое-как жили и существовали, потому что закон нашей жизни и нашего существования — это было вовсе не наше дело, нам близко подойти к тому, кто его делает, не позволялось?! Но подумать серьезно, вот хотя бы так, как я лично не один год над пре́дметом думал,— какая же и где она справедливость, ежели я живу, а закон моей жизни мне нисколь не принадлежит, ежели моя жизнь — это одно, а ее закон — это совсем другое? То есть хотя и живу я под законом, но лишь под ним, а более — никак. Я уже от рождения поставлен тем самым на одну досточку с преступником, поскольку у преступника никто может и не спрашивать — нравится ли ему закон либо нет, человеческий он или бесчеловечный? А это, обратно, значит, что уже с детства во мне воспитанный преступник и вор, и нечего удивляться, что, когда сделалась возможность запрячь и поехать, и рубить общественный лес, я, не глядя на собственные мысли, о которых я, как сказал уже, думал не один год, я запряг и поехал, и срубил разное количество лесин, а всего — пять крупномерных и столь же маломерок. И даже забыл при этом, как революция, которую мы сами же, народ, и сделали, отдала этот лес из царских рук в мои собственные народные руки. Теперь нужно понять: а когда бы ни я лично и никто другой этого бы не допустил и не сделал? А единственно можно этого не сделать, когда закон моей жизни, хотя бы и лесной, я бы назначил сам для себя, либо хоть кто-то спросил бы у меня на этот закон моего согласия. Так что, ежели мы нонче хотим прекратить навсегда наше собственное безобразие и воровство, мы должны сделать законником каждого совершеннолетнего лебяжинского мужчину, а может, и каждую женщину, то есть предоставить гражданам свободное слово в нашем грядущем лесном лебяжинском законодательстве, а уже на этой

всенародной основе составить трудами Комиссии закон, истинно обязательный для старого и малого. Мы, Комиссия, призваны лишить каждого гражданина свободы воровства и нарушения общественных правил жизни, а вместо того внушить ему высокую сознательность и общественную совесть.

Товарищи и граждане! Члены Комиссии и другие присутствующие! И особенно сказать — хозяин и хозяйка этого дома, который вы к нашему появлению вычистили и вымыли, что все видят — в дому нынче блестит и сияет так, как и к самому большому празднику не блестит и не сияет! Об чем говорит этот последний в моей речи факт? Он говорит, что с такой же чистотой и светлой душою мы сию же минуту начнем, а затем и кончим исполнение высокого народного наказа. Приступим же немедля к нашему необходимому и тем самым к благородному делу без дальнейших уже речей! И все, кто присутствует здесь, не являясь при этом членами Комиссии, могут побыть в этом светлом дому и вместе с нами еще минуту, еще подумать обо всем, что мною было сказано, и присовокупить к этому собственные глубокие и невысказанные словами мысли, затем сказать спасибо хозяину Кириллу Емельяновичу и хозяйке Зинаиде Павловне и тихо-спокойно удалиться... Дабы Комиссия осталась лицом к лицу со своим делом и прямым назначением.

А дом свой Кирилл и Зинаида Панкратовы вымыли щелоком и натерли каким-то глянцем. На окнах занавесочки, так, будто бы снегом затянуло как раз до половины эти окна, а стекла в них не сразу можно угадать — есть ли они, или их нет, и только прозрачный воздух застыл недвижно в оконных переплетах.

И сам Кирилл Панкратов стоял подле голландки, и, покуда говорил свою речь председатель Комиссии, он был неподвижен, изредка склоняя голову, будто в аккуратном и неторопливом поклоне, а Зинаида, жена его, определила себе место даже поближе к столу, за которым находилась Комиссия. Она была женщиной не очень крупной, но сильной и, как бы даже молитвенно сложив руки на груди, смотрела вокруг с необыкновенным интересом и все больше на члена Комиссии Устинова Николая, лебяжинского грамотея и книжника.

Рядом с Устиновым за столом с блестящей клееночкой сидел Игнашка Игнатов, совершенно непутевый мужик, много лет назад неизвестно как прибившийся к лебяжинскому обществу. Он был выбран в Лесную Комиссию как раз по причине своей непутевости и отсутствия достоинства, на тот случай, если надо будет за кем-то сбегать либо податься в соседнюю деревню и что-то там разузнать-разнюхать, пустить слух, исполнить деликатное дело, на которое никто другой из лебяжинских тратиться не будет, постесняется.

Но Игнашка этого соображения в расчет не брал, а страшно гордился положением члена Комиссии, сидел и поглаживал ветхие на не старом еще лице разноцветные усики.

Игнашка принял взгляд Зинаиды Панкратовой на себя, и заерзал на стуле, и уже обеими руками принялся за усики, но она так на него поглядела и хотя и негромко, но сделала ногой об пол, что Игнашка замер и уперся глазами в потолок.

Вспомнить, так Игнашка был не Игнашкой вовсе, а Мефодием, но не шло к нему это серьезное имя с оттенком какой-то святости. Другое дело — Игнашка! Что по фамилии кликнуть человека, что по имени — почти одно и то же, удобно и слово к слову подходит. Кто-то когда-то оговорился, наверное, назвал Мефодия Игнатием, и оказалась оговорка к месту, пристала к человеку на всю жизнь.

Когда Калашников кончил свою речь, наступила тишина, в которой и на самом деле каждому, наверное, захотелось такой же чистоты во всем мире, которой сияла нынче крестовая изба Панкратовых. И, постояв в ней, в этой чистоте, тишине и спокойствии, гости, человек пятнадцать мужчин, женщин и ребятишек, поблагодарили хозяев и удалились.

Только после этого опустился на стул Калашников, вздохнул, вытер лицо рукавом, поглядел на хозяев.

Те поклонились и тоже вышли из горницы на кухню. Тогда Калашников сказал:

— Ну, товарищи, начинаем! Начинаем с утверждения кандидатов лесной охраны. Покуда мы здесь будем составлять общий лесной закон, охрана уже в пятницу, не позже как в понедельник, должна приступить к обязанностям. У нас, известно вам, выдвинуто от каждых десяти дворов по одному кандидату, всего двадцать четыре человека, но из них мы должны отобрать достой-

ных и честных десять человек. Зачитываю список. Первым идет товарищ Глазков Иннокентий Степанович. Кто — за?

— Не торопись, Петро!— остановил его Устинов.— Зачислим ли мы кандидата либо отклоним его, необходимо не просто голосовать, а указать всем понятную причину нашего решения. Мы обязаны и нашему обществу и каждому кандидату доказать на фактах, почему к нему проявлено то ли положительное, то ли отрицательное отношение!

— Это верно!— поддержал Устинова еще один человек Комиссии, Половинкин Михаил.— Не солдатская служба исполняется, чтобы скомандовать: «Десять человек — три шага вперед!» Служба общественная, другой коленкор!

— Так ить это мы со всеми, сколь их есть кандидатов, двадцать четыре человека, да сколь при кажном из них разных фактов, так мы до утра здесь просидим?! С ихним с обсуждением?— встрепенулся Игнашка Игнатов.

— И просидишь!— ответил ему Калашников.— Правильно замечено,— благодарю членов Комиссии за ихнюю поправку — нам обязательно нужно обсудить все соображения наших решений и занести их в протокол. Кто имеет высказаться по Глазкову Иннокентию Степановичу?

Действительно, так и случилось: Комиссия закончила с делом уже за́ полночь, так что Зинаида Панкратова дважды кормила ее пшенной кашей на молоке и с яйцами, очень пахучей, золотистой.

В протокол № 1 заседания Комиссии от 7.IX.1918 г. было записано:

1. Товарищ Глазков Иннокентий Степ.

Здоровьем не страдает. К лесной объездческой службе годный, бьет с правой и с левой одинаково, но не здря. Зачислить в охрану единогласно.

2. Товарищ Аниканов Евстигней Никол.

Корыстный. Кажный день будет хотя бы помалу, но требовать в свою пользу и жаловаться, что худо живет. Отклонить.

3. Товарищ Куликов Андрей Петр.

Хороший хозяин и годный к любому делу. Наряду с этим учит в своей избе ребятишек с дальнего края деревни письму, чтению, устному счету. И далее пускай учит, а от охраны отклонить по причине занятости.

4. Тов. Куликов Семен Петр.

В 1909 г. замечен был на Крушихинской ярмарке в присвоении чужих денег 7 руб. 28 коп. Отклонить.

5. Товарищ Семенов Николай Никол.

Подходит полностью, а возражениев не находится. Зачислить.

6. Тов. Убёгов Алексей Артем.

Три раза горел в собственной избе: в 1901, в 1912 и по прибытии уже с фронта в текущем 1918 году. Так что, будучи в охране, лес пожгет непременно. Отклонить.

7. Тов. Глазков Гавриил Александр.

Зачислить, но особо указать на сильную гордость и склонность к пререканиям, не годную для службы в лесной охране.

8. Круглов Прокопий Семен.

К политически благонадежному крестьянству не относится: прошлый месяц на свадьбе собственной дочери Елизаветы запевал «Боже, царя храни» и агитировал к подобному пению всю свадьбу. Отклонить.

9. Товарищ Гуляев Серафим Михайлов.

К охране вполне годный, но чересчур смиренный и непременный, так что от общественной просьбы никогда не отказывается. Зачислить, но предупредить, чтобы на общественной службе не разорил бы свое хозяйство и собственных ребятишек.

10. Тов. Гуляев Владимир Ив.

Вполне годный к службе в лесной охране. К сожалению, имеет давнюю ссору с барсуковскими мужиками, так что при встрече с ними в лесу может слишком быстро повернуть против них любой вид оружия. Отклонить.

11. Тов. Кузнецов Иван Иван.

Оружие вообще и никогда давать в руки нельзя — наделает делов. Отклонить.

12. Тов. Глазков Федор Алекс.

Покуда зачислить, но когда сход голосовал Глазкова Ф. А., он выказал к этому свое небрежное отношение. Поэтому предупредить, что общество в таких небрежниках не сильно нуждается, так что в любой момент может обойтись и без него.

13. Товарищ Панкратов Кирилл Емельянович.

Зачислить и предупредить, чтобы был попроворнее.

14. Товарищ Митрохин Афанасий Купр.

За отсутствием возражений — зачислить.

15. Товарищ Куропатин Александр Александрович.

Старый уже (1849 год рождения). Отклонить.

16. Куприянов Матвей.

Молодой еще, хотя и здоровый. Отклонить.

17. Тов. Убёгов Василий Никол.

Единогласного мнения о товарище в Комиссии не имеется. Зачислить и поглядеть, кто из членов Комиссии был прав, а кто нет при обсуждении данной кандидатуры.

18. Тов. Митрохин Борис Леонид.

Много гуляет не совсем известно где. При зачислении в охрану окончательно отобьется от дома и семьи. Отклонить.

19. Тов. Куропатин Георгий Александр.

В старшие охраны не годится, но в рядовых начнет куражиться, будто старший. Отклонить.

20. Евсеев Гр.

Даже смешно было выдвигать такого кандидата. Откл.

21. Тов. Лебедев Терентий Мих.

Пущай и далее играет на австрийской гармонии. Отклонить.

22. Тов. Гуськов Дм.

Какой это охранник, когда он сам в 1911 годе потерял собственного коня-четырехлетку с телегой и с двумя кулями муки-крупчатки? Отклонить.

23. Товарищ Евсеев Леонтий Афанасьевич.

Этот в лесу — ровно дома. Зачислить как будущего примерного и скромного охранника. Поглядеть дополнительно, чтобы назначить старшим охраны.

24. Григорьев Л. М.

Сроду не имел никакого общественного интереса и неспособен к нему. Зачислить для приобретения общественной практики.

Протокол писал Дерябин. Дерябин этот еще в пятнадцатом году вернулся домой по контузии, но и сейчас прибыл в избу Панкратовых, будто прямо из окопа: в шинельке, в гимнастерке, побриться ему не было минуты, тем более подстричься.

Писал он старательно, извел половину целого, до того еще не зачиненного карандаша, поплевывал на карандаш и слюнявил его, густо разукрасил себе рот, и протокол тоже оказался пестрым — местами буквы

очень яркие, блестящие, а где писалось насухо, там их видно с трудом.

Устинов же вникал нынче в дело только поначалу, потом над чем-то задумался.

У него было светлое, насмешливое лицо, вот-вот он улыбнется и засмеется, но ни улыбки, ни смеха нет и нет, а вот задумчивая какая-то усмешка — та неизменна.

Лампа в горнице на клеенчатом столе светила ярко, потрескивала фитилем. Удивительно, но была она заправлена настоящим керосином.

Керосина в Лебяжке вот уже больше года как днем с огнем ищи — не найдешь, но Зинаида Панкратова и тут расстаралась: только наступили потемки, заправила лампу, зажгла ее, и вот горел этот яркий свет до сей поры.

Член Комиссии Половинкин поглядывал на веселый огонек, поеживался и вздыхал: он был мужик работящий, экономный и совестливый, он, конечно, не мог не подумать о том, какой урон Лесная Комиссия наносит хозяевам, и казнился, чутко прислушивался — может, в кухне, где хозяева нынче находились, Кирилл уже ругает свою бабу за такую растрату?

Но там тихо было, непрерывно гудела прялка, а чем занимался Кирилл — понять было нельзя.

Вернее всего, сидел и ждал: как и что о нем-то решит Комиссия — он ведь тоже был кандидатом в охрану? Слава богу, соображал Половинкин, в охрану Кирилла зачислили, хотя и с наказом — быть попроворнее. Это уже лучше. А если бы весь чистый его дом сапогами затоптали, да керосин пожгли, да потом еще и отклонили бы его — вовсе уже было бы Кириллу худо, не по себе. Разобраться, охрана эта — одни только хлопоты и заботы, но если тебя выдвинули кандидатом куда-нибудь, а после отклоняют — неловко получается. И Половинкин никого не отклонял, только Куликова Семена, замеченного в присвоении чужих денег на Крушихинской ярмарке в одна тысяча девятьсот девятом году. Тут он действительно был против.

Когда все члены Комиссии расписались под протоколом, Петр Калашников сказал:

— Завтре что перво-наперво сделаем — соберем кандидатов, двадцать четыре человека, зачитаем им этот протокол. Затем окончательно и в совете с утвержденными кандидатами назначим старшего. Я думаю, стар-

шим будет Евсеев Леонтий, лучше, чем он, на должность никто не найдется. Распорядимся также, чтобы все они разжились бы оружием. По нонешнему времени, когда понатащили этого добра с фронту едва ли не в каждый двор,— это несильно трудная задача!

— А еще после мы, Лесная Комиссия, кого будем делать?— поинтересовался Игнашка Игнатов.— По какому вопросу? Какие писать протоколы?

— После-то, можно сказать, самое-то главное и начнется, товарищи Комиссия!— стал разъяснять Калашников.— Инструкцию лесной охране составить надо? Надо! Правила взысканий за самовольные порубки — надо? Надо! А ценник на лес? А правила отпуска леса? Общий закон, чтобы в нем было все усмотрено — восстановление леса, правила пастьбы, сенокоса и охоты, хранение лесных документов и планов, положение о таксации — голова кругом сколь предстоит делов! Я, сказать по правде, на Устинова сильно надеюсь. Ты ведь, Устинов, грамотный, и по лесу тоже, ты еще с царскими таксаторами работал!

— Давно было,— вадохнул Устинов.— Парнем я еще был. Не женатым еще. Ну а забыть-то я не забыл ничего. Все помню...

Устинов и еще хотел сказать что-то, но его перебил Игнашка:

— И куды их столь, разных законов?! Не пойму я никак! Сделать бы один только, но всеобчий закон: руби и вообче воруй, кто сколь сможет и как умеет! А тогда и слова бы этого не было — воровство! И суда не надо, и никакой бумаги, никакой Комиссии. Да энтими бумагами хоть гору навороти — человек все одно через ее перелезет и сопрет, чо ему нужно!

— Игнатий!— чуть не в голос крикнул Калашников.— Ты кто, Игнатий: контра либо другой какой враг трудовому человечеству?! Или ты все ж таки член нашей Комиссии? Отвечай!

— Да я же просто так!— забоявшись и подергивая себя за усы, стал оправдываться Игнашка.— Просто так, а более, ей-богу, ничего. Я ведь на все согласный! Ну, пущай законов будет множество, лишь бы строгости было поменее — все одно она ни к чему. И не для того же народ царя спихивал, чтобы после обратно ни к какому добру прикоснуться нельзя было? Чтобы снова и это было чужое, и то — опять чужое, и третье и пятое-

десятое, а моего как не было, так и нет?! А я не согласный: мое тоже где-то должно быть! Обязательно!

Петр Калашников совсем было вышел из себя, покраснел, хотел что-то крикнуть, но его перебил Дерябин:

— А будет совсем наоборот тому, как ты говоришь, Игнатий!— сказал он строго.— Ты ведь как учитываешь? Ты учитываешь, будто власти нонче нету никакой. Если какая-то и есть — так далеко, в городе и на железной дороге. Так что она тебя не достанет. Но ты не понял, что лесная охрана, которую мы собственными трудами нынче сформировали, она единственная вооруженная и настоящая сила в Лебяжке и даже далеко вокруг. А когда так, то она может в любой момент взять в руки не только лесной, а любой закон гражданской жизни. И тебя, и кого-то другого, когда это будет необходимо, она запросто сможет взять за ленóк и надвое переломить! Вот это дело ты учел?

Игнашка заморгал.

А Устинов, даже не в продолжение разговора, а так, сам по себе, начал соображать вслух:

— Леса даже главнее в нашей местности, чем пашня! На пашне, на каждой десятине — свой хозяин, кто как умеет, так и пользует ее, никому в голову не явится — перешагнуть чужую межу. А лес? Хозяина у леса нет. Из Кабинета царского он вышел, народным стал, и народ обязан показать — хозяин он либо только разбойник, что отымать — может, в морду бить — может, а хозяйствовать разумно — нету его! Может он сделать так или нет, чтобы кажная уворованная лесина позором была? Чтобы человек стеснялся в той избе жить, в которую эта лесина положена? Чтоб в ту избу и девку взамуж не выдавали?

— Чего захотел!— отозвался Половинкин.— Когда вся жизнь кругом — воровство и спекуляция! Не жизнь — облако пустое: гремит, а дождя и капли нету.

— Ну хватит облачностью-то заниматься. И небесами!— снова заметил Дерябин.— Вот ежели по правде, чего ты-то хочешь, Половинкин?

— Закона хорошего хочу я, Дерябин. Закона жизни. Чтобы как ровно пару рабочих коней запречь его да и поехать на ем куда нужно!

Петр Калашников подумал, вздохнул и сказал:

— Ну, до завтрева, товарищи!

Члены Комиссии зашаркали под столом ногами, собираясь встать и пойти по домам, но тут стало слышно, как открылась дверь в кухню — кто-то зашел с улицы. Зашел и сказал:

— Хозяева-то во сне, поди-ка, уже?— Никто не ответил. Хозяева — Кирилл и жена его, должно быть, верно что притомились и уснули, но гостя это ничуть не смутило, и он подтвердил:

— Ну, и пущай, правда, спять! В этакую-то поздноту.

Первым догадался Игнашка:

— Это, мужики, товарищи члены Комиссии, это сам Иван Иванович явился. Саморуков!

Приоткрылась дверь из кухни в горницу, показался Иван Иванович. Правое плечо, которое было у него повыше левого, он пропустил вперед, потом скинул шапку, перекрестился, поморгал на яркий свет и вошел весь. Сказал удивленно:

— При карасине сидите-то? И не врете, что при настоящем карасине? А?

— Нет, мы не врем, Иван Иванович!— заверил Игнашка.— Даже нисколь: энто у нас тут истинный горит карасин в лanпе. Садитесь, будьте добреньки!— И подвинул свой табурет, а сам умостился на подоконнике.

Иван Иванович сел, зевнул, разгладил пестренькую шерстку, не густо разбросанную по всему лицу, вынул из кармана щепотку табаку, но раздумал толкать ее в нос, а бросил обратно:

— Ну? Ну и как вы тут, товарищи, Лесная наша Комиссия? Товарищи вы либо господа?

— Мы — товарищи!— снова подтвердил Игнашка.— Мы беспременно оне!

— По-другому сказать — так власть и начальство?

— Ну, какое там!— не без сожаления вздохнул Игнашка.

— А што, Игнатий? Без власти, без начальства ни к чему все одно не подступишься. Разве что к собственной бабе. Ну а скажи — тебе-то какие наиглавнейшие заботы в Комиссии в энтой?

— Мне-то?

— Тебе...

— А разные, Иван Иванович! Как бы в дураках не остаться! Как бы и мне тоже одну бы, а то и другую бы хорошую лесину поиметь! Однем словом, дураком неохота быть!

— Вот она — самая великая беда всего человечества! — громко и сокрушенно вздохнул Петр Калашников. — Игнатиев Игнатовых развелось среди людей слишком уж много! И едва ли не в каждом нонешнем человеке сколько-нибудь да сидит Игнашки. В одном более, в другом — поменее, но сидит и ждет своего часа. Настает час, и тогда Игнашка берет свое и мутит светлую воду и человеческое сознание, а когда сделано что-то по уму, он обязательно переделает на глупость. Почему так? Да вовсе не потому, что ты, Игнатий, сильно глупо́й от природы, хотя, конешно, может быть, и это. Но потому еще, что так человеку удобне́е и легче, так он живет себе и живет, как поросенок, а к человечески трудному не прикасается, избавляет себя от его. Лень бывает человеку человеком быть, а то, наоборот, недосуг быть им. Трудное это слишком для многих людей занятие — быть человеком.

— Вот-вот! — согласился Иван Иванович. — Ить куда ни кинь — все временное: деньги — временные, власти — временные, законы — временные. Гляди-ка — и вся-то жизнь тоже временной сделается, а тут уж Игнатию ход дак ход! Тут ему — жизнь дак жизнь!

— Но мы, Иван Иванович, в нашей Комиссии должны прививать людям сознательность во что бы то ни стало! Всем! Хотя бы даже Игнатию! — заверил Калашников.

— Понятно! — кивнул Иван Иванович. — Энто вроде как по воде пешком ходить. У святых получалось. Но, припомнить, дак тоже не у всех.

А Дерябин откашлялся и обратился к Саморукову на «ты»:

— И что же ты пожаловал к нам, Иван Иванович? Зачем?

Иван Иванович снова опустил руку в карман, на этот раз он уже аккуратненько толкнул щепотку в ноздрю и чихнул.

— Вот ведь ишшо день прошел... Ночь уже поздняя, а дня — как и не бывало.

— Ну, так и что? — пожал Дерябин плечами.

— Интересно — как день-то сгинул... Ну, как, к примеру, сгинул он в вашей в Комиссии? Зачем?

— Мы время здесь не теряли, Иван Иванович, — ответил Калашников. — Нисколь! Мы Комиссию открыли нонче торжественной речью, утвердили лесную охрану десять человек. И первым у нас идет в той десятке това-

рищ Глазков Иннокентий Степанович, вторым — товарищ Семенов Эн Эн, а третьим...

И тут Калашников осекся, замолчал.

Ведь, в самом деле, как получалось? Получалось, будто сто́ит только Ивану Ивановичу заглянуть на огонек Лесной Комиссии, и председатель тут же делает ему полный отчет.

Года два-три назад все, наверное, так бы и было. Года два-три назад и представить было невозможно, чтобы общественное дело решалось без Ивана Ивановича. Но ведь нынче-то — не старый режим? Господ нет, даже господ-стариков! Так что Иван Иванович, может, уже и верно — человек самый отсталый, старорежимный и несознательный?

И вот уже член Комиссии Дерябин сердито откашлялся и сделал рукой движение, как бы спрашивая: «Что же это ты, председатель? Да разве можно?» А другой член Комиссии, Половинкин, наоборот, молча и без всякого движения уставился на Калашникова. Тогда Калашников посмотрел на Устинова — тот-то как думает?

Но, прервав долгое молчание, Иван Иванович сам к Устинову обратился:

— Скажи-ка, Николай Левонтьевич, об чем тебе нонче думается? А?

— Как это? — не понял Устинов и встрепенулся, вышел из своей задумчивости.

— Да ить я знаю, Никола, ты в своей мысле всякий раз сперва вроде бы в горку молчком забираешься. Ну, и куды ж ты нонче взобрался?

— Разное думается мне... Думается: это сколь же во вред и на погибель самому себе человек может сделать? Войну может сделать на гибель миллионам, бомбы бросать с аэропланов, газ пустить друг на дружку, один из народов может совсем изничтожить другой какой-нибудь народ, и все — на «ура» и с восторгом. По-геройски. А вот на малую хотя бы пользу себе — не умеет делать человек. Вот затеваем охрану и разумное пользование лесом, и уже в ту же минуту не ясно: а сможем ли? Не вовсе ли зря начинаем? И может, все одно толку не будет?

Иван Иванович потянул носом, вздохнул и сказал:

— Правильно, Устинов. Я тоже сколь разов головой-то думал: почему для хорошего дела пушки не выдумано? Чтобы зарядить бы ее хорошим словом, прицел

бы взять, пальнуть,— и вот оно, хорошее дело, свершилось! Явилось от прицельного попадания! Не выдумана покудова такая пушка, Никола?

— Нету, Иван Иванович! Покуда — нет...

— А жаль! И сильно жаль-то: уж очень она необходимая, такая пушечка, по нонешнему времени! Очень и очень!

Калашников поворошил свою кудлатую голову и задумчиво стал вспоминать:

— Я, было время, на дьячка пожелал выучиться. Сильно увлекался религией, а более всего — обрядом церковным. «Новую скрижаль или объяснение о церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных» наизусть выучил. Ровно азбуку. Священник, бывало, забудет, почему на вечернем входе к службе он идет прост, то есть с опущенными руками, ничего в них не имея. А я помню: «дабы показать, что Христос, будучи по существу бог, нас ради принял человеческую плоть и явился в этом смиренном образе». Или вот поп Константин, хороший мужик, но беспамятливый, шепчет мне: «Петька! Как там о покаянии сказано?» Я мигом те строчки припомню, в которых о сем сказано: «Если христианин согрешит после омытия грехов в купели крещения и вступления через него в завет благодати, то он к исправлению своему не имеет другого средства или таинства, кроме сего — покаяния!» А посему же — покаяние есть второе крещение, и чувство явится после его как бы второго рождения! И вот я нынче тоже думаю: как большое дело затеешь, так вроде бы второе рождение тебе выходит, для всей же предыдущей жизни — покаяние! Не потому ли и хватаются люди за самые разные и новые дела? Заново-то родиться каждому ведь охота? А прежнюю жизнь в купели нового дела — смыть? Будто ее и не было!

Дерябин засмеялся, Калашников ему кивнул, согласился:

— Правда что смешно! Но только я не объяснил еще — почему мне церковный-то обряд полюбился тогда? А вот почему: мне воплощение слова в действии человечества полюбилось. Сказано было: «Мысленное солнце правды, Христос явился с Востока», и вот уже в действии люди молятся на Восток! И так во всей службе. Ну, а когда так — может, и в жизни это тоже доступно — обойтись без действий бессмысленных и незначащих? Соединить слово с делом?

— Ты поповщину-то бросил бы, Калашников! — посоветовал Дерябин. — Ей здесь, в Комиссии, вовсе не место!

— Брошу! — опять согласился Калашников. — Почто нет? Тем более что я и в жизни своей — всем это известно — вскоре от религии отошел, а кооперацией пуще того занялся и увлекся! Но как с тобой когда-нибудь происходило — тоже ведь из памяти не выбросишь.

— Тебе ладно было разным увлечением заниматься, Петро! — вздохнул Половинкин. — За тебя сперва старшие братья робили, после — взрослые сыновья, а ты с такими вот руками-ногами, с этакой силищей, знай себе увлечением занимался!

Члены Комиссии, все как один, посмотрели на Калашникова с завистью, тот на минуту смутился.

Иван Иванович, со значением и понятием посопев табачным носом, спросил:

— А не страшно вам нонче, Лесная наша Комиссия? Нисколь не страшно, да и все тут?

— С чего бы нам страшиться-то, Иван Иванович? — отозвался первый Николай Устинов и взъерошил на голове беленький любопытствующий хохолок. — С чего бы?

— Да со всего! Со всего, как есть! В нонешнее-то времечко, в столь худое, кажное общественное дело — оно сильно рисковое! Нонче кому вы не по карахтеру, не так сделаете, Комиссия, тот на вас не просто уже будет обижаться, а с оружием в руках. И по всему-то государству нонче то же самое: какая бы власть, какая бы кооперация, какой бы порядок ни был, а следующий, кто посильнее, приходит и все энто изгоняет уже не куда-нибудь, а в каталажку! Дак энто хорошо, ежели — в каталажку, а то дак ить и под расстрел — вот куда!

— Ну, вы тоже скажете, Иван Иванович! — развел руками Устинов, а потом и прибрал ими, двумя, свой хохолок на голове. — Скажете, вот те на! Не-ет, мы, Лесная Комиссия, свое дело сроду до оружия не доведем. Зачем нам? У нас интерес не государственный, не политичный, а всего лишь лесной. Всего лишь природный. Не более того.

— Ладно, когда бы так! — согласно кивнул Иван Иванович. — Ладно, да и хорошо бы. Да вот и ночь давно уже настала, товарищи мужики! А вы и по сю пору чужой карасин жгете!

Калашников обрадовался:

— Дак я же давно объявлял учредительное наше заседание законченным! Пора уже нам и расстаться всем до завтрашнего дня, до обеда! Как не пора?!

Глава вторая

СУПРУГИ ПАНКРАТОВЫ

А хозяевам Панкратовым в ту ночь не спалось.

Они лежали — один на полатях, другая — на печи, но не спали оба, слышали, как Иван Иванович приходил в дом, как Лесная Комиссия потушила керосиновую лампу и разошлась окончательно.

Когда тихо совсем стало и темно в избе, Кириллу вспомнилось о том, какое решение приняла Лесная Комиссия... Под несчастливым № 13 в списке лесных охранников было записано: «Товарищ Панкратов Кирилл Емельянович. Зачислить и предупредить, чтобы был попроворнее».

А ведь напрасно записано — проворным Кирилл Панкратов никогда не был и не будет. Это только для блезиру, чтобы не обидеть хозяина избы, в которой Комиссия нынче собиралась и еще не раз отныне будет собираться.

И Кирилл удивлялся — для чего блезир? Что за игра?

Вчера думал: может, это обязательно — держаться за такую жизнь, которая как у всех? Нельзя без этого? Нельзя от белого света отворачиваться?!

А нынче догадался: можно не стесняться и не бояться людей, когда ты сам от них ничего не хочешь! Когда одно тебе нужно — чтобы они оставили тебя в покое! Когда устал ты от них, опостылели они тебе своею бесчестностью, своим великим множеством, и каждый в отдельности сам по себе.

И когда он так догадался — легкость и простота почувствовалась ему всюду, в самом себе — больше всего. Он ли виноват перед людьми, они ли перед ним — теперь это уже все равно, уже поздно разбираться, уже ни к чему. Что за эти годы военные, жестокие случилось — то случилось, назад не повернешь.

Многое случилось... Воевал Кирилл, ранен был, снова воевал и угадал в конвойную команду. И там однажды было приказано ему двух пленных немцев расстрелять. Ночью. Туманной, дождливой. Темной. Почему, за

что обходились с ними так,— он не знал, а еще не знал, как вернуться после того ему в Лебяжку, домой, к жене Зинаиде. В панкратовском раскольничьем роду военной службы многие поколения сторонились, скрывали парней в лесу, в тюрьмах сидели за отказ служить. Кирилл да еще двоюродный брат его Вениамин первые приняли трехперстный крест и пошли служить. И вот сразу в какую переделку пришлось попасть. Жене своей Кирилл внушал и внушал разные мысли против войны и убийства, а вот как самому пришлось сделать? Вот какая страшенная жизнь получалась у него нынче в своем собственном доме.

Вот он — мужик, а от бабы своей во всем зависит, и смеются люди над ним. Пусть смеются.

Комиссию Зинаида зазвала в дом, Кирилл возмутился было, потом махнул рукой — и пусть зазвала.

В Комиссии в этой она, может, подомнет кого-нибудь из мужиков, а то и всю ее начнет крутить-вертеть по-своему — пусть!

Неловко чувствует Кирилл себя при посторонних мужиках в собственной избе — пусть неловко!

Не спится нынче Кириллу, не идет сон к нему — пусть не идет!

Он даже и не сразу догадался, как случилось, от чего хорошо ему и спокойно, а когда понял — хотел свеситься с полатей и сказать об этом жене, он знал, что она тоже не спит.

«Зинаида!— хотел сказать он ей.— Мы вот сколь с тобой ссорились из-за этой Комиссии,— мне она не нужна была в своем дому, не хотел я ее, а ты хотела... Ну, твоя снова взяла — вот она, Комиссия, заседала в нашей избе до полуночи, и ты довольная этим. Я вижу — сильно довольная ты! Ну и ладно. И пусть тебе и дальше будет твое удовольствие! А мне так все одно. Лежу и чую — мне все одно, все на свете, кроме одного занятия: кроме резьбы по дереву. Чую ее, деревянную, пахучую, из витка в виток, из узора в узор сложенную, чую самого себя только при ней, ни при чем больше, все для меня в ней — и земля, и небо, и ты, Зинаида, и тем более — я сам, Кирилл Панкратов. Резьбу я в любую минуту готовый делать, а больше — ничего! Ну, еще кусок хлеба нужóн мне, еще, само собою,— инструмент для той резьбы, а когда это будет — у меня слова не найдется сказать тебе поперек! Да живи ты как хошь, с Комиссией с одной, а то и с двумя! Что мне — Комис-

сия? Они все равно ничего не сделают, не произведут на свет божий никакого предмета, никакой истинной красоты, чтобы поглядеть на нее, потрогать руками, подумать: «А вот этими же руками ты, Красота, и сделана! Вот эти руки в земле изойдут прахом, а ты останешься, ну так и помяни их! Рассказывай, Красота, о них людям, удивляй людей. Прощай людям их грехи — кровь и убийства!»

И от нездешней жизни, от далекого чего-то покружилась у Кирилла голова, и он думал: «Ну, а есть ли оно, все то, остальное-то? Существует ли? Может, остального, вправду, уже нету — провалилось в тартарары?»

Кровь была на войне — страшная. Ну, и пусть ее была!

Кровь еще будет впереди — ну, и пусть ее будет, а Кириллом Панкратовым его жизнь все равно будет прожита, его дело им все равно будет сделано, его душа и без него не истлеет!

Но ничего, ни слова Кирилл жене своей не сказал. Промолчал.

А ведь жизнь Зинаидина в Лебяжке действительно с того и началась, что она взяла верх над мужиками.

Давно случилось, летом 1894 года, но все равно каждый лебяжинский житель об этом случае знал и помнил.

Деревня Лебяжка — чалдонская, коренная, твердо держалась своего порядка, и, сколько ни просились вступить в нее российские ходоки, никому не удавалось, всем лебяжинцы отказывали.

Ну, чтобы было не совсем уж против бога, чтобы не обижать переселенца, кинут ему на телегу хорошую охапку сена и овса сколько-нибудь, сунут в руку буханку хлеба, если переселенец с ребятишками,— прикажут первой попавшейся бабе напоить ребятишек молоком, сколько выпьют, и — Христос с тобой, не поминай, милай, лихом! Вот эта дорога на Крушиху, та — на Барсукову, барсуковские, слыхать, переселенцев принимают!

Эти лебяжинские порядки всем окрестностям были знакомы, и сами лебяжинцы о них любили говорить и повторять: «А у нас вот как заведено...»

Но тут случилось, что нарушено было это заведение.

Стояла девчонка годов пятнадцати перед сходом и объясняла, что прибыла она с больным отцом и со

старухой матерью с самой Тамбовской губернии, а брат ее старший помер в дороге, и вот она просится в лебяжинское общество, тем более, что угадала приехать на самый сход.

Девка чумазая, в дорожной пыли-грязи, волосенки на голове скатанные, две кое-какие косички, а промеж ними еще лохмотушки болтаются, кофтенка драная, сама босая, ни дать ни взять — нищенка. Но стоит прямо, росло, говорит с мужиками смело, хотя и детским, каким-то вовсе не сильным голоском.

И стояла тут же на площади перед нескладным помещением лебяжинской сельской сходни тощая кобыленка, запряженная в телегу не в телегу, в арбу не в арбу, а бог знает во что такое, во что-то неизвестное, но с колесами, и на этом на чем-то стонал под рядном скрюченный мужичонка, и сидела рядом с ним старуха, тоже кости да кожа, кивала головой и твердила:

— Вот как! Истинный бог — вот как! Бог истинный...

Лебяжинские девчонку спросили:

— Истинный-то истинный, так ведь мы мужиков пришлых и тех в общество свое не берем, не надеемся, что они вскорости хорошими хозяевами сделаются, на ноги станут. А тебя взять? Это что же — всех трех, когда вы живые останетесь, поить и кормить?

— А как же по-другому-то?! — удивилась девчонка. — Конешно! Конешно, кормить, не с голоду же помирать мы к вам просимся, мы жить к вам просимся!

— Нет, вы поглядите на эту девку, мужики! Поглядите на ее, что она выдумала?

— Так и вы тоже поглядите на себя, лебяжинские, — мужики вы или кто, когда боитесь все вместе, сколь вас тут есть, трех православных какое-то время прокормить? Спрашивать вас об этом и то страм и стыд!

— И сколько же нам годов придется тебя кормить?

— Три года. Может, и четыре.

— А после?

— После-то я взамуж пойду бог даст, нарожу мужчин настоящих. Может, у вас в обществе таких и не бывало совсем! И еще, когда примете меня с родителями, то я, господа старики и прочие все, я вовек этого не забуду, вечная вам будет благодарность от меня человеческая! И неужели она вам не нужная совсем, такая благодарность?

Тут и поднялся Иван Иванович Саморуков — он уже в то время был в Лебяжке старшим стариком, лучшим человеком, поднялся, громко плюнул под ноги:

— Тьфу! Это, мужики, зараза так зараза, прогнать ее невозможно, никуда от ее не денешься — надо принимать! Хотя и хлопотно от ее будет, но — надо!

Тронула Зинка Ивана Ивановича.

А кроме того, что она тронула его за душу, Иван Иванович вспомнил, что начальство давно грозит ему за постоянные отказы переселенцам.

Как-никак, а лебяжинское общество имело хороший надел из расчета по пятнадцати десятин на ревизскую душу, да три десятины на прирост населения, да еще три — для приселения ссыльных и прочих лиц.

Ну, когда вынесли Зинке с родителями приемный приговор, тут же миром и сделали постановление: поставить беженцам какую-никакую избенку, отпустить из общественного амбара зерна на пропитание и на посев будущего года, сделать помощь скотиной и птицей, а еще дали девке наказ блюсти себя как следует, а иначе, сказали, выгоним на ту самую дорогу, с которой ты только что пришла! Уж вот тогда ни на что не поглядим — выгоним, избавимся от правдашной заразы.

Вот как пристала к Лебяжке Зинаида, как уступили ей лебяжинские мужики.

Но они все-таки как в воду глядели, хлопот у них с этой девкой действительно прибавилось. И заметно.

Росла девка, хорошела, входила в возраст, отец же с матерью хотя есть у нее, но вроде бы их нет совсем, едоки только, а больше никто, и вот она в поле — одна, и в лес за дровишками поехала — опять одна, и даже в базарный день в село Крушиху съездить продать-купить что-нибудь — и тут снова одна.

Мало того, что жалко на девку глядеть, как ей приходится всякую работу ломить, а, жалея, нужно ей то в одном, то в другом деле помочь — это бы куда ни шло. Ну а случись кто-нибудь позарится на нее? Когда она одна-то? Ведь это же верно, что стыд будет и срам на все общество!

А если к тому же позарится не чужой и дальний человек, а из своих же, из лебяжинских парней? Тогда уже позор всей Лебяжке на всю округу, на весь уезд срам!

Была бы она кривая либо хромая, так и забот бы меньше, но тут дело было совсем наоборот.

И поначалу старики велели лучше глядеть за ней соседям, наказывали, чтобы ни в коем случае не ездила самостоятельно в лес, а только заодно с кем-нибудь, не велели ночевать на пашне одной. Велели прибиваться к соседнему стану, к семье Панкратовых — добрая была семья, добрая и молитвенная, а спустя еще какое-то время призвал ее тот же Саморуков Иван Иванович и сказал строго:

— Хватит! Вот тебе, Зинка, строк до Покрова, чтобы быть взамужем!

— Нет,— сказала Зинаида опять своенравно,— взамуж я, Иван Иванович, конешно, пойду, но до Покрова слишком уж малый вы даете мне срок: не управлюсь жениха найти.

— Да кому говоришь-то?!— возмутился от сердца Саморуков.— Кому, спрашивается? И кто ты такая, чтобы мне так говорить? Либо я рехнулся и глазами не вижу, как парни на тебя с рассвету и до закату пялятся? А после закату — дак и особенно. Покров — это твой строк без разговору. Запомни! Кивни завтре же кому-нибудь — и все тут. Назавтре воскресенье, игрища будут, вот и кивни. Ежели богатому парню кивнешь и постесняется он тебя из бедности брать — придешь и скажешь про это мне. Мы, в конце концах, и тут не поглядим — сладим обществом какое-никакое приданое. Вот тебе без разговору — Покров!

Однако и тот Покров прошел, и еще один, а Зинаида — все еще девка.

Уже на нее за это многие в Лебяжке стали сердиться.

Бабы у колодца встретят и будто не замечают, она им «Здравствуйте!», они ей «Угу!». Почему бабы на нее так осердились — даже странно. За что?!

Парни по-своему смеялись:

«Гляди, Зинка, еще погордишься, и в тебе уже мяса не будет нисколь, одна мездра останется! Может, в тебе и седни уже — одна мездра?! Узнать бы?»

Девки, те молча на нее пялились, хотели угадать — откуда норов?!

Иван Иванович Саморуков призывал к себе Зинкиных родителей. Хотя и хворые, и непутевые, но родители же.

А Зинкин отец, когда понял, что у него сам Саморуков содействия спрашивает, взял и загордился:

— Нашей доченьке, Иван Иванович, правда, что нужен особенный жених!

Иван Иванович вышел было из себя, после передумал и тайно доставил родителю четверть водки и хотя потрепанные, но еще годные к ходьбе сапожонки.

Родитель подарки принял, но уже через неделю развел руками:

— Не в моих силах, Иван Иванович, не в моих, не обессудь. Когда так случилось, я и сапоги обратно согласный отдать!

А Зинка и сама тоже чуть не падала на колени перед Иваном Ивановичем:

— Да мне-то самой-то, думаете, хорошо и ладно? Мне вовсе неладно, вовсе страшно, Иван Иванович! Я на пашне за плужишком своим разнесчастным который раз иду, после остановлю коня и реву в голос — жалею себя, молодость свою жалею, чую, пропадет она! Наревусь, накажу себе строго: «Вот этот парень мне сильно нравится, вот, ей-богу, нравится он мне!» А тот же день встретится он мне на улице, и все у меня захолодеет: «Нет и нет — опять не этот, опять не нравится!»

— Блюсти себя надобно с умом, Зинаида, а не просто так. Ты же обещалась тот раз обществу вовек быть благодарной, то есть слушаться его. Было? Не отпираешься?

— Не отпираюсь ничуть.

И все-таки случилось: вышла Зинаида за Кирилла Панкратова. За младшего брата из той доброй семьи, которой Иван Иванович препоручил Зинаиду доглядывать. Иван Иванович принес на свадьбу пуховую оренбургскую шаль, жена его, древняя совсем старуха, прибыть не могла, прислала желтые шнуровые ботинки на каблуках, свадьба была широкая, но все равно многие понять не могли: как случилось?

Уж очень Кирилл был парнем тихим, нежным, не парень — красная девица, ему бы не жениться, а самому замуж идти, ему шафером на свадьбах очень шло, а женихом — нисколько.

Но тут больше всего задумались уже не старики и старухи, те сделали — сбыли невесту с рук, и не парни — парни только глазами успели моргнуть — тут взрослые мужики озаботились невольно: а вдруг приспособит Зинаида благоверного своего Кирилла на побегушках туда и сюда бегать, понукать будет им и так и сяк — это же всему лебяжинскому мужскому роду-

племени стыд! И от соседних деревень и выселков, и даже от своих собственных лебяжинских баб насмешек не оберешься!

Но год прошел, и два, и три, и так далее — ничего особенного замечено не было: семья как семья, хозяйство как хозяйство, вполне достаточное, и ребятишки народились у Панкратовых, двое парнишек. Порядок.

С такой бабой, с такой работницей-женой ни один мужик не пропадет, не пропал и Кирилл, хотя хозяин оказался он действительно так себе, средний. Не сказать, чтобы способный.

Дальше дело пошло так: объявлена была германская война, и Кирилл ушел на фронт.

Перепуталась жизнь, и не тем стало лебяжинское общество, когда половины работников дома не было.

Поначалу старики, да и старухи тоже, строжились, держали порядок, не спускали глаз с солдаток, но после рабочих рук совсем стало не хватать, и лебяжинское общество просило прислать ему работников — пленных австрияков.

И начали эти австрияки партиями прибывать, не один десяток. Говорили, будто по всей Сибири их полмиллиона, этих пленников, они везде по селам были и Лебяжку не миновали.

И когда они пришли, по-русски стали понимать, порасселились в избах, как раз в тех, где хозяев дома не было, тут уже и самые строгие старики махнули рукой: за солдатками при таком порядке не углядишь, хоть старайся, хоть нет!

Единственно, что старики могли еще делать — попрекать солдаток Зинаидой, без конца ставить ее в пример: та к себе помощников не то что в дом — на порог не приняла, сама всю работу и на огороде, и на пашне исполняла.

Но солдаткам пример был нипочем:

— У нее, у Зинаиды, силов — за двоих мужиков! Это не надо глядеть, что она и не сильно рослая. Она еще в девках привычная была к мужичьему делу. Не все же бабы такие!

В восемнадцатом году, в конце зимы, солдаты начали возвращаться. Кто к чему, многие — к разоренному хозяйству.

А вот Кирилл Панкратов вернулся, поглядел и увидел — будто он и не уходил на войну, может, на неделю

только отлучился, съездил на ярмарку либо еще куда: везде у него в хозяйстве порядок и даже прибыток.

И должно быть, это тоже смутило вконец Кирилла — не так-то уж сильно он в своем доме нужен был, и без него тут обходились. По совести сказать, обходились не хуже, чем при нем. А может, и лучше. И вместо того, чтобы, отдохнув и погуляв небольшой срок, с головой уйти в хозяйство, он взялся делать к своему дому крыльцо.

Диковинное крыльцо задумал он сделать — с балясинами, с узорами, с теремком наверху, а вниз надумал он положить камни — гранит. В степи вокруг Лебяжки камня нет никакого, хотя бы с куриное яйцо, так он запряг и поехал верст более чем за сто и привез оттуда свои каменья.

К нему многие мужики лебяжинские подходили. Подойдут, покурят, поглядят на работу:

— В уме ли ты, Кирилл?

— Я в уме...— отвечает он.

И рассказывает, что, когда был на войне, в Галиции, то видел там в какой-то деревне дом с таким вот диковинным крыльцом и тогда же дал себе слово: если останется жив и вернется в Лебяжку, то сделает и к своему дому крыльцо ничуть не хуже и о пяти ступенях.

— Да куда же тебе пять-то ступеней — дом-то у тебя низкий, и двери в нем навешены низко?

— А я после дом подыму. Сделаю ему необходимую высоту!

— Нет, Кирилл, ты не в уме! Дело ясное, сомневаться не приходится!

— Может быть...— соглашается тихо Кирилл, улыбаясь и глядя куда-то синими, почти что детскими глазами, поглаживая светлую бородку.— Для всех я, может, и правда, что не в уме. А для себя — в уме полном. Совершенно!

— Ну тогда ты бабу пожалел бы свою, Кирилл! Ведь на нее же вся настоящая работа пала!

— Вот это надо бы, надо!— соглашается Кирилл, сильно вздыхает и снова берется за свой инструмент, за столярный и плотничий.

А когда необыкновенное это крыльцо после одной, да еще другой переделки было кончено, пустяки какие-то оставались, через Лебяжку прошла воинская колонна.

Бывалые мужики прикинули — пехотных батальона два, плюс неполная батарея, плюс, тоже неполная, пулеметная команда.

Чья на этих батальонах, на батарейцах и пулеметчиках форма одежды — непонятно, потемнее нашей, бывшей царской, но посветлее германской, покрой шинелей тож не совсем известный, а остановить кого-нибудь из обозных солдатиков, спросить махорочки, узнать, кто такие — нет, не надо! От греха подальше. Тут наоборот делали: на улицу не выходили, а попрятались в избы и в амбарушки, позакрывали, кто успел, ставни, ворота и калитки.

А колонна шла торопливо, офицеры верхами, солдаты по-солдатски молотили землю на дороге, одни — сапогами, другие — ботинками на толстой подошве. Два артиллерийских орудия, покачиваясь на ходу, как всегда, приглядывались к небу. Скрипели колесами лафеты.

«Ну,— прикидывали лебяжинские, рассматривая картину через щелки ставень и ворот,— где-то в той стороне, куда идет колонна, что-то случилось... Вернее всего, какие-то мужики восстали против какой-нибудь власти... Когда так — и наш неминуем черед...»

А колонна все шла — скоро, плотно, не растягиваясь, и только напротив Кириллова крыльца солдаты сбавляли шаг и дивились:

— Вот это рукоделье!

— А заночевать бы в таком дому?

— Блажной изладил, не иначе!

— Может, церква будет? Или еще что?

— Вот гад какой-то сотворил, а? Это сколь же было плачено за работу?

— Может, бесплатно делалось. Самому себе?!

— Самому себе — пахать нужно, а не этакая теремина!

А еще какой-то немудрящий солдатишка вдруг догадался:

— Вот бы спалить, а! Давно уже не палили ничаво!

И тотчас уже не один, а двое солдатиков выскочили из колонны, подхватили с пулеметной тачанки охапку соломы, кинули ее на Кириллово крылечко и уже зажгли спичку. И все — быстро, вмиг. Когда солдаты последнего года службы показывают начальству артикулы с винтовкой, и то не управятся так быстро сделать, так же мгновенно.

Но тут выбежала из ворот Зинаида с ведром и плеснула помоями на спичечный огонек и заодно и на шинельку солдатишки-поджигателя. Он замахнулся было на нее.

Она его руками в грудь.

Солдатик пошатнулся туда-сюда и — наземь плашмя.

Но тут другой солдатик тоже кинулся на Зинаиду.

Она снова устояла.

Выскочил из ограды и Кирилл. Но вовсе не с тем, чтобы жену защитить,— он встал поперек всего крылечка, раскинул руки в стороны и, ошалелый, закричал:

— Не да-а-ам! Убивайте, рубите меня — не да-а-ам!

Зинаида — к нему и так же быстро, так же ловко подхватила его поперек туловища и затолкала обратно в калитку, в ограду.

Солдаты в колонне приостановились, одни хохотали до упаду, смешно им стало, другие кричали, чтобы и крыльцо и весь дом в самом деле сжечь.

Рысью подъехал офицер в странной какой-то накидке на плечах, нельзя и понять, какого чина и звания. С ходу остановил у крыльца рыжую игривую кобылку, крикнул:

— А-а-атставить! Па ме-е-естам! Шире шаг!

Колонна снова сгрудилась плотнее, взяла шире шаг, иные солдаты кинулись бегом догонять свои подразделения.

А Кирилл Панкратов, смирный и тихий мужик, в избу свою не ушел. Нет. Он взял тележный чугунный штырь и скрытно ждал за воротами ограды.

Он знал, что за каждой колонной обязательно плетется самый отсталый, захудалый какой-нибудь солдатик, больной и косолапый, с разбитыми в кровь ногами.

И верно — вскоре тот солдатик показался — из шинельки его едва видать, двое таких же в этакую орясину войдут, а ножками перебирает по-детски, и как будто бы даже не двумя, а только одной ножонкой.

Кирилл вышел за ворота. Навстречу тому солдатику.

И опять кинулась к нему Зинаида и завопила еще дичее:

— Да что вы за люди, мужики?! Что за зверюги вы, господи, прости вас всех?! Уйди, Кирилка, с глаз долой, сгинь, наконец-то!

И почему это мужики, даже самые смирные, идут на войну? Кирилл и тот воевал-убивал? Хотел убить железным штырем безымянного, косолапого, отставшего от колонны солдатишку за то, что не он, а совсем другие люди чуть было не пожгли его крылечко? Значит, и Кириллу убийство необходимо? И он без убийства обойтись никак не может?

Господи, страшно-то, невозможно-то как!

А Зинаида на войну не пошла бы. Ну, пускай убили бы ее за нарушение приказа, ну и что? Она бы знала — за что ее убивают, это лучше, чем убивать других, чем неизвестно за что самой быть убитой на войне. Не пошла бы она, нету такой силы, чтобы заставить ее пойти!

Когда она провожала на войну старшего сына, уже зимой семнадцатого года было, шепнула ему: «Василий! Ты, гляди — не сильно целься из ружья-то в живого человека — стреляй куда рядом с ним!» Сын усмехнулся: «Этак, мама, нельзя!» — «Почему?» — «Этак, враг меня первый на мушку возьмет и первый же убьет!»

Вот он, сын ее: и на войне не был, а уже все о войне знает!

Василию выпала удача: послали его в город Казань охранять склады. Он старательный был, его старшим поставили, он в старших служил и служил в городе Казани и письма писал матери. Последние полгода письма не приходили, но они с того времени не приходили в Лебяжку никому, и Зинаида верила, что с сыном плохого не случилось.

А стал подрастать младший, Володька, мать судьбы пытать уже не могла, поняла, что судьбой надо заниматься. И носила учительнице молоко, яички, холсты, а та Володьку и без этого любила, учила его отдельно от других. Володька очень был способный, поехал в город, приняли его в школу при железной дороге. Стал Володька телеграфистом на станции Озерки, один раз приезжал навестить мать: с головы до ног в казенном, и мало того, что живой — мобилизации его не касаются, он уже службу служит.

Женщины говорили Зинаиде: «Тебе что войны бояться: один только мужик у тебя воюет, это не так и страшно!»

А она боялась, даже больше тех пугливых, которые ей завидовали: слышался ей страшный гром, несправедливый, людьми сделанный, но нечеловеческий.

И, слушая его, Зинаида всех солдат на войне представляла ранеными, всех — слабыми, несчастными, нищими: они же все как один у бога жизнь вымаливают, словно подаяние. Которые храбрятся — все равно такие же, потому что храбрость их — то же самое божье подаяние. Ничто другое.

Она и сама-то себе тоже слабой, противно-бессильной казалась, едва прислышится ей тот далекий грохот.

В Лебяжке ее знали за храбрую, вспоминали, как девчонкой она уговорила мужиков, и они приняли ее в общество, а на самом деле?

Вот птенец голенький в гнезде попискивает, и кто к нему ни подойдет — человек ли, кошка ли подкрадется съесть его, он, знай себе, рот широко разевает: «Хорошо-то как, что ты подошел ко мне! Теперь давай какую-нибудь букашку-таракашку, червячка или крошку — я есть хочу, я жить хочу!»

Так же и с ней когда-то было: она сама жить хотела, и стариков-родителей хотела живыми оставить, и вот разевала рот на всю лебяжинскую сходку, громко требовала своего червячка, свою хлебную крошку.

И сейчас, если бы она погибала, тем более погибали бы ее дети, она подошла бы к самому разбойному разбойнику и во весь голос потребовала: «Спасай!»

Но ведь и другое она тоже узнала — зачем сильные подходят к слабым, узнала она. И девкой, когда приходилось ей в поле ночевать или ехать в лес — она в сапоге за голенищем прятала острый нож. У парня из-за голенища рукоятка торчит — и каждый видит, что хулиган идет, варнак; у нее же сапоги до пяток под юбкой спрятаны, а что спрятано в сапоге — не догадаешься.

Раз или другой довелось ей тем ножиком погрозиться, вынуть его из-за голенища, и хотя ударить она никого не ударила, все равно знала, как это делается.

Не один год носила она в сапоге острый нож, вот и знала, догадывалась, что такое война и кровь.

Она думала, все это злодейство от царя — не может он без убийства. На нем форма военная — эполеты, картуз военный, он при шашке. Царя прогнали, а все как было, так и осталось: и налоги, и сборы разные, и царская охрана в Лебяжинской лесной даче, и присутственные места в волостном селе Крушиха, и писари-служащие в тех присутственных местах, а главное — осталась война. Как нависла над жизнью, так и не уходила никуда.

Зинаида пуще прежнего ждала, день за днем, час за часом — что дальше-то?

И дождалась — тех временщиков, которые прогнали царя, самих из Питера выгнали, и объявлено было: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, мир — всем народам!

Земли крестьянам в Сибири не то чтобы сколько хочешь, но хватало, фабрики их не касались, а вот мир — это поняли все, поняла и Зинаида. «Ну, вот,— возрадовалась она,— все ж таки не напрасно родилась я на белый свет, ежели дожила до нынешнего дня. Не обманула меня жизнь!»

И поглядывала в небо, подсматривала за ним — какое оно? Что там, на самом верху-то, приключилось?

Там на первый, по крайней мере, взгляд, было все по-прежнему, а вот сюда, в Лебяжку, солдаты действительно начали возвращаться, торопились к посеву. И до́ма они тоже торопились сделать, как до сих пор никто и никогда не делал: от налогов отказались, лесную царскую охрану наконец-то разогнали, служащих в Крушихе, в других больших селах и городах — тоже тронули, у богатых поотбирали хлеб в пользу голодающего Петрограда и своих же, местных калек и вдов.

Жизнь получалась невсегдашней и нездешней, услышанной со стороны, из чужой деревни, вовсе из дальних мест, и она обнадеживала Зинаиду и заставляла ее беспрерывно ждать, а чего еще-то надо было ждать — опять не объясняла. Догадывайся сама!

Сколько щей у нее перекипело и убежало в то время из чугунков, сколько было недосоленного и пересоленного, да и скотина на ограде тоже не один раз бывала не вовремя кормленной. И зачем бабе не бабье? Зачем неведомые эти ожидания, неизвестные догадки?

Вернулся Кирилл.

С лица не изменился — бородка русая, глаза голубые. Ласковый, красивый мужик. Принес будто бы какие-то слова, какие-то разгадки и ответы.

Но только не совсем и мужик-то — ребячьего в нем оказалось больше, чем взрослого. Зинаида ждала его. Вину переживала — не так о нем думала в свое время, не так любила и ждала с надеждой, что вернется он повзрослевший, поумневший, омужиченный, ее заботы понявший. Но не случилось — он еще больше ребенком, чем прежде, стал. Как в дом взошел, вынул из походного баульчика инструмент, разложил его по столу, объ-

яснил жене, какую он теперь исполнит резьбу по дереву.

Вот на какой еще манер война, исхитрившись, способна поувечить человека! Ну а раз способна сделать, то и сделала, и сидит солдатик фронтовой с голубыми глазками под иконой, сидит трезвый, но не рассказывает о себе, не спрашивает жену о здоровье, о хозяйстве, о сыновьях — живы ли, есть ли они где-нибудь на свете, а нежно гладит стамески, рубанок, дрель, напильнички.

Кирилл небесно-голубыми глазами неба не видел и на земле не замечал предметов, земля была пуста ему. Даже войны ему не слышно и не видно на ней. Одну резьбу деревянную показывают Кириллу его глаза, больше ничего.

Зинаида и тут себя уговорила: «И без слова проживу, одна проживу, не привыкать! Война-то все ж таки кончилась!»

Но война опять не кончилась.

В селе Черный Дол Временное правительство взяло под ружье молодые возрасты. В августе взяли парней, в жатву, мужики как раз очень были заняты.

Но чернодольцы и жатву бросили, вооружились, пошли в город Славгород, отбили своих парней-призывников, насмерть порешили Фукса — городского голову и мельника. Фукса, или Фокса ли этого, рассказывали, еще царское правительство посадило в тюрьму за поставку гнилого хлеба в армию, а в революцию он освободился и вот стал славгородским головой.

Прошло сколько-то дней — в Черный Дол явились каратели-анненковцы, пожгли село, людей побили множество!

С тех пор в том краю мира уже нет: или временщики бьют мужиков, или мужики изловчатся, побьют милицию, и даже военные отряды. Война идет против войны, чтобы уберечь парней от мобилизации, но — идет же?

И вот уже проследовала через Лебяжку та военная колонна, которая чуть было не пожгла Кириллово крылечко, весь его дом.

И снова Зинаида выпрашивала у кого-нибудь из мужиков случайную газетку, а ночью, покуда крепким и праведным сном, настрогавшись по дереву до ломоты в костях, спал Кирилл, она засвечивала лампу и водила по газетке пальцем, шевелила губами: что там написано про войну?

Про войну мировую — немцев с французами и с другими народами; про войну гражданскую, которая была поближе, и со всех сторон — и на Урале, и в Семиречье, и на Востоке, в самых разных городах, ей неизвестных, перепутавшихся в сознании; и про войну партизанскую, совсем уже близкую, в соседнем уезде...

Газетки были серые, желтые, иной раз отравного цвета, вот они и достигали ее рук, а будь бумага тоньше, мужики давным-давно изодрали бы ее на цигарки.

«Чулки черные дамские продаются в конторе Э. Мортенсен, Гоголевская, 30».

«Мировая картина «Саламбо» из эпохи войн Рима с Карфагеном. Участвующих более 50 000 человек! Захватывающий сюжет! Великолепное исполнение!»

«Губернская Земская Управа сообщает, что в ее составе сформированы отделы: 1) Секретариат, 2) Инструкторский, 3) Бухгалтерия, 4) Окладной, 5) Народного образования, 6) Агрономический, 7) Страховой, 8) Призрения, 9) Врачебный, 10) Ветеринарный, 11) Хозяйственный, 12) Земельный, 13) Статистический, 14) Дорожностроительный, 15) Библиотека».

Читала Зинаида, и непонятно было ей, страшно было.

Как только люди запоминают все эти бесконечные службы и присутствия? Когда у них память этим забита — вот и не могут они помнить о войне! Зинаида в уезде была, ходила по столоначальникам, когда отвозила меньшого сына учиться на телеграфиста, и в то время будто бы запомнила множество разных служб, но год прошел — в памяти остались одни только двери. Туда дверь, сюда — дверь, к одному служащему, к другому, сами же служащие из памяти выпали, пустота вместо них.

И какие дамские чулки черные, какие отделы в Земской Управе, какие еще войны давным-давно прошедших времен могут быть людям интересны и необходимы при нынешнем всемирном-то убийстве? Преступление же это, грех же великий — жить в такое время, жить как ни в чем не бывало — не кричать, не плакать, не отнимать у солдат оружие, а, наоборот, вручать им его, натравливать их друг на друга. Пятнадцать разных

служб в Губернской Управе, хоть одна-то есть, чтобы — против войны? Может, библиотека — против?

Или вот прочитала она:

«Утеряны деньги на барахолке 600 руб. Прошу нашедшего возвратить. Личность мне известна, но неизвестен адрес и фамилия. За укрывательство буду преследовать».

Чуть повыше:

«Кто же под кроватью?»
Комедия-фарс в 3-х частях
Море смеха!»

Или стишки такого звания:

Ну, конечно, следует учесть,
Что везде рать служащих велика,
А родных да близких и не счесть:
Тот в дохе нуждается, та в шубке,
Эта — в муфте, той к лицу горжет,
Тот в подарок для своей голубки
На каракулевый целится предмет...

А дальше без стихов уже сказано, как из магазина растащили по друзьям-знакомым разные меха.

Нет и нет — непонятно все это!

Верно что — одна только жизнь праведная нынче — мужицкая жизнь! Кто пашет и сеет, тот, действительно, обязан жить, имеет право, потому что, покуда у человека не прервалось дыхание,— хлеб ему необходим.

Среди мужиков она и надеялась встретить правду, ответ на всю эту немыслимую жизнь, и вот она сидела, задумавшись, над газетками, а душа в ней теплилась надеждой на такую встречу. Кабы не та предстоящая встреча — зачем жить?! Если бы не она — как жить? Кабы не эта надежда, ей в пору было бы идти в монастырь. За собою она грехов не числила. Может, они и были, но она их искупила непосильным, почти немыслимым трудом, который за свою жизнь исполнила — для родителей, для сыновей, для мужа. А вот грехи человечества, те ее не отпускали, за нею числились. И не очень-то она доверялась монашкам и монахам, и у них слова тоже непонятные, а значит, и мысли, а значит, и жизнь. И тут, как раз посреди всех ее сомнений, выбрана была лебяжинским обществом Лесная Комиссия.

А лес был для Зинаиды всегда заманчив, всегда любим. Ей казалось, что лесной судьбой могут заниматься только хорошие, умные люди. Тем более Лебяжинским лесом — красивым и особенным посреди бескрайней степи...

Он верст на триста тянулся, и та часть его, которая с одного невысокого бугра переходила на другой, тоже невысокий, но обширный, поросший стройными соснами, называлась Белым Бором.

Так будто бы назвали его давно еще два человека — не муж с женою, но и не чужие, а любящие друг друга. Двое ушли они от всего мира, от всех людей в тот лес, там и попрощались навсегда с жизнью, а название — Белый Бор — не то чтобы повседневно, но и нередко лебяжинцами поминалось.

Зинаида позвала Лесную Комиссию в свой дом: заседайте, мужики, пишите бумаги, говорите обо всех своих делах — интересно!

Если и не поймет она ничего, если только послушает чужие речи в своем почти что немом доме — и то уже счастье!

Ей много не надо, малую радость, даже и не ее, а только надежду на нее — и вот уже она узнает себя человеком, женщиной, и гостей она может принять, и покормить их, и напоить, и спеть им, и уважить их.

Вот она и не спала нынешнюю ночь, вспоминала — как сидела Комиссия за столом, кто и что говорил. Кто как молчал, и это заметила она.

В Комиссии нынче молчал больше всех грамотей Устинов Николай, и вот она думала: почему бы это? Что за причина?

На другое утро рано Кирилл кликнул жену с улицы:

— Пойди-ка сюда! Сказать надо слово!

Зинаида вышла. И с надеждой вышла-то.

Кирилл сидел на своем крылечке, на верхней ступени, похлопал рядом с собою ладонью: «Садись, мол, вот сюда...»

Осеннее утро только-только занялось, без зорь, даже без восхода солнца... Солнце являлось сразу в некоторой высоте, в которой оно долго накапливалось и нагревалось, чтобы засиять неярким светом. День приходил робкий, еще не зная, к чему он приходит — к позднему

лету или к ранней осени? И даже по-другому: к поздней осени или к совсем ранней зиме?

Панкратовы Кирилл и Зинаида молча сидели под расписной, в узорах, кровелькой невиданно-чудного крыльца.

Там, вверху, над их головами, узоры выделывали такие фокусы и виточки, так прятались один в другой и снова один из другого нарождались, что нельзя было поверить, будто они деревянные, твердые и не могут гнуться, не могут двигаться, хотя бы тайно шевелиться. С кровельки резьба перекидывалась вниз, на перила, на балясины, а посреди этой роскоши и сидели Панкратовы.

Молчали. Зинаида ждала, что Кирилл ей что-нибудь скажет.

Спасибо скажет, что спасла это крылечко от солдат, да и его спасла тоже.

Объяснит жене, почему он такой стал — сумасшедший резчик по дереву, а больше никто.

Прощения попросит у нее за свое сумасшествие.

Как жила она без него три года, как ждала его, наконец-то спросит... Упрекнет ее за что-нибудь, изругает. Отговорит Комиссию в свой дом принимать, и она, не задумываясь, нынче же скажет: «Спасибо, мужики, что вы открылись своей Комиссией в нашей, с Кириллой Емельяновичем, избе! И речь тут же сказали! Благодарим вас и кланяемся вам за этакую честь!»

Но Кирилл не проговорил ни слова, не спросил ни о чем. Посидевши молча, встал, кивнул: «Ну ладно...» — и ушел в свою мастерскую, под которую он приспособил небольшую амбарушку. Догадывался, нет ли, что должен был он, обязан был свое слово ей сказать, чтобы она чужих слов не искала?

Глава третья

ПОРУБЩИКИ КУПРИЯНОВЫ — ОТЕЦ И СЫН

На другой день около полудня Лесная Комиссия снова собралась в избе Панкратовых.

Ко времени не пришел Дерябин — он проводил беседу-инструктаж с первоочередниками лесной охраны.

Прежде всего нужно было вникнуть в материалы лесной таксации, которая проводилась в 1914 году, и

с учетом вырубок и естественного прироста последующих лет определить запасы спелой и перестоявшей древесины. Научное, можно сказать, дело.

Хорошо еще, что все материалы бывшего Лебяжинского лесничества оказались нынче на руках у Комиссии — они были реквизированы народом, а точнее Петром Калашниковым во время переворота власти.

Хорошо, что во всех этих материалах разбирался, как настоящий спец, Устинов Николай.

Впрочем, Устинов не в одном только лесном деле разбирался, а и во многих других делах.

Мужик до всего любопытный, работящий и смекалистый, он еще в молодости, только-только отделившись от отца, мог бы поднять свое хозяйство и разбогатеть, однако у него другой был интерес: каждый год на месяц-другой он обязательно подряжался работать на стороне — то в землеустроительной партии, то на строительстве шоссейной дороги и моста, то — с колодезной артелью. Но, пожалуй, больше всего работал он с лесоустроителями и теперь, перелистывая планы, ведомости и прочие бумаги бывшего лесничества, не терялся — то и дело задумывался, грыз карандаш, кидал костяшки на счетах, а потом догадывался и объяснял остальным членам Комиссии, какая ведомость что значит, как ее надо понять и учесть.

И Половинкин, и Калашников слушали его внимательно, входили в курс дела, а вот Игнашке Игнатову все это было ни к чему, он зевал, глядел то в одно, то в другое окно, а потом сказал:

— Ум человеку даден не для чего-то там, а для его же пользы! А на другого поглядишь, ума у его — во!— а пользы он из этого имеет — во! Крошку! Того менее! Глазом не углядишь.

Калашников, отрываясь от какой-то бумаги, спросил его:

— Ты это об ком, Игнатий?

— Просто так.

Все-таки Игнашка рассеял общий интерес. Произошла заминка, и, должно быть, для того, чтобы придать делу прежний ход, Калашников сказал:

— Известно всем: и самим лес нужон позарез, и детям лесу тоже нужно оставить. И детям детей. И — так далее, чтобы потомки не проклинали бы после нас, отцов своих, за глупое поведение, за безбожную корысть! Природа — она для всех людей и на все времена, а кто

ее грабит-обижает седни, тот навсегда враг человечеству. Теперь давайте вернемся к пре́дмету: почему это столь малая лесная норма вырисовывается у нас на кажную личность? И ведь верно, покуда не думаешь и не считаешь — жить можно. Но только начнешь жизнь хоть мало-мало считать — она сейчас же делается немыслимой, и невозможной, и совсем какой-то махонькой?!

— Вот именно,— снова поспешил ответить Игнашка,— не надо ее считать! Глупость это, и все! Дети? Да мне бы, дай бог, со своей собственной жизнью управиться, а не то чужую считать! Да у меня вот кобылешка одна да меринишка с козинцом на правой задней ноге, а у тех, которые после меня будут жить,— у их, может, по пять и более рабочих коней на ограде будет стоять?! И все — без козинца! Так им и за лесом съездить в урман либо в Алтай — в одно сложится удовольствие, а я ишшо стану за их нонче страдать, да?! Ну, не глупость ли?

И получалось — Игнашка забивает, да и только, остальных членов Комиссии. Один — троих.

Калашников, вздыхая, сказал:

— Нет, правда: как ровно в окопе, на войне — лишь только задумаешься — выходит для тебя неминуемая смерть, а не думаешь, так живешь себе и живешь. Ну, который раз, правда, ранит тебя... Так оно и есть: едва ли не любая человеческая мысль и размышление, ежели не построжиться над ними, обязательно приведут тебя к мыслям о смерти!

А Половинкин, тот стал сосредоточенно рассматривать план Лебяжинской дачи, спросил Устинова:

— Это откудова у тебя, Николай Левонтьевич? И на такой бумаге тонюсенькой?

— Это,— охотно стал рассказывать Устинов,— это когда я с таксаторами работал, то заметил,— они подлинный план на прозрачную бумагу переведут, скопируют, сказать, после поработают с им день-другой и бросят. Переводят заново. Ну а я и подбирал брошенное-то. Чуял, что пригодится.

— А что?— живо заметил Калашников,— и очень может быть, что чуял! Это снова в окопах же. Как начальство, генералитет явится, бывало, на позиции, так мы, солдаты, ему «ура!» да «ура!». Оне все, как дело поближе к бою, с позиций вон, а мы уже про себя говорим: «А на самом-то деле — худые у нас генералы! Им

бы — по шеям вместо «ура»-то, да и погоны заоднем посрывать с их!» Тоже — вот еще когда чуяли будущее-то...

И тут, поговорив о том, о другом, члены ЛЛК припали головами к восковкам-копиям и к самому плану Лебяжинской лесной дачи... План этот был необыкновенно красив, исполнен на коленкоровой кальке, и все на нем крохотное, но как в настоящей природе: зеленый лес разбит на кварталы белыми просеками и визирками, круглешки угловых столбов и реперов с присвоенными номерами, черные извилины дорог, синяя полоска речки и светло-голубой край Лебяжинского озера. Дальше — прилегающие к бору и к озеру пашни и луг, лебяжинская поскотина — удивительно тонкая и все-таки явственная линия, кое-где перебитая крестиками, а вернее — знаками умножения «×». У западной кромки — земли под постройками Лебяжьего, но далеко не все, а только с того края деревни, который зовется Боровым, тут показана и сама деревня: десятка полтора домиков и приусадебные участки, раскрашенные в разную, то погуще, то побледнее, желтизну.

Устроенная и отчетливая земля... Вот черная тонкая линия, и по одну сторону от нее что-то одно, а по другую — другое, и ясно видно: кончился луг, и началась пашня; кончилась пашня, и начался выпас; а вот и выпас кончился — началось озеро. Всему на свете есть начало и есть конец, свой порядок и название. Каждая земля и вода знают про себя, что они такое, к чему предназначены.

Лес — чтобы брать от него деревья, и строить дом жилой, и держать в доме тепло, чтобы детишки человечьи, в отличие от всех прочих детишек, не знали холода, а ползали, голопузые, по дому, весело карабкались на лавки и не простывали бы при этом.

Пашня — чтобы давала она хлеб насущный на ежедневное пропитание, чтобы от хлеба и всякая другая вещь водилась в доме, всякий необходимый для жизни старого и малого предмет.

Луг и суходольный покос — чтобы метать по ним шапки стогов, чтобы кормились от них буренки, чернявки, белявки — какая угодно коровья масть, и не только коровья, но и лошадям чтобы было чем наполниться изнутри за подвижнический их труд, чтобы каждый, кто с четырех своих ног желает пощипать-пожевать свежую травку, мог бы ее пощипать и пожевать.

Селитебные участки — чтобы дом к дому, амбарушка к амбарушке, банька к баньке, огород к огороду выстраивались бы в улицы не очень тесно и кучно, но и не в дурную растяжку, когда стоит изба, а голоса соседского в ней не слыхать, чтобы не глохла она от одиночества, чтобы строился улицами крестьянский мир на собственный лад и порядок...

Кудлатая и бурая голова председателя ЛЛК Петра Калашникова, с рыжинкой и пятнистая — Половинкина, по-детски белесая — Устинова и с редким, истрепанным волосом неопределенной масти Игнашки Игнатова — все головы склонились, кое-когда стукаясь друг о друга, над тем прекрасным, исполненным отменным мастером своего дела планом...

— А вот энто — изба Петрухи Ногаева!— догадался вдруг Игнашка и ткнул пальцем в черный квадратик.

— Палец-то — чистый ли, Игнаха?— строго спросил Устинов. И после этого вопроса совсем тихо стало в избе — словно святую икону сюда внесли и сказали: глядеть на нее можно, говорить вслух — нельзя. Или как если бы это была книга Великого писания — вот она, прочти молча страницу, и откроется тебе тайна всех тайн... Радостно было угадывать в этом плане собственную жизнь, свою избу, свою или хотя бы соседскую пашню, всю ту землю, которую ты глазами и стонами своими давно уже прощупал насквозь.

— На Барсукову дорога! От дает, так дает круги!— снова не удержался и нарушил молчание Игнашка, но тут же и другие заговорили враз:

— Энто она Клюквенную мочажину обходит!

— Что за просека? Не угадаю враз!

— Ну, как же — та самая и есть, на которой Илюха Кондаков когда-то в Сретенье на шатуна-медведя угодил!

— Не когда-то, а в одна тысяча девятьсот одиннадцатом годе! Год был голодный, засушливый, худой год. Голодным-то медведя́м не спалось по берлогам, вот они и шатались всюду! Ох же, испугался он тот раз, Илюха!

— Он сам-то — ничо! Он мужик не из сопливых. Конь у него пугливый был — вдребезги розвальни об деревья разнес!

— А вот тут, в озере, мысок имеется, я купался с его сколь раз, на плане же он и не проглядывается!

— Мелковат мачтаб. Поболее бы мачтаб, тогда ты и сам-то на плане проглянулся бы и проклюнулся! Собственной личностью!

— А что, мужики, какую мы практику на дровах пройдем! Спецами лесными сделаемся! Законодателями!

— Глядите, мужики, поскотина наведена и — целая. А в действительности у леса вот ее давно уже нету, городить надо ее.

— На то и план: показывает порядок, а не беспорядок... Что мы сами порушили — плану дела до этого нету. Вырубим вот мы лес, а план до-о-олгое еще время будет зеленые кварталы показывать!

— Все тут есть, все изображено,— вздохнул Калашников,— а вот чего тут, мужики, еще не хватает? А?

— Ну? Чего?

— Неба тут нету... Небушка.

— Когда я с землемерами работал, со старшим техником межевания Петром Нестеровичем Казанцевым,— стал вспоминать Устинов,— так тот Казанцев, Петр Нестерович, как встретит любого мужика, так и к нему: «Вот план твоей местности, погляди на него и скажи — где тут должна быть такая-то заимка? В натуре она есть, а на плане еще не отражена?» — Устинов поднял голову над другими тремя головами, с интересом огляделся поверху, снова сунулся книзу и продолжил свой рассказ:— И что ты думаешь,— мужик обязательно укажет то место. Ну, не с первого, так со второго разу — обязательно! И старший техник межевания удивляется: «Мужик неграмотный, а план читает?» Я ему объяснял: «План земли мужику даже понятнее грамоты!» Тот не согласен: «Я в землемерном училище сам-то на второй год только научился хорошо читать план! Нет, Устинов, тут что-то есть — инстинкт!» Я спрашиваю: «Какой?» Он объясняет, но издалека только догадаться и можно, что это такое: ну, как у собаки чутье, тот инстинкт! Наверно, со словом «истина» соприкасается!

И еще, и еще вблизи друг к другу, глаза в глаза, дыхание вперемешку, мужики вглядывались в план: вот как прекрасна вокруг них земля!

И значит, жизнь на этой земле тоже ладно и хорошо можно устроить и размежевать: хорошее вперед, плохое — куда-нибудь назад. И есть для этого человеческий ум и способность. Есть и есть! Существует! Однажды постигнуть премудрость, подналечь, поучиться, понять,

потрудиться — и ляжет жизнь в истинный свой план и войдет в свою борозду, из которой выбилась, должно быть, давно и заколесила с той поры туда-сюда. Ну вот — настал час поставить жизнь на место, а то и поздно будет, рассыпется и разорится она вконец, порушится единство ее с землею, земля — это будет одно, а жизнь на ней — что-нибудь совсем уже другое! Надо торопиться с делом. Надо! А Лесная Комиссия — разве это не то же самое дело? Это оно и есть! Это, может, и есть тот самый главный час?! Самый главный год? Хоть и неподходящий, неуютный — одна тысяча девятьсот восемнадцатый?!

И начали, и начали члены Комиссии считать полезный запас Лебяжинской дачи, лес дровяной, строевой и жердяной, в каких кварталах и сколько его должно быть. А Устинов Николай припомнил, будто где-то под городом Омском лес даже сеяли семенами, словно хлеб в пашню. Вот бы сделать и лебяжинцам то же самое!

Начали записывать по пунктам свои расчеты-подсчеты, и Половинкин сказал:

— Не слишком ли их будет много у нас?

А Устинов засмеялся:

— Им износу и предела нету, пунктам! Плоди сколь хочешь — их кормить не надо!— Потом подумал:— До поры до времени.

Шло дело!

Кто писал, хотя и не бойко, кто думал, а после высказывал свою мысль, кто — считал. Правда, в последнем выходила заминка: счеты были худые, рассохлись, и костяшек в них не хватало. Что рассохлись — это полбеды; один кидал оставшиеся костяшки, другой обеими руками держал счеты, чтобы не распались, но вот костяшек не хватало для некоторых сумм, тут уж ничего выдумать было нельзя. Больше всего это почему-то злило Половинкина, у него даже кровь то и дело бросалась в лицо, и он сквозь зубы, а иногда и просто так поминал всех святых...

— Ты осторожнее, Половинкин,— заметил ему в конце концов Калашников,— услышит хозяйка — обидится!

— А когда так, то я их, счеты энти, окончательно брякну об пол! Оне тогда сами увидят, как с ими будет!

Но тут, спустя еще минуту-другую, быстро отворилась дверь, и в горницу вошла Зинаида с огромными, будто топором рубленными, счетами.

Положила их на стол, засмеялась:

— Вот! Вот вам, граждане Комиссия!

Половинкин всплеснул руками, снова покраснел и сказал:

— Так энто что же — у вас в дому водятся такие, а мы и не знали? И — грешили тут?!

— От соседей! От Кругловых позаимствовано! От Федота Круглова.

— У их старик шибко жадный! Сам отдал счеты, либо дома его не было?

— Он-то дома, да я-то сама взяла! Я знаю, на каком гвозде они всегда у их весятся, пришла да и сняла с гвоздя. Говорю: «Надо!»

— Верно, что надо! Мы тут от этой надобности упарились до седьмого поту! Ну а Кругловы все братья и родные, и двоюродные, и троюродные — все жа-а-дные!

— Кашу есть нынче будете?— еще спросила Зинаида.

— Навряд ли: разгорячились мы нонче.

И действительно — все разгорячились, все работали, всем было некогда, но этакая горячка была по душе Зинаиде, и она спросила весело:

— Ну а когда охладеете? Может, и не откажетесь? Ведь охладеете же когда-нибудь?

— Не откажемся!— заявил за всех Игнашка.— Мы тебя уважим, Зинаида Павна! Так уж и быть!— Зинаида ушла на кухню, а Игнашка еще сказал:— Идет-то как? Шагает-то? Здоровая какая, а ровно козочка! Того и гляди, взбрыкнет ножками! Ровно девка, только что широка несколько в костях. И в прочем во всем!

— Игнатий! — возмутился Устинов.— Да ты пошто рот-то этак разеваешь в чужом дому?! А услышит хозяйка — стыд же и срам?!

— Ну, какой тут, Николай Левонтьевич, особый стыд? Никакого нету и нисколь!— возразил Игнатий.— Да сказать про женщину, будто она в сорок с лишком годов девкой выглядит — она же про это скрозь две рубленые стены услышит и довольная будет! А еще умный ты, Устинов?!

— Все ж таки, товарищи, это не разговор для членов нашей Комиссии! — строго заметил Калашников, и все с прежней горячностью снова принялись за дело...

Все, кроме Игнашки. Тот вышел в кухню, понюхал запах каши, не то вчерашней, а может быть, уже и се-

годняшней, позыркал на Зинаиду, а потом юркнул на улицу. «Я часом вернусь, Зинаида Пална! Обязательно!»

Вскоре пришел Дерябин и сообщил, что лесная охрана действительно приступит к службе в понедельник с утра, а для пробы и ознакомления с расписанием дежурств соберется еще и завтра вечером. Потом он спросил: «Вы, ребяты, атакуете, чо ли, кого? Как словно военное действие производите, а?» И, не выслушав ответа, сам принялся считать цифры: вместе с Калашниковым они взялись определить число потребителей леса. Калашников почему-то называл их «страждущими по лесу».

Они начали ворошить подворные списки, огромные и подробные — в них значилось все на свете: число, пол и возраст душ каждого двора, движимое и недвижимое имущество на каждый из десяти последних лет, суммы налогообложения на конец 1917 года и еще многое другое.

— Страждущих по лесу,— говорил Калашников,— требуется усчитать всех до единого! Кабы знать, в каком дворе и сколь в ближайшие годы народится младенцев,— и тех бы надо усчитать!

— Вовсе нет!— заспорил Дерябин.— Когда усчитывать всех и кажного — душевная норма получится с гулькин нос, того меньше, и народ, который выбирал нас, Комиссию, начнет выражать недовольство. За потребителей надо принять однех только глав семейств, притом поделив их на разряды по числу едоков и в социальном смысле. И норма будет видимой, всем понятной. Или вот еще: давайте поделим наш лесной запас на лиц только мужеского полу и на вдов. А когда женщина при мужике — она при нем же и погреется, уж это точно!

Калашников снова возмутился:

— А чего ради, товарищ Дерябин, происходила революция, когда более половины рода человеческого все одно останется в утеснении? Ведь революция делается не за-ради меньшинства, а за-ради огромного большинства?! Да я лично скорее помру от стыда, чем пойду за такой революцией!

— Ну и не ходи! Не сильно-то она в тебе, в малахольном, нуждается! И не у тебя она спрашивает — какой ей быть?

— А у кого?

— У самой себя!

— Не так! Никто революцию ради ее же самой не делает. Ее делают для народной справедливости и блага! Только!

— А еще председатель нашей Комиссии! Еще считаешься политически зрелым товарищем! Для блага народа что необходимо? Победа революции! А победа когда будет? Когда революция перво-наперво будет любыми средствами заботиться о себе и даже перешагивать через любые блага, хотя бы и народные. Сперва она должна победить, после — наводить справедливость!

Калашников и Дерябин горячо спорили между собой, Устинов и Половинкин считали лесной запас почти что молча, а работа все-таки шла своим чередом у тех и у других.

Но тут снова явился Игнашка и кинулся что-то искать под столом.

— Ты что это, Игнатий, шаришь под столом-то? Однако, шапку?! Зачем?

— Дак, мужики! С понедельника лесная охрана приступает к делу, а нонче-то как? Нонче-то едва ли не вся Лебяжка поехала в дачу рубить и вывозить! Мы, Комиссия, только и сидим на месте как ни в чем не бывало. Как щенки-кутенки вислоухие! Даже сама охрана и та нонче рубит!

— Ты, Игнатий, языком-то не сучи, говори толково что и как?— хотел еще уточнить дело Калашников, но Игнашка уже нашарил свою шапку, выхватил ее из-под стола за рваное ухо и накинул на голову. В шапке задом наперед он уже готов был броситься прочь, но тут его крепко взял за руку Калашников:

— Стой, Игнатий! Стой, тебе говорят! Не шевелись, гад!

Все члены Комиссии тоже встали, отстранив от себя подворные списки, планы, ведомости и счеты, на которых не до конца была положена какая-то сумма.

— Вот те на, товарищи члены Комиссии!— глубоко вздохнул Устинов.— Вот те на...

— Ну, Калашников, ну, председатель, давай! Давай всем нам команду!— проглотив слюну, сказал Дерябин.— Ну?!

И Калашников вздрогнул, провел рукой по кудлатым волосам, громко распорядился:

— Через полчаса здесь же, у Кириллова крылечка, собираемся все вершние и вооруженные. Берданами,

кто и чем может. Собираемся — и в лес! Пресекать безобразие, человеческое свинство, грабеж и разбой!

Сталкиваясь в дверях, члены Комиссии вышли из дома. Вслед им глядела Зинаида.

Она как раз потянулась в печь вынуть чугунок с кашей и теперь стояла с ухватом в руках.

Чу́дная пора стояла в лесу, в Белом Бору, лето запаздывало из него уйти, осень — прийти.

А может быть, и лето и осень тут вместе были — встретились-свиделись, расстаться не смогли, укрылись в лесной глубине и молча ожидают неминуемую свою разлуку.

Тихо было от этого ожидания, от этой невидимой встречи.

Уже и овод в лесу не гудел, и комар не пищал, и мошка не звенела — отошли все звоны лесные, все птичьи песни.

Пролетела над лесом птица, и слышно стало, как рвется синий, неподвижный воздух под крылами, крикнул ястреб, и лес оглушился, лес уже успел отвыкнуть от звуков.

Прохлада стояла в лесу, но теплая прохлада, уютная. Будто была тому назад несколько дней протоплена огромная русская печь, и после того остывают, не торопясь, деревья, пожухлые травы и коричневые хвойные половики, расстеленные по земле, и сама лесная земля.

Грибы пошли уже по лесу — груздь и рыжик. Маслята — те в счет не шли, их лебяжинские жители никогда не брали. Груздь и рыжик были нынче ранние, можно сказать — первые грибные ласточки, а настоящее их время еще не настало... Вот уж наступят холода покруче, и тогда груздь полезет наружу. Будет торчать один, самый великий, подернутый серыми разводьями, а вокруг него приподнимутся округлые холмики,— раскрывай их, снимай хвою, там, в каждом холмике, увидишь молочно-белую мраморную воронку, хрусткую и пахучую, прохладную, словно выстуженную в погребушке. Ее, вороночку эту точеную, игрушечную, непременно захочется положить не в лукошко, а сразу в рот. Однако сырой гриб по вкусу только червякам и улиткам, к человеку он идет в соленом виде. Со сметаной, с рассыпчатой горячей картошкой — это чудо из чудес.

Почти таков же и рыжик — потоньше вкусом, позабавнее и с намеком на водочку.

Груздей и рыжиков в лесу было еще мало, но что они будут обязательно — это уже известно, уже пахнет ими хвоя. С каждым часом пахнет все явственнее.

А вот смола подает свой запах все слабее и слабее.

И солнышко пронизывает лес не прямо и сверху, а только сбоку — из степей, из далеких пустынь. Сосны освещены не с вершин, а по всему своему росту, вдоль стволов.

Сосны — одна другой выше, стройнее, на многих почти до самой маковки и кроны нет, одна только желтая, легкая кора, и вот она, кожа сосновая, светится, крупно искрится и плавится в стороннем солнечном свете, а сосны, неизменно строгие, нынче млеют, не показывая об этом вида, отдыхают от летнего роста, от своей тяги к солнцу, от своего почти беспрестанного стремления вверх. Они-то уже почуяли зиму, уже чуют и свою спячку, со снегами на ветках, с жесткой мерзлотой в корнях.

Белый Бор диким не был, хотя и зверь здесь водился разный, и гриб, и ягода, и заблудиться в нем нетрудно, а все равно он был обжитым, почти ручным, ухоженным и устроенным.

Лесоустроители давно уже, чуть ли не сто лет назад, разбили его на кварталы, по просекам и визиркам поставили нумерованные угловые столбы и реперы, а позже там и здесь воздвигли преогромные смотровые вышки — поднимайся вверх по шатким лестницам полчаса, горячи дыхание, разгоняй сердце сперва на рысь, потом в галоп, а достигнешь смотровой площадки со столиком для землемерного инструмента — там уже и охлаждайся, и гляди вокруг верст на двадцать: синий лес, зеленые, либо желтые, либо черные пашни, голубое или серое небо. Небо — вот оно, пальцем в него можно ткнуть. Гляди — нет ли где дыма-пожара, не пожирает ли огонь с какого-нибудь края эту жизнь? Если не пожирает — будь спокоен, дыши глубоко, любуйся далеко, живи долго.

Лес этот был примером для многих других сибирских лесов и для людей тоже; он был не только изображен в планах, про него и книжки были напечатаны с чертежиками и с картинками.

Книжки эти по одной, а то и по две, водились почти в каждой избе — лесники раздавали их бесплатно и в Лебяжке, и в других боровых селах.

На картинках можно своих же мужиков узнать: как таскают они землемерный инструмент, как закапывают угловые столбы, рубят просеки, подымают на смотровые вышки бревна при постройке, как сидят кружком вплотную друг к другу и слушают беседу лесничего. Лесничий — в форменной фуражке, в сюртуке со светлыми пуговицами.

И, нужно сказать, что лебяжинские жители — народ своевольный, неподначальственный, хитрый и ко всему хотя бы немного чужому недоверчивый,— к лесу относились с почтением.

Украсть хорошую лесину, побить при случае объездчика, особенно чужого, не лебяжинского,— в этом вопроса не было, это каждый мог запросто, хватило бы силенки, смекалки и счастливого случая, но чтобы хулиганить в лесу, вырубить жердину и бросить ее, потому что другая поглянулась, потоптать телегой молодняк, тем более сделать в лесу пожар — это был уже срам и позор.

За это с ребятишек спускали шкуру, и не одну, а взрослому в пору было заколачивать избу, переселяться куда-нибудь в степную деревню.

Лес уважали и любили за доброту, за щедрость. За то, что он, хотя и царский, и принадлежит императорскому величеству, о мужике не забывает никогда, не было случая, чтобы забыл. О простом жителе ему даже больше заботы, чем об императоре, тот — далеко, а этот — близко.

И если крестьянин или крестьянка проведают лес, так с пустыми руками не вернутся никогда, а всегда с подарком: с ягодой, с грибом, с лекарственной травкой, с подстреленным зайчишкой, с тетеркой, глухарем, рябчиком или куропатом; с мешком сосновой шишки на растопку, с охапкой длинных и гибких сосновых корней, из которых старики после свяжут и малые, и большие корзинки, и целые короба; с кружкой сосновой смолы на молодые ребячьи зубки, чтобы ребятишки смолу эту жевали и зубы у них росли бы крепкие; с охапкой березовых веников для парной бани, да мало ли еще с чем — не перечесть!

Не так-то много на свете этакой доброты. Кто не понимает, чего она стоит,— тот и сам не стоит ничего.

Лебяжинские мужики это понимали.

И когда царя в Питере свергли, и лесная дача перестала быть царской, когда прежнего порядка в лесу как не бывало, а нового никто не назначил — случилось у лебяжинцев сомнение.

Как будто и не с края и не по кусочкам возможно стало от леса брать, а из середины самой — поезжай в любой квартал, вали любую сосну, никого нет, кто бы остановил тебя, оштрафовал, засудил, сказал — «нельзя»!

Но — страшно от этого.

Взять — просто, только нет ничего на свете, что берется совсем даром, нынче взял да ушел, а назавтра приходит расплата, спрашивает: «Сколько взял? Почему взял? А ну-ка, а ну, иди к ответу, мужик неразумный, жадный, корыстный! На даровщинку падкий! На общественную даровщинку!»

И месяц-другой лебяжинские ждали — кто начнет первым?

Первый начал Игнашка Игнатов — срубил и продал в степь три лесины.

Мужики Игнашку между собой осудили: продавать — это нехорошо, это неладно.

Другое дело — для себя.

А тут Игнашке и благодарность вышла от мужиков, и, в шутку называя его нынешним лесным управителем, они тоже поехали по разным кварталам, у кого кони пободрее — подальше, у кого позамористее, те чуть ли не на опушках орудовали.

Дружная была рубка. Никто ни от кого не отставал. Вдовы сильно плакались — сход приговорил вдовам помочь. И даже очень много охотников помогать объявилось — грехи свои лесные и прочие, что ли, замаливали эти охотники?

Но тут-то, когда у каждого на ограде уже было по нескольку лесин, и выбрана была Лесная Комиссия.

Выбирали — не очень-то верили, что будет толк, Комиссия — не власть, а к природе власть нужна серьезная, хозяйственная. Однако же не успела еще Комиссия всерьез приступить к обязанностям, а уже проклюнулся из нее первый, хоть и слабенький, но порядок — мужики стали приглядывать друг за другом, друг друга упрекать.

— Рубишь? А за Комиссию на сходе не ты ли правую руку подымал?

Но сегодня вот как случилось — и Комиссию выбирали сами, и рубили сами же. Торопливо рубили, азартно.

Стукоток шел по лесной даче, и там и здесь позванивали топоры.

С самого начала не повезло в тот день Комиссии: первые же порубщики, на которых она наехала, оказались Куприяновы Севка и его сын Матвейка, парень лет шестнадцати.

Севка Куприянов был мужик тихий, рассудительный, со всеми людьми вежливый и добрый. Со всеми, кроме одного — Игнашки Игнатова.

Они были соседями по Нагорной улице, и мир их не только не брал никогда, но даже и не мнился ни днем, ни ночью. И если на сходе один кричал «да», другой в лицо ему вопил «нет и нет!»; если куприяновская Белянка приходила из стада без молока — это значило, что игнатовская Чернушка испортила ей весь аппетит на лугу; если у Игнашки не родились в какой-то год овсы — а овсы, как и прочее все, у него часто не родились,— значит, у Куприянова они вымахали в два аршина.

И Севка Куприянов, степенный и разумный, если только дело хотя бы издалека касалось Игнашки Игнатова,— тотчас сбивался с панталыку, начинал кричать, грозиться, плеваться, поминать всех святых, и сколько ни удивлялись его поведению мужики, сколько ни уговаривали плюнуть на Игнашку пожидче и забыть про него — уговорить не могли.

Другое дело — Игнашка. Единственно, когда он держался разумно, хитро и даже с некоторым достоинством,— это в стычках с Куприяновым. Откуда что у него при этом бралось!

И выходило почти всегда, будто Игнашка прав, и задирается вовсе не он, а Севка Куприянов, и кричит попусту тоже не он, а опять же Куприянов.

Нынче, когда Комиссия подъехала к Севке, он и Матвейка, молодой и не по возрасту здоровенный парень, уже свалили сосну и, широко расставляя ноги над желтым стволом, обрубали ее, двигаясь навстречу друг другу. Севка от комля к вершине, Матвейка — от вершины на комель.

Два гнедых, похожие друг на друга, оба поротые на

левое ухо, стояли, запряженные в длинный ход, сонно помахивая ресницами. Один из них — особенно как-то был аккуратным, весь приглядный какой-то, весь домашний.

За стуком топоров отец и сын Куприяновы не услышали, как подъехала Комиссия, когда же увидели ее совсем вблизи, то замерли в растерянности. Потом Куприянов-старший бросил топор о́земь и, запустив руки в волосы, уже тронутые сединой, протяжно и надсадно протянул:

— Э-э-эх!

Калашников, подъехав к нему, сказал:

— Так-так, Сева! Значит, здорово живешь, Сева?— и хотел сказать еще что-то, но тут вдруг по-бабьи завопил Игнашка.

— А-а-а!— завопил он.— Им, Куприяновым, завсегда более всех надобность! У их, у Куприяновых, жадность и корысть — энто страшно подумать какая! Младшенький-то Куприянов ишшо сопляк, ишшо у его на губах и в брюхе молоко, а отец уже научает его разбою, грабежу, воровству и обратно грабежу и всяческой подлости! Так оне обои в тюрьме и в каторге непременно кончут! Истинно и сердешно жалко мне энтого махонького Куприянова-несмышленыша!

И ещё голосил бы и причитал Игнашка, сидя верхом на своей сивой кобылке, показывая руками в стороны и вздымая их кверху, но тут вот что случилось: Матвейка Куприянов повис на левой Игнашкиной ноге, и не успел никто моргнуть, как Игнашка уже был на земле, а Матвейка молотил его по чем попало кулаками, а Дерябин бросился оттаскивать Матвейку, а Куприянов-старший — Дерябина, а Калашников и Половинкин — Куприянова-старшего.

Один только Устинов остался в седле и, часто моргая, негромко говорил:

— Вот те на, товарищи Лесная Комиссия! Товарищи Лесная Комиссия — вот те на!

Первым из кучи малы выкарабкался на волю Дерябин, отряхнулся от щепы, коры и хвои, утер поцарапанную щеку рукавом, осмотрелся и тотчас кинулся в свалку обратно. Но теперь он уже не только в этой куче барахтался, а еще и подавал команды:

— Валим их! Так! Держим их! Так! Вяжем их — так-так! Привязали? Привязали! Подымаем все вместе лесину: раз, два, взяли! Игнатий — ты подводи ходы-то

под лесину, подводи, не разевай рот! Раз, два — взяли! Тоже так! У-ух ты, тяжела лесина-то! Еще раз — раз, два! Хорошо, так и так...

Дерябин и повоевал-то недолго — в пятнадцатом году вернулся домой, а вот поди ты — командовать умел, научился.

И когда он, еще потерев рукавом царапину на щеке, поднял руку и сказал:

— Так! Правильно! Теперь — всё! Поехали, понужай, говорят тебе, Игнатий!— Обоз выглядел вот на какой манер: куприяновские гнедые везли ход, к ходу привязана была лесина с недорубленными по самой середине сучьями, к лесине плашмя привязаны отец и сын Куприяновы — отец спереди, сын — поближе к вершине, как раз над задней парой колес; вслед за возом едет верхом Дерябин и ведет в поводу сивую кобылку Игнашки Игнатова со скособоченным киргизским седлом, из подушки которого торчит не то пенька, не то какая-то тряпица, вслед за Дерябиным следуют остальные трое членов Комиссии: Половинкин, Устинов и председатель Петр Калашников. Половинкин и Калашников едут совершенно молча, Устинов же время от времени все еще повторяет:

— Вот те на, товарищи члены Лесной Комиссии! Товарищи члены Лесной Комиссии,— вот те на!

И только когда отъехали порядочно, Калашников тоже подал голос:

— Это все потому, что мы, Лесная Комиссия, только лишь законодательная, а взяли нонче на себя задачу исполнительной власти!

Все молчали, а потом Калашникова неожиданно поддержал Игнашка.

— Мужики!— постанывал между тем привязанный к лесине Севка Куприянов.— Мужики, хотя вы и Комиссия, но все одно не имеете правов эдак со мной обходиться!

— Вот он, вот он — правов ему не хватает!— изумленно отвечал Куприянову Игнашка, погоняя в то же время коней.— А когда Комиссию бить-убивать, уничтожать ее, изгаляться над ей — то правов у тебя сколь хошь?

Севка глядел вверх, на вершины сосен, и морщился, словно в глаза ему сверху все время что-то сыпалось, какая-то пыль, он мотал головой, щурился, тяжело ды-

шал. Две-три седые прядки то выказывались наружу из его бурой, густой бороды, то прятались обратно.

— Мужики!— выстанывал он.— А ежели случай придется, я с вами буду так же, как вы нонче со мной! Ведь это и царские охранники с порубщиками так не обходились, как вы со мною! И с сыном моим! Вы худо себе делаете, мужики! Худо!

— А што?— смутился Половинкин.— Вот доведись до меня: я, положим, валю лесину, нету же нонче закону, чтобы не валить, вот я и валю, а тут подъезжает пятеро вершних, и вякают на меня, и оскорбляют с головы до ног... Дак я бы — как? Я бы, может, топор наземь-то и не бросил, а с им и пошел бы прямым ходом на тех вякельщиков! Ей-богу!

— Ты бы прямым ходом не пошел бы, Половинкин! Еще и с топором — нет, не пошел бы! А вот я про себя скажу — я пошел бы!— прикинул Дерябин.— Я бы всех — не всех, а двоих из нас зарубил бы! Но все одно нонче факт есть факт: не только сделана гражданами Куприяновыми, отцом и сыном, порубка, но и сделано еще покушение на целостность членов Лесной Комиссии. Пересматривать факт не будем, а повезем арестантов на сходню. Пущай вся Лебяжка видит, что с Лесной Комиссией кто и как захочет обходиться тоже не имеет права!

— И все одно,— вздохнул Калашников,— нами сделано нарушение народной демократии. Надо было сперва записать в протокол наше право заарестовывать и даже вязать порубщиков, особенно в случае ихнего сопротивления, а у нас такого протокола по сю пору не имеется! Нам надобно сделать такое постановление: «Лесных порубщиков, особенно при сопротивлении, лесная охрана, как равно и сама Лесная Комиссия, заарестовывает и насильственно доставляет на сходню для дальнейшего над ними дела». Кто — за?! Проголосуем немедленно, а после занесем результат в протокол. Кто — за?!

Трое членов Комиссии попридержали коней и подняли руки. Игнашка поднял руку с кнутом. Устинов воздержался.

— А почему, Устинов, ты не подымал руки?— спросил его Калашников.

— Закон обратной силы не имеет. Потому и не подымал.

— Ну и ладно,— согласился Калашников,— четверо «за», один воздержался, это даже удобнее для записи в протокол, это значит, разные имеются по вопросу мнения и мысли. И еще сказать: все ж таки необходимое дело — кооперация! Бедным она помогает, богатых — урезывает, и так делается ею всеобщее равенство. А когда имеется фактическое равенство, то и власти не шибко много надо, только для параду и для вида. И, наоборот,— чем более среди людей неравенства, тем более нужно на их власти, крупных и вовсе крохотных властелинов! Таких, которые вроде нас, нынешних членов Комиссии!

Никто не удивился рассуждениям Калашникова: он до войны много лет работал председателем маслодельного общества и лавочной комиссии, был головой всей Лебяжинской кооперации. И хотя над Калашниковым посмеивались и называли его «коопмужиком», но слушали всегда с интересом. Кличка — кличкой, ее заезжий инструктор маслодельного союза человеку приклеил, но человек-то все равно был свой, лебяжинский.

Игнашка тем временем правил куприяновскими гнедыми, и даже ловко правил — длинный ход продвигался между деревьями, нигде не цепляясь. Игнашке, наверное, не впервой доводилось вот так, без дороги вывозить из леса длинные стволы. Он часто останавливал коней, бежал вперед и смотрел, как там лучше проехать, и давно бы уже был на дороге, но не торопился, держал все левее да левее, хотел въехать в Лебяжку не через какой-нибудь проулок, а прямо в главную улицу. Он всем и каждому на той улице хотел показать связанных Куприяновых.

Наверное, поэтому он и выехал еще на одного порубщика — на Гришку Сухих.

Сухих был самым богатым хозяином.

На войну его не брали — он слегка хромал на левую ногу, но силен и здоров был — удивительно! Работу Гришка мог ворочать день и ночь, остервеняясь на нее, наливаясь кровью и злобой. Если Гришке, к примеру, предстояло одному разгрузить несколько возов с зерном или мукой — он сперва обходил их вокруг, бормотал что-то и грозился кулаком, после скидывал лишнюю одежду, иной раз — и сапоги тоже, закуривал и, не спуская глаз с этих возов, снова и снова шептал что-то про себя. Потом вдруг далеко бросал окурок, сплевывал

и кидался к мешкам, иногда ухитряясь прихватить сразу два.

Сколько уже раз бывал слух, что Гришка Сухих надорвался и скоро помрет, а он с годами становился только сильнее, ухватистее.

Жил Гришка не в самой Лебяжке, а на заимке, верстах в четырех от крайних изб, на лесной опушке. Он выселился туда чуть ли не в тот самый день, когда стала известна столыпинская реформа о льготах для всех, кто хочет выйти в отруба.

В один год какой-нибудь, еще быстрее, обстроился на своей заимке: дом поставил крестовый, амбар, баню, скотские помещения, все это обнес высоченным заплотом, а внутрь посадил двух цепных кобелей. Крепость, а не подворье.

Для постройки Гришка нанимал плотницкую артель, нездешнюю, ездил за ней на станцию железной дороги, за быструю и ладную работу поставил артельщикам хороший магарыч, а потом артель ушла по Крушихинской дороге, увозя на телеге инструмент и надорвавшегося в работе товарища.

Гришка же Сухих повесил на свои новые ворота замок, и с тех пор никто чужой в его доме не бывал, никто даже в точности и не знал, как и что там сделано и построено.

Конечно, с этим хозяйством о десяти рабочих лошадях одному управиться было не под силу даже Гришке, и у него жили работники, тоже нездешние, мрачного вида. Говорили, будто Гришка берет их из беглых каторжников и арестантов.

В революцию Гришку в первую голову назвали кулаком, буржуем, капиталистом, эксплуататором, мироедом — еще многими именами, а он вот что сделал: объявил, будто выделил батракам земельные наделы, инвентарь и рабочих лошадей, и на заимке теперь три хозяйства — одно среднее, два бедных. Теперь этим бедным лебяжинское общество во всем обязано помогать — не одному же ему, Григорию Сухих, о бедняках заботиться?!

Общество тот раз поручило Дерябину встретиться с Гришкиными батраками, узнать, что это за помощь вышла им от хозяина, но батраки упрямо твердили свое: «Обчество нам обязано дать хлеба и прочего, как беднейшим...» Сам же Гришка Сухих похлопывал Деряби-

на по плечу и говорил: «Узнавай, узнавай у их все, оне все как есть тебе обскажут!»

И нынче, когда Комиссия неожиданно выехала на поляну, где Гришка с двумя этими работниками уже разделали от сучьев три сосны и пилили четвертую, Гришкино внимание в первую очередь привлек Дерябин — он выпрямился над пилой, потрепал на себе широкую рубаху, охлаждая волосатую грудь, и спросил у него:

— Ты не ко мне ли обратно будешь, гражданин?

А других граждан будто бы здесь и не появлялось, никого из них Гришка не заметил.

Дерябин ответил, что он как раз к нему и прибыл — к гражданину Сухих Григорию Дормидонтовичу. Тогда Сухих перестал замечать его, а подошел к Устинову и спросил:

— Закурить нет ли, Никола Левонтьевич? У меня хотя и есть свой табачок, но ты, помню, завсегда турецкий водишь. Угости турецким!

Устинов стал вынимать кисет, а Гришка, придерживаясь за его стремя, кивнул работникам, чтобы продолжали пилить.

Те рванули, пила тонко запела, и минута прошла — Гришка еще не до конца свернул цигарку, как что-то надорвалось в высоченной, прямой, словно стрела, корабельной сосне, она дрогнула, потом будто даже приподнялась над пеньком и негромко, аккуратно, упала. Бухнула раз о землю, и все. Как будто так и надо было, так вот она и хотела упасть — не в силах дальше стоять веки вечные прямой и высокой.

Гришка, затянувшись турецким, обернулся, поглядел на сосну и спросил Устинова:

— Хороша ведь? Вроде бы не худо выбрана?

— Гражданин Сухих!— сказал Калашников.— Мы все пятеро — Лесная Комиссия. А вот те двое — оне наши арестанты. Вот и тебя мы тоже спрашиваем: какое ты имеешь право на порубку?

— Да вы чо это, мужики?— удивился Гришка, даже вынул цигарку изо рта.— Да какое мне до вас дело, до Комиссии? Вы в уме ли? Ездите по лесу вооруженные и пристаете вот эдак к свободным гражданам? Да за вами-то — какое такое находится право?

— За нами право общественное!— пояснил Калашников.— Нам общество поручило за им же самим наблюдать, призывать его к лесному порядку. А ты кто?

Или ты — не член общества? Сам по себе, а более никто?

— Я сам по себе, а более никто! — подтвердил Сухих.

— А тогда нам с тобой еще удобнее,— сказал Дерябин.— Которые от народу врозь, с теми нам от имени народа действовать и вовсе просто!

— Ну дак и действуйте! — пожал плечами Сухих.— Действуйте, мне даже интересно — поглянутся, нет ли мне ваши действия? Ну?

— Вот и скажи — почему рубишь лес?

— Так и быть, скажу: к устройству новой жизни бедняцкого класса. Двоих бывших у меня работников, а ноне — опять же свободных граждан. Помогаю им. Чем только могу!

— Мы тебя заарестуем, гражданин Сухих! Для начала. А там видать будет, как общество решит с тобою сделать!

— А как это свободные граждане-то нонче заарестовываются? — поинтересовался Гришка.— Мне бы узнать? Может, вот как энти двое, не признаю, кто такие. Не Куприяновы ли?

— Куприяновы и есть! — подтвердил Дерябин.— Они и есть. И ты можешь поглядеть, как заарестовываются граждане не просто так, а при сопротивлении Лесной Комиссии!

— А кто же их взял-то, Куприяновых? Кто энтот вязальщик? Уже не Игнашка ли? Неужто ты, Игнашка, позволяешь себе?

— Што вы, Григорий Дормидонтович! — изогнулся, сидя на лесине, Игнашка.— Да нешто я бы один управился сделать?

Гришка подошел сперва к Матвейке, а потом и к старшему Куприянову:

— А правда, это ты, Севка Куприянов? Я вот пользовался слухом, будто ты сильно галдел на сходе против меня — буржуй, мол, Сухих Григорий и прочее. Как бы ни галдел, я бы тебя нонче развязал. И пустил бы на волю. А так нет, не пущу — постигай, как против людей галдеть, обзывать их. Постигай...— Потом Гришка, не торопясь, припадая на левую ногу, огромный, лохматый, подошел к дерябинскому коню и толкнул его ладонью в круп. Конь засеменил вперед, а Гришка сказал:

— Езжайте, езжайте, Комиссия! Не путайтесь здря, не мешайте людя́м.— И устиновского солового конишку

он так же подтолкнул, а Игнашка замахал кнутом, заорал на куприяновских гнедых — поторопился поехать сам.

Устинов все-таки сказал:

— Ты нонче не один в лесу, Григорий, ты с подручными со своими. А хотя бы и один был — мы впятером, опять же не знаю,— одолели бы тебя или нет. Может, да, а может, и нет. Но долгое время ты от нас, от народа, не убережешься — народ тебя свяжет по рукам-ногам. Помни об этом завсегда!

Сухих постоял, помолчал, выслушав Устинова, еще потряс обеими руками потную рубашку на своем огромном кривоватом теле, остуживая его, и громко ответил:

— А што особенного? Ничего нету особенного: седни я кого-то кручу, а завтре — кто-то меня. Я ведь против чего, Николай Левонтьевич? Я против, чтобы кто-то меня крутил, кто слабее меня! Вот энто — истинно страм и позор, энтого я в жизни не допущу! Никогда и ни за што! А кто сильнее, тот, правда што, пущай меня крутит! Не обидно!

Комиссия своим обозом тихо-медленно двинулась дальше. Игнашка и тот примолк. И левее да левее, с расчетом выехать на главную улицу Лебяжки уже не держал — правил между сосен, чтобы поскорее быть на лесной дороге. Стукоток топоров и еще слышался где-то неподалеку и даже не в одном-единственном месте, но Комиссия к этим звукам уже не прислушивалась...

А как только выехали на дорогу, песчаную, посередке засыпанную хвоей, а по бокам разбитую колесами, Половинкин соскочил вдруг с коня и закричал:

— Стой, стой, стой! Тебе говорят, Игнатий!

Половинкин кричал, будто Игнашка со своим странным возом мчался мимо него галопом.

Игнашка испугался и тоже закричал на гнедых:

— Т-пр-у-у! Тпру, проклятущие, и куды вас только несет?!

Половинкин подбежал к ходу, выхватил нож из-за голенища и — раз-раз!— порезал веревки, которыми был привязан к лесине Севка Куприянов. Потом подбежал к Матвейке и его освободил таким же образом.

Игнашка было запротестовал, но Дерябин сказал ему:

— Помолчи теперь, Игнатий!

Севка, пошатываясь, встал на землю. Встал и глубо-

ко вздохнул, все еще держась одной рукой за лесину и не глядя на Матвейку, который сидел, понурясь, на другом конце хода.

— Ну что, Савелий?— спросил Дерябин.— Освободила же тебя Комиссия? Добровольно освободила. Теперь — все! Езжай своей путей. Садись-ка, Игнатий, на свою кобылешку, оставь Савелию место!

Игнашка нехотя слез с кучерского своего места, с сердцем бросил вожжи и взобрался в седло.

А Севка Куприянов все стоял молча и неподвижно. Потом обернулся к Петру Калашникову и надсадно, по-стариковски, сказал ему:

— Ты вот што, кооператор! Ты об равенстве толкуешь повсюду, а своего же, тебе самому равного гражданина к лесине плашмя вяжешь? Как овечку? Игнашке позволяешь над человеком изгаляться — это обратно равенство тебе? Возьми энту лесину! Подавися ею! Подавися раз и навсегда! Подавися вместе с дружком со своим закадычным Игнатовым Игнашкой, с верным союзником и напарником, вы обои — двое сапог пара! У-у-у-у, гады!

И Севка подбежал к задним колесам хода, рванул на себя вершину, бросил ее на землю, потом хлестнул гнедых, они резко дернули вперед, и комель тоже оказался на земле.

Матвейка прыгнул на пустой ход, и они погнали коней по песчаной неровной дороге. Ход скрипел и стучал. Отчаянно завывал под этот скрип Севка Куприянов, нахлестывая коней. Со стороны казалось — он сам себя нахлестывает и от боли воет.

— Ко-операторы! Равенщики! Комиссия, будь вы про-окляты-ы! У-у-у-у! Ну погодите, настанет и вам гибельный строк!

Члены Комиссии верхами стояли подле брошенной на дороге нелепой сосны: сучья с комля и с вершины обрублены, а посередине торчат в разные стороны. Один сук, толстый и узловатый, торчит вверх дальше других. И зачем Севка Куприянов, рассудительный мужик, рубил такую нелепицу? Второпях рубил, в волнении, даже и выбрать не сумел подходящего дерева. Пришлось это дерево на дороге бросить. А что с ним станешь делать? На чем, куда и для чего повезешь?

Глава четвертая

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Итак, Лесной Комиссией были разработаны меры взыскания за самовольные порубки:

— За крупномерное дерево виновный лишался права выгонять корову в общественное стадо;

— За маломерное — выгонять в овечье стадо овец;

— При оказании сопротивления охране — порубщик насильственно доставлялся на сход для общественного суда;

— Будучи уличен в порубке вторично — также подвергался суду, который мог принять любое решение, вплоть до выселения из Лебяжки.

И много еще было установлено на этот счет правил и пунктов, которые постепенно пополняли «Лебяжинский лесной устав».

Все эти правила и пункты объявились по десятидворкам. В случае несогласия десятидворок с решениями Комиссии они могли собрать сельский сход, а сход уже имел право отменить любой пункт устава, заменить его другим, переизбрать и попросту распустить Комиссию.

Однако никто не заявлял протестов и несогласия и не требовал общего схода.

В минувшую субботу и воскресенье лебяжинцы действительно рубили лес чуть ли не всей деревней, но с понедельника появилась охрана, и в лесу стало тихомирно и уютно.

А Комиссии, несмотря на это, на эту тишину и спокойствие, чего-то не хватало. Не хватало, да и только. Хоть умри. Какого-то дела, без которого она все еще не пользовалась признанием, уважением и вниманием граждан.

Вот тогда-то Комиссия вспомнила — Калашникову это вспомнилось,— что при первом перевороте власти, весной семнадцатого года, сельский сход вынес решение о строительстве новой школы.

Поискали в бумагах сельского писаря и нашли приговор того давнего схода, дополнили его, и получился следующий документ:

«Протокол № 7 Лесной Лебяжинской Комиссии о новой школе

Наша сельская школа вовсе не отвечает требованиям, а именно: вся разваливается уже, холодная и тесная, и поскольку имущество б. царского самодержавия перешло в народные руки, поскольку нынче, как никогда, требуется грамотность и просвещение молодого поколения, Лесная Лебяжинская Комиссия обращается к своему обществу с призывом построить новую школу, в каковых целях:

1. Призывает граждан принять повсеместное участие в строительстве в ближайшее воскресенье, которое и объявляется «Школьным днем».

2. Призывает граждан добровольно отдать, у кого имеется на ограде, выдержанный и годный к постройке лес на означенные выше общественные нужды народного просвещения.

Примечание: Взамен выдержанного леса Комиссия обязуется выдать гражданам в двойном размере официальные билеты на рубку и уже вырубленный в последние дни лес».

В этом «Примечании» Комиссия имела свой расчет: взамен сухих бревен, надеялась она, будут ею выданы билеты на тот лес, который срублен в прошлые субботу и воскресенье. Все граждане, не окончательно потерявшие совесть,— сообразили члены Комиссии,— смогут хотя бы частично узаконить свое недавнее браконьерство.

Школьный день начался празднично: на высоком шесте был поднят красный флаг, Калашников и старенькая, под мужика стриженная учительница произнесли речи о пользе просвещения.

Утро выдалось с моросью, и флаг, промокнув, повис вдоль шеста, мужики промокли тоже, но уныния ни среди мужиков, ни среди баб, ни тем более среди ребятишек не было нисколько.

Плотничать в Лебяжке умели и любили, и сейчас тоже нашлось немало охотников,— они выкатили бревна из штабелей на простор, разметили их углем и в два топора начали каждое кантовать, самые же искусные принялись рубить торцы в «лапу» и даже «в ласточкин хвост».

Тут же наладили козлы, ухнули, взгромоздили на козлы бревна и маховыми пилами стали разделывать бревна на тес, а столяры эти тепленькие, только-только из-под пилы тесины еще раз стали пилить на бруски, из

брусков приладились вязать оконные переплеты и карнизы.

Кирилл Панкратов, тот уже выделывал какую-то фигуру на кровлю, не то петушка, не то еще кого-то.

Члены Лесной Комиссии кликнули клич, мол, мужики, граждане, товарищи, все жители села Лебяжки!— помогайте кто каким имеет возможность материалом, и через час к стройке потянулись подводы — один кирпич вез, другой — гвозди и скобы, хотя по бо́льшей части и местной, кузнечной работы, зато уже надежные и крепкие. А кто притащил стекла, одно-два полотна или корзину-другую кудели.

У кого сроду по соседству гвоздя одного-то нельзя было выпросить, тот нынче бежал к себе на ограду, шарился по амбарушкам, в кладовых, на чердаке и тащил какой-нибудь, иногда так еще и довоенный запас. Откликнулся народ на призыв!

Тут одному надо было обязательно начать, развеселиться и крикнуть: «А у меня есть! А я — дам!», а дальше все пошло само по себе, по кругу!

Бабы, далеко вокруг известные и рисковые лебяжинские бабы, тоже не отставали, не глядя на холод, одна другой выше заголили юбки, принялись месить в твориле глину, и хотя ноги у них стали красные, словно у гусынь, грянули такого песняка про любовь, про казака, который торопился к своей милой: «Лети, казак, лети стрело-о-ою», что и топоров не стало слышно плотницких.

А тут еще и морось перестала, выглянуло на эту песню солнышко, и вовсе закипела работа, зашевелился на ветерке красный флаг.

Когда бабы выдыхались, откуда-то прибегал Игнашка и начинал играть на чужой гармонике «На сопках Маньчжурии».

Главного лебяжинского музыканта Лебедева Терентия с австрийской гармонией нынче не было, он коня повел к ветеринару в Крушиху, Игнашка его и подменял. Не то чтобы хорошо играл, но громко.

Члены Лесной Комиссии были за главных — кто распоряжался среди плотников, кто среди землекопов и возчиков, а главнее всех опять оказался Николай Леонтьевич Устинов. Разбивку постройки они с Калашниковым сделали еще накануне таким образом, чтобы четырьмя окнами школа глядела на озеро, а двумя дверями — на полянку, по которой в перемены будут бегать

ребятишки. И сегодня, чуть свет, он опять был на месте и размаркеровал бревна — какие пойдут на стены, какие — на стропила, какие — на распилку, а теперь занимался всем на свете: следил за размерами оконных проемов, карнизов и переплетов, чтобы плотники и столяры не разошлись между собою, за разметкой дверей, за нумерацией венцов, чтобы после, когда начнут ставить сруб, не произошло промашки и путаницы, чтобы экономно и с толком расходовался любой материал, и даже беспокоился насчет предстоящего обеда, чтобы кто-нибудь из сильных любителей не натащил к этому обеду самогонки. Осень была, хлеб убрали, и пора наступала самогонная — над многими избами в Лебяжке густенько попахивало, на полную выработку гнали аппараты это зелье.

Выгодно было нынче гнать самогон — на хлеб и покупателей не найдешь, на самогон — сколько угодно и в своей деревне, и в любой другой.

Пожалеешь тут о государевой монопольке. Все ее ругали, когда она была, а не стало — начали о ней жалеть, проклинать изобретение военных лет — самогонный аппарат.

Нынче на постройке все было на этот счет спокойно, ни от кого не предвиделось подвоха, и Устинов хлопотал по делу, бегал туда-сюда, спорил, доказывал, показывал. Ему все это нравилось. «Вот Комиссия, так Комиссия!— радовался он.— Действительно сурьезная Комиссия!» Шапка была у него набекрень, из-под шапки — влажные, белые, почти что ребячьи волосы, из-под волос — потное, возбужденное лицо в веснушках. Он мало изменился, Устинов, с тех пор, как был парнем. И лебяжинские старики, сгрудившись на одном бревнышке, словно куры на насесте, глядели на Устинова и его хвалили — им нравилась такая ухватка.

Не на бревнышке, а рядом сидел Иван Иванович Саморуков и поглядывал на свою стариковскую команду. Кто-то расстарался, принес две табуретки — одну для гармониста, другую — для Ивана Ивановича, и вот он восседал, как бывало прежде, совсем еще в недавнем времени, когда никто в Лебяжке и помыслить не мог, будто Саморуков — не лучший человек, будто он — такой же старик, как и все другие.

Старцы убеждали друг друга, доказывали, что Лебяжка деревня особая — мирская, дружная. Возьмется

за общее дело — гору своротит, нету больше таких деревень вокруг, нету и нету!

Иван Иванович молчал, и старики умолкли тоже, должно быть, подумали, что Ивана Ивановича разговор обижает: какая же это дружная деревня, если не признает своего лучшего человека? Так они определили ход мыслей в пепельной голове Ивана Ивановича и замолкли, перевели разговор на Устинова.

Они знали, что Иван Иванович очень Устинова любит. Даже был случай, еще до войны, когда Иван Иванович повздорил со всеми с ними и в сердцах сказал: «Вот возьму и помру, никого из вас, дураков, перед смертью не назову! Назову как лучшего человека Николку Устинова!»

Что Иван Иванович обозвал всех стариков дураками — обиды не было. Иван Иванович, рассердившись, еще и не такие слова произносил, не глядя, что происхождения был старообрядческого. Но что он превознес над ними Николу Устинова, мужика в ту пору даже и не сорокалетнего, это было обидой, и они посылали двух человек, по-теперешнему — делегацию, чтобы узнать: всерьез он это сказал или в сердцах?

Иван Иванович напоил делегацию чаем с вареньем, еще кое-чем, и она вернулась в веселом расположении, но так ничего и не узнала.

Теперь старики, с запозданием лет на десять, надумали уладить размолвку и хвалили Устинова. Тем более что в нынешнее время звание лучшего человека никому из них уже не маячило.

А Иван Иванович все сидел на своей табуретке и все молчал, а потом сказал вдруг:

— От ужо совсем в скором времени завяжется в нашей местности междоусобная война, от тогда и поглядим — какая-такая дружба водится среди нас, лебяжинских? Нонче школу строють, а завтра, может, она будет синим огнем гореть?

— Ну, пошто уж обязательно и в нашем селении война завяжется? — спросил кто-то из стариков Ивана Ивановича.— Нам, лебяжинским, она вовсе ни к чему!

— А куды она денется, та война, от нас, от Лебяжки? Некуды ей деться. Она и нас захватит. Беспременно.

— Бывает, Иван Иванович, что и вся деревня сгорит, а одна чья-то изба посередке останется целехонька!

— Бывает! — согласился Иван Иванович. — Но только не с тем жителем, который на такой счастливый исход заранее надеется. С тем не бывает!

— Ну, а приказ Сибирского Правительства читан тобою, Иван Иванович? Читан, нет ли? Про умиротворение нонешних умов?

Приказ этот за № 24, за подписью Губернского Комиссара и уполномоченного Командира 1-го Средне-Сибирского Корпуса, висел, наклеенный на двери Лебяжинской сельской сходни, уже не первый день, и написано в нем было так:

«На основании ст. 9 Постановления Временного Сибирского Правительства от 15 июля 1918 года ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возбуждение и натравливание одной части населения на другую.

2. Распространение о деятельности правительственного установления или должностного лица, войска или войсковой части ложных сведений, возбуждающих враждебное к ним отношение.

3. Распространение ложных, возбуждающих общественную тревогу слухов.

Виновные в нарушении сего приказа подвергаются аресту до 3-х месяцев или денежному взысканию до трех тысяч рублей».

Иван Иванович приказ, конечно, вспомнил, понюхал табачку и сказал:

— Кто из вас, господа старики, задает мне глупой вопрос? Об умиротворении умов? Я чтой-то не расслышал за табачком — кто же энто спрашивает?

Ему никто не ответил.

И опять Иван Иванович сидел и молчал, пожевывая губами, положив руки на колени и вздыхая, а все остальные старики на него молча глядели... Точь-в-точь так же, как, бывало, глядели они на него прежде в совете лучших людей, когда дело решалось очень трудное и никто не знал, как его решить, и ничего не оставалось, как только ждать слова Ивана Ивановича:

Лети, казак, лети стрело-о-о-ю,
Лети скрозь горы и леса.
Моя любовь уже с тобо-о-ю,
И завсегда я жду-у тебя-а-а-а-а... —

пели между тем изо всех своих сил бабы — мужние, вдовые и совсем еще девки на выданье. Про любовь пе-

ли. И месили голыми ногами глину, и налаживали из тесины и чурбаков столы для общественного обеда, и уже варили в казанах баранину, подбрасывая в костры свежую щепу и ругаясь с мужиками, которые на тех же кострах обжигали столбы, прежде чем закопать их в землю. А щепы сухой, пахучей, смоляными узорами разрисованной было для костров нынче грудами — мужики тесали бревна безостановочно, один упарится изо всей силы тесать, рубить и пилить — уступает место другому, и так безостановочно гудели и ворочались бревна, образуясь в стропильные брусья, в обрешеточные бруски, в лежни, в пластины и в горбыли, укорачиваясь и наращиваясь, соединяясь «хвостом» и «лапой» в углы.

Член Комиссии Половинкин седьмым пóтом испотел, а топора никому не отдавал, смены себе не хотел, кантуя одно бревно за другим.

Ему говорили: «Половинкин! Ты вот-вот правда что надвое распадешься — по обе стороны бревна! Уступи место свежему кантовщику!» А он даже и не отвечал на эти слова, не оглядывался, только взмахивал и взмахивал топором чуть повыше склоненной головы, отваливая от бревна крупные чешуи — сначала с одной, потом с другой стороны.

Старались мужики. Никто не лодырничал.

Кто прошлую субботу и воскресенье больше других сделал порубки в лесу, те нынче особенно старались: им очищение от греха выходило в этот час.

Старики слушали мужской перестук топоров, женские песни, сидели неподвижно, вспоминали, о чем-то думали. Кто-то из них сказал:

— Зинка-то, Панкратова-то — все одно голосит шибче всех других. И высоко ведь берет — тоже повыше других... А помните ли, господа старики, кто еще живой из нас по сю пору остался, как мы ее, сопливую беженку, все ж таки приговорили взять в обчество? Вместе с родителями? Ты помнишь ли, Иван Иванович?

Иван Иванович кивнул, что помнит...

— А чо энто Зинка-то нонче вьется вокруг Лесной Комиссии? Нету ли тут чего, господа старики? Нету ли тут чего, Иван Иванович? Чего-нибудь, а?

Иван Иванович снова молча слегка махнул рукой: ладно, не наше дело!

А Панкратова Зинаида действительно заливалась нынче птицей небесной и сильной. И все одной и той же

песней. Только кто-нибудь из баб затянет «А я, мальчик, на чужбине, позабыт от людей», или «Как по зéлену долу росою девка красная к милому шла...», или «Помнишь ли, помнишь, моя дорогая...», в ту же минуту снова и снова она является: «Лети, казак...» И женские голоса раскалываются надвое, и те, которые следуют за казаком, те и берут верх, и озоруют над теми, кто постепенно умолкает, кто сходит на нет, и зовут и зовут к себе казака «скрозь горы и леса». И через что-то еще...

И не видать ее, Зинаиду Панкратову, среди множества других людей, где она там, то ли босая, заголенная, месит глину, то ли, раскрасневшись, варево готовит на костре, а вот слышно, так уж действительно слышно — больше всех других!

Обед был на две смены. В ближайших и даже не очень близких избах подобраны были ложки, вилки, ножи и миски, вся соль, весь перец, так что многим хозяйкам уже на другой день предстояло побираться по деревне насчет щепотки соли и перчику, ну а сегодня об этом никто не задумывался, не до того было.

За длинным, кое-как слаженным из тесин и чурбаков столом уважены были Иван Иванович Саморуков и Николай Леонтьевич Устинов: их посадили рядышком с главного торца. Напротив, в другом конце, вторая пара: учителка и «коопмужик» Калашников.

Значит, получилось признание довоенных правил: самый лучший человек оказался не забыт, а Устинов с ним рядом как главный распорядитель строительства; Калашников — в прошлом председатель кооперации и нынешний глава Лесной Комиссии, и учителка — так это же был ее день и ее праздник. Она молодость свою положила на порог невзрачной, всегда не дóчиста вымытой лебяжинской школы, она, старая дева, положила туда и всю свою жизнь.

И если в нынешний день учительница могла сколько-нибудь восполнить убыток — ей надо было предоставить такую возможность, вот ей и предоставили — посадили рядом с Калашниковым со второго торца, тем более что в свое время она помогала ему в кооперации — вела переписку, учитывала кассу, покуда Калашников не научился вести дело сам. Глядя нынче на нее — на седенькую, под скобку стриженную, со стеклышками на детски-строгих глазках и возбужденную, в румянце, можно было подумать, что действительно нынешний день способен возместить ей полжизни. Мо-

жет, и больше... Калашников захотел сделать учителке приятное, вынул из кармана кусочек газетки, схороненный на раскурку, и, прежде чем оторвать от него краешек, дал прочитать ей следующее объявление:

«Из Самары в Ново-Николаевск направлено свыше 20 000 интеллигентных беженцев и политических эмигрантов. Среди них врачи, юристы, учителя и лица прочих профессий, служившие в Земских и Городских Самоуправлениях, деятели общественных организаций и т. п. Казенные учреждения, Городские и Земские Самоуправления и Общественные организации, желающие использовать вышеуказанные силы, приглашаются не позднее 30 сентября нового стиля сообщить в Губернский Комиссариат сведения о том, какое число лиц каждой специальности отдельно могло бы найти себе занятия.

Губернский Комиссар В. Малахов.
Управляющий делами Губернского Комиссариата
В. Кондратенко».

— Вот,— сказал Калашников,— а нам в Лебяжку не надоть постороннего никого! Хотя бы и не двадцать, а сто тысяч, хотя бы один мильон прислали к нам в Сибирь учителей — мы бы ни на кого не поменяли бы тебя, наша наставница дорогая!

Учительница благодарно сказала «спасибо» и покраснела, а тогда уже Калашников оторвал от газетки клочок и другим тоже дал оторвать... Нынче далеко не все газетки были из тонкой, подходящей для курева бумаги, по большей части они на такой шкуре печатались, что и огонь-то ее не брал.

Всем было радостно и весело, все хлебали дружно, разговаривали громко.

А в то же время, хоть и весело, но далеко не одни только шутки за столом говорились. Кто шутил, а кто и нет.

— И чем энтот нынешний тысяча девятьсот восемнадцатый год кончится?

— Я скажу: где право, где лево, где приказ, где свобода, где честь, а где обман — все перепутается! Как и кому выгоднее будет понимать, тот так и поймет нонешнее время!

— Ну, уж?

— Вот тебе и «ну»! Вот тебе и «уж»!

— А што такое свобода?! Да мне ее даром не надо! Я на ее при трех переворотах власти нагляделся! Досыта! Кажный как вздумает, так и делает — убивает, грабит, любые и кажные произносит слова и лозунги, в любое ухо кулаком стукает! Нет, мужику-крестьянину это все ни к чему. Ему землю — дай, лес тоже — дай, ну кое-каких еще правов, и все! Никакой ему больше свободы сроду не понадобится, она господам только разным и нужная. Они ее и выдумывают, а больше — никто! И в общем сказать, человек полной свободы — это зверь, вот кто!

— Ладно! Тогда давай так: какой-никакой затычкой заткнем тебе одно ухо, а на один глаз навесим повязку, а одну руку тоже свяжем крепко — вот уж тогда ты ничего свободного не сделаешь! Так, что ли? Так — понравится?

— Ох, мужики, до чего же охота справедливости! — громко, но не тяжело вздыхал Калашников.— Ну, нету терпения, как охота ее, как истосковался-измечтался по ей весь народ!

— Скажи, Калашников, а что такое справедливость?

— Справедливость — это, перво-наперво, равенство! Вот как седни между нас!

А еще один мужик — Обечкин Федор, бывший матрос Амурской флотилии,— сильно захохотал и стал кричать через несколько человек:

— Ты, Петро, здря насчет равенства! Нету его и сроду не будет! Это кажный о нем кричит, кто ниже ватерлинии находится, в зависти к тому, кто выше ее! А заберись ты на мостик — и твой крик тебе уже ни к чему, и забудешь ты об равенстве думать! Все дело вот в чем: один с другим хотит поменяться местоположением!

— Неправда это! Неправда, товарищ Обечкин! — тоже криком кричал в ответ Калашников.— Человеку ум дадены и чувственность, и если он не в силах наладить их на равенство, тогда зачем оне ему? Для угнетения? Только?

— А вот я и говорю: чтобы ловчее спихивать друг дружку сверху вниз! Поскольку любой верх без низу не бывает, как любой корабль не бывает без ватерлинии!

— Так ты, Обечкин, за то, чтобы равенства никогда не было, да? Когда оно — так и так, по-твоему, недоступное?

— Оно в одном доступное: в смене команд! Кто был наверху, тот хотит — не хотит, а пущай спускается вниз! Пущай ждет момента, чтобы исхитриться и снова выскочить наверх!

— Благодаря таким вот, как ты, и погибают революции, Обечкин! Одне ее делают, а другие — губят!

— Верно! Правильно! Все одно сопрут революцию, а может, и сперли уже! Не капиталисты, дак свои же удумают!

— Это о высшей справедливости ты вот так отзываешься?

— О ей! В человеческой привычке пятаки медные и те уворовывать, а тут — справедливость и останется целехонькой? Да никогда! Она же такая лакомая, а ты думаешь, все будут круг ее ходить, облизываться, а руками постесняются тронуть? Ха-ха! Да сопрут ее в одночасье и даже — при полном солнечном освещении! Кабы иначе в жизни делалось, так жизнь давно уже справедливой была бы! Сопрут либо на што-нибудь перелатают. Я позавчерась в газетке в кадетской прочитал: «Революция — это поменьше работать, побольше получать!»

— Наоборот, Обечкин! Революция — это огромный подъем народного духа и самодеятельности! Вот как сию минуту у нас нынче, в Лебяжке! А ты не кадет ли?

— Ну, к чему мне? Я беспартийный пахарь, а более — никто! Войны не хочу — какой же я кадет?

— Не хочешь, а от гражданской войны в России тоже прибыли ждешь: ежели российский мужик и российская же Советская власть землю обратно помещику не отдадут, отстоят, так и нам в Сибири облегчение с земельной арендой выйдет, и мы казачишек с ихними наделами по сотне десятин — тоже потесним! Это ты, поди-ка, хорошо понимаешь! Про Советскую-то власть! Про большевиков!

— Как все. Как все понимают, так и я — беспартийный пахарь! Когда какая власть сильно наверху — почему бы и не быть за ее? Беспартийному-то пахарю?

— Э-э-э...— тихо произносил Саморуков, наклонясь к Устинову,— и все про жизнь! Научились-то как говорить об ей — страсть! Ишшо года два назад сроду и не было такого разговору, таких слов среди мужиков! А нонче говорят все про жизнь без краю, днем и ночью, тверезые и пьяные, а жить-то все одно никто не умеет... Жить, Никола, никто не умеет — как было, так жить

уже никто не желает, а как будет — никто не знает! Вот хотя бы седни — нету же среди нас всех Севки Куприянова?

— Нету его, Иван Иванович. Я это сильно нынче заметил. В обиде он...

— И Гришки Сухих — тоже нету!

— И его...

— Многих других нету. Кудеяра, к примеру...

— Ну, Кудеяр — это бог с ним. Он только и знает, что конец света провозглашать.

— Смирновского нету, Родиона Гавриловича.

— Энтого — жаль. Жаль, что нету. Хотя он слишком уж военный человек. Ему гражданские всякие дела как бы и лишние. Ну, а что же, Иван Иванович, что их всех нету?! Только и делов! Нету и нету! Значит, не желают быть.

— Значит, обратно, Устинов, не выходит такого случа́я, чтобы хотя бы в одном каком-то деле все были, как один. Чтобы хотя раз единственный было, как в сказке: все за одного, один за всех. Нет, не умеют люди между собою жить! Воевать друг с дружкой, энто — да, энто — умеют! И мы вот все, сидящие нынче за длинным столом, провозглашающие разные слова,— мы, может, гораздо ближе к междоусобной войне и к убийству друг дружки, чем к равенству и к братству, о коих без конца и краю сейчас говорим и толкуем?! А когда многие не захотели прийти сюда — это сильно плохо, Никола. В ранешнее время энтого не было. В ранешнее время говорилось — собираемся все, как один,— все и приходили, больные и те на карачках приползали.

Устинов промолчал.

Зато Дерябин, сидя неподалеку, слышал Ивана Ивановича и тотчас откликнулся на его слова:

— А мы, гражданин Саморуков, обойдемся! Без тех, кого среди нас нонче нету, кто и всегда-то отказывается от народу. И даже — без тех, кто для виду — с народом, а в действительности против его и только и делает, что морочит народу голову!

— Как же ты без их думаешь обойтиться?— поинтересовался Иван Иванович у Дерябина.— Как бы их совсем не было в нашем в лебяжинском обществе, тогда — понятно, нету их и нету. А когда они все ж таки в ём есть? Существуют?

— А вот на то и война, чтобы окончательно и навсегда разрешить вопрос, всякое несогласие между людьми!

— Ты, гражданин Дерябин, завсегда хорошо знал, что и как нужно делать. Другие, бывало, думают, голову свою и так и этак ломают, а ты — раз-два!— и готово, узнал!

— Человек потому и человек, а не скотина какая-нибудь, что он всегда должон знать, что и как необходимо делать, как поступать, как ломать жизнь по-своему!

— Понятно!— согласился Иван Иванович.— Только я не замечал, чтобы у тебя на ограде, в доме и на пашне, гражданин Дерябин, был хороший порядок. Какой должон быть, когда ты в любом случае знаешь, как надо правильно сделать.

— Так!— согласился Дерябин.— Порядок есть на ограде Гришки Сухих. Так, по-твоему, Гри́шка правильно все делает, да? Он знаток, да? Эксплуататор и буржуй? Он?

Иван Иванович вздохнул и сказал:

— Обои вы против общества. Тольки с разных концов!

А посередке стола, где сидело много женщин, затеялись сказки.

Лебяжинские сказки совершенно были особые. Они говорились по-разному — и со смехом, и печально, и была у них своя история. История подлинная — она шла с тех времен, когда на бугре между озером и бором, на месте нынешней Лебяжки, столкнулись две партии переселенцев — староверы-кержаки и другие, откуда-то из-под Вятки, их в ту пору прозвали полувятскими.

У кержаков на землю прав оказалось больше — они стояли на этом бугре станом, посеяли и пожали урожай, но было это в походе, временно — старец Лаврентий вел их от царицы-немки вовсе не сюда, а в дальнюю даль, за море-Байкал. И, сняв здесь урожай, они пошли на восток. А на востоке, за морем-Байкалом, вот что случилось: они раскололись между собою.

И одни остались на той пустынной забайкальской земле, а меньшую часть другой старец, Самсоний Кривой, повел в обратный путь. Он повел их к тому месту, на котором они однажды сеялись, которое многим и глубоко запало в душу: бугор травяной зеленый, озеро глубокое, бор синий, а далее — пашенная, цельная зем-

ля без краю. И не икона эта картина, а все равно как лик Христов.

Почти год вел Самсоний Кривой обратно к этому лику свою паству, семей более двадцати, истово замаливая в пути грех, который он взял на свою душу расколом с великим старцем Лаврентием.

Из-за этого греха и отчаяния был обратный путь еще тяжелее, чем путь вперед, на восток, за море-Байкал, и шли поселенцы от зари до зари, а во тьме лишались сна и шептали вслед за Самсонием покаянные молитвы. Были среди них слабые телом либо духом — померли все, и медленно шли они, оставшиеся в живых, и достигли обетованной той земли, зеленого того бугра между бором и озером уже под зиму, даже не имея какого следует зимнего запаса пропитания. А достигнув его, не поверили своим глазам: с бугра зеленого уже избяные дымки тянулись в небо: и сами избы, не совсем худо-бедно, а ладно были поставлены. На одной избе так и петушок резной весело торчал, красовался, только что не кукарекал.

Это и были полувятские — тоже семей десятка два.

— Сгиньте!..— сказали им кержаки.— Земля есть сия наша — мы по ей первую борозду прокладывали, мы в ее первое же зерно бросали — сгиньте, не то пожгем! Убьем! Все иделаем с вами — сгиньте!— И для начала и показа сожгли крайние две избы: вот как будет со всем вашим селением!

Но полувятским в зиму уходить, бросать новенькие подворья тоже было нельзя, тоже гибель, и они сказали кержацкому табору:

— Вы, правда что, сильнее нас — мужиков у вас поболе. Зато у нас имеется девок шестеро, шестеро невест — давайте родниться?! Породнимся, а родственникам уже тесно не будет, на родственников места хватит уже с избытком!

— Ах, богохульники!— отозвались из табора.— Да чтобы наши парни взяли за себя трехперстниц блудных?! И посеяли бы антихристово семя, а в душах человеческих — страм и позор?! Чтобы еще и еще оскорбили они веру истинную! Чтобы навлекли на головы свои проклятия всего раскола! Убьем вас! Пожгем вас всех, как пожгли уже два антихристова ваших жилища. Здесь — Сибирь, начальство далеко, жаловаться некому!

— Ну и пожгите! — отвечали им полувятские. — И убивайте! После — живите просто так, без жен и девок, без семени и племени! Изводите нас и сами исходите в тот же прах! Как вы без девок станете жить, как множиться, и откудова вам еще ждать такого же пришествия?!

И выставили напоказ, на самом бугре, девок своих шестерых: пойдите поищите таких же по белу свету! Когда же не хотите родниться — оставайтесь зимовать, мы вас кормом призреем!

Кержакам деваться некуда — порыли они с другого склона землянки, остались на зиму. А проклятия и угрозы с уст не сходили у них: «Пожгите девок — блудниц своих! Пожгите в кострах горячих!»

Но как бы не так: полувятские девки за ту зиму и весну наделали среди раскола столько, что сама императрица-немка и та не управилась бы сделать: они поженили на себе кержацких парней, смешали двуперстный крест с трехперстным.

И пошел с той самой зимы счет жизни кержацко-полувятской деревни Лебяжки, пошли оттуда законы и правила стояния ее на зеленом бугре между озером и бором.

Первым правилом завелось, что все младенцы женского пола нарекались только именами знаменитых и как бы даже святых тех девок, а больше — никакими другими: Ксения, Домна, Наталья, Елена, Анна, Елизавета.

О том же, как эти девки соблазняли да женили на себе кержацких парней, существовало шесть сказок, и сказывались они разно: только для мужицкого слуха и почти что молитвенно, весело и скорбно. Кто как умел, кому как бог на душу положит. И должно быть, поэтому сказкам не было конца, и в Лебяжке не уставали их говорить и слушать.

Нынче за столом затеяна была сказка о девке Лизавете. Крику и шуму было много, спорили, кому рассказывать? Если женщине, то сказка излагалась на всякий слух, на всем доступный лад, а если мужчине — то за это уже никак нельзя было ручаться.

Верх взяли женщины, а это значило, что сказка будет говориться «на глазок», то есть вот каким способом...

Девка Лизавета уже не первой должна была пойти за кержака, уже трое ее подружек выскочили на ту, на

кержацкую сторону либо в дом своих родителей доставили молодых мужей. Дорожка туда-сюда была протоптана, но вот беда: достался Лизавете парень кержацкий по имени Илюха, из себя статный, но об одном-единственном глазе.

Девка Лизавета на дыбки: «Не пойду! Не пойду за один-то глаз, хотя режьте меня, хотя убивайте! Да чем я хуже-то других девок?»

И верно — она хуже не была нисколько. Когда разобраться неторопливо — даже и наоборот.

А кержацкой стороне этакое упрямство сильно оказалось на руку, они своих-то парней все еще прятали, от полувятских девок спасали, а тут вроде бы и гордость у них взыграла:

— Ах, вот как! Когда семеро ваших желают за наших, так вам, полувятичам, вынь да положь, а когда наш один пожелал взять вашу — так она и глядеть на его не желает?! Как так? Не будет между нами уговора, не будет никогда!

— Кривой он, ваш-то жених,— отвечают полувятские.— Наша-то девка, куды ни кинь, вся кругом справная, все у нее на месте, а ваш парень об одном глазе! Это непорядок. Нет, не скажите, не сильный он у вас жених в таком виде!

— Ну и што? Да у нас лучший наш человек и старец, за коим и возвернулись мы на свое давнее и собственное место,— он тоже кривой! Так и называется: Самсоний Кривой! В болезни нонче он!

— За старца за кривого девке можно бы пойти, а за молодца-одноглаза не стоит: молодец-то долго еще проживет!

— Ах вы охальники, ах богохульники, истинно антихристово племя! Чур-чур нас от вас!

— Да вы этак-то здря: старцам-то святым и вовсе незрячими вполне можно быть, для их это даже краса. Так ведь они, старцы-то, и не женихаются и девок за себя не зовут!

А та девка Лизавета, слыша это обсуждение, свое твердит:

— Когда отдадите за одногляда, я ему и последний-то шарик скалкой вышибу, а далее пущай режуть и убиваюць меня — я не боюсь нисколь!

Такая она была девка.

А парень Илюха-кержак тоже свое заладил:

— Мне вот эта девка мила, а боле никто! Я на другую не погляжу сроду, хотя о трех глазах сделаюсь!

Тут кто-то с полувятской, видать, стороны и надоумил его: «Сбегай, Илья, в горы-Алтай, не поленись, там живет мастеровой великой, Ерохой зовут, он в красной шапке, в зеленом кушаке и в будни ходит, самой царисе-императрисе брошки из камешков ладит, на шейку, на ручки ее. И царисы самых разных царств как соберутся на именины, то и форсят друг перед дружкой:

«Ты погляди, сестриса,— говорит одна другой,— какая на шее у меня вешается радужная брошка, какой камешек на моей на правой ручке?!» — «Нет уж,— говорит другая той, первой,— нет уж, сперва ты погляди, какая пряжка на моем на пупке находится, а тогда и я буду все твои красивости разглядывать!» Так оне, царисы, форсят да фуфыркаются до тех пор, что и вражду могут объявить между собою по гроб своей жизни, но тебе, Илюха, дела до их нету нисколь, ты сам по себе беги в Алтай, проси мастерового Ероху изладить тебе каменный глазок!»

Ладно, коли так. Илюха не поленился, побежал в Алтай.

Бежит неделю, бежит еще сколь-то дён и достигает двух больших таких гор, а меж горами видит он глазом своим глубокий пруд, а с пруда вода шумно мчится и с пеною падает на колесо о трех саженях, а колесо крутит разные в заводе точила, а у точилов сидят мастера, точут камешки великой цены.

Ну в завод Илюхе дали только через окошко глянуть, самого взойти не пустили. Да ему и не больно нужно, он в заводское селение пошел спрашивать Ерохи-мастера дом.

А пошто его спрашивать, когда вот он, стоит посреди селения, об шести окнах и под железной крышей.

Но его и тут обратно не пускают: у ворот Ерохина дома две будки, в их — два солдата с ружьями и при штыках, и еще две будки поменее, и в их — две собаки с вострыми зубами.

Солдаты караулят Ероху, чтобы не сбежал куда ненароком, собаки охраняют солдат, чтобы не сбежали с караула.

Ладно, коли так. Стал Илюха мастера ждать, когда он пойдет из дому в завод, стал у солдатов интересоваться:

— Он, видать, не вольный, мастер-то, когда вы караулите его?

— Ну, пошто,— отвечают солдаты,— он вольный, а мы при ем на всякий лишь на случай. Для порядку. И для службы.

Илюха ждет-пождет, обратно у солдатов интересуется:

— Когда же мастер в завод нонче отправится?

— Нонче,— отвечают оне ему,— не скоро. Нонче — понедельник!

— Ну и что такого, когда понедельник!

— А то такое, что вчерась было воскресенье!

Илюхе-кержаку, некурящему-непьющему, это, конешно, неведомо. Он и ждет снова. И вот дождался: идут две собаки справа-слева, идут двое солдатов справа-слева, а посередке идет мастер Ероха. Невысоконький, в красной шапке, в зеленом кушаке.

Илюха не шибко долго думал, бух ему в ноги:

— Примите к душе горькую мою участь, господин мастер! Нужон мне до зарéзу один глазок, хотя бы и каменный, но только искусный!

Мастер Илюхе в ответ приказывает:

— Вставай, парень, в рост и не прячь в землю тот глаз, который у тебя имеется. Гляди им в небо!

Илюха стал на ноги и глазом рядом с солнышком глядит, не моргает.

— А теперь,— указывает ему мастер,— стой смирно и головой не крути, гляди на свое же правое плечо.

Илюха глядит.

— Теперь испытай счастья — глянь на левое! (А у Илюхи-то левого глаза не было, и он своего тоже левого плеча сроду не видывал.)

Илюха все ж таки попытал.

— Ну, а теперь глянь прямо на меня!

Илюха вылупил глаз на мастера, сам не дышит, чует — миг его настал.

И верно — мастер вздохнул, губами пожевал, усики погладил. После из двух своих рук трубку сделал и сквозь нее в остатный раз еще на Илюху поглядел.

— Ну,— говорит,— изделаю я тебе твой глазок, когда ты жениться надумал. Имеется у меня в прозапасе эдакий карий камешек, он и пойдет в работу!

Илюха оторопел:

— Откудова же вам известно об моей женитьбе, господин мастер?

— Мне это известно,— отвечает тот.— Забыл спросить, зовут-то тебя как?

— Илюха я, Илья Прокопьевич, божий раб и ваш покорный слуга! Дак и как же мне вам служить, с какою благодарностью?

— А вот как: через три дни, попозже как об эту же пору, придешь ко мне в дом примерить обновку. Принесешь бубликов с маком добрую вязанку, чаю китайского печатку, а в обои свои карманы покладешь чего-нибудь покрепчее и в стеклянной посудине. Так мы иcделаем твою примерку-обновку. Понятно ли тебе?

— Я бы рад,— говорит Илюха мастеру,— я бы шибко рад, господин мастер, но беда: крещусь двумя перстами. Старой веры я и зелья не принимаю. Даже чаю китайского — то же самое!

— А у меня тоже беда,— пригорюнился Ероха-мастер,— я тоже не могу. Я годовую свою меру, от щедрот матушки-царисы мне назначенную, на осемь с половиной годов вперед выбрал, вот и не могу. Не с чего! А когда принесешь побрызгать на обновку, тогда — смогу! Я даже и один смогу, и с твоей долей тоже, бог даст, управлюсь!

Но тут уж солдаты вступились в разговор:

— Нельзя энтого, мастер! А когда нельзя — мы к тебе в дом гостя не допустим. Не положено!

— Тогда,— говорит Илюхе Ероха-мастер,— доставь того же провианту моим караульщикам. Теперь можно, солдатики мои?

— Теперь можно!— дают согласие те.— Разве только вот собачонки наши в ту пору слишком загавкают!

— Ну, собачкам принесешь, Илюха, мяса фунта по три!— догадался мастер.— После того загавкают они либо нет?

— После того не загавкают!— уверили солдаты.

И наладил мастер свою красную шапку на голове и зеленый кушак на брюхе и пошел в завод исполнять Илюхин заказ, а про царскую брошку начальству сказывать, что она не сильно ладится у него: из неправильного камешка начата.

Ладно, коли так. Ну, а спустя время входит Илюха в свое поселение, в нынешнюю, сказать, деревню Лебяжку, в дом свой, а отец-то его, как сидел на печи коекак складенной, так и свалился оттудова плашмя:

— Спаси и помилуй мя, боже,— мнится-то мне каково?!

И стал кликать старуху свою, и в два перста они начали креститься изо всех-то сил. После спрашивают:

— Может, он зрячий? Второй-то глаз твой, сын ты наш?

— Может, и зрячий! — отвечает Илюха родителям.— Мне нонче уже непонятно, который мой глаз темный, который — всевидящий! Так что, отец-мать, нам времечко терять не досуг — пошлите мы все трое в дом к невестушке моей, к Лизаветушке!

— Ты бы погодил, Илья! — говорят родители.— Ты, может, ослеп от двоих от глаз с непривычки, вот и торопишься брать за себя жену новой веры, девку подорожную! Не радуйся, не веселись, не сотвори более того, что истинным богом дано тебе! Побойся лишнего, лишнее все есть блуд и противу бога нашего!

— Нет уже,— отвечает Илюха родителям своим,— не для того великой мастер делал мне глазок, чтобы я после обратно закрывал бы его, и не видел им и не ведал вокруг ничего! Где моя невестушка? Где она?

А она — и вот она, сама прибежала в Илюхину избу, слезами заливается:

— Испугалася я, Илюшенька, до смерти, как побежал ты в Алтай за глазком своим! Я боялася — погибнешь ты на далекой, на чуждой стороне. Я себя корила-укоряла: ладно бы и так нам было — и двое в три глаза прожили бы не хуже людей!

Вскорости свадьба наладилась. На той свадьбе Илюха-кержак муж-молодец уже пил чай китайский. И не один только чай золотой пригубливал он, еще и другим не побрезговал тоже. Видать стало всем свадебным гостям, что хорошо оне с Ерохой-мастером тот раз обновку примерили.

От свадьбы пошли детки — один, другой, третий, и далее так. И сделался в Лебяжке нашей род человечий Глазковых. Известная стала фамилия.

Ладно, коли так.

Вот какая была сказка, и она к нынешнему застолью хорошо приладилась: про мастера же речь шла, а мастеровых — плотников, столяров, печников — была за столом добрая половина, они сидели и, довольные, похохатывали.

И ладно еще, что сказка говорилась за столом «на глазок». А то была она хорошо известна и на другой манер — «на пупок», и тогда в ней повествовалось, будто бы мастер еще и пупок сделал Илюхе из камешка, будто

бы это изделие пригодилось ему в дальнейшей жизни — и дома, в Лебяжке, и в дальних извозах.

Но то уже чисто мужской был разговор. Может, это и правдой было, поскольку фамилия Пупковых в Лебяжке тоже водилась.

Как говорится — ладно, коли так.

Сказка понравилась многим, больше всех Ивану Ивановичу.

Нынче она говорилась Домной, женой Николая Устинова. Когда женщины дружно перекричали мужиков, взяли над ними верх и отстояли сказку за собой — на этом их единение тотчас и кончилось, они тут же раскололись между собой: одни шумели, чтобы о девке Лизавете рассказывала Зинаида Панкратова, другие — чтобы Домна Устинова.

И если в песнях, которые нынче без конца пелись и только сейчас примолкли, заводилой была Зинаида, то в сказочницы женщины ее уже не пустили. «Чо это — Зинка да Зинка? Да свет, чо ли, на ей сошелся — и петь она, и говорить она! Пущай Домна сказку говорит!»

Домна поотказывалась: «Да где ужо мне!», «Да нет же — у Зинаиды лучше, как у меня, получается!» Ну а потом и взялась за сказку.

У нее был чуть глуховатый голос, и, когда ей приходилось говорить за мужчину — за Илюху-кержака или за Ероху-мастера, у нее получалось даже интереснее, чем за девку Лизавету.

Лицо у Домны было скуластое, немного даже киргизское, а в то же время белое; ни у одной лебяжинской женщины не было такой же белизны лица. Рассказывая, она все время смотрела внимательно на одного, на другого, на третьего слушателя, так что каждый невольно ждал ее взгляда на себя.

Устинов со своего торца слушал жену тихо, уважительно, что было не совсем слышно ему издалека, о том он догадывался, слегка кивая.

Приумолкшая впервые за нынешний день Зинаида Панкратова, сидя как раз напротив Домны, не спускала с нее глаз, как будто все время чему-то необыкновенно удивляясь. Сказка кончилась, а она еще удивленно смотрела на Домну.

Иван Иванович после сказочки воспрял духом, выпрямился, разгладил пепельный волос на голове, стукнул по тесинам стола рукой и громко объявил:

— Хватит! Посидели, мужики и женщины, погуторили, хватит! Пора за дело, ежели мы за его взялись!

И народ зашумел, затолкался, выходя из-за стола, и прошла минута-другая, и те, кто обедал, уже снова взялись за топоры и пилы, а те, кто рубил и пилил, вторая смена,— уселись за этот стол, горланя, что давно пора было Ивану Ивановичу так сделать — прогнать первейших лодырей из-за стола, навести истинный порядок.

А Иван Иванович, которому подходило к девяноста годам,— одни считали за ним восемьдесят шесть, а другие так и восемьдесят восемь — совсем замолодился, взял топор да и вырубил на шестивершковом бревне «ласточкин хвост» — любо посмотреть!

Правда, после этой работы он посинел, руки у него затряслись, но все равно он осчастливился, и глазки у него заблестели, и голос вернулся, не то чтобы громкий, а уверенный, и над людьми распоряжались после обеда уже двое: Устинов Николай и Саморуков Иван Иванович.

И снова пошло дело, не то чтобы быстрее, а как-то заметнее, потому что опорные столбы уже были подставлены под школу, а на столбы плотники начали класть венец за венцом. И рос на глазах добрый сруб.

Сутолока поднялась, теснота около сруба. Иван Иванович всех остерегал, гнал прочь, кому делать нечего, чтобы, не дай бог, не ударило кого-нибудь бревном:

— Кто лишний — ну-ко прочь отседова! Покалечит кого — пропадет наш нонешний общественный день, и школа тоже сделается уже несчастливая!

Слава богу, вот уже и сруб готов, и последние стропила на него подымают плотники и плотницкие помощники, громко ухая.

Но тут сумерки. Осенние, ранние, и застали работу в разгаре. У мужиков еще руки чешутся, вот как хочется что-то куда-то тащить, подымать, подгонять, ставить и смотреть: как же получилось-то, какой вид имеет новая постройка?

И все жалели, что пали сумерки, как снег на голову. Надо было им повременить, не сходить с небес так быстро и неожиданно!

Вернулся из Крушихи от ветеринара гармонист Лебедев Терентий. С пустыми руками, без австрийского своего инструмента, подошел к Ивану Ивановичу, стал что-то тихонечко ему наговаривать. Иван Иванович, по-

жевав губами, велел говорить Терентию громко, для всех.

А вести, которые привез Терентий из почтового села, были нехорошими, тревожными... Колонна белых войск, которая не так давно проходила через Лебяжку, преследовала, оказывается, рабочий красноармейский отряд, отступавший на юг после падения Советской власти. Белые нагнали его, разбили, а потом еще жестоко и дико расправились с теми мужиками, которые пускали красноармейцев ночевать, давали им продовольствие. Тамошние кулаки и выдали своих односельчан... Еще издан был Сибирским Правительством указ о взыскании налогов царского времени. За Лебяжкой недоимок не числилось, так, пустяки какие-то, но все равно — зачем же тогда революция-то делалась? И уж была ли она в Сибири?.. Еще известие — власти привлекают на свою сторону, на карательную службу, отряды казачишек, которые разбойничали по степи. Так что же это за власть, которая в разбойниках нуждается?

Лебяжинский мир затих, слушая Терентия Лебедева, гармониста, а Устинов Николай вздохнул и сказал:

— Живем, как ровно в берлоге, и ничего-то не знаем. Своим-то умом долго ли обойдемся? В России есть Ленин, а у нас кто?!

— В твоих-то в книжечках что напечатано? На такой вот затруднительный случай жизни? — спросили его. Он подобный вопрос часто теперь слышал, он ведь действительно книжником был — целая горка книг стояла у него в избе, в спальной каморке. Отвечать же приходилось всегда одинаково: в книгах о нынешнем положении жизни нет ничего.

Притихли лебяжинские мужики и бабы. Впервые притихли за нынешний горячий денек, будто что-то ожидая.

Между тем вокруг все происходило по строгому природному порядку, исчез дальний берег озера с Крушихинской колокольней, потом стали распадаться краски здешнего озерного края: синее становилось сизым, сизое — бесцветным, бесцветное — серым, серое исчезало в неизвестность, во тьму.

Приозерная лужайка, давний-давний телячий выгон, испускала сильный запах перестоявшей травки, деревянной стружки и мясных щей, которые в обед варили здесь бабы в закоптелых казанах.

Ближние деревья бора отступили в глубину, и весь бор начал наливаться чернотой, от него тоже заметно повеяло теплом, смолой, груздяным запахом.

И вот уже запахи воды, леса, всей ближней и дальней местности, человечьей пищи и жизни, которые при свете дня хоронились где-то в стороне, загустели и стали бродить, как тени, пересекая друг друга.

Работа оборвалась, а расходиться прочь, каждому в свой дом после этой работы, после вестей, доставленных Терентием Лебедевым, никто не хотел. И вот все гулко дышали сыроватым осенним и пахучим воздухом, переговаривались кто о чем, кто где стоя, кто где сидя — на бревнах, на только что сколоченном школьном крылечке, и наверху — на последнем венце нового сруба. Там, повыше, лица плотников освещались последним светом нынешнего дня, ожиданием чего-то завтрашнего. Свет поигрывал и на плотницких топорах, одним углом воткнутых в бревна верхнего венца, железные подковки плотницких сапог тоже игрались блесткими пятнышками.

Вот тут-то, в эту минуту ожидания, и угадал громко откашляться Иван Иванович Саморуков и повел речь о том, как раньше было, когда лебяжинские жители еще помнили наказ старца Самсония Кривого жить между собою дружно, семейно, не делать больших грехов один против другого.

— Ну и как же это достигалось-то?— спросил кто-то, чей-то женский голос. Вернее всего — голос Зинаиды Панкратовой.— Как это может быть?

— Да ведь просто,— стал разъяснять Иван Иванович,— так же вот, как и нонче у нас делается, так же артельно. Только не на один день собирались жители в общее дело, а на многие дни. Поскотину сколь раз переносили подальше от деревни — так городили ее по неделе. Зимой рыбалку делали на озере — тоже по три-четыре дни долбили лед, тягали сети, после мирским же обозом везли рыбу крушихинскому купечеству. Дешево продавали, зато помногу и быстро управлялись, и сами рыбный запас имели до весны. А вот нынче Калашников Петро поминал здесь о смолокуренном промысле — так ведь было же это в ранешние годы, было! Артель — трое-четверо — гнала на всю Лебяжку деготь и скипидар, а их за это хорошо отдаривали хлебом. Или вот говорилось нынче: вдовам-сиротам оказать бы посильную помочь. А ведь и это было! В кажный срок — зимой,

весной, летом и осенью — был вдовий день, а то и два и три, и всем селением шла на вдов работа: дрова им рубили, и холстины им же ткали, и подворья чинили-ремонтировали, а в другой раз так и ставили новые, вот как нынче школу! Ежели бы всего такого не было — откуда бы она взялась, нынешняя Лебяжка, более чем на двести сорок дворов селение? Да сгинула бы она и на веки веков! Это уже не помнится, сколь разных деревень и деревушек по Сибири не прижилось, перемерло, погорело, разорилось-разбежалось на разные стороны. А когда Лебяжка выстояла — надо же понимать, как это с нею было, как случилось?

Тут Дерябин перебил воспоминания Ивана Ивановича:

— Какая была жизнь, той уже не будет. Уже до основания устарела она. А вот как будет? Вот что есть основное и главное! Вот об чем тебе бы на старости годов надо бы знать, гражданин Саморуков.

— А я скажу!— ответил Иван Иванович.— Мы вот сейчас как бы всем жительством собрались, и уже темно кругом, а расходиться врозь нам все одно неохота. А тогда и не разойдемся. Повременим сколько-то и приговорим нынешним сходом сделать так: школу миром закончить до последнего в ей гвоздочка, артель дегтярную тоже сделать, вдовам-сиротам устроить ихний день не позже, как через неделю, послать подвод пять-шесть от общества с самогонкой и с непьющими мужиками на станцию, чтобы приторговали какой-никакой одежонки для ребятишек, иголок бабьих и прочего. Ну, и далее так же! Так же и так же! Кроме артельной жизни, не вижу от беды другого исходу. Не вижу, нет!

— Да кто же за все такое возьмется? Война гражданская — уже вот она! Рядом! И ею пора заняться, а не дровишками вдовьими!— не унимался Дерябин.

— Лесная ваша Комиссия возьмется,— сказал Иван Иванович.— Пущай она оправдывает народную доверенность! Наперед всего пущай она воюет против войны, делает ей все наперекор, гражданин Дерябин!

Калашников Петр, сидя наверху, на стропильной связке, сказал оттуда:

— Это нам, граждане, и вовсе не по силáм. Мы много ли ден, как выбраны, но уже сделали ряд неправильностей. Их кажный знает. Особенно сказать, так Севка Куприянов должон помнить их. Нет, нам, Комиссии, это не по силáм. Не управимся.

— Ну, как не управитесь? Надо! Вот и Устинов Никола имеется в Комиссии. И, кроме того, Петро Калашников — кооперативный мужик. И Половинкин вот... Управишься, Половинкин?

— Да я што... Я ведь, Иван Иванович, на последней очереди в Комиссии. У меня от комиссионных разных слов голова сильно кружится.

— А ты старайся! Будешь?

— Как, поди, не буду...

Лебяжинский мир Ивана Ивановича поддержал:

— Что не в ваших силах, Комиссия, то с вас и не спросится. А что можете — то все делайте и делайте в поте лица и по совести! Надежда на вас у мира!

Так было сказано в тот вечер Лесной Комиссии. Расходились в полной уже тьме лебяжинцы. Каждый со своим недоумением: кто верил в Комиссию, а кто — нисколько.

Глава пятая

РЕЧЬ УСТИНОВА НИКОЛАЯ

Ночью Игнашка Игнатов постучал в ставню устиновского дома. Откликнулся сам Устинов, у него чуткий был сон:

— Кто же стучится-то?

— А энто я! Игнатий!

— Зачем?

— Выходи, Николай Левонтьевич, на улку! Выходи быстро!

— А надо?

— Надоть, Николай Левонтьевич! Ишшо как надоть-то!

Устинов натянул сапоги на босу ногу, набросил пиджачишко, поеживаясь от осеннего сырого холодка, вышел на улицу.

— Ну? Горит где или как?

— Случилось, Устинов: из степей на лес порубщики едут. С документом и едут-то... Мно-о-го!

— Сколь же?

— Подвод, может, шестьдесят. Может, восемьдесят. А может, сто! С двух волостей, с Жигулихинской и с Калмыковской, поехали!

— Кому ж ты, Игнатий, уже сказал обо всем? Кого предупредил?

— Никого ишшо...

— А охрану? А Калашникова? Дерябина?

Игнашка, суетливо потоптавшись, обойдя Устинова кругом, подтвердил:

— Да ить, Николай Левонтьевич, совет хочу с тобою делить: может, показать надо, будто и я тоже ничто не знаю? Никто не знает, а мне больше других надоть? Я тоже не знаю, и все тут... Ты только скажи мне, будто я не знаю, и все тут!

— Правда, дурной ты, Игнатий! Слух-то верный ли?

— Вовсе не слух, Николай Левонтьевич. Я уже знаю, ну как вот про то, будто мы с тобой сей минут двое стоим на земле и говорим. Здеся вот!— Игнашка потопал сперва одной, потом и другой ногой, а Устинов спросил еще:

— Откуда знаешь-то?

— Да уж знаю я, Никола. Энто вы, вся иная Комиссия, акромя меня самого, ровно дети-ребятишки, не знаете ничо. А я и сам не рад, а знаю все: мои же кунаки не в одной только Лебяжке проживают, а и во всех прочих селениях тоже! У меня друзей-кунаков, Николай Левонтьевич, ой-ой-ой-ой — поболе, как у тебя!

— Ладно, Игнатий! Беги, стучи Калашникову! И к Дерябину! Какие по пути будут избы наших лесных стражников, тоже стучись. Скажи — у новой школы вершние собираемся! А я чуть оденусь, заседлаюсь, бердану захвачу — и туда же!

Степняки и в прежние годы, хоть и не в восемьдесят подвод, а малыми обозами, но тоже наезжали в лес, только лебяжинцев это ничуть не беспокоило. Наоборот, это который раз случалось им на руку: покуда царские охранники сражались со степняками, лебяжинцы тоже не зевали — заходили с другого конца дачи и не спеша выбирали себе по доброй лесине, а стражникам не получалось резона открывать действия сразу на два фланга.

Но прошли уже те времена. Настали другие.

Лесная темь была неподвижна, во все стороны одинакова, но в темноте степи все время что-то маялось.

Или ветром не повсюду, а лишь местами колыхало степную темь, или луна, хоть и не видать ее было ввер-

ху, все-таки подсвечивала пшеничную, подернутую инеем стерню и дикие, на корню усохшие травы, но только примечается, как здесь и там движется степное пространство, и замирает в неподвижности, и снова шевелится.

Из этого движения и ждали лебяжинцы, лесная охрана, каких-то звуков.

И дождались: скрипнуло колесо. «Едут!» Хотя долгое время после того снова было тихо кругом, не слышно ни звука, все знали: едут!

Чуть прошло времени, и лебяжинцы, сгрудившись на опушке, попридерживая коней, опять уловили миг, в который все еще не очень громко, но отчетливо и ясно простучало уже не одно, а сразу несколько колес... Сразу из степной темноты в темноту лесную ворвался этот перестук железных, свежесмазанных дегтем ходов: степняки ехали по тяжелый груз, деревянные ходы в нынешний их поезд были негодны, а железные они смазали густо, от души. Даром, что степные жители, а дегтем для такого случая все равно расстарались, у кого баклажки дегтярные по году и более того пустовали, и с теми запасливые хозяева нынче смазкой, наверное, поделились. Нельзя иначе: обоз большой, а ехать всем вместе, всем, как одному.

Так догадались лебяжинцы.

А вслед за колесным перестуком подошло к лесу и конское ржание, потом — копытный топот, потом — человечий голос...

Из леса с лебяжинской стороны выехал Дерябин:

— Сто-о-й!— И еще раз:— Стой, стой! Тпр-ру-у!

Невидимый обоз смешался. Передние кони стали, задние еще шли, еще напирали на передних.

Несколько человек из обозников вышли вперед — узнать, что за крик, зачем?

— Да кто кричит-то? Может, свой? Или чужой кто уже?

— Мы што — крикунов слушать приехали? Понужай, мужики, шибчее вперед!

— Лебяжинская народная лесная охрана!— громко объявил себя Дерябин.

— Ну и што? А мы — порубщики! Из двух волостей — Калмыковской и Жигулихинской. Понятно или нет ишшо?

— А почто вы здря коней гоняете, порубщики, в эдакую даль? Да и ночью притом! Докýмент у вас имеется?

Загорелся неподалеку от опушки костерок, и при его свете высоченный степняк с кнутом за голенищем снял папаху, вынул из нее документ, стал читать:

«Дано подлинное свидетельство от общего собрания трудового крестьянства Калмыковской и Жигулихинской волостей на право вырубки в бывшей Кабинетской Лебяжинской лесной даче, а ныне общем владении революционного народа, от одной до двух крупномерных лесин на каждую пароконную подводу зависимо от размера порубленного дерева и силы конского тягла.

Во избежание злоупотреблений трехконные подводы запрещаются. Количество пароконных подвод восемьдесят семь рассмотрено и утверждено указанным выше собранием из числа только остронуждающихся трудовых хозяйств, а все заявления и просьбы замеченных в эксплуатации чужого труда отклонены.

Посему собранием предлагается не чинить нисколько препятствий указанному и проверенному числу пароконных хозяев в соответствии с прилагаемым пофамильным списком, а, наоборот, оказывать им всемерное содействие.

Председательствующий в собрании трудового крестьянства Калмыковской и Жигулихинской волостей А. П. Бодров».

Степняк прочитал громко, ладно, и, покуда он читал, его дружки подбрасывали в костер побольше сухого бурьяна, чтобы ему было виднее, когда же он кончил, степной обоз, вся толпа, собравшаяся вокруг, еще помолчала, выразила уважение и к своему чтецу, и к документу, который он огласил.

Дерябину огня никто не шуровал, он соскочил с коня, ему пришлось низенько пригнуться к огоньку. Он расправил свой документ на коленке и тоже принялся за чтение:

«Настоящим удостоверяется, что на гражданина Дерябина В. С., члена Лебяжинской Лесной Комиссии, на основе революционной законности и порядка возложено руководство охраной Лебяжинской лесной дачи, перешедшей в руки народа, то есть Лебяжинского сельского общества.

В этих целях ему предоставлены следующие права:

а) инспектирование дружины лесной охраны по всем вопросам;

б) наложение штрафов и прочих взысканий на самовольных порубщиков;

в) использование всего личного состава вооруженной охраны в целях борьбы с самовольной порубкой, помимо билетов, выдаваемых Лесной Комиссией;

г) по согласованию с Лесной Комиссией и в особых обстоятельствах — мобилизация для охраны леса всего мужского населения Лебяжинского общества.

К сему Председатель Лесной Лебяжинской Комиссии П. Калашников».

Прослушав дерябинское чтение, не очень громкое, несколько степняков пошли в лес — узнать, действительно ли есть там охрана или их только пугают, берут на пушку.

Дерябин эту разведку понял и крикнул, как бы даже подал команду:

— Товарищи охранники! При нынешних особых обстоятельствах в лес никого не пускать. Ни конных, ни даже пеших и безоружных!

И на опушке леса тотчас щелкнули затворы обрезов, а еще показались верховые...

Степняки остановились, будто споткнувшись о собственные тени.

— Какая же безобразия! Оне хозяева в лесу, лебяжинские, или как? То царь был хозяином, а нонче оне? Здорово живем, мужики! Теперь, мужики, понятно, кого ради мы в семнадцатом годе революцию делали?!

И еще пошли голоса:

— Оне — народ, у их народное добро, а мы кто? Кто же мы?

— У их, у чалдонов, царское добро, а у нас, у степных поселенцев, как была вша, так она же и осталась на бечевке?! Хошь — ее треножь, хошь — на волю пускай?!

— Ребяты! Понужаем сей же миг все, как один, в лес! Пущай лебяжинские хотя бы раз стрелят, попробують!

— А мы попробуем!— отозвались из леса.— Мы сами-то себе руки связываем, не даем друг дружке одной лесины срубить, мы его сроду берегли, лес этот, а вы приехали — нате вам!

— Мужики! Калмыковские! Жигулихинские! Две волости однех лебяжинских устрашились, да? Порожними сюды ехали, такими же и отсюдова поедем?!

— Кто как, а я еду в лес, и все тут! Пущай лебяжинские стрелят в трудового крестьянина. После поглядим, как и что случится им от всех прочих деревень! Кто смелый? Кто со мной?

А Дерябин, ведя в поводу коня, приблизился к лесу и подал свою команду:

— По лю́дям стрелять в самую в последнюю очередь! В первую очередь — стрелять по коня́м!

Степняки остановились снова, теперь уже совсем близко от черной полосы леса, и снова все затихло и там, и здесь.

Но тишина эта была уже последней. И она совсем недолго была, до тех пор, пока со степной стороны кто-то не крикнул:

— Па-ашел, Рыжка! Па-ашел, говорят тебе! Меня ли, тебя ли лебяжинские энти буржуи стрелят — и пущай! Пропадем за справедливость! Или я здря гонял тебя туда-сюда сто верстов?!

И кто-то еще погнал коня вперед из уже посветлевшей степи во все еще темный лес.

Лебяжинские ответили:

— Хозяева тоже нашлись нам! Мы энтот лес уже сколь раз от пожаров спасали — вы где тогда были? Мы его и нынче денно и нощно бережем — вам дела до наших забот обратно нету! Вам готовенькое взять! Ну, ребяты, глядите — после пеняйте на себя. У нас гранаты! Не сильно много, однако найдутся лимоночки.

— Калмыковские! Или мы хуже жигулихинских? Вперед!

— Одумайтесь, ребяты! Порубите лес — неужто мы дадим его вывезти? Мы, вершние, груженых вас дочиста искалечим!

— Царя прогнали, а Лебяжку на свою шею оставим! Пожгем Лебяжку, и все тут! Мы тоже не с голыми руками: знали, в чью сторону едем, кого встретим!

— Не мы, лебяжинские, первые силу применяем. А в остальном — вы нас хорошо знаете!

Но уже стучали снова колеса, уже тронулся человечий гул, поминая всех святых.

И в этот-то миг выехал навстречу степнякам Никола Устинов. Подъехал к затухающему костерку, поднял руку:

— Мужики?! Народ! Спрашиваю всех, и лебяжинских, и калмыковских, и жигулихинских: эт-то что же происходит? Ведь через минуту либо две мы же начнем

палить друг в дружку из обрезов, бердан и винтовок, а кто припасливее и принес с фронта гранаты — тот в действительности начнет бросаться ими! Ведь и во тьме мы друг дружку угадываем: с обеих сторон среди нас находятся фронтовики, по некоторым так четыре года палили из орудий и ружейным огнем немцы, австрийцы, румыны и турки, но он, такой человек, все одно остался живым и вернулся домой в Сибирь, обрадовал отца и мать, жену и детишек и — для чего? Чтобы сейчас быть убитым с десяти шагов с обреза в брюхо или в самое сердце своим же земляком? Таким же битым-перебитым, стреляным-перестреляным мужиком? Кто был на фронте после первого, тем более после второго переворота власти в месяце октябре прошлого года, тот помнит, как всей душой кипела солдатская масса, когда ораторы объясняли ей, откуда и как взялась эта нечеловеческая война между народами! Когда объясняли про немецкого кайзера Вильгельма, что он велел австрийскому Францу-Иосифу сделать ультиматум Сербии, после которого уже никак нельзя было миновать войны. Может, вы это забыли уже? Ну, тогда вспомните, как наш царь Николай Второй Александрович, до старости малолеток, затеял войну с японцами и погубил на Дальнем Востоке корабли с матросами и сколь еще полков сибирских и других положил на сопках Маньчжурии, просто так, не глядя, что японцы сколь разов предлагали ему мирный переговор? Но это ему впрок не пошло нисколь, царю; не минуло с тех пор полных десяти годов, как он снова погнал нас, народ, в ужасную бойню! Так неужели у нас у самих ума нисколь не больше, а жадности — не меньше, чем у того царя, которого мы сами, народ, за его безумие и бесконечную жадность раз и навсегда порешили?! Или памяти у нас, у народу, нету ни на грош ломаный, и наша кровь, пролитая по всей земле, нам нипочем, мы и ее забыли? Или вот жигулихинские, оне к нам поближе, оне знают про нашего лебяжинского юродивого по прозвищу Кудеяр, как бегает он по улице и благим матом провозглашает конец света и конец всему крестьянству — так, может, он, верно что, правый, наш юродивый, а все мы, которые над им смеемся и за сумасшедшего его почитаем,— может, мы-то и есть в действительности сумасшедшие?

Темная была ночь... Осенняя, глухая.

Тихая была ночь... Ухнула в бору сова — долго было слышно ее, а потом стало слышно и другое — как взды-

хают, и шевелятся, и переступают с ноги на ногу кони, скрипят упряжью, как степняки переговариваются между собою.

Лебяжинских — тех не было слыхать, те в своем лесу затаились.

Со степной стороны наконец отозвались словами. Хоть и не очень громко, но отозвались:

— Обманывают нас лебяжинские! Бить их! Сто верст ехать и который раз об царях слушать! Безобразие!

— Стойте, ребята! Мужик этот лебяжинский правильно говорит! Это Никола Устинов говорит — вот кто! Признал я его!

— А кто гавкает «правильно»? И стоять нечего — лебяжинских бить, лесины рубить!

— Стойте, народ!— закричал тогда Устинов снова.— Стойте! Вы мне не верите? Ну тогда я вам сейчас скажу — вы поверите! Поверите, ей-богу!— И Устинов подождал новой тишины и вдруг громко, четко и складно, совершенно по-командирски, прокричал:— Р-р-рота — пр-риготовьсь! В атаку на лебяжинских — вперед, ура! Вперед, за победу над лебяжинскими мужиками! Ур-ра!

Кони и те замерли, прислушивались — что будет?

Не было ничего, и тогда Устинов еще раз спросил:

— Ну и долго ли мне за вас «ура» кричать?

И замешкались степняки.

Нельзя им было по команде лебяжинского мужика на лебяжинцев же бросаться!

«Ура!» осточертело на войне, «ура!» проклято ими было давно. Когда бы Устинов крикнул: «Бей, ребята! Бей — не стой! Круши — не бойся!» — тут бы все и получилось.

Но Устинов догадался, как сделать...

А еще спустя время медленно потянулись подводы вдоль кромки бора, чтобы выискать другое место, с которого удобно было бы снова в бор повернуть, минуя лебяжинскую охрану и распроклятого мужика Устинова Николая.

Но такого места уже не было. И не могло быть: лебяжинская охрана тоже двигалась верхами по опушке, глаз с обоза не спускала.

И все тише тянулись восемьдесят семь пароконных подвод вдоль кромки леса, уныло они тянулись, где по две, где по три в ряд, а где — одиноко, по одной. Во-

семьдесят восьмой позади тряслась тоже пароконная водяная бочка. Это, собираясь в нынешний путь, степняки сообразили, что в бору они могут без воды остаться. При скорой-то работе, при горячей лесной порубке. Сообразили и взяли с собою водный запас.

Ну а нынче эта бочка трепыхалась по степи ни для чего. Уже пора бы и воду вылить из нее.

Перед тем как обозу повернуть в степь окончательно, от него отделился верховой, подъехал к опушке близь и, сложив руки трубкой, прокричал:

— Лебяжинские! Кержаки-чалдоны-кулаки! Недолго осталось: вскорости сделается расчет со всем на свете кулачеством и буржуйством — тогда поглядите, как с вами будет! Скоро уже!

Дерябин, загорячившись, сбросил с плеча обрез, хотел выстрелить вверх, но его остановил Калашников:

— Да что ты, Василий! Какая тебе пальба, хотя бы и в самое небо? Ведь обошлись же мы уже нынче без единого выстрела?!

И Калашников выехал вперед и тоже крикнул:

— Не ругайтесь, степные граждане! Не надо! И нас не обзывайте разными словами. Мы ведь завсегда готовые толковать с вами по-хорошему! Завсегда. Хотите — можете в том хоть нонче же убедиться!

Степняк еще погрозился, повернул незаседланного коня и, широко выкидывая ноги в стороны, ускакал, а лебяжинской лесной охране стало как-то не по себе, неуютно. Лебяжинцы и во все-то времена злились, когда их называли кулаками, а нынче это звание было им вовсе ни к чему, нехорошие внушало мысли: нынче нельзя иметь на свете врагов, ни одного, а у кулака — они кругом. Нынче слово «кулак» и среди своих-то было ругательным из ругательных.

Вот как случилось: степняков прогнали, а сами остались вроде бы с побитыми мордами!

Ну а потом заиграло утро, развеяло дурные мысли и еще раз вдали показало степной обоз. Видно было, что обозники утреннему солнечному взгляду не обрадовались, мужики по-прежнему сидели там на ходах скрюченные, зябкие.

Лебяжинские охранники тоже ехали верхами, кромкой бора, поглядывали из-под ладоней на тот обоз, то сочувствуя степным мужикам, то посмеиваясь над ними. Им-то солнышко светило весело, и они рассказыва-

ли друг другу, кто и как готовился к несостоявшемуся ночному бою.

Больше всех рассказывал Игнашка — как бы он в порубщиков стрелял из своей одностволки, как бы работал прикладом, как бы что...

Половинкин его слушал-слушал, после сказал:

— Ты бы, Игнатий, поотстал. Хотя бы на версту, там бы и объяснял об себе. А то уши прожужжал, и вот саднит в их!

Дерябин, тот, не обращая внимания на Игнашку, рассуждал о том, как надо усилить и вооружить лесную охрану на случай нового вторжения степных порубщиков.

Калашников же, хотя и не сильно верующий был мужик, но крестился, благодарил бога, что миновало нынче кровопролитие.

Устинов ехал чуть стороной, побольше других углубившись в лес, и думал: а что дальше-то будет? Не отступятся же степняки от леса, рано или поздно вернутся они обозом и не в восемьдесят семь, а в двести подвод и все — вооруженные. И тогда? Война настоящая, да и только! Так она и прет нынче, война, из любого угла, из любого дела. Власть, что ли, какая-нибудь настала бы? Не совсем справедливая, не совсем народная, не та, из-за которой народ революции делал, но хотя бы способная на какой-нибудь порядок, на охрану леса и всего другого, что есть в Российском государстве!

А в нем многое что есть, гораздо больше, чем у иных народов, и, значит, порядок требуется, да, порядок, не то растащится-разворуется все, и вместо великого богатства настанет нищенство, и потащится оно пустою степью, как та никому не нужная бочка с водою.

А на другой день утром от степняков явилась в Лебяжку делегация. Четыре человека — двое стариков, двое — среднего возраста, фронтовики.

Старики пожелали свидеться с Иваном Ивановичем, фронтовики — с Устиновым. Им объяснили, что в Лебяжке существует Лесная Комиссия, что с ней и можно вести переговоры, но делегаты настаивали на своем.

К Устинову пришел Калашников, рассказал о делегатах и спросил совета — как быть?

— А вот как быть,— сказал Устинов,— я и вовсе от этой делегации схоронюсь! А вы объясните — нету меня

в деревне. Устал я чтой-то, Калашников, от слов да от слов, руками надо бы нонче что-то поделать.

И это было верно: еще когда ставили миром новую школу, Николе Устинову страсть как захотелось поплотничать что-нибудь для себя, и он подумал: «А вот бы избушку поплотничать на пашне! Старая, довоенная моя избушка развалилась, и крепить ее ничуть нету резона, новую бы поставить! С печуркой, с застекленным оконцем, с деревянным полом!»

Теперь случай представился сделать дело.

Калашников согласился. «Вот-вот, Никола Левонтьевич,— согласился он,— я так же думаю! Когда жигулихинские и калмыковские делегаты будут ставить слишком сурьезные вопросы, мы им скажем: «Мы бы и рады сказать ответ, да нету среди нас нашего Устинова для единогласного мнения!»

Выяснилась и еще одна причина, почему Калашников так охотно согласился с Устиновым: Дерябин уже сказал степнякам, что Устинова нету. Что он, как только «ура» крикнул, так вскоре и поехал то ли в Крушиху к ветеринару, то ли в Барсуковское лесничество. Дерябин хотел, чтобы делегаты имели дело со всей Лесной Комиссией, а не с одним Устиновым.

Еще Дерябин намеревался и стариков-делегатов тоже остановить, не допускать их встречи с Иваном Ивановичем. Но те его не спросились, пошли к Саморукову. И сидят у него, пьют чай морковный и китайский, припасенный на особые случаи. О чем и как идет между ними речь — покуда неизвестно.

Устинов же очень рад оказался всем этим обстоятельствам, проводил Калашникова до калитки, собрал съестной припас, плотничий инструмент, плужок системы Сака поднял на телегу и тихонько-тихонько, задами, выехал из деревни на полевую дорогу.

Тут подстегнул коней, раскинулся на телеге просторнее и запел сначала: «Ах вы, соколы-соколики мои», а потом про казака, который летит стрелою сквозь горы и леса.

Когда едешь вот так на свою пашню — это и есть жизнь!

А избушка пашенная, неказистая, к земле припавшая, с кровлей, крытой дерном, поросшей полынью и лебедой, избушка эта бывала Устинову всем на све-

те — и домом его, и мастерской, и церковью, и всем другим, что человеку нужно для человеческого.

Беда была с этой избушкой одна-единственная: слишком уж мало ему приходилось в ней жить, что-нибудь да мешало: то дела деревенские, общественные, хотя бы и лебяжинская еще довоенная маслодельная кооперация, в которую его выбирали ревизором, то война с немцем отозвала его от этой избушки на чужой край земли, а ныне вот — Лесная Комиссия! Если бы не кооперация, не война и не Комиссия — его бы отсюда выманить было невозможно! Ну, съездил бы он из нее раз в неделю на воскресенье домой в деревню, к жене своей Домне Алексеевне, ну, навел бы там кое-какой порядок на ограде, ну, походил бы за скотиной — за коровами, овечками и прочей тварью, а после — опять бы в эту избушку возвращался и разговаривал бы здесь со своею пашней и миловал бы ее. Тем более что на пашне он ведь никогда не бывал один, всегда со своими конями, а который раз еще и с верным дружком, с кобелишкой Барином. Такое название у собаки — Барин. Шуба на нем была чисто барская — коричневая, с богатым белым воротником, и белая же рубашечка виднеется на груди.

Конечно, вокруг этой избушки на все четыре стороны света существовал миллион разных человеческих трудов — приглядных, чистеньких, умелых, трудных и легких, страсть каких любопытных.

Зато главнее, чем его собственное пашенное дело, Устинову не встречалось. Да и что может быть главнее хлеба?

И даже когда, бывало, землемеры позволяли Устинову заглянуть в трубу своего инструмента и сквозь круглые стеклышки он видел четкий и ясный, перевернутый вверх ногами кусочек местности и от чуда у него захватывало дыхание, все равно немножечко-немножечко, а землемеров ему было жалко: они-то видят землю хотя и красиво, но вверх ногами, он же видит ее, какая она есть в действительности, так видит и чует, как никому из них не видится и не чуется. И, должно быть, поэтому молодые пикетажисты называли его Николой, иной раз и Николкой, а вот старые и седые техники, потоптавшие на своем веку немало разной земли, те обращались к Устинову по-другому: «Николай Леонтьевич». Старший техник межевания Петр Нестерович Казанцев, тот, к примеру, никогда иначе его не называл

и от себя ни на час не отпускал — теодолит ли носить за ним, пикетажный ли колышек пойти поискать, мерную ли ленту тянуть вперед, уж это «пожалуйста, ты, Николай Леонтьевич, да повнимательнее!».

И Николай Леонтьевич до того становился внимательным, что спустя час рубаха на нем была хоть выжимай. Зато и путаницы малейшей он не допускал, со всею точностью мерил и мерил землю, распростертую перед ним, перед мужиком и пахарем, как ни перед кем другим на свете.

Землемерное дело Устинов почитал едва ли не самым ученым и чудесным — это надо же любую десятину усчитать и на плане изобразить! Но все равно, не землемеры, а он, мужик и пахарь, неизменно был к земле ближе, а земля была ближе к нему, чем к ним.

Подумать — сколько же это мужику дано разных имен и величаний: крестьянин, хлебороб, кормилец, землероб и земледелец, хозяин, сеятель и жнец. Ни одного среди них нет имени пустого, за-ради красного словца или негодной выдумки — все имена истинные!

Но больше всего нравилось Устинову Николаю еще одно мужицкое имя: пахарь!

Пахота — это же начало крестьянству и всякому человеку тоже.

Сколько есть разных в земледелии работ — и сеять должен уметь мужик, и жать, и молотить, и сено косить, и ходить за скотиной, и ладить в своем хозяйстве множество самых различных предметов, а то еще и сруб деревянный срубить и, если уж не печку настоящую, русскую, так хотя бы сложить какую-нибудь печурку — множество всяческих дел делает он в своей жизни, на своей земле и в своем дворе, в одной ученой книжке Устинов прочитал — триста шестьдесят разных работ и дел делает крестьянин у себя на пашне и дома,— но другой столь же первородной работы, таких же истинных пота и соли, как пот и соль пахаря, на всем свете нету и не было никогда.

И русскому мужику пахать — все равно, что киргизу пасти в бескрайней степи табуны лошадей, все равно, что норвегу забрасывать в безмерный океан свои сети, все равно, что остяку идти по соболиному следу, все равно, что старателю в любой стране, в любом крае света промывать из грунтовой породы драгоценное золото.

Есть в крестьянстве работа и потяжелее, чем пахота, есть полегче, но сноровки требует от мужика больше,

а вот пахота — она как раз на пределе того и другого: будь она еще чуть потяжелее, и тогда многие из мужиков не управились бы с нею, не хватило бы у них сил; а будь в ней чуть меньше умения — то и всякий, кто силу имеет, пахал бы запросто, и вовсе не надо было бы такому воротиле быть крестьянином, чему-то от земли учиться, что-то уметь с землею делать.

И если парнишка в крестьянской семье растет и сызмальства научен и боронить, и косить, и с конями управляться, он все равно до тех пор в молодняке будет ходить, покуда две-три десятины без огрехов не вспашет.

Вспахал — вот уже тогда он мужик, хочешь — женись, хочешь — езжай на базар, покупай себе галоши блестящие с красным подкладом — на все это ты имеешь теперь право и власть.

А если женщину увидишь вдруг в поле, как идет она за сохой или за плугом, и кричит и кричит по-своему, по-бабьи, на коней, понукая их, а кони от этого крика прядут в непонимании ушами — тогда непременно должно запершить у тебя в горле и заститься в глазах за горькую эту судьбу: значит, овдовела та женщина, значит, край пришел ей в жизни, значит, нету помощи ей от рода человеческого — одна-одинешенька баба, и только ребятишки за ее подол держатся, а ей уже опереться не на что, не на кого.

И когда мечтает она о желанной какой-то встрече — так уже только на том свете, на этот свет ей надеяться не приходится.

Пахота — это же не один только труд и работа, это судьба и доля человеческая.

Пахота — не только судьба и доля человеческая, это еще и указ природы человеку.

И покуда человек природного указа держится, следует ему — до тех пор будет известно, что такое жизнь людская; забудется указ, и неизвестно станет о человеке ничего — кто он, что он, зачем и почему. И заблудится человек в неизвестности.

Устинов Николай блудить в неизвестности не хотел и потому, наверное, отменным был пахарем. Об этом его мастерстве и умении не все в Лебяжке и знали, это ему было все равно, он сам про себя знал: легко идет у него пашня, славно ложится у него пласт, на вид нет особенного, работа как работа, но там, где другой давит на

плуг всею грудью и телом, ему довольно принять эту тяжесть на одну только правую или левую руку.

Это припомнить, так года с тысяча девятьсот пятого, с разнесчастной японской войны лебяжинцы побросали сохи, понакупили плуги Сака.

Но с тех пор многие побросали уже и те самые первые свои приобретения — не смогли выбрать орудие сразу, чтобы шло к рукам и коням, к своей землице. Не было привычки, вот и не смогли.

А Устинов тот раз не стал торопиться, прожил при складе сельхозмашин и орудий датчанина Рандрупа неделю, неделю и примеривался к плугам, слушал объяснения инструктора, глядел, кто и как из покупателей-мужиков тут же, поблизости от склада, гонит пробную борозду, и сам прогнал этих борозд не один десяток. После сказал: «Вот этот плужок будет мой!» И, действительно, это и был тот единственный плуг системы Сака, который своей хотя и железной, а все-таки природой предназначался Устинову Николаю, а больше — никому.

Конечно, самая главная пахота — это по весне.

Боже ты мой, кто только не напрашивается в помощники к весеннему пахарю, не льнет к нему, не спешит в его борозды?!

И грач, и ворона, и скворец, и мышка полевая торопится по самому донышку борозды, тыкается пуховым рыльцем туда-сюда, а над тем очумелым от яркого света мышонком уже вьется ястребок — гляди, не зевай, земная тварь!— и собственной песней день-деньской и сыт и пьян вверху жаворонок, а птичка-трясогузка то бежит-бежит вслед за пахарем, а то облетит его стороной и, вроде как махонькая лошадка на бегах, мчится впереди упряжки, оглядывается, трепыхает гузкой и хвостиком, поторапливает пахаря и коней за собою.

О земляном червяке, букашке-таракашке говорить нечего — эти борозду полнят гуртом, не различаясь породой, порода у всех у них в то время одна — весенняя. И только позже, когда подсохнет на солнышке пашня, все они одумаются, расползутся, кому куда положено,— одни в глубь земли, другие на земляной верх.

После одумается и сам пахарь, а поначалу так и с ним случается дурман.

У Николая Устинова дед был — звали Егорием,— тому необходимо, бывало, хотя бы час походить за сохой в нагом виде.

Над ним и в ту далекую, еще темную пору посмеивались, называли Егорием-бесштанным, он не унимался: «А ежели душе и телу требуется? Ежели, покуда я их не ублажу, оне мне покою не дають — тогда как?»

А пахарь был знаменитый и в любой работе жалел коней, самого же себя — много позже после них.

Внуку объяснял: «Робить надоть, Николко, ровно как за столом исти. Это одно и то же, только и разницы что исти — в себя, а робить — из себя. И одно другому должно быть одинаково — как съел, так и сробил! Потому ешь — покудова в брюхо лезет, а работай — чтобы сил оставалось сапоги снять. Может, и не два сапога, а на один только останется у тебя сил — энто даже лучше. Тогда ты уже свят-человек: все исполнил, сколь мог, сколь дадено тебе от бога силы, и теперича ни одна забота не имеет возможности к тебе пристать, подступиться!»

Этим егориевским словам Устинов не то чтобы всегда следовал, но помнил их.

Пахота к этому располагает — покуда пройдешь одну, другую, сотую, а потом — тысячную, а за многие-многие годы, может, и десятитысячную борозду — чего только не передумаешь, чего не вспомнишь?

На поворотах, правда, нельзя думать головой, надо думать руками, чтобы огреха не было, чтобы коней лишний раз не дергать, а поворачивать их плавно, будто лодку кормовым веслом, чтобы конец одной борозды или начало другой не получились бы мелкими, так что вместо хлеба, радуясь твоему неумению, взойдет здесь один только сорняк-жабрей, и чтобы не запороть плуг слишком уж глубоко, так что задним ходом его только и можно высвободить из земли.

На поворотах ты ничего не видишь — ни ближней дороги, ни дальнего неба, а видишь коней, как, тесня друг друга ребрами, они берут то ли вправо, то ли влево, видишь плуг, как, лежа на лемехе, он развертывается следом за конями, а тебе надо точно схватить миг и поставить его на работу, чтобы и быстро и плавно, и не мелко и не глубоко он внедрился в землю... Все в ту поворотную минуту в тебе занято, собственные печенка и селезенка, и сердце в груди, и мозг в голове как бы тоже кренятся на́бок, норовят тебе помочь, проявляют свое старание и умение — пользуйся ими! Не зевай!

Поворот и заезд из борозды в борозду — это как бы маленькая, но тоже поворотинка жизни, ведь и в жизни

так же: гонишь и гонишь свою борозду, а настал миг — требуется от тебя поворот, и вот уже неизбежно то, что было справа от тебя, вдруг является с левой руки, а что было спереди, то теперь сзади...

Миновал поворот, вошел ты в борозду — а любы пахарю длинные борозды!— и вот уже руки делаются у тебя спокойными, сердце определяется на свое место и голова тоже берет свое — занимается мыслями...

Мыслями о том, какой должен быть урожай, почем будет пшеница за пуд, почему в эту войну немцы били русских, тогда как раньше бывало наоборот, почему птица летит, взмахивая крыльями, а вот аэроплан крыльями не машет, а тоже летит...

Мысль ложится к мысли вплотную, как борозды твоей пашни. И сам ты весь тоже повернут к свету и к солнцу, тоже обнажен и вспахан и готов принять в себя весь белый свет.

Нынче время осеннее, заморозки уже были, инеи были, снежок был, а вот зимы не было, не торопилась зима со своим приходом, и в обед солнышко грело землю аккуратно каждый день, пашня отходила от ночных заморозков и, усталая, принималась дышать, Устинов предполагал, что в этакие часы он сможет ее попахать, сдвоить летний пар. Это хорошо, когда бы удалось: по летнему пару у него пошел сорнячок, жабрей, молочай, и, само собою, не обошлось без лебеды, вот сейчас бы их и подрезать, запахать, а тогда пашня будущего года стала бы у него чистенькая, как в баньке мытая — высевай по ней сортную пшеничку — ничто ей не помешает...

Ему бы нынче же сдвоить загонки две-три, и назавтра — тоже две-три, и послезавтра — две-три, ну и еще избушку бы новую поставить — вот чего ему хотелось, по чему стосковались и душа и руки. О чем он мечтал.

Вот он и подъехал к избушке своей: оконце стеклянное выбито, из дырки торчит тряпица, между венцами — темные щели, дверь повисла на одной петле, скособочилась.

Срам и позор! Да что же за хозяин у этой избушки, у этой пашни? Сукин он сын, если только он есть на свете, лодырь он и мерзавец, позор всему крестьянскому сословию, всему честному и рукодельному человечеству! Ему одно-единственное только могло быть оправда-

ние — если его нету уже в живых! Ну, еще — если он далеко где-то воюет с другими людьми, с такими же, как сам он, работниками, вот им всем и недосуг навесить как следует двери на своих жилищах!

Так ведь он же — вот он, бесстыдник, живехонек! С руками, с ногами и даже с головой! Верно что — срам и стыд!

Тихо было кругом...

Откуда-то издалека прилетали к Устинову звуки — подует ветерок, и вот они; ветер погас, звуки тоже гаснут, как бы навсегда.

Ну, здесь, в этой местности, на этой земле ничего не могло быть для Устинова неизвестного, и он тотчас, не зная, а только слыша, понял: где-то в южной стороне, вдали, ходят по кругу кони, наверное, четверо сразу, гоняют привод, от привода с треском крутится барабан молотилки-трещотки. Бабы — вернее всего две, а может быть, и одна — управляются, повязавши голову полотенцем, чтобы пылью не так уж забивало лицо и волосы, отгребают полову и солому граблями, а сам хозяин, тоже в полотенце, подает растрепанные снопы с полка́ в барабан.

Это и есть главное умение в молотьбе: сноп нужно подать равномерно, чтобы барабан шел без перегрузки и без холостого разгона, подать колосом на зубья, но ухо держать востро: вместе с колосьями тебе очень просто может смолотить палец, а то и два сразу. Недаром с тех пор, как пошли в крестьянстве молотилки, беспалых сибиряков стало заметно больше.

Ну, слава богу, наконец-то он один, Устинов! Наконец-то! Дождался! А то все вокруг него люди, а когда люди — значит, всяческий дележ — дележ леса, дележ любого дела, потому что, если двое, а не один делают что-нибудь, уже надо заранее разделиться: вот это делаю я и вот так, а это и вот этак — ты; дележ слов: один сказал, а другой уже повторить то же самое не может, не имеет права, но промолчать ему нельзя, значит — надо искать другие слова; дележ воздуха: один говорит и, вот как Игнашка Игнатов, дышит при этом прямо в рот другому, и приходится с таким пространство делить, отодвинуться на шаг; дележ всякого срама: один избушку свою запустил, забросил, развалилась она, и кажется, это его дело, никого больше не касается, но так только кажется — появись тут другой человек,

и невольно будешь думать: а он-то, тот, другой, появившийся, что́ о тебе, о таком вот хозяине, думает?

Устинов распряг коней, свалил с телеги плужок, сел на минуту посидеть на чурбак около избушки, полюбоваться своим одиночеством, подышать им.

Вдруг — что такое?— так, и так, и так — постукивает телега и как раз по той же самой почти невидимой полевой дороге, по которой Устинов только что ехал. Кто такой? Кому тут нынче быть и зачем? Это к нему могли ехать и за ним, больше никуда. «В Комиссию обратно звать!— догадался Устинов.— Да пропади она пропадом, распроклятая эта Комиссия, не поеду я в ее нонче, хоть тут потоп! Не поеду, и все!»

Приехала Зинаида Панкратова.

Остановила пегашку-кобылу, огляделась вокруг и глуховато, невесело поздоровалась:

— Здорово, Николай Левонтьич!

— Здравствуй, Зинаида! Тебе чего?

— Мне — ничего...

— Зачем приехала-то?

— Ни за чем...

— Как так?

— А вот так...

— Ну, так и поезжай куда едешь!

— А я никуда более не еду...

Сидела Зинаида на телеге неподвижно, чуть опустивши плечи, свесив ноги и положив на колени руки. На телеге не было никакого предмета — ни припаса съестного в мешочке, ни туеска с питьем. Один только кнут и лежал в тележной пустоте...

На Зинаиде была домотканая, когда-то крашенная в красное, а теперь уже выцветшая юбка, зеленая кофта и расстегнутый мужицкий коротенький армячишка, а на голове — пестрый с цветочками платочек. Не выходной платочек, но и не рабочий, свеженький.

И лицо из этого платочка глядело на Устинова тоже свежее, почти без морщин, безо всякой дряблости, не худое и не полное, для Зинаидиного возраста, для всей ее жизни совсем неожиданное.

При ее трудах и заботах на лицо ее лишний десяток лет обязательно должен бы набежать, покрыть его морщинами, но по-другому было — ровно такой же срок с лица сбежал, и вот сидит на телеге женщина о тридцати годочках, только задумчивая очень, потерянная.

— Ты вот что, Зинка,— сказал ей Устинов,— ты по

степи-то здря не плутай, знай свою дорогу! А то ведь и Кирилл, мужик тихий-тихий, но в конце концов тоже возьмет этот кнут и покажет им тебе, куда у тебя путь, куда его нету!

— Ну, где ему?! — вздохнула Зинаида.— Не смочь!

— Езжай, Зинаида! Езжай себе, когда без дела приехала!

— Я с делом...

— С каким же?

— Просто так... Лебяжка вся только и говорит нонче, что об Устинове. Как сказал он порубщикам речь, как отвел кровопролитие. Все говорят об Устинове, а поглядеть на его одному человеку, живой душе — нельзя?

— Ну-у?! — изумился Устинов.— Интересно — как речь-то моя собственная вдруг отзывается!

— Так и отзывается!

Устинов торопливо запряг коней в Сак и погнал их в тот край пашни, где у него был заготовлен летний пар.

Конечно, жнивье, да еще только двумя конями, при нынешней подмерзшей почве ни за что пахать было бы нельзя, а вот по пару Сак шел, и не худо. Перемётывал борозды, поскрипывал на корешках жабрея, молочая и лебеды, опрокидывал навзничь всю эту сорность.

Хорошо шел по пару Сак!

Но что-то не было от этой пахоты того удовольствия и покоя, которого так ждал нынче Устинов, торопясь на свою пашню: что-то уж слишком долго около избушки сидела на телеге Зинаида Панкратова, глядела в его сторону, поднимая ладонь ко лбу.

И только уже перед темно́м, когда вот-вот пора было кончать работу, снова застучали колеса по дороге: уехала она.

Тут и солнышко закатилось окончательно. Плыло, плыло по темному урезу земного края, погружалось за урез все глубже и утонуло совсем. Утонувши, еще пустило вверх розовые пузырьки, подышало в обомлевшее небо.

Устинов пожелал ему добра:

— Спи, солнышко, до завтрева! Завтра, бог даст, увидимся сызнова!

Устинов не сильно верил в бога, не без конца, но чтобы не верил совсем — тоже нельзя было сказать. Бог

должен быть, но только не такой уж он главный, как попы рассказывают. Солнце, к примеру, всегда казалось Устинову главнее — от него ведь все живое идет, да и мертвое, может быть, тоже. Могло, конечно, случиться, что именно бог когда-то зажег солнце, но это было так давно, что забылось всеми, и самим богом — тоже, и вот он уже, как и всякая прочая душа, греется под солнышком, и радуется ему, и благодарит его за тепло и свет. Другое дело, что по-своему радуется, по-божьи.

Вот так. А представить себе бога в виде самого наибольшего начальника, да еще — и самого строгого, Устинову не было охоты. Вернее всего, бог был мужиком.

Кем же ему еще быть? Не рабочим же от станка в дыму и в копоти, не чиновником с кокардой на голове, не пузатым купчиной, не попом и не монахом?! Монахи и попы, те больше всего к словам и к молитвам склонны, а к делу — нет, а этот вон чего натворил-наделал — весь белый свет!

Больше, чем бог, к земле и к пашне, к самой первой борозде, к изначальности человечьего труда, тоже никто не может быть причастен. И вот, как ни прикинь, а должен он быть очень похожим на мужика, на пахаря, другого выхода у него нет.

Поэтому Устинову было очень приятно от своего и от божьего имени одновременно осенять солнце крестным знамением, угождать ему, а заодно и себе: приятно сделать кому-то хорошее! Сегодня сделал, завтра сделал, а там уже и напомнил: а теперь сделай хорошо и для меня! Приятно на второй, на третий, на десятый раз думать, что вот сколько сделано: и солнце, и земля, и самая разная жизнь, так что осталось не так уж и много — навести в этой жизни порядок и разумение. Много ли это по сравнению с тем, что уже сделано? Да пустяки! А когда так, то и надо сделать — хорошо наладить жернова, да и перемолоть всякую неразбериху в разбериху, войну — в мир, беззаконие, хотя бы и лесное,— в строгий, но справедливый закон.

Еще надо сделать, чтобы Зинаида Панкратова не блудила бы ни с того ни с сего по степи на своей пегашке-кобыле.

Не мутила бы душу себе и другим.

Глава шестая

ГРИШКА СУХИХ — ГОСТЬ

В устиновском хозяйстве было три лошади: Груня, Соловко и Моркошка.

Кобыла Груня уже в годах, на пашне работала только в страду весной и осенью. Баба, так баба и есть — забот у нее не столько на пашне, сколько дома: воды привезти, дровишек из леса, сена с лугов, ну и на базар в Крушиху съездить она тоже умела и понимала, как это делается. Оставляй ее на базаре с возом хоть на целый день — она с места не тронется, ни за кем не увяжется, хозяина не подведет, если он отлучится куда-то.

Соловко — тот был пашенный конь. Работал, как лошадь, кроме работы ничего на свете не знал и знать не хотел. Если день-два на нем не поработаешь, кнутом для порядка его не постегаешь, он уже и места себе не находит, лежит и вздыхает со слезой. А то ходит туда-сюда в загородке, изнывая, или топчется и топчется с ноги на ногу — куда-то надо ему идти, что-то за собою тянуть. Хомут увидит — и сам в него головой лезет, глаза прикрывши, губами причмокивает от удовольствия.

Запрягай его, грузи хороший воз, он и пошел и пошел, и потянул и потянул, не быстрее и не тише, а точно так, как с места взял, хоть тридцать верст — все одинаково. Вправо ли, влево ли посмотреть головы не повернет.

«Не конь,— говорили устиновские соседи,— а золото!» Только не этот конь золотой был Устинову всего милее, а другой. Меринишка, прозвищем — Моркошка.

Он еще жеребчиком шустрым бегал, и тогда деньденьской была у него одна забота — через свое ли, через чужое ли прясло перемахнуть и в огороде морковку подергать.

Конечно, едва ли не все кони к морковке с большим желанием относятся, но что до Моркошки — он за эту овощинку готов был душу продать.

И уже работником был неплохим, старательным и смекалистым, а Устинов все подумывал, а не сбыть ли его прасолам?

Ведь рано или поздно, а уведет коня какой-нибудь цыган — покажет морковку, и тот побежит за ним, словно собачонка! После цыган станет бить шапкой

оземь и божиться, будто ни при чем: лошаденка сама за ним увязалась, он и не знал, как от нее отделаться! Это если цыгана поймают с чужой лошадью. А если не поймают? Не лучше ли заранее такого ненадежного работника уволить, сбыть с рук?

Но тут произошел особый случай.

Пахал Устинов на Моркошке в паре с Соловком.

Соловко, конь золотой, тянул Сак ровно и покойно. Хотя пахарь и видит своих коней только сзади, но все равно Устинов знал, как тянет Соловко: глаза закрыты, нижняя губа отвисла, на груди — раз-два, раз-два, справа-слева и справа-слева, будто по маятнику, взбухают и оседают мышцы. Ну а как идет с ним в паре Моркошка, об этом надо было догадываться — наверное, глазеет по сторонам, что-то нюхает по-собачьи, и вот, занятый посторонним делом, то натягивает постромки струной, а то они повисают у него чуть не до земли. И если кто-то где-то, хотя бы за версту проехал степью — так это Моркошку никак не минует,— он крутит в ту сторону башкой и ржет приветственно: «Кто там едет? Меня хозяин не пускает, так давай-ка заворачивай ко мне. Познакомимся!»

И вдруг Моркошка этот в борозде встал. Словно вкопанный. Словно вогнал его кто-то в землю всеми четырьмя.

Устинов обошел упряжку, оглядел плуг и коней — все в порядке. Значит, Моркошка, мало того, что шалит за работой, еще и упрямится! Ах, гад!

И Устинов хорошо поддал лодырю кнутом сперва по спине, а потом и под брюхо.

Соловко рвется вперед, и кожа на нем вся дрожит, будто бьют его, а не Моркошку, а битый Моркошка мотает головой, плачет, но упирается и вперед не идет.

Устинов поддал ему еще раз. И еще. И даже по морде.

Моркошка упирается — хоть убей его!

А бить коней в Лебяжке издавна не очень-то было принято: девка Ксения не велела. Девка Ксения все из тех же полусвятых-полувятских была. Она была рябая и немая, в невестах не числилась, но умела заговаривать коней. Пошевелит на коня губами, поглядит на него глазками голубыми, и конь с места сойти уже не может.

И вот когда кержаки-раскольники, три подводы, решили уехать прочь, увезти последних своих еще остав-

шихся женихов от соблазна и наваждения — Ксения заговорила у них коней.

Кони стали.

Кержаки начали их бить — кони ни шагу.

Кержаки били коней два дня и две ночи, забили их до смерти, кони так и не сдвинулись с места. Кержаки ушли пешком с зеленого бугра между озером и лесом, с лебяжинского места, увели троих своих ребят-женихов, но за то, что убили своих коней, бог их покарал: стали они заиками. И с девкой Ксенией тоже худо получилось — она от страха померла, закрылись ее голубые и немые глазыньки при виде конского побоища.

Вот с той поры лебяжинские мужики из опасения сделаться заиками коней бить остерегались, а побив, грех замаливали — ставили в своей немудрящей церквушке свечку во имя святой Ксении.

Хорошо, что была эта сказка и поверье, эта привычка, а то Устинов, пожалуй, и еще сильнее измолотил бы в тот раз Моркошку. Но тут он одумался: «Нет — это неспроста! Есть причина, почему конь упрямится!»

И стал искать ее, эту причину.

И что же? Как раз позади Моркошки и только чуть впереди лемеха блеснуло из земли. Устинов нагнулся, взял в руки предмет, а это — железный зуб от бороны оказался. Припомнить, так от его же собственной бороны зуб, три года тому назад потерянный. И если бы Моркошка не встал, не заупрямился, зубец под лемех попал бы и мог, пожалуй, его покалечить.

Значит, вот как происходило дело: Моркошка шел в плуге, глазел по сторонам, однако же заметил тот зуб, только не сразу понял, что это такое. Чуть позже понял, когда ступил на него задней ногой, может, и не ступая, все равно догадался — нельзя идти дальше! — и стал.

Его за это били, он все равно стоял.

С тех пор, с того дня Моркошка был Устинову друг и только что не брат.

А Моркошка охотник был до ублажения, любил человеческую ласку.

Идешь утром его запрягать, а он лежит себе тоска тоской — с головы до ног печальный, глаз на хозяина приоткроет и тяжко вздохнет: «Нет и нет мне жизни, хозяин... Измучилась душа моя, где моя молодость, где золотые дни моей жизни? Посочувствуй мне!» Ему посочувствуешь, за ушами почешешь, он встанет на ноги.

Его запрягаешь, едешь. Час проходит, другой — он все еще как во сне, как в рабстве подневольном, и ничего-то на свете ему не мило, не интересно. А потом вдруг что-то в конской его душе случится и трепыхнется, он взглянет этак весело, голову подымет, ногами задрожит и азартно ударится бежать по дороге, а если работать — так начнет работать, что уже надобно его и попридерживать, умерять пыл и торопливость.

Что в Моркошке сидело прочно, в чем он не менялся никогда — это его безразличие к Соловку, к вечному своему напарнику.

Не то чтобы злоба какая — этого нет, он и корм запросто мог уступить Соловку, и место в конюшне, но даже уступая, как будто не замечал его. Что Соловко рядом с ним, что нету его много дней — Моркошке все равно, к любой чужой лошаденке у него интерес, к Соловку — никакого!

К собаке, к Барину, у него и то внимания хоть отбавляй... Едут они куда-нибудь, а Барин ударился влево от дороги, и Моркошку тоже клонит влево, ему интересно, куда это Барин побежал. Барин взял наметом вправо, и Моркошка без конца зыркает туда же. Барин примется Моркошку лизать в морду, а тот и довольнешенек, на хозяина поглядывает: «Вот как понимающая и душевная тварь ко мне относится! Мотай, Устинов, себе на ус!»

И Устинов мотал, серьезно и подолгу думал о разной скотине; само собою, о лошадях — больше, чем обо всех других.

У него даже и так бывало — побьют Моркошка или Соловко ногу, сотрут спину, а устиновская нога или спина начинает зудиться, неприятно им делается.

Нынче, в избушке, ему и потому еще было так хорошо, так по себе, что он по коням, по совместной с ними работе сильно соскучился. А тут они втроем — Устинов, Моркошка и Соловко — сделали большое дело: сдвоили-таки летний пар!

После того без передышки, а под настроение, Устинов совершил еще одну работу, о которой прежде и не думал: отремонтировал колодец. Почистил, углубил и на два венца нарастил колодезный сруб.

С утра же, как только рассветет, он мыслил начинать плотничью работу — ставить новую избушку.

Лес на это дело Устиновым был заготовлен еще весной, бревешко к бревешку лежали в штабеле, сверху

прикрытые хворостом. Издалека, с дороги посмотришь и догадаешься: пахарь хвороста сделал запас, до самой зимы собирается в избушке жить.

Но рассвет все не наступал, осень стояла, закаты приходили рано, рассветы поздно. Устинов выспался и позавтракал с кипяточком, а света все не было, чтобы начинать работу, и он снова прикорнул на нарах.

Тут кто-то и зашарился у дверей.

Устинов не сразу догадался, кто такой, и спросил:

— Энто кто же там?

А потом догадался — кому же еще и быть, как не Барину?

Приоткрылась дверь, и вот он, легок на помине, недавно о нем вспоминалось, явился собственной фигурой: уши, нос и хвост — торчком, но сам недоволен: дверь ему долго не открывали. «Что я — собака, что ли, у порога торчать? Мог бы и поживее быть, мог бы встать и дверь распахнуть, принять гостя!»

— Ладно-ладно! — сказал ему Устинов.— Зачем пожаловал? Может, домой меня звать?

Нет, ничего особенного дома не случилось, и Барин просто так, должно быть, пришел.

— Ну, посиди просто так. Слишком-то долго не засиживайся, а немного — пожалуйста!

«А ты пошто это недоволен мною, хозяин? — спросил Барин.— Вот те раз! Я к тебе — с душой, а ты меня оговариваешь! Ну, только и делов — я ведь могу сей же миг в деревню обратно податься!»

— Ну и беги! — сказал Барину Устинов.— Разленился вовсе. Ни за конями присмотреть, чтобы не ушли далеко, нет тебя, ни за коровами!

«Ай-ай-ай! — поглядел Барин с укоризной.— И что за карахтер сделался у мужика! Да ведь кони-то — здесь, с тобой, на пашне, а коров-то нынче с ограды палкой не выгонишь, им сейчас ботвы разной огородной цельная копна сложена, а капустного листа от шинковки и засолки — другая! Что за карахтер! Тьфу! Глаза бы мои не глядели!»

— А жрать чего будем, вдвоем-то? — спросил тогда Устинов.— У меня вон и хлебушка-то в запасе всего две буханки осталось. Одну тебе отдать, а после домой за припасом снова ехать, да? Может, овес будешь есть, Барин? Овсом с тобой Моркошка поделится — он добрый! Обратно — вы друзья между собой!

Но тут Барин уже совсем обиделся.

«Будет врать-то! А мясо-то, баранина-то в приямке на льду находится? И сверху колодой закрыто, чтобы не достал какой-никакой гость! Будто я не знаю! Не обежал круг избушки, не обнюхал, что и как здесь происходит!»

— Баранина, хоть ты и барин, а не по тебе. Она по мне...

«А кости? Кости-то бараньи ты же сам не сгложешь, а без меня они вовсе пропадут, уйдут в землю, сгниют без пользы! Да я и сам пропитаюсь кое-чем — сусликом, а то и зайчишкой!— И Барин еще оглядел избушку и поморщился:— Тулку-то, ружье-то свое ты не взял, хозяин? И дурень! Надо было взять, вот бы и сходили по зайчатинку!»

— Ладно!— сказал Устинов.— Ладно, оставайся, коли так! Не просто тебя переспорить! Оставайся!

Барин подошел к Устинову, лизнул его в руку, сам облизался и тут же вцепился себе в хвост, в самый корень.

— Ты хотя бы отошел куда в сторону со своим занятием,— посоветовал Устинов.— А то как раз посередке расположился!

«А теперь это уже не твое дело!— сердито зыркнул Барин, продолжая выгрызать себе хвост.— Обойдусь без твоих замечаниев. Сделай вот у новой избушки сенцы, навесь хорошую дверь, тогда я и сам буду знать, что дальше той двери мне хода нет. А в этакой в развалюшке стесняться — одна глупость!»

И Барин выкусил-таки из хвоста блоху, встал на все четыре, потянулся, поглядел, как сидит на нем коричневая шуба с белой рубашечкой, поиграл ею на плечах.

Сказать по совести, Устинов насчет Барина, так же как и насчет Моркошки, бывало, думал всякое. Думал: а не пустить ли этакую шубку вместе с воротничком и с белой рубашечкой на рукавицы и на шапку? Ну, правда, недолго было у него сомнение, очень уж хорошо они друг друга понимали, хорошие вели беседы, чтобы одному вот так о другом продолжительное время предполагать!

Однако за других лебяжинских мужиков Устинов и по сю пору нисколько поручиться не мог — тем запросто было сделать, и, когда Барина не бывало дома день, а то и два, Устинов грустно вздыхал: «Теперь

в холода надо примечать — на кого из мужиков надет мой Барин?»

Но Барин тоже цену своей шкуре преотлично знал и берег ее зорко. Не так-то просто было его обмануть, заманить в чужую ограду.

Еще была у Николая Устинова мысль — посадить Барина на цепь, сделать караульщиком.

Но и тут он раздумал — очень уж веселым, а главное, смышленым рос Барин, значит, не та природа — не сторожевая. Сторожу и охраннику зачем смышленость? Он одно знает: сюда нельзя пускать никого, туда — нельзя, вот и все, и вся мудрость. Вот и весь устав. К тому же не принято было в Лебяжке избы сторожить. Гришка Сухих на заимке цепных псов держал, Кругловы-братовья держали, так это особые были хозяева, имели большое обзаведение, надеялись, что будут иметь еще большее, и заранее делали охрану будущему своему богатству. Другим же в этом надобности не было.

И стал Барин вольной птицей, только что жил не в небе, а на земле, но не было далеко вокруг Лебяжки места, чтобы он его не обнюхал, не побывал бы на нем, не оставил бы там своего следа.

Наверное, так и должно быть: к вечному работнику, к мужику, кто-то вольный и беззаботный должен ведь прислониться? Правда, и для этого тоже ум, и сообразительность, и душа нужны, не дай бог, если бы тот же Барин по глупости своей мешал бы Устинову.

Но Барин никогда и ни в чем не мешал. Чтобы, к примеру, броситься сломя голову в хлеб и потоптать его, гоняясь за перепелкой,— этого за ним не было. Чтобы помешать Моркошке работать — тоже. Барин хлеб не добывал, но цену ему знал, понимал, что к чему. Запрягает Устинов ехать в Крушиху на базар — и Барин ошалело бегает по ограде. Запрягает на пашню — и вот уже Барин сидит у крыльца тихо и серьезно, строго поглядывает на хозяина: «Все ли ты взял, что нужно? Смотри у меня — не забудь чего, какой-нибудь необходимый предмет!»

А нынче Барин еще повозился посреди избушки, потом высунул голову наружу и гавкнул в светлый уже, хотя и припозднившийся осенний день. Потянул носом воздух и гавкнул еще раз.

Так вот зачем он явился: предупредить хозяина, что кто-то был в устиновском дворе, узнал у Домны, что хо-

зяин в поле, на пашне, и подался сюда. А Барин тоже подался, но только много быстрее.

«Комиссия?» — снова подумал Устинов. Нынче кто бы куда бы его ни позвал, кому бы он ни понадобился, первое, что приходило в голову,— Лесная Комиссия! «Покуда не поставлю новой избушки — не уйду с пашни ни на шаг!» — снова решил про себя Устинов.

Приехал Григорий Сухих.

Приехал вершний, бросил повод на колодезный сруб и, на минуту остановившись, внимательно оглядел устиновскую избенку.

Вот кто понимал весь ее непотребный вид, весь хозяйский стыд и срам!

Все поняв, Гришка, согнувшись, просунулся в дверцу избушки и пнул Барина:

— А-а-а! Ты уже здесь, лазутчик!

Барина он толкнул ногой, а Устинова рукой — это он поздоровался так и еще сказал:

— Здорово, Никола!

Тут были дни — Устинов со скотиной только имел дело и разговоры, Моркошке и даже Соловку высказывал свои мысли. Соловко, хотя и с полузакрытыми глазами и с отвислой губой слушал хозяина, а все-таки слушал. С Барином, хотя и короткая была беседа, а все-таки была, о многом они успели поговорить. Ну а теперь с человеком предстоял разговор. С Гришкой Сухих.

И Барин замолчал, глаза у него сделались звериными. Когда Гришка пнул его, он оскалился, но безмолвно, не заворчал, не гавкнул, залег в угол. У него явился страх в глазах, он страха не скрывал, не прикидывался, будто ничего не боится, будто ему по-прежнему весело жить на свете, будто Сухих Гришка его нисколько не касается! Ничего этого Барин не изобразил, хотя и великий искусник был и так и эдак прикидываться. Он сидел в своем углу, шерсть торчком, а Устинову вполне было понятно, что и как переживает Барин.

«Мне страшно, хозяин,— показывал нынешний вид Барина,— но ты не думай, будто я убегу, оставлю тебя одного! Я не убегу! Когда понадобится, я свой страх, я все на свете позабуду и брошусь тебе на помощь! Уж ты мне поверь, не сомневайся, об одном я только прошу — не замечай страха во мне, в моих глазах! Мне от этого совсем худо делается!»

— Ладно, ладно! — сказал Устинов. «Чего ты испугался-то? Это же Гришка Сухих, сильно лохматый

и дикий, но человек же!» — хотел еще пояснить Устинов Барину, но не пояснил.

А Гришка — огромный, хромоватый, опрокидывая плечи вперед, сгибаясь в пояснице, чтобы сделаться пониже и не бороздить головой жерди потолочного настила,— мерил избушку из угла в угол. Избушка крохотная, Гришка огромный, получалось, будто он в клетке бегает, будто не по своей воле он вошел сюда, а посажен в клетку насилием.

Устинов подумал: те давние раскольники, которые в Сибирь долгие годы шли, в Сибири с рогатинами на медведей хаживали, такими же, наверное, были огромными и лохматыми.

Но те мирные были, себя от других людей защищали, когда их веру преследовали,— сжигали сами себя в огне, а Гришка Сухих побегал-побегал по избушке, остановился, ткнул в Устинова пальцем огромной, тоже волосатой руки и сказал:

— Решить, что ли, тебя, Устинов? По-другому, так придушить, что ли, Николай Левонтьевич, тебя?

И сказал-то не очень в шутку, так что у Барина его шуба еще больше вздыбилась, и он рыкнул из своего угла.

— Тихо, ты...— посоветовал Устинов Барину, а у Гришки Сухих спросил:— За что?

— А так! Чтобы не было тебя больше!

— Нет, ты объясни?!

— Говорю же, чтобы не было тебя. Устинова Николая Левонтьевича. Лебяжинского жителя!

— Непонятно мне, Григорий!

— Мне нонче лучше без тебя, как при тебе, Устинов!

— И давно я тебе помешал?

— Давно уже!

— Сколько же?

— Двадцать годов. Того больше!

— Даже странно!

— Тебе, Никола, не понять! Где́ тебе, нет — не понять! Ведь я-то думал, ты во-он какой! Я с тобой смирялся, с твоим существованием: «Надо! С энтим смиряться надо, он — вовсе не такой, Устинов, человек, как все другие!» А ты? А ты мелюзговый оказался человек-то! Обманул ты меня!

— Какой, какой я?

— Мелюзговый!

— Ну, а откудова же тебе это видать, Григорий?

— Кажному видать, кто желает поглядеть и уяснить! С кем ты связался-то, Никола Устинов? Кто тебе, Никола Устинов, нонче друг и брат? Дерябин Васька? Игнашка Игнатов? А Петька Калашников, коопмужик, даже начальник тебе?! Нешто ты не ведаешь в том стыда? Да тебе в один сортир с ими хаживать — и то страмота!

— Вот с тем с человеком, который в людях людей не желает понимать,— вот с тем действительно мне худо, Григорий! Вот как. Тем более что все мы выбраны в нашу Комиссию миром, лебяжинским обществом, и когда ты против народных избранников — значит, ты и против всех, кто их выбирал...

— Конешно, против! Да как мне можно назначить хотя бы и миром, и всем светом товарища и друга? Никак нельзя! Этакое назначение — издевательство надо мною, ничо более! Тут же моя забота, собственная — с кем я желаю иметь свое дело, коротать время, на кого я своими глазами желаю глядеть, кого своими ушами желаю слушать — выбираю я сам! Сам!! А более — никто! Вот ежели меня в тюрьму заточат, в камору за решетку железную посадят, тогда меня уже не спросят — с кем вместе я за той решеткой желаю оказаться. А покуда я на воле — то я и волен сам себе выбрать товарища и напарника! Ежели энтого у меня нет — значит, я уже не на воле, а в той же самой в тюрьме! Значит, я и сам есть мелюзга, когда меня к мелюзге можно приторочить!

— А кого бы ты выбрал, Григорий Сухих, себе в дружки?

Сухих поглядел по сторонам и тихо сказал:

— Тебя же, Никола!

— Меня?!

— Тебя! И себе сделал бы добро, и тебе: ослобонил бы тебя от разных Игнашек! Простил бы навсегда тебе вину передо мною! Клянусь — простил бы!

— У меня перед тобой вины нет, Григорий. Даже крохотной!

— Да есть же! Есть, и не крохотная, а великая!

— Я ее не знаю.

— Зато я знаю. Не говорю об ей никому. Не могу! Но знаю! Перед собой молчу! Но знаю! И забыть забуду ее в одном лишь случáе — когда ты станешь мне другом и напарником. Покуда же ты от меня врозь — ты мне враг, и по гроб жизни передо мной виноватый!

— Дружка́ ты во мне тоже не ищи: не найдешь!

— Не найду?

— Нет! Жизни наши разошлись, Григорий, в разные стороны! Ты в богатство ударился, в корысть, в заимку свою, а я с миром одной душой живу. Мы и прежде-то никогда не бывали дружками, нонче вовсе разошлись! Разминулись!

Устинов сидел с края нар, в углу, Григорий все ходил — три шага туда, три обратно. Тут он остановился, еще раз спросил:

— Не найду? А ежели это тебе смертью грозит?

— Не найдешь, тем более... Таких друзей не бывает. Поневоле. Либо под страхом смерти.

— Еще как бывает, Никола! Еще как бывает! Худо ты знаешь, как союзничество и дружба между людьми складываются! Худо!

— Знаю вот — в Лебяжке такого никогда не бывало, такой дружбы по страху. Не помню, нет!

— Мало ли, как и кого не бывало в нашей в Лебяжке? Не было — будет! Прошлые времена, оне какие? Оне темные, Никола. Оне темные потому, что в ту пору старцы Лаврентий да Самсоний Кривой за людей думали. А нонче? Нонче думает кажный сам за себя! Кажный думает, как сделать лучше самому себе, как больше сделать приобретения и приятности себе же, а не кому-то там другому! Вот она какая произошла, главная наука и перемена!

— Не так, Григорий. Нынче революция делается и одна, и другая, а для чего? Ходу не давать личности, когда у ее одна только собственность на уме! Равенство между людьми наконец-то установить! Вот она — нонешняя наука!

— Ей-богу, только от чудака такое может слышаться! Надо же — до чудачества дойтить?! И не смешно тебе от самого себя, Никола? Николай Левонтьевич Устинов? Дак революция-то — она откудова взялась? Она тогда и взялась, когда каждый захотел хотя мало-мало, хотя што-нибудь, а иметь! Кто земли кусок, кто рубля поболее! Начать хотя бы и с крохотного, после достигнуть большого! Ты пойди вот и скажи революционной массе: ничего вы от энтого дела иметь не будете, ни земли, ни рубля — ничего! Ну? Ну и кто тогда за ей, за революцией, пойдет? Никто не пойдет, кажный плюнет тогда на ее с концом, и все тут! Да любая переделка человеческой жизни только из того исходит: сделать име-

ние! Любая! Вот животное — ему надобности нет заводить имение, собственную собственность, вот оно во веки веков и живет одинаково, без переделки своего существования! Ты так же хочешь? Как животное?

— Вот как Барин? — подсказал Устинов.

— Вот как он! — кивнул Гришка Сухих и мельком глянул на Барина, а тот насторожился: о нем же шла речь! И с чего бы это? По какому делу? Барину очень хотелось это понять, однако он не смог.

— Нет,— сказал Устинов,— нет, нельзя так худо, Григорий, к человеку подходить! С худой и непроглядной стороны в нем все усматривать! Справедливость на голодное брюхо не сделаешь, верно, но и брюхо свое по этой причине выше головы ставить нельзя!

— Да разве можно! — согласился Сухих.— Когда бы я ставил брюхо на первую очередь, я бы, сколь бы оно ни запросило, а накормил бы его досыта — и конец! В том и дело — я головой еще думаю: все между нами, людьми, делается, штобы отымать друг у дружки имение... Ну, вот Лесная Лебяжинская Комиссия — она не тем же разве занимается? Тем самым: бывшее царское владение по-своему желает разделить. А помнишь ли, пошел народ к царю с иконами в пятом годе, а он как? Он приказал стрелять! Побоялся, как бы люди не вытребовали у его чего-нибудь. Не выклянчили, христа ради не вымолили. Прошел срок — царя со всеми его детишками стрелили — почему? Побоялись, как бы он, живой-то, не потребовал себе отнятое имение! Дележ, брат, дележ, Никола Устинов! У царя кто первый власть-имение отнял? Буржуи отняли! Оне чуть зазевались, а мы, народ, самый разный, уже и буржуев спихнули, отняли у их отнятое и в придачу — собственное их имение. А теперь нам нужно не зевать, чтобы у нас, у крестьянствующих хозяев,— снова не отнял наше кто-нибудь. Варнаки какие-нибудь, вовсе пролетарии, того хуже — разные Игнашки Игнатовы!

— И почему тебе, Григорий, больше других надо? Зачем это тебе?

— Мне надо, Левонтьич, не больше, не меньше, а ровно по силам своим и умению! Вот я один за троих могу робить, ты знаешь — могу! А когда знаешь, тебе признать надобно, што я действительно один иметь за троих должон! Нету ничего хужее, как нищенствовать, ну а не робить в полную силу — то же самое нищенство. Пропадать человеческому умению — то же самое!

— Ладно!— кивнул Устинов.— Как в сказке присказывается: «Ладно, коли так!» Ты вот будто бы один живешь на свете, Григорий, и от этого тебе все как есть ясно. Но ты не один, вокруг и повсюду множество людей, им-то — ясная ли твоя ясность?! Согласятся ли они с тобою? А когда — нет, как же ты можешь про ихнее несогласие забывать? Не искать народного согласия?

— А у меня, Устинов, с народом свобода! Как? А вот как: седни хочу я идти с народом заодно — иду. Завтре не хочу — не иду. Послезавтра хочу — иду уже и вовсе против его!

— Дак это же бесчестно! Это немыслимо!

— А народ-то со мной не так же ли обходится? Народом для того и сказочка выдумана «все за одного, один за всех», штобы всем ловчее обмануть одного! А я не прикидываюсь, будто я людям и народу — друг и брат. Я знаю: тому человеку, который жертвует себя народу, спасибо никто не скажет, а ишшо и просмеют и недовольные им же останутся: «не так сделал, не до конца с народом шел». И вот я того человека, который народу слуга и служка,— презираю и ненавижу! За то, што он никого не хочет за неблагодарность убить! За то, што никому не желает хотя бы разбить морду!

— Так мы людьми никогда не станем, Григорий!

— И правильно: не нужно энтого вовсе!

— Не хочешь?

— Не хочу. Глупое хотение! Для тебя человек — вот тот, а для меня — совсем другой. И мы обратно никогда не сойдемся — каким же человек все ж таки должон быть?! Кто он и какой есть — самый-то хороший, самому себе и всем необходимый? Спроси Игнашку Игнатова, он ответит: «Все такие и должны быть, как я! Может, самый только чуток иные!» Вот он как об человечестве думает. Он себя непременно лучше тебя считает. Вот я, к примеру, тебя убью, а Игнатию скажу: «Молчи, Игнатий! Не то и тебе худо будет!..» И он легко смолчит. Как же не легко, когда он гораздо лучше, чем ты? Зачем же ему хорошее на плохое тратить?

— Ну, с Игнашки какой спрос?

— Ладно! Я Игнашку убью, а тебе скажу: «Докажешь кому — убью и тебя тоже!» Ну? И как ты на то поглядишь, Устинов?

Тихо стало в избушке. Барин замер в углу, люди тоже не шевелились.

— Я докажу на тебя, Григорий! — сказал Устинов. — Обязательно!

Сухих нащупал ногою чурбак и сел на него. Сказал:

— Всякая великая глупость — она, вишь ли, интересная! Отдать свою жизнь за Игнашку, даже после того, как его, паскудника, все одно нет уже в живых, — разве не глупость? И разве не интерес услышать от умного человека эдакую глупость?! Бо-ольшой интерес! Ей-богу! Спасибо Домне Алексеевне, супруге твоей, — не стала скрытничать, сказала, где ты находишься. Там дурачки разные — жигулихинские, калмыковские мужики одне уехали уже, а другие так и по сю пору дожидаются твоего возвращения, а я вот достиг тебя в одночасье! Спасибо Домне Алексеевне — интересный случился у нас с тобою разговор!

Устинов не ответил. Он подумал: все-таки что-то и когда-то случилось между ними, из-за чего Гришкина ненависть вспыхнула?! И что это за ненависть такая, которую Гришка дружбой ищет затушить в себе? Ненавидит, а по гроб жизни желает тебе другом быть?

Сухих происходил прямо из кержаков, Устинов Николай — от смешения кровей, от парня-кержака, от девки полувятской именем Наталья, но оба они были — лебяжинские старожилы, чалдоны подлинные, «первые сибиряки».

Поэтому им на людях ни ссориться, ни обижаться друг на друга не полагалось — вроде как бы родня, и даже более того.

Они и не ссорились никогда и, кажется, не обижались.

Еще парнями, когда доводилось им девок раскачивать на качелях под самое небо, играть в бабки и в городки, они старались соперниками ни в одной игре не быть, не мериться ловкостью и меткостью.

И если, бывало, один явится на игрище в плисовой красной рубахе, в сапогах новых и в блестящих калошах, а другой одет кое-как, — даже и тут один перед другим не форсили, а старались в стороны разойтись. Который был в калошах, красавчик писаный, тот клал руку на плечи своей девке да и уводил ее куда-нибудь подальше. Чище одевался всегда Никола Устинов, ему вот так и приходилось делать.

А если они, два парня, на улице повстречаются, оба поспешают картузы скинуть:

— Здоров, Гришуха!

— Здорово, Никола!
— Как жизнь, Гришуха?
— Живу, Никола!

И разойдутся степенно, как совершенно взрослые мужики. Эту повадку лебяжинские парни замечали, и очень хотелось им, чтобы Николка и Гришка сшиблись между собою. Тем более что Гришка каждого парня когда-нибудь да поколотил — он силач был и задиристый, а вот Николку не тронул ни разу.

И только выйдет Никола на площадь или на лужайку к сельскому хлебному амбару, на игрище, кто-нибудь из парней уже шепчет ему: «Тебе, Николка, Гришка Сухих обещался всенародно морду набить! А уж обзывал-то тебя — дак всячески!»

Наверное, то же самое говорилось Гришке — что вчера его обзывал и обещал набить морду Николка Устинов.

Однако вражда их не брала. Дружбы — никакой, но и пальцем, и даже словом они друг друга тоже никогда не тронули.

Семейство, из которого происходил Гришка Сухих, было огромное, земли засевалось ими неизвестно сколько — и тут их надел и сев, и в другом, и в третьем месте, и кто-нибудь из братовей еще уедет подальше в степь, под самых киргизов, и там засеет не одну десятину. А богаче, чем у других, в семействе этом не получалось, потому что и пахали-то Сухих слишком спешно, и семена у них были сорные, а который раз и со спорыньей, и жали они позже всех, чуть ли не под самый снег. Пустое занятие.

Когда же умер Дормидонт Сухих, Гришкин отец, хозяйство вовсе пошло прахом — братья разделились, и не просто так, а с шумом и с гамом, с призывом Ивана Ивановича Саморукова для решения споров, с потасовками, со всякой всячиной.

Самый меньший надел и меньшая доля достались Гришке, он был младшим братом, но вот что случилось: прошло пять-шесть лет, и Гришка стал в ряд с богатейшими лебяжинскими хозяевами.

И как-то сразу заматерел, оброс шерстью и вымахал в того мужика, которому по силе не было равного нигде вокруг — ни в боровых, ни в степных селах.

Померла у него молодая жена, он выселился на заимку, привез откуда-то издалека другую, та с заимки ни

на шаг не отлучалась, повязывала лицо платком, никто и не знал — что за женщина, как зовут-величают.

На заимке Гришка жил, будто медведь в берлоге, только иногда выезжал то на одну, то на другую станцию железной дороги с торговлей либо гулять и буянить вместе с какими-то тоже неизвестными дружками.

Вот что Устинов о Гришке знал. А откуда в нем вражда и ненависть — догадаться не мог.

Тем временем Сухих закрутил цигарку, протянул табачку:

— Я нонче тоже турецким разжился. Пришлось. Хотя трудновато по нонешним временам!— И еще сказал Гришка Сухих:— Ты, Устинов, все ищешь! Все ищешь свободу, равенство, братство и всяческую справедливость, и удивительно, как ты, умный да зоркий, кажный божий день проходишь то единственное настоящее место, где все энто есть! Проходишь мимо и не замечаешь его!

— Где же оно? Где оно может быть?

— А там где я — Григорий Сухих! Недавно тебе говорилось, а теперь повторяется: давай гнев на милость друг к другу менять! Давай водить дружбу человечью! Она ведь одна только и есть святая, весь мир остальной — дележ, обман и разбой! В ней, в дружбе в человечьей, только в одной и нету сильного и слабого, обманутого и обманщика, раба и господина! Святые-то угодники, ежели были святыми, то почему? Друг дружки держались, умели! А мы с тобой запоздали, Никола, нам ее надо было с ребячества водить! Давай не будем снова опаздывать, лучше поздно, чем вовсе никогда! Поклянемся друг другу в верности, хотя на крови, хотя на чем! Ну? Ну, Никола? Не губи меня! Не губи и себя отказом. Я ведь не потерплю отказ, не смогу уже. Ты умный, ты пойми: братство двоих людей — великая есть свобода! Двое между собою незримою цепью сковались, вот их закон, и вот право ихнее, а другие законы им неизвестные, от других дружба их ослобонила навсегда, во всей остальной жизни оне делают как хочут и желают!

— Это у тебя от раскольников идет, Григорий!— поразмыслил Устинов.— Те, припомнить, так искали такого же малого братства, а не находили — шли в костер!

— А мне все одно, Никола, откуда што во мне! Какое во мне есть — то и мое! В том понятии человека я и рожден!— И тут Сухих показалось, должно быть, что

Устинов, хоть немного, а склонен с ним согласиться, и он, ворочаясь на чурбаке, то зыркая глазами, а то совсем закрывая их, повторял и повторял свое: — Да не ищи ты, Никола, справедливости и братства во всех! Энто же глупость, ты ее во-он с юных лет затеял, ту глупость! Ты, когда ищешь — ищи в одном человеке — в Иванове, в Петрове, в Григории Сухих! И не завсегда, а все ж таки найти можно! Объясняю тебе: два, а то и три дружества — энто чудо святое, превыше уже и нет ничего! И не было! Во веки веков! Энто в любой жизни самое главное и есть! Хотя бы и в крестьянстве! Хотя бы и в разбое! Ты подумай: вот поробили мы трое, выложились все до последней капли своей силушки! Энто хорошо, красиво — ты знаешь! После отдохнули все, в небо глядя, божьих пташек слушая! Обратно хорошо, когда ты в таком занятии не в одну, а сразу в две ли, в три ли души существуешь и птичку в шесть ушей слушаешь! После от костерка мы, друзья, погрелись и друг об дружку тоже погрелись, и вот надо нам веселья! Захотели мы его! А тогда запрягли резвых, приоделись и за сто верст на станцию — гулять! К бабам! Музыку заказывать, на тройках кучерских кататься! А то буянить и куражиться, окна у купца бить, ишшо какое-то занятие! — Гришка передохнул, подумал, зажмурившись, после махнул рукой: — «Ну и того занятия нам хватит, дружки мои! И от его пора нам тоже отдохнуть!» И вот по рассвету домой мы едем; солнышко встает и нам светит, песню мы поем, и на весь-то человечий мир мы плюем жидко! Он более нам ни на што и не нужон, как плеваться в его! Весь он не в ту сторону глядит, весь не тот, весь глупо́й, весь пустой и крохотный, только мы одне и живем как следует быть и берем от жизни свое! И чуем, что все трое — как один! Один помрет, и других двое помрут за его, не сморгнув глазом! Вот она — святость и справедливость, другой нету! И свобода! И равенство! И братство! Просто, а понять никто не в силах, мы втроем только сильными и оказались!

— А когда вам кто помешал — убьете того?

— А што такого? А ты, Никола Устинов, не убьешь? Никого?

— Сроду нет! Противно мне это!

— А затеется и в нашей местности война за белых и за красных, я знаю — ты пойдешь за красных! Пойдешь за справедливость для массы, и счет у тебя, Усти-

нов, тоже пойдет ужо не на одного убитого! Когда мировой мачтаб — однем-другим убийством не обойдешься! Не-ет! Тут ужо тебе полмира вражиной делается! Теперь сочти на пальцах — кто из нас лучше-то и праведнее? И справедливее? Я одного-двух пришибу, помешали оне мне, дело ясное, когда помешали, а ты — с полмиром воюешь, и бьешь человеков, хотя оне тебе ничего не сделали и не сделают сроду! Ты мужик ловкий, смекалистый, ты мно-огих побьешь, прежде как сам поляжешь! Поляжешь, так и не узнавши ни справедливости, ни даже и моей малой доли братства с однем, с двумя дружками! Так скушно же энто!

— Когда множество людей посланы в войну — оне уже не убийцы, а добывают благо своему государству, справедливость.

— Ну, а в России нонче белые, красные, зеленые, голубые воюют — за какие же блага своему государству?

— За устройство жизни. Которые победят, те и будут по-своему устраивать жизнь. На до-о-олгие годы!

— По-своему ли?

— А как же иначе?

— Иначе так: седни же убить кажного, кто со мною не согласный, с моим устройством! Седни же и не откладывая. Ну а завтре? Каким оно будет завтре — твое устройство, ты и сам не знаешь! Может, это будет твое право — мое бесправие, вот и все?.. А может, мое и твое бесправие? Тоже легко такое случится. То есть опять тот же всемирный грабеж и свара, в котором ты благородно убиваешь, а про Гришку Сухих кричишь, будто он — вор и он — разбойник! За троих робил и нажил тем самым себе добра! Значит — вор! Я знаю, мною в газетках читано, в белых газетках — про красные зверства и узурпаторство, в красных — про белое зверство и узурпаторство, и вот повторяю же я: ты, Устинов, какое-то из их обязательно для себя выберешь. Какое тебе более по душе окажется. Ты вот покуда в избушке сидишь, хотя и в неказистой избушке, а все ж таки — в ей, на собачку свою поглядываешь и на меня тоже одним глазом. Соображаешь головой: в самом ли деле Гришка Сухих грозится тебя убить?! Либо он просто так? И все у нас чинно-мирно. А завтре-то ты и соображать ни об чем таком не будешь, завтре ты определишься и зачнешь колоть и стрелять людей, об одном только думая и мечтая — кабы поболее их заколоть!

— В этом никакой моей мечты нету, Григорий, и даже быть ее не может. Я не военный какой-то спец и не герой, чтобы войны искать. Я — мужик! Но ежели война эта всех касается? Всех до одного? Вот и тебя она коснется непременно, и ты будешь выбирать. И я даже знаю, какую сторону ты выберешь. Тут сомнениев быть не может.

— Мне просто, Никола, мне проще, как тебе: кто первый меня заденет, против того я и буду воевать. И сильно буду! Никто не заденет — и я пальцем никого не трону, ей-богу! Только тебя... Но тут — совсем другой счет и резон! Ну, вот, Коля Устинов, ну, Николенька, ты прежде вот как выбирай: друг ты мне либо враг?! Выбирай: ни врага, ни друга у тебя никогда такого не будет! Уговариваю сейчас: давай возьмемся за руки, чтобы не броситься друг на дружку с оружием в руках! Ты смерти не боишься, и я ее не боюсь! А справедливость у нас разная, так то — пустяк, мелочь! Ты мужик в Лебяжке не как все, не темный и безмозглый,— и я тоже! Нам ли не держаться друг за дружку? Хошь, Гришка Сухих перед тобой на коленки падет и взмолится к тебе? Ну? Только отстань от мелюзги и пристань ко мне! Спасти тебя хочу! Себя — от окончательного вражества к тебе, тебя — от мелюзги и от могилы! Завтре явится к нам война, а мы с тобою двое уйдем в горы, в Алтай! Будем обои-два, сделаем уютно жилище наше, родниковую водичку будем пить. Уйдем от всемирного грабежа-дележа, а как-никак закончится он — вернемся в Лебяжку и окажемся в ей самыми чистыми человеками, ни дележом, ни мировой сварой не замаранные! Вернемся и совместно наработаем добра вдесятеро более того, как его было! Ну? Падать ли мне пред тобою на коленки?

И Гришка Сухих, огромный, лохматый, начал сползать с чурбака. А Барин в своем углу вытянул шею и прижал уши — не смог понять, что происходит. Не только Барин, и Устинов содрогнулся — не надо допускать, чтобы Гришка стал на колени: после он ведь это и в самом деле припомнит, жестоко припомнит! Чего в Гришке уже есть, какая злоба, какое упрямство — то уже есть, и колом этого не вышибешь, но чего еще в нем нету — не надо, чтобы появилось.

И Устинов сказал:

— Брось ты, Сухих! Брось, брось! Не нужно такого совсем! Очень даже может быть — мы и вовсе ничего не

найдем! Ни капли! Я справедливости для всего мира не найду, ты — для двоих-троих дружков не найдешь ее. Ну и ладно! Ну, и давай искать кажный свое! Я считаю — лучше все ж таки при жизни искать большое, а не крохотное, с тем и помру. А ты не трогай меня. Руками своими не трогай и коленками тоже!

Сухих с чурбака встал, стукнул головою о жердяной настил, а Барин радостно так, хотя и негромко, шевельнулся и вздохнул. Он понял, что Гришка сейчас уйдет прочь.

Да и Устинов так же понял.

Но Гришка не ушел. Гришка прислонился к стенке, голову свесил, руки сложил на груди и долго так стоял, ждал чего-то. Или чего-то вспоминал...

Потом он шумно вздохнул, со злостью бросил в угол, чуть не в морду Барину, окурок и спросил:

— Никола? А пошто ты не взял за себя Зинаиду? Нонешнюю Панкратову?

— Как?— удивился и не понял Устинов.— Не взял, и все тут. Не было намерения.

— Врешь?!

— И не вру я, и дело вовсе тут не твое — кого я взял, кого — нет!

— Врешь, будто не было твоего намерения?! Признайся?

И Гришка от стенки отступил и приблизился к Устинову, а Устинов поверил: «Пожалуй что, быть мне убитому!»

Барин вскочил в углу, припал на задние лапы, на передних у него вздулись мышцы — сейчас и прыгнет сзади на Гришку.

На мгновение какое-то Устинов растерялся: остановить Барина? Или пусть прыгает, самое время прыгать ему?

Он все-таки его остановил:

— Тихо, Барин! Тихо — тебе говорю!

А Гришка Сухих запустил обе руки в косматую свою голову и снова сел на чурбак. Спросил:

— Не обманывай, Устинов! Скажи честно, как было? Зачем нонче-то обманывать меня? Скажи: намеревался взять Зинаиду, потому и помешал тебе, Григорий! Ну?! Хотя в энтом-то не откажи мне признании?!

— Так нет же! Не было у меня и в мыслях, о чем ты говоришь, Григорий! Не мешал я тебе никогда!

— Как же не мешал, когда в девках-то Зинка только и глядела на тебя одного? На одного!

— Не знаю. И не знал сроду. И пошла же она за Кирилла Панкратова, а я при чем?

— Боже ж ты мой! — застонал, закачался на чурбаке Гришка. — Пошто и как? Я-то, я-то отступился от Зинки пошто? Я тебя застеснялся, Никола, я тебя зачем-то всю свою жизнь ни убить, ни обидеть не мог! Не мог, и все тут, хоть убей меня самого! Либо ты грамотный сызмальства был, с лесными таксаторами работал, с землемерами, а то ишшо почему, не знаю, но не мог!

— Она не пошла бы за тебя, Григорий! Ни в жизнь!

— Пошла бы! Живая либо мертвая — пошла бы! Она ножик вострый в сапоге под юбкой носила, когда девкой была, она тем ножом грозилась мне и грозилась, ежели што, им же по себе ударить! Я не боялся! Она не глядела на меня, тоже знаю, а я бы ее заставил — она бы и скрозь закрытые глаза увидела бы меня! Но одного я страшно боялся, што ты ей и она тебе мила! Вот как я боялся и единственно через то и не мог перешагнуть! А ты? Ты о Зинке не знал, как глядит она на тебя? Ты обо мне не знал, как я на ее гляжу? Ты и не судил бы меня никак?! И какой же я сам дурак, ежели тебя побоялся! И отступился! Изгонял от себя страх перед тобою, а не изогнал его! Меня вся Лебяжка судила бы — мне нипочем было, но ты, боялся я, ты судить меня будешь!

— Подожди-постой, Григорий! Я взял Домну Алексеевну, Зинаида пошла за Кирилла. А тебе и после того все непонятно было? И до сих пор непонятно?

— Да, боже ты мой, как это все в человечестве бывает, как случается? Ну, она пошла не за того парня, разве сопливый Кирилка Панкратов — парень был? Или мужик? Он сам-то полубаба, а Зинка за его пошла — так случилось с ей, и все тут. Ну, ты Домну взял Алексеевну — тоже могло случиться с тобою, судьба? Ну, я женился, взял со станции девку — красивую, статную — и сгорбил ее, скособочил за три года — так и што? Да разве во всех тех случáях надо искать понятие?

— Должно быть объяснение-то! Понятие-то!

— Да мало ли — должно быть! Пустые слова! Как есть — вот на што надо глядеть!

— Вот ты и глядел.

— Вот я и глядел! И проглядел все как есть! И все, как было, проглядел! И как все будет — проглядел! Нет,

не знал я за собою такой дурости! Не знал по сей день. В нонешний день и узнал только! Ох, беда, беда! Я, наверное, все ж таки с тобою, Устинов, завсегда дружон был. Ты со мной — нет, а я с тобою — да! Тою непременной дружбой и верностью, о которой я нонче тебе толковал, призывал тебя к ей. Которая в нас, в кержаках, от старцев Лаврентия и Самсония Кривого застряла. Старец Самсоний Кривой изменил святому Лаврентию, ушел от его, многих людей увел от его, людям от того было хорошо. Самсоний же Кривой замучился без Лаврентия совестью до смерти. Так ведь было, Устинов?

— Так было, Григорий.

Сухих еще посидел, помолчал, вздыхая тяжко. Смирно и как-то даже робко посидел. Потом встряхнулся. Пошарил на волосатой груди, устало протянул Устинову руку:

— Я тебе, Никола, ишшо и бумагу принес!

— От кого?— спросил Устинов, приняв бумажку.

— От самого себя!

И встал Гришка Сухих с чурбака; торопливо сказал: «Бывай, Устинов», протиснулся сквозь дверь — ушел. А Барин не поверил, будто он ушел, осторожно приблизился к дверям, обнюхал порог. И не зря не поверил: Гришка здесь был, за дверью.

Что он там делал? О чем думал? Что решал?

Устинов глянул в оконце — конь Гришки все еще стоял с поводом, закинутым за колодезный сруб, за новые венцы сруба, который он вчера нарастил. И тихо было, будто всю избушку опустили в тот колодец, ни с одной стороны ни один звук не достигал. Только где-то вверху что-то осторожно шевелилось. Это сорная трава, поросшая по дерновой кровле, шевелилась.

Барин поглядывал на Устинова: «Что такое?»

«Подождать надо...» — кивнул Устинов Барину.

Трава наверху, на крыше, все шевелилась.

— Ты падло, Устинов Николай!— сказал в избушку Гришка Сухих, сдвинув в сторону скрипучую, на одной петле дверь.— Падло, и не верю я тебе нисколь! И пошто тебе так нужно: обманывать меня? Зачем?

— Да кто тебя обманывает, Григорий? Кто?

— Ты обманываешь, Устинов! По сю пору! И жестоко и непонятно — зачем и почему! После-то, когда за сопливым Кирилкой уже Зинка была,— ты же ведь ночевал в избушке у ее? Не было? Не знаешь такого? Забыл?

И ударил дверью Гришка Сухих — дверь с последней петли сорвалась. И уехал. Видно было Устинову, как вскочил Гришка на коня, слышен был копытный стук. Барин тоже выскочил прочь, побегал, поглядел вокруг и вернулся довольный. Подтвердил: «Действительно, уехал гость!»

Устинов развернул бумажку, оставленную Гришкой.

Вот что было там написано:

«Товарищам лесной комиссии села Лебяжки от товарища Сухих Григория Дормидонт.

Соопчаю для сведения, а также и к руководству чертеж своего лесного надела в пределах II квартала бывшей Кабинетской Лебяжинской дачи, а ноне всенародного достояния в установленных мною гранях, а именно: от степи с западной стороны боровой опушки повдоль дороги на бывшее лесничество до углового столба № 27, от поименованного столба, по визирной просеке обратно в направлении к степи, то есть к столбу № 8 и от № 8 столба обратно к той же дороге».

И чертежик-треугольничек, хотя и нескладный, но с указанием угловых столбов и просек был нарисован тут же, десятин шесть или семь верных леса заключал он в себе.

Ниже чертежика еще значилось:

«Соопчаю для сведения, а также к руководству, што заход любой скотины крупной и мелкой и разных людей в указанные границы мною запрещен окончательно, а за нарушение его буду стрелять и калечить как за посягательство на личную и народную собственность и владение.

К сему товарищ Сухих Григорий Дормид.»

Глава седьмая

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

Все было в нынешнем, осени одна тысяча девятьсот восемнадцатого года, небе — все были цвета и краски, все и всякие облачные фигуры и чье-то почти что слышное дыхание.

И не верилось Устинову, будто никого там нету, пусто в необъятном просторе, нежилое там... Не верилось, нет! Такое приволье, а пользоваться некому?! Тем

более — поблизости от Земли, которая всегда ведь может одолжить туда сколько-нибудь своей жизни.

Конечно, не хотелось бы Устинову самому одолжаться туда — непривычно, и много дел у него дома.

Вот если он совсем никому на Земле не будет нужен... Но это когда может случиться? Или он состарится, немощным станет, или разучится пахать и сеять, ухаживать за Землей, и Земля шепнет ему негромко, чтобы не обижать при всех: «Давай-ка, слышь, Устинов,— отчаливай от меня куда-нибудь!»

Но это малый был шанс, вернее — совсем не было такого, чтобы живой Устинов не сумел бы уважить Землю!

Другое было дело: догадывался он, что слишком уж мало в небесах живого, не слышно там ничьих голосов, и от одиночества, от этой тоски по живой душе, по букашке-таракашке, по самой несмышленой какой-нибудь собачонке грустит весь простор небес от края до края, а в грусти своей и становится он столь красивым и чистым и наводит свою грусть на человека, если человек долго и тоже молча глядит в небо...

И то еще хорошо, что человек видит край небес, значит, чует он и край этой грусти, в то время как в действительности у небес конца нету.

Конец бывает чему-нибудь живому, всему, что растет и старится, камни, рассказывают иные люди, и те растут, и те старятся, а когда нет ничего — чему кончаться? И где?

И вот они льются, краски, от самого Солнца, к самой Земле, ничем не задетые, никаким существованием, звуком или эхом не потревоженные, не зная, для чего они красивы и просторны, ничего не зная, не ведая, не понимая знания.

Красная полоса налилась в этом беспределье, громадный флаг, чье-то знамя — а чье?

Полыхает пожар, что-то сгорает в нем — а что?

Разметалась над чем-то дуга темного, а местами ярко сияющего серебра — а над чем?

Ну, голубой цвет — он для небес попросту домашний, как ровно желтые половицы в русской избе.

Чистенько там, на тех небесных половицах, и, голенькие, пузатенькие, ползают-мельтешатся по ним ползунки-облака. Ползают, а следа за ними никакого. Дым бывал там по синему, но тоже бесследный, ни сажи после него, ни копоти, ни головешки, ни искорки.

Не человеческого, а совсем какого-то другого ума, опять неизвестно чьего — совершается там дело и работа, но Устинов еще и так думал: за чужим, недосягаемым умом пожить тоже не худо! Вот же его, устиновским, хозяйским умом живут Моркошка, Соловко и Груня, Барин за ним живет, малые ребятишки жили и живут за ним — дети его и внучата. Многие прислоняются к нему, но было бы гораздо хуже, если бы Устинову прислониться уже оказалось не к чему, если бы весь белый свет сошелся на нем. Ему, Устинову, больше всех на свете сроду не было нужно. Зачем?

И без него неплохо придумано, ему бы никогда всего этого не сделать: ни Солнца, ни Земли, ни пашни, ни птиц.

Делать все на свете самому, ничего не получая из чужих рук,— в этом счастья нету! В жизни должен быть дар, иначе одно только и останется ремесло, одна только мастерская и завод, в которых люди начнут строгать и печь свою жизнь день и ночь, без отдыха на обед и сон, а жить им будет совсем некогда.

Дареному коню в зубы не смотрят, а если жизнь будет только ремеслом, а даром — не будет, тогда опять-таки день и ночь для человека останется одно занятие: рассматривать на жизни каждый зубчик, каждый волосок, рассматривать и оставаться недовольным: «Почему сделано вот так, а не вот этак?»

Другой вопрос — понимать себя приставленным ко всеобщему делу не твоего ума, зато к главному. Состоя при пашне, невозможно себе представить, будто кто-то к этому делу ближе, чем ты — мужик и пахарь.

И не один Устинов неизменно так понимал и так повторял — все мужики, когда они не совсем были загнаны в работе, а была у них минута оглянуться вокруг — понимали это же самое.

Конечно, мужику много думать нельзя, удивляться, почему это сделано в мире вот так, а то — по-другому, ему некогда. Не его это дело, пускай другие удивляются, не мужики. Крестьянину же самое первое дело до того, что уже прочно устроено. Что не устроено — ему не вовсе и нужно, нужно другим.

А все-таки? Едва ли не всю свою жизнь Устинов угадывал: откуда в небе берется зеленое?

Ведь всякая зелень — дело земное. Зеленая трава и зеленое дерево начинаются от земли, ни от чего другого им хода нет.

Водоросль завелась в воде — это значит, она достигла корнем земли либо в воде плавают земляные пылинки, они и питают ее.

Плесень пошла по деревянной крыше — значит, крыша уже оземлилась, нанесло на нее ветром тех же пылинок, и сама она начала подгнивать, обращаться в земляной покров и прах.

Ну а в небе-то, в высоте — откуда зеленый иногда появляется оттенок? Чт́о он там значит? Что показывает?

Устинов думал: это показывает, будто и небо, и земля идут в одной упряжке, что не так уж они далеко друг от друга, как, не подумавши, можно предположить.

По этому предмету кое-что должны знать птицы. Они на земле родятся, а в небе — живут, им и то и другое — своя местность. И жалко, что человек умеет только слушать птиц, а понимать — не умеет, узнать что-то от них ему не дано.

Устинову, взрослому мужику, все эти рассуждения были вроде бы и не с руки, не мальчишка, чтобы ими заниматься.

Так он ими не очень-то занимался. Он их только вспоминал из той мальчишеской поры, когда и на ногах уже на своих стоишь и ходишь, а верхом на коне боронить тебе еще срок не настал. Вот в ту краткую пору Устинову помнилось, у него одна была забота: глядеть и глядеть вокруг, догадываться, для чего существует солнышко, почему летают птицы, почему небо вверху, земля — внизу, а не наоборот?

Ну а у взрослого мужика заботы, конечно, другие, истинные: пар сдвоить, колодец отремонтировать, новую избушку поставить. И даже странно — еще была у мужика Устинова забота: как там лебяжинская Лесная Комиссия, сокращенно ЛЛК, нынче без него? Не сделано ли ею чего-нибудь непутевого? И этого мало — Гришка Сухих вспоминался ему,— чт́о он и как сказал. Согласился ты с Гришкой или нет — другое дело, но не тот это человек, чтобы на его слова поплевывать, пропускать их мимо ушей. Не тот!

...Забот по горло, а тут пришла-явилась еще одна. Устинов тесал уже пятый венец к избушке, и вдруг вспомнилось ему, как словно по голове обухом: «А Груня-то?» Что-то в последний раз, когда он ездил с ней на мельницу, Груня припадала на левую переднюю. Он тогда же подумал — надо за Груней проследить, как

будет она в дальнейшем левой передней работать и не появится ли в ее глазах туман, как у больной, не начнет ли у нее слишком часто вздрагивать кожа на шее и на спине? Подумать-то он вот так подумал, а не сделал — то Комиссия мешала, а то он уехал с Моркошкой и Соловком сюда, на пашню, и забыл насчет Груни побеспокоиться. «Ну и хозяин же ты, Устинов!— с сердцем упрекнул он себя.— Комиссия для тебя — дело и занятие, птицы небесные и Гришка Сухих — дело и занятие, а Груня? Она тебе — что?»

И, озабоченный, через день после того, как у него побывал Сухих, Устинов уже гнал по дороге домой, подстегивал Моркошку и Солового.

Ехал быстро и как-то пусто, не разговаривая с Барином, который бежал рядом с телегой. Не ехал, а только двигался.

На минуту и зашел в избу, кивнул Домне и дочке Ксении, легонько шлепнул внучка-ползунка, а заниматься с ним не стал, сразу же и подался на ограду. К Груне.

Левая передняя была у нее не очень заметно, а в опухоли.

Устинов кликнул соседского парнишку, велел ему сесть верхом на Груню и взад-вперед проехать по улице. Парнишка ездил, а Устинов глядел внимательно со стороны и увидел: Груня прихрамывает.

Устинов парнишку турнул, сел верхом, сам поездил на Груне, прислушиваясь к ходу. Так оно и есть — Груня припадала.

Вот какое дело. Устинов вернулся, закинул Грунин повод на кол ограды, сел на крылечко.

У Груни — ревматизм, а выходить ее нельзя — старая уже. Потому старость и не в радость, что из нее обратного хода — никому, в старости и прыщик — болезнь, ничего не зарастает, не заживает, а только вновь и вновь образуется, хотя взять морщину, хотя седину или ревматизм. Тем более что за Груней и всегда-то водился грех — слабовата она была на передние, не то чтобы козинец, но и не совсем правильными были у нее ноги, с изгибом в бабках. Ну, а где тонко, там и рвется.

И это не только к Груниным передним относилось, но и ко всему устиновскому хозяйству — тонковато с конями в нем оказалось дело. Без запаса.

И ведь не сегодня почуяло сердце: плохи у Груни ноги, не в первый раз спросил он у себя — а сколько

еще протянет в своей старательности Соловко? Сегодня-то он тянет, а завтра?

Будь все эти годы Устинов дома, а не на войне, он бы, конечно, обзавелся еще одним меринишкой, но оправдаться он тоже не мог — как вернулся весной с фронта, так и должен был насчет коней положение серьезно обдумать.

Купить коня завтра же, спешно и срочно, не так будет просто, конское поголовье все эти годы тоже в армию призывали, рабочие кони были в спросе, кроме того, мужики неохотно продают любое добро — деньгам цены нет и не скоро предвидится.

Купить годовичка или двухлетка — это проще, но риск большой: заплатить тоже надо, прокормить — надо, обучить — надо, а завтра же Груня возьмет да и выйдет из работы окончательно! И что тогда получится? Четыре коня на ограде, а работников из них только двое. И как бы еще не один оказался, если вдруг и Соловко в то же самое время впадет в инвалидность.

Так стало худо Устинову от этих мыслей, так рассердился он на себя, дурака, что взял кнут и принялся охаживать им Груню. Не себя же все-таки было ему кнутом стегать, а отстегать за такое дело кого-то надо было!

Груня начала рваться, выдирать из прясла кол, тогда Устинов одной рукой взял ее под уздцы, а другой добавил за этот кол.

Груня негромко, коротко ржала, кожа на ней ходила ходуном, белая верхняя губа задралась, обнажая желтые, сильно стертые зубы — ей попало и за эти зубы тоже.

С крыльца Устинова окликнула Домна:

— Никола? Как с тобою там?

Устинов ответил, не поворачиваясь: «Сейчас приду!» И всыпал Груне за этот окрик. Потом бросил кнут на землю и подумал: «Ну а теперь что я буду делать? Чем заниматься?»

В избу идти, рассказывать Домне насчет Груниной левой передней Устинову никак не хотелось, он потоптался-потоптался по ограде и подался в... Комиссию. В избу Панкратовых.

В кухне раскатывала лапшу Зинаида. Увозилась вся: и руки, закатанные выше локтей, в муке, и лицо в муке.

Устинов сказал «здравствуй» и даже не захотел увидеть, как же Зинаида-то на него посмотрела. Вошел в горницу.

Ему показалось хорошо здесь, привычно: вот они, члены Комиссии, сидят вокруг стола, на столе лежат разные бумаги и те огромные счеты, которые принесла Зинаида от Кругловых, не спросив разрешения.

— А-а-а! — протянул Калашников, увидев Устинова.— А-а, и ты прибыл! Это ладно!

— Прибыл вот! — отозвался Устинов. Сел на табуретку.— Новости какие тут у вас? Есть ли?

— Как не быть — есть!

— Много?

Новостей оказалось порядочно: школу лебяжинцы достроили, довели дело до победного конца, за тот лес, который остался от строительства, ребячьи тетради и чернила выменяли в соседних деревнях; откупились от нашествия Жигулихинских и Калмыковских волостей и тоже дали им немного леса, а те пообещали Лебяжинскую лесную дачу пока не трогать, если уж рубить — так в Барсуковском лесничестве.

— Я-то им зачем был? Жигулихинским и Калмыковским? — поинтересовался Устинов.— Зачем оне меня столь дней в Лебяжке дожидали?

— Уж так, должно, ударило им в голову: с тобой говорить.

— Об чем?

— Об справедливости. Они все говорили, ты в справедливости больше других разбираешься.

— Хи-и-итрые, хады! — подскочил на своей табуретке Игнашка Игнатов.— Об чем вздумалось им с тобой толковать — об справедливости! Ну, мы тоже не дураки, взяли да и спрятали тебя! Оне только вчерась и бросили тебя дожидать, поехали домой! А тебе кто же это успел пересказать, што они уехали уже?

— Никто. Без пересказу явился.

Половинкин сморкнулся в рукав и мрачно так добавил от себя:

— Оне поехали, сказали — обманщик ты, Устинов. Речь свою ночью сказал им, заставил от леса отступиться, а в день уже и скрылся. Ровно суслик. Оне ждали-ждали, после говорят: обман энто! За обман убивать надо оратора-то вашего!

— Ты скажи, сколь нынче охотников убивать меня? — вздохнул Устинов.— А другие имеются новости?

Другие тоже были: у братьев Кругловых Лесная Комиссия конфисковала аппараты, а всем прочим самогонщикам сделала строгое предупреждение.

— Ты скажи!— снова пришлось подивиться Устинову.— Правда что, Комиссия наша уже входит во власть! И по всем статьям!

— А што?— снова отозвался Игнашка.— Когда власти нету-ка, а лишь так себе, кое-што, а у нас двадцать четыре человека вооруженной охраны — чем же мы не власть.

— Почему двадцать четыре? Десять же было охраны первой очереди?

— А мы уже всех призвали. Первая очередь — она первая и есть, а остальных мы тоже обязали вооружиться!

— Ну а чтой-то не вижу я среди вас товарища Дерябина?

— Он по делам занятый!— ответил Калашников.— Он занятый, а мы вот здесь в ожидании его находимся. Мы же здесь не на работе нонче, а просто так. По привычке собрались.

Устинов сидел, молчал. В избушку он уехал на пашню, скрылся от людей, а неделя прошла — побежал к людям. Зачем? И с людьми худо, одному хочется быть, и одному нельзя — нужны тебе люди, да и только! Избушка пашенная его ждет. Груня побитая ждет, с ноги на ногу переступает: «Что же хозяин будет со мной делать, как поступать?» Домна удивляется: «Вышел мужик на ограду, и нет мужика — подевался ни с того ни с сего куда-то?» А может, и еще Домна подумает: «Ладно, когда бы одна только Комиссия на мою шею. Но при Комиссии еще и Зинка Панкратова денно и нощно состоит — тут как бы не было чего?»

А Зинаида уже пришла из кухни, уже отряхнулась от мучной пыли и сидела у окна, свет падал на нее, тихо шарился по лицу, искал тревожные морщинки, испуг, неловкую какую-нибудь улыбку, но ничего этого не находил — Зинаида строгая была, даже сердитая, она с Игнашкой о чем-то спорила, а Устинова не замечала. Но это ненадолго. Через минуту она заговорит с ним, а тогда и вытаращит на него глаза и будет слушать не мигая, не дыша.

Игнашка горячился, доказывая Зинаиде что-то свое, начал божиться и креститься.

— Ты вот божишься, а в бога-то веришь ли, Игнатий? — спросила его Зинаида.

— Вот те раз! Конешно! — заверил Игнашка.

— А бог — в тебя?

— Ну, энто мне уже неизвестно, Зинаида Пална! — развел Игнашка руками. — Я за бога не в ответе. Отколь мне знать?

— Сам-то ты чувствуешь, нет ли божью веру в тебя?

— Пожалуй што, не сильно... Не слишком, я полагаю.

— Почему? Почему ты этак-то полагаешь?

— Мало ему меня видать! Другие меня от его ежеминутно заслоняют.

— Как так?

— Сама подумай: вот я поставлю свечку — она у меня копеешная, а купчина какой-то ставит пудовую! Теперь скажи, чью свечку-то богу оттудова, с самого-то верху, лучше видать — мою или купеческую? Вот как происходит дело!

— Значит, святого нету ничего. А святые-то хотя бы — есть? — И тут, в этот момент, Зинаида и спросила Устинова: — По-твоему, Никола, бывали святые либо нет? Правдашние?

Устинов помолчал. Хотел махнуть рукой, встать и уйти. Но опять рукой не махнул, не встал и не ушел, а, подумав, сказал:

— Все же таки оне были. В библии и в других священных книгах про них много сказано. Сказано же с кого-то? Не с пустого же места?

— Я тоже думала: когда среди человечества находятся великие разбойники, — значит, должно быть и обратно, должны быть святые. Когда бы не так, над всеми людями давно бы уже разбой восторжествовал и давно бы нас всех загубил. А мы — вот оне, живые. И к тому же люди!

— Именно! — поддержал Зинаиду Калашников. — И мало того, мы на века хотим сделать между собою равенство и братство! То есть пойти путем кооперации, который скоро уже сто лет как объявлен в Англии, в городе Рочделе. Знаменитый, сказать, город: самое первое образовалось там потребительское общество и назначило себе устав, который обязательно пойдет и пойдет вперед, покуда все человечество не примет его для своего существования!

— Я с Калашниковым вполне согласный!— отозвался Устинов.— Ежели поглядеть, сколь в природе уже много сделано — какое сделано солнышко, какая земля, какие реки на земле, луга и леса и пашни, а также и мы — люди,— то ясно станет: не так уж много осталось делов, чтобы устроить справедливость между людьми, довести начатое до конца!

— У вас с Калашниковым получается навроде религии!— заметила Зинаида.

— Хоть и не вроде, а все-таки...

— А мне Англия нипочем!— заявил Игнашка.— В ей люди выдумают, а мне к чему? Вот и солдаты идут с войны и тоже сильно ругают агличанку — кабы не она, и мы не ввязались бы в нонешнюю войну с германцем! Тьфу!— вот как я на Англию! И на город Рочдел!

— Нет, мужики, так плюваться на разные государства все ж таки не годится!— заметил Устинов.— Не годится, я знаю!

— Ну а ей-то што, Англии-то, когда Игнатий против ее?— спросил Половинкин.— Ей, поди-ка, энто ведь все одно? Ты плюешься, Игнашка, а ей все одно! Плюйся, Игнатий!

Калашников тоже сказал:

— Как раз надо наоборот, Игнатий, надо глядеть, где и как сделано разумно, и брать хотя бы и чужеземное разумение для собственной жизни. Иначе нельзя. Правда, Половинкин?

— А тут я скажу — не вовсе правда!— растопырил волосатые пальцы Половинкин.— Ну, што она — твоя кооперация? Она и снаружи и снутри в синяках ходит: снаружи ее бьют богатые буржуи, а снутри в ей самой оне же заводятся и подминают рядовых членов под себя. Хотя взять и нашу лебяжинскую потребиловку и маслоделку — разве не так было?

— И так было, и по-другому!— загорячился Калашников.— Сколь бедняков она спасла от разорения? И помогла им? И сколь сделала среди нас, лебяжинских, человеческого товарищества?! Значит, то же самое: хорошее надо брать для жизни, худое — отбрасывать, и дело народа пойдет! И еще как пойдет-то! Народ — он же великий! Он все может, до всего дойдет, ему надо только путь-дорогу хорошо определить!

— Верно, мужики,— снова вступилась Зинаида,— вот же люди сделали в агличанском городе хотя какую-то, а правду?! Может, и вы в своей Комиссии тоже сде-

лаете ее сколь-нибудь? Так охота правды — жизни бы за ее не пожалела! Как бы знать, где она находится,— отнесла бы туда свою жизнь: нате, берите ее всю, мне и взамен ничего не надо, не нуждаюсь! А то ведь как: где война и убийство, так знают все, а где правда — не знает никто! — И Зинаида вгляделась в Устинова и громко так и упрямо спросила его: — Так ты кого из святых знаешь, Устинов? Чье житие? Когда ты говоришь, что оне все ж таки были на свете, святые,— кого ты из них знаешь?

— Да никого я не знаю хорошо-то,— смутился Устинов.— Спрашивай вот Калашникова — он в церкви, было время, прислуживал.

— А кого-нибудь? Все ж таки?— не унималась Зинаида.

— Ну, про Алексея вспоминаю. Читано было мною про божьего человека.

— Вот и рассказывай — почему Алексей из простого в божьего человека сделался.

— Отрешился от мира.

— Как отрешился-то?

— Жил у богатых родителей, в довольстве и сытости. Родители его поженили. А в ту ночь, как бы ему с молодой женой остаться на ложе, он взял да и ушел из дому. В нищие.

— Ой, дак он же, значит, и не любил невесту-то? И даже ненавидел?! Этак-то с ненависти только и можно сделать!

— Нет, это он ради святости.

— Ну какая же в том святость? Ну и не женился бы, и не давал бы невесте согласия, а то у ей-то в ту ночь как на душе образовалось — он и не подумал? Ежели она-то его любила?

Устинов смешался, как будто и сам был в ответе за божьего человека, а Игнашка сказал строго:

— Ты слушай, Зинаида! Сама спрашиваешь и сама же отвечать не даешь. Дак што там далее-то происходило, Никола? Неужто ни за што ни про што и пропала для обоих та первая ночка?

— Дальше семнадцать годов пробыл Алексей в нищенстве и в скитаниях, после вернулся домой.

— Ну а родители как его приняли на порог? Либо померли уже?— снова спросила Зинаида.— Семнадцать годов не сказывался — мыслимое ли дело?!

— А он им и тут не сказался, родителям. Он поселился у их в ограде, в хлевушке, как нищий, и оттудова каждый день глядел на мать свою, которая по ему непрестанно убивалась, и на невесту тоже глядел, которая так и жила под покровом жениха своего и так же убивалась и рыдала, как ее свекровь со свекром.

— И долго ли так продолжалось?— спросила Зинаида.

— Снова семнадцать годов.

— Снова семнадцать?!— совершенно уже изумилась Зинаида.— Да оне-то, святые-то, и не стыдно им так себя вести? Мать страдает, невеста убивается, а он поглядывает на их слезы семнадцать годов, и ничто ему?!

Тут послышались шаги, открылась дверь в горницу, и Кирилл Панкратов, со стружкой в светлой бородке, сказал из кухни:

— Зинаида!— сказал он строго.— Не разувай глаза-то на чужие слова! Шти-то готовые у тебя?

Кирилл, особенно при посторонних мужиках, показывал строгость к жене, но не всегда у него получалось. А нынче получилось: он, должно быть, сильно был голоден, с утра раннего строгал в мастерской.

Устинов, помолчав, сказал:

— Иди, иди, Зинаида! Когда так, я и после доскажу!

— А ты не жужжи!— рассердилась вдруг Зинаида на Устинова.— Уже и голоса вдруг нету у тебя, одно только жужжание! Начал говорить — договаривай, за минуту со штями ничего не сделается!— И Зинаида встала с табуретки, но из горницы не ушла, а плечом прислонилась к печке.— Ну?!— А мужу она сделала знак рукой и тоже сказала:— Сей час, Кирилл! Сей час!— Устинов молчал, и все в горнице тоже молчали, а тогда Зинаида еще раз обратилась к мужу:— Ну, и ты войди, Кирилл! Нет, ты только подумай, Киря: святой-то человек тридцать четыре года скрывался от родителей и невесты, мучил их разлукой и жил в ихнем же доме, только не сказывался! И невеста холодная была, до старости убивается по ему, а до себя самой ей и делов нету?! Она же человек, женщина, и как она живое в себе убивает? И даже не обидится? Ну, Никола, дальше-то как?

Кирилл неловко протиснулся в горницу и встал рядом с женой у голландки.

Калашников сказал:

— Досказывай, когда так, Устинов! После-то как было?

— После-то угадали все ж таки, кто он есть, тот нищий в хлевушке. Но тут он и помер. Как раз. Похоронили его почетно и возвели в святые. Вот как было.

— Странно мне! — громко вздохнула Зинаида.

— Чего особенного?! — отозвался на этот вздох Половинкин. — Им ведь, святым, как? Им ведь наоборот как нам, как хотя бы и мне. Для меня самое что ни на есть главное — жизнь прожить, а ему хотя бы и вовсе не родиться, и вовсе не жить, лишь бы об ем была да жила долгая память. Вот и все!

— Все одно странно! И не согласная я! Вот он сделал о себе святую память, и вот я молюся ему и вдруг за молитвой вспоминаю: «Да, боже ты мой, а при жизни-то, при жизни сколь же он сделал страдания людя́м? Родителям, невесте и еще, может, многим другим?»

— Так ведь вся она такая — святость, вся происходит от страдания. А от чего другого ей еще быть-то? Взяться-то? — вдруг спросил Кирилл, тихо так спросил и поглядел на жену.

Зинаида пожала плечами:

— Как откудова взяться святости?! Из добра! Пущай бы он, Алексей, божий человек, когда был богатый, помогал бы людям куском и учением, от себя отымал для других, и сам бы страдал — пущай! Но почто ему до зарезу нужно других-то в страдание вводить? Непонятно никак! Ведь тот же самый у его выходит разбой, что и у злодея! Вот злодей убил бы Алексея, и што? И сделал бы то же самое страдание его родителям и невесте, какое он для них сам сделал. Оне же, когда его потеряли, так и думали: злодеи сделали, разбойники убили нашего сынка и жениха!

— Святое дело — оно большое... — снова и еще тише сказал Кирилл. — Оно большое и очень даже искусное. А которое искусно и велико — то не бывает без мучения людям. Оно только через муки и через отрешение от жизни дается.

— Так ить для большого-то, для искусного — родиться надо! А другой родился, как все, и даже поглупее других, а все одно берется за дело, куда больше себя, и вот уже первое, что у его выходит, — муки и страдание другим людя́м. Далее-то он сделать уже не умеет, не может... Хотя бы и Алексей, божий человек? Да мне все уже об нем понятно: он для большого-то не родился,

а ему страсть как хотелося его! Он и надумал добиться своего, своей святости через муки родителей и невесты своей. Больше — ему в голову не пришло. Его бы на иконах-то надо рисовать с махонькой с такой головкой!

— Ну, уж ты скажешь, Зинаида! — удивился Половинкин.

— И скажу!

Кирилл резко подтолкнул Зинаиду в плечо, сказал ей как мог строго:

— Пойдем хлебать!

Панкратовы ушли, в горнице неловко стало. Половинкин сказал:

— Об правде слова, всё об ей. Всею-то ее кругом давно словами обговорили, а толку нету и нету!

— Правду молчком не сделаешь! — вздохнул Устинов.

— Нашей-то Комиссии — ей-то какое до правды дело?

— До нее, может, всем комиссиям на свете имеется дело? Всем, сколь их есть и еще будет! — ответил Устинов.

— А я не согласный! — снова и уже сердито возразил Половинкин.— Тут как дело-то? Вот ты, Калашников, а Устинов дак и особенно, научились разговоры разговаривать! Может, и сами-то не понимаете, што к чему и зачем, а нам все одно показываете свое умение. Выхваляетесь перед нами, что ли?

— Вот и правда, и так у нас в Комиссии и складывается, как Половинкин сказывает! — горячо подхватил Игнашка, и ветхие усики его запрыгали.— Выкомуриваете из себя умников и трепетесь, и трепетесь, не остановишь вас для дела! Калашников, дак тот аж про Англию! Как вроде аглицкий шпиён!

— Дак я вовсе не про ее! — стал оправдываться Калашников.

— Ну, с тобой ладно, ты верно што про лавку-потребиловку, а Устинов про што? Ты, Устинов, как придешь, так и говоришь, и говоришь, сладу нету с тобой! Ну, сказал речь жигулихинским и калмыковским порубщикам, сделал правильно, дак ты же и остановиться после того не можешь! И говоришь и говоришь!

— Вот те на, товарищи члены Комиссии! — развел руками Устинов, и лицо, и даже голова под светлыми волосами у него покраснели.— Вот те на! Да я же и в Комиссии-то сколь не был?! А пришел, вы и без меня

ужо разве о комиссионных делах говорили, в них разбирались?

— Брось, Игнатий, дурить-то! — сказал в сердцах Калашников.

— А што бросать? Мне и бросать-то вовсе нечево! Мы с Половинкиным правильно высказываемся! Честно, прямо, от всёй души, а не затаенно как-нибудь: мои да половинковские слова вам не нужны нисколь, вы только собственные и признаете! Собственники какие — энто подумать тольки?! Вспомнить, дак Половинкин в Комиссии десять слов не сказал, все его слова пальцами пересчитаются, а я хотя и говорил, старался, дак для вас получается нисколь негодно! А пошто так? А вот пошто: тут благодаря Устинову, его затаенным стараниям наша Комиссия на умных да на глупых раскололась и поделилась, а энто никуды не годится! У нас единение должно быть во всем и повседневно! Мы пример единения и сознательности должны показывать всем и кажному, а без примера што же произойдет? И подумать страшно! Энто — позор и даже контрреволюция! Ежели мы, Комиссия, позволяем довести между собой до того, что у одного из нас два голоса и тыща слов, а у другого — ни одного голоса и даже ни одного слова, ежели мы даем такой худой пример, тогда до чего же смогут дойтить простые граждане? А? Молчите все? То-то!

— Ты все ж таки погоди, Игнатий! Ты не тово... — опустив глаза, проговорил Половинкин. — Я вот...

— А чево энто — вот! А чо годить-то мне, чо годить? — поднялся Игнашка и на Половинкина. — И не подумаю годить! Ты и годи, а по мне вовсе ни к чему! Энто вот Устинов истинную правду то и дело мутит, то ему Алексей, божий человек, к чему-то, неизвестно к чему, блазнится, то што! А я правду безо всяких режу! Я терплю-терплю, а после как зачну ее резать — ой-ой-ой!

— Ведь какой ты, Игнатий, — снова вступился Калашников. — Ты подумай и убедись: слов-то как раз за тобою во-о-он сколь, многие тысячи, а сколь делов? Скажи?

— И он ишшо спрашивает, какие за мною дела?! — вытаращив глазенки и ткнув пальцем в Калашникова, спросил Игнатий. — Ить это надо же было тебе, Петро, до того потерять человеческий стыд и совесть, штобы спрашивать так?! Ну, не знал я за тобой, не думал по сю

пору, на што ты, оказывается, способный! — И тут Игнатий встал из-за стола, быстро прошелся по горнице, сложив руки на груди, снова остановился около Калашникова и спросил: — Да што ты делал бы тут без меня, товарищ председатель?! Когда все лебяжинские ринулись лес рубить, кто тебе сказал и сообчил об факте? Молчишь? А сообчил об ем Игнатий Игнатов! Он! Как бы он не сделал, вы бы так и сидели за энтим вот столом, ничево не зная, и считали бы цифры, да писали бы их в разные бумаги. А благодаря мне все поехали в бор да и схватили там Севку Куприянова, самого негодника и сукинова сына! И навели в бору порядок! Энто вы проявили тот раз глупость, развязали и отпустили Севку вместе с его со щенком с Матвейкой, но я уже в том не виноват нисколь! А другое взять, когда степные порубщики явились — осемьдесят семь подвод, осемьдесят осьмая — бочка с водой, кто ночью поднял по боевой тревоге всею Комиссию? Кто тебя поднял с теплой с постельки, Никола Устинов? Ага — не отпираешься, все ж таки сохранилась в тебе капля человеческой совести, признаешь, што я тебя поднял? И кабы не я, так и речей тебе не пришлось бы говорить тем порубщикам — тоже признаешь?! А ишшо сидим вот мы все в панкратовском дому, заседаем в день и в ночь, и хозяйка, Зинаида Пална, нас кашей кормит, а кто догадался к Панкратовым толкнуться? В ихнюю чистую и без ребятишек избу? Я догадался! Как бы не я, обратно, то и сидели бы мы все на сходне вместе с писарем, и кажный гражданин, кому нужно, кому нет, толкался бы среди нас и мешался бы в наше высокое дело! Не-ет, народ знал, што делал, когда выбирал Игнатия Игнатова в Комиссию! И я сей же час выйду и объясню народу, што я делал в той Комиссии, насколь оправдывал народное доверие! Попробуй ты объясни то же самое об себе, Калашников? И ты, Устинов?! И даже ты, Половинкин! Не-ет, я энтого так просто не оставлю! Хватит! Хватит, моя чашка терпения тоже лопнула, и нонче я вот как делаю: вот прибудут с минутки на минутку товарищ Дерябин, и я обскажу ему все как есть положение! Только пущай прибудут оне!

Игнашка снова сел на табуретку, нашарил в кармане гребень и причесался, а Калашников заявил ему:

— И обскажем! А что такого? И обскажем Дерябину твое поведение, твое обвинение всей Комиссии в ее негодности. Обскажем да и решим, как и с кем нам быть!

Игнатий встрепенулся, сунул гребень обратно в карман:

— А я обо всей Комиссии не говорил! Ни одного даже слова! Я лишь об отдельных ее личностях!

— Ладно, ладно, Игнатий! Об Устинове — говорил?

— Об ём? Конешно!

— Обо мне?

— О тебе! О тебе — так себе...

— И об Половинкине?!

— Нисколь! Об ём — нисколь!

— Ну, как же, а упрекал-то его?

Игнашка отвечал бойко, быстро и без запинки, а смущался, спрашивая его, Калашников.

Калашников грамотный был мужик, руководительный, многие годы возглавлял кооперацию в Лебяжке, теперь вот — Лесную Комиссию, а в то же время он ведь был робким.

Здоровенный, с широким шагом, с косматой головой, с глухим, из нутра, голосом, в большом возрасте, но далеко не старик, он вдруг на полшаге, на полслове мог заробеть. И не от испуга, не от угрозы какой-нибудь, а совершенно сам по себе, от собственного сомнения, от детскости, которая внезапно его охватывала, добренькой, ребячьей улыбкой враз накрывая его крупное, наспех рубленное лицо.

Что на душе у человека в это время происходило, сказать было нельзя, тем более что улыбку эту, все растерянное свое лицо он торопливо закрывал одной, а то и сразу двумя руками и сидел так в одиночестве, о чем-то там думая, и, только собравшись с мыслями, снова показывался на белый свет, распахивал руки, быстро-быстро начинал говорить, руками же двигать вверх, вниз, в стороны, иногда останавливая их в странном, игрушечном каком-то положении.

Так же и сейчас было: Калашников спрятался в ладонях, а когда снова показался наружу, Устинов в упор спросил его:

— Петро? Не пойму я чтой-то — председатель-то Комиссии все еще ты? Или вы уже переизбрались тут на Дерябина?

Калашников часто-часто поморгал и сказал неуверенно:

— Пошто же — председатель я и есть! Не переизбирались мы. А все же таки вопрос будем решать, когда

придет Дерябин. А ты, Устинов, посиди вон за столом, погляди бумаги. Тут много чего есть, среди бумаг.

И Устинов опять не ушел, а вздохнул и стал перелистывать дела Лесной Комиссии.

Норма отпуска леса, которую он рассчитывал по материалам последней таксации, была утверждена Комиссией в таком виде: его цифра помножена на два, а почему и как — об этом в бумаге сказано не было.

Еще было в бумагах решение Комиссии насчет будущего тысяча девятьсот девятнадцатого лета:

«Лесную траву косить после выводки куропатки и прочей земногнездовой птицы, дабы не покалечить живую тварь в виде птенцов, то есть с 20 июля.

Во избежание гибели древесных всходов лесную траву вообще косить в самых крайних случаях и только посреди обширных полян».

Потом Устинов прочитал постановление Комиссии о борьбе с самогоноварением и акт конфискации у братьев Кругловых самогонных аппаратов.

А потом ему встретилась и еще одна совсем удивительная бумага: постановление о примирении супругов Ждановых. Рассматривая эту бумагу, Устинов понял, что Елена Жданова принесла в Комиссию жалобу на своего мужа, Жданова Александра, по случаю его грубости, пьянства и побоев. Комиссия вызвала и выслушала того и другого и постановила: супругов примирить.

Устинов спросил:

— Странно мне, Петро! Вот про Ждановых сказано — почему так? Разве тут дело Лесной Комиссии?

— А пошто бы и нет?— пожал плечами Калашников.— Ты еще дальше гляди, там другая бумага имеется, она все объяснит!

Действительно, другая бумага — протокол заседания ЛЛК № 17 — кое-что объясняла, потому что красиво, рукой Калашникова, в ней написано было так:

«В последнее время замечено горячее желание многих граждан с. Лебяжки обращаться в избранную ими же единогласно Лесную Комиссию с разными вопросами, не имеющими общего с лесными делами, как-то: по делам семейных разделов, по Кассе взаимопомощи, по устройству школы, по раскладке трудовой повинности и проч. и проч. В связи с отсутствием на месте доступной каждому гражданину власти (за исключением одного здорового и одного совершенно больного милицио-

нера от не совсем известного Сибирского Временного Правительства) Комиссия, идя навстречу желаниям трудящихся, считает необходимым посильно решать как все эти, так и многие другие вопросы гражданственности, быта и общественного устройства».

Прочитав бумагу, Устинов хотел было обратиться за разъяснениями, но тут Игнашка, который все это время смотрел в окно, сказал:

— Я же говорил: товарищ Дерябин идут!— И, нашарив в кармане гребень, начал снова расчесываться. Он даже подошел к зеркальцу, висевшему в простенке, как вдруг из кухни приоткрылась дверь, в дверь просунулся кулак, а частью — Зинаида Панкратова. Злая, губы сжаты, брови нахмурены.

— Игнатий,— позвала она негромко,— ну, Игнатий, погодь, паршивец, я тебе за Алексея, божьего человека, за весь разговор наш — я те дам! Я тебя поганой и скотской метелкой вывожу, а мало будет — и чугунок закоптелый на дурную твою башку и на язык нацеплю! Я те... Однем словом, погодь, Игнатий!

Дверь захлопнулась, а все члены Комиссии остались в недоумении. Игнашка глядел неотступно на дверь и глотал слюну.

Тут и вошел Дерябин.

— Здравствуйте, товарищи!— сказал он.— А-а-а, и ты, Устинов, нонче с нами?! Это, Устинов, хорошо! Молодец, что ты с нами. Ну и что же тут у вас происходит?

Он был, как всегда, плохо побрит, бледный, худенький, в фуражке набок, в шинельке на плечах и с крохотной цигаркой в уголке рта — окопный солдатик с передовой позиции и только недавно из-под артобстрела. Однако совсем не скучный и не измученный, а быстрый.

Как был в фуражке и в шинельке, он сел рядом с Устиновым и небрежно, не вынимая цигарки изо рта, спросил:

— Ну и то зе ту у вас просхот?— Жуя цигарку, еще раз повторил свой вопрос:— Ну, и что же тут у вас происходит?— Мельком глянул — поняли его или нет?

Устинов не понял и внимательно посмотрел на него, они встретились взглядами, ненадолго, на секунду, и Дерябин быстро перевел взгляд на Игнашку.

А вот Игнашка — тот понял в один миг и ответил:

— А у нас ничево не происходит. Разве што так себе...— Потом он засмеялся и еще сказал:— Мы просто в ожидании товарища Дерябина все находимся здесь. Все до единого.

Калашников откашлялся и сказал:

— Товарищ Игнатов тут у нас возмущался...

— Игнатов? То есть ты, Игнатий? Ты, Игнатий, не возмущайся, а знай дело члена Комиссии. Понятно?

— Понятно!— тотчас кивнул Игнашка.— Конешно, понятно!..

— Ну, ну! А я вот что, я лесную охрану нонче сызнова инспектировал. Сверху и, можно сказать, что донизу, до последнего рядового охранника. Проверил у кажного оружие и умение им владеть. И, надо сказать, охрана у нас боевая, надежная. Люди понимают, что к чему, какие перед ими задачи. Хорошие люди. Во всем. Кроме одного: худой у них начальник. В начальнике охраны, в Левонтии Евсееве, мы, когда назначали его, допустили ошибку. Это нам урок, его надо поиметь в виду на будущее. Вот будто бы и знаем человека, наш человек, а в действительности вышло — не знаем.

Леонтия Евсеева действительно в Лебяжке, да и в других селах знали: он служил в кабинетской лесной охране. И хорошо служил — придет к нему мужик, пожалуется на судьбу, и Леонтий отведет его в лес, покажет сосну: «Руби вот эту! А меня ты знать не знаешь и видеть не видел. Понятно?» Конечно, мужику понятно.

Теперь Леонтий был начальником лебяжинской народной дружины по охране леса.

Но вот что за ним было замечено в последнее время: он стал заговариваться. И сильно.

Спросят его: «Леонтий, как ближе всего проехать в девятый лесной квартал, на северную его сторону?» Леонтий палец ко лбу: «Когда мне народ наказывает беречь лесное добро — я со строгостью буду имать порубщиков и без слов доставлять на сходню!» — «Это хорошо,— говорят ему,— имай, доставляй, а в девятый-то квартал как проехать?» Он опять палец ко лбу: «Мимо Гуляевского лужка!» — «Какого Гуляева-то — Андрюхи или Петра? Оне оба в лесу косили». — «Ну, дак Андрюха-то воевал войну, а Петро-то — нисколь!» — «При чем же это война-то, Леонтий? Не о войне тебя спрашивают?!» — «Ведь Андрюху-то, Гуляева-то, июля месяца семнадцатого году чуть что не стрелило начальство».—

«Бог с ним, с Андрюхой! Как на девятый квартал проехать, вот что скажи?» — «Дак просто! Вот был бы у нас с тобой азимут, то и ешшо проще было бы. Ты, поди-ка, не взял в ум: стре́лка существует этакая, и азиму́т он завсегда зовется!» — «Обратно — свое! И азимут вовсе не стрелка, а только направление можно при помощи той стрелки по компасу определить. Как на девятый квартал-то проехать? Левонтий?» — «Будто азиму́т главнее стрелки? Нет и нет, я тебе сроду не поверю!» — «Не верь, бога ради, скажи только про девятый квартал!» — «А в земле ахромадный махнит находится, ты вот не знаешь, а он там все одно находится, потому стрелка завсегда главнее азимута! И скажу тебе на ухо: бога-то нету уже, говорится наукой!»

Так Евсеев служил нынче свою лесную службу. Дома — мужик как мужик, хозяин неплохой и в семье обходительный, но коснется дело службы — он, сделавшись куда как важным, заговаривается, да еще и сердится, почему не слушают его объяснений, когда он такой начальник — старший всей лесной охраны?!

Теперь все это, все непутевые и бессмысленные разговоры Леонтия Евсеева Дерябин передавал долго и в подробностях.

Фуражку он положил на стол и как будто читал по ней, шинельку оставил на плечах, распахнув пошире, и по-деловому рассказывал про гуляевскую лужайку, и про магнит, и про азимут, как обо всем этом толковал Леонтий Евсеев.

Устинов и Калашников слушали его молча, смотрели в пол, Половинкин — туда же, но изредка отрывался, бросая взгляд то на Дерябина, то на Устинова; Игнашка, сидя как раз против Дерябина, глядел ему в рот и громко выражал свое возмущение:

— Надо же! Дак как же энто так? Ведь энто подумать, до чего дошло! До чего дошел гражданин Евсеев!

Когда же Дерябин кончил весь пересказ, Игнатий хлопнул себя по коленкам, подскочил на табуретке и горячо подтвердил:

— Вот-вот-вот: правильно ты говоришь, товарищ Дерябин. Вовсе правильно!

Чего правильно-то?

Ну, как же: тут, покудова тебя не было, я тоже был против разных всяких слов. Вредных и непонятных! Которые и слушать-то невозможно!

— Почему же — невозможно? — удивился Дерябин.

— Уши вянут!

— Против народу направленные, что ли, те слова? Против Лесной Комиссии? Почто их все ж таки слушать невозможно?

— И против народу и даже, разобраться, против Комиссии!

— Как же это?— вовсе строго спросил Дерябин.

— Да просто: вот хотя бы и Калашникова с Устиновым взять, да и Половинкин тоже — один нагородит слов непонятных, вовсе бестолковых, а другой ровно дурачок и повторяет их, и повторяет с сурьезным видом. Ровно по-писаному читает их. Для тумана на мозги обыкновенного народа.

— Какого народа?

— Да хотя бы вот, товарищ Дерябин, и для меня самого!

— Тебя самого...— вздохнул Дерябин, постучал пальцами по столу, снова надернул фуражку на голову, откашлялся:— Я почто, товарищи члены Комиссии, столь подробно останавливался на Леонтии Евсееве, на всем, что от его мне в силу необходимости пришлось выслушать? Вот почто: его надо снимать. Освобождать от начальствования в лесной охране. Немедленно.

— Немедленно!— подхватил, почти крикнул Игнашка.

— А когда так, то я и докладываю Комиссии: я ужо снял его. А чтобы не было лишнего начальства, чиновничанья и всякой волокиты, я еще и так сделал, я ту должность начальника охраны вообще вычеркнул из Комиссии. Не всем ясно? А дело, я думаю, будет с нонешнего дня поставлено так: лесная охрана прямо, без начальника будет подчиняться Комиссии. А в Комиссии она будет, я думаю, подчиняться мне. Поскольку я давно и повседневно ею занимаюсь, то фактически ничего и не меняется. Как было, так и останется. Ну, я вижу, возражениев ни у кого по данному и текущему вопросу нету? — Дерябин оглянулся по сторонам.—Ты что-то желаешь заметить, товарищ Устинов? Либо мне показалось?— И Дерябин поаккуратнее поправил фуражку на голове.— О чем ты?

— Вот о чем... Я долгое время отсутствовал, и вот не совсем ужо стало ясно мне, кто тут председатель в Комиссии? Ты, Дерябин, либо все еще товарищ Калашников Петро?

Калашников покраснел, заерзал на стуле, Половинкин гулко вздохнул. Игнашка почему-то засмеялся. Дерябин кивнул:

— Правильный вопрос, Устинов! Ошибка, что мы не ввели тебя в курс. А курс у нас, внутри Комиссии, такой: Калашников, само собою, как был, так и остается председателем. Даже более того — он как бы уже и президент, то есть представляет Комиссию перед обществом на сходе, в переговорах с другими-прочими селениями и лицами и вообще — он главный наш предста-ви-тель. Ну, а я как главное, но уже рабочее лицо. Все бумаги-жалобы, заявления и прочее поступают ко мне, я их подробно прочитываю, решаю, как и что, после докладываю для окончательного утверждения в Комиссии. Ну и, как было мною сказано, под прямым руководством с сего числа у меня находится лесная охрана. Делов у меня более всех, и в то время как другие члены могут даже и не бывать какое-то время в Комиссии, я нахожусь в ей не только ежеденно, но хотя бы и ночи не сплю. Я нахожусь при делах круглосуточно. Так, товарищ Калашников?

— Даже удивительно, когда товарищ Дерябин спит?! — горячо подтвердил тот. — Днем он в лесу, либо с охраной, либо по гражданским делам у кого во дворе, а ночью читает и загодя пишет протоколы, чтобы после мы их рассматривали и утверждали. Без сна живет человек. Ей-богу!

— Так...— еще кивнул Дерябин.— Что касается товарища Игнатова, так он в Комиссии имеет назначение по особым поручениям — сходить, узнать и разузнать. Товарищ Половинкин — он, наоборот, член Комиссии без особых поручений и, наконец, ты, товарищ Устинов. Об тебе мы тут советовались и решили так: ты у нас будешь как главный спец. По лесному делу, а также, исходя из твоей речи перед порубщиками, ты будешь вести некоторые переговоры.

— Какие? Какие переговоры?

— Вот я вижу, перед тобою папка лежит с бумагами. Ты с ими знакомился?

— Знакомился.

— Протокол номер семнадцать читал?

— Читал: о новых и разных обязанностях Комиссии.

— Вот именно! А двадцать первый?

— Не встретился будто бы мне...

— Прочитай. А тогда объяснять тебе вовсе ничего не надо будет.— И Дерябин быстро распахнул папку на том месте, где нужно было, а Устинов стал читать:— *«Протокол № 21:*

Слушали: О противодействиях Лесной Комиссии.

Всем дальнейшим успехам ЛЛК и повседневной работе в настоящее время сильно противодействует поведение и даже агитация некоторых граждан, а именно:

1. Сухих Григ. Дормид., каковой объявляет: «тащи и руби у кого и сколько к этому имеется способностей. Ничего другого, как это, в жизни нету и быть не может».

2. Янковский Дмитрий Пантелейм. (Он же — Кудеяр.) Всем и каждому объявляет об конце света, из чего следует, что лес беречь и делать хотя какой-то общественный порядок среди граждан вовсе нету никакого смысла.

3. Смирновский Родион Гаврил. Будучи грамотным, уважаемым жителями и в офицерском звании, всячески и полностью пренебрегает Лесной Комиссией, чем и показывает личный пример для очень многих граждан.

4. Саморуков Иван Иван. Десятилетия назывался как лучший человек Лебяжки. До сих пор сохранил свое влияние среди граждан.

Постановили: Окончательно выяснить каждого из поименованных граждан. После чего — либо принять против них меры, либо привлечь для помощи Комиссии.

Исполнение поручить члену Комиссии тов. Устинову Николаю Леонт. по возвращении его с пашни».

Устинову это было даже интересно: он живо представил себе встречи со Смирновским, с Кудеяром и с Иваном Ивановичем Саморуковым. Ему давно было необходимо поговорить с этими людьми. Давно! Он отодвинул папку и сказал Дерябину:

— А вот с Гришкой Сухих я встречался. Уже! В избушке у себя на пашне. И говорить нам, пожалуй, больше не об чем!

— И правильно!— отозвался Дерябин.— Очень правильно! Вот не с этой ли бумагой Гришка к тебе яв-

лялся?!— Дерябин торопливо еще полистал папку:— Вот с этой?!

Действительно, это было письмо Гришки Сухих в Комиссию, с обозначением лесного угодья, которое он считал за собою, и угрозой каждому, кто вступит в его границы.

— Ну и как? Как вы решили ответить Григорию?

— А вот как!— ткнул Дерябин в уголок Гришкиной бумаги.

Там рукой Калашникова было написано: «Категорически пресечь. Поручить лично тов. Дерябину».

— Так-так...— кивнул Устинов. И не захотелось ему спрашивать, что это значит: категорически пресечь?

— Ну,— сказал Дерябин,— тогда я вот что скажу: все члены Комиссии нонче могут быть свободными. А я еще побуду с бумагами: подготовлю их к нашей встрече, которую и назначаю с утра.

Минута прошла — никто не встал. Другая.

Дерябин с недоумением посмотрел на одного, на другого, а когда глянул на Половинкина, тот, поерзавши на стуле, сказал:

— Штой-то недоговорили мы нонче! Ей-богу! Обругались между собою, и даже различные слова и те обидели тоже. Кособочно друг друга оглядели с головы до ног, а штой-то недоговорили. Нет и нет!— И Половинкин усмехнулся, просветлел и крикнул через дверь:— Зинаида! Зинаида Пална!

Вошла Зинаида, спросила:

— Ась?

— А скажи-ка нам сказку, Зинаида!— поклонившись и привстав на стуле, попросил Половинкин.— Про девку Елену! Про ее! Я давно когда-то слыхивал — ты хорошо ее сказываешь!

— Вот так догадался, Половинкин!— удивилась Зинаида.— Даже смешно. Я вон обещалась Игнатия поганым веником отвозить за сказку-то, за святого Алексея, и не сделала своего обещания, не успела еще, а вам ужо и другую надобно сказочку! Не смешно ли?

— Не смешно!— сказал как-то даже ласково Дерябин.— Рассказывай, Зинаида, уважь Комиссию в полном ее составе!— Дерябин встал из-за стола, снял и повесил на стенной гвоздь шинельку с фуражкой, снова сел и снова сказал:— Уважь, Зинаида! От себя лично и от всех других говорю!

— Ну ладно, когда уже столь мужиков спрашивают — как тут откажешься? — вздохнула Зинаида.— Только уговор — не серчать, ежели я не так расскажу.

А было-то вот как: она красавицей была, девка Елена. Косы — белы, глаза — голубы, сама — чуть румяна, но не сильно-то, не то, чтобы в красную щечку, а маленько вовсе. А вышивальщица была великая. Хотя по холсту, хотя по купеческому матерьялу могла положить узор-картинку, немыслимо как хорошо у нее получалось! А был у ее уже и милый свой из полувятских же парней — Лукьяном звали. Об нем долгого нету рассказа, но он все одно тоже был русый, кудря к кудре.

А тут нá тебе, случилось: родители, да и все полувятские говорят Елене в один голос — идти замуж за кержака! Все твердят: нет у нас другого исхода, как отдать тебя на кержацкую сторону. Она первая за кержака выходила, ей, самой-то красивой, начало всему родству меж полувятскими и староверами положить надо было. «Сделай, Еленушко, за все наши души! Никто же из раскольничьих парней не устоит против тебя, твое дело — пойти, дать свое согласие, и все тут! И спасенные мы будем все, все останемся на месте нашего жительства!» — так ей объясняли на первый, на третий, да и на сотый раз. И, попрощавшись со Лукьянушкой, сказала она, что согласная, а там уже и получилось, как предвиделось: и другие девки-полувятки пошли, и другие кержацкие парни не устояли, и заигрались те самые свадьбы, с которых пошла нонешняя Лебяжка. Только вот для перво́началу было какое омрачение: Лукьянушка-то несчастный — тот в рудник пошел робить, в далекий-глубокий да сырой-темный.

Добровольно зарылся в землю, куда только в кандалах и заводят с клеймами людей, бритых наголо.

Ладно, коли так. Ладно, кабы только одна судьба осталась бы загубленной, то, может, и сказки не было. И хорошо, когда бы не было ее.

Но тут вот как случилось: муж Еленушкин, молодой, да строгий, да угрюмый, в то время промышлять начал извозом.

На озере Котельном заведение как раз соляное затеялось, соль начала вывариваться из его, а купечество не растерялось, стало мужиков звать с конями — возить-торговать ту белую соль по разным далеко вокруг жи-

тельствам. Соли в ту пору бедно было, как вроде в нонешнее время. И многие шли мужики в торговый извоз, и Кузьма, Еленин муж, пошел тоже.

Вот приходит он как-то домой после соли своей, после соляного свого извоза, умыл себя из-под рукомойника, а жена-молода подает ему полотенчико-рушник, ею в то время вышитый.

Он утерся, глядит: как вышито, как сделано?

Красиво-то сделано, искусно, а Кузьме-то не в радость.

Он сел хлебать, соли в щи сыпет густо-прегусто, а на рушник все глядит. После говорит:

— Елена?

— Ась!— отвечает ему молода жена.— Пошто спрашиваешь?

— Энто што же вышито у тебя на рушнике-то? Спрашиваю я?

— Которое?

— Да от тут же, по краюшку?

— Тута? Просто так! Узор, сказать, такой...

— Нет,— говорит Кузьма,— вовсе не узор тобою поделан.

— А што же?

— Энто кудри Лукьяшкины поделаны! Я знаю! Так ли я говорю? Ты покуда шила-вышивала — все да и думала о ём? Помнила?

— Думала...— говорит Еленушка.— Помнила,— говорит она.

Он-то, Кузьма, берет тогда тот рушник, да свертывает его жгутом, да и хлещет им жену-то по своей силе. А сила-то у его была, у Кузьмы-то!

Елена слезинки не выронила. Стерпела побой бессловесно. И даже сказала Кузьме:

— Виноватая я перед тобою. И без желания, а виноватая. Так, верно, и есть.

Ладно. Проходит время, муж обратно в извозе, а Еленушка, молода жена, рушничок уже новый ладит, старается, глазки голубы то откроет на его, а то прищурится.

Стежок у ее махонек, положит — не видать, где и лежит, но только покуда он один такой. А ручки белы у Еленушки, ручки быстры, пальчики тонки, ноготки востры, она ловко да ловко стежок ко стежку кладет, и вот она какая картинка, ниткой шитая, получается: те-

рем с оконцем, и девиса в теремке, глядит оттудова в даль далекую-неоглядную.

Обратно возвращается Кузьма, муж ее, и снова утирает лицо свое рушником, и примечает он тот шитый терем теремок и девису в ём.

И как садится хлебать, то пуще прежнего щи солью солит и спрашивает у жены своей:

— Елена?!

— Ась! Пошто спрашиваешь меня, муж мой?

— А энто кто же в теремке-то у тебя сидит? Какая девиса, глаза голубы, косы белы-длинны?

— Не знаю, кто там есть. Не знаю имени ее. Просто так кто-то, а более — ничего,— отвечает Елена мужу своему.

— Ну а тогда я тебе и сам скажу: ты в теремке-то и есть! Ты сама! И в даль-то все поглядываешь, глаз-то с той с дали не спускаешь. А кого ж ты скрозь ту даль увидела?

Молчит Елена, мужа своего жена. После опустила голову, признается тихо этак-то:

— Снова виноватая я перед тобою, муж мой! Шила-вышивала — не чаяла ничего, а вышила, и понялось мне чтой-то.

А уже Кузьма и тот другой рушник в жгут крепкий крутит-скатывает и бьет свою жену в полную силушку.

И в третий раз поехал в извоз соляной Кузьма, и возвернулся домой, и вот ужо умылся он, и вытерся рушником тоже третьим, и садится хлебать, и солит щи солоно-пресолоно, и спрашивает:

— Елена?!

— Ась!— отвечает она.— Пошто ты меня спрашиваешь?

— А какие-таки птички две, да и красиво так летают обои в небе, в небесах? Чо энто оне там летают-то?

— Да обыкновенные, видать, птички там у меня!— отвечает Елена, жена мужа своего.

— А пошто же им на земле-то не сидится, тем птичкам? На теремке хотя бы либо ишшо на какой на веточке?

— Нет,— отвечает Елена — им, правда што, не сидится на земле. Им летать охота.

— Двоим штобы только и быть в небе?

— Может, и так, муж мой. Двоим чтобы быть...

— А какие бы у их, у тех у двух птичек, имена случились бы, когда бы оне человечески окрестились?

Одна-то птичка, по всему видать, Еленой прозывалася бы, а другая? Ну, пошто же ты молчишь? Пошто молчком молчишь, когда я уже и угадал твою сказочку, на рушнике тобою вышитую?!

Опускает Елена голову на грудь свою.

— Может, и угадал,— говорит она тихо.— Все может быть.

И снова уже крутит муж тот рушник в крученый жгут, да и макает его в соль горькую да белую. Да и сверху силы своей бьет жену без памяти. А когда опамятовался — она уже бездыханная, жена его Еленушка.

Кузьма-то вышел после того без шапки из дверей да и кинулся прочь бежать, покуда не скрылся в неизвестную сторону.

И не осталось от Елены, девки красной и рукодельной, от Кузьмы-кержака ни единого дитятки, ни одной кровиночки. Пропал род. Нету его нонче ни в одном живом человеке. Вот как было...

Зинаида помолчала, потом спросила:

— Ладно ли сказала-то я? Мужики?!

— Ты ладно сказала, Зинаида!— кивнул ей в задумчивости Петр Калашников.— Голос у тебя хорошо так шел. То место, с теремком-то, так мне более всего понравилось. Даже и не знаю, и почто так. И про птичек тоже хорошо у тебя получилось!

— Эт-то што!— заметил Игнашка.— Это-то она вполголоса сказывала. Стеснялась кого, чо ли? Бог ее знает! А вот я годов сколь-то назад слыхивал от ее же, от Зинаиды, ту же сказку в избе Терентия Лебедева,— она там бабам ее сказывала, вот уже да! Сказывала дак сказывала! И верите ли — все бабы, как одна, в три ручья заливались-ревели! Не верите? Ей-богу!

— Ну, почто же не верим?— пожал плечами Дерябин.— Мы верим! Все!

— А Устинову сказка не поглянулася!— не то сказала, не то спросила Зинаида. И подтвердила еще:— Нет и нет!

Она все еще сидела на сундуке у окна. И руки все так же держала на коленях, а волосы падали ей на висок, и она потряхивала головой, чтобы они не мешали, не заслоняли глаз.

— Мне поглянулась, Зинаида Павловна! Спасибо! Хорошо говорила!— сказал Устинов.

— Куда там! Напрасно это я согласилась-то говорить вам сказку! Напрасно: это сказка бабья, а мужи-

кам она непонятная! И самой-то нельзя понять — на какой голос вам ее говорить: громко ли, тихо ли, коротко либо подлиньше! Нет, не надо было мне соглашаться. Вечно-то я вот так: сделаю, после и думаю — не так сделала, не то сказала! В пору хоть каждый день заново переживать, чтобы было так, как надобно! Не то — день, а и всю-то свою жизнь!

Дерябин громко простучал пальцами по столу. Сказал:

— Как происходит? В сказке и в той нету сколько-нибудь складной жизни. По разуму человеческому и по его понятию — нету ее. А тогда что же и говорить о настоящей жизни, ежели даже в сказочке ничего этого нету?! И как же это надо понимать? А вот как: не годится никуда жизнь! Не годится, и всю, сколь ее есть на свете, всю ее надо в переделку! Всю, до последней капли — гнать, и гнать, и гнать в переделку! Другого ничего не остается. Вот какое в наше время главное дело!

— Во что и как ее переделывать-то?— глубоко вздохнул Устинов.

— Во что и как? Дело покажет! Когда не делаешь, то и не видишь, а когда начнешь дело, оно уже само себя показывает, и как, и что, и для чего. И надо гнать и гнать! Без передышки! Лиха беда — начало!

Устинов вздохнул:

— Вот ведь какие разные за нонешний наш день рассказаны были случаи! Какие разные разности!

Глава восьмая

СМИРНОВСКИЙ РОДИОН ГАВРИЛОВИЧ

Выяснилось, что один лебяжинский мужик желает продать рабочего коня, мерина в возрасте шести лет. И нрав у коня хороший, и в работе можно им любоваться.

В тот самый миг, когда слух дошел к Устинову, он готов был со всех ног броситься к тому мужику, но — какое обстоятельство!— мерина-то продавал не кто иной, как Севка Куприянов.

И, шагнув по избе за шапкой и полушубком, Устинов остановился словно вкопанный, вздохнул, поморгал да и вернулся назад на свое место,— он в то время сидел в кухне на табуретке, ремонтировал Грунин хомут. Как-

никак, а побитую Груню надо было уважить, подремонтировать ее снаряжение, а в легкой и подогнанной сбруе, которая нигде не трет, не жмет, Груня, может быть, и подольше согласилась бы походить.

Мерина-шестилетку Севка Куприянов продавал вот по какой причине: сын его, Матвейка, твердо заявил, что в Лебяжке он жить больше не останется, уйдет в город. Если же его не отпустят — пришибет до смерти Игнашку Игнатова, а тогда все равно уйдет, хотя бы и прямиком в тюрьму.

Не мог простить Матвейка Игнашке Игнатову издевательства, которое он претерпел от него при порубке нескладной такой, неизвестно на какое дело пригодной лесины.

И ведь Устинов в тех издевательствах тоже участвовал. Хотя и поменьше других, хотя он и не вязал Куприяновых, а только разводил руками и твердил: «Вот те на!», но все равно заходить нынче в куприяновский дом и глядеть как ни в чем не бывало продажного мерина ему было нельзя. Невозможно!

Задумавшись над вопросом, Устинов пожалел Севку: как ему-то быть?

Не отпускать сына, так он ведь сделает — стукнет Игнашку, и вся недолга, а отпустить? Лебяжинские мужики прятали своих парней от мобилизации в пашенных избушках и в банях, Матвейка же Куприянов в это самое время шел в город! Он был еще не призывного возраста, только-только о шестнадцати годах, но парень рослый, и кто там будет особенно разбираться, когда у него на лице и во всей фигуре обозначено: «К воинской службе годен!»

После такого сочувствия Куприянову-отцу идти к нему показалось Устинову и еще больше не с руки... Послать бы вместо себя зятя Шурку? Но и тут — проигрышный билет, Шурка нагородит бог знает чего, а дойдет дело прицениться к лошади — похлопает Куприянова по спине и скажет: «Ты хороший, Куприянов, мужик!» Севка Куприянов догадается, похлопает Шурку: «А ты еще лучше!» — и после этого Шурка начнет его обнимать, словно бабу-молодку, и говорить: «А что такое цена, Куприянов? Цена, Куприянов, дело маленькое. Главное, Куприянов, дружба по гроб жизни — вот что!»

Уж очень хорошо Шурка знал, что в жизни главное, а что — нет. Вот и жил с тремя ребятишками в избе тестя, а свое хозяйство никак поставить не мог.

Другой послал бы свою бабу к Севкиной бабе, но Устинову и этот ход не годился. Он ему никогда не годился: Домна слишком была гордой, чтобы ходить да разузнавать, прикидываться, будто пришла просто так. А может, она и действительно была неумелой в таких делах. Устинов и сам-то был в них неумел, тем более не научил жену.

Ведь как с ним случалось: займет кто-нибудь у него пятерку и не отдает, и не отдает, а он — нет, чтобы потребовать собственное, еще и стесняется должника, обходит стороной, чтобы тот не подумал, будто из-за пятерки Устинов его преследует.

Был за ним такой грех, и Устинов тяготился им всегда.

Но тут ему вспомнилось, что по поручению Лесной Комиссии он должен идти для беседы к Родиону Смирновскому, а сестра Смирновского — замужем за Севкой Куприяновым.

Лебяжинские ходили друг к другу по делу и просто так в любой час дня и ночи, без стука, без спроса.

Мысль вдруг в голове или не виделись слишком давно, еще что — заходи, двери закидывать на крючок считалось неприличным: если в твоей жизни нет ничего плохого, тогда зачем ее прятать от чужих глаз?

Замки, матерые и ржавые, навешивались только на амбары, и хотя любым гвоздем их можно было запросто открыть, но все равно, чем крупнее замок, тем вору должно быть страшнее к нему подступиться, а вот замок, хотя бы и самый маленький, на дверях жилой избы,— только у мужиков настолько богатых и жадных, что им свое богатство ночью и даже днем покоя не дает.

У всех же обыкновенных и порядочных людей, если дома нет никого, стоит припертое к дверям полено, показывает, что здесь ни поговорить, ни новости узнать, ни спичку или щепотку соли занять нельзя.

У Смирновских тот же самый был порядок, а вот заходить к ним люди стеснялись, разве уже действительно по делу.

У Смирновских и двор-то особый, таких на сто верст кругом не было; поделен на скотскую и на людскую по-

ловину, людская — присыпана песочком, а посередке установлены гимнастические снаряды: турник и брусья, на высоких козлах подвешены кольца и гладкий шест для лазания.

Летом, каждый божий день, а когда так и зимой, сыновья Смирновского Гаврила и Анатолий занимаются на этих снарядах, и отец тоже исполняет разные номера, ничуть не хуже молодых.

Пройти через всю эту аккуратность, через этот песочный двор так же, как ты всегда и везде ходишь, нельзя и невозможно; необходимо сначала подтянуться, одернуть рубаху, построже определить шапку на голове, а может быть, и шаг взять если уж не строевой, так твердый и быстрый. Ну а зачем и к чему все это мужику? Ему проще вразвалочку пройти Лебяжку из конца в конец, чем пять саженей таким почти что военным шагом. Он в армии нашагался им досыта, а вернулся домой, так и думать о нем забыл!

Стеснялись лебяжинцы Родиона Гавриловича Смирновского — он был мужик, это правда, так же, как и все, пахал, сеял и за скотиной ходил, но он был еще и офицер. Настоящий офицер — не унтер и даже не фельдфебель, а поручик. Прошел офицерские курсы, а главное — большую службу. Можно сказать — не только «благородие», но и «высокоблагородие».

И поручик тоже не просто так был, а настоящий. В Лебяжке человек десять — Устинов в их числе — служили с ним в нынешнюю войну, знали его в службе не с чужих слов: удивительный был этот мужик-офицер!

Случалось, идет колонна в отступление — грязь по колено, на душе — то же самое, кухни неизвестно где, табаку нет, офицеры все злые как собаки, и только взводный, а под конец войны уже и ротный командир Смирновский шагает этак легко, даже красиво, сам побрит начисто, шинель на нем чистая, сапоги и те замараны только по щиколотку.

Между прочим, такие вот легкие солдатики, тем более — офицеры, в строю и на передовой долго не задерживаются — их начальство примечает, берет к себе денщиками, вестовыми или адъютантами, в знаменосцы и в почетные караулы, печатать шаг на парадах, при встречах и проводах высших чинов, но Смирновский служил только в строю.

Службу с подчиненных спрашивал куда как строго, так ведь и сам служил без поблажек. Звонко как-то умел он служить, места полегче, поудобнее никогда не искал. Где его солдаты — там и он.

Вернее всего, это водилось у Смирновских — все они были служаки, и отцы и деды.

Лебяжинцы удивлялись: когда так, почему они не бросят крестьянствовать и не уйдут в кадры? В последние годы в офицерстве не только дворяне состояли, но и разных других сословий становилось все больше — а этих-то что в Лебяжке держит?

Но Смирновские, прихватив несколько сверхсрочных лет, в чинах фельдфебеля и даже прапорщика неизменно возвращались домой, развешивали по стенам своей избы кресты и медали и снова крестьянствовали, как все.

«Нет,— говорили Смирновские, когда их спрашивали, почему это так,— нет, офицер из мужиков — все равно черная кость. Покуда ты хороший фельдфебель — то и офицеру-дворянину ты тоже хорош, и он хвастается тобою перед своими дружками, представляет тебя к наградам и может выпить с тобой рюмочку, даже не одну. Но когда ты с ним в равном звании — ты ему уже враг, и он подставляет тебе ножку, а руку норовит подать так, чтобы другие этого не видели, и места за столом в офицерском собрании ты никак не найдешь, везде «извиняюсь, занято!».

«А тогда зачем вам, Смирновским, военная служба? Служить — так это забираться в чинах как можно повыше, а когда не пускают, зачем она вам? И послали бы ее куда подальше?»

«Тоже нельзя!— отвечали Смирновские.— Наши деды и прадеды все служили и воевали!»

Родиону Гавриловичу было нынче чуть за сорок, но он успел отличиться в двух войнах — японской и германской, подняться выше всех своих предков — до поручика.

В начале войны солдаты-земляки своим командиром гордились, а вот в конце, когда пошли по фронту митинги: «Бросай оружие!», «Долой войну!» — посматривали на него косо — он-то не митинговал, служил себе и служил, как будто ничего не случилось, не переменилось. Только один раз и выступил на митинге, и сказал так: «Будет приказ уйти с фронта — уйду. Не будет — останусь в окопе хотя бы и совсем один. Никого к этому

не принуждаю, но не принуждайте к другому чему-нибудь и меня!»

Его освистали, обозвали разными словами, а он и этого не заметил — ходил чистенький, подтянутый.

Настал Брестский мир.

Сибирский полк, хотя и митингуя, хотя и в одной четверти нормального состава, а все-таки дольше других держался на позициях, но тут решил одним эшелоном пробиваться домой.

И вспомнили солдатики поручика — выбрали его председателем полкового комитета, а вернее сказать — начальником эшелона.

Смирновский дал свое согласие, но объявил так: «Решаемся! Эвакуация в Сибирь! Но не будем же и нынче восставшими рабами! Великие армии тоже отступали, отступим и мы, но сделаем это по самой жесткой дисциплине военного времени. Кто на это согласен — ночью грузимся в вагоны, двигаемся на восток, кто не согласен — того не неволю!»

В прифронтовой полосе останавливали эшелон разные начальники, иные норовили подтолкнуть его на юг, к Ростову, объясняли, что сибирякам нет другого пути, как в доблестную Добровольческую белую армию,— Смирновский козырял по форме, говорил многозначительно, что сибиряков ждут свои дела не на Дону и Кубани, а на Иртыше и Оби, быстренько разбирался в железнодорожных маршрутах, требовал паровоз и, чеканя шаг, шел к своему вагону. Когда поезд трогался — красиво так козырял еще раз и делал ручкой прощальный знак.

Останавливали эшелон красные, он выходил к ним, объяснял, что за полк, куда следует, и видно было — свой человек, не какая-нибудь контра.

На Урале останавливали эшелон чехи — они уже были там вроде хозяев.

И опять выходил щеголеватый офицер, хотя и без погон, зато глянешь и подполковника ему дашь, и опять объяснял, что сибиряки отлично знают, куда и зачем следуют, и приказывал распахнуть двери теплушек, а оттуда на станционные постройки, на ранневесеннее небо и на чехов пасмурно поглядывали сибирячки при полной боевой выкладке, с пулеметами. Эшелон следовал дальше.

Прибыли на Озерки — крохотную станцию, но для лебяжинцев неизменно самый главный пункт железных

дорог всего мира — здесь им было сходить и следовать далее лошадьми.

Эшелон вышел прощаться со Смирновским, качали его солдатики, говорили речи, клялись в вечной любви, и даже на всех лебяжинских пала тогда часть этой славы.

А приехали в Лебяжку восемь фронтовиков — разошлись по избам и забыли о Смирновском думать. Что он есть, что нету его, у каждого на ограде и на пашне свои дела-заботы, и не все ли равно для этих дел, кто и как тобою командовал на войне?

Тем более что и сам-то Смирновский на людях показывался мало, что хоть и негромко, пошли о нем прежние слова: «Офицер!», «Благородие!»

И вот, уже войдя во двор Смирновского, ступив на желтый, прихваченный морозцем, а кое-где и припорошенный снегом песочек, Устинов застеснялся вдруг идти дальше.

Он Смирновского «благородием» не обзывал, не припоминалось такого, а все равно неловко стало, да и только! Забыл ведь он командира своего, забыл начисто! Как бы вот идти Устинову в атаку, только без приказа: идти-то нужно, а приказа-то нет! Вот если бы вышел на крылечко сам Смирновский и скомандовал: «Ко мне — шагом арш!» Но тихо было в ограде, и в этой тишине совсем неясно стало — о чем предстоит переговорить со Смирновским? Сразу спросить о Севке Куприянове, о его мерине — неловко, спросить, но не сразу, неловко будет менять разговор. «Лесная Комиссия виновата!— подумал Устинов.— Разговор поручила, а об чем — не сказала!» И тихонько-тихонько он отступил до калитки, бесшумно открыл ее, закрыл за собою снова, а потом, будто и не имея намерения к кому-то заходить, пошел по улице.

И составил себе другой план: тут же направиться в Комиссию, тем более ему было известно, что вся она в сборе.

Он пришел в избу Панкратовых, в горницу, и резко, даже сердито сказал:

— Вот какое дело, товарищи Комиссия! Надо позвать Смирновского и предложить ему начальствовать над лесной охраной!

Дерябин удивился, вздрогнул, осмотрел Устинова.

— То есть? Вчерась решали насчет этого вот так, а сегодня? Уже совсем по-другому? Почему?— Помол-

чал и еще сказал: — Он и не согласится никогда, Смирновский! Он с нами и со всем лебяжинским обществом делов иметь не желает: офицер!

— Не согласится! — подтвердил Устинов. — Однако нам-то надобно не только его согласие, но и отказ. Иначе каждый лебяжинский житель нас упрекнет — почему такому человеку вы, Комиссия, не предложили руководствовать вооруженной охраной?

— А ежели он согласится? — спросил Дерябин.

— Ну а тогда будет полный порядок. И ни наши собственные, ни степные порубщики в лесную дачу носа не сунут! И это нам в заслугу будет поставлено, какой получится у Комиссии всенародный авторитет!

— Слова ты какие, Устинов, к этому случаю вспомнил! — удивился Дерябин. — Только он, я уверен, не согласится!

— А еще, когда будет с его стороны отказ — то и я смогу исполнить поручение, то есть поговорить, чтобы он никак и нисколь не мешал бы нашей Комиссии. Раньше — и говорить-то так предмета нету!

От этих соображений Дерябину уйти было нельзя, и Устинов об этом знал, и Комиссия знала, а тут Устинов еще сказал:

— А что Смирновский в случае согласия начнет вмешиваться во все другие дела Комиссии, так и думать нечего! Не начнет! Он будет исполнять свою службу, а больше ничего!

Дерябин постучал пальцем по столу и, глядя в какую-то бумагу, проговорил:

— Игнатий! Сбегай-ка за Смирновским!

— Да не пойдет ведь он, товарищ Дерябин! Сроду нет! — отозвался Игнашка.

— Игнатий! Сбегай-ка за Смирновским! — повторил Дерябин.

Игнашка схватил шапку и выскочил в дверь, Дерябин углубился в бумаги, все еще постукивая пальцем по столу, а Калашников, помолчав и пошевелив рукой косматый волос на голове, начал объяснять устав какого-то кооперативного товарищества. Он объяснял долго и подробно, однако же он первый и кивнул в окно:

— Идут!

Действительно, по улице четко шагал Смирновский, а вприбежку, то впереди, то позади него, — Игнашка. Еще минута, распахнулась дверь в горницу:

— Вот! А вы ишшо говорили! Вот!.. Да я...— сообщил Игнашка.

— Чем могу служить?— козырнул Смирновский.

Он был невысок, но строен, в сером, не то военного, не то городского покроя, пальтеце, в зеленой фуражке без кокарды. Голос чуть глухой, суженные, калмыковатые глаза строги.

Дерябин поглядел на Калашникова, Калашников сказал:

— Садись, Смирновский! Поговорить позвали тебя!

Смирновский снял фуражку, расстегнул две верхние пуговицы своего пальтеца и сел. Все ждали его вопроса, чтобы он спросил, о чем с ним хотят говорить, а он молчал и только переводил взгляд с одного на другого — с Калашникова на Половинкина, с Половинкина на Устинова и так по кругу.

— Вот что, Родион Гаврилович,— сказал наконец Калашников,— просьба есть к тебе. От Лесной Комиссии, а разобраться — от всего лебяжинского общества...— Смирновский молчал, только кивнул один раз, и Калашников, передохнув, продолжал:— Просьба такая: взять на себя начальство над лесной вооруженной охраной. Мы стараемся, а лес все равно рубят и даже не для себя уже, а на продажу в степные деревни. Если ты постараешься — ничего этого не будет, мы уверены.

Смирновский подождал — не продолжит ли Калашников и еще, потом сказал:

— Принять просьбу не могу!— Коротко махнул рукой.— Нет!

— Почему? Почему же, товарищ Смирновский?— с интересом спросил Дерябин.

— Боюсь я нынче оружия!

— Боишься?!— удивился Дерябин.— Ты боишься?!

— Боюсь!— подтвердил Смирновский.

— Дак как же так, Родион Гаврилович?— раскинул руки Устинов.— Ты ли здесь нынче, перед нами? Не верится, будто ты.

— Боюсь я вот почему: кругом война — невероятная, гражданская, междоусобная. И каждый выстрел нынче — как в пороховую бочку огонь. Нынче даже и без выстрелов ссориться людям нельзя. Сегодня поссорились, поругались через прясло, а назавтра через то же прясло будем стрелять друг в друга! Сегодня ваша охрана задержала в лесу порубщика, а завтра — война, и он эту обиду припомнит.

— Я понял! — снова кивнул Дерябин. — Сегодня мы задержали Куприянова с сыном, а завтра они нам... Они ведь твои родственники, Куприяновы-то?

— Куприянов сдержится, не даст волю обиде, я вот его уговорю. Ну а всех-то не уговоришь? Вы сами-то, Комиссия, сдержитесь? Нынче вы спорите, разногласия у вас между собой словесные, а завтра? Может, они будут с оружием в руках? Эти разногласия?

— Ну, ты тоже скажешь, Родион! — покачал головой Калашников и сам качнулся на табуретке. — Ну, и скажешь!

— Напрасно ты, Родион Гаврилович! — поддержал Калашникова Устинов. — Такого и в голову не должно приходить!

— И действительно, не приходит! — подтвердил Смирновский. — В семнадцатом году начался переворот — тоже ведь в голову не приходило, что после Россия не год, может быть, и не два будет пылать в братоубийственной войне!

— Ага, я тебя снова понял, Смирновский: ты всегда стоял за войну до победного конца! — проговорил Дерябин. — А спросить, ну, зачем народу был тот победный конец?

— Затем, чтобы мы, русские, не воевали бы между собой, не уходили бы с фронта полками в тыл для междоусобий на собственных нивах. Чтобы и немцы потеряли меньше людей, чем они потеряли, когда на целый год отодвинулось их поражение. Затем, чтобы союзники наши тоже понесли меньше потерь. Мы от них отступились, но в расчете, что они за нас все равно победят! Потому что, если бы победила Германия — уж она-то от нас и от нашей справедливости не оставила бы ничего! Ни белых, ни тем более красных! Затем, чтобы не распадалась Россия, чтобы кубанское и донское казачество не отделялось от нее, не дарило кайзеру Вильгельму, своему вчерашнему врагу, белого коня и не заключало с ним сделку для войны со своим же русским народом! Затем, чтобы ни чехи, ни японцы, — никто не оккупировал Россию и с оружием в руках не решал бы наши внутренние дела. Ну, так я могу идти? — Смирновский встал, надел фуражку.

— Как хочешь! — ответил Дерябин. — Когда тебе невозможно провести здесь еще минуту — как хочешь!

— Минуту — можно.

— Ну вот и ладно!— обрадовался Устинов.— А ты что, забыл, Родион Гаврилович: у человека есть предел. И когда он к нему подошел, он уже не может делать, как еще вчерась делал. Так же было и с войной — когда солдату совсем непонятно сделалось, зачем она,— ему не стало возможности и дальше воевать. Солдат лучше примет другую, хотя бы и более тяжелую, но понятную для него войну!

— Нету предела, Устинов,— не согласился Смирновский.— Нету его, Коля! Предел понимания и мысли — да, тут человек в стенку упирается. А делать, хотя бы и доброе дело, хотя бы и пагубное, он может без конца. До последнего дыхания!

Дерябин откинулся на спинку стула, осмотрел Смирновского внимательно. Сказал:

— Спасибо за продолжение беседы, поручик! Это бывает: мужицкий сан в буржуазности своей переплевывает самого буржуя! А я хочу спросить: значит, мы, трудящиеся, не так сделали, не спросив у буржуа-империалиста, когда нам лучше выступить против него? Надо было спросить, он бы объяснил: победи сперва немца! А он-то, империалист, спрашивал у нас о чем-то, когда бросал нас в нынешнюю бойню всех времен и народов? Так кто же первый виноват? Кто ответчик? И ведь кто-то должен с ответчиками кончать? И сделать это никогда не рано, а всегда поздно!

— А зачем капиталиста спрашивать? Не надо! Не у него, а у себя надо спросить: как поступать? И скажи, Дерябин, ты на войне, в окопе или в атаке, видел когда-нибудь империалиста?

— Такого — никто никогда не видывал! Разве для показа чей-нибудь сынок затешется в окоп, чтобы об нем в газетках сообщалось. Империалист — всегда дома либо в банке в денежном за железными дверями!

— Вот именно, Дерябин! Правильно, Дерябин! И когда трудящиеся поднимутся против капиталистов, он все там же будет сидеть, а пошлет в свою защиту опять же трудящихся. Значит, война против империалиста всегда будет войной трудящихся между собой. И когда ты к ней, к такой войне, призываешь, то нельзя этого забывать! И не бояться этого нельзя. Я боюсь! Я, может, ничего больше не боюсь, но здесь я последний трус. Я боюсь даже не столько этой войны, сколько жизни после нее! Ведь мы и после нее будем видеть друг в друге врагов, будем не доверять друг другу,

а только подозревать! И так может быть до самого конца нашей жизни?! Устинов!— позвал Смирновский, строго так позвал, словно командир на занятиях по военным уставам.— Устинов! Ты можешь против меня воевать? Еще хуже — сначала воевать, а потом — жить со мной соседом? Сначала воевать, после детей в одной школе учить, чтобы они за одной партой сидели и молча, а то и вслух о войне думали, вспоминали бы, как один отец другого убивал? Ну! Устинов?

Устинов вздохнул глубоко, но не ответил. Одуматься надо было, но тут вступился Дерябин:

— А вот я не только с тобой, гражданин Смирновский, я с любым готовый в любой момент воевать! Хотя бы опять же с трудящимся, ежели он встал на чужую и неправую сторону. В войне сам знаешь как: стороны есть, а людей нету, одна только живая сила! А кто и как на какую сторону угодил — разговора нет. Ты слова произнес, что значит Брестский мир, что значит междоусобная война. Но жизнь, она не из слов складывается, из действия. А действия — оне опять же от сторон происходят, то есть от классов. И я вопрос повторяю: почему меня буржуй довел до того, что мне хотя бы и самые красивые слова уже нипочем, а только один выход — воевать с ним? Я, что ли, ему войну объявил? Нет, он мне ее объявил! Это он крестьянину в России земельную петлю на шею накинул, он ему «Караул, погибаю!» и то не давал крикнуть, кто крикнет — того к нам сюда в ссылку, в Сибирь! А не справедливее ли было одного помещика в Сибирь сослать, здесь наделить его землей, а сто либо тысячу крестьянских семей на помещичьей земле в России оставить? И ты не благородничай, поручик, и не делай вида, будто я и есть первый затейник кровопролития! Когда в девятьсот пятом году народ пошел с молитвой к батюшке-царю, батюшке стоило в окошко ручкой махнуть, и такие же вот благородные поручики, как ты, скомандовали: «Пли!» Так ежели бы это — один раз, а то ведь армия только и делала, что подавляла! Что же мне-то, подавляемому, оставалось? Или я не прав?

— Если бы армия несла честь, славу и силу своей нации в другие нации — я бы и сейчас был с ней. Ну, а нынче меня там нет. И не может быть! Потому что нынче ты прав!

— Ну так вот! Завоевать победу для своего буржуя в другой стране — это честь. А быть при этом его ра-

бом — тоже честь? А чтобы такого не было, русский мужик с немецким мужиком нынче братается, и каждый своего генерала бьет либо собирается бить!

— Побратались: немцы в Ростове-на-Дону! И Украина от России отторгнута, и Финляндия, Эстляндия, Лифляндия. И — Польша. И — Карская область. И — Батум! И еще будем платить шесть миллиардов марок контрибуции. Побратались! Только и надежды, что союзники, которых мы предали, без нас победят! Разгромят немцев, а тогда и мы вздохнем свободнее!

— Ну, тут дело в чем? Немецкие солдаты не смогли вовремя со своими генералами и помещиками управиться — вот в чем! А мы вот у себя до конца с капиталом покончим, а тогда им поможем! Ну, и вот что, поручик Смирновский,— спасибо за разговор! Ты правильно делаешь, когда отказываешься с нами сотрудничать! Очень правильно!

— Верно што!— протянул Половинкин, который за всю беседу не вымолвил ни слова.— Начали об лесной охране, а кончили неизвестно чем — хотя бы и миром в Бресте, и тысяча девятьсот пятым годом! Ежели мы свои дела начнем вот так же обговаривать по самым разным временам — толку не будет! И далее Левонтия Евсеева мы не уйдем никуды. Не призвать ли нам Левонтия обратно на должность начальника охраны?

Игнашка тоже сказал:

— Верно, что заблудился ты, Родион Гаврилович. Заблудился, и жаль мне тебя! Оч-чень жаль!

Смирновский встал, простоял секунду-две, потом козырнул кому-то, неизвестно кому, а попрощался с одним Устиновым:

— До свидания, Коля! Службу-то нашу помнишь?

— Помню, Родион Гаврилович!

— Будь здоров, заходи, будет случай!— И Смирновский вышел — быстро и все тем же четким шагом.

Помолчав, Дерябин тоже обратился к Устинову:

— Молодец, товарищ Устинов: правильно предложил вызвать поручика! Вызвали, все выяснили, теперь тебе и ходить к нему нету необходимости!

— У меня дело к нему все одно есть.

— Есть?!— удивился Дерябин. И тут же спросил у Калашникова:— А скажи, Петро, председатель, кто нынче был прав — я либо Смирновский?

— Ты, Дерябин...— кивнул Калашников.— Вот ежели бы ты еще затронул о пути трудящихся к справедливости, то есть кооперативный путь...

— Ладно! — перебил Дерябин.— Ну а для тебя, Устинов,— кто был правый в нашем разговоре? Скажи?

— Сказать-то трудно. Сказать, так мне твое утверждение все ж таки ближе. Однако...

— Ближе! А тогда о чем же тебе и еще вести со Смирновским разговор? Какое может быть у тебя с ним дело?

— У меня к нему собственное дело...

— Собственное! Ну, ну!

Вот он какой был, товарищ Дерябин — быстрый, смышленый. Давно вернулся с фронта, окопных митингов семнадцатого года не слышал, погоны с офицеров не срывал, ни эсеров, ни большевиков в полковые и другие комитеты не выбирал, а начни ему обо всем этом рассказывать, он тебя же еще и поправит: «Нет, не так было, а вот как!» И с толком поправит!.. Или начнет говорить, как страдает от безземелья мужик в России,— и опять в подробностях. Лебяжинские удивлялись: откуда что у человека? Конечно, большое просвещение получил он от Андрея Михайловича Кузьменкова.

С Кузьменковым, рабочим из Твери, Дерябин служил вместе при полевом телефоне с начала войны, в одно время они были и демобилизованы — Дерябин по контузии, Кузьменков по болезни.

В прошлом году, весной, Кузьменков приехал к своему дружку — попить молока, поесть досыта, поправить здоровье, но поправляться ему было поздно, он помастерил по швейным машинам и по сепараторам для баб, по косилкам и сноповязалкам для мужиков и вскоре помер. Сам помер, а мысли свои и множество разных книжечек оставил Дерябину.

Но в то время как, то ли от болезни, то ли от природы, Кузьменков был тихим, не очень-то разговорчивым и каждому встречному-поперечному, будто чего-то стесняясь, улыбался; Дерябин, надо и даже когда не надо, говорил быстро, громко, всегда был серьезным и мог проводить за книжками, а нынче вот за бумагами Комиссии двое суток подряд. Такой был человек — не от одного только Кузьменкова умел взять, а от кого-то еще и еще. У него был талант: на лету хватать мысли и вести и вести их дальше, к какому-то пределу. И теперь, откинувшись на спинку стула, и движениями, по-

хожими на те артикулы, которыми унтера мучают солдат на учебных плацах, поразмяв руки, он тоже строго спросил:

— Ну а ты, Половинкин? И ты, Игнатий? Вы-то — как?

— Чо тако?— отозвался Половинкин.

Игнашка же подскочил на стуле:

— Я? А я ничаво себе! Я просто так!

— Чего — ничего? Я спрашиваю: вы-то что и как думаете об моем разговоре со Смирновским?

Игнашка снова подскочил:

— А кого тут думать-то? Он, Смирновский-то,— как? Он из грязи в князи, и даже — не в сильные князи-то, а ужо гордости в ём, гордости — он и сам не знает, сколь ее и для чево!

— А из какой же это он грязи выскочил? Объясни, Игнатий?!

— Да из обыкновенной — из мужиков, толстопятых чалдонов!

— По-твоему, значит, трудящийся мужик — это грязь? Так?

— Я энтово вовсе не высказывал, товарищ Дерябин!

— Ты запомни, Игнатий, грязь — это вовсе не трудящийся мужик или рабочий, а те самые князья, в которые по глупости человеческой многие желают выскочить! Запомнил?

— Ну все ж таки... В князьях-то бы походить тоже... Недели бы с две. А то и с три... А в опчем-то я запомнил, товарищ Дерябин!

Половинкин же еще подумал, послушал и сказал:

— Он-то, Смирновский-то, никак не желает быть как все! Ему энто — нож вострый. И даже — смерть!

— А вот это так! Вот это правильно! Когда человек откалывается от массы, от большинства — в нем уже правды нет и не может быть! Одна только спесь и разная хитроумная ложь. Настолько хитроумная, что ее не так-то просто разоблачить!

— Ну а ежели взять святых?— спросил Устинов.— Оне и всегда-то были одиночно и только сами по себе, но призывали к своему разумению большинство народа. В них тоже нету правды?

— Одно вранье!— подтвердил Дерябин.— Что такое правда, товарищ Устинов? Один ее понимает так, другой — вовсе по-своему, а где и в чем она в действительности? Она есть лишь в том, что хорошо и справедливо

для народа, то есть для большинства человеческого. Нонче народ требует взять в свои руки землю, фабрики и власть — это и есть святая и высшая правда, другой нету! Пройдет время — у массы будет другое наставление к жизни, и обратно это будет правдой. И так всегда. Запомнил, Устинов?

— Ну, а вот было — народ сжигал отдельных людей на кострах, когда те не верили в ихнего бога. За кем была правда — за большинством или за теми отдельными и сожженными людьми?

— А тут надо различать — где народ сам делает, а где его толкает на преступление черная сила!

— Какая — черная?

— Разная: монахи, колдуны, капиталисты.

— А кто различит? Вот ты, Дерябин, различишь, где народ делает по-своему, а где — по наущению?

— Почему бы и нет?

— А когда ты можешь это, а все другие — нет, тогда ты ведь уже отдельно ото всех? Как тот святой?

— Никогда! Никогда не стою я в отдельности от народа, а нахожусь в самой его душе и в глубине, потому я и чувствую и чую, что исходит от него самого, а что ему навязывают другие из черных замыслов! Сам же я при этом со своей личностью — ноль!

— Даже странно! Вот в Лесной нашей Комиссии ты нонче кем работаешь? Нолем работаешь? Либо главным рабочим членом, начальником охраны и даже — нашим как бы руководителем? И ежели ты, наш руководитель,— ноль, тогда кто же мы?

— Ты меня не вовсе понял, Устинов,— побарабанив пальцем по столу, сказал Дерябин.— Я, если и руководствую, не отказываюсь от этого, так потому только, что понимаю себя перед народом как ноля! То есть более, чем всякий другой, я должен быть слуга ему, и только слуга! Во мне это рядом и вместе слившись должно находиться — слуга и руководственность. Может, тебе и это не очень понятно, Устинов?

— Конешно, не очень! Вот в ту ночь, как нагрянули степные порубщики и ты почти уже и отдал приказ стрелять в их, ты кто был тогда — слуга и ноль? Или ты в тот миг руководствовал? Оне ведь, степняки, тоже народ и заметно победнее нас, лебяжинцев! И лес им, несомненно, больше, чем нам, нужон. Наши собственные лебяжинские порубщики уже до чего дошли: рубят на продажу. «Скоро,— говорят,— случится война, степня-

ки так и так будут рубить наш лес! Так и так интереснее нынче лесину человеку продать, чем ему же завтра отдать десять лесин даром!» А тому человеку уже седни, не дожидаясь войны, надо потолок в хате лесиной подпереть, и он едет в Лебяжинскую дачу, а там его ждет простой лебяжинский мужик, встречает его огнем. Так же машет ручкой, подает сигнал палить, как царь Николай из дворцового окошка махал при расстреле девятьсот пятого года?!

Дерябин задумался, в задумчивости сказал:

— Не прошла для тебя даром, Устинов, только что закончившаяся наша встреча с поручиком. Не прошла!— Потом он оживился, встал из-за стола, отошел три шага в сторону, повернулся и показал на пустой стул:— А ты, Устинов, садись на мое место! Вот оно. Вот оне — бумаги. Вот — список охраны на краешке стола лежит, свесился. Принимай дела, я тотчас введу тебя в курс, а ты принимай и делай по-своему: умно со всеми, благородно, и со своими лебяжинскими, и со степняками, и с самогонщиками, и с Гришкой Сухих! Со всеми, как есть!

Среди всех членов Комиссии произошло замешательство, Калашников остановил Дерябина: «Погодь, погодь, Василий, не торопись!», а Устинов совсем смешался и сказал:

— Да я разве о том? Я же вовсе не о том!

Это припомнить, в пятнадцатом году полк, в котором служил Устинов, стоял на переформировании в Гродненской губернии, в небольшом городке, а там, в тенистом садочке, поставлена была русалка.

Будто бы и небольшая девка стояла и глядела в воду, но чугунная и, прикинуть, пудов на семьдесят весом.

Чтобы она опрокинулась головой вниз, в круглый бассейн, из-под нее надо было вышибить кирпичей десятка два — голыми руками не сделаешь.

И солдатики тайком выносили из казармы ломик железный, ухитрялись и сбрасывали русалку в воду: куда она глядит, туда ей и дорога!

Городские власти стали свою русалку закреплять на фундаменте длинными железными штырями, не помогло — солдатики те штыри вырывали артелью и все равно сбрасывали русалочку, поковыряв ей ломиком глазки, ушки, носик и другие места.

Сколько получено было из-за нее, зловредной, нарядов и арестов, сколько городской голова ссорился с командиром полка — не перечесть!

Городового поставили на пост рядом с русалкой — солдатики жадничать не стали, сбрасывали в шапку по пятачку городовому на полбутылки, он отлучится на четверть часа, а больше и не надо, они успеют, навык был, весь полк приноровился к делу.

Кончилось — командир полка поставил перед русалкой часового. Свои стали охранять ее покой от своих же, а за нарушение караульной службы несли наказание по уставу военного времени.

Отступились от русалки солдатики.

Но и смеялись же они над полковым командиром: это надо додуматься — около чугунной и голой бабы поставить часового с примкнутым штыком, а карначу днем, в полночь и на рассвете сменять по всей форме часовых, объявлять пароль и проверять оружие! Не смешно ли?

Ну, тогда Устинов поглядывал на русалку со стороны, участия в ее судьбе не принимал. И только раз или два бросал в шапку пятачки для городового. Чтобы товарищи не сказали, будто он жадный и некомпанейский. Чтобы таким же быть, как все были.

А вот в семнадцатом году, снова на отдыхе, снова в прифронтовом городе, пятачками отделаться было уже нельзя.

По причине никуда не годного котлового довольствия солдаты разбили магазины — сначала бакалейные, потом все прочие. Продовольствия оказалось — кот наплакал, зато осколков солдатики набили множество: и стеклянных, и деревянных, и кирпичных — все было усеяно ими. Молча и тихо взять что надо и унести — воровство получается, это вор тихо делает, а вот громко, со стеклянным и разным другим боем — тут для солдата как бы и на геройство выходит, на это он чем-то нутряным отзывается, какой-то своей кишкой или печенкой.

В России, дома, солдатик всегда любил разные осколки, а за границей, в Австрии, там почему-то он любил пух гусиный: как явится, так и потрошит по городам и селениям перины.

Может, потому, что они очень для него чужеземные, своих перин он ведь никогда не видывал?

И за это варваром называли его австрияки и немцы, но вот прошли годы, и выяснилось, что зря.

Когда немцы явились в Россию, они уже не перинами занялись, они погнали к себе эшелоны с хлебом, со скотиной, людей угоняли к себе на работы. Так в чем же больше варварства — в том, чтобы пух по ветру пустить, а заодно — и собственный свой злой дух, или в том, чтобы обречь побежденного на голод и рабство?

Ну, в тот раз, при том разгроме бакалейных магазинов и булочных, Устинов сначала тоже был в стороне — ходил по городу, глядел, что и как происходит, не более того.

И стали на него товарищи косо посматривать, а один раз, за перекуром, он услышал: Устинов этот чей-нибудь шпион, а ежели и не шпион, тогда все равно контра!

Как раз отчаянный был день: митинг был, голосовали «Войну до победного конца!» и «Долой войну!», а юнкера затеяли перестрелку, хотели взорвать железнодорожный мост, и вся городская буржуазия бросилась в эвакуацию, захватывая теплушки.

Солдаты грозили им кулаками, кому — так и оружием, вспоминали буржуям какие-то их речи, какие-то деньги, какие-то пожары, а Устинов смотрел-смотрел, после вынул револьвер, он тогда при револьвере ходил, и — бац!— выпалил в серую пристяжную, которая неловко тащила пролетку.

В пролетке же ехали очень толстый господин в котелке, тонюсенькая, перехваченная почти на нет в поясе госпожа, двое или трое детишек и множество узелков самых разных, саквояжей и баульчиков.

Кучер бросил вожжи и бежать, госпожа закричала, господин закрыл котелком лицо, а что было с пристяжной, Устинов даже и не видел — повернулся и пошел в казарму.

И кончились разговоры среди солдат, будто Устинов — не свой, а чужой, и даже — контра какая-то. Он стал таким же, какими были все вокруг него, товарищи стали его любить так же, как раньше любили. Разве только во взгляде поручика Смирновского, встречаясь с ним, замечал Устинов какую-то холодность, какую-то дальность.

Но все равно жизнь после того пошла для него своим чередом, хотя и солдатская, неугомонная, митинговая, но пошла.

Теперь Устинову тоже нужен был жизненный черед, не тот, которого он желал и достиг тогда, выстрелив

в пристяжную, но какой-нибудь да нужен был, и он понимал, что смирновскую избу вторично обойти ему не удастся. Тянуло его туда, и он беспокоился только об одном — чтобы при встрече с Родионом Гавриловичем все-таки выпал удобный случай переговорить насчет Севки Куприянова гнедого мерина.

Двор, присыпанный песочком, и гимнастические снаряды его уже не остановили, он прошел в сенцы, а там покашлял и пошарил рукой по двери.

— Это кто же?— послышался голос, дверь раскрылась, и на пороге появился Родион Гаврилович — через белую рубаху протянуты фабричные подтяжки, армейские брюки-полугалифе, сам босой.— А-а, это ты, Коля!

В избе было тихо и чисто, в окне — клетка, из клетки, с жердочек тотчас присмотрелись к Устинову два щегла: кто такой?

Устинов поздоровался, спросил:

— Тихо-то как? А сыны где же? А жена?

— Сыны рыбалят на озере. Со льда хотят поглушить, пока лед еще тонкий. Ну и поехали, и мать с собою захватили, в гости по пути завезти.

Об этом Устинов знал, видел, как трое Смирновских проехали улицей, и тогда же подумал: «Самое время навестить Родиона Гавриловича!», а теперь он только хотел убедиться в том, что сообразил правильно.

— Проходи, Коля, в горницу! Проходи!

Устинов повесил шапку и полушубок на гвоздь, прошел. Смирновский же остался в кухне, быстро натянул на себя черные пимы-барнаулки, а из-под шестка достал старый сапог и стал как мехом раздувать им самовар.

— Да я не хочу чаю-то!— подал голос Устинов.

— Захочешь! Чаем угощу правдишным!

— Разжился?

— Домой-то мы приехали с эшелоном, я открыл сундучок — что такое?— и чай в печатках, и сигаретки, и даже брошка женская! Вот и разжился!

«Ребяты подложили!— догадался Устинов.— Подложили с уважением к начальнику эшелона. Любили его солдатики!»

— Всякое было. Сам припомни, Коля, разве не всякое?

— С подарками-то оне все ж таки справедливо сделали. Я знаю — справедливо!

— А я не знаю, нет! Неизвестно, кто тебе делает подарок: друг или враг? — Смирновский подбросил в самовар угольков, снова стал раздувать его сапогом, а Устинов присмотрелся к типографской картине в простенке между окнами горницы: большая баталия, пушки в облаках дыма, в одном облаке, с поднятой саблей — Петр Великий, внизу крупно, славянской вязью напечатано:

«ВЕДАЛО БО РОССИЙСКОЕ ВОИНСТВО, ЧТО ОНОЙ ЧАС ПРИШЕЛ, КОТОРЫЙ ВСЕГО ОТЕЧЕСТВА СОСТОЯНИЕ ПОЛОЖИЛ НА РУКАХ ИХ: ИЛИ ПРОПАСТЬ ВЕСМА, ИЛИ В ЛУЧШИЙ ВИД ОТРОДИТЬСЯ РОССИИ. И НЕ ПОМЫШЛЯЛИ БЫ ВООРУЖЕННЫХ И ПОСТАВЛЕННЫХ СЕБЯ БЫТИ ЗА ПЕТРА, НО ЗА ГОСУДАРСТВО, ПЕТРУ ВРУЧЕННОЕ, ЗА РОД СВОЙ, ЗА НАРОД ВСЕРОССИЙСКИЙ, КОТОРЫЙ ДОСЕЛЕ ИХ ЖЕ ОРУЖИЕМ СТОЯЛ, А НЫНЕ КРАЙНЕГО ОТ НИХ ФОРТУНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЖИДАЕТ.

Приказ Петра Великого по войскам в ночь перед Полтавской битвою с 26 на 27 августа 1709 году».

Устинов прочитал все это, не торопясь, обдумывая те слова, которые не сразу были ему понятны, а когда кончил читать, Смирновский внес самовар, поставил его на стол и сказал:

— А я, Коля, знаешь ли, что́ про Великого Петра больше всего люблю читать? Я люблю не то, как о нем написано, а как сам он писал и говорил! Слова у него удивительные: «сыскать викторию!», «спастись трудились», «побежали великим скоком» или вот «оголоженная дорога» — это значит дорога голодная, без продовольствия и фуража. Жалею — не удержались они в нашей памяти на повседневное пользование! Особенно в армии были бы слова эти полезны и необходимы. Ну да ведь мы как? Мы, русские, что имеем — не храним, чего не имеем — тем хвастаемся! И когда переделаемся — неизвестно, может, и никогда! Нет, ты прочитай-ка, Коля, еще раз: «в лучший вид отродиться России»! Как пушки и корабли, так же и слова свои ладил тот царь! Видно человека через слово его, видно же! А водочки, Коля, не хочешь?

— Не поманиват, Родион Гаврилович.

— Рюмочку? Одну?

— Нет, не поманиват...

Поговорили о погоде, об урожае, о великом беспорядке везде и всюду вокруг. Смирновский очень сердито говорил о чехах. На войне их что-то не слышно было, они сдавались к нам в плен и формировались в тылу для военных действий против немцев, но немцев так и не тронули, зато нынче ввязались в гражданскую войну. И жестоки — хуже немцев! Грабят, порют, вешают, расстреливают! Это уже не помощники белым, а сами белые из белых! Стараются для тех, кто им побольше даст или хотя бы побольше пообещает. И решающая это может быть сила в гражданской войне, за нею полезут еще и еще интервенты, множество языков. Без них — уже кончилась бы гражданская война.

Устинов стоял на том, что как только чехи и собственные белые дойдут до центральных русских губерний, так и остановятся: мужики поделили там землю и будут стоять насмерть, назад помещиков ни за что не пустят.

— Ну а Сибирь?— спрашивал Родион Гаврилович.— Что будет с Сибирью, Устинов? На Дальнем Востоке и в Забайкалье, едва ли не до самой Читы — японцы, в Омске — английский батальон, да и не знаем мы с тобой, где, кто и что, нету газет. Как же будет Сибирь? Может, ее отделят от России?

— Не может такого быть, Родион Гаврилович!— отвечал Устинов.— Это невозможно!— отвечал он.

Помолчали. Устинов подумал — сейчас уже время выяснить кое-что насчет Севки Куприянова мерина? Опоздаешь — поздно будет! Но момент был все неподходящий.

Смирнов налил себе и гостю чай, спросил:

— Ну а ты что нынче ищешь, Коля?

Устинов вздохнул:

— В чем?

— В жизни.

— В ей-то? Не очень-то я и знаю, Родион Гаврилович. Ищу, ищу, а что — не очень складывается у меня в голове. Между прочим, и к тебе-то пришел узнать — как ты? Нашел чего или нет, не повезло?

— Я? У меня до недавнего времени хорошо было, Коля. Хорошо так, складно: я чести искал. Неизменно.

— Какой?

— Своей. Какой же еще?

— Да много ее нынче разной: честь армии, честь отечества, честь революции — всей-то и не упомнишь!

— Ничего этого нет без своей собственной чести. Только она все остальное на свои места расставляет: вот это — на хорошее место, это — на плохое, а третье — на самое высшее. И жизнь становится отчетливой.

— Ну, а вот вы, Смирновские, хотя и не казаки, а чистокровные крестьяне, всегда шли в военную службу — зачем? За своею честью?

— Я, Коля, на войне тебя видел — ты храбрый, а все равно тебе объяснять приходится. А вот нам, Смирновским, объяснений не надо. У нас это в роду: природная храбрость. Значит, Коля, мы смерти не боимся. Не боимся, и все тут! Ведь как с людьми происходит: с детства человек носится со своей смертью, словно с писаной торбой! Всем о ней рассказывает, нянчится с нею, без конца предвидит ее, на коленях перед нею ползает, предает из-за нее и, смотришь, уже и живет-то ее рабом. И зря! Сознание смерти дано только человеку, и пользоваться им нужно по-человечески, не унижаясь перед животными, которые о ней ничего не знают! Человека, Коля, над всей другой жизнью поднимает сознание его смертности: что не вечен он, пока жив — должен быть человеком, делать человеческое дело. У животного этого сознания нету, потому его жизнь и есть скотство, или свинство, или птичья беззаботность, а дела нет. Ты представь, Коля, будто твоя лошадь или корова знает, что лет через десять она умрет,— разве они работали бы на тебя, как теперь работают? Нет, они бы захотели прожить свою жизнь не так! Вот как устроено с этим делом в природе, Коля. И великие люди это устройство понимали, хотя бы и тот же Великий Петр Алексеевич, а невеликие и темные не понимали никогда и даже никогда не поймут. А вот ежели я, солдат и мужик, вровень с самыми большими людьми это понял и узнал — это моя заслуга и честь, я ею дорожу, меня уже нельзя сделать рабом, и господ надо мною нет — один только Господь бог! И еще мне представляется: ежели нету храбрых людей в крестьянском, рабочем, в купеческом, ученом, дворянском и в любом сословии — тогда уже и нации тоже нету, и народа, и государства истинного не может быть! Ведь каждое сословие несет свое испытание, а где испытание — там нельзя без смелости и храбрости!

Они и еще попили чайку, молча, каждый сам по себе, потом Устинов спросил:

— Ты, Родион Гаврилович, это как: обращаешь меня в свою веру?

— Не очень ты меня понял, Коля: храбрость — такая вера, в которую обращать никого нельзя — бесполезно! Она приходит сама и к тому, кто ей подвержен. А ты, Коля, испугался, что это обращение?

— Не испугался. У каждого ведь человека своя собственная и неизменная есть молитва! Тут является ко мне на пашню Гришка Сухих со своей молитвой и проповедует, даже грозится: не примешь ее — убью! Я не поверил, будто убьет. Но почему так, Родион Гаврилович, почему человек со своей собственной молитвой сам обходиться не может, обязательно другим ее навязывает? И не отцу своему ее навязывает, и не сыну, а чужим людям?

— Ну почему же? Многие слова и мысли от наших отцов идут! Очень многие!

— Нынче ты мне слова говорил — это отцовские?

— Нет, отец меня этим словам не учил. Но как жил он сам и как учил жить меня — из этого они проистекают.— И только Устинов хотел спросить, как же отец учил жить Родиона Гавриловича, из кухни раздался стариковский, уже по-ребячьи писклявый голос:

— Дак пошто ты поминал отца-то, Родька? Хорошо либо худо? По какому такому случáю поминал ты его?— И, шлепая босыми, костистыми ногами по желтым половицам, в горницу вошел Смирновский-старший, Гаврила Родионович.

— Ну, зачем же я буду поминать вас плохо, папаша?— даже смутился Родион Гаврилович.— Ну, зачем? Садитесь вот к чаю, папаша!

— Ну, а тогды — ладно. Чаю-то не хочу, пил ужо седни, и не раз, а вот явился узнать: енто не Колька ли Устинов у нас гостюет нынче? Не он ли?

— Я и есть!— кивнул Устинов.— Правильно вы меня узнали, Гаврила Родионович!

— Ну, дак как же. Признаю ишшо своих-то, лебяжинских-то! Который раз, дак и вовсе издаля признаю! Дак ты долго ли войну-то воевал нонче, Николка?

— Более трех лет, Гаврила Родионович!

— Енто, слышь, мно-о-ого! А пошто же без победы отвоевались? Царь, поди-то, виноватый? Нонче какой бы ни вышло неувязки — во всем царь виноватый! У Глазковых-соседей корова молока не дает, так Глазычиха — што? «Пропала бы,— говорит,— ты пропадом,

да и вместе бы с царем!» Енто она корове-то своей, слышу я, говорит и пустым подойником хлесь ей по морде!

— Ну, царь виноватый тоже, Гаврила Родионович. Как ему быть невиноватым, когда не сумел править государством?

— Царь — царем, а солдат — солдатом! Не-ет, мы дак так не делали, когда служили, не поступали! Мы и хвранцуза били под городом Севастополем, и англичанку, и другую нацию, не упомню ужо, кто там ишшо-то был с ими вместях.

— Ну, папаша, а город-то Севастополь вы же все ж таки отдали тем битым?— напомнил отцу Смирновский-младший.

— Родька! Брось свое рассуждение!— покраснел Гаврила Родионович и хлопнул сына по коленке.— Оне город Севастополь взяли, верно, да и поскорее его обратно нам же отдали, поспешили с его убраться! Енто же не столь нам, сколь им позор — взять, пролить своей крови, сложиться там полками не то в могилы, а прямиком в поленницы, а после отдать город назад? Енто как? Енто же как Бонапарт, язьвило бы его, поблудил по Москве, и вот без шапки за свою границу едва живой является — дак за кем же верх-то? Обратно, может, за им? А вас вот обоих спросить: вы-то сколь городов немцу нонче оставили, а назад не взяли?

— Много, папаша!— вздохнул Родион Гаврилович.— Мы — много.

— А енто — худы! Мы, говорю, так не делали, а глядели наоборот — как бы под себя чужедальные города побрать! В Балкании повстречались мы с турком, дак ить где только его не бивали? Взойдем в одну страну, и тот же день — р-р-раз ему по морде! Он уйдет оттудова в другую местность — страны-то и языки мелкие там, за неделю какую пешком наскрозь проходятся, а мы его догоним и обратно — р-р-раз по морде! Он — в третью страну упрячется, и мы в третью за им! Он к себе домой — мы к нему домой! Мы георгиевское полковое знамя взяли за ту кампанию тридцать девятым своим полком одна тысяча семьсот девяносто шестого года формирования, а у нас уже на ту пору и знаки на шапках были — опять же за турков, а после нас ребяты служили, дак те, сказывают, трубу серебряную для полка-то выслужили! Во как! А нонче? Родька-то медалев сколь с войны взял, и «георгиев», и охфицерских

тоже наград, ну и што? «Георгиев»-то взял, а города-то отдал! Вот те на! Страм, да и тольки!

Смирновский-сын глядел в окно, молчал. Устинов спросил:

— Сколько же вам годков-то нынче, Гаврила Родионович?

— Ой, много, Николка! До того, слышь, много, што и не знаю, куда с ими деваться! Не берет мои годы смерть, язьвило бы ее! И ведь, скажи, никогда и не было ее на меня — ни от турка, ни от хвранцуза, ни от кого на свете! И што я ей не поглянулся по сю пору — ума не приложу!

— Вот и хорошо,— улыбнулся Родион Гаврилович отцу.— И хорошо, что вы живы, папаша. Поживите еще!

— И пожил бы! И не постеснялся, когда бы сам на полати залазил! А то ить не залажу сам-то, своей-то силой — вот где беда! Вниз-то просто, а наверх — никак! Ну а когда сам-то залазил бы — то и пожил бы ишшо!

— А вы бы внизу, Гаврила Родионович, приладились!— посоветовал Устинов.— На лавке, на кровати, а то на полу бы постелились. Пол-от чистый у вас какой!

— На по-о-лу? На лавке? На крова-а-атке?— взвился Гаврила Родионович.— Да што ты такое говоришь, Николка? Страм один говоришь, более ничо! Енто на полу-то, да на лавках, да в кроватках — детишки спят, да ишшо господа, да ишшо путники разные, солдаты на постое! Вот кто! Видывал ты, Николка, штобы кто когда чужой на полатях спал? Не видывал! Там хозяева тольки и находятся, более никто! А я што — ужо и не хозяин в своей избе нонче? Нет?!— И Гаврила Родионович встал, фыркнул сквозь реденькую, не очень приметную бородку и ушел на кухню снова. Уходя, посмотрел на Устинова слезливыми, но еще бойкими и сердитыми глазками.

Родион Гаврилович спросил:

— Так подсадить вас, папаша, на полати-то?

— И не надоть! И на лавке вот посижу. Как ровно в гостях посижу! Вот!— И с шумом закрыл двери из кухни в горницу.

— Обиделся?— спросил Устинов у Смирновского-младшего.

— Ничего, пускай посидит на лавке, походит ногами,— залеживаться вредно ему.

— Старорежимный старик-то! Гаврила-то Родионович!

— А я бы, Коля, я бы, Коля, счастлив был такую же жизнь прожить! И в таком же сознании прожитого умереть!

— Мне бы, Родион Гаврилович, снова узнать у тебя,— не хватит ли нам убийства! Убийства своих и чужих? И храброго, и нехраброго? Кровопролития ученого — как вот народные защитники эсеры, сами господа, в других господ, только монархистов, стреляли, три убийства в день делали в России перед войной; и вовсе неученого — темного, как мы, солдатики, с буржуями в прифронтовой полосе учиняли? И разве не подали мы нисколько мирного примера, русские мужики, когда побросали на войне оружие — пропади оно пропадом, пущай его берет кто желает, а у нас дома своих и мирных дел по горло?! Вот как мы рассудили, но тут являешься ты, офицер Смирновский Родион Гаврилович, со своею храбростью: «Нет, вы худо сделали, мужики! Идите и воюйте обратно до победного конца!» Ты, правда, получше других — и во время войны с мужиками в окопе находился, и теперь не желаешь с нами воевать, а только с чужим — с немцем либо с турком! Но ведь все одно — храбрость покоя тебе не дает, руки у тебя по оружию чешутся, душа по ему ноет. Геройство тебе необходимо, не можешь ты без его обойтись, и вот уже ты, несмотря ни на что, отдельно от нас, мужиков, стоишь. Герой завсегда отдельный, и ему нельзя ни в Лесной Комиссии состоять, ни даже вместе со своей деревней пойти в помочи школу строить...

— Школу я не пошел строить — так это потому, что не знал, как с людьми встречаться. Не знал — кому я нынче друг, а кому, может, уже и враг. Не знал, кто мне руку подаст, а кто отвернется. Так же и отвернется, как офицеры-дворяне отворачивались от меня в офицерском собрании. Это трудно, Коля, тяжело. Да. А храбрость — так она не только мне, она и тебе покоя не дает.

— Мне?!

— Тебе! Как бы не она — ты и не искал бы подлинного, то есть смелого дела! Ты сидел бы дома, и не нужны тебе были бы никакие Комиссии. Сидел бы и ждал: что будет, то и ладно, лишь бы тебе живому остаться! Но тебе не сидится, нет! Тебе не молчится, и ты речи степным порубщикам произносишь!

— Я вовсе не храбрец, Родион Гаврилович. Я просто так. Когда нужно очень и другого исхода, кроме храбрости, нет. Вот ты — другое дело: когда в действительности затеется вокруг война — ты многие и многие тысячи людей за собой поведешь! В гражданской-то войне, в России,— кто нонче тысячи-то водит? Поручики и водят! После ты будешь тем, чем хочешь быть — славным героем! Со славной жизнью!

— До геройства мы, Коля, не доживем! Никто!

— Ну уж?!

— Нет, это точно! В нынешнюю германскую войну кто из офицерства жив остался? Только не те, кто ее начинал, кто вступил в нее с самого начала. Тех — нет, те — убиты. Остался второй да третий эшелон. Я остался, так это потому, что чуть ли не год самого тяжелого времени пробыл в офицерском училище. Ты остался — потому, что дважды уходил на переформирование. Да и какое может быть нынче геройство, в братоубийственной войне? Все замараны будем в ней пожарами, убийствами мирных жителей, мало ли чем? Братоубийственная война — она ведь еще чем страшная, Устинов? Она в каждом городе и в каждой деревне в первую очередь снимает головы с самых умных людей. С самых гражданских! С тебя вот снимет. С Калашникова. С Дерябина, потому что он любит действовать.

Смирновский отодвинул блюдечко с чаем, встал, походил по горнице, двигаясь быстро, но бесшумно — пимы-барнаулки звука не давали. Потеребил на себе подтяжки и спросил:

— Учителя, Коля, ищешь? Хотя бы и во мне?

— Ищу... Не худо бы найти.

— А заблудший — какой же учитель?

— Святые тоже много блуждали. А учили. Зависит — от чего человек заблудился: от ничтожества своего или слишком много в нем человеческого, гораздо более, как во всех других людях.

— Нет, Коля, я от учительства отказываюсь! Не могу!

— А у тебя-то, Родион Гаврилович, был учитель? Когда ты не от родного отца научился тем словам, которые нынче произносил, тогда от кого же? От Зурабова-капитана?

— Нет!— пожал плечами Родион Гаврилович.— Нет, Зурабов от меня отказался. Учительствовать надо

мною не смог. Так же как и я нынче отказываюсь от тебя. Точно так же.

А капитан Зурабов — очень известный был офицер в полку, и говорили — друг Смирновского. Заметно было — не очень-то старшее начальство его жаловало, хотя он и благородных был кровей, первостатейной выправки и тоже особой храбрости человек. И только когда полк нужно было представить генералитету — батальон Зурабова чеканил шаг впереди, и сам он тоже шел при всех своих орденах картинка картинкой. Строгости же к нижним чинам был неимоверной, и в конце войны случилось с ним вот что: сначала Зурабов заседал в военно-полевом суде и многих пострелял солдат за невыполнение приказов, за дезертирство, а потом солдаты схватили Зурабова, судили своим судом и расстреляли.

Смирновский помолчал, дал время Устинову вспомнить и подумать, после подхватил его воспоминание:

— Перед расстрелом Зурабов просил об одной только льготе: встретиться со мной. Встретились. И что он сказал? «Мы, дворянство,— сказал он мне,— от истории русской, от православного бога, от всего человеческого, что есть в нас, обязаны были строго блюсти Россию. Но не соблюли, не сумели. Не нашли в себе сил обновить престол, сделать его современным, подать ему руку помощи. Мы рабствовали и пресмыкались перед ним — уже бессильным и порочным, и все жаждали и жаждали от него наград, чинов, званий и благополучий, хотя в нем-то самом не было уже ни капли благополучия, а только призрачная видимость его. Эсеры стреляли в царя, и мы проклинали их, а это был для нас позор — не они, враги престола, а мы, друзья его, должны были стрелять в царя, чтобы спасти его и престол от позора и бесчестия, как не раз и не два спасали его от этой беды наши предки! И нету другого и не может быть столь же тяжкого греха и человеческого падения, как служба призраку, и лесть ему, и славословие призрака перед теми, кто не знает о нем полной истины. За это нам кара, сгореть нам и развеянным быть по ветру! Но как бы только это! Другое вижу: в том костре, в котором будем мы, грешники, пылать, не сгорит ли невинно вся Россия? Всегда ведь было: вместе с истинным грешником сколько человеческой невинности пылало? Вот в чем пытка мне, и страх, и месть. Ты, Смирновский,— сказал мне тогда Зурабов,— тоже есть аристократ и дворянин, только крестьянский. Ты прости нам, что мы и с тобою

были подлы и двуличны, что руки тебе не подавали в офицерском собрании! Прости, что дружили мы годы, а себе я позволил говорить с тобой вот так, как сейчас говорю, лишь в свой последний час и для того, чтобы в час этот иметь на тебя надежду: прокляни мой пепел, но сделай! Сделай то, чего не сделали мы, не допусти сгореть России вместе со мною!» Вот как было, Устинов... А помещение арестное было низкое, аршина два с небольшим, а Зурабов, помнишь, высоким был, он говорил и сам горбился все, а потом и стал передо мною на колени. Вот как было, Коля.

В кухне перекликнулись щеглы, потом закашлялся Гаврила Родионович.

Устинов спросил:

— Как же он тебе не учитель после того, Родион Гаврилович? Он же тебе, сказать, так завещание оставил?!

Смирновский снова сел, положил на столешницу руки, на руки — голову, калмыковато поглядел на Устинова.

— А завещание, Коля, это и есть отказ от человека. И от учительствования. Завещание — это какие по смыслу слова? Это: «Иди!.. Иди один, как хочешь, как можешь, а я остаюсь, отказываюсь. Меня с тобой нету! Вот тебе восток, вот тебе запад — иди!» Но кто же не знает, где восток, а где запад? Все знают! Для кого их нету? Для всех они есть, даже для птицы небесной, даже для мышонка какого-нибудь. А вот как их достигнуть? Как не заблудиться между ними? Вот и я, Коля, так же готов тебе сказать, как Зурабов мне говорил: «Иди, Устинов, иди, Николай Леонтьевич, делай, что я не смог сделать, распутывай, что я запутал! Иди, мой ненаглядный, на тебя моя надежда!» Такой вот порядок между нами, людьми: на Зурабова тоже ведь кто-то переложил дело, завещание это, он переложил его на меня, я перекладываю на тебя... А ты на кого переложишь, Устинов,— на Игнашку Игнатова?

— Что ты?!— испугался Устинов.— Да ведь я же мужик, Родион Гаврилович. И дело мое навек мужицкое — пахать и сеять! Вот уж это дело я ни на кого не переложу, клянусь! И дело мое — мой неизменный уговор с самою жизнью: я свое делаю, но за это жизнь пусть со всяким лишком ко мне не пристает. Со всяким лишком я саму-то жизнь понужну прочь от себя! С меня хватит, что крестьянству я — верный подданный, кото-

рый раз и раб! Но зато в другом во всем я вольная птица, хочу — иду в Лесную Комиссию, хочу — не иду, хочу — ищу учителя себе, хочу — не ищу никого! И не лишай меня этой моей воли!

Родион Гаврилович улыбнулся. Закинул руки за голову и покачался на стуле из стороны в сторону, некрупным, но сильным и неизменно напряженным телом. И даже засмеялся слегка, негромко, будто бы по секрету, и сказал:

— А никуда ты жизнь от себя не понужнешь, Устинов,— пустое занятие! Ты в нее, в нынешнюю, по уши забрался, и вот уже не только пашня и скотина тебе нужны — вот уже и Лесная Комиссия нужна тебе позарез. А поживешь еще — пуще того, и война тебе понадобится, поверь мне! Тем более что ты человек способный, рукодельный, и все-то на белом свете тебе необходимо пощупать, а кое-что так и по-своему переделать. Помнишь, как тебя в пулеметчики готовили: два раза при тебе «максима» собрали-разобрали, а в третий — ты собрал его сам. Тихонечко так, осторожно, будто бы и незряче, и на ощупь, но собрал. Кто этого случая своими глазами не видел — не поверил, в пулеметных-то школах люди этому целые месяцы обучаются! Зурабов не поверил, и я у него пари выиграл, представил ему свидетелей! Ну а ежели человеку дано вот так чужое дело постигать, значит, он уже не тот, каким сам себе кажется!

Но Устинову в этот миг совсем было не до Зурабова, другое ему вспомнилось, представилось живо, как сейчас: мальчишкой еще уцепился он однажды за конек на крыше и почувствовал — нет больше сил держаться, и неизбежно покатится он вниз, упадет на землю, расшибется, умрет! И покатился, и упал, единственно, в чем обманулся,— остался жив. Ну, в тот раз все молча происходило, а нынче Смирновский еще и подначивал ему: «Брось, Коля, не держись сам за себя, катись куда-нибудь... Все равно ведь не удержишься, сил не хватит!» Подначивал и смеялся при этом.

И Устинов обозлился. На себя или на Смирновского — даже не понял. Потому ли, что смятение в себе почувствовал, или потому, что Смирновский смеялся коротко, негромко, но в уверенности, что знает причину своего смеха. Обозлился, покраснел, даже сквозь белые хохлатые волосы проступила у него краснота, он ткнул в лицо Смирновского пальцем и крикнул:

— Не поворачивай меня, Родион, с мужика на немужика! Не смей! Это тебе не простится, на это тебе правов не дано! Ни богом, никем на свете! — Тут Устинов голос сбавил, но зла — нисколько, по-прежнему сердито продолжил: — С мужика — на кого-нибудь? Да ни за что! И когда тебе мое мужичество чуждо, то мне, знай это, чуждо твое геройство! Герой — как понимается? Он смело и храбро убивает других, вот как! С великим азартом делает. Простому гражданину — мужику — тому всегда в глаза тычут и укоряют его: ты плохо убиваешь, учись у героя! Но нету же в том справедливости и не может быть! И не сыты ли мы убийством друг друга по самое горло? Ты против братоубийства, знаю, верю, а в то же самое время ты, будто охотник, ждешь момента: выстрелить бы! Только бы понять, кого брать на мушку, а тогда ты будешь брать да брать безостановочно. Ты чем нынче мучаешься, почему на людях показаться не хочешь, школу строить и то не пошел с народом? Скажу: остановка у тебя вышла — не знаешь, в кого из людей тебе стрелять! Ну и мучайся, герой, сам, а меня, мужика, в свое мучение не обращай! Не смей! Потому от тебя и в окопах солдатики отворачивались — тошно им было от геройства твоего!

Устинов замолчал, тихо стало в избе, щеглята только и щебетали между собой в кухне на своих жердочках, шелестели крылышками.

А замолчавши, Устинов быстро-быстро, судорожно поворошился в своей памяти, сморщился даже весь, и голову сжал руками, и вспомнил: «Как получилось?! Он Смирновскому то же самое ведь говорит, в том же самом его упрекает, что ему говорил, в чем недавно его упрекал Гришка Сухих...» Как получилось?! Неожиданно!

Тем временем Смирновский тоже не сразу, а сначала долго всматриваясь в Устинова, спросил его:

— Коля, — спросил он, — за что ты меня так? За что?! Почему ты меня-то в душу кулаком, ежели жизнь так устроена? Я, что ли, войну выдумал? Я определил, что без рождения жизни не бывает, без смерти — не бывает, без смерти на поле боя — не бывало никогда? И в самом деле — ежели смерти не миновать, то почему бы и не умирать в бою? И разве можно, разве получится, чтобы «Не убий!» взяло верх надо всем на свете, чтобы сила, когда она есть, имела одно только оружие — молитвы? То есть тоже стала бы бессильной?

И даже для того, чтобы сказать «Не убий», сначала надо быть сильным, потому что в устах слабого это даже смешно, ни к чему, и все великие люди, которые сказали «Не убий», все писатели, которые это проповедуют, заметь это, Коля, все они народились в государствах сильных, на мир влиятельных!

— Ладно уже, Родион Гаврилович,— сказал Устинов, пристально вглядываясь в лицо Смирновского, замечая, как подергивается на нем нижняя губа, слегка изогнутая вверх, тонкая...

Но Смирновский договорить не дал:

— Нет, позволь, Коля! Я-то не упрекаю тебя за то, что ты пахать хочешь ладно, и хорошо, и аккуратно, почему же мне упрек, что я воевать хочу благородно? С мужчинами воевать, а не с женщинами, детьми и стариками! С теми мужчинами, которые моей войны заслужили, а не со случайными какими-то там?— И тут, в этот миг, Смирновский весь дрогнул, уронил голову на стол и не то проплакал, не то простонал:— Я ведь чего еще боюсь-то, Коля, отчего страдаю: да бог с ней, с войной, а вот смелости и чести не надо будет ни тебе, ни мне, никому, отрешимся мы от них, а чем заменим? Что вместо них? Может, ничего? Может, подлость и бесконечный страх смерти? Отбери у человека смелость и честь, скажи: не нужны они тебе, ни к чему,— а что тогда у него останется?

— Ладно уже, Родион Гаврилович,— снова начал Устинов и закончил теперь свои слова:— Война нынешняя никого не минует. И меня не минует, знаю. И я пойду убивать, когда без этого невозможно сделается. Знаю. А когда обидел я тебя — прости... Дышит она нам в лицо, война, день и ночь — зажмуриваться не успеваешь. Себя понять не дает.

Смирновский встал, постоял неподвижно и закрывши лицо рукою, потом подошел к окну, глядя в запотевшее стекло, еще заговорил:

— Мне почему так трудно от слов твоих, Устинов? Тебя-то я в деле видел, ты храбрый солдат, смелый мужчина. А тут вот ко мне женщина одна приходила. Умная. Красивая. Душевная женщина, и, представь, она вот так же со мной говорила, как ты нынче со мной говоришь. Едва ли не теми же словами. И женщина так говорить вправе. И вправе спросить нас с тобой: а как же нам, мужчинам, нынче до́лжно жить и поступать? По-мужски? А что мы ей ответим с тобою, Устинов?

— Какая женщина? — вздрогнул Устинов. — Какая?

— Панкратова Зинаида. Она и приходила ко мне.

— Как так?

— А книжку спрашивала. Книжку, чтобы доказывала: убийство необходимо, и без него нельзя людям существовать! Даже и не поверила: будто у меня, военного человека, такой книжки нет! Что это, Коля, глаза-то у тебя? Очень уж странные?

И они еще постояли в горнице молча и пошли в кухню — Устинов собрался уйти, Смирновский — его проводить.

— Енто давеча сижу я вот так же, как сей час на лавочке, только не в избе, а на улке — и гляжу, идеть Ваньша Саморуков! — как будто и не прерывая давешнего разговора, обратился Гаврила Родионович к Устинову и подозвал его к себе пальцем. — Я говорю: «Ваньша! Чтой-то тебя скособочило — правое-то плечо у тебя всегда вперед да вперед, а другое — дак назад и назад? Либо мне по моим годам глаза неправильно показываюгь?» Он мне говорит: «Правда твоя, Гаврилка! Твоя правда, мало того, што оне у меня, плечи-то, сделались одно наперед, другое — назад, оне, гляди-ка хорошенче, ишшо и по-разному находятся: одно-то выше, а другое — дак ниже!» Тогда я его обратно спрашиваю: «Ваньша, а Ваньша, а на полати-то с эдакими с плечами ты сам залазишь либо с чужой подсадкой?» Он говорит: «Сам!» Я говорю: «Врешь, Ваньша!» Ну и пошли мы к ему в избу обои поглядеть, как и што: правду ли Ваньша сказывает насчет полатев? Ну, приходим обои мы к ему в избу, я креста не сделал на себе, не успел, а Ваньша — раз-два! — шапку с полушубком сбросил, ишшо раз — раз-два! — и как думаешь? А вот как: на полатях он ужо! «Ну, верно што, — сказываю я Ваньше, — ты, Ваньша, до-о-олго ишшо проживешь, когда такое дело». Он говорит: «Ето што, Гаврилка, ето ерунда, вот што! А вот по осени, когда школу миром ставили, я, веришь ли, дак в ласточкин хвост вырубил шестьвершковое бревно!» Ну, а я об ентом ему ужо не поверил — не смог: «Перехвастал, паря, двадцать два набрал!» — сказал ему и подался домой. А дома-то у себя обратно задумался, а вдруг Ваньша-то не наврал об ласточкином хвосте?! Вдруг опять же истинная правда сказана им? Ведь вот об полатях — правду, а не здря сказал он, своими же я глазами видывал, што не здря! Мы же с им дружки ишшо с мальчишеских времен, и вдруг я ему не

верю нисколь?! Ваньша, правда што, службы не служил, а я, слава тебе богу, побил-повоевал разных турков, но все одно же — дружки мы с им, и вдруг я не верю ему?! Ты вот скажи-ка, Николка, известно ли тебе, видел ты своими глазами, как Ваньша Саморуков ласточкин хвост рубил?!

— Мне это известно, Гаврила Родионович,— сказал Устинов.— Видел я своими глазами.

— И бревно об шести вершках?

— Как ни толще! И всенародно было им сделано!

— Всенародно!— схватился Гаврила Родионович за голову.— Он всенародно, а я ему, дружку, не поверил! Страм-то какой, страм-то, Николка! Енто надо же, в какой страм залез я по уши! Ай-ай-ай! Ай-ай!— И Гаврила Родионович топнул ногой и закричал:— А ты, Родька, пошто стоишь тут столб столбом? Пошто не подсадишь отца на полати-то, от страма подале? Ну?!

Родион Гаврилович подсадил отца, вздохнул и сказал:

— Ну, до свидания, Коля... Вспомнились мне вдруг еще петровские слова: «Не знаю себе никакого убежища!» Это не про нас ли с тобой сказано было? Что про меня, так в этом я уверен. Так и есть...

Устинов кивнул, постоял и протянул Смирновскому руку:

— До свидания, Родион Гаврилович!— Уходя, подумал: «Об каких делах поговорили мы нонче! Об каких мировых! А — об мерине?..»

Глава девятая

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

До войны и в первые военные годы всякий раз в начале зимы в Лебяжку наезжали переписчики. Статистиками назывались они.

Длинные-предлинные возили они с собой бумаги-описи, расчерченные вдоль и поперек толстыми и тонкими линиями, обходили все до единой избы и записывали, у кого что имеется — сколько в семье рабочих рук и сколько едоков разного пола и возраста, сколько движимого и недвижимого имущества.

Ну, конечно, недвижимое, оно всегда на глазах, на своем собственном месте — вот дом, вот амбар, вот ам-

барушка, а вот баня. Можешь их оценить и поставить на страховку от пожара, тогда тебе на ворота прибьют железный кружок страхового общества «Саламандра», с этой самой саламандры портретом: змея не змея, ящерица не ящерица, но тварь хвостатая. Она, наверное, в огне не горит, а может, и в воде не тонет.

Спрашивали переписчики ежегодно и об урожае — сколько десятин сеялось, чего и сколько с каждой десятины хозяином взято?

А вот это уже особый разговор.

Хотя подати начислялись не с урожая, а с десятины, десятины же лебяжинского землепользования разверстывались обществом между всеми дворами, известно, на кого и сколько их записано,— все равно мужику приятнее на душе, когда, намолотив, к примеру, пудов триста пшеницы, он скажет переписчику, что хлеб нынче был неказистый, и двести, ну самое уже большее двести двадцать пудов засыпано у него в амбарушку.

И так подумать: ну зачем считать пуды, которые пойдут на собственный прокорм и на посев будущего года? Их вроде бы и нет, если знаешь, что через год при любых обстоятельствах их действительно не будет. Это не запас и не товар, это как бы ничто. Как воздух — он и есть, и пользуешься им, но и нету его. Кроме того, почему-то красивее других выглядят те самые пуды, которые не сосчитаны до конца, и в то время, когда в счете их нет, они все-таки есть.

Переписчики объясняли мужикам, что так делать нехорошо, а хорошо называть истинные цифры — они идут в учет всего государства, государство же должно знать настоящие урожаи и запасы. Мужики, само собою, соглашались с переписчиками, но тем более делали по-своему: всему-то государству зачем же знать, сколько у тебя засыпано в правый, сколько в левый и сколько в средний закром? Тут сосед-то к соседу и то стесняется в амбарушку заглядывать, а все государство, ничуть не смущаясь, выпяливает глаз на твой собственный хлебушко! Лишнее это. И даже некрасиво!

С имуществом движимым дело обстояло опять-таки по-своему: рабочую лошадь не назвать нельзя, потому что в волости на нее выправляется свой лошадиный паспорт; коров, тех легко учесть по общественному стаду, а вот что касается мелкого скота и птицы, тут можешь говорить, что овечек, свинушек, кур, уток, гусей

ты в жизни никогда не видывал и даже не знаешь, кто такими именами называется.

И опять то же самое: вот они все, на ограде, все мычат, хрюкают, блеют, кудахчут, крякают и гогочут, но потому, что они ни в одной на свете бумаге не числятся, не только тебе, но и самим-то им гораздо приятнее жить и плодиться.

Но не потому, что вся эта крикливая и мелкая движимость не шла в серьезный хозяйственный счет, а по другой причине — потому что за каждым куренком, кроме всего прочего, кроме заметной пользы, водится, хотя и крохотная, а все-таки живая душа, Устинов неизменно разводил ее у себя во дворе побольше — всякой и разной.

А когда Смирновский указал Устинову, будто бы он уже и не настоящий мужик, Устинов сильно обиделся, расстроился и пошел к этой мелкой и крупной твари. Пошел проверить и примериться: правильно или неправильно сказано о нем? Вся эта живность гораздо лучше Смирновского могла понять — испорченный или вовсе целый и хороший у нее хозяин? Отпираться ведь тоже нельзя: с войной, а теперь вот еще и с Лесной Комиссией даже самый настоящий мужик может дать трещинку.

Кроме того, еще была у него вина перед всем живым, водившимся на ограде, потому что насчет Севки Куприянова мерина он ни слова не замолвил Смирновскому. Так оно и есть: незаконченное дело — хуже неначатого!

Между тем Груня, несмотря на лечение, стала прихрамывать заметнее, и скучнее сделались у нее глаза, может быть, она слишком обиделась за напрасный побой, может, левая передняя действительно начала у нее болеть невмоготу, но так или иначе, а насчет еще одной рабочей лошади хозяину нужно было нынче думать и думать, скорее решать это для всех крайне необходимое дело, потому что там, где хватает рабочих коней, там и корму тоже всем достаточно, а где их не хватает, приходится чуть ли не каждое зернышко делить между людьми, телятами, поросятами и разной птичьей породой — между всеми живыми душами.

Так или иначе, а Устинов решил обойти всю свою живность, взял топор, молоток и гвозди — на случай где чего подбить — и начал с курятника. Правда, не сразу с него, а сперва заглянул в избу, набил все карманы хлебными крошками и кусками, потом уже открыл

в курятник дверь, бросил на пол горсть крошек и позвал:

— Цып-цып-цып!

Что тут поднялось! Какой шум и гвалт, какая кутерьма!

Вот забываешь почему-то всю жизнь о том, что кур и звать-то никогда не надо — надо только бросить крошку или только махнуть рукой, что, дескать, бросил ее, и они уже летят сломя голову, и мечутся, и теснятся не только на земле, но и на спинах друг у друга. Стадо не стадо, стая не стая — одна свалка. Ужас, какая бестолковая птица, и все, наверное, потому, что слишком умные и самостоятельные родятся цыплята — только вылупятся из кожуры и уже бегут добывать какую-нибудь съедобную крошку-букашку. Матери о своем родном детеныше и заботы нету, разве что позвать-покудахтать: иди за мной следом — за углом назем, покопаемся-пороемся, бог даст, найдем, что поклевать!

А существо, которое умным и умелым родится, после того остается самым глупым: в нем ум не созревает, остается младенческим на всю жизнь. И материнства настоящего для таких тварей тоже нет, детенышей обихаживать не надо, они же сами растут, а материнство ведь — тот же ум, и навык, и способность чему-то учить. Об отцовстве среди куриного племени и говорить не приходится, его нет и в помине, а детишек — тьма, на всех одной матери не разорваться, вот они и родятся, детишки, хотя и маленькими, но сразу взрослыми.

В курятнике Устинов покрепче приколотил насесты, один, старый, выкинул и заменил свежей жердочкой, а пока этим занимался, придумывал — как бы сделать для несушек гнезда, чтобы яйца в них нельзя было потом испортить? А то были среди куриц такие, которые снесутся и сами же свое, а то и чужое яичко склюют.Дело-то на первый взгляд несложное, и даже непонятно, почему до сих пор не придумано — надо сделать в середине гнезда отверстие и легко так замаскировать его прутиками, яйцо сквозь провалится, а там, внизу, ящичек с мягкой подстилкой, оттуда его достанет только человек, больше никто. Но тут вот в чем вопрос: а будет ли курица нестись в дырявое гнездо? Дура-дура, а ведь тоже своя и не совсем уже дурная привычка и смекалка? Во всяком случае, надо испытать — наладить этакую яичную ловушку...

А вот еще до войны был в устиновском дворе петух

прозвищем Драч — хулиган, забияка и страшный драчун, перо красное, грудь колесом, голос разный: «ку-ка», «ку-ка», «ку-ка» — это он произносил глухо и хрипло, зато, набравшись воздуха, так орал «р-ре-ку», что дрожали стекла в избе, а Моркошка в конюшне несколько раз стукался от этого дикого возгласа головой об ясли. Особенно если Драч заберется в конюшню поклевать за Моркошкой навоз, а тот в это время дремлет и не услышит тихое «ку-ка», а сразу в ухо ему долбанет «р-ре-ку!».

Тот Драч иногда был даже вроде папаши — вдруг начинал звать за собою цыплят и командовать ими.

Один раз был случай: огромный коршун подхватил со двора цыпушку, и немаленькую уже, а почти что курочку, но замешкался в воздух подняться, а Драч оказался тут как тут, бросился коршуну на спину, начал его рвать когтями и долбить клювом в затылок. Коршун цыпушку выпустил и медленно, с трудом, но все-таки взлетел вверх. И вот тут-то, оказавшись на высоте сажени в две или три, Драч перепугался насмерть, дико завопил и, совсем нескладно замахав крыльями, бросился обратно вниз, а достигнув земли, кинулся со всех ног в конуру Барина да и просидел в ней молча до самого вечера. Ему бы еще только два либо три раза долбануть коршуна в загривок, поднажать когтями ему в спину — и все, и праздновал бы он Великую победу на земле, но вот как получилось печально и позорно! Ну, правда, Драч своего позора долго не переживал и на другой уже день растопыривал свою могучую грудь и орал «р-р-ре-ку!».

Покуда Устинов еще бросал курицам крошки и вспоминал Драча, приподнялась подворотня, в курятник просунулась свиная голова, громко хрюкнула, еще поднажала, и тут появился подсвинок. Месяцев на шесть скотинка, весеннего помета. Подсвинок быстренько растолкал куриц, те переполошились еще больше, одни кинулись вверх, на насесты, другие — спасаться по углам, шум, крик, летит пух и перо, а подсвинок быстренько подобрал с пола крошки, проглотил их и, повернувшись боком к Устинову, сердито так и зло посмотрел на него: «Этого мне мало! Давай еще!» — «Нету у меня»,— пожал плечами Устинов. «Врешь! Вынь-ка руки из карманов — что там у тебя?» Ну, раз такое дело, Устинов бросил еще корку. И только бросил, как подворотня приподнялась снова, и другой подсви-

нок, заметно покрупнее первого, до ушей просунулся в курятник. Но пролезть он уже не мог, рост не позволял, и тогда, изнемогая от обиды, злости и жадности, он заорал на всю ограду: «Ах, гады, без меня жрете! Гады вы все за это и никто больше!» Устинов выбежал на улицу и тоже бросил крикуну небольшую корочку, тот обернулся, схватил ее, счавкал и, снова просунув голову в подворотню, во весь голос начал обзывать своего товарища в курятнике, а заодно и своего хозяина.

Для свиньи, когда кто-нибудь ест, а она нет, она только глядит, как едят другие,— это такая напасть, что хуже и не бывает. Это для нее горе, отчаяние, позор и срам, она визжит, принимает муки мученические и рвется к чужой кормушке, хоть через потоп, хоть через огонь, расталкивая всех, кто тут есть еще.

А пожирать что-нибудь, чавкать и глотать ей все равно что птице летать, кружиться в небе и петь песни. Она так и жрет — раз чавкнет и раз хрюкнет, еще раз чавкнет — и взвизгнет, чавкнет в третий раз и зарычит — от удовольствия — на манер цепного пса. Вот какое за жратвой у нее песнопение! А до этого, до того, как хозяева плеснут ей в лоханку, она и вовсе на все свои голоса, сколько их может у нее быть, заливается и только что с ума от нетерпения не сходит, волосы на себе не рвет! Ежели бы свинья доставала до своей головы, так уже на третьем, а то и раньше месяце все до одного поросята ходили бы лысыми. Свинья готова съесть все, что только способна разжевать, а зубы у лебяжинских черно-белых, а то и вовсе черных кабанов были дай бог — только камни не молотили, остальное все могли!

«Ну вас всех к черту!— решил Устинов.— Не пойду я на вас, на свиней, смотреть! Пойду сразу к овечкам!»

И, правда, пошел к овечкам, хотя по дороге припомнил хорошую такую свинью Буньку.

Бунька жила у него на ограде в то же самое время, когда и Драч, но смирная была, добродушная и всегда супоросная. Мастерица была поросят приносить. Она их как будто бы и не рожала, а высиживала, будто курица на яйцах: полежит-полежит на боку, похрюкает-похрюкает, после встанет — а за ней семь, восемь, а то и десяток поросяточек уже суетится, друг другу пятачками под бока поддают.

И дурень Устинов, большой дурень: ему надо было от Буньки породу выводить, заняться всерьез! Мог бы получиться большой толк, но он над Бунькой только

посмеивался и даже не завел записи — когда и сколько она поросят приносила. Собирался все, но так и не собрался. Хватился, когда был уже на фронте, и два или три раза писал Домне, чтобы она эту запись делала, если уж не для породы, так хотя бы из интереса. Ну а Домне, по правде сказать, разве до такого интереса в те годы было?

К тому же вскоре случилось так: Бунька в очередной раз опоросилась и тут же померла. Так ему Домна на фронт сообщила.

Кому-кому, а Буньке-то это дело — приносить поросят — было совершенно привычное. А выходит, все-таки нелегкое.

В овечьей хлевушке, которую правильно-то называть надо бы кошарой, но уж очень маленькая она была для такого названия, Устинов почистил навоз и принес новый кусок соли — пусть себе полижут животные.

Покуда все это для овец делал, об овцах думал...

Когда бог и природа делили между живыми душами свойства и приметы, досталось кому что: одним — сила, другим — хитрость и ловкость, третьим — хамство и беззаботность, а вот на овцу робость была зачислена. Робость и страх.

Смирновский Родион Гаврилович думает, будто животное существует, не зная о своей смерти, но что-то тут не так. Овечка всегда живет при смерти.

Вот они, овечки, толкаются в полутемном закутке, слышен их общий шорох и дыхание, пугливый топоток на одном и том же месте.

И в шорохе, и в дыхании, и в топотке, а в глазах особенно — страх, страх и страх! А перед кем? Перед зверем, но зверя поблизости нет, перед хозяином, так он плохо ей не делает, поит ее, кормит и еще оберегает. Нет, у овечки страх может быть и без предмета, он фигуры для нее не имеет, а растворен в воздухе, в каждой щепке и в каждом камешке, в каждом шорохе, в каждом ветерке и в самом сиянии солнца, во всем для нее — конец света. И на любой предмет она тоже смотрит с ужасом, таращит глаза и ждет, что сей же миг с ним случится конец, он исчезнет, или же от одного вида этого предмета исчезнет она сама.

Вот стоит овца в хлевушке, быстро-быстро жует, торопливо, будто в последний раз в жизни, мнет и грызет зубками сено, а потом вдруг замирает и тяжко вздрагивает вся, как будто изнутри ее что-то схватило за горло,

каким-то ножом она ударена по сердцу... Не только, значит, снаружи и повсюду вокруг себя она чует невидимый страх, но и в каждой ее жилке, в каждой кровинке он ютится и присутствует тоже. Ну, вот горло ей отпустило, сердце ее, по-прежнему целое, бьется, как билось до сих пор, овечка открывает глаза, видит вокруг себя все, что видела до сих пор,— она живая, не исчезла, ничего с нею не случилось, никакого конца ей как не было, так и нет... Но все равно, в открытых ее глазах радости тоже нет. Теперь она уже боится не потому, что умирает, а потому, что осталась жива,— жизнь ей не что другое, как ожидание смерти.

Вот она стоит и вздрагивает, и ждет и ждет — чего бы испугаться? От какого бы страха кинуться на стенку, удариться о нее и прижаться к ней дрожа? Бояться нечего, а тогда она оттого боится, что нечего бояться. Так она и существует: в страхе смерти, в страхе жизни и, может быть, во множестве других страхов, которые никому, кроме нее, не известны либо известны только кому-нибудь одному — какой-нибудь букашке, какому-то одному никому не ведомому мышонку, какому-нибудь живому или даже мертвому уже человеку, а она, овечка, все это множество былых, настоящих и будущих страхов чует и переживает, полнится ими, ничем другим, кроме них, не живет, не умеет, не догадывается, что есть на свете иная жизнь. Маленькая ягушка иногда еще и вздрыгивает ногами и резвится, но мать даже и этой радости собственного дитяти не видит оправдания, не принимает ее, а удивляется словно какой-то странности и невероятности, какому-то безбожию и где-то там, под густою своей шерстью, сгорает от стыда, отворачивает голову прочь, чтобы не видеть этой глупости и позора. Отворачивается да еще и ждет, не будет ли ей какой-нибудь жестокой кары за то, что она видела эту глупость и этот позор? За то, что она объягнилась одним, а то и двумя столь шаловливыми ягнятками?

Такой бы робости хорониться где-нибудь в одиночку, вдалеке ото всех, в уголке темном, чтобы никто не видел ее, чтобы она не видела никого, но нет, овца без стада еще больше сама не своя, ей собственной робости и страха мало, ей надо дрожать не одной, а вместе с другими овцами, она жмется в кучу, в середину общего дрожания, она спасается числом — чем больше вокруг нее страха, тем лучше ей: она не одна такая трусливая, все такие же, она не с краю отары, а в середи-

не — не ее первую ударит палкой пастух, цапнет за ляжку пастушья собака, а если где-то здесь и в самом деле ходит волк — не ее первую он схватит за горло. Ей бы только пробиться в самую середку — туда и туда, где ее давят со всех сторон и, подхватив, несут куда-нибудь, в какую-нибудь сторону, и дышать в той давке как будто бы нечем, но ей-то легче всего и дышится там, где и жизни нет, но живье есть, на него-то овечка и надеется, на это живье.

Ни бежать и прятаться, ни оборониться, ни успокоиться она не умеет, в то время как этому всему только в одиночку и можно научиться, а оставшись одна, без памяти носится, ищет стадо.

Вот какую жизнь дала природа этому существу... И глядит овечка на белый свет бесконечно робкими и даже красивыми глазами прямо перед собою, а в сторону повести ими не хочет: а вдруг там что-нибудь ужасное?

И живет зябко и неуютно под своей уютной шкурой, под которой зимой не холодно, летом не жарко и вполне можно было бы неплохо устроиться, хотя бы раз в неделю, по воскресеньям, что ли, дать себе отдых от испугов и страхов.

Устинов пересчитал овец — все были на месте, одиннадцать голов, а они глядели на него, будто пытаясь вспомнить: кто это перед ними? Может, хозяин, который их поит, кормит, стрижет, в хлевушку загоняет? Но, может, и не он вовсе? Память у них всякую страхом отбивает.

Устинов и сам-то на них поневоле тоже каким-то овечьим взглядом глядел — не узнавал. Счет правильный, одиннадцать голов, но если две его собственные овечки потерялись, а чужие две прибились, этого не узнаешь, потому что все они одинаковые. Ну, правда, баран однорогий — это его, это известно, три овечки молоденькие и поменьше других — тоже его, потому что три их и должно быть, ну а про остальных уже ничего не скажешь, все они на одно лицо и на один страх.

Устинов кинул в хлевушку-закуток хлебный кусочек — овцы отпрянули от кусочка в сторону, где потемнее, откуда хуже всего видно, куда со стороны тоже не видать.

Устинов отошел в сторону, овечки сразу все вместе плотно опять подошли к выходу, перегороженному старой почерневшей жердиной, уперлись в нее и стали.

Свинья под жердиной этой пройдет, не задумается, корова через нее перешагнет, овечка же стоит перед ней на тонких и быстрых ногах, как перед преградой,— с голода помрет, от жажды иссохнет, от какого-нибудь страха изойдет, а все равно поперечины этой не минует.

Вот и все — пускай они тут и будут, овечки, отгороженные от мира тонкой поперечинкой,— один страх с одиннадцатью головами на сорока четырех ногах-копытцах. Пусть будут.

А Устинов пошел к своей корове. Тем более он к ней поспешил, что в устиновском хозяйстве, можно сказать, была своя собственная коровья и вовсе не короткая история.

Еще лет пятнадцать назад у всех лебяжинских жителей коровы были одной-единственной породы — беспородные сибирки. Белые с черным, лохматые, пузатые, злые. Росточком хотя и больше хорошего барана, но не очень-то и больше.

Забот о такой было как об овечке — охапку сена на черный день бросить надо, а дальше сама проживет, уйдет к озеру, забьется с головой в приозерные камыши и будет там кормиться хоть целое лето, а иногда так и зимой.

И помещения сибирка эта знать не знает, по крови и привычкам она кочевница, не столь уж давних ее предков киргизы гоняли табунами по всей низменной Сибири, татары держали в камышах чуть ли не круглый год, и теперь не то что хлевушка, а даже и жердяная загородка ей уже неволя. Неволи же она не терпит и, словно коза, прыгает через те загородки. А если голова у нее в какую-нибудь щель протиснулась, значит, и вся она пролезет непременно — все равно куда. Ей лишь бы пролезть куда-нибудь.

Рожки маленькие и острые, а кроме того, зубы — пособачьи может тяпнуть, после и не залатаешь на себе рану.

Подоила ее хозяйка — хорошо, не подоила — худого не будет, молоко у нее не сгорается, вымя не сохнет. Сохнуть-то почти что нечему.

И только в самый лютый мороз, когда и дышать нечем, и волки оголодают и озвереют до последней степени, прибивается эта татарская орда к дому, прислонившись к бревнам избы, греет то один, то другой бок и жалобно на хозяина поглядывает: «Прости нас, непутевых, больше блудить не станем сроду!» Конечно, хо-

зяин бросит им сена, размечет по земле стожок соломы, они прикорнут в соломе по-собачьи, но верить им нельзя: чуть отпустил мороз, их уже и след простыл. Ну забежит этакая коза-коровенка подоиться, пободаться с кем-нибудь на ограде, а потом она снова неизвестно где.

И вот еще была у этой твари распроклятая привычка: дерево грызть сухое, точить о бревно зубы, а для этого выбирали они чью-нибудь избу.

Ты сидишь в собственном доме, занят чаем или чем-нибудь другим,— и вдруг содрогается дом, наполняется скрежетом, словно кто-то собрался раскатать его по бревнышку! Значит, дом твой облюбован этой татарской ордой, и скоро она не отступится.

И это еще не все — следом за коровами к той же самой избе потянется чуть ли не со всей улицы разная другая живность — приходят рыть твою завалинку свиньи, за свиньями учиняют здесь же свои базары курицы, за курицами устраиваются на ночевку гуси и орут-гогочут под окнами всю ночь, а собираясь на рассвете обратно к озеру, сначала раз десять рассчитаются на первый и второй, а потом все равно выстраиваются «по порядку номеров» в одну шеренгу и во главе с матерым гусаком пошествуют к воде, покуда она еще холодная, парится легким дымком.

И вот уже изба твоя как вроде Ноев ковчег или маленький островок людской жизни среди самого разного скотского и птичьего мира.

Хочешь — живи на этом островке, в этом гомоне, гвалте и скрежете, шагай через навоз самого разного сорта и запаха, не хочешь — как хочешь!

Так вот, надо же было случиться — именно устиновскую избу когда-то облюбовали те коровенки и начали грызть ее сразу с двух углов, а потом и вся другая скотина хозяев от тридцати примкнула к ним со всеми своими надобностями, ссорами, спорами, криками, руганью и дружбой.

На что уж Устинов ко всякой живой твари, а к домашней особенно, был приветлив и дружелюбен, однако тоже потерял все свое терпение. Чего только он не делал, чтобы избавиться от непрошеных гостей, от заводил всего этого сборища — зубастых, бело-черных коровенок? Смазывал дегтем торцы бревен по двум углам избы — не помогло, обносил избу крепким палисадником, но и палисадник этот разная скотина рушила за день-

два, наконец, забил в бревна добрую сотню подковных гвоздей, даже сердце у него заболело — нехорошо както калечить соседскую скотину, рушить у нее зубы, но не тут-то было; всю избу гвоздьями не утыкаешь, а где утыкано, там коровенки бревна не трогали, грызли только в чистых местах.

Вот тогда-то, во время этой напасти, и решил Устинов завести культурную, породистую корову, сибирок же своих порешить на мясо — чтобы они сами не грызли хозяйскую избу и тем более не приводили к его дому всех своих товарок, всю живность с окружающей местности.

Тогда-то и почувствовал он, что значит истинная корова — важная, степенная, рассудительная, телом гладкая, выменем мягкая, у которой на уме нет и не может быть каких-то некоровьих повадок, козьих и даже собачьих ухваток.

Он, когда такую корову видел, делался как бы блаженненьким, глаз не мог с нее спустить.

И не было ничего удивительного, когда однажды запряг Устинов Моркошку да и поехал к немцам-колонистам, которые водили коров истинных, а вовсе не выродков каких-нибудь. Поехал, сделал круг верст на сто двадцать и привез с того круга шоколадную телочку: ножки — точеные, головка — рисованная.

Икона была такая в устиновской избе: Иисус Христос, только-только непорочно народившись, голенький лежит в корытце, и все на него глядят — и мать-богородица, и святые в сиянии вокруг головы, и обыкновенные, уже без сияния, люди, и даже разная скотина, коровушка одна в том числе. И очень жалел Устинов, что иконописец не видел его телочку: вот бы с кого перенести портрет на ту икону! Такая бы получилась живописная удача: у телочки глаза уже и в том возрасте были огромные, добрые и как бы даже немного святые, а личико все — удивленное от какого-то чуда. Глянешь на нее и тут же глядишь вокруг себя — где же оно, это чудо? Где-то рядом с тобою? Но тебе его не видно, а видно только ей. Ей и присвоено было Устиновым хорошее, подходящее имя: Святка. Она, кроме всего прочего, как раз на святках родилась, а он взял ее у немца-колониста уже в полугодовалом возрасте.

Святочная ночь тот год, Устинов помнил, была по всей местности темная-темная, но он и у немцев тоже спрашивал — у них-то, над их селением, не светло ли

было в ночь рождества Христова? Нет, говорили немцы, и у них в рождество стояла «тимнота», и Устинов радовался: в Лебяжке издавна водилось поверье, что когда святки безлунные и даже беззвездные, это значит — плодовитый предстоит для скотины год, а птица будет нестись изобильно.

Ну а Устинов эту примету быстренько переделал тогда под свою необходимость: решил, что телочка, родившаяся в святочную, да еще и в темную ночь, должна обязательно и сама хорошо расти, и в будущем быть плодовитой...

Между прочим, он в иконе с рождением Христа подтверждение этому тоже находил: там изображена была изба с широкими дверьми настежь, а за дверьми — ночь, и очень темная, две звездочки только и мерцают в небе, а из темной ночи через широкие двери и глядит на новорожденного Христа та корова, портрет которой лучшим образом мог быть написан со Святки.

И вот с летнего дня одна тысяча девятьсот девятого года, с восьмого июня, когда на устиновской ограде появилась Святка, резко переменилась жизнь в его доме. Женская его половина — и Домна, и дочери, и мать еще была жива в то время у Николая Устинова — все застрашились на свете жить: а вдруг не выкормят, не выходят эту святую телочку, не сумеют? Лошадь куплена или своя выращена в хозяйстве — это забота мужиковская, его страх, а корова — забота женская.

Телочка — пряничная, на тонких ножках и ласковая, но и за ножки, и за рожки, и за ласку свою ухода требовала больше, чем свои собственные, человеческие детишки.

Однако и то сказать, что, как только в устиновском дворе появилась Святка, и особенно с тех пор, как сама она принесла первого телка,— устиновский двор и стал настоящим хозяйством.

До этого он им, оказывается, еще не был. Не был, да и только. И теперь это легко было понять.

Потому что откуда настоящему двору взяться, ежели он для всей скотины проходной — вошел в него когда хочешь, и тоже, когда и куда хочешь, вышел?

Кони стоят в подворье, так они и рядом с юртой кочевника тоже стоят, когда вздумается, днем ли, ночью ли, хозяин седлает и едет куда-нибудь.

От коров-сибирок порядка ждать, что ли? Покуда они дотла сгрызут твою избу?

Об остальной скотине и говорить не приходится, та блудила-ходила и ночевала где ей вздумается, у нее хозяйственных соображений ни на грош.

Другое дело — Святка. Ее вовремя надо и накормить, и напоить, и подоить, и обиходить. Погнала ее хозяйка в стадо — она пошла, не погнала — она со двора никуда и ни шагу.

Это верно, что крестьянин — всему свету кормилец, но корова — первая кормилица еще и самому крестьянину, детишкам его, внукам его, всему продолжению крестьянского рода-племени.

И Святка, когда еще телочкой была, еще молока не давала, а уже знала это о себе и так, с таким вот видом и вела себя на огороде, среди всей другой скотины особая. «Ну и походите за мной, поухаживайте, а я, дайте срок, отблагодарю вас всех!» — говорил весь ее вид, все ее поведение.

И без разговоров, а сразу же пришлось теплый дом Святке ставить на ограде — особую хлевушку с печуркой, а это по тем временам была такая новость для Лебяжки, что поначалу и сам-то Устинов ее стеснялся. Потом привык, а с привычкой этой понял, откуда и когда начинается настоящее хозяйство.

И даже заметил, конечно, про себя, а не вслух, что и во всей-то Лебяжке хозяев еще нет, что лебяжинские мужики только собираются ими быть, но никак не соберутся, и сама-то Лебяжка смахивает на татарский аул: в тех аулах оград не бывало, понятия не имели, а стоит избенка, вокруг бродит разная скотина, землю денно и нощно унавоживает, и весь тут двор. Когда изба врастет в назем по самые окна — ее переносят на другое место, так что подъезжаешь к аулу, а он весь в зарослях лебеды, полыни, конопли дикой, а среди растительности, буйствующей по заброшенным назьмищам, там и здесь домишки без оград, хлевушек и банек, сами по себе.

И агроном ли заезжал в Лебяжку, ветеринарный доктор или крестьянский начальник из уезда, а то из самой губернии, Саморуков Иван Иванович первым делом докладывал: «У нас мужик один — взял у немцев телочку, а вырастил корову, что и у тех-то нынче не водится!»

Ну а Святке все равно, кто на нее любуется — хоть агроном, хоть сам царь-император, она мимолетно глянет на посетителя и дальше делает свое дело: жует корм

и гонит и гонит в свое вымя молоко. За пятерых сибирок. И полнит всю твою ограду молочным духом, хозяйским настроением.

Когда нынче Устинов подошел к Святке, она своим делом очень серьезно была занята — лежала на соломе, прислонив один шоколадный бок к хлевушке, а другой, тоже шоколадный, подставляла под солнышко.

Не очень-то было тепло, но Святка, наверное, соображала, что какое-никакое, а все-таки имеется нынче солнышко, и надо им пользоваться, завтра, может быть, уже придет настоящая зима.

Устинов внимательно поглядел на Святку, она — на него: «И не вздумай... И не вздумай меня тревожить!» Вот она как подумала, Святка.

Он таки ее потревожил: легонько-легонько, но упрямо постукал ее ногою по ляжке, и Святка, отвернув голову и не желая на него смотреть, встала.

Устинов, похлопывая Святку по спине заставил ее пойти по двору и, отступив чуть в сторону, стал на нее смотреть.

Она прошла, согласилась: «Ладно уж, когда ты, мужик столь вздорный, обязательно хочешь на меня смотреть — смотри!»

А шерсть на Святке — металл, медь или еще какой-то другой, не совсем известный, но мягкий и даже со стороны видно, что теплый. В каждой шерстинке сразу два тепла встречаются — одно идет от солнышка к ней, другое — от нее, от ее тела, к солнышку.

Шаг у Святки тяжелый, но осторожный, лишнего в нем ничего нету, идет и слушает — не упадет ли под ее тяжестью земля, и вот она землю бережет, напрасно по ней не топает.

Шум был — от ее дыхания, от шелеста ее вымени и складок на шее, от того, что она хвостом себя по ногам чуть постукивала, от того, что все еще жевала на ходу, время не хотела понапрасну тратить, и в глубине у нее что-то легонько побулькивало, копыта на мерзлой почве потрескивали.

Святка прошлась по двору туда-сюда, вернулась на свое прежнее место, на свою соломенную лежанку, но не легла, раздумала, испортил ей хозяин аппетит на лежанке. Продолжая жевать свою жвачку, она закрыла глаза и не то во сне, не то в мечте какой-то замерла стоя.

«Есть жизнь,— подумал Устинов...— Есть, есть

и есть!» Он не просто так это сказал себе, а сел на крылечко и стал вспоминать: куда, в какие концы света потянулись от Святки разные ниточки?

Был случай, в семнадцатом году, солдатики уже свободно по окопам ходили, и немцы в русских, и русские в немцев почти не стреляли, больше обзывали, как умели, друг друга из окопа в окоп или обменивались мирными словами, а то и табачком, и вот Устинов, выйдя зачем-то на ничейную полосу, увидел напротив себя немецкую винтовку. Почувствовал, как шарит она по нему мушкой.

И нашелся, не упал на землю, не побежал, а осенило его, и он крикнул во все горло:

— He Kameraden, wie hoch ist jetzt der Pries für ein einjähriges Kälbchen bei euch?

Это он спросил: «Эй, ребята, а почем у вас нынче телочка годовалая?» — научился этим словам давно, когда торговал Святку у немца-колониста.

Винтовка дрогнула, потом немец положил ее под себя и спросил:

— Was ist das?

— Wie hoch ist jetzt der Preis für ein einjähriges Kälbchen bei euch? — повторил Устинов.

— Keine Ahnung!— ответил немец с недоумением.

— Danke, Meister, gut!— поблагодарил Устинов, повернулся и пошел к себе в окоп. Пришел и сказал: «Берегитесь, товарищи, седни немцы будут в нас стрелять. Я только благодаря корове своей, Святке, живой нонче остался!» — «Откуда тебе известно?— спросили его.— Ведь вот в тебя же не стреляли? И при чем тут корова? Спятил ты, Устинов!» И не поверили Устинову, и один из солдатиков — шасть из окопа на ту же ничейную полосу. «П-п-ах!»— раздалось с той стороны, и солдатик кувырком, в грудь навылет.

Оказалось вот что: долгое время наши не стреляли, и немцы тоже помалкивали, установилось как бы перемирие.

Но тут наше Временное правительство толкнуло армию в наступление на Галицию, и затихшая было война разгорелась снова.

После, когда Устинов окончательно понял, что он остался жив, он пожалел — почему это немец встретился ему не очень толковый? Не знал, почем в Германии годовалые телочки? Полезно было бы сравнить: сколько он платил колонисту за Святку и почем нынче у них

там стоит такая же? Если уж не совсем точно, так хотя бы примерно?

И вот еще была история — каждому лебяжинцу и даже каждому сибиряку запомнилось.

Когда построена была железная дорога до самого города Владивостока, сибирский мужик воспрял: теперь-то он хлебушко будет сеять, продавать его в Россию, а через моря — в заграничные разные стороны. До сих пор он этого не мог, потому что «телушка — полушка, да рубль перевоз».

Но не тут-то было, не сбылись надежды: российские хлеботорговцы заставили правительство учинить «переломный» тариф: как минует хлебный вагон город Челябинск, так и плати за перевоз в Европу половину стоимости хлеба. Задушили купцы и помещики сибирского пахаря. Он от них ушел в далекую Сибирь, а они все равно достали его своей жестокой и длинной рукой.

Дрогнула крестьянская Сибирь — как быть? Для чего тогда ей вольные земли, большие пашни? И неужели жить ей дальше, как жила она до сих пор, без фабричных товаров, на которые денег у нее нет, тем более что товары эти в Сибири дороги — по причине той же самой дальней доставки? И, может быть, это только начало, а что и как будет еще придумано, чтобы отомстить сибиряку за его многоземелье, за свободу от помещика?

Из многих степных деревень потянулись новопоселенцы, не успевшие закрепиться на месте, обратно в Россию. Другие отрывались от хлебопашества, шли на промыслы, на разные стройки, на Дальний Восток, где, говорили, можно прожить не одним, так другим — не хлебом, так охотой, не охотой, так рыбалкой, не рыбалкой, так приисковой работой.

Среди лебяжинцев таких случаев не было, старожил-чалдон не мог представить себе возвращения в Россию — кругом тесную, всяческими межами перекрытую. Для лебяжинца оставаться лебяжинцем — было делом значительным, необходимым для жизни. Он только выйдет в поле, глянет в простор земли, отрезанный обществу из огромного сибирского пирога, и у него перед работой — перед пахотой либо посевом — слюнки текут, как перед едой. Но что-то дрогнуло и в этих чалдонах, жизнь оказалась и для них шаткой, надо было напрягаться умом, думать о жизни больше, примечать в ней разные перемены. Ведь это кто бы мог предста-

вить, что мужик с хорошим хлебом вдруг может оказаться в беде?

А кто выручил, отвел грозу: Святка!

Тут-то и вышла она в царицы жизни и начала работать и за себя, и за Моркошку с Соловком, и за Груню, и за всю другую скотину, выгоняя душистое молочко, да еще каждый год по телочке. Она на бычков не очень была расположена, телочек гораздо чаще приносила, а их, малюток, не только лебяжинские, но и жители других деревень покупали с огромным удовольствием, так что Устинов стал подумывать: да кто же главный-то в хозяйстве, Святка или кони рабочие? Он, мужик, пахарь и сеятель, или бабы, которые Святку обихаживают?

Уже через несколько лет читал Устинов в газетке, что лишь одна страна — страна Дания — вывезла от себя масла больше, чем Сибирь, никто другой в этом деле с сибиряками не тягался: четыре с лишним миллиона пудов в год — не каждому государству этакий слой маслица возможно было на кусок хлеба намазать!

Правда, Лебяжка и вся местность вокруг нее перестали теперь быть землей обетованной, не тянулись сюда, как прежде, переселенцы, не вымаливали ради Христа приписки к местным обществам, все севернее и севернее, под самую тайгу-урман, начали заходить переселенческие обозы, туда, где вольно было с лугами и сенокосами, но Лебяжка от этого не очень пострадала — почета меньше, меньше и хлопот. Да и зачем он, почет, после того как чуть было не покачнулось стародавнее, на зеленом бугре по-над озером селение Самсония Кривого?

К тому же за Лебяжкой оставалась ее, хоть и не золотая, а все-таки жила: лес оставался у нее сразу же за огородами. Лебяжинская дача — царская собственность, но мужику полезная неизменно. Как раз в те годы многие лебяжинцы пошли по дереву — одни плотничать, другие гнать деготь, промышлять лесной подсечкой.

И даже те хозяева, которые ни на шаг не отстали от хлеба и пашни, тоже задумали жить не так, как прежде жили: в складчину покупали сноповязалки, молотилки, сеялки, в складчину же посылали одного мужика из молодых и смекалистых на курсы машинистов, он и работал после не только на своем наделе, но за натуральную плату — на участках всех артельщиков.

Сделан был шаг, а вот он уже и следующий определяет: все земельные наделы артельщиков надо было свести в одно место, рядышком, чтобы не гонять машины из края в край лебяжинского землепользования — это же десятки верст получалось!

Общество поспорило, посомневалось и уважило артель: при очередном переделе земли отвело ей дальний, но не с плохими почвами надел, большой угол. Артельщики размежевывали его между собою уже своим собственным порядком.

Так и начала с той поры называться артель «углом», а все члены ее — «угловскими». Ну и еще производственной кооперацией называлась она. А если кооперация, то, само собою, во главе ее стал Петр Калашников.

О молочной и потребительской кооперации и говорить нечего: едва ли не в каждой деревне народилась лавка потребительского общества и завод маслодельный с ручной работой или с конным приводом, а в Лебяжке так заведен был завод механический — паровой движок работал на отходах лесного промысла, крутил маслобойки, а когда надо — и лесопильную раму.

И шло бы это артельное начало дальше и мало-помалу складывалось бы в новую жизнь, может быть,— в счастливую, если бы не война. Война и машинистов призвала к себе, и других мужиков. Распался «угол». Как начал он строить летом четырнадцатого года общий машинный сарай, закопал столбы неподалеку от места, где нынче поставлена была новая школа, так и стояли они до сих пор, те одинокие столбы-памятники. И ходили вблизи них лебяжинцы, не только бывшие «угловские», но и другие, все с каким-то странным любопытством: а вдруг оживут?

Нынче все еще наезжали в села инструкторы, непризывные в армию хроменькие мужчины, либо девчонки с пачками разных книжек, говорили речи, призывали «вдохнуть жизнь» в кооперацию и даже «новые небывалые силы», но приезжали-то они, если не считать книжечек, с пустыми руками, без мануфактуры и скобяных изделий, без керосина, оконного и лампового стекла. Какие уж тут небывалые силы?!

Ей-богу, ничего не оставалось нынче Устинову, как только вспоминать. Убеждаться в том, что есть у него со Святкой и, значит, с другой живою тварью общая кровь, и высоко ли, в небесах, или низко, у самой земли, но есть и какой-то общий закон, а может, и общая молитва

всего живого на свете! А как же иначе, если Святки могут поворачивать человеческую жизнь?!

И незадолго до войны Устинов стал спрашивать себя: а кем он сам-то родился? Люба ему пашня и пахота, и все-таки он, может быть, не столько пахарь, сколько животновод? И нравился ему святой Глеб — покровитель домашней скотины, образок с которым носят на шее прасолы и коновалы. Видно сразу, что святой из своих, из мужиков: бородка мужицкая, волос на голове не очень-то гладко расчесан, рубаха крестьянская, вернее всего — домотканая, доверху не застегнутая. И что-то этот святой знает из той общей для всякой живой твари молитвы, которую не знает никто.

В Святкиной стайке Устинов подколотил нынче ясли, почистил. Нарубил хворостяных дровишек. Покуда еще тепло, печурка не греется, а явится со дня на день настоящая зима, тогда только успевай — руби и руби хворост, подбрасывай в огонек. Не только днем, вечером и утром приходится эту печурку греть, но и ночью еще встать по тому же делу.

А вот к Соловку и к Моркошке Устинов долго не подходил: стеснялся. Виноват был перед ними — насчет Севки Куприянова мерина так и не узнал ничего по сю пору!

Однако ни Моркошка, ни Соловко, ни даже напрасно побитая Груня зла на него не таили, не упрекали, наоборот, когда он все-таки вошел в конюшню, Моркошка заржал, Груня хмыкнула доброжелательно, а Соловко зажмурился и вытянул к хозяину шею: надевай поскорее хомут!

Устинов долго не шевелился, и Моркошка потянулся через загородку, тронул его светлым пятнышком верхней губы за плечо.

Он весь был между темно-карим и светло-гнедым, Моркошка, а вот правая половина верхней губы у него оставалась младенчески розовой, почти белой. От этого казалось, что он весь в карее и гнедое только искусно покрашен, но вот на самый последний мазочек краски у маляра не хватило, и получился конфуз, потому что истинный цвет Моркошкиной кожи, какой она была до покраски, выдает это небольшое пятнышко на верхней губе.

«Ты, Устинов, боишься чего-то? Может, конца света?» — спросил Моркошка. Конца света Устинов, по правде сказать, так побаивался. «И напрасно! — помор-

гал Моркошка.— Напрасно, хозяин! Жизнь — она тоже не дура, она — не дастся!»

Прав был Моркошка!

Не первый уже день, как Устинов догадался о том, что, если бог есть, так он обязательно крестьянского происхождения и, значит, даже при самом конечном конце света кого-кого, а одного какого-нибудь мужичка в живых оставит! Свой ведь своего не забудет в любом обстоятельстве! Не может быть ни такого потопа, ни такого пожара, чтобы после них не осталось также какой-то букашки-таракашки;

а где букашка-таракашка — там и курочке-рябе найдется живое местечко;

а где курочка-ряба, там и коровенка-буренка;

а где буренка, там уже и мужик притулится.

Не только живой, но и хозяйственный. То есть при пегашке или савраске. Взять того же Моркошку, ведь это сколько в нем жизни — страсть! У него одно только какое-нибудь ребро будет целое и живое, а больше ему и не надо — он из того ребра весь оживет, и с гривой, и с хвостом!

— А что, Моркошка, проживем мы с тобою оба-два на всем белом свете?

Моркошка поглядел на белый свет, а белый свет отразился у него в глазах как бы даже и не снаружи, а изнутри: крыльцо устиновского крестового дома с дымком из трубы, дворовый колодец-журавель, Святкина теплая хлевушка и задняя половина самой Святки — голова у нее хлевушкой заслонена. И неба был надо всем этим подходящий кусочек. Может быть, от неба и получился в Моркошкиных глазах окончательный ответ:

«Не горюй, Коля Устинов,— со мной не пропадешь!»

Ну, когда так, надо будет им двоим с чего-то начинать... Вот сучок валяется в ограде уже сколько дней, такой втайне может сохраниться и после конца света. А Устинов его тогда возьмет, камнем каким-нибудь острым один конец у него укоротит, еще две палки с боков к нему приладит, и что? Получится мотыга, вот что! Теперь наладить из двух других веток хомутные клещи, обернуть их мягкой травой-водорослью — какая-никакая упряжь выйдет для Моркошки.

Мотыга есть, хомут есть, перекрестившись, поискать в природе каких-нибудь зернышек, поплевать в ладони, и пошел по ниве пахарь-сеятель с конем своим!

После первого же урожая, правда, не раньше, имеет смысл пошариться в лесочке-кустарничке, там наверняка найдется какая-нибудь бабенка, у нее порода еще живучее, чем у мужика. Даже можно и подождать и самому попытать — испечь какую-никакую буханку, и на тот хлебный дымок баба сама явится к тебе.

Устинов знает, читывал: был когда-то каменный век, и ничего, люди жили и в том веке, ну а он-то что — дурнее каменного человека? Да не может этого быть! Тот не пропал, а Устинов не пропадет и подавно!

И когда правда, будто человечеству придется начинать все как есть сначала, так ему, Устинову,— карты в руки!

Очень нужно было Устинову это о себе знать: от него пошла жизнь, а будет она кончаться — тоже кончится на нем, а будет начинаться снова — опять-таки с него же!

Многие уже стали об этом забывать в мире, стали думать, будто это все равно — есть ли мужик или нет его, стали его презирать за то, что полгода в году у него земля на зубах скрипит, что он темный-претемный, и вот он тоже разучился почитать самого себя и запамятовал, что он-то и есть начало всему, что это начало озаряет его и поныне и не надо ему от такого озарения уходить, бежать прочь.

А Устинов этого не забывал. И не забудет никогда. И, должно быть, поэтому он так обиделся на Родиона Гавриловича Смирновского, когда тот заподозрил, будто Устинов не совсем уже мужик, а вскоре и вовсе перестанет им быть!

Так обиделся и так расстроился, что и сам обидел Смирновского. Конечно, если уж на то пошло, куда больше хотелось бы обидеть Гришку Сухих, но Гришка — большой нахал, значит, обиде не поддается, а вот храброго и любимого своего командира обидеть было совсем запросто. Всегда ведь обижаешь только того, кого можешь.

Но не надо, не надо подозревать Устинова в том, будто он способен изменить крестьянской своей судьбе! Помнится, первым затеял эту подозрительность еще дед Егорий.

— Ох, отобьешься ты, Николка, от земли! Чует сердце — отобьешься! — говаривал он, вздыхая тяжко, со слезой.

— Не отобьюсь, дед! — оправдывался, как мог, Устинов.— Я ведь зачем разными работами занимаюсь, хожу в землемерные, в таксаторские партии? Я не к тому, чтобы от земли уйти, а чтобы поближе быть к ней, понять, как и что для нее делается учеными людьми! Для мужиковства пользы ищу!

Егорий не верил.

И не только он — Домна где-то в душе сомневалась, и мать сомневалась, и даже детишки куцым своим умишком сомневались в отце тоже.

А ему странным было это подозрение, ему казалось — до него стоит дотронуться, и вмиг узнаешь, что он — крестьянин, мужик. Кожа его скажет об этом. Если же дотошный какой-то человек Устинова помнет-пощупает, то и других множество подробностей о нем узнает... Узнает, что родом Устинов сибиряк, полувятско-кержацкого происхождения, что рожден в деревне Лебяжке, на бугре между озером и лесом. А как же иначе? Кожа у него пропитана не каким-нибудь, а лебяжинским черноземом, пылью окрестных степей, боровым запахом, пресной и соленой водой степных озер и подземных родников, которые выклиниваются на свет белый в озерных берегах.

Вот так же, как на своего коня, на правую или на левую ляжку, хозяин ставит клеймо, и получается при этом, что поставлено оно не на кожу только и не на шерсть, а на всю конскую жизнь гнедка-соловка, точно так же навсегда клеймит земля всех своих жителей — и букашек, и человека, всех, как есть! «Ты — мой,— написано тем клеймом,— мною рожден. Я твоя истинная хозяйка и мать!» И только одна есть неполадка в этом клейме — незримо оно, поэтому, кто хочет, тот и скрывает его от других, делая разную путаницу и беспорядок между людьми.

Устинов беспорядка не любил и не хотел ни от кого, тем более — от самого себя.

Ну, а потом прошло сколько-то времени, и все его домашние, вся Лебяжка подозрения свои бросили.

Это в одиннадцатом году от главной Сибирской железной дороги началось строительство ветки в южном направлении. Лебяжинцев дело не касалось. Они прикинули — им как было ближе и сподручнее ездить на магистральный полустанок Озерки, так и будет, ветка не только Крушихинской волости, но и уезда почти не задевала, проходила западнее.

Но хотя лебяжинцы оказались вдалеке от нового строительства, все равно стали заглядывать к ним разные люди — техники, десятники, подрядчики, фуражиры,— вербовать на стройку рабочих, землекопов и грабарей, скупать фураж и продовольствие для котлового довольствия. Рабочих они собрали тогда среди новопоселенцев огромное множество, фуражу и продовольствия — ничего: год был неурожайный.

Явилось двое техников и в устиновский дом:

— Вот, слышали мы, и даже не в вашей деревне, будто хозяин здешний, Устинов Николай Леонтьевич, умеет с разным инструментом обращаться? Правда ли это?

— Ну, не сильно могу я с инструментом и с цифрой управиться!— застыдившись и покраснев, ответил им Устинов.— А вы все ж таки проходите, садитесь...

Гости прошли, сели. Лето было, Устинов велел Домне подать квасу, они попили, похвалили квас, похвалили избу — за то, что чистая она, мух в ней мало и книжки водятся. После старший техник спросил:

— Скажи, Устинов, а что такое теодолит?

— Теодолит, а в прежнем смысле дак астролябия, есть инструмент для измерения угла на местности, в вершине которого сам теодолит находится!— ответил Устинов.

— Ну, брат!— удивился техник и даже потрогал молоточки на форменной своей фуражке.— Ну, брат Устинов, ты знаешь гораздо больше, чем нужно! Чем нужно для того, чтобы носить теодолит за техником! Ты, значит, носил?

— Сколько разов! А знаю я такие определения — дак я их люблю. Мне нравится все знать за каждым предметом. Особенно за тем, который в руках приходилось держать.

— Так... Ну а с пикетажистами ты работал?

— Приходилось...

— И мог бы разбить пикетаж сам?

— На ровной или на пересеченной местности?

— На ровной...

— На ей — смогу...

— А на пересеченной?

— Потише дело пойдет, но тоже сделал бы.

— А куда бы ты записывал тот пикетаж?

— Куда?— удивился вопросу Устинов.— Конешно, в пикетажный журнал, на сетчатую бумагу и в мачтабе!

— Постой, постой, Устинов! Так ты, может, и теодолит не только таскал на загривке, но и знаешь с ним обращение?

— Ну, конешно, не только я его таскал!— согласился Устинов.

— А что ты с ним умеешь?

— Умею центрировать на точке.

— А отсчитать угол?

— Почти не могу. В крайнем каком случае, ежели некому сделать. Ну тогда куды денешься — придется уже самому. А вот разбить заданный угол к данной линии — это сделаю. Это мне техники препоручали, хотя бы и при разбивке лесных визирок.

— Да как же ты это сделаешь, Устинов?

— Как все делают: совмещаю ноль лимбы и ноль алидады, направляю трубу по базисной линии на вешку, после открепляю алидаду и винтом-винтом гоню ее ноль до необходимого градуса на лимбе! Ну и, само собою, в оба глаза гляжу на верньер.

— Тебе цены нету, Устинов!— хлопнул себя по коленкам техник, а товарищ его, тот глядел, вытаращив глаза и разинув рот без двух верхних зубов.— Ты вот что, Устинов, а объем земляной работы ты подсчитаешь на плане?— снова задал вопрос техник.

— Резерв либо кавальер?

— Кавальер!

— Ну, глядя какая фигура. Когда она сложная и большая и требует разбивки на простые и малые — тогда долго слишком приходится мне считать. При моей-то грамоте.

Техник вынул из полевой сумки книжечку — как раз пикетажная оказалась она, с сетчатой бумагой, набросал на ней кавальер в плане и в профиле, надписал масштаб: «М:$^{1}/_{100}$», положил перед Устиновым зачиненный карандаш: «Считай!»

Устинов пошел на кухню, вымыл руки под рукомойником, лицо смочил холодной водой и отер его, чтобы пот не капнул с него на листок. Принялся считать. Долго считал, техник с товарищем разговаривали, в окно смотрели, горку с книжками разглядывали, Устинов не торопился — пускай подождут, им это дело нужно, а не ему, вот пускай и подождут. Наконец сказал, что посчитан кавальер и, надеется, что правильно.

— А вот сейчас и посмотрим!— сказал техник, вынул из той же сумки счетную линейку и быстро-быстро

стал двигать на ней стекляшку то в одну, то в другую сторону, тянуть планку. Сосчитал, еще раз уставился на Устинова:— Значит, так, Устинов: беру тебя техником-пикетажистом. Жалованье — пятьдесят пять рублей в месяц, включая полевые, плюс сверхурочные!

— Надолго?

— Да на все время, разумеется! Года на три! Пока идут изыскания и строительство! А здесь кончится дорога — поедем с тобою вернее всего на другую стройку. Не к своей же скотине ты, почти что техник, будешь возвращаться? Даже и не на три года, а вообще возьму я тебя в помощники!

— Ну зачем же мне к ей возвращаться?— спросил Устинов.— К моей скотине? Зачем, когда я и не уйду от ее никуда! Тем более — на три-то года и даже насовсем! Когда бы на три месяца, ну, может, и пошел бы!

— А ты не пьешь?— спросил тогда техник.

— На праздник пошто же не выпить?

— А вот сейчас угостить меня сможешь? Запас есть?

— Как не быть,— и Устинов крикнул Домне, чтобы подала.

— Ну раз есть запас — значит, не пьешь!— сказал техник, опрокинул рюмочку и еще раз спросил:— Ты понял меня: пятьдесят пять рублей и сверхурочные?

После, когда техник с товарищем пошли ночевать на сеновал, из каморки явился дед Егорий, развел руками и сказал:

— Оть энто — да-а-а! Пятьдесят пять! Да сверху урока ишшо! Да неужели же ты по правде несогласный, Николка?! Да у тебя голова-то есть ли, нету ли на плечах-то — не соглашаться? Дурак ты, Николка, либо кто? Не пойму я! Не замечал же я по сю пору особой дурости за тобой?!

Вот как дед Егорий, нагишом свою пашню пахавший, первым упрекая внука за то, что тот отходит от крестьянства, упал на колени перед этим жалованьем!

А внук — тот не упал. И не подумал.

Кто Устинова тогда понял, так это Иван Иванович Саморуков. Как раз после того случая с путейским техником он и нанес лебяжинским старикам обиду, сказав во всеуслышание, что среди них нету ни одного кандидата в лучшие люди, а вот Устинов Никола, мальчишка еще,— тот и есть настоящий кандидат!

Для Ивана Ивановича всегда ведь самой большой заслугой была верность лебяжинскому обществу, а тех, кто из общества уходил, он лютой ненавистью ненавидел.

Он даже покойников упрекал: почему не вовремя померли? Лебяжка новую поскотину городит, и старшим назначили по этому делу какого-то человека, а он взял да и помер! Безобразие!

И верность крестьянству и обществу, которую доказал тот раз Устинов, была Ивану Ивановичу великим праздником.

Если сказать по правде, так за свою верность земле и крестьянству Устинов и от земли, и от крестьянства, и ото всей жизни тоже хотел бы что-нибудь иметь, какую-нибудь удачу и счастье. Иной раз так и требовал: «Имею право — заслужил, заработал, зажил!» Он, конечно, не грозился: «Ага — вот как! Нету мне хорошей удачи, так я брошу все, всю Лебяжку, всю землю, все недвижимое и движимое имущество и подамся то ли в техники-пикетажисты, то ли еще куда!», он знал — жизнь угроз не боится, не хочешь — не живи, а вот просить от нее и желать — это можно!

И только нынче Устинов смешался, не знал, чего можно просить и желать, а чего нельзя.

Ведь как холил он Святку, как желал вырастить рекордистку, хорошо заработать и сняться с нею на фотографию, чтобы повесить ее у себя в избе?

Ну вот достиг: подсчитать и хорошо учесть Святкины удои — она вышла бы в рекорд по уезду, может, и по губернии! Но только кому нынче это нужно? Никто удой не учитывает и молоко не скупает. И что можно за молоко взять, кроме бумажных, неизвестно чьих, неизвестно на что годных денег? Где-то в России люди голодают, а здесь Святка с бесполезной гордостью носит свое огромное вымя, не знает, что маслице ее уже не катится в вагонах в различные государства, что ее портрет никто не пожелает на карточку напечатать.

И, значит, самый верный в жизни Устинова расчет оказался нынче без пользы, ни к чему. Оказался во вред, кормить Святку — корми, доить — дои, но сколько в твоей избе из этого надоенного выпьют? А остальное куда? Вот какая нелепость вместо подлинной-то удачи! Из умных в каких дураках ты оказался! А в дураках Устинов ходить не привык, не умел!

Может, Святку обухом по голове? Что есть силы между стройных ее рогов — и будешь умником? Чтобы пала она, и дрогнула бы под недвижимой ее тяжестью земля на устиновской ограде? Чтобы все остальное движимое его имущество замерло в испуге? До такого ума Никола Устинов тоже не мог дойти...

И он вспомнил о тех козах-коровенках, с которыми воевал когда-то, отгоняя их прочь от своей избы.

Они-то нынче жили не тужили: не надо от них молока хозяевам, так их и не кормят — идите кормитесь где придется сами! Понадобитесь — будем вас кликать обратно на ограду, не раньше! Этих война миновала, не заметила, а они не бог весть как заметили войну.

И вот тут, в этой живучести полудикой твари, и допустил, оказывается, Устинов просчет.

И было в свое время так: из Москвы или из Санкт-Петербурга приезжал к этим самым коровенкам ученый человек по фамилии Лискун. Он о всех скотинах знал все, что может быть о них известно, и хотя культурными породами занимался без конца, все равно самый большой интерес был ему в тех черно-белых и мохнатых сибирках. Он вот что о них сказал: хороший скот! Хороший, только беда — плохие у него хозяева! Если же коровенок этих кормить получше, поить зимой не из проруби, а подогревать хотя бы немного воду, устроить им какую-никакую, а крышу над головой, терпеливо их раздаивать, приучать вымя к работе, то можно поднять удойность в два и больше раза. А так как жирность молока у них почти в два раза выше, чем у чистокровных пород, то еще неизвестно, что лучше — держать одну культурную Святку или две-три такие вот неприхотливые коровенки? Которые потому, может, и относились с недоверием к людям и не очень-то к ним ластились, что догадывались: рано или поздно, а устроят люди между собой светопреставление и дикость, а тогда-то они, сами дикие, вот как понадобятся и вознесутся над гордой Святкой!

Еще узнать бы — что за человек тот самый Лискун?

Бритый или с бородкой под святого Глеба, покровителя домашней скотины? И почему никто до него вот так об этих тварях не подумал, а он догадался! Боже мой — просто как! Имя-отчество у Лискуна — Ефим Федотович. Крестьянское имя, доверчивое.

Жаль, не пришлось встретиться! Перед кем-кем, а перед Ефимом Федотовичем Устинов бы покаялся —

рассказал, как дубиной колотил ту, казалось бы, совершенно подлую скотину, как действовал против нее военной хитростью, забивая подковные гвозди в бревна своей избы. Покаявшись, поговорил бы с Ефимом Федотовичем о живом.

...Все живое знает: кто для чего родится, кому где жить, кто кого может съесть, а кого уже не может, кто по земле прыгает, а кто в воздухе летает, все это установлено твердо для всех.

Кроме человека.

Человек, того и гляди, каким-нибудь образом вовсе отпрыгнет от земли, от пашни, от движимого своего имущества, а что ждет его тогда? А если улетишь куда-нибудь? В тартарары, в неизвестность? В какую-нибудь окончательную войну между собою? В войну людей со всею остальной живою тварью? Тоже ведь — гражданская война, братоубийственная, жестокая, безумная?!

— Ефим Федотыч! Ефимушко! Не с Гришкой Сухих и даже не с отцом-командиром Смирновским, а с тобою поговорить бы на этот предмет?! На предмет всего живого. От тебя узнать бы — что и как?!

Глава десятая

КУДЕЯР

Ночью взвыл на ограде Барин.

Тревожно так, отчаянно.

Устинов проснулся, прислушался, а Барин-то не один выл, другие собаки тоже голосили — и на ограде Глазковых, и у Круглова Прокопия цепной кобель, старый-престарый, поседевший весь, хрипло, будто душили его, и кашляя, тоже старался, подавал голос. Его уже давно было не слыхать, а нынче взвыл и он.

«Может, война?!» — первое, что подумал Устинов. И замер от неожиданности. Растерялся, ослаб, сил не стало с постели вскочить. Хуже нет той неожиданности, которую ждешь со дня на день, о которой думаешь, что она только завтра придет, а она явилась сегодня... Потом Устинов заставил себя глубоко вдохнуть и выдохнуть, вспомнить, что он ведь солдатом был совсем недавно, не привыкать ему к войне, и слабость прошла. «Ну, навряд ли,— подумал он окончательно проснувшимся и отошедшим от первого испуга умом,— навряд

ли! Если бы война — все-таки слышно было бы в последнее время то ли о белых отрядах, то ли о красных, то ли о партизанах!» А действительно, слышно ничего не было. Крушихинскую и соседние с нею волости покуда миновало — ни бунтов, ни карательных отрядов, ни партизан было не слыхать. И самой-то власти было не слыхать. Она и не совалась сюда. И если на это у временщиков хватало ума — не соваться куда не следует,— то и слава богу!

Устинов прислушался еще, и ему показалось, что вот сейчас, сию минуту, в ставню к нему постучатся. Он привык к тому, что какое бы событие ни происходило, днем ли, ночью ли, а соседи к нему забегали, сообщали о случившемся.

Прошел кто-то мимо по улице — быстро, торопливо, а около устиновского дома не задержался.

Он подумал: снова порубщики? В первое-то их нашествие так же было — ночь была, и собаки хоть и не очень громко-густо, а подвывали. Легче стало от догадки, он снова стал ждать, когда же наконец к нему постучится Игнашка Игнатов. В тот раз, сообщая о порубщиках, Игнашка к нему стучался.

Домна проснулась.

Проснулась и так, будто Устинов, и не выходя из дому, лежа с нею рядом, все равно должен был все на свете знать, спросила:

— Ну что там, Коля? Опять?

Устинов не ответил.

Домна приподнялась.

— Нехорошее чего-нибудь?

— Откуда ему взяться-то нонче — хорошему?

Домна тоже начала слушать, но спокойно так, нетревожно. Такая она была: покуда с нею рядом ее мужик — для нее все на свете спокойно.

Одеваясь, Устинов думал: «Что я — каменная стена, что ли, для Домны? И напастей за этой стеной никаких не может быть?»

Ему хотелось, чтобы Домна испугалась.

Но Домна снова опустила голову на подушку и сказала:

— Коля! Выйдешь да узнаешь, что там и как,— вернись, скажи мне!

И ведь что еще удивляло Устинова: если его долго не бывало дома, с таксаторами он работал, с землемерами или вот больше трех лет воевал,— Домна ничуть не те-

рялась, рук не опускала, а вела хозяйство как надо, сама работала день и ночь, дочерей умела заставить работать. В войну перестроила баню на жилое помещение, взяла туда двух пленных австрийцев, а те без дела не сидели. И хозяйство не пропало, под гору не покатилось, осталось в хорошей сохранности.

Но как только мужик ее рядом с нею, так заботы у нее словно рукой снимает, она делается неторопливой, вальяжной, ходит по избе и негромко поет разные песни. Ну, конечно, убирается по дому, стряпает, нянчится с внучатами, ловко и быстро прядет, но выйти к скотине — ее уже и нет, теперь это не ее дело, вот разве что Груню взялась она нынче лечить, ставить ей на левую переднюю припарку из разных конских и даже человечьих лекарственных травок. Но и это только по особой дружбе, которая между нею и Груней водилась издавна. А вот уже Святку, и ту она не обихаживает, не доит — тут дочерина забота.

В воскресенье же Домна одевается во все чистое и садится вышивать или вязать рукавицы, шарфы, чулки — всякую всячину, а после обеда достает из комода еще и оренбургский полушалок, идет в нем к соседкам пощелкать подсолнухи, еще повязать что-нибудь красивое, но уже не одной, а с другими женщинами.

И не дай бог в этом порядке ей помешать — очень обидится! Их двое было во всей-то Лебяжке, таких женщин, которые хоть умри, а женщинами, да еще и со своими привычками, обязательно должны быть. Домна была такой, и вот еще Зинаида Панкратова. Тоже гордая. Другие все бабы ничего этого не знали, жили в трудах и заботах непрестанных; были и такие, что из синяков не выходили никогда; были, что и при живых мужиках только что не пахали, не сеяли и на жатках не ездили, всю же остальную работу тянули на себе. О вдовах, о тех и говорить не приходится, те в трудах и заботах неба над собою не видели, а может быть, и под собою земли.

— Вставала бы ты, Домна!— сказал Устинов, одевшись.— Поживее!

Поживее так поживее! Она перечить не будет, тоже начала поторапливаться, но даже в торопливости ее было недоумение: «Вот тебе раз! Воскресенье же еще не кончилось? Мой день!»

А как только Устинов, в шапке, в полушубке, выскочил на крыльцо и под ноги ему с воем бросился Ба-

рин, ему снова и невольно показалось: война! Больше нечему быть!

Он услышал на улице чьи-то шаги и крикнул:

— Эй! Кто там?

— А чо?— ответил через ограду мужской, может быть, уже стариковский голос и закашлялся.

— Война?

Прокашлявшись, голос ответил:

— Сам не знаю, язьви тебя!

— Ну, постой-ка там! Я сейчас!

И Устинов побежал с крыльца на улицу. Там был Круглов Прокопий, он жил через два дома и, дождавшись Устинова, тоже спросил его:

— Война?

— Сам не знаю!— ответил Устинов.

— А кто воюет-то? Белые? Красные? Ишшо кто-нибудь?— опять спросил Прокопий.

— Не знаю же я!

— Ну, пойдем на площадь да и встретим кого-нибудь! Тот, может, и знает!

И с подбежкой, быстро они пошли к площади, и как раз в этот момент там ударили в набат, в небольшой, но звонкий колокол, испокон веку висевший между двумя высокими столбами рядом с помещением сельской сходни.

— Припозднились ударять-то, хады!— возмутился на бегу Прокопий Круглов.— Народ уже и сам проснулся и повыскакивал на улицу, а оне все не стукают в колокол, будто не ихнее дело! Безобразие! Язьви тебя!

— А кто — оне? Кто не стучит-то?— спросил Устинов.

— Да не все ли одно — кто? Кто-то, а должон подать тревогу?!

— А кто нонче должон-то?— на бегу все еще пытался выяснить Устинов.— Никаких таких должников ни перед кем нету нонче — ни дежурных по наряду, ни сторожа при сходне! Никого! И никакой сколь-нибудь настоящей власти!

— Ну, как энто? Ну, милиционер есть живой! Жрет наш, мужицкий хлеб, а в колокол стукнуть дак лень ему? Или хотя бы из вас, из Лесной Комиссии, ктой-то должон найтись! Порубщиков хватать, вязать своих же мужиков по рукам-ногам, дак вы есть, язьви вас, а заради порядку веревку колокольную подергать, дак — язьвило бы вас всех в душу!— нету никого?

— Ладно тебе, Прокопий! — ответил Устинов. — Беги быстрее, делай шире шаг, а то я и один ударюсь вперед! — Про себя же Устинов думал: «А может, и так: двадцать четыре человека лесной вооруженной охраны имеется в Лебяжке, а дежурного в ночь поставить — никто не догадается! Бумаги сколько, протоколов разных написано Комиссией, сколько разбирательств гражданских ею сделано — а тут будто ветром сдуло всех! И куда сдуло? И может, прав Прокопий-то?!»

На площади уже было десятка полтора мужиков, и другие выбегали из переулков, копились в груду неподалеку от островерхой сходни.

В темном небе стояла почти что полная луна, выщербленная лишь с одного краешка, но неяркая, прозрачная. Лебяжинские избы по всем четырем сторонам площади в блеклом и слабом свете расплывались в углах, были похожи больше на округлые стога и зароды, чем на избы, одна только сходня острилась вверх.

Зато отсюда, с площади, потому что она была на возвышенности, на самом бугре, виднелась черная среди белесой ночи стена леса, а над нею — розовое, почти красное зарево. Там был пожар.

Там, за выступом леса, горело споро и ровно, зарево было яростным, оно колыхалось вверх и в стороны, изредка черный лес как бы раскалывался огненными трещинами, но тут же смыкался снова, и снова пламя оставалось взаперти, за крепостной зубчатой стеной и только иногда выметывалось вверх, плавилось в собственном зареве.

Устинов, как только выскочил на площадь, как только примерился взглядом к зареву, тут же и крикнул:

— Мужики! Гришка Сухих горит! — И тотчас представил себе, как огонь пожирает матерые постройки Гришкиной заимки, как лохматый, растрепанный Гришка, припадая на одну ногу, гонит в огонь за спасением разного добра своих молчаливых работников и, показывая им дорогу, тоже лезет в пекло.

Но Устинов никого не удивил, все без него знали: горит Гришка Сухих.

— Конешно! Больше в той стороне некому!

— А сказать, так и нечему!

И как стояли мужики и смотрели, так и продолжали стоять и смотреть в ту сторону, где над лесом, покачи-

ваясь в стороны, поднимаясь и опускаясь, тускнея и вновь накаляясь, красно сияло заревное облако.

Людей все прибывало на площадь, и, странно, чем больше их было, тем они становились молчаливее, никто и ни о чем уже не спрашивал. А кто-то, чуть ли не Прокопий Круглов, заметил вдруг:

— Да в колокол-то кто энто бьет? И для чего, спросить дак? Язьвило бы вас!

Колокол прозвенел еще два раза и тоже умолк, а Устинов крикнул:

— Мужики! Ведь энто же как? Ведь мужик горит! Лебяжинский! Хотя и заимочный и отделенный, а лебяжинский. А мы все стоим в карманах руки?

Прокопий, который так и оставался неподалеку от Устинова, обернулся и сказал:

— Брось, Николай Левонтьич! Не надоть!

— Чего бросать? Чего — не надоть?

— Народ смущать. Кричать при ем!

— Я к помощи призываю — какое же смущение!

— Настоящее: стоят все тихо-спокойно, а ты один, вишь ли, нашелся кричать!

— Поджог! — догадался вдруг Устинов.

И тут же подошли к нему и еще мужики и стали рассуждать, чьих это рук дело:

— Могли партизаны сделать. Хотя их не слыхать было, но все одно могли явиться и сделать. Когда им с кого-то начинать, так лучше, как с Гришки, не начнешь: и живет отдельно, и сам богатый. Богаче всех!

Мужики согласились, что могло быть и так.

Еще были догадки:

— Батраки Гришкины сделали. Терпели да терпели, после надоело им ходить в бессловесных тварях, они и сделали. Эксплуатация никому не глянется!

— Гришка в Лесную Комиссию чертеж подал на шесть десятин лесу. Даже на семь! Кто в те десятины одной ногой ступит — он в того грозился стрелять. Он, слыхать, ужо и стрелял. А Комиссия его за это...

И снова все согласились и как бы даже одобрили Комиссию — так и надо было Гришке!

Один другого догадливее были нынче рассказчики, и кто-то сообразил:

— Сухих сам себя пожег! Штобы послезавтра об эту же вот пору и всю-то Лебяжку пожечь! Будто бы в отместку!

Устинов дернул Прокопия Круглова за рукав:

— А ты? Неужели не побежишь Гришке помогать?

— Вот те раз!— удивился тот.— Мне-то што? Больше всех надобно или как? Или, может, мне Гришкина благодарность очень нужная?— Прокопий подумал, откашлялся и еще сказал:— Слишком уж он богатый, Гришка, язьви его! По нонешним временам, дак очень уж слишком! Сумел от мира отделиться, выселиться из деревни, пущай умеет и сам-один от беды уходить! Язьвило бы его!

— Прокопий!— не отступал Устинов.— Прокопий! Ты же сам-то не богатый разве? Сам-то не мечтал об заимке? Не завидовал Григорию? Не хотел брать его пример? Сколь у тебя коней-то на ограде? Рабочих? Шестеро уже? И еще, поди-ка, мало тебе?

— Было, Никола. А нонче я уже не сильно хочу Гришкиного примера! Обождать надо с им! С примером-то!— И Прокопий Круглов, еще раз кашлянув, отошел от Устинова, а в это время, стоя в розвальнях, кто-то быстро выехал на площадь. Выехал и крикнул громко, отчетливо:

— Кто на пожар! Садись! Живо!— Это Смирновский был, Родион Гаврилович.

Он придержал коней, подождал, но никто к нему не сел, никто даже не откликнулся. Еще спросил:

— Кто?

В розвальни бросился Устинов, Смирновский ударил кнутом коренника и погнал в сторону красного света. Кони побежали мелковатым, но быстрым шагом, на каждый шаг из-под тонкого снежка звучно отзывалась мерзлая земля, и слышалось, будто табун лошадей спешил куда-то во тьме, в белесоватой ночи.

Смирновский правил по дороге едва видимой, а где были глубокие еще осенние борозды — он держал стороной, справа на розвальни бежали деревья и тени их, большие, но нечеткие, расплывающиеся по снегу и одна по другой, слева, в затуманенной степи будто бы проглядывался край земли — обрыв, из него-то, медленно поднимаясь вверх, и приползал призрачный туман, а туда, в глубочайшую бездну, стекал отовсюду лунный свет.

Смирновский, в полушубке, в шапке папахой, попрежнему ехал стоя, смотрел только вперед и лишь на полпути оглянулся:

— Это кто же ко мне сел-то? Не ты ли, Леонтьич?

— Я, Родион Гаврилович!— ответил Устинов.

Когда оставалось миновать тот острый выступ леса, за которым пылал, теперь уже совершенно отчетливый, красного пламени пожар, Смирновский, сдерживая коней, крикнул:

— Падай! — И кто-то, неожиданно для Устинова, стукнулся ему головой в колени и проговорил глухо:

— Огонь! Огонь! Пламя! Пламя!

Это был Кудеяр, тот самый мужик, почти что юродивый, который всю свою жизнь провозглашал конец света. Он тоже бежал пешим на пожар, и Смирновский подхватил его.

Упавши в сани, Кудеяр внимательно вгляделся в лицо Устинова, признал его, перевел дыхание и сбросил рукавицы сначала в розвальни, а потом подобрал их и сунул за опояску своего коротенького, даже и не зимнего армячишки. Пальцами обеих рук он вцепился себе в бороду и, стоя на коленях, теперь уже будто в молитве или в заклинании, повторял:

— Огонь! Огонь! Пламя! Пламя! — А одно ухо шапчонки, мотаясь туда и сюда, колотило его в лоб.

Все отчетливее просвечивался лес.

Сосны стояли дневными, освещенными, словно при ярком восходе или в начале заката, иные ветви, и хвоя на них, и снег на хвое становились прозрачными, остекленевшими.

Пах! Пах! Пах! — уже слышно стало, как трещат в огне сухие бревна Гришкиной заимки. Трескотня была то реже, то чаще, словно на учебном стрельбище.

«Бежим, бежим, бежим — на огонь! — подумал под эту стрельбу Устинов. — Надо же — никто из богатеев не бежит на него — ни братья Кругловы, ни даже не очень-то богатые родные братья Гришки — Федор и Дементий, зато те и мчатся, которым до Гришки никогда дела не было и не будет: поручик Смирновский, юродивый Кудеяр да вот еще я, Устинов Никола!» И он тоже повторил про себя: «Огонь! Огонь! Пламя! Пламя!»

Тут кони прошли сквозь выступ леса, вынесли розвальни к этому огню и пламени.

Пожар спадал, уже сработал свое дело, но это и была пора самого горячего огня, и Гришкины постройки — большой дом, почти такой же, как не больше, амбар, длинное и приземистое скотское помещение и даже колодезный сруб жарко, красно и ярко пылали не только снаружи, но и внутри, и огонь переливался из конца в конец каждого бревна, плавился там, в сердцевине,

и ему было тесно, душно, а снаружи, над бревнами, был уже другой огонь, и два пламени — нутряное и воздушное, торопились отобрать друг у друга все, что могло гореть, трещать, искриться, становиться угольями.

Тут было светло, и первое, что увидел не в самом пожаре, а рядом с ним Устинов,— это пароконную телегу, заваленную большими и малыми сундуками и запряженную в пару. Кони — оба темно-серые, выездные — привязаны вожжами к дереву, кожа на них непрестанно содрогается, морды опущены вниз, к земле, потому что вожжи были захлестнуты за дерево у самого комля.

С края огромного и красного пожарищного круга стояла небольшая, до сих пор чудом сохранившаяся амбарушка, с другой стороны поднимались сосны — тоже сверху донизу красные, жались к земле редкие кустарники, а за кустарниками уже проглядывалась степь со снежком, сквозь который там и здесь проступали темные кочки, колеи дорог и даже гребни пашенных борозд, но, кроме коней, запряженных в телегу, нигде не было ни одной живой души — ни людей, ни скотины, ни птицы — никого. Только из бора, из темноты показался было огромный черный кобель со сверкающей от огня железной цепью, за ним сунулся другой, на трех ногах, и тут же оба снова исчезли.

Смирновский выскочил из розвальней, тоже закинул вожжи за дерево и сказал:

— Однако, сгорели все?

— Огонь! Огонь! Пламя! Пламя!— громко и быстро снова заговорил Кудеяр, а Устинов молча представил себе, как было дело: в пожаре сгорели все — и люди, и скотина, живым оставался только сам Гришка, он вывел двух коней с телегой, повытаскал на телегу сундуки, но ему показалось мало, он кинулся еще за каким-то добром и сгорел тоже.

И хотя Устинов не сказал ни слова о своей догадке, он понял, что и Смирновский прикинул точно так же, и даже Кудеяр сообразил, как и что́ здесь произошло.

Однако же Гришка Сухих был жив, и вскоре они увидели его.

Гришка был по ту сторону пожарища. Он сидел на табуретке, смотрел в огонь и курил. На нем была плюшевая бабья кофта-жакет, перехваченная солдатским ремнем и растопыренная на груди оттого, что там лежал какой-то узелок, показываясь наружу двумя кончиками

пестрого материала; на плечах и на спине кофты желтели ватой прогоревшие дыры, на голове не было ничего, только лохматый волос, из которого, показалось Устинову, тянуло легким дымком.

Придерживая одной рукой цигарку, другой Гришка трепал себя за бороду — левая половина бороды была у него подпаленной, серой, он вытряхивал из нее пепел.

Смирновский, Устинов и Кудеяр подошли к нему.

Гришка не пошевелился. Как сидел, курил и трепал бороду, так и продолжал свое занятие. На огонь он смотрел даже с интересом и сочувствием, как смотрят в задумчивости на огонек небольшого костерка.

— Григорий? Скотина-то не сгорела у тебя?— спросил Смирновский.

Гришка пожал плечами, но не ответил.

— Скотина сгорела?!— переспросил Родион Гаврилович.

Гришка снова пожал плечами:

— А не все ли энто теперь одно?— Подумал и еще сказал:— Энто нонче все одно...

— Люди? Люди не погорели, Григорий?

— А не все ли энто нонче одно?— снова ответил Гришка.— Што сгорело, то уже сгорело. Раз и навсегда.

— Огонь? Огонь? Пламя? Пламя?— теперь уже не уверял, а спрашивал у кого-то Кудеяр.— Пламя?!

— Да ведь тут кем-то сделано, Григорий?— спросил Устинов.— У тебя-то кто в мыслях?

Гришка выплюнул догоравшую цигарку, обернулся к Устинову и засмеялся:

— Интересно спрашиваешь, Устинов! Интересно-то как!— И начал завертывать другую. Завернув, поднялся с табуретки, подошел ближе к пожару и протянул к огню руку. Постоял так с протянутой рукой, и в ладонь ему упал небольшой уголек — их тысячами разбрасывало пламя, таких искорок и угольков,— Гришка быстро прикурил от одного из них и вернулся на свое место, на табуретку.

Пожар словно вознегодовал от такого обращения с ним и разъярился, затрещал и загудел, снова впал в бешенство — ему уже не хватало ни пути, ни пищи, уже миновало его главное и бесшабашное пиршество, когда он метался из стороны в сторону, от одного лакомства к другому, повсюду встречая сухое, податливое дерево; он теперь на второй раз облизывал каждое бревно, искал собственные объедки, все, что было им пропу-

щено, не сожрано сразу же. Он был теперь не столько огнем, сколько жаром, раскаляя вокруг себя воздух, все еще нацеливаясь через этот жар перекинуться на сосны, а с них — на весь бор, с бора на весь мир, но сосны, потрескивая и стекленея, роняя паленую хвою, не загорались, а тогда пожар стал тянуться в сторону небольшой амбарушки, которая вся была огнем просвечена, но не горела и не горела до сих пор.

Пожар к ней тянулся, освещал ее пронзительно, казалось, даже не с одной, а со всех сторон, сверху падал на нее ярким светом — снежок на кровле давно уже растопился, кровля дымилась паром.

— Ребята,— сказал Смирновский,— давайте хотя бы амбарушку эту спасем, что ли? Берем слеги, откатываем горящие бревна от нее подальше? Ну? У тебя там что, Григорий? Зерно? Еще какое добро?

— Разное у меня там добро, Родион,— ответил нехотя Григорий.— Зерно семенное. Шерсть прессованная. Деготь. Стекло оконное. Разное добро имеется там.

— Она спасенная, эта амбарушка, Родион Гаврилович! До ее огню уже не дотянуться, нет!— сказал Устинов.

— Не дотянуться?— живо спросил Григорий.— Энто не дело — не дотягиваться! Нет! Мы энто поправим!— И он снова поднялся с табуретки, обернув руку подолом своей кофты, выхватил из огня головешку и, припадая на хромую ногу, быстро побежал к амбару. Подбежав, сунул головню в щель между двумя досками приступки, переломал ее и другую половинку бросил на крышу амбара. И там и здесь, и с крыльца и с крыши, тотчас занялся огонь, наверху — меньше, от приступки — больше и яростнее, здесь он лизнул дверь, зачернил ее и как будто от нее отпал, но только на мгновение, а потом снова прильнул к доскам двери, вскочил еще выше — на карниз, с карниза еще выше — на венцы и снова, поверив, что теперь-то он уже не остановится никогда, никогда не потухнет, что ему будет что пожирать без конца,— радостно взметнулся в небо.

— Ну, что же это ты делаешь, Григорий?— спросил Смирновский, и в калмыковатом его взгляде тоже вспыхнуло зло, какая-то обида, и Гришка толкнул обратно в рот цигарку, которая оказалась у него зажатой в левой руке, и ответил:

— Жалею — землю энту пожечь нельзя! Не сгорит! Когда уже на энтой земле мне не жить, то и место самое

пожечь ба! Вот ба — да-а! Вот ба я бы загорелся, а из меня пожар на весь ба уезд! Вот ба да-а!

— Ну как же так-то?— изумился Устинов.— При чем здесь место? При чем земля? Да разве она виноватая?

— А неужели? Когда я горю либо тону, тогда все вокруг меня виноватое есть!

— Сундуки-то ты из огня, Григорий, таскал? Сам горел, а из огня их выносил? Значит, нужно тебе твое добро?

— Таскал!— согласился Григорий.— Што успел. А што с собою не увезу, хотя свое добро, хотя землю вот энту, хотя бор сосновый кругом, хотя и тебя, Устинов, дак энто все да пожечь! Все ба! До края! Тебя ба, Никола, особенно!

— Братья у тебя здесь родные!— никак не соглашался Устинов.— Братья в Лебяжке — сам уедешь, им добро осталось бы!

— Какие-такие братья?— спросил Гришка.— Смех же один, а не братья!— И Сухих захохотал, подошел к табуретке, схватил ее за ножку и тоже бросил в огонь.— Смех один, ей-бо! Што попридумывали, а? Братьев попридумывали!— Выплюнул цигарку на землю и по привычке затоптал ее ногой. Повернулся и пошел к своей подводе.

Через минуту, ругая последними словами коней и все на свете, Гришка Сухих уже выезжал из пожарищного круга в темную, безмолвную степь.

Он уехал бы, не оглянувшись, но Кудеяр крикнул ему:

— Григорий! Ты пошто же энто? Ты сам себя пожег, Григорий! Сам?

Сухих попридержал коней и обернулся. Погрозил кулаком:

— Ладно, што ты — Кудеяр! Другого дак я ба сейчас и спалил за слова! Ладно, што ты, Кудеяр! Другого ба пихнул ба вот в пожар, и хорошо ба получилось!— И он снова понужнул коней палкой, кнута у него не было, а потом обернулся еще раз:— Ждать мне некогда! А то ба подождал! Посидел ба у огонька-то. Поглядел — кто ишшо-то на мой огонек явится, кроме как вы! Поджигатель — он же завсегда выходит дело рук своих поглядеть! Как убивец выходит к убиенному. Но недосуг. Недосуг, да, может, и не явится никто, кроме вас троих!

Ну покеда! Бывайте здоровы, братья-товарищи! Встретимся ишшо! Обязательно!

И Гришка еще сильнее взялся колотить коней и стал быстрее уплывать из красного круга в темную степь, и уже оттуда, из темноты, донеслась вдруг его совсем странная, даже и не мужичья, а бабья песня: «Лети-и-и, казак, ле-ети стрело-о-ою...»

Погромыхивая железной цепью по мерзлой земле, следом за Гришкой кинулся из бора черный кобель, за этим — другой, обгорелый, на трех ногах.

Смирновский, Устинов и Кудеяр молча смотрели на затухающий огонь... Вот он и амбарушку сожрал — груда угольев осталась, и снова нет продолжения его буйной жизни.

Смирновский сказал.

— Ну? Едем!— И пошел к розвальням. Устинов — за ним.

А Кудеяр не пошел, остался на месте, еще побормотал об огне и пламени и крикнул:

— Николай Леонтьевич! Нельзя нам отсюдова удаляться! Ты же знаешь — нельзя и нельзя!

— Пошто?— удивился Устинов, и Смирновский тоже обернулся:

— Почему? Что такое?

— Нельзя и нельзя!— взмахнул обеими руками Кудеяр.— Как Сухих объяснил, так и будет: оне придут! Сами!

— Кто они?

— Поджигатели! А когда мы не дождемся, не увидим, не узнаем их — тогда ими же и окажемся! Поджигателями! Он верно сказал, Сухих: нельзя!

Смирновский сердито и резко подтвердил:

— Едем!

— А я тебя не прошу, Родион Гаврилович! Я знаю, тебя не допросишься, нет. Ты останься, Никола, тебя прошу и умоляю: останься! Услышь меня!— кинулся к Устинову Кудеяр.

Смирновский остановился, посмотрел на Кудеяра.

— Николай!— сказал он,— заходи сзади. А я — спереди! Берем его в сани и увозим. Не оставлять же человека одного? Берем!

— Ну, куда же мы его увезем, Родион Гаврилович?— засомневался Устинов.— Он все одно прибежит

обратно. Он и дорогой будет метаться. Нет, так не пойдет!

И Кудеяр подтвердил:

— Все одно — прибегу обратно! И в санях буду метаться! Буду! И тебя буду звать оставаться здесь, Левонтьевич! Умолять и плакать перед тобою! И рыдать. Пошто ты не хотишь-то быть со мною?

— Не хочу.

— А сказать тебе, Устинов? Скажу: ты правды боишься! Ты боишься ее и меня через ее же! И бежишь, бежишь, бежишь меня едва ли не всю свою жизнь! А я не отстану, я не седни, дак все одно завтре тебя настигну, не дам тебе бежать от правды ко лжи! Не дам! Не позволяю! Не бегай же боле, Никола Устинов, останься со мною!

— Ладно!— кивнул Устинов.— Поезжай, Родион Гаврилович, а мы посидим у тепла. И у пепла.

Смирновский махнул рукой и вскочил в розвальни.

Звали этого мужика обыкновенно: Дмитрием. Дмитрий Пантелеймонович Янковский, его предки из Минской губернии происходили и тоже были раскольниками.

Поколения Янковских сначала жили в Лебяжке как все: пахали, сеяли, жали, а потом заметно начали вымирать, дети — в младенчестве, взрослые — не дождавшись детей и внуков.

И остался в конце концов один Янковский Дмитрий, тоже бездетный. Сам жил долго, а вот продолжения рода не сделал, завершал собою несчастливую фамилию.

Правда, ни фамилии его, ни имени давно уже никто не знал, все забыли их, и сам-то он тоже забыл, жил под званием Кудеяра.

Под таким именем разбойничал долгое время разбойник на Руси, даже не один, а много их было, Кудеяров, и все великие клады закапывали в землю, по сю пору никем не найденные. Почему к маломощному мужику Янковскому Дмитрию пристало этакое название, сказать было нельзя. Пристало, и все тут.

Жил он в избенке на отшибе от Лебяжки, чуть подальше того места, где нынче была поставлена новая школа, жил со своей полуслепой старухой.

Выйдет Кудеяр на пашню, поработает до обеда, потом бросит свой армячишко в борозду, ляжет на него,

руки за голову и глядит, и глядит неподвижно в небо. Кони ходят поблизости в упряжке, то ли травку пощипывают, то ли просто так глядят кругом, а хозяину и дела нет.

Неделями целыми от Кудеяра слова никто не слышал, а вот других слушать он готов был всегда, и как только мужики соберутся посидеть по-над озером на бревнышке, он тоже к ним присядет с краешку и слушает, но сам — немота немотой.

Выезжал из Лебяжки Кудеяр редко, в Крушиху, и то его не сговоришь, он лучше из трети и даже исполу отдаст кому-нибудь продать свой продукт на базаре, чем сам будет этим заниматься, но изредка запрягал он коней и ехал куда-нибудь далеко — на железную дорогу или в уездный город.

И вот уже тогда, наслушавшись разного проезжего люда, потолкавшись просто так, с пустыми руками, на ярмарках и на постоялых дворах, Кудеяр отверзал уста свои.

— Мужики! Крестьянство-христианство! — кричал он, бегая по улицам Лебяжки.— Задавит нас всех вскорости чугунка! Всех измолотит в себе: баб и ребятишек, старух, стариков! Берегитесь! Сожрет она все седины человеческие, сожрет глазки детские, голубые и младенцев с непросохшими пупками тоже сожрет! Мужики! Люди! Христианство! Послушайте меня, Кудеяра прозвищем! Послушайте все, не отвергайте правду клятвенную: конец настает крестьянству, и аминь! Недолго еще осталось пахать и сеять нам под небом сим — и так уже закормили мы города, и беснуются там люди, и ладят ненужные пре́дметы, и шапки ненужные, и пинжаки ненужные, и сапоги ненужные, ценою кажный в рабочего коня, и машины чугунные неладные, и книжки богохульные, и наводняют оне непотребством этим весь мир, как потопом, и коптят до края небо, и сосут забавы ради и выдумки разный сок из почвы, и уничтожат они кормильцев своих, пахарей-крестьян! И сгонят их с пашни, из-под неба голуба в дым и чад свой и богопротивную жизнь нечеловеческую! Сведут оне нас, как язву и болезнь, сами язва и болезнь великая, непотребная и греховная, сами — проказа безумная! И так оно и предсказано было в Писании, ибо, не вспоивши и не вскормивши, не наживешь себе врага-истребителя! Братья-мужики! Не ездите более в города, не ступайте ни ногой в поганую ихнюю землю, не ды-

шите смрадом их и проказой, не возите туды малой корки хлебушка — пущай оне поймут в том угаре, чаду, дыму и безверии — кто из людей живет праведно, а кто — окаянно и похабно, ибо глад только великий и великий же мор вернуть могут людя́м рассудок, и правду, и веру в бога истинного!

В последний раз бегал Кудеяр по Лебяжке, и, слышно было, даже по селу Крушихе, когда народ уже страдовать начал, а он бегал и кричал:

— Царя убили! Убили царя, и деток его, и других много с им вместе! Царя убили, и крестьянство вот так же убитое будет! Будет и будет!

Устинов тогда, слыша кудеяровские вопли, думал: «Тьфу ты, пропасть какая! Сколь народу побито уже в России, а кто более всех виноват в этом? Царь виноват, более чем он — кто же? Так почему же он-то убитым не может быть? Какую он жизнь сделал, такая его и убивает, делал бы другую, и сам оставался бы живой! Один только расстрел девятьсот пятого года припомнить, и то — почему и он царю даром должен пройти?» Устинова это обижало, он сам бы царя стрелять не стал, не его дело, но что для кого-то это было делом — он представить мог вполне. Когда человек чинит расстрелы и бессмысленные войны — почему он сам-то во веки веков должен быть невредимым? Нет уж, тут дело наоборот — кто казнит, у того голова должна быть заложена, сделал не так, казнил зря — отвечай собственной головой. Иначе не будет никакой управы на казнителей. Не хочешь этого — не ходи в цари и владетели, иди в мужики. Вот тут Кудеяр был прав: более святого дела, более человеческого, чем крестьянство, нет, вот и иди в него, скрипи землею на зубах, спи на соломе в пашенной избушке, ломись от боли в руках-ногах и в спине после каждой страды. Плохо? Трудно? Зато голова у тебя не заложена, и вреда ты не сделаешь никому и никогда, а сделаешь только пользу.

Но Кудеяру разве можно было что-нибудь втолковать, когда он бегал, шалый, патлатый, по улицам? А встретив тебя, дикими глазами уставится в твои глаза, и бородой в тебя тыкается, и руками машет — показывает конец света.

Двое-трое в Лебяжке было мужиков, те, как послушают Кудеяра, так и запьют, не глядят, что и праздника нет, что работы в поле и на ограде у них по горло! Из-за этого сильно не любили Кудеяра бабы, и только он по-

кажется на улице, они загоняют своих мужиков в избы, закидывают крюками двери.

Иной раз Кудеяра спросишь:

— Ну, как это все худо да худо тебе? В чем оно — худо-то?

— А во всем!— отвечает он.— Во всем, как есть!

— Солнышко вот светит! Разве худо? ,

— Погаснет и оно... Погаснет и не засветит более.

— Зачем ему гаснуть? Оно светится, жизнь дает! Мне дало жизнь! Вот я и живой, баба у меня, и ребятишки в избе — живые. Пошто же ты и меня призываешь «худо» кричать?! Нехорошо! Несправедливо жизнь от корки до корки хаять, обижать ее!

— А надолго ли? Живые в твоей избе — надолго ли?

— Да не кликай ты беды, Кудеяр!

— Я не беду, я правду кликаю! Глаза снова и снова людя́м открываю: обреченные мы все, крестьянство!

Устинов от встреч с Кудеяром не запивал, но тоже говорил — безумство это, и никто, как сам Кудеяр, предупреждая людей о конце света и крестьянства, этот самый конец может накликать, потому что лишает человека здоровья и сил. Заразный он и легко может свою болезнь на других перекинуть. На Устинова — нет, но за всех ручаться нельзя. Еще,— повторял и повторял Устинов,— это от безделья у Кудеяра происходит, а безделье оттого, что нету у него ребятишек. Бездетные запросто чудаками делаются, один — птичками увлекается, другой — голубей гоняет, еще кто-то кошек разводит. Не мужики все это, а блажные какие-то! У кого есть ребятишки, особенно если ими полна изба,— тому ни такие занятия, ни разные там концы света в голову не приходят, тем надо об ребячьей жизни, а не о своей смерти заботиться.

Так говорил Устинов Кудеяру в глаза.

А вот за глаза и только для самого себя говорил о нем не совсем так, потому что кудеяровский страх, бессвязный, почти овечий, в жизни тоже был. В жизни был, в воздухе был, еще где-то был, существовал. И Кудеяр чуял его существование. Даже овцы его так не чуяли, как он.

Ведь это же правда, что человек по земле ходит, от земли живет и кормится, а беречь ее не умеет, да и не хочет, оскорбляет ее! Выпачкается в ней и говорит: грязный-то я какой!

Устинов был мужик из чистоплотных, любил в бане париться и под рукомойником полоскаться, но вот сказать о земле, будто она грязь,— да как же так?

Человек от матери родится тоже в крови и в остатках каких-то ненужных, которые выбросят после на помойку, но ведь никто же не говорит о матери, будто она — грязная?

Землею рождаются все люди — и дети, и отцы, и матери, и предки, и потомки,— а спроси, узнают ли они в лике ее мать родную? Любят ли ее? Или только притворяются, будто любят, на самом же деле хотят от нее только брать и брать, в то время как любовь — это же ведь умение отдавать? И даже не может истинно любящий человек не дать. Земля всегда готова погибнуть ради людей, источиться для них, изойти в прах, а найди-ка такого человека, который скажет: «Готов погибнуть ради земли! Ради лесов ее, степей, ради пашен ее и неба над нею!»

И тут невольно вспомнишь о Кудеяре: может быть, действительно нужны такие, как он, вещуны? Чтобы напоминали людям о неоплатном их долге перед землею, перед жизнью и богом? Чтобы денно и нощно опасались конца света, помнили, что он действительно может случиться? Их юродивыми зовут, этих людей, их презирают, а в то же самое время по насилию и по приказу в юродивые никто ведь не идет, люди шли на юродство и презрение, на позор и муки добровольно, по указу одного только бога, потому что, родившись, поняли: такой у них крест, надо его нести!

И возлагает человек на немощные свои плечи этот тяжкий крест, во много крат больший, чем силы человеческие, и несет его до конца жизни. И не совсем уж зря Кудеяр природой придуман. Он-то придуман ею, а тебе-то думать самому: зараза этот Кудеяр и дурная болезнь или исцеление от недугов твоих?

Смирновский уехал, остались Устинов и Кудеяр. Сели на огромный пень. Все еще было вокруг светло, как днем, пожар остался без пламени, но светил изнутри всего сгоревшего малыми и огромными угольями.

Кудеяр шептал тихо:

— Огонь! Огонь! Пламя! Пламя!..— потом спросил:— Никола? А сызнова вся жизнь может, нет начаться?

Устинов и сам не раз об этом думал, но только для себя.

— К чему спрашиваешь-то?

И Кудеяр стал говорить, повторяя устиновские мысли, как если бы слышал их когда-нибудь от него:

— Может, нет ли быть, штобы первый пахарь сызнова первую борозду проложил бы? Штобы жизнь вторично зачалась и священная книга была бы по-другому написана? И человек бы по-другому, по истинно человеческому пути пошел бы? По чистому пути! Никем не замаранному, никакими колеями не разбитому?!

— Нет!— сказал Устинов неожиданно для себя, потому что раньше он и сам об этом же про себя мечтал, а вот вслух ему от мечты нынче пришлось отказаться,— нет! Не может быть! Земля есть одна, и человечество — одно. И всего-то оно желает для себя, всего требует, но сколь ни желал и ни требовал для себя второй жизни человек — никому не удавалось. И не удастся! Когда многие мильоны раз не удавалось, значит, и не удастся никогда! Когда не удавалось одному — не удастся и всей жизни, сколько ее есть!

— А когда революция огненная людьми делается? И братоубийство?! Энто, может, и есть тот пожар, в коем все погорит, а какие крохи останутся — с тех все сызнова зачнется? Как там у вас на фронте вами, солдатами, провозглашалось в окопах? Когда делался бунт и восстание?

— Всяко... Больше о том, как войну кончить, как землю взять крестьянам, фабрики — рабочим, власть — всему народу.

— И все?

— Будто бы все. Не припомню большего.

— Ну а тогда дело ясное!— глубоко вздохнул Кудеяр.— Тогда и до конца недолго уже осталось. Тот конец только и далекий, раньше которого какое-нибудь начало стоит!

— На наш век и конца хватит, Кудеяр!

— А мне свой век — тьфу! Одно проклятие! И не может истинный человек однем веком жить!

— А в бога ты веришь, Кудеяр! Как ты в его веришь-то?

— Не в такого, как все... Все-то ведь и кажный не знают его, настоящего! Только думают, будто знают.

— А ты знаешь? Ты дознался, Кудеяр?

— Я до одного дознался — настоящего-то его понять нельзя! Не дадено этого им человеку.

— Так их двое, что ли, богов-то? Один настоящий, а другой — кто?

— Другой-то — временный. На день поставлен только. День с им прожит как-нибудь, и все тут! Ну, пущай, жизнь одна прожита, дак разве в том дело? И в том истинная правда? Уже как завтре будет, как вослед за отцами дети будут жить — он и сам не знает, не может дать указу. Ну а без божьего указу — где же он, бог-то сам? В чем он и где? Когда божьего указу нет — тогда и есть конец всему!

— А я так склонен к нонешнему, к нашему, Кудеяр! Он для земли, и я для ее же — вот и ладно, и поживем, сколь поживется! И помрем вместе: он и человечество! Он порядок жизни всему на свете дал, всякой живой твари, а от доброй своей души человеку дал разум — распоряжайся сам, свой собственный делай порядок! Ну а когда мы с тобою добротой правильно попользоваться не можем — его винить, прочь отстранять тоже нехорошо! Не по-божьи это и не по-человечески. Так что — пока мы живые — поладить бы жизнь вместе. А тот, другой, слишком уже далекий. Это про его Игнашка Игнатов говорит, будто ему наших свечек не видать!

— Вот и наша с тобою разница!— сказал Кудеяр.— Вот она!— И показал ее рукой.— Понятная она сделалась! Понял я, как ты меня не любишь, Устинов! Пошто ненавидишь!

— Ну а за какое такое добро тебя любить надо, Кудеяр?

— За правду! За истинную! Выше которой нету ничего уже! И ты изверг, Устинов, ты получше других знаешь, пошто надо меня любить, но не любишь, не слушаешься совести своей! Скрываешься от меня! И от себя! А ты послушай, сделай по моей мольбе — пойди крикни народу правду! Пойди! Убей, уничтожь разницу между нами! Собери сход в Лебяжке, крикни: признаюся я во лжи, скрывал я ее от себя и от вас, людей, жил денно и нощно в ей в одной! А когда отрекаюсь я ото лжи, когда иду к правде, дак вот она: конец свету и крестьянскому миру грядет и наступает! Губит человечество кормильца своего, штобы самому погибнуть вослед! Поймите энто все и кажный! Уйдемте же все дальше того, как уходил предок наш, старец Лаврентий, уйдемте от чугунки адской, от городов распутных и алчных, бросим селение наше Лебяжку и проклянем имя Самсония-Кривого, што изменил он святому Лаврен-

тию, отвел предков наших обратно на энто греховное место, распутству и братоубийству доступное! Лаврентий подлинно знал: нельзя к месту проклятому возвращаться, он издаля чуял, што блудницы девки полувятские уже топчут его, што затопчут оне и православие, и всякую тропку к богу истинному! Крикни же, Устинов! Я кричу — меня обсмеивают, ты крикнешь — западет слово твое в души человечьи, а нет — бери припасу малого, иди в другие села, призывай других людей уходить в неизвестные земли ото лжи и братоубийства свального! Не седни, то завтре всем нам уготовленного. Упреди людей: лучше быть убитым и пожженным, чем убивать и жечь! Упреди, молю тебя! Упреди, штобы гордость имели человеческую, не позволяли бы из кормильца-поильца человеческого, из крестьянина делать игру и дикую забаву, делать из его обутку негодную — попользовал ее сколь-то, да и бросил, да и плюнул в ее, да и стукнул клочьями друг об дружку, штобы и клочков и тех бы не осталось!

— Бессмысленность это, Кудеяр! Этакая правда — одно только горе, страх, бессилие и ужас. От ужаса ума не бывает. И правды тоже! И жизни! Одна только смерть!

— Ежели от правды смерть, пущай так и будет! Как бы от ее не было, лишь бы она!

— Напрасный будет крик. Непонятный! Как вороний кар!

— Поймут тебя, Никола! Каждый ведь про себя, про свою душу энто знает глухо, будто во сне, а громко никто не кричит! Вот и крикни ты! И разбуди крик в душе кажного!

— Мне нельзя! Я работник, я не крикун!

— Вот и сделай — когда тебе нельзя! Люди поймут — и нельзя человеку, а он кричит! И поверят ему! И поймут: живем все в неправдашном мире! В поддельном, до края выдуманном! Все выдумано в ем — какие-то дела, слова какие-то, правда какая-то, книжки противуистинные! Убийства! Корысть и уничтожение! Все выдумано, будто для хорошего, а на самом-то деле? На самом — к погибели собственной и к проклятию!

— А ты будешь за меня на двух и даже на трех пахать? И за коровой моей, за Святкой, ходить? И семью мою поить и кормить? Хочешь судьбой меняться, Кудеяр?

— Я не могу, што ты́ можешь, Устинов! Ты знаешь, не могу.

...Поглядел на огонь Кудеяр, поправил шапчонку на голове: шапошное ухо все время сползало ему на лоб.

— Не родиться бы мне совсем, Устинов! Вот счастье было бы!

— Правдашные-то Кудеяры клады закапывали. Для будущих людей. А ты не то клад после себя оставить, ты сам родиться не хочешь!

— Клад-то я, Устинов, имею. Правду я имею! И не закапываю ее, а выкопать хочу тот клад для всех людей, но оне его и видеть не желают. Нисколь! Никому не нужон тот клад. Сгореть бы мне, Устинов! Вот сейчас и сгореть бы, а?

— И сгоришь, а что докажешь?

— Не докажу. Обезьяне разве докажешь словом? Сроду нет! Объявлено уже в городах, будто человек изошел от обезьяны. Громко объявлено, а кто в родстве с ей не желает быть — тот объявлен глупым и темным! Ну а когда так, пошто не убивать людям друг дружку? С обезьяны какой спрос? Какой у ее разум и чувствование?— И Кудеяр встал с пенька, подошел к пожарищу. Спросил:— А ежели я сожгусь, как наши предки сжигались, то хотя бы тебе одному, Устинов, докажу я штонибудь?

— Нет, Кудеяр, не докажешь!

В ответ Кудеяр поднял на Устинова глазищи и стал шептать. Молитву не молитву, а что-то похожее на нее.

— Господи! — шептал Кудеяр.— Устинова Николая Левонтьевича зрил я за умного и правде преданного! Но и здесь обман, господи! И он тоже правду знать не хотит нисколь! А когда знает — скрывается от ее, боится слова об ей для себя и для других всех. Боится! Ложь ему праведнее правды, ее исповедует он! И не только што в жизни, но и в смерти своей хотит он лжи, и на смертном одре чуждо ему будет прикасание к истине твоей! Бог настоящий — где ты? Пошто допускаешь зло и непотребство хотя бы и в смерти, не говоря о жизни человеков? За што, господи? За што и тех караешь, кои прозрели к правде твоей? И придаешь им глас, а глас тот вопиет в пустынности? За што придаешь им руки, а протянуть их некому и некуда, и взять имя нечего, кроме зла и лжи? Разве тольки к глазам своим же протянуться, штобы выкопать их и не видеть белого свету, разве тольки к ушам своим, штобы сдавить их страш-

ною болью до глухоты отчаянной, разве тольки к дыханию своему, штобы порвать его? Зачем ты даешь ноги тем одиноким и правым, штобы ходили оне за правдой и дружеством человечьим, от младенчества до старчества, от края земного до края и не находили бы никогда ни крохи, кроме мозолей кровавых для себя? Господи! Когда вселил ты истину в душу, пошто же ты даешь ей глаза, и руки, и ноги, и уши — зачем? Молю тебя, господи, не за себя ужо, но за тех, кто народится с истиной в душе,— не давай ты им ни глаз, ни ушей, ни рук, ни ног — пущай будут оне глухи, незрячи и неподвижны, и сотворишь ты благо, и освободишь верных слуг твоих, истинного бога, от великой скорби и страдания!— А кончив, Кудеяр уставился в Устинова и спросил:— Ну? Поня́л ты меня теперь? Пошто я родиться не хотел? Понял?— И еще сказал Кудеяр, повременив:— Давай, слышь, Устинов, пожгем в огне руки-ноги свои? Давай так: ты меня толкнешь в огонь сей, я увлеку в его тебя?! Вместе толкнемся! А? Просто-то как, Устинов: через огонь человек от зверя отделился, через огонь же он и обратно с круга земного сойти должон! С чего начался — тем пусть и кончится! Истина — круг сей! Истина, когда предки наши, ежели жизнь делалась им чуждой, то не утоплялись в воде, а огнем сжигались? Ну?! Толкнемся, Никола?

Вмиг блеснули прямо в лицо Устинову уголья пожарища — пылко, пронзительно. Еще и еще нужен был им пепел. Человеческий. А Кудеяр и еще шептал:

— Не быть же нам, все одно не быть — какими мы богом сотворены! А тогда — зачем нам быть? Не будет же все одно того времени, для коего сотворены? А зачем в чуждой обители слепо жить? В бесовской и в чугунной? В самогонной?

Устинов отшатнулся.

— Я свою жизнь не желаю губить, Кудеяр! Не для того она мне дадена, чтобы самому губить ее! И пошто ты обезьян-то презираешь? Грешишь против их? Оне ни при чем в бедах человеческих. Оне нашего языка не знают, а то много бы пожеланий высказали! Я во всякую тварь живую верю, у меня от ее секретов нету, хотя бы и божеских и молитвенных! И у нее нету их от меня! Когда ты от жизни желаешь хорошего — хорошо и гляди на нее, хотя на человека, хотя на какое живое создание! А глядеть, как ты глядишь,— в том убийство кроется, то самое, противу которого ты восстаешь! И ежели

правде ни рук, ни ног, ни глаз не нужно — кому тогда она сама-то нужная? Бездельная, с однеми только словами, молитвами и криками? Нет, не хочу я противу рук, и ног, и глаз восставать, упрекать их!

Кудеяр, закрыв глаза, повторил с упорством:

— Пущай! Пущай и во веки веков будут оне незрячи! Глухи! И неподвижны! — Потом глаза открыл, крикнул: — Вон! Вон отседова, от страшного энтого и паскудного лжеца — Иуды Устинова! Вон! Он правду кричать — не кричит, он сжигаться — не сжигается! Энто из-за его горит огонь! Он зажег и не кается нисколь! Огонь! Огонь! Пламя! Пламя! Прощай, Устинов! Прощай, вражина моя бесконечная! Бегу от тебя!

Наконец-то запахло пожаром — дымом, горелым чем-то. Вот когда запахло им — когда он кончился.

На месте, где стояла недавно амбарушка, которую спалил Гришка Сухих, что-то булькало и кипело — не то деготь, не то мазь колесная, и там же фиолетово-сине отсвечивали полотна спекшегося оконного стекла. «Сухих-то Гришка строиться собирался, когда такой запас стекла имел!» — подумал Устинов, повернулся, пошел и сел на тот широченный пенек, на котором они с Кудеяром недавно сидели.

Куда его Кудеяр толкал? В какие еще мольбы и крики? Кому заставлял его служить, какому богу, какому пламени? Устинов себя в чьей-то безоговорочной службе представить не мог, ни у бога, ни у начальника, ни у огня. Солдатская бывала у него служба, так никто же его не спрашивал — хочешь служить или не хочешь? А когда так, он и служил с хитростью — вперед других никогда не лез, держался в середке. Скорее живым останешься, отслужишься тоже скорее. Один только раз и было, что Устинов не стерпел, вроде как выслужился и разобрал-собрал «максим» в присутствии офицерства. После себя не раз и не два ругал: настоящему-то мужику зачем это нужно — в солдатской службе из кожи лезть? Глупость! Ребячество! Ну, конечно, дурачком прикидываться, а то и больным в службе тоже не годится: совесть не позволяет и товарищи, тянуть службу, так уж тянуть ее всем и даже помирать — и это дело не сваливай на других, но пялить глаза на медаль и на «Георгия» Устинову тоже никогда охоты не было. Медали — это для мужика, который, подобно Смирновскому, ставит крестьянство на общую доску с военной службой, Устинов же ни одно дело, тем более ни одну

службу с крестьянством не равнял. И огонь, в который призвал его Кудеяр, не равнял тоже.

Он глядел на затухающий, почти совсем уже затухший пожар, как время от времени снова вспыхивали головешки, и казалось, будто не в первый раз с Кудеяром вот так приходилось ему разговаривать, как сегодня.

Он удивился: вспоминается то, чего не было! А потом понял, почему так. Догадался!

Он еще мальчишкой был и слыхал от взрослых сказание. Устно передавалось оно, а в то же время говорилось, будто кем-то из грамотеев старого обряда записано было и на бумагу. Бумага взята в переплет наподобие священной книги и находится не то у Ивана Ивановича Саморукова, не то в тайнике, о котором только Саморуков да еще два-три старика и знают.

Ивана Ивановича не раз спрашивали любопытствующие, просили показать им ту рукописную книгу и даже весь тайник со старинными иконами и с другими предметами, он же отвечал:

— Помру — узнаете, что там есть, а чего вовсе нету!

Годы шли, книги этой никто не видывал, любопытных все меньше становилось, слишком уж много стало разных дел у лебяжинских жителей — кооперативных, школьных, торговых, лесных, маслодельных, всяких, о старине некогда было вспомнить. Ну а нынче Устинову вспомнилось сказание.

Это было, когда старец Лаврентий привел свою паству за море-Байкал. Привел он ее на место-пустынь: камень округ, речка прозрачна, небо — сине-пресине, воздух чист и хладен. Место молебственное. Божье. Палестинское.

И так еще сказал о нем старец Лаврентий: оно вблизи границы находится, и ежели случится, что царица-немка либо другой какой-то царь онемеченного града Петербурга сюда достанет своею рукой, притеснит старый обряд — то легко можно будет уйти за ту границу. Да и меньше будет охоты к притеснению, когда понятно станет, что подданных своих, хороших или даже плохих, царство запросто и навсегда может потерять.

И еще сказал он же, Лаврентий: здесь неправославные веры разные племена исповедуют, а когда так, то и раскол легко затеряется среди них, никому не будет мозолить глаза.

И еще сказал: здесь нашей вере будет хорошо! Лучшего места для нее не сыскать!

Но старец Самсоний-Кривой спросил святого Лаврентия: — К чему ты привел нас, отец святой, — к богу или к делу рук божьих?

Повторил в ответ Лаврентий: здесь нашей вере хорошо!

— А людям нашей веры? Им хорошо ли будет? На каменной и хладной земле?

И снова ответствовал святой Лаврентий:

— Земля есть вся богова! И только его! Потому и в хладе божью истину возможно постичь, а в тепле райском и в уюте житейском минуют ее человеки!

— Слово твое верно, свят отец и брат мой! — согласился Самсоний. — Верно оно, ибо бога везде зрим круг себя и во всем. В пустыне, и в пещере темной, и в райских садах иерусалимских — повсюду и везде. Однако же не здесь, среди каменьев мертвых, трудился он в поте лица своего, ибо не украшена здешняя земля ни лесами высокими, ни травами густыми, ни почвою благодатною. И когда для моления и отшельничества, для постижения духа божьего место здешнее столь сходно, что святою обителью наречено может быть, то для приобщения к делу божьему, то есть к жизни и продолжению рода человеческого, созданы места иные. Мы их прошли уже мимо, те земли и благодать ту, где в одно лето стояли жителями, и семена бросали в почву, и вкушали от земли той хлеб насущный, но пренебрегли благодатью ради нынешней пустыни!

— Не соблазнись житейством ради веры нашей! И благость не в злаках, а в душах вкуси! — стоял на своем Лаврентий, но Самсоний-Кривой не отступался тоже:

— Пренебрегли мы благодатью. И трудом божьим, положенным на человека! Так вернемся же к утере своей, богом нам предназначенной. Когда не мы — кто же от трудов его вкусит? Не дикий ли зверь, когда человек обходит их с презрением и поспешностью? Когда не так — кто же приложит разум свой, и руки свои, и усердие свое к разуму божьему? И к вечной его жизни — жизнь свою бренную?

— Хулу извергаешь устами, брат мой, Самсоний! Опомнись! К чему призыв твой, чем смущаешь души паствы нашей?! Молитва вечна, а плоть — подставка лишь есть для духа временна, чтобы с нее доставал он истины божьей! Сгинет одна подставка — найдется другая, в другой плоти...

— Об уделе отшельническом говоришь ты, Лаврентий, брат мой. Свят удел тот во веки веков! А кто возложил его на себя, тот исполнил долг за много сот и за тысяч людей, а люди те уже свой получают после того удел и перед тем же богом обязаны исполнить его с душевною радостию и прилежанием, что отшельник — свой. А ежели каждое слово к богу станет выше, чем дело к богу же,— на чем стоять будет слово? На чьих трудах и заботах? Давай же, брат мой Лаврентий, делить паству нашу: кто более всего причастен к молитве — тот остается в святой сей пустыне, кто руки, ноги и плоть свою склонен употребить к земле и к злаку — тот вернется со мною на зелен бугор, где сеялись мы однажды и пашня заложена была нами!

— Измена в том богу и вере!— возгласил Лаврентий.— Измена! Молитва есть сохранность божьего мира, а руки человеческие — к разрушению и пеплу его! Молитва есть воздержание от разрухи, и в вечности пребудет она, а вечность — в ней! Плоть же, хотя бы и малая сия, разрушительна есть! Как не вечна она в себе самой и потому всякий миг готова тленом статься, как несет она тлен и пепл миру всему, коснувшися его! И от лесов, и от полей, и от земли всей и всяческой жаждет она того же тлена и разрушения. И создает грады, и храмы, и дворцы, и крепостя разны, но не божьи, а своего же разумения, то есть тленные и воображенные ею в порочной своей гордыне, и заставляет людей вселяться в тот противубожеский, непричастный к богу и к миру хлам, и жить, и рожать, и родиться в нем, как хламу же! И вечного нету перед нею ничего, ибо вечность не что другое есть, как недоступность рукоделию человеческому в глубине ли земляной, в высоте ли небесной, во мраке ли вечном, в молитве ли непрестанной! Доступность же всякая есть миг презренный и тлен! И проклятие! Все то есть вера, что бессмертно и вечно, другого верования неоткуда брать человеку, и камень мертвый, хладный, пустынный есть признак веры, а в человеках одушевленных, бессмертия не постигших, его разрушающих, менее может быть веры, чем в камне том бессердечном! Веди же, Самсоний, не брат уже мне, к тому проклятию паству свою, веди с печатью проклятого на челе своем! Веди!

Усталы, истлевши с далекого пути души паствы были, пришедши в край молебственный за море-Байкал. Усталы были и неосознанны к зову старца Самсония,

к заклинанию Лаврентия, и молилися все у берега чистослезной реки под хладным небом, взывая о помощи к богу, и жаждали указа от него, и верили ему, но вот настал час — навечно поделиться в два стада, и, будто в судорогах смертных, содрогались и рыдали в тот час люди, но поделились все же и разошлись меж собой.

И сказал, уходя, старец Самсоний-Кривой:

— Великую скорбь принимаю на себя и проклятие твое принимаю, брат мой, святой Лаврентий, не могу принять лишь хлад и глад жен и младенцев наших, не могу изъять из памяти своей пашни той, в которую уронено нами в пути было семя, а поднят был оттудова злак. Могу другое: за все стадо, пошедшее вослед за мною, взять грех и страдания на душу свою и от величия навсегда отлучить ее! Пусть будет стаду моему облегчение, пусть облегчение будет мне, ибо не обманом поведу за собою, а страданием своим.— И еще, уходя, спросил старец Самсоний-Кривой у старца Лаврентия — что есть слово, которое будет он возносить отныне богу? И ответил тогда Лаврентий: два слова тех будет — проклятие человечеству и мольба о прощении ему.

С тем разошлись два старца навеки.

И вот еще когда разошлись между собою Устинов с Кудеяром: Кудеяр по сю пору оставался с Лаврентием, а про Устинова и думать нечего — он всегда пошел бы за Самсонием-Кривым!

Ну а пойдя за Самсонием-Кривым, надо жить, стараться изо всех сил, какие у тебя есть, и даже из тех, которых нет.

И вот тут-то совсем неожиданно вспомнил Устинов насчет Севки Куприянова мерина. «Глупый ты мужик, Устинов, проморгаешь коня! Найдется какой-нибудь покупатель, и все тут. Проморгаешь! После будешь за голову хвататься!»

А только собрался было Устинов шагать домой, в Лебяжку, приехали Дерябин с Игнашкой Игнатовым. В кошевке приехали. Дерябин бросил Игнашке вожжи, подошел к Устинову, спросил:

— Как тут обстоит?

Уже холодно было, зима, а Дерябин все еще ходил в своей шинельке и даже не застегивал ее на все пуговицы. Небольшой человек, но, видать, горячий.

— Сгорело все,— ответил Устинов и еще поглядел на головни, на дымящееся пожарище, будто сам только что его увидел.— Сгорело!

— Сгорит, когда пожгли! Как не сгореть?!

— Кто? Кто пожег-то?— спросил Устинов.— Ты знаешь?

— Не все ли одно — кто?— пожал Дерябин плечами, тоже удивившись.— Когда кто слишком людям мешает, не все ли равно, кто такого человека пожгет? Кто первый сделал — тому и спасибо! Ты, Устинов, по всему видать, забыл про Гришки Сухих чертежик, в котором он семь десятин леса за собою самовольно отмежевал и даже охранял его против нашей Комиссии с оружием в руках?

— Ну, так он ведь только грозился! Оружием-то грозился, не более того?

— А тебе надо, Устинов, чтобы он кого-нибудь убил? И вот тогда бы ты уже против нынешнего пожара не возражал?

— Мне так не надо, Дерябин.

— Из твоего вопроса следует, будто надо!— Устинов растерялся еще, а Дерябин помолчал и сказал:— Ну, ладно, скажу: как тебе надо было, так и случилось,— Гришка Сухих стрелял в человека. Только ты об этом не знаешь!

— В кого?

— В Евсеева в Леонтия. В бывшего начальника нашей лесной охраны.

— Не слыхал!— вздохнул Устинов. И тут же к нему пристала новая тревога.— Значит, это наша охрана пожгла Гришку?

— Вовсе не обязательно! Нынче ведь сколь разных догадок уже высказано! И батраки Гришкины могли сделать, и бывшие его дружки, с которыми он повздорил насмерть, да мало ли еще обижено им людей? И каждый мог! Я вот Гришкиным батракам сильно удивлялся, насколько они упрямо да терпеливо сносили его эксплуатацию! Здоровые два мужика, а перед ним — щенки какие-то! Кутята! Я с ними проводил беседу, разъяснял их положение, но без результата. Так что навряд ли они могли сделать!

— Значит, никто не знает?

— Еще объясняю тебе, Устинов: и не надо знать! Кто сделал, тому и спасибо! Если тот человек не говорит, не называет себя, не хочет,— надобно его уважить

и не искать, а, наоборот, скрыть. Зачем о нем говорить? Чтобы Гришка Сухих его убил? За что его выдавать, когда он правильно сделал? И запомни, Устинов, время такое: многое что делается, а кем? Остается в неизвестности! Гришку пожгли — это, сказать, так и гражданская война уже началась у нас в Лебяжке, а в войне разве спрашивают — кто сделал? Не спрашивают! Для войны важно одно — что сделано, а кем да как — не имеет значения! Ты воевал поболее меня, знаешь, на войне узнавать надо поменьше, а делать как можно больше и быстрее!

Устинов как будто даже и соглашался с Дерябиным. Он нынче устал не соглашаться.

Дерябин еще спросил:

— Ну а Гришка-то успел свое добро увезти?

— Подводу груженую угнал и за пазухой унес узелок!— припомнил Устинов.

— Только бы не вернулся к нам в Лебяжку со злобой и местью! Ну а если вернется — кто в этом будет виноватый?

— Не знаю кто.

— Ты, Устинов! Ты будешь виноватый!

— Я?!

— Когда совсем по правде — ты!

— Непонятно мне.

— В том-то все и дело, что тебе непонятно! Вот пожгли Гришку, а ты уж и сам не свой: кто, что, почему? А ведь его надо было не пожечь, а убить! Потому что когда не сделать с ним — он сделает с другими. Надо было, но из-за тебя, Устинов, нельзя: ты поднимешься узнавать: кто сделал? Ты осудишь! Ты в Лебяжке грамотей и умелец, по-мужичьи говоришь только, а умеешь в десять раз больше едва ли не каждого лебяжинского мужика! Едва ли не каждого! Значит, тебя послушают и вслед за тобой тоже осудят. И вот кто хотел сделать лучше для всех, тот станет самый плохой человек, вплоть до того, что и жизни ему в Лебяжке не будет. Теперь подумай сам: Гришка Сухих не убитый. Он живой! И ежели он вернется и начнет лебяжинцам отомщать, кто будет виноватый? Ты будешь, Устинов! Благодаря тебе же он живой и вернется к нам. И когда он вернется, кого он первого тронет? Ну, может, первого он тронет меня. А второго — это уже обязательно — тебя! Может, и по-другому: может, он тебя посчитает самым первым. Но ты не понимаешь этого, Устинов. Не

хочешь понять. Да... Поехали, что ли, Устинов, домой? Чего еще-то на этом пожарище делать? Оно уже и прогорело все. Поехали.

Глава одиннадцатая

УШЕЛ ПОЛОВИНКИН

На другой день после пожара Устинов спал до полудня.

Домна его не поднимала, он сквозь сон слышал, как она накрыла его одеялом, сказала кому-то из домашних: «Пущай поспит!»

А проснулся Устинов с твердым и окончательным намерением: нынче же пойти к Севке Куприянову, поговорить с ним насчет мерина. Иначе никак нельзя: пока ждешь, что кто-то за тебя Севке слово замолвит, будет поздно, он мерина продаст.

Ну, правда, прежде чем к Севке идти, надо сена побросать скотине.

Это Шурки-зятя было дело, но покуда Шурку дождешься, сам десять раз успеешь сделать.

И Устинов приставил к сеновалу лестницу, поднялся на плоскую кровлю, там приставил к стожку другую, полегче, и оказался на вершине этого пахучего, почти что нераспочатого стожка. У него сеновал был устроен над скотским помещением, в два яруса: сено меньше слеживается, и можно поделить его — отдельно для Святки луговое, отдельно суходольное для овечек и коней. Впрочем, коням можно и то и другое бросать.

Нынче надо было четыре навильника бросить: один Святке, один овечкам и два коням.

Устинову на сеновале всегда очень нравилось: дома у себя находишься — вот она, твоя ограда, вот она — твоя изба, вот она — сенцо-травка, тобою в жаркий месяц июль накошенная, а в то же время ты как будто уже и не дома, ты — в высоте, и кругом через много дворов тебе все как на ладошке видно.

Озеро видно — белые пятнышки мешаются с голубыми: снежная гладь пополам с ледяной. Это у ближнего берега, а у дальнего, крушихинского, и то и другое сливается в желтоватый дымок, должно быть, и к снегу, и ко льду примешивается солнечный свет. Летом и при хорошей погоде отсюда видно селение Крушиху, но ле-

том на сеновале делать нечего, поэтому и Крушиху тоже не видишь почти никогда.

Зато летнее Лебяжинское озеро удивительно как бывает хорошо!

Оно, голубовато-серое, не только глядится, оно еще и слушается на человеческий слух: колышется, шепчется, словно огромнейшая сосна незаметно для всех переселилась из Белого Бора в самую глубину воды, в самый бездонный ее омут.

Так шепчется озеро само по себе и для себя, иногда же наполняется истинными человеческими голосами.

Это бывает в крушихинские базарные дни, когда лебяжинцы едут не в обход озера, не лошадьми, а плывут на лодках, потому что короче и удобнее: площадь в Крушихе, на которой производится большой, на несколько волостей торг, спадает прямо к берегу, так что можешь зазывать покупателя к себе на воду, зазывать его на овощ, на рыбу, на пеньку, на мед и лесную поделку, на молочное изделие и на любой другой товар, с которым ты прибыл собственным кораблем.

И вот, покуда эти лодки-корабли плывут в Крушиху, а особенно когда плывут они обратно, да еще и с удачей, с ладной торговлей, лебяжинские бабы, сидя на веслах, во всю мочь будоража озеро, заливаются песнями.

Весельная работа им не помеха, наоборот, поддает им голоса, силы и горячности, и тут уже на два лада состязание: кто скорее пригребется домой, к своему лебяжинскому берегу, и кто громче споет, с какой лодки песня будет первой услышана в Лебяжке.

Базарные лодки — крупные, о трех-четырех гребях, коня и телегу можно поставить, товар от десятка и более хозяев положить. На каждой гребе сидит по голосистой бабе, и сменщицы в носу и в корме тоже голосят, в любую минуту готовые принять весла у тех, кто иссяк силами. Бывает, что в носу, где повыше место, приладится еще и гармонист, ему было дело, бабы, скинувшись на базаре, подали четвертинку, а тогда уже — боже мой! — какая получается на этаком ковчеге музыка! Не только ковчег, но и озеро-то звенит на разноголосье, на высокие и низкие голоса и подголоски, а лебяжинцы, оставшиеся дома, выходят на свой берег и судят честно, без подвоха — чья песня первой донесется к ним?

Кто громче спел, тех по прибытии качают в воздух, с тех лодочный хозяин, если раздобрится и растрогается, не возьмет и платы за свою лодку, только похлопает

кормчего по плечу, а разгоряченных, приохрипших баб — по местам более мягким и приятным.

И любил же Устинов тоже выскочить на берег и тоже востро, внимательно слушать, а если удастся, то первому услышать и закричать: «Про казака, про казака слышу!» либо: «Из-за острова на стрежень» доносится!»

Ему тут же скажут: «Не шуми громко-то — другим дай прислушаться!», и он, волнуясь, ждет других — подтвердят они его или нет?

Любил он слышать всю как есть невероятную суету, крик, гам, смех, лай едва ли не всех лебяжинских собак, без которых дело, само собой разумеется, и тут не обходится, ржание лошадей, на которых мужики приехали встречать своих баб с пустыми кошелками и корзинками и то́ забрать, что осталось непроданным, любил он видеть, как лодки, в последний раз набравшись скорости, вдруг поднимают вверх мокрые весла, а потом, не торопясь, одна за другою, шелестя то легкой волной, то тяжелым, набрякшим песком, выбрасываются на берег прямо к твоим ногам!

Но, конечно, больше всего любил он быть самым первым слушальщиком, тем более ему часто удавалось раньше всех угадать одно, а то и два далеких-далеких песенных слова, одно, а то и два певческих колена, а удавалось потому, что был у него свой секрет — он Зинаиды Панкратовой голос очень верно, очень издалека улавливал.

Ему даже странно было, как люди, стоя рядом с ним, не угадывают этот голос сразу? Столь сильный, на другие голоса непохожий? Который впереди других, играючи, а временами от самого себя замирая, шествует по глади лебяжинского озера?

И еще было ему смущение, когда, высадившись из лодки, едва переводя дыхание, Зинаида вдруг спросит: «А кто тут у вас, домоседы, первым-то слухарем оказался?!» И ей ответят: «Устинов Николай — он! Другие еще не поняли, а он уже Стеньку Разина выкрикнул!»

Зинаида прибирает волосы под платок, опять и опять сдерживает разбушевавшееся дыхание и смеется ему в лицо: «Развешивай уши-то шире, Левонтьевич! А глазами гляди вострее: может, и еще что услышишь-увидишь?»

Ну, это бывало летом.

Давно это бывало, до войны.

Хотя прислушаться, так и сейчас тоже не то по льду, не то из-подо льда несется озерный гул...

А в другой стороне, левее, там опушка Белого Бора. Сначала она вплотную прилегает к лебяжинским огородам, размеченным по снегу тонкими полосками плетней, потом, делаясь все синее, берет еще в сторону, и вот уже Бор видится только черной ленточкой, больше ничем.

В промежутке между озером и опушкой прежде торчала избенка Кудеяра, без ограды, при одной-единственной крохотной амбарушке, а нынче и эту избенку и амбарушку почти целиком заслонила постройка новой школы: медовые бревна, четыре застекленных Устиновым и светлых оконца, двое дощатых сеней с торцов, две трубы, из обеих тянется буроватый дым.

Труба посреди крыши дымит гуще, другая, с края,— жиденько. Так и должно быть: большая труба от печи, которая греет две смежные школьные комнаты, в них сидят сейчас за партами-самоделками ребятишки, учителка со стеклышками на глазах путешествует из комнаты в комнату, одних ребятишек учит буквам, а другие, постарше и уже немного ученее, читают вслух, либо списывают с доски и решают задачки. Под малой трубой, в крохотной каморке живет школьная сторожиха — она в звонок звонит, объявляя перемены, и полы моет, и печи топит, а если кто-то из лебяжинских мужиков не выполнит очередной наряд и не подвезет к школе воды, то сама и ходит с коромыслом за водою на озеро, к проруби. Ничего не сделаешь — приходится!

Еще в ее сторожихинскую обязанность входит прогнать всех до одного ребятишек из школы домой после занятий, а то им нравится там, и они, покуда не оголодают до потери сознания, под отчий кров не являются.

Хлеб той сторожихе дается с трудом, жить она ухитряется в своей каморке не одна, а с двумя малыми ребятишками, но она довольна. Само собой, что довольна такою жизнью может быть только вдова-солдатка. Так и есть: вдова-солдатка служит лебяжинскому обществу школьной сторожихой, и общество этим тоже довольно: худо-бедно, а призрело женщину, тем более детишки у нее хорошие, небалованные, и старшая, шустрая такая девчонка, уже помогает кое в чем матери и тоже учится в школе, не выходя из дома.

Этакое устройство жизни — и трудное и тяжкое, а все-таки — оно, все-таки жизнь для матери и для ее детишек — всегда задевало Устинова за душу, и, сбро-

сив три навильника, он остановился, чтобы еще раз поглядеть на школу, а заодно и на чужие дворы — что там делается, кто из хозяев хлопочет нынче около скотины, кто, может, дровишки колет, кто запрягает, собираясь по сено или еще куда. Кто что...

И только он примерился на последний, четвертый, навильник вилами-тройчатками, только прошелся взглядом по соседским дворам, как остолбенел от изумления: по ограде Круглова, которая была от него через двоих хозяев, шагал мерин Севки Куприянова!

Меринишка был вообще-то неприметный — масть почти как у Моркошки, но тусклая, рост небольшой, однако когда еще Устинов только начал к нему через Севкино прясло приглядываться, то сразу же и заметил у него одно особое свойство: походку. Походка была у этого меринишки очень старательная: шагнет левой и в левую же сторону, вниз, сильно махнет головой, как бы подкрепляя этим шаг, потом шагнет правой и головой так же сделает вправо. У многих коней это бывает, но Севки Куприянова мерин шагал по земле с особенной добросовестностью, серьезно и озабоченно, ни на минуту не забывая, что вот он шагает, и главнее этого дела на всем свете нет и быть не может. Тем самым Севки Куприянова мерин был очень похож на Соловко, но только самостоятельнее, чем тот. Соловко на ходу спал, а у этого сонности не замечалось. Нисколько.

И сейчас тем же самым шагом Севкин меринишка ходил из конца в конец кругловской ограды, между двумя амбарами. Должно быть, новый хозяин дал ему волю — пусть, дескать, походит, пообвыкнется, присмотрится и узнает, где и что на ограде находится!

Так и не сбросив четвертого навильника, Устинов сам бросился вниз, на землю.

А в кругловской ограде он лицом к лицу столкнулся с мерином.

Они остолбенели на миг.

Они поглядели друг на друга и узнали, что души друг в друге не чают. «Вот он — я!— как бы промолвил скромно и светло не то светло-гнедой, не то темно-рыжий этот меринишка.— Вот он я, и, сколь живу на свете, не было при мне еще человека, который понял бы меня до конца, все мои прелестные качества, всю мою ангельскую душу! Не было, и я уже верить перестал, что будет когда-нибудь! Но тут являешься ты, Устинов Николай Левонтьевич! Не гляди же, что я росточком не

очень-то вышел, я многое могу! Могу и могу!» — И тут мерин повернулся и снова зашагал неутомимой, старательной, чувствительной своей походкой — он знал, что Устинову Николаю так лучше всего показаться: в ходьбе, в шаге, в старании.

А Устинов почуял, будто сердце у него кровью обливается, и он кинулся в избу Прокопия Круглова.

Редкостный был случай, чтобы в дом к Прокопию кто-нибудь вот так бы заходил, тем более в будний день, потому что в этом доме работа шла день и ночь, ни на минуту не прерывалась.

Если не считать Гришки Сухих, братья Кругловы были самыми богатыми хозяевами в Лебяжке, а между братьев — старший Прокопий: дом крестовый под железной крышей, с пятистенной пристройкой, во дворе — один амбар вплотную к другому. Рабочих коней шестеро. Севки Куприянова мерин получался седьмой.

Дом завидный, а вот жизнь в нем вовсе не завидная и даже неприглядная, одежонка на жителях латаная, сами они угрюмые, и всем непременно некогда. Прокопию недосуг словом через соседское прясло перекинуться, жене его — хотя бы раз в год на бабьи посиделки сбегать, девкам некогда поплясать и попеть, парням некогда толком обжениться.

Бывало, запряжет Прокопий по осени пару, посадит на задок сына в красной рубахе и в новом картузе, и вот поехали они из села в село искать невесту. Через неделю уже и вернулись, сделано дело, все успели: невесту найти, свадьбу сыграть, приданое взять. Как молоду жену звать, в доме этом еще не скоро и упомнят, первый год кликать будут ее «эй, ты!» да «эй, сюда!», потому за Кругловыми и кличка водилась в Лебяжке: «Ейники».

Ну кто же после всего этого гостем в дом пойдет?

Однако Устинов пошел. Бегом и пошел-то.

А распахнув дверь, удивлен был несказанно: в кухне за столом уже сидели гости и не просто так, а выпивали.

Гостями были: член Лесной Комиссии Половинкин и Севка Куприянов с сыном Матвейкой.

Но еще больше поразился Устинов, услышав, что хозяин, Круглов Прокопий, говорит о политике. «Ништо! — подхрипывая, говорил Прокопий и поматывал длинной и тонкой, будто бы мочальной бородой. — Ништо! Чо энто нам Гришку Сухих тушить?! Вовсе ни

к чему нам было его тушить: через неделю-какую уже сильная власть явится, она и сделает: повесит всех поджигателев на первой же лесине! Хватит всяческого разброду — пора уже новой и сильной государственной власти за дело взяться!»

А ведь Прокопий далее своего двора и своей пашни никогда и ничего не знал, в жизни от него и слов-то таких — «власть», да еще и «государственная» — никто не слышал. Его дело было — с каждым годом ширить свое хозяйство и все отчаяннее тянуть из себя жилы, а больше — ничего.

И это было еще не все: Прокопий новому и незваному гостю прямо-таки обрадовался.

— А-а-а! — закричал он.— От кто к нам пожаловал! Энто подумать — кто к нам и вдруг пожаловал?! Ну садись, Левонтьевич! Ну, за твое, за здоровье р-раз, два — взяли!

«Ну и что?— подумал про себя Устинов, сбрасывая шапку и полушубок.— И хорошо: будут все пьяненькими, вот я и договорюсь насчет Севки Куприянова мерина! И договорюсь! Все, кто для этого нужен,— все, на мое счастье, в сборе!»

И, поглядев на закуски — на грибочки, на капусту соленую, на клюкву и на холодную баранину, Устинов глубоко вздохнул и крикнул:

— За самолучшую компанию!— Повел взглядом на Куприяновых. Отец Куприянов устало и невысоко, но приподнял стакан над столом, а вот Матвейка глядел мрачнее мрачного, не пошевелился нисколько. Он и не пил — ему еще нельзя было со взрослыми по-равному застольничать, шестнадцать лет — все-таки не мужик, хотя и косая сажень в плечах.

Немного спустя Устинов поднял стаканчик снова:

— За нового твоего работника, Прокопий! Какой он у тебя по счету-то? Седьмой? Либо осьмой уже? Однем словом — за нового!

— За его!— легко согласился Прокопий.— Вот мы его с Куприяновым отцом и сыном обмываем, язьви тебя! Ну а ишшо с Половинкиным с Васильевичем. Ну а ишшо с тобою, Устинов Левонтьевич!

— Да куда тебе, Прокопий, еще и новых работников на ограду? Когда и старым-то нонче делать неизвестно что, раз хлебушко продать некому? Раз деньги силы не имеют?

— А вот я об этом и говорю: возвернется сильная власть, она и хлебушку и деньгам даст настоящее место во всей жизни! Не-ет, я не просто так, я вот у Савелия и коня взял под ту новую власть, под ее возобновление!

— А обманет она тебя? Не придет? Не возобновится денежная-то власть? Сильная-то?

— Я ей, сволочи, омману! Я, когда так,— зерно все на самогонку перегоню! И сам запью-загуляю — любой власти тошно станет! И вы все, тут присутствующие, не глядите на Круглова Прокопия, будто он только и может жилу из себя без конца тянуть и разматывать! Он уже загуляет дак загуляет — с полным пропоем хотя какой власти, хотя какого государства! Когда власть его оммanывает без конца — он тоже в долгу не будет... Язьвило бы ее! Он ей, растудыт ее...— И Прокопий сперва погрозил кому-то пальцем, потом сцапал свою длинную и тощую бороду разных цветов и оттенков — черную, рыжую и сивую — и с бородой в кулаке погрозил еще раз:— Во как! Я ей все припомню! Пущай она без хлеба, а с однеми только пьяницами остается! Она меня, двужильного крестьянина-работника, хватится, да поздно будет. Растудыт ее...

— Чудак ты большой, Прокопий! Кому хуже-то всех получится? Тебе и получится!

— И пущай! Пущай мне! Но когда настоящая власть не явится, омманет, такая пойдет на всю Расею самогонщина, што никакими сила́ми не остановить! Так што пущай приходит вовремя под мое новое приобретение, под гнедого мерина. Да ты видал ли, Устинов, какая у мерина-то походка? Какой у его шаг? Заметил ли? Язьвило бы его!

— Я заметил...— кивнул с тяжелым сердцем Устинов.— Как не заметить. У его пахарьский шаг. Крестьянский, а не какой-нибудь там базарный либо выездной...

— То-то! Я знаю, ты, Устинов, мужик шибко заметливый,— усмехнулся Прокопий и вдруг подмигнул Устинову.

«Устинов!— в ту же минуту будто бы тоже моргнул своим глазом бывший Севки Куприянова мерин.— Ты представь себе, Николай Левонтьевич Устинов, как бы я пошел в плуге и в паре с твоим Соловком? И даже с Моркошкой?! Соловко бы я взбадривал, у Моркошки я бы характер умерял, и как пошло бы у нас дело! Как

пошло бы!» И с тоской, даже с отчаянием Устинов огляделся по сторонам.

Куприяновы — те продали Прокопию работника и обмывали его, а Половинкин зачем и как оказался тут? Правда, он был чуть ли не единственным мужиком во всей Лебяжке, который издавна, бывало, завидовал братьям Кругловым, их денной и нощной безоглядной работе. «У-у-ух ты!— говаривал то и дело Половинкин.— У-ух ты! Вот у Кругловых-то?! Вот у их-то вот энто — да-а! Вот энто — у-ух ты!»

Однако вряд ли Половинкин оказался нынче в гостях у Круглова по этой причине, по причине этого самого «у-ух ты!». Вернее, по другой: он был членом Лесной Комиссии. И вот нужен был зачем-то Круглову.

Так догадался Устинов и снова приободрился и сказал:

— А мы, Лесная Комиссия, самогонные твои аппараты разобьем, Прокопий! Однажды разбили, а надо будет — разобьем обратно. Не дадим тебе пропить зерно! Удержим от греха! Да что мы — любая власть в России, хотя бы и самая худенькая, завсегда возьмет самогонное дело в свои руки, в монополку. Никому и ни за какие деньги его не уступит, поскольку денежнее такого дела в стране-России нету и быть не может! И получается: и в продажу ты свой хлебушко не пустишь, и в аппарат не пустишь, и горит новый твой работник, бывший Савелия Куприянова мерин, синим огнем! Кормить ты его будешь, а работа его для тебя — тьфу! Вовсе без толка! Ты сколь за коня-то Савелию уже дал? Сколь ты взял с Прокопия, Савелий?

Весь разговор до сих пор велся только между Устиновым и Кругловым, но тут Устинов надумал прибиться и к Севке Куприянову — вдруг да конь-то еще не окончательно продан Севкой? И не поздно еще вступиться в торговлю? Однако Севка не захотел Устинову по-человечески ответить, помолчал и буркнул в стакан.

— Сколько взял, то и мое...

В разговор вступился еще и Половинкин:

— Ты, Савелий,— сказал он мирным и тихим голосом,— ты здря на Николу огорчаешься: он тебя тот раз в лесу не вязал! Вовсе нет! Ты припомни — он даже и с коня-то не слазил во все время, а вязал-то тебя Дерябин да Игнашка, да Калашников Петро, «коопмужик», да, сказать по правде, нечаянно и я тоже. Ты припомни

хорошенче? Ну? Вот ить как было дело-то у нас, Прокопий! — обернулся отдельно к хозяину Половинкин.

Куприянов снова глянул в стакан и так же угрюмо сказал:

— Он-то нас не вязал, Устинов. Нет. Он зато смеялся над нами!

— Вот те на! — удивился и развел руками Устинов. — Да не смеялся я вовсе! Я наоборот...

— Смеялся, смеялся, дядя Никола! — подтвердил вдруг Матвейка Куприянов, с маху ткнул вилкой в соленый груздь и, подняв его над головой, крикнул снова: — Смеялся! Я прежде-то думал — ты добрый, а ты — злодей, дядя Никола! Ей-богу!

И такое отчаяние сказалось в Матвейкином голосе, что и взрослые все притихли, и Устинов не нашелся что возразить.

Севка Куприянов тоже помрачнел еще больше:

— Когда бы ты не смеялся, Устинов, то и сделал бы, как все другие сделали, наши вязальщики...

— А они как сделали?

— Просто! Половинкин вот первый и по-родственному зашел к нам в дом, сочувствие проявил за случившееся. И Калашников тоже. И даже Дерябин-товарищ и тот, на улице встретившись, сказал не помнить на его зла... Вы только двое, дружки закадычные, ты да Игнашка Игнатов, и не сказали нам ни слова. Дружки закадычные!

Вот как случилось-то! Надо же! Устинов потому и не зашел к Севке и не сказал ему ни слова, что хотел купить у него мерина, но сильно при этом стеснялся, откладывал разговор со дня на день. Надо же!

И Устинов про себя заругал себя, глупого и недогадливого, а Прокопий Круглов, не желая ссоры в своем доме, сказал:

— Да, кого там я дал-то Савелию за коня? Язьвило бы его! Не за деньги сошлись и даже не за товар, а за ты — мне, я — тебе. Непонятно? Ну, значит, так: я Матвейку на квартеру в городе определю с прокормом и даже со службой какой-нибудь. Я через свойственника своего определю его, а в город Матвейка поедет на моем, на худом и козьеногом коняге, а мне оставит энтого шагистого мерина! Нет, ты правильно заметил, Устинов, шаг у его — о-ох, и шаг! У-ух, и шаг, сказать дак! Такого-то и пропивать-то духу сроду не хватит, ейбогу!

— Так ты, Прокопий, чуть не за спасибо взял коня?! С этаким-то, правда, шагом?

— Нет, я за спасибо никого не хочу ни брать, ни дать, дядя Никола! — снова и еще злее, чем прежде, отозвался Матвейка.— Я хочу, штобы с меня по-правдашнему взяли и штобы мне дали! Мы с батей не нищие — спасибочками обходиться!

— А зачем тебе вдруг служба, Матвей? — поинтересовался Устинов.

— Затем, дядя Никола, штобы после в Лебяжку вернуться каким-никаким служащим и даже — военным, а тогда Игнашку Игнатова истребить! Да и всю Комиссию! Ну, дядю Половинкина я бы пощадил — он хотя и вязал нас, а все одно хороший. А всех бы других...— И Матвейка отвернулся от стола, молча и упорно начал смотреть в окно. Устинов понял, что убеждать Матвейку, что-то ему объяснять — напрасно. Восемьдесят восемь степных порубщиков он в свое время убедить смог, а одного мальчишку не сможет, хоть убей!

Куприянов-отец, тяжко и глубоко вздохнув, сказал:

— От какой у меня сделался нонче сыночек — стал на точку, и все тут! И весь разговор — хотя со мной, хотя с матерью, хотя с дядей Родионом Гавриловичем Смирновским, хотя со всею Лебяжкой! Ужас! «Хочу ехать в город, хочу служивым вернуться, Игнашку Игнатова изничтожить!» И все тут! Я, сказать-то, тот случай, когда нас вязала в лесу Комиссия, в душе почти што забыл, а Матвей вот огонь в собственном сердце на кажный день раздувает! Правда, родителям ужас, да и только!

А Матвейка, отвернувшись от родного отца, покраснел своим упрямым лицом и еще продолжил:

— Я к Сухих, к Григорию Дормидонтовичу пойду! В батраки, в любую службу! Найду его, где оне есть, и пущай оне меня берут. Оне далеко не должны быть, Григорий Дормидонтович, я знаю, в каких деревнях у их друзья-кунаки имеются. Оне, Григорий Дормидонтович, давно меня к себе в заимку звали, я здоровый, обчественного быка за двое рогов на месте удерживаю! Григорию Дормидонтовичу энто сильно ндравится! Григория Дормидонтовича Комиссия тот раз побоялась в лесу вязать, оне бы ее запросто пришибили на месте, дак Комиссия его после взяла и тайно пожгла! Ей-бо!

— А зачем ты к нему пойдешь-то все ж таки, Матвей? — хотя и безнадежно, поинтересовался Устинов.— Зачем?

— А мы с имя будем оба-два. Меня Комиссия веревками вязала, его — пожгла, вот мы и будем напротив вас!

— Комиссия не жгла Сухих. Неправда это, Матвейка!

— Кому ж пожечь, как не ей?

— Ты бы, Матвейка, родного дядю лучше бы слушался, чем Сухих Григория! Родиона Гавриловича Смирновского слушался бы, как и что он говорит! Он умный, образованный. Он геройский!

— А я и слушался его — покуда малым был. Покуда вы, Комиссия, не вязали меня веревками. А связали, дак я и сам знаю, кто мне после того друг, а кто — вражина!

«Зря зашел ты сюда, в кругловский дом, Никола! — подумал Устинов.— Зря! Стыдно получилось! И ни к чему. Всякая никчемность — она для мужика стыдная!» И он мысленно стал проклинать себя за то, что избаловался надеждой. Не надеяться ему надо было и не мечтать, а приглядывать все это время еще и другого какого-нибудь продажного коня в Лебяжке и в других селениях. Он забыл, что отложенное дело — хуже неначатого!

Но тут вот что неожиданно случилось — Прокопий положил руку на плечо Устинова и спросил:

— Значит, Николай Левонтьевич, я взял коня за спасибо?

— Ну, вроде бы...

— Тогда вот как, Николай Левонтьевич, тогда возьми и ты его у меня! За то же самое — за спасибо! Ну?! Пошто ты глаза-то вылупил? Просто: за то же самое ты — мне, я — тебе и возьми! Конь тебе нужон, знаю. Он и со старичком Соловым потянет, и норовистый твой Моркошка ему будет напарник! А ты, Устинов, потяни ради меня в Лесной Комиссии: что там у вас будет делаться и складываться — обскажешь по-соседски мне! Будет голосоваться Комиссией разбитие моих аппаратов — ты да вот и Половинкин еще подымите руки в мою пользу! И все тут! И конь — твой! Какая-никакая, а вы нонче властишка на Лебяжке! Язьвило бы вас! А возвернется власть, што и пропивать ее надобности не будет,— я к ней прислонюсь, а ты уже ко мне, и обратно

порядок! Тот же вот Матвейка вернется, уничтожит Игнашку Игнатова, а увидит бывшего своего коня на твоей ограде, и простит тебя, не подымет на тебя руки! Простишь, Матвейка?

— Нет! Не прощу, дядя Прокопий! Я — нет! Я — наоборот!

Куприянов-младший по-прежнему заслонял окно тяжелыми мужицкими плечами, круглым и по-детски сердитым лицом. Он ответил и не шевельнулся.

Все время молчавший Половинкин тоже вдруг широко раскрыл рот, посидел так, полоротый, и закричал:

— Бери, Никола, коня! Бери, когда случа́й! Язьвило бы тебя, Никола, везучий ты мужик! Вплоть што и коня тебе даром дают! Бери, не стесняйся!— и Половинкин уронил голову к Устинову на плечо, закрыл ее руками и громко всхлипнул. Ему завидно было: кто-кто, но только не он, может даром заполучить коня, работящего, отличнейшего коня! Всхлипнув еще, он отнял руки, голову вскинул и совсем уже страдальчески сказал: — Седни же бери мерина, велю тебе! Завтре-то вы с Прокопием ужо стрелять зачнете друг дружку через прясло — один сделается белым, другой сделается красным, и зачнете вы палиться! Бери сей же момент, не откладывай нисколь! Бери!

От слов до сих пор молчавшего Половинкина, от его зависти и зла — от всего этого Устинову стало уже совсем не по себе. В голове шумело, прыгало что-то и мельтешилось, но бывший Севки Куприянова мерин дохнул на него из самого брюха сенным теплом: «Ну?! Никола Левонтьевич? Ну?»

— Как так?— только и смог повторить Устинов бессильно.— Как так, Прокопий? Брать — и все тут?!

— Сей же момент и в хомуте и в сбруе ведешь ты мерина на свою ограду!— ответил Круглов и поднялся из-за стола.

А через минуту все были на улице — все гости, все население прокопьевского дома, которого до сих пор не видно и не слышно было нисколько, и младший брат Прокопия, Федот, оказался тут же...

Шуму было и гама невообразимо. Севка Куприянов развеселился, хотя и пьяно и бестолково, а кричал и радовался в коричневую с седым клочком бороду, махал руками. Только Матвейка во двор не вышел, как сидел за столом у окна, так и остался там сидеть.

Этакая бестолковщина на бесконечно тихой и во все времена сумрачной кругловской ограде, с которой гвоздика одного никогда невозможно было выпросить, а нынче просто так, за спасибо уводили рабочего коня — сманила уйму народу, мужики чуть ли не со всего деревенского угла, кто в полушубке и в шапке, кто только в шапке, а кто и вовсе безо всего зимнего; бабы примчались, подбирая подолы; ребятишек, тех вообще было бессчетно, кто-то из них прыгал на одной обутой в пим ноге, а другую, голую, придерживал в ладошке, чтобы не заколела окончательно: а тут еще прискакал Барин — хвост трубой, уши торчком, весь в радости и мнит своего хозяина героем, прыгает, скачет перед ним на задних лапах, норовит лизнуть в лицо.

Ну у героя в глазах и без того пестрые-распестрые круги, выпито им порядочно, на земле стоится ему слабо и нетвердо, и с каждой минутой делается все стыднее, все нелепее. А Прокопий в это время по-цыгански уже сует ему в правую руку повод, а бывший Севки Куприянова мерин глядит на нового хозяина в упор, и глаза его подрагивают. Не то от счастья, не то еще от чего — разбираться некогда.

Устинов, окончательно слабея, еще раз крикнул Прокопию:

— Задаром?

— Бери-бери! Веди-веди! — И толкал Прокопий одной рукой Устинова в плечо, другой — мерина в голову, а посередке между длинными его руками тряслась пестрая и тощая бороденка, только что не хлопала Устинова по глазам.

В воротах, кем-то быстро распахнутых настежь, Устинов крикнул:

— Тридцать два пуда зерна с меня! Не задаром! — А ему многие что-то закричали вслед, громче всех Прокопий:

— Во как мы, Кругловы, умеем, Никола! Язьвило бы тебя! Во какие мы, Кругловы, широкие! — И Федот Круглов, хотя и младший брат, но совсем уже седой, сунул два пальца в слюнявый рот и пронзительно засвистел.

Устинов повел бывшего Севки Куприянова мерина на собственную ограду. Повел его в шлее, в хомуте, и мерин притопывал сзади и громко дышал ему в спину. Будто бы имея на затылке глаза, Устинов видел походку

мерина и все старание, с которым он шел за своим новым, столь желанным хозяином.

От стыда Устинов был красный и потный, а все-таки счастливый. Шел и думал: «Это ничего! Пьяненькому все можно, ему сраму не бывает!»

И он привел мерина, поставил рядом с Моркошкой, и Моркошка — друг, так уже и есть верный друг — все понял, страсть как обрадовался новому напарнику, громко заржал.

Потом Устинов вбежал к себе в избу, небывало строго приказал Шурке, чтобы немедля погрузил в сани тридцать два пуда зерна и отвез на ограду Прокопия Круглова, а сам рухнул в постель и не то трезвым, не то пьяным, не то от счастья, не то со стыда мертвецки уснул.

Однако не дано было Устинову как следует нынче выспаться — час какой-то спустя ему приснилось, будто бы его пришел будить и звать куда-то Игнашка Игнатов.

Домна выпроваживала Игнашку, объясняла, что после пожара, после бессонной ночи мужик ее не пришел в себя и надобно ему отдохнуть; сам Устинов во сне кричал Игнашке: «Да на самом-то деле! Война идет или как? В походе я в каком, когда и поспать некогда,— или как? В постели я у себя дома нахожусь, вот где! И далее желаю в ней же находиться!» Воздуха Устинову не хватало, он задыхался от злобы, от сжатия в груди, а когда проснулся, услышал, что так и есть — Игнашка здесь и не отступает от своего.

— Нонче, Домна Алексеевна,— говорил он с хрипотцой, серьезно и настойчиво,— нонче, хотя ты и умная, а все одно — не твоего ума дело! Подымай Левонтьевича!

Устинов вышел в кухню злой-презлой, Игнашка ему и опомниться не дал:

— Одевайся бегом, Николай Левонтьевич: вся Комиссия в строчном ожидании тебя уже давно находится!

— Да почто так, Игнатий?

— Сильно большой секрет! Придем — тебе сами товарищ Дерябин объяснят! А я не могу: полномочиев недостает!

Покуда шли улицей, Устинов думал: «Из-за мерина вызывают! Как так, член Комиссии и вдруг мерина взял

у кулака задаром? За обещание дружбы? За то, чтобы сообщать ему, что в Комиссии делается! Сообщать и не давать Круглова в обиду товарищу Дерябину! За это как не вызвать! И даже исключить из членов Комиссии!» Еще пройдя улицей, Устинов стал думать: «Ну и ладно! Пусть позорят, но Севки Куприянова мерина, теперь уже моего собственного,— не отдам! Решено окончательно: отдать его обратно не в моих силах и сознании! А когда говорить о долге и о чести — так первые долг, честь и заповедь у мужика — сытые и чистенькие ребятишки, только после уже — все остальные разные Комиссии. Это долг его вечный и первый! Так что вот вам, дорогие сограждане, мои членские полномочия, а вот мне — мой мерин! Новый работник, союзник и дружок — с ним вместе, а вовсе не с вами выполню я первую и святую заповедь! Иначе сердце мое будет обливаться кровью, руки будут опущенные, ни к чему не способные!»

И Устинов еще проверил: правильный ли будет его ответ? Ответ правильный: хотя он обычно не так уж много и думал о дочерях, о внуках, о Домне, больше о конях и о Святке, но знал твердо — не будь он кормильцем-поильцем, не было бы у него ни кола ни двора, ни Святки, ни даже мыслей о ней. Вот тогда он бы сам по себе жил, и то ли, подобно Кудеяру, конец света ежедневно провозглашал и даже сгореть в огне готов был, то ли другое занятие выдумал бобыльское. Устинов снова и снова вспоминал: в Крушихе жил бобыль — так тот по деревне бегал и кошек стрелял, в деревне Барсуковой другой престарелый чудак — верхом на баране ездил и то ублажал его, то бодался с ним... Нет, эти люди презренные, им тепло детишек своих и внучат на собственных коленях незнакомо, им понятие кормильца и ответчика — что подсолнечная шелуха. Но они, бобыли эти, нынче Устинову уж слишком часто вспоминались. Время, должно быть, настало бобылье: все сломать, сжечь в огне и убить... Но как об этом люди не сегодня, а через годы подумают — заботы ни у кого нет. Каждый гордится тем, что он будущих людей осчастливит. А на самом-то деле? Работники могут осчастливить с хорошими конями, отцы и деды могут детей осчастливить, а бобыли? Сроду нет!

Пришли в Комиссию.

Игнашка как пришел, так и уселся на табуретку в уголок и стал там сидеть тихо и серьезно.

Калашников стоял молча у окна, запустив руку в лохматую голову.

Половинкин и Дерябин сидели за столом — Половинкин растерянный какой-то, Дерябин — сердитый и напряженный — вот-вот «ура!» крикнет и в атаку побежит.

— Ну?— спросил Дерябин.— Хороша новость? И как ты на ее смотришь? Как переживаешь? Как думаешь с новостью этой дальше жить?

— Не знаю, об чем ты спрашиваешь, товарищ Дерябин!— как будто бы повинился Устинов.— Об чем ты спрашиваешь — мне покуда неизвестно!

— Как же так! Да ведь новая власть в городе в Омске объявилась! Диктатура бывшего военного министра Сибирского Правительства адмирала Колчака! Что в Питере генералам не удалось сделать, что в Москве не вышло, то получилось в Сибири! Вот так: в Сибири и генералитета всегда-то было мало, а тут сбежались оне к нам со всего света, всех мастей и наций, и сделали контрреволюцию! Читай!— И Дерябин, не глядя на Устинова, будто он был перед ним за эту самую диктатуру виноват, протянул серый помятый лист газеты.

Правительственная была газетка и называлась «Народная свобода».

«События совершаются с головокружительной быстротой, и поневоле приходится задумываться — «что день грядущий нам готовит»,— стал читать Устинов.— С преобразованием Сибирского Временного Правительства во Всероссийское все ожидали нормального течения государственной жизни, а вопрос об окончательном свержении большевиков после капитуляции Германии, их поддерживающей, был близок к разрешению. Но вот «вследствие чрезвычайных событий, прервавших деятельность Всероссийского Временного Правительства, и ввиду тяжелого положения государства» совет министров вручил власть одному лицу — адмиралу А. В. Колчаку, присвоив ему наименование Верховного Правителя. Другими словами, политические события заставили прибегнуть к диктатуре... В данный момент мы все-таки можем быть относительно спокойны, потому что создавшийся несколько дней тому назад совет министров остается у власти... С другой стороны, личность Верховного Правителя адмирала Колчака внушает уверенность и известную долю спокойствия за грядущий

ход событий... Обязанность всех любящих родину граждан безропотно подчиниться создавшемуся положению, несомненно вызванному исключительными обстоятельствами в целях спасения родины».

Хотя Дерябин и смотрел в сторону, как только Устинов дочитал, он ему кивнул еще сердитее:

— Не все еще, не все! Далее там гляди-ка! Гляди! Ну!

Далее там был указ совета министров:

«Производится военный и морской министр вице-адмирал Александр Васильевич Колчак в адмиралы», а еще чуть пониже был приказ:

«Сего числа по постановлению совета министров Всероссийского Правительства я назначен Верховным Правителем.

Сего же числа я вступил в верховное командование всеми сухопутными и морскими силами России.

Верховный главнокомандующий всех сухопутных и морских вооруженных сил *адмирал Колчак*».

— Вот как это делается, гражданин Устинов! Смотрите, вот как! — опять упрекнул Дерябин не только Устинова, но и всех присутствующих...— А вы говорите?!

— А мы ничо и не говорим, товарищ Дерябин! Мы как есть все молчим! — заморгал-заморгал Игнашка, а Устинову действительно стало бог знает как неловко и за себя, и за всех присутствующих, и еще за кого-то. В то же время через этот стыд облегчение выходило ему, и он подумал: «Вон какое громадное воровство во всем мире и на глазах у всех происходит! А я стесняюсь, что коня бесчестно взял у Прокопия Круглова! Глупость же это — такое стеснение!»

И, не зная, что и как сказать вслух, для всех, он отмахнулся рукой:

— Адмирал так адмирал! Его, поди-ка, лесное дело и вовсе не касается?

— Он теперь всего на свете касается, тот адмирал, когда взял всю власть в собственные руки! Самозванцев — их все на свете касается!

— Товарищи члены Комиссии! — резко обернулся от окна Калашников.— Нам необходимо обнародовать воззвание и сказать в нем, что, какая бы ни пришла власть, она обязана понять нас, нашу народную самодеятельность, наши мирные намерения, стремление к устройству порядка и самое обыкновенное челове-

ческое желание — жить как людям, то есть хотя бы отчасти, но в соответствии с разумом, без крови и братоубийства!

— Не будет ли это глупостью?— спросил Дерябин.— Когда адмиральские солдаты заодно с озверевшими чехами явятся в Лебяжку — ты думаешь, Калашников, они перво-наперво начнут читать наше Обращение? Они его в сортир с собой и то не возьмут! Они перво-наперво повесят нас с тобой, и все тут! Нет, нам необходимо совсем другое: встретить тех солдат жестоким огнем! Потому что, когда мы так не сделаем с ними, они сделают с нами! И долгое время придется нам после отплачивать ту первую потерю, которую они нам нанесут! А теперь — за тобою слово, Устинов! Я тут Калашникова уже наслушался досыта! Теперь выскажись ты!

Но Калашников опять не дал сказать Устинову ни слова, опять заговорил:

— Первым начинать нельзя! Это империалисты и капитал торопятся друг перед другом затеять войну и смерть, а кто первым начнет, тот еще и хвастается: дескать, не прозевал, соседа опередил! Народ так же поступать не должен никогда! Народ, пока его не заденут, не сделают ему нестерпимо больно, он сам по себе оружия не поднимет. Он знает — в этом его правота, которая ему гораздо нужнее, чем самая первая победа, первый чисто военный успех. Ну а теперь, правда что, Устинов, скажи и ты свое мнение.

— Ах ты, благородство глупое: «Первые, первые!» — воскликнул Дерябин.— Да сколь же мне для тебя истины повторять? Об том, что нас, трудовой народ, тыщу лет пороли, били, угнетали, обманывали и убивали — и все это не в счет, а сегодня мы поднялись против тысячелетнего насилия, нам говорят: «Нельзя начинать первыми!» И кто говорит? Свой же, трудовой человек! До того мне это удивительно, не знаю даже, как это можно не понять! Ну и жди, Калашников, покуда адмирал перевешает всех рабочих на железной дороге и в мастерских, а в сельской местности — все сознательное крестьянство. Он сделает, ему не страшно, что он — первый. Да говори же ты, Устинов! Чего молчишь-то?!

Но Калашников тяжко вздохнул, а рукой снова отстранил Устинова:

— Били-то и убивали-то тыщу лет не только трудовой народ! Царей не убивали, что ли? Не душили?

И князей? И дворян? Оно все так устроено, человечество, что в нем ни одного полностью разумного сословия нету. А только человек начнет понимать, что жизнь устроена не так — она за это понятие хлоп его по башке, и все тут! «Не думай! Не понимай!» Ну, в самом-то в крайнем случае — понимай для себя, а ежели ты понял за других — это уже не прощается жизнью нисколько, за это тебе места в ней нету, лишаешься ты его! Но все одно — слово должно идти впереди оружия! И не мы, так наши дети доживут: оно пойдет впереди, поверь мне, Дерябин! Пойдет! Хотя бы и нашими трудами, и нашей гибелью, но пойдет!

Игнашка, сидя на табуретке у дверей, вздохнул и сказал:

— Я который раз сильно зверям завидую! У их, у зверей, ясность полная: кто кого ест, кто кого сроду не тронет! А среди нас кто как! Седни тебе твой сосед — друг и брат, а завтре он в тебя возьмет и стрелит. Ну а об том, будто и я тоже рад кому-то ножку подставить,— об том и говорить не приходится!

Тут наконец-то подошло время сказать Устинову.

— Первым начинать нельзя! Нет и нет!— заговорил он.— Почему нонешняя война по сю пору обходит Лебяжку? И даже всю Крушихинскую волость? Отвечу! Никто не начал первым! Нашелся бы первый, и тот же миг явился не то что второй и третий, а десятый и сотый! И вот хотя мы ругаем друг друга по различным случаям и ни себя, ни соседей своих по-человечески не уважаем, а глядите,— у всех нас хватило ума, и никто не поддался на провокацию нынешнего времени — отнять у соседа какое-никакое добро, либо отомстить давнему своему обидчику, либо просто так пойти на проклятую и нечеловеческую злость и на жадность к убийству, которая, ровно дьявол, всегда соблазняет человека: «Убей, уничтожь — и тебе самому будет хорошо!» Мы, лебяжинские, той искры не бросили, от которой вспыхнет костер, и не бросим, нет!..— Но тут Устинов споткнулся:— Гришку Сухих пожгли...— тихо сказал он...

Дерябин кивнул: «Пожгли! Да!» — и внимательно так посмотрел на Устинова, а у того сразу исчез его запал, и он, уже совсем неуверенно, проговорил:

— Мы вот говорим здесь, в Комиссии, свои слова и убеждения. А придется сказать их людям — сумеем ли?

— То-то вот...— кому-то погрозил пальцем Дерябин.— То-то! Все разную там демократию очень любят, но спросить такого любителя: «А пиф-паф — не хочешь? Серьезный звук?!»

— Я знаю, Устинов, я тоже знаю,— снова заговорил Калашников,— не сильное, а даже и бессильное оно — наше слово. Так другого-то у нас нету ничего. А жить надо с тем, что есть! Будем же взывать! Взывать и взывать! К разуму, к человеческому понятию! И к тому, что человек — завсегда член общества, а когда общество не может жить на разумных, хотя бы кооперативных началах, то для кажного отдельного человека неминуема гибель. Это правда: человек власти и человек под властью сроду не понимали друг друга, нигде и никогда не понимали, а все ж таки? Должон же он когда настать — тот миг понятия? Ведь ежели не настанет, тогда и тем и другим людям как быть?— Калашников подошел к столу и тихо, с грустью пошевелил бумагами.— Здесь, на этих на листках, написано уже, что было у меня в личных мыслях... И в тех кооперативных манифестах, кои я за иконой держу. Теперь давайте продолжим все вместе. Сложимся, сколь у кого имеется, на этот случай в голове и в сердце. Садимся и все вместе пишем, хотя бы до самого утра, наше Обращение.

И Калашников протянул руку за чернилкой, хотел подвинуть ее Устинову, но тут поднялся с табуретки Половинкин и громко, отрывисто стал говорить. Зло стал говорить, словно с врагом каким-нибудь, со страшными обидчиками:

— А меня энто не касается! Нисколь! Хотя как решайте — мне делов нету, и не может их быть! Покудова Комиссия однем только лесом занималась — я хотя и молчком-молчком, а терпел. Покудова всея-то власть в Сибири стояла временная и все кругом тоже находилось временно, хотя бы и наша Комиссия,— я терпел. Ну а когда является сильная власть, хотя бы разгенеральская, хотя бы распролетарская, то мне уже ни в какой Комиссии окончательно делов нету нисколь! Меня уже и так с души воротит вся энта комиссионная ярманка и распутство! Мне уже в глаза людям давно стыдно глядеть! Невозможно глядеть, как сидят здоровые мужики в чужой избе, вот как седни, когда и хозяин-то Кирилл в отъезде находится, и заместо того, штобы крестьянствовать, занимаются бумажками! И болтают-гадают между собою, ровно бездельные девки на по-

сиделках! Кто кого переговорит — тот и правый, тот и хороший! Тошно мне! И верно што, давно пора на вас подлинную власть, штобы она вышибла из кажного распутство на веки веков! Вышибла, покудова не вовсе поздно, и язва энта окаянная, и холера болтливая не заразила всею Лебяжку и местность вокруг! От энтой от распутной болтовни и война нонче междоусобная, больше не от чего ей быть! Она — всему вина и причина! Сколь на фронте болтали-болтали, там сгубили Расею болтовней, трепались до потери человеческого сознания, до горлового удушения,— мало нам было, убежали от ее домой, к хозяйству, к земле, но заразу, холеру расхолерную, привезли и сюды — вот она! Чума дак чума, язва дак язва — пожалеешь об царе и об царском фельдфебеле, который тебя в морду бил и «смирно!» и «молчать!» командовал! Правда — што пожалеешь! Сердце кровью по ем обливается! Ну, я все высказал... Сколь молчал, сколь молча внутре себя корежился — вот вам первая и последняя моя речь — и все тут! Все, слава тебе, господи, пресвятая богородица! И молчите, не говорите никто против, я все одно никому ни на столь вот не поверю, разве што обматерю, и тольки! Молчите, знайте! Все кругом — люди как люди, мужики как мужики, а тут выискались умницы, разсамые грамотеи, у них, видать, полные штаны блох набилося, вот оне день и ночь зады об стулья и табуреты чешут, никак не успокоятся! Думают, будто энто главное человеческое занятие! Кабы и в других поселениях тоже нашлись такие же умники-законники — грамотеи-чесальщики, а то ить нигде их нету, у нас только и объявились! Стыд и страм! Объявились — из мужиков господа, из сортира подсолнухи! Интелепупия из интеллегенции! Пупия!

И Половинкин перекрестился, повернулся кругом по-солдатски, еще сказал, не оборачиваясь:

— Тьфу! На вас на всех — тьфу! И на себя — тьфу! А я пойду отседова раз и навсегда! В баню отмываться! Я как знал — велел бабам строчно истопить!— В кухне в самом деле громко сплюнул на пол...

А только хлопнула дверь из кухни в сенцы, как Устинов подумал: «Ах ты, боже мой, хорошо-то как в эту минуту у Половинкина на душе! Как ему сердито и бодро! И нет никакой муторности, никакой тяжести, и от обязанности перед Лесной Комиссией он избавился навсегда! Тем более что, наверное, не раньше, как се-

годня же, Половинкин наобещал Прокопию Круглову, что будет держать его интерес в Комиссии, а хлопнул дверью — и пшик! — вот что от обещания осталось! Ему бы, Устинову, так же вот хлопнуть! Так же за бывшего Севки Куприянова мерина с Прокопием расплатиться!»

Но то, что можно было Половинкину, Устинову или вот Калашникову — никак нельзя!

Разобраться — не таким уж он был неожиданным, уход Половинкина из Комиссии.

Устинов, наверное, это лучше других понимал и чувствовал, он ведь Половинкина знал давно.

Жили они в разных краях деревни — Половинкин жил на бугре, Устинов — на Озерном крае, домами не водились никогда, а вот на пашне межа у них была много лет общая. До войны соседствовали в поле и после войны встретились там же.

Весной, только вернулся Устинов с фронта, побыл дома три дня, потом поспешил и затемно еще запряг Моркошку, тронулся на пашню.

Ледок похрустывал под колесами. Тишина была.

Одиночество. Рассвет наступал...

Солнышко заголубило лес, засветило пашню.

Птички запели.

Любил Устинов птичье пение: подлинное оно, нисколько не выдуманное.

Собака к человеку ластится, выражает ему свою любовь, но и у той на уме — как бы подработать на кусок.

Птички поют — им за их песни не надо ничегошеньки, им нужна сама песня, и только.

Птичка и помирать будет от голода — промолчит, и запоет — глазом не посмотрит на того, кто ее слушает. У нее задней мысли и соображения нету, может, поэтому и столько лада в ее песне.

И слушал тот раз Устинов безымянных этих певцов, а веры все еще не было, что ты живой, что вернулся с войны и вот едешь к себе на пашню. И все еще мнится — один ты такой и есть на свете счастливый и невероятный.

И вдруг — что такое? — будто ледяное эхо откликается тебе с другой стороны? Со стороны Белого Бора?! Твоя телега колесами побрякала, по застывшим лужицам прозвенела, оттуда точь-в-точь те же самые звуки к тебе доносятся!

Не сразу понял Устинов, что это навстречу ему кто-

то едет, тоже на телеге с железным ходом, и точно так же ледок в прошлогодней колее крошит.

Оказалось, Половинкин едет, и тоже в первый раз после войны едет-то!

Они на меже своей давней встретились, парой слов перекинулись, но подробно друг друга расспрашивать, припоминать войну не стали, не было желания. Может, взаимно обиделись, что нарушили друг для друга сказочное одиночество, и через полчаса, как только оттаяла с ночного морозца земля, уже пахали каждый свою пашню.

Ну и болели же и гудели в те весенние дни устиновские косточки! И скрипела же на зубах у него земля! Он поднимался до рассвета, но даже не потому, что так ему хотелось,— костяное нытье не давало ему спать, и немыслимую усталость от работы работой же надо было вышибать. Клин — клином! А сказать и припомнить по правде, так легче ему было еще и оттого, что — он знал — у Половинкина кости еще немыслимее гудят!

На четвертые сутки вот этакой пахоты Половинкин пришел к Устинову, спросил закурить, помялся:

— Ты вот как, Никола, ты бы уже будил меня каждый день на рассвете, стукал бы какой железкой пошибче! А то как ни проснусь, в любую рань — слышу, ты уже в работе, уже в борозде коней понужаешь. Ну, я тороплюся, который раз, сам не поемши, запрягаю, а после весь-то день тебе завидую, себя кляну: как так, Устинов Никола обратно раньше меня за работу принялся? Не могу я себе простить этого, гложет внутре то ли совесть, то ли другое што...

— Ну а ты заметно позже меня кончаешь, Половинкин! — вздумал успокоить соседа Устинов.— Я уже к ночи распрягу, а тебя все слыхать, как ты и во тьме одну, да еще и другую гонишь борозду! Мне тоже завидно!

— Дак я же наверстываю за сонный-то свой, за утренний-то час! За грешный и ленивый! За бездельный! И все одно, где там! Кого там во тьме наверстаешь!

— Ладно!— согласился Устинов.— Я по утрам железкой буду в лемех стукать, но и ты уже кончай к ночи-то. Мне тоже худо засыпается, когда ты в работе!

Так они договорились, но все равно Устинов больше за день распахивал, а главное — красивее была у него пашня, ровнее. Пласт к пласту, борозда к борозде, по шнурочку. Работник работнику — рознь.

И себя Устинов сравнивал с Моркошкой, а Половинкин, тот был похож на Соловка: тянуть ему и тянуть, тяга есть, умения — нехватка.

В таких избах, как у Половинкина, даже малым ребятишкам никогда не дадут на работу со стороны поглядеть, понять, как и что делается, а лет пяти подсаживают на коня, борони, милой, привыкай! Он и привыкает. К лямке, а не к работе. Он знает — лишь бы тянуть, пусть и без ума и без расчета, не говоря уже о веселом слове.

А когда так — не идет у мужика хозяйство, хоть убейся! И посев не в срок сделан, хотя он и раньше всех подался в поле, и на базар съезжено не так — продано подешевле, куплено подороже, чем у других, да и не совсем то, что нужно, куплено; и плуг не того хода, и сортировка не с теми ситами, и седелки не те, вот уже спины побиты у коней, и баба у такого мужика хворая, загнанная в той же немыслимой тяге.

Вот и Половинкин отвоевался, живым вернулся, но, должно быть, мало ему было войны, бесконечного окопного сидения, чтобы задним умом, а все-таки догадаться: не так всю жизнь делал, не так трудился! Вернулся-то он вернулся, но не догадался ни о чем, как был Соловком, так и остался им же.

И ведь не объяснишь мужику, что не так он делает. Многие видят — не то и не так, и жалеют, и вздыхают, но помалкивают: ноги-руки другие, другую голову объяснением и советами человеку не приставишь!

Половинкин хоть и сам-то молчал благородно, а другие были, те свою вину и неумение на жизнь перекладывали, свой дом ему — тюрьма, своя ограда — каторга, своя жена — ведьма, свои дети — бесенята, а все крестьянство, весь крестьянский труд — издевательство жестокое, больше ничего. Бросай все и беги! Но не бежит этакий мужик никуда, потому что нигде ему планиды не будет.

Когда стали выбирать лебяжинцы Комиссию, серьезно стали выбирать, как-никак, а единственную властишку устраивали на деревне, тут же единогласно выбрали и Устинова: он был не как все мужики. Он был грамотный, смекалистый. Он был мужик первоклассный и уже по одному этому — не совсем и не до конца мужик.

А мужиков, до ногтя земляных, мало выбирали, они хоть в кооперативном правлении, хоть в ревизии, хоть

в сельской управе себя не находят, дела не ведают и ведать не хотят.

Таких выбирали не более чем по одному в каждую комиссию, в любую общественную службу, для того как раз, чтобы они там непременно чего-нибудь не понимали, чего-то не знали и не умели и тем самым не позволяли бы умникам слишком уж много о себе думать, отрываться от массы. Чтобы умники в лице этого мужика повседневно наблюдали перед собою самую отсталую массу и не забывали, что это такое — иметь с нею дело!

С таким вот назначением был избран и Половинкин в Лесную Комиссию.

И снова неловко получилось у них с Устиновым, снова появилась общая межа — стол в панкратовской избе, за которым они сидели друг против друга. Но в то время как Устинов за этим столом все делал быстро и толково, Половинкин, глядя на него со своего края, только молчал, пыхтел, сердился и даже сказать не мог — почему сердится, а если говорил, то примерно так:

— Ум все показываете! Цари его показывали, дак им дали хорошего пинка. Теперича простые мужики заняты тем же самым. А мне все одно, кто надо мною самый сильный и пуще других ум свой показывает! Царь ли, либо свой мужик-сосед, я их одинаково ненавижу и презираю! Оне — кажный сам по себе, оне — особенные люди, а остальных всех слишком уже много на свете, чтобы замечать остальных-то. А я об себе знаю — я завсегда буду остальным и остатним! И дети мои ими же будут. И внуки! А когда так — плювал я на их на всех, на умников! Любой масти и сословия! Кем бы оне не были надо мною поставлены! Плювал, да и тольки — оне мне не родня! Наоборот — чужие!

Вместе с тем хороший ведь был мужик Половинкин, честный, не говоря уже о том, что работящий. И честность и трудолюбие ему, неумелому, много тяжелее давались, чем умелым и удачливым, а он все равно их держался, никогда не предавал. Если же кому завидовал, так больше в себе, почти что молча, как бы издалека, а не совсем вблизи. И лишь очень редко — вслух.

Половинкин — была у человека фамилия, она тоже происходила от сказки, от одной из шести полувятских девок, от девки Анютки.

Зима была лютая,— говорилось в той сказке,— кержакам-раскольникам с непривычки и вовсе невыноси-

мая, и вот они сидели в своих землянках, носа не показывали. Зато полувятским девкам-невестам стужа была нипочем, они тропки через бугор протоптали, день и ночь по ним туда-сюда бегали.

И вот в доме-землянке немудрящей семья староверческая сидит, чай смородиновый пьет, печурку беспеременно греет, вдруг — стук-бряк, а далее еще и звон в стеклышке раззвенелся, это полувятская девка парня выманивает. Это Анютка выманивает Власа, вот кого! Начнет с окошка, ну а после уже и в двери так же брякается.

Тогда и придумали Власовы старики-родители изнутри избу на замок закидывать. Как выйти кому на двор, то и просят у батюшки ключик — он его с крестом на шее, на шнурочке носил. Он ключик даст, а тогда уже можно самого себя открыть и на волю выпустить.

А тут Анютка за окном, за дверьми никак не унимается:

— Власик ты мой, Власеночек, выходи ко мне бегом, пирожочком угощу непременно! Сама пекла, сама пирожочек принесла тепленький!

А Влас, тот парень-кержак, терпел да терпел под замком, после накидывает на себя шапку, но не в дверь бежит, а головой в шапке прямо в оконце ударяется. Ударился и сгинул с глаз родительских в одно мгновение. Будто и не сидел с отцом, с матерью у печурки, не пил с ними чай смородиновый!

Ну, родители, и сестры, и братья Власовы замешкались, ключиком-то себя не сразу открыли, не сразу кинулись на полувятскую сторону. Прибегают, запыхавшись, к Анюткиной избе, а Влас там уже сидит и тоже чай с милой со своей попивает. Настоящий уже чай, китайский.

— Да как же это ты, Власушко?!— взмолились родители, и братья, и сестры, и кто был еще там в то самое время.— Как же чай в чужой избе пьешь? К чужой, к поганой посуде своими губами касаешься! Ой, погибель нам, ой, погибель! А свой-то дом, своя чашка-ложка уже и ненужные тебе? И вера своя, и двуперстый крест?

— Не серчайте, не убивайтесь, родители, и вы, братья-сестры!— отвечает Влас.— Вы глядите-ка лучше, как мною сделано-придумано! Мною из родного дома своя чашка взятая! Вот она! Я из Анюткиной-то чашки раз только глотну, а второй-то — из своей уже!

Я вполовину только свой обычай не блюду! Дак это разве беда — половина-то? Одна-то только?! Половиночка крохотная?

— Ахти, ахти! А когда креститься, где будет твоя половина?

— И тама-ка,— так же самое сделаю я! Тремя пальцами придется класть крест, дак я один-то наполовинку в ладошку в свою упрячу! Чтобы он не торчал сильно-то, не пялился! Вот как! У нас с женушкой Анютушкой завсегда и все только эдак и будет: напополам!

Вот откуда пошла в Лебяжке эта фамилия — Половинкины.

Но те, Половинкины самые первые, видно по всему, и схитрить и слукавить умели, а нынешний этого свойства был вовсе лишен.

И в те далекие времена вот какие заводились сказочки, а нынче совсем было не до веселья.

Половинкин ушел, Комиссия задумалась, а потом Петр Калашников сказал:

— Это масса от нас ушла! Ей-богу! И как бы нам, товарищи, действительно не оторваться от массы! Может ведь получиться?

— Может!— подтвердил Устинов.— И не только мы, но и государство может без массы и без народу остаться!

— Как это — без народу, Никола?— спросил Калашников.— Уже непонятно мне? Народ-от куда же подевается? Люди-то?

— Вот именно: люди никуда не подеваются, люди будут, а народу не будет! Когда общего слова нету! Когда он и сам-то для себя такого слова не находит! Тогда какой же это народ?

— Половинкин ушел от нас вот как,— захотел объяснить Калашников,— ему общественность более по душе, да он боится, что из ее ничего не получится! Более того, он боится — придет Колчак, до смерти подавит всяческую общественность, и нашу Комиссию в том числе. И в том же числе его самого, лично Половинкина!

— Половинкин ушел потому, что ему Колчак много милее! Он за Колчака!— не согласился Дерябин с Калашниковым.— Он за военную диктатуру!

— Половинкин ушел, потому что и сам не знает, как лучше, как хуже! Вот он и ушел! Чтобы не путаться мыслями!— подумал вслух Устинов.

Тут заявил свое мнение Игнашка Игнатов.

— Ага-ага! — сказал он, подняв палец вверх, помахивая им над головой, над реденькими сивыми волосами. — Вот и Половинкин не знает, как лучше, как совсем худо и плохо! И мы не знаем тоже. Значит, мы вовсе не оторвались от народной массы! Отрывание, оно когда? Когда одне што-то там про себя знают, а масса — в темноте и не знает ничево. Ну, у нас такого нету, мы тоже не знаем ничо, а значит, мы, Комиссия, неоторванные! И когда так, верно что, давайте поживее писать Обращение к народу! А то затеяли его писать, да и забыли про его! Но раз мы с массой вместе, то нам забывать энто дело уже никак нельзя!

Устинов и еще сказал:

— Колчак пришел, а Половинкин ушел... Действительно! Как понять? Что значит?

Глава двенадцатая

КРУГЛЕШКИ И ПАЛОЧКИ

Теперь от Дерябина зависело: быть или не быть Комиссии?

Если он скажет: «Вот и Половинкину надоели наши слова! Хватит слов и заседаний! Тем более ни к чему писать Обращение!» — если он так скажет, значит, Комиссия расколется. Не станет ее больше на свете.

Дерябина тотчас поддержит Игнашка, Калашникова — Устинов, двое и двое, вот и полный раскол.

Всякое случалось в Комиссии, но такого момента не бывало.

Не бывало, нет... Члены Комиссии смотрели друг на друга внимательно: смогут они разойтись между собою, как Половинкин с ними только что разошелся, или не смогут? Будут и дальше вместе или уже порознь каждый? С этой вот минуты? Есть у них общее дело или не стало его? Или дело есть, и даже более трудное, чем раньше, но их-то уже нет при нем всех вместе? Или еще как-то, еще что-то, еще почему-то?..

Трое они друг к другу вот так присматривались, друг друга угадывали — Дерябин, Калашников и Устинов, а четвертый, Игнашка Игнатов, ерзал на стуле в каком-то нетерпении, о чем-то, но не совсем, догадываясь...

После молчания первым сказал Калашников:

— Верно и верно: слово у нас есть, а другого за душою — ничего! Трудовые мы люди, и крестьяне-хозяева, кормильцы человечества, и защитники-солдаты, и кооперацию делали, и песню пели «Владыкой мира будет труд», а все одно и нам бывает время, что у нас нету ничего за душой, как только слово! Хотя сильное, а хотя и слабенькое, но только оно одно. Как у ребеночков малых, когда оне пролепетать могут, а сделать не умеют и не знают как. До слез жалко самого себя в таком положении, а что сделаешь? Будем взывать! Обращаться!

— К кому обращаемся-то?— спросил Дерябин. Сердито спросил, неохотно, а в то же время подвигаясь на табурете к столу и вынимая из кармана гимнастерки замусоленный карандашик.

— К гражданам и товарищам...— пояснил Калашников.— Ко всем гражданам и гражданкам, которые пожелают быть людьми...

Уже поздно ночью Обращение было написано в следующем виде:

«Стало известно населению о приходе новой власти в г. Омске,— говорилось в нем.— Ясно, что за этой переменой последуют и другие, и не будет в Сибири организации или союза людей и даже отдельного человека, которого это не коснется.

И вот, в сознании предстоящих испытаний, Лесная Лебяжинская Комиссия поставила перед собою вопрос — нужна ли она теперь? Не будет ли она противоречием для нового государственного устройства Сибири?

Сообщаем гражданам, пожелающим выслушать нас, а прежде всего нашим избирателям, что Комиссия и впредь намерена существовать.

Вот наши мысли, через которые мы приняли это решение.

Хотя человек и называет себя существом мыслящим, немыслимыми остаются его ошибки, заблуждения и жестокости друг к другу. Так что мысль становится бессильной понять все это. И все-таки тут не самый еще конец человечества, и еще может теплиться надежда на разум и на сердечное раскаяние в собственных ошибках прошлого.

Но когда это попрание разума и сердца, когда немыслимость будет перенесена человеком на природу, то уже не сможет быть у людей никакого будущего, и не-

избежен их конец, позорный и ужасный, потому что это будет концом всякого сознания — человеческого, божественного или еще неизвестных сил. А когда так, то уже и сегодня человеку незачем жить. Разве это жизнь, которая преследует свой собственный конец и обращает в прах все живое и даже мертвое? Нет, это действительно один только позор!

И Лебяжинская Лесная Комиссия убеждена, что любая власть не усмотрит в ее деятельности хотя бы капли чего-либо противодействующего ей. Ведь истинное назначение власти — разумный закон и порядок, а закон и порядок не могут быть без убережения людьми всей природы и земли, на которой они существуют, а именно к этому убережению стремится наша Комиссия. И кому как не крестьянину, кормильцу человечества в целом, а среди него — властей и правительств, заниматься таким убережением?

Мы убеждены, и даже глубоко, что в разумном будущем человек сперва положит в основу тот либо другой закон природы, а уже после приспособит к нему свой человеческий закон. К примеру, в законе природы ни один, даже самый хищный зверь не истребляет другого, хотя бы и самого слабого, а только поедает его по мере истинной необходимости, ради только сохранения своей собственной жизни, отсюда и человек должен будет принять закон о невозможности истребления отдельных племен и народов, то есть о невозможности войн между собою.

Но так будет еще не скоро. Мы до этого, конечно, не доживем. Однако, покуда мы живые,— мы должны стремиться к этому разуму. Ведь для чего-то он у нас все-таки имеется?!

Итак, дорогие сограждане, продолжим нашу, хотя и скромную, но работу на благо нас же самих, на благо наших детей (что то же самое), на благо власти и государства, которое будет при нас и долгое время после нас.

Сограждане! Не будем гордиться, но факт есть все же факт: мы, хотя и с отдельными ошибками, добились такого распределения лесного запаса, что почти полное большинство граждан признало его справедливым. А когда это было в прошлом? Этого в прошлом еще не было, и это значит, что мы заглянули в справедливое будущее. Мы установили народные ценники на лес строевой, дровяной и на жердянник, и хотя вокруг хо-

зяйственная разруха и упадок, и цены вообще отсутствуют, и порядка нет нисколько,— наш ценник является вполне действующим.

Мы приняли первые меры к восстановлению лесного подроста, и к устройству лесных промыслов, и тому подобное. Наша Комиссия обращена к природе, то есть к девственной чистоте и к самому разумному в мире порядку, и вот именно это и позволило нам оказать хотя и малое, а все-таки влияние на беспорядок повседневной жизни нашего сельского общества — примером тому служит хотя бы только борьба с самогоноварением, за которую опять же подавляющее большинство граждан, а особенно гражданок, не может не выразить нам самой сердечной благодарности.

Не будем таиться,— нам трудно воспитать в себе сознательное отношение к общественной собственности и самодисциплину, но все же пройденный опыт кооперирования и нынешняя работа Комиссии подают нам надежду на самих себя.

Вас, граждане Лебяжки, мы призываем к всесторонней поддержке избранной вами же общественной организации, на сегодня — единственной в селе и тем более необходимой для утверждения во всех нас гражданственности и понятия, которые не создаются ничем, как только равноправным общественным сотрудничеством.

Вокруг бушует война, и деятельность нашей Комиссии при свете ее зловещего и совсем уже близкого зарева может показаться никому не нужным и даже глупым занятием. Но в действительности это совсем не так, ибо любая работа в пользу общества должна быть исполнена нынче со всей ответственностью людей друг перед другом. Как раз нынче, как никогда, это святой долг и обязанность человека.

И не для того наши предки привели нас в Сибирь, чтобы мы уничтожали ее земли и леса и самих себя уничтожали бы в распрях и братоубийстве. Прадеды наши верили в разум свой и в разум наш, а мы только продолжаем эту веру!»

Керосин, который водился прежде в избе Панкратовых, давно был сожжен Лесной Комиссией в ночных ее трудах, и теперь, потрескивая-попыхивая, светил жировичок-плошка. Фитилек был пеньковый, трещал, дымил, то вспыхивал, а то совсем почти что угасал. Свет от него шел густо-желтый, а угольно-черные тени падали на стол, на пол, на стены: кудлатая, неподвижная голо-

ва Петра Калашникова, подпертая одной рукой, остроносая — Дерябина, Игнашкин отпечаток — голова клонится, клонится, потом резко дергается кверху.

От Устинова тень отражалась и на столе и на полу и все время шевелилась — Устинов был нынче за писаря.

Когда кончили работу и вздохнули все с облегчением, поглядели друг на друга ласково и не без гордости — вот как смогли сделать, как написать! Дерябин придвинул к себе стопку листочков и сказал:

— Теперь вот что, Устинов! Теперь все, как тут есть, перепиши начисто. А то, кроме как ты, никто твою руку не поймет. Ну а мы, все остальные, придем сюда утром, и каждый, уже с чистовика, тоже перепишет Обращение. Может, и не по одному разу, а по два. И даже по три. Чтобы шире распространить его в массе, если уж оно существует.— Тут Дерябин вздохнул, задумался, а потом и еще сказал: — Хотя кто его знает? Вполне может быть, мы и зря занимаемся. Нынче надо заниматься оружием, а больше ничем. Как поняли уже многие селения и уезды.

— Нет, я не согласен! — тут же и горячо, будто и не было об этом споров, отозвался Калашников.— Не будет другого исхода — будем воевать! Но воевать надо уже бессловесно, со сжатыми губами! То есть у меня должно быть сознание, что я все сказал, ни одного слова убеждения и рассудка не забыл. Ни полслова! И ежели после того меня не захотели услышать и понять — тогда у меня действительно ничего другого не осталось, как оружие! И хотя я на возрасте и человек не военный, но пойду в первой шеренге! Ежели адмирал начнет с нами преступно и зверски делать, как атаман Анненков делает с народом в Сибири, как Семенов — за Байкалом, как Деникин — в России,— я пойду, ни минуты не задумавшись, и своей жизни мне не жалко, когда он меня убьет, потому что жить под издевательством и произволом — это гораздо хуже, чем помирать! Я одного не могу: воевать и думать — будто я забыл своему врагу сказать и объяснить о себе, а он, не поняв меня, из-за своего непонимания и воюет со мною!

— Ну, это ему очень хорошо — твоему врагу,— усмехнулся Дерябин.— Он умный стал, он радуется, что даже в простом народе и то разные слова нынче произносятся: «демократия», «свобода и равенство», «долг и сознание»... И покуда ты все эти и прочие слова ему

говоришь, он в тебя первый — пиф-паф!— получай демократию!

— Пущай! Я, между прочим, не об этом забочусь — об себе!

А Устинов сидел, помалкивал и думал о том, что ему трудно будет переписывать Обращение: у него чистописание и никогда-то не шло, не был он к нему способен, а нынче ему до смерти хотелось хоть одним глазком глянуть на бывшего Севки Куприянова, теперь его собственного мерина. До смерти! Кроме того, он столько уже думал над каждым словом Обращения, покуда оно писалось, что сидеть еще много часов за столом ему было не под силу. Но надо было. Надо и надо.

Дерябин и Калашников продолжали спорить устало, из последних сил.

Потом все члены Комиссии разошлись.

Устинов подправил фитилек в плошке и принялся за работу.

Тихо было в избе, сверчок стрекотал, часы-ходики постукивали, фитилек потрескивал, чернильное перо поскрипывало в устиновской руке. И еще Устинов слышал свое дыхание. Он каждый вдох приспосабливал к движению руки по бумаге.

И хотя Устинову очень хотелось забежать на свою ограду поглядеть мерина — все равно дело, кажется, пошло у него на лад. Он в каждое слово Обращения еще и еще вдумывался, словно брал его в ладонь правой руки, а потом сквозь тоненькую ученическую ручку возвращал на бумагу — на большой и белый лист. Комиссия в свое время из конторы бывшего лесничества разжилась этой великолепной бумагой и теперь пользовалась ею экономно, в особых только случаях.

«Несмотря на то, что человек называет себя существом мыслящим...»

«Разве это жизнь, которая преследует ускорить свой собственный конец...»

«Мы убеждены, и даже глубоко, что в разумном будущем...» — писал Устинов старательно, букву за буквой, слово за словом, фразу за фразой, и все явственнее эти буквы, и слова, и фразы вставали перед ним своим смыслом и своею надеждой.

А когда Устинов написал — «...и это значит, что мы заглянули в справедливое будущее» и действительно почувствовал этот загляд, этот будущий разум,— кто-то помешал ему. Кто-то рядом с ним появился.

Зинаида появилась...

Устинов поднял от бумаги голову:

— Ты — как?

Она усмехнулась, почти засмеялась, но на лице ее, темноватом при свете коптилки, тут же промелькнул не то страх, не то жестокость. Она положила руку на бумажный лист, закрыла перед Устиновым письмо и строго сказала:

— Я тоже который раз чую: что ищу — то найду! Рукой протяну чуть подале и достану. Вот так же, как ты нонче...

Устинов еще поглядел на Зинаиду молча. Ответил ей:

— Известно тебе?! Известно — ищу ли, нет ли я?

— Да мне все об тебе известно, Никола, неужто ты не знаешь? Притворяешься, поди, будто не знаешь?

— Выдумываешь! Чего нет, то и выдумываешь!

— А ты не прячь глаза-то, погляди на меня! Да я ведь след в след за тобою, Никола, иду! Иду, иду, иду — кажный день! Ты речь степным порубщикам говорил, а я в ту ночь в лесу была, слышала. К тебе Григорий Сухих приезжал в избушку на пашню — снова знала я, зачем приезжал он, с какими словами! Ты к Смирновскому, к Родиону Гавриловичу, пошел, а я наперед тебя забежала и говорила с офицером-то об том же, как и ты говорил. А Гришка Сухих горел прошлой ночью, Кудеяр уговаривал тебя пойти с ним в огонь — мне тоже известно!

— Откуда?— вздрогнул Устинов.

— И когда даже нету меня вблизости, я с любого места все об тебе знаю!

Устинов помолчал, усмехнулся:

— Может, напрасно я Кудеяра-то не послушался? Не пошел с ним в огонь?

— Может, напрасно. Сгорел бы уже с концом! И для себя, и для меня. Но не пойдешь ты в огонь-то, Никола... Нет, не пойдешь...

— А вдруг?

— Жизни слишком в тебе много, чтобы она позволила тебе в пламя пойти... Жизни много, но слепая она где-то, на какой-то глаз, не видит, не ведает, как женщина за ей следом идет, ни на шаг отстать не может!

— А вот нельзя! Нельзя человеку чужой тенью жить!

— «Нельзя»! Да я только так и живу, как нельзя! Как нельзя думать и надеяться — так думаю и надеюсь! Какие сны нельзя глядеть, те гляжу! Я в войну-то как думала: пущай бы ты вернулся с ее живой, а Кирилл бы — нет! Так разве можно? Кирилл — тот ангельская душа, а ты, может, и распроклятая?! Он из-за тебя крылечко свое тешет денно и нощно, самогонкой занимается тихонечко, а ведь у тебя из-за его волоса одного с головы не упало! Я Комиссию-то в дом свой позвала почто? Хотела лебяжинскому обчеству за давнее его добро ко мне добром же ответить, хотела, чтобы какая-никакая, а в моем дому справедливость совершалась, какой-никакой, а мир человеческий, когда вокруг войной все горит,— вот как я хотела! А сделалось как? К себе одной я все на свете свела — хочу у себя в дому тебя видеть и слышать кажный день без перерыву — вот и все! И все тут! Так разве можно людей-то всех из-за тебя одного обманывать и предавать? А когда так, когда я посередке однех только «нельзя» живу, давай сделаем: убежим! Куда-нибудь, все одно куда! Пленный австриец в Крушихе с мужней одной женой убежал! Австриец, чужестранец, а нам-то с тобою и бог велел сделать!

— С ума ты сошла, Зинаида?!

— Ну тогда утопимся вместе? С Кудеяром ты сгореть не захотел, а со мною утопиться? В проруби?

— Прорубь-то, вода-то холодная — она чем лучше того огня, в который меня Кудеяр звал? Юродивая? И ты?

— И опять не стыдно тебе, Никола?— спросила Зинаида и приблизила к нему свое лицо, темное, горячее, с широкими глазами.— Не стыдно? Нисколько?

— Стыдно мне!— признался Устинов, отворачиваясь.— Ты доведешь! Хотя до стыда, хотя еще до чего!

— Ну и за это спасибо! Хоть до чего-нибудь, а все ж таки могу тебя довести. И не прячь глаз-то, Никола, обратно! С закрытыми глазами все одно жизнь не проживешь! Ты открывай глаза, гляди на меня пуще! Ну? Что углядел-то?

— Тебя. Зинку Панкратову. А что тут такого? Особенного?

— Что ты увидел? Увидел, будто я для любви негодная?

— Я такого не сказал. Не увидел.

— Старая, да?

— Не сказал же я этого!

— Кривая? Косая? Рябая?

— А ну тебя! Ей-богу!

— Богу только и годная? Да?

— Ну, почто же ему только одному?

— Значит, годная я для любви! Для человеческой! А почто же не любишь? Не моргай глазками-то, отвечай: что мне с годностью своею делать? Что?

— Уняться надо тебе, Зинаида. Уймись. Успокойся.

— Да никогда в жизни!

— Бессовестная ты, ей-богу! Так и есть — бессовестная вовсе! Ты семью мою разорить готовая, и жену, и детей моих, и внучат! Ты — женщина! Женщина в тебе из кожи лезет — ладно! Но ты же — мать! Ты своих сынов вырастила, а мою кровь, моих внучат малых ты погубить хочешь? Да как же энто соединяется-то в тебе? Ты мне счастья желаешь? Обман! Обман, и все тут! Какое мне будет счастье, когда я малых младенцев, ровно Каин, предам? Ты, Зинаида, без малого тот же Кудеяр: он все человечество призывает за собою следовать, а сам единого человека не вскормил, не вырастил! Но ты еще хуже́е! Кудеяр отцовства не знает, и спроса с его нету, а ты мать, а предаешь материнство! И меня уговариваешь предателем сделаться. Тебя общество лебяжинское приняло, вскормило-вспоило, а тебе на его плюнуть — пустяк стоит! Мне обществом дело поручено, Лесная Комиссия, а ты меня завлечешь — какой же я после того ему работник? Я для всех, для кажного сопляка посмешищем стану, кажный пальцем в меня ткнет, скажет: «Какой это мужик, когда бабе поддался!» И не можем с тобою мы ничего такого. Мнится тебе, будто можем! Ведь это же сколь человек мы несчастными сделаем, когда я соглашусь с тобою? Сколь истинно человеческого и необходимого дела погубим? Да я после того и в глаза-то и людям, и сам себе побоюсь поглядеть!

— Нет, я совестливая, Никола. Совесть меня душит, за горло хватает. Но нельзя же всю-то жизнь в удушении жить?! И нельзя всю жизнь беспонятливой и бестолковой существовать — а без тебя, Никола, я такая и есть — в ожидании и в ожидании, как ты мне объяснишь...

— Чего объяснять-то?

— Все! Все на свете! Газетки я по ночам читаю, у мужиков, у соседей выпрошенные, а смысла понять в них не могу.

— Я могу, что ли?

— Ты — можешь! Ты ко всему умный, к любому предмету. Вот и обиднее всего на свете, что глупый ты к одному только — ко мне ты глупый и беспонятливый. Не понимаешь, что не рабой же я стала безмолвной лебяжинскому миру за корм, который он мне скормил? И не за тем же мне добро человеческое выпало пережить, чтобы после меня всю жизнь им попрекали? И себя я тоже попрекала бы? И от себя самой из-за него отрешалась бы? И Кириллу Панкратову я тоже не раба за то, что однажды понравился он мне. Было — понравился. Слова говорил красивые, глядел на меня ангельски, ну и что? Да неужели я по сю пору перед ним не отрабствовала за все? Не напахала на него, не насеяла? Не народила, не вырастила детей ему, не намолчала безответным молчанием, когда крылечко резное ему всею жизнью стало, дороже оно ему всего на свете! И не бесчестная я перед своею совестью — нет и нет! Я честная! А ежели совесть сильнее меня — пусть убьет меня, пусть иссушит, пусть заместо женщины пугало сделает огородное — я не обижусь. А обижусь — никому не пожалуюсь, ни одной живой душе!.. Но ты же сам, Никола, глядишь и видишь — не рябая я, не иссушенная, не одному только богу, но и человеку нужная! Так почто же ты, человек, от меня отказываешься? И меня и себя обманываешь, будто так и должно быть? Да не поверю я этому, не поверю никогда и во веки веков! Не может этого быть — вот мое последнее слово!

— Нельзя!— прошептал Устинов.— Нельзя!

— Зла-то, зла-то в тебе, Устинов,— сколь! Да неужто ты не видишь, как со мной-то происходит нонче! Неужели не поймешь, что девичество мое, замужество мое, вся жизнь моя — она не как у других баб, и вот отбилась я от баб, и не такая я, как все они, и закон бабий мне — ничто! Одинокая вовсе стала я, в одиночестве потеряла страх, ничего не боюсь, и можно мне все! Я набоялась за свою-то жизнь — хватит! Я его скрывала, свой страх и робость, и стыд скрывала, что не такая была, как все, а бабы обо мне говорили: «Зинка — она храбрая, ничего не боится, мужик мужиком!» Оне и знать не хотели, как страшно мне, что я от баб откололась, а к мужикам не прибилась, что жениха не умела

выбрать себе да и мигнуть ему: «Подходи, мол, ко мне!» Что после мужицкой-то работы до смерти боялась я, не зная, смогу ли, нет ли ребятишек по-хорошему народить! А когда я через свой страх перешагнула и все по-бабьи сделала, так чего же мне и еще-то бояться? Какой еще выдумать для себя страх? И для чего?!

— Нельзя! — снова крикнул Устинов и оттолкнул Зинаиду, и голова ее опрокинулась назад, глаза закрылись. Не скоро она выпрямилась на стуле, облизнула губы.

— Какой нашелся?! Откуда и зачем только нашелся и взялся? Григорий Сухих — в нем в одном три, а то и четыре мужика живут, и все, как я велю им, так и сделают, так и поступят! Велю убить тебя — и завтра же тебя не будет на свете! Скажу не убивать, и пальцем не тронут, хотя бы ты его оскорблял, хотя бы изгалялся над им сколь угодно! Он и всегда-то, Гришка Сухих, уважал тебя бесконечно, а враг ты ему по одной только причине — из-за меня! Но я велю — он и эту причину забудет! А ты? Да откудова ты взялся — душу мне сушить, тело мучить и распинать? Откуда? Злодей ты из злодеев! Убийца мой!

И таким проклятьем были эти слова, что Устинов огляделся по сторонам — не слышит ли их кто?

— Пошто же ты меня так? Ничего я тебе не сделал!

— Зверь ты за это страшный, когда не сделал мне ничего! Сказочку про святого Алексея, божьего человека, рассказал — это было! А большего-то что? Ничего больше! Как чужой! Как нездешний какой-то. Я следом-то за тенью хожу. За призраком! А призрак только и желает, чтобы я через него тоже тенью стала бы! — Зинаида подержалась за голову... Передохнула. — Умный ты, Никола! И я за твою умность радовалась, от радости дрожала! А пришла к тебе, приблизилась, об ту же самую умность и лицом, и всем телом ударилась! Больно-то как!

— Мало ли что! Вот и Кудеяр зовет меня в свою сторону, а я буду из одной стороны в другую метаться — а где же я сам-то тогда? Для тебя — мужик, а сам-то для себя кто я буду? Бабой сбитый и околдованный — кто я? И перед богом — кто?

— Бог простит и поймет...

— Никогда!

— Всегда! Убийство людям бог прощает, войну бессмысленную — прощает, а любовь? Да какой же он бу-

дет бог, когда не простит любви? Девкам полувятским простил же он, когда оне кержаков околдовали? Еще как простил-то: вся Лебяжка от того греха народилась, стала существовать!

— То девки были. И парни. А не мужние бабы!

— Ну, не скажи — девкин грех сильнее, как бабий! По себе знаю: нож воетрый сколь годов носила за голенищем, защищаться от греха, оберегать свою будущую судьбу! Ну а когда судьба меня обманула — так я после того с ножом-то уже против ее пойду!

— Вот и ходила бы ты, Зинаида, не за мною, а за Гришкой Сухих.

— Ну кто же из нас бесстыжий-то? Бессовестный?

Устинову опять стало неловко, только теперь он виду не показал, не признался, упрямо повторил:

— За Гришкой Сухих и ходила бы! Он-то за тобой ходит? Сколь уж времени?

— И еще сколь ходил бы... Кабы я позволила.

— А позволь! Позови его издалека откуда-то!

— Не уедет он далеко-то... Не седни, так завтра явится — через прясло на меня поглядеть. Узнать, не надо ли мне чего? Может, богатство мне понадобилось какое-нибудь? Или от мужа своего я надумала скрыться? Или вот от тебя отреклась? Ему один раз хватит глянуть и понять, хотя про него и говорится, будто он дикий зверь! О тебе другая молва и слава: ты добрый да умный. И вот — дикий зверь меня понимает, а добрый человек — нисколь! Хотя тверди ему день-деньской, хотя кричи в голос и в рев! Почто так?

Устинов отвечать не хотел.

— Люди-то сгорели у его в дому, в заимке?— спросил он.— У Гришки?

— Люди спаслись. Он как знал — в степную деревню отвез их заранее.

— Кто его пожег? Гришку?

— Знаю, что не ты.

— А Гришка знает?

— Знает, верно... Да что мне Гришка? Не с ним я быть и убежать мечтаю! Давай, Никола, убежим! Скроемся?— снова вспомнив что-то, в лихорадке какой-то зашептала Зинаида.— Григорий же нас и скроет от всего света! Он! И помрет — словом никому не обмолвится, где мы и как с нами!

— Ты не змея ли, Зинка?

— Все нонче со мною может быть! Все! Но ежели кто и спасет меня от змейства этого — ты! И никто более! Спасай меня, Никола, раз и навсегда — я-то ведь спасаю тебя. Спасаючи тебя, чего только не придумываю!

— Спасаешь? От кого?

— Ото всех! Кто-нибудь, а убьет тебя нонче! Не Гришка — так Матвейка Куприянов. Не Матвейка — степные порубщики, которых ты от леса отвадил! Не они — милиционер наш лебяжинский. Он по нынешний день никто был, пустое место, а замаячила твердая власть, и он будет служить изо всей силы, доказывать свою верность! Будет!

— Ему-то я когда плохо сделал? Я никому не хочу плохо, а до его, пьяницы, лодыря, мне вовсе дела нет.

— Будет! Листочки свои, Обращение на сходню наклеите, вот и будет!

— Там одне только правильные слова. В Обращении.

— Никола ты, Никола! — и грустно и ласково усмехнулась Зинаида. И покачала крупной своей головой.— Да какая власть, какое начальство допустит, чтобы ты, мужик, и умнее его оказался бы? Власть, видишь ли, надумали они учить! Как ей себя вести, что и как понимать?! Об лесе внушать, а заоднем — едва ли не обо всем на свете! Надо и надо тебя спасать, покуда ты живой! И знаю я: без женской заботы, без бабьего предостережения пропадешь ты! Пропадешь! Пойми: сколь я тебя ни ищу для себя самой, для своей бесконечной любви — это все и для твоего спасения нужно! Кабы не нужно было, я бы отступилась! Без Панкратовой Зинаиды в жизни нельзя тебя оставить! Оставлю — не будешь ты живой! Ты для всех нонче нужен, знаю! Смирновскому нужен, и Кудеяру нужен, и семье своей, и в Комиссии нужен, все тебя хотят, все к тебе идут, чуть ли не на коленки перед тобою падают, а дойдет дело спасать тебя — никого не найдется, одна только я! Пойми! — тут Зинаида погладила Устинова по голове. Легко и немного. Словно ребенка малого. Тревога, и такая забота, и такая ласка были в ее руке — Устинову в жизни они знакомы не были. Никогда.

И голова устиновская закружилась в этой новой, мгновенной, но совсем незнакомой жизни, он стал погружаться в ее темную, вздрагивающую глубину... Он

ведь и правда был сам себе знаком, когда все вокруг ждало от него забот и усердия — старики родители ждали, жена Домна, дети и внуки ждали, все движимое и недвижимое имущество ждало, вся его пашня, весь белый свет ждал... Вся военная служба — и фельдфебель и царь ждали и требовали, неизменно грозили уничтожить его, если забот и усердия от него не будет. Но себя, заботливо и тревожно обласканного, Устинов не знал до сих пор, не ведал.

А нынче и ласка и заботы ему дарились — одного только не делай — не стесняйся же!

Уже и другая Зинаидина рука лежала на устиновском плече.

«Счастье, что ли? Или страшное несчастье этак прикинулось?»

— Который человек людям больше других нужон,— шептала Зинаида,— того они менее всего и берегут! Я потому и правая перед тобой, перед собой, перед белым светом, что одна уберегу тебя — больше никто! А ты неправый передо мною, когда жизни в тебе страсть сколь, и на всех ее хватает, даже на чужих, на Кудеяра юродивого и то хватает, а на меня одну — нет! Да разве может быть такая несправедливость?

— Разговорилась ты, Зинаида... Слишком!

— Наконец-то! Я не один уж год с тобою вот так же разговариваю, и все молчком, все со слезой пополам! Все одна-одинешенька!

И она склонила его на свое плечо. Он с нею не согласился. Но слабо, незаметно не согласился. И смолчать, не откликнуться уже не смог, хотя отклика тоже не знал...

— На войне была самая первая догадка — буду убитый! Обязательно!— сказал Устинов тихо Зинаиде на ухо и прислушался: не сбылось ли его предчувствие? Потом усмехнулся:— Не сбылось. И на второй ли, на третий ли год, тоже в окопе, приснилось: останусь живой! Останусь и останусь! Какой сон, об чем — не помнил нисколь, а догадка во сне пришла, та сбылась!

— В то время как раз я об тебе здесь, в Лебяжке, и задумалась!— выдохнула Зинаида.— Не смыкая глаз! Раз и навсегда — задумалась!

— Давно было. А недавно уже и тот же сон, и опять не знаю об чем, знается одно: буду жить! Должон и бу-

ду! И война кругом, и к Лебяжке она подступается, но я все одно буду живым!

— Когда он явился-то к тебе — второй твой сон? Комиссия здесь, за этим столом, уже сидела?

— Уже...

— Для того я Комиссию к себе и привела! Чтобы второй сон тебе сотворить!

— Глупость же...

— Бог ты мой, да разве ты когда поверишь, сколь еще всего, самого разного, я могу об тебе сказать? Но ты не бойся — я об самом себе думать тебя не научу. Не умеешь, и не надо, и хорошо! Верно, что не нужно этого настоящему мужику! И когда другие все от тебя без конца и без края заимствуют, а ты и не замечаешь этого и сроду худо об людях за это не подумаешь — пусть так и будет! Я и этого рушить не стану. Но растерзать тебя и по косточкам растащить — не дам! Хотя одному, хотя вместе всем, сколь есть людей на свете, клянусь — не дам!

А руки крупные были у Зинаиды и горячие, она ими Устинова уже сейчас никому не отдавала, он и сам из них не хотел уходить, они его голову положили на одно Зинаидино плечо, потом — на другое, и она удивленно засмеялась:

— Хорошо-то как сильного мужика в собственных руках подержать! Хорошо-то как, боже мой!

— Не сильный я... Тебе поддаюсь — какая в том сила?!

— Не перечь! Не смей!

— Мало ли других-то, которые никогда бы тебе не поддались?

— Мало! Ох, мало таких! Вы в Комиссии собрались из всего лебяжинского мира особенные! Игнашка Игнатов, нарочный ваш, да Половинкин тоже, мужик, как все мужики,— так вот он и ушел, не стерпел вас таких, не по силам вы ему... А из троих вас — ты опять же не такой, как оне! Совсем ты ни на кого не похожий!

— А к чему это тебе? Делить-то нас по сортам?

— К тому, что ты из всех самый умный! И красивый! Жена у тебя, и та одна такая царица-пава на всю Лебяжку! Потому что — она за тобой!

— Домну не поминай нонче! Не надо!

— Не буду! — согласилась Зинаида.— А вот что красивый ты — об этом буду говорить, не запретишь:

глаза голубые, сам белый, и светом весь светишься. А засмеешься — то и непонятно уже, как другие-то все вокруг не смеются, задумаешься — и все должны с тобой вместе думать и думать... Плечи широкие, усталь им ни в чем не ведома. Лоб гладкий, безморщинистый. Руки...

И тут они оба явственно услышали шаги под окном. Под тем, которое из горницы выходило не на улицу, а во двор. Которое было без ставни. Через которое падал в горницу лунный свет — тоже желтый, словно в плошке закопченный.

И легкий стук в это окошко раздался.

Устинов поднялся, глянул на Зинаиду, она жутковато простонала:

— Не Кирилл...— сказала она, когда стон ее кончился.— Не он. Кирилл за материалом столярным в Крушихе. Он — конный...

А шаги во дворе не повторялись, притихли, и глухо потрескивал в плошке огонек, а больше не слышно было ничего.

— Зинка?! У тебя, поди-ка, и дверь на крюк закинута изнутри?

— Закинута...

— Пойди открой! Быстро!

Она пошла незряче, будто в полной тьме — руки вперед, голова откинута назад. Горницу миновала, из кухни послышались шаги, послышался железный звон крюка.

Устинов склонился над бумагой и неаккуратно, торопливо переписал из Обращения еще несколько слов: «...человек положит в основу тот либо другой закон природы, а тогда уже...»

Кухонная дверь пристукнула, раздались осторожные шаги, в горницу вошел незнакомый человек. В полушубке до колен, с шапкой в руке.

Следом вошла Зинаида.

Она и пришедший человек сели на табуретки по обе стороны дверного проема и долго молчали, покуда незнакомец не сказал:

— Ну?! Ну, здравствуй, хозяйка!..— Тут он и еще сказал:— Павловна!— И, растопырив пальцы, расправил длинные свалявшиеся волосы на голове. Должно быть, он давно уже шапку не снимал, и волосы — не то светлые, не то рыжеватые, в полутьме не видно было какие — свалялись, словно войлок.

— Здравствуй...— ответила Зинаида. Но по имени человека не назвала, и Устинов опять не узнал, кто это был.

И незнакомец тоже спросил с сомнением:

— Да ты признаешь ли меня?— спросил он.

— Я признаю тебя, сват...— вздохнула Зинаида.

— Ладно, когда так!— усмехнулся незнакомец крупным и тонким ртом, и Устинов его узнал: Веня Панкратов, Кириллов двоюродный брат!

В одной руке Устинов и сейчас чувствовал Зинаидино тепло, другая еще не оторвалась от Обращения: «...закон природы, а тогда уже...» Чем-то, еще каким-то нужным словом Устинов закончить строчку не успел...

У Вени было сухощавое, безбородое, но не выбритое лицо с длинным подбородком, с узкими, глубоко посаженными глазами, оттуда, из глубины, он пристально смотрел на Устинова и вспоминал, что он об Устинове знает.

Привычка так оглядывать людей у Вени была, наверное, с тех пор, когда он стоял в руководстве лебяжинским обществом — с нынешней зимы и до лета Веня был председателем совдепа.

Веня всегда ведь стоял на чьей-нибудь защите. У кого обида от Ивана ли Ивановича Саморукова, даже от всего общества, тот шел жаловаться к Вене. И Веня жалобу выслушивал, который раз записывал на бумажку, после сам ходил из дома в дом, объяснял, что и как с человеком сделано несправедливо. В своем хозяйстве концы с концами едва сходятся, но он в этом беды не видит, если же бедствует и разоряется кто-то другой — тут Веня первый заступник.

Когда Временное правительство и чехословаки свергли Советскую власть, чуть ли не в тот самый день был арестован, увезен в город и посажен в тюрьму Веня Панкратов, и если кому-то из лебяжинцев и должна была выпасть вся эта судьба, то ему.

— Ты, однако, беглый нонче, Веня?— спросил Устинов.

— Однако...— подтвердил тот.

— Где скрываешься-то?

— Где удобне́е, там и скрываюсь.

Устинов застеснялся, умолк и отвернулся в сторону, а Зинаида поднялась с табуретки, ослабевшая, поникшая. Спросила Веню:

— Голодный, поди?

— Я сытый, Зинаида. Но дело у меня к вам. К обоим.

— К обоим?— снова спросил Устинов.

Веня подошел к столу, еще приспустил фитилек в плошке.

— Значит, спрячешь меня, Зинаида! В подполе... Но когда соберется утром Комиссия, вы, оба-два, сделайте, чтобы она долго не занималась, а разошлась кто куда быстренько. Кроме одного товарища... товарища Дерябина. После, как мы с ним встретимся, ты, Зинаида, спрячешь меня обратно и снова до ночи. Ночью я уйду. Тихо-спокойно, как нонче пришел, так же и уйду. Понятно? Кирилл когда вернется? Из Крушихи?

— Не ранее как послезавтра...

— Это и для меня хорошо! Для меня!— повторил Веня и обернулся к Устинову.

Вениных глаз не было видно, но что глядит он внимательно и зорко — само собою догадывалось.

— С тобой я тоже искал встречи, Устинов!— сказал наконец Веня.— Дело в двух словах какое? Ты не думай, Устинов, будто Лебяжка и вся местность кругом без войны обойдутся! Не обойдутся! Заруби на носу и готовься к борьбе с оружием в руках! Лично сам и готовь других! Это еще можно было кое-как уповать на мирный исход при временном правительстве поповского сынка Вологодского, но нынче, при адмирале Колчаке, такое упование уже одна глупость и безумие! Понятно? И советую я тебе: уходи, скрывайся от людей — вот как я сам скрываюсь! Понятно?

— Непонятно, Веня!— ответил Устинов.— И до того, как на Лебяжке откроется стрельба, я все одно тебя не пойму. Не смогу понять. Не объясняй — не пойму!

Но Веня все равно стал объяснять — торопливо и подробно. Колчаковское «Положение о временном устройстве государственной власти в России» стал объяснять и чрезвычайные полномочия адмирала Колчака, о царских губернаторах, которые снова у власти под названием управляющих губерниями, об английском батальоне в городе Омске.

Веня Панкратов жил от людей тайно, но знал все, а вот Устинов, житель вольный, не знал ничего. И сомневался: что-то уж очень много люди нынче знали, а жить все равно не умели, жить разучались с каждым днем.

Устинову это бесконечное знание не подходило, он к нему с недоверием относился, точно не зная в чем, но в чем-то его подозревая. Когда человек и то, и другое, и третье знает — Устинов мог и позавидовать, но всему своя мера, нет ничего на свете, в чем не может быть перебора. А перебор и неувязка в таком деле — очень может быть плохая. Вдруг человек дознается до чего-нибудь нечеловеческого? До того, что его нечеловеком сделает? Надо от напасти себя уберегать! Об Устинове говорили — он знающий мужик и умный. Но о себе Устинов знал такую хитрость: то ли от матери, то ли от отца, то ли от самой природы был он приучен слушаться наиглавнейшего разума, который сама природа и есть!

Наступает в природе весна, и умный ты или глупый, добрый либо злой, доволен жизнью либо проклинаешь ее, а только запрягай коней и паши! Настала осень — и снова определена тебе жизнь — что делать, о чем заботиться. Вот это разум так разум, не чета твоему собственному! И так — во всем! Дети у тебя народились, а вот уже и внуки — и вот уже снова определено, что и как тебе делать, чтобы все они были живы и здоровы!

Святку он вырастил — его это рук дело, его затея, а разум? Разум не его, и вот он уже не может поступать со Святкой как вздумается, не тут-то было, и неизвестно, кто кому хозяин — ты ей или она тебе? Ведь не она за тобой, а ты должен за ней ухаживать, поить-кормить, греть печурку, а приказа ей не отдашь — постоять на холоду. И взыскание по службе не наложишь, даже в унтеры против нее не выйдешь: сказался разум выше твоего собственного! Сказался!

И что там — живые души? Человеческие или скотские, но живые! Даже бездушный предмет — зерно — и тот определяет твою жизнь, громко сказывает, когда его сеять, когда жать! Когда продавать, а когда и прикупить! Даже твои телеги и сани тебе дают указ, когда и что надо с ними делать.

В этом всеобщем природном разуме и законе примостились и собственный устиновский разум и закон, нашлись и для них местечки. Нашлись, потому что они не очень-то заносились, а слушали внимательно и чутко указы свыше — что и как надобно им делать, чем заниматься.

А вот к человеческим указам о том, как надо жить,

Устинов относился с подозрением, слушал их, но далеко не всегда. Когда человек учит другого человека мастерству — колодезному, землемерному, пашенному,— тут другое дело, тут умелый от умного не очень-то отличается, но когда учитель твой вроде бы и умен, да неумел, тем более когда он учит тебя жить, а свою жизнь живет кое-как, откуда тогда возьмется у него право учить?

Откуда оно у Вени Панкратова?

Устинов до сих пор без Вени обходился, жил своим соображением нехудо, от бедности смог отбиться, на богатство не польстился, ни руки, ни спину, ни душу ради богатства не закладывал — проживет он без Вениного обучения и дальше, почему бы нет? Жил ведь и для многих был примером, а вот учить — никого не учил, стеснялся, даже Домне и дочери своей Ксении, даже зятю Шурке сроду не сказал: «Жить надо не так, а вот так-то и так-то!..» Он им день за днем показывал свою собственную жизнь, а призывать — нет, не призывал, не агитировал ни дома, ни на фронте — нигде!

И людям, которые все на свете вокруг себя знают — что в Лебяжке делается так и не так, что в городе Омске — так и не так, что в Москве, в Питере и в Берлине так и не так,— этим людям Устинову поверить было очень трудно.

Будь то хоть свой, через прясло, сосед, хоть генерал, хоть император, хоть попишка деревенский, хоть патриарх всея Руси, для всех нечеловеческое это дело — знать больше того, что мир и природа знают! И нет у природы никакого резона создавать человека, который умнее ее самой. И резона нет, и даже, наверное, такого умения. Все она умеет, а этого — нет.

Давно пора было бы людям понять природный резон, в нынешнее время он особенно им пригодился бы, нужен был позарез, но как раз нынче-то все ошалели, каждый помешался на своей гордыне, каждый учил жизни всех, все — каждого. И не по букварям учили, не по книжкам, а с оружием в руках. И не поверил Устинов Панкратову Вене, умному мужику, гонимому и справедливому, вечному заступнику обиженных,— не поверил! Староверческой линии мужик, Веня Панкратов еще несколько лет войны ужасно боялся, спрятаться готов был от нее, а нынче сам к войне призывал, внушал, что без нее нельзя. И многим, наверное, он мог это внушить, а вот Устинову — нет!

В голове устиновской что-то гудело и свербило, в затылке раздражалось, и в душе было совсем не то, чего хотел бы Веня.

Устинов шевелил потихонечку, незаметно пальцами левой руки, остужая их, но пальцы еще не остывали, в них все еще блуждало Зинаидиных плеч, рук и лица тепло.

И Зинаида все то время, покуда Веня объяснял нынешнюю жизнь, молчала тоже, омертвело сидя на табуретке у дверей, руки у нее на коленях чуть подрагивали, иногда шевелились, что-то искали и не находили.

Веня неожиданно замолк — она резко вздрогнула, покачала головою.

— Поди-ка, Зинаида, поставь мне все ж таки чего поесть, холодного чего-нибудь маленько!— сказал, приподнявшись с места, Веня, а когда Зинаида ушла, он притворил за нею дверь, вплотную приблизился к Устинову и, присвистывая, торопливо зашептал:— А еще — гляди, Устинов! Гляди — не дай бог скажешь кому, будто видел меня и слышал! Не дай бог! Я бы, может, сам-то и простил тебя, но дело не во мне одном, ты это пойми! Другие могут и не простить.

— Тебе бы все объяснять, Веня! Почто так?

— Вот я и объясняю: не дай бог!

— Веня? А ты в бога веришь? Даже?

— Не верю. Даже нисколь. Отверился давно. И не для себя это произношу, а для тебя. И даже не для тебя, об тебе мне известно — ты мужик догадливый, знаешь, о чем говорить, о чем ни слова. Ну а взять других? Хотя бы взять Шурку, твоего зятя?! Вдруг ты перед зятьком обмолвишься?

— Да зачем его брать-то, Шурку?

— Ну к примеру.

— И к примеру не надо, вовсе ни к чему! Да и неужто такой он вредный — Шурка? Он только веселый!

— Он даже полезный может быть, но это в дальнейшем. А покуда он ненадежный очень, болтливый слишком! Так гляди, Устинов, я тебя честно предупреждаю!

Утром все было сделано, как Веня Панкратов наказал: собралась Комиссия, и Зинаида шепнула Дерябину слово, а тот, сказавшись нездоровым, будто бы пошел

домой, на самом же деле спустился в подпол. Вскоре и Устинов посоветовал Калашникову с Игнашкой отложить переписку Обращения до завтрашнего дня, а пока познакомить с ним Смирновского и Саморукова — пусть умные люди посоветуют, скажут — не дописать ли чего, не переменить ли какое слово? Не подпишутся ли под Обращением и они?

Все трое они ушли из панкратовского дома. Веня с товарищем Дерябиным теперь вполне могли покинуть подпол и вести свой разговор в горнице... Но вряд ли они покинули его — в темноте им все-таки было лучше, надежнее.

Устинов медленно шагал по длинной Озерной улице, а думалось ему все еще о Вене.

Конечно, живет Веня не дома, и даже не у родственников, потому что едва только пронюхает кто-нибудь его след — крушихинская милиция и зятьев и братьев Панкратовых обшарит прежде всего, и даже может пожечь их, и арестовать, и руки к ним приложить. Веня скрывается у такого человека, на которого никто и не подумает, но который все знает, что в Лебяжке делается: когда Комиссия заседает, когда Кирилл уезжает в Крушиху за материалом для столярной поделки.

Значит, Веня уже не один такой в Лебяжке, таких, может быть, десяток человек, и в то время как Лесная Комиссия трудится в доме Панкратовых, они в тот же самый час тайно собираются своим кружком или ячейкой в другом чьем-то доме или подполе и совсем другие ведут между собою разговоры... Совсем иначе хотят устроить жизнь. Хотят приспособить к войне лебяжинскую лесную охрану и уже знают, какие соседи завтра будут стрелять друг в друга. Знают, кого надо арестовать в первую очередь и кто выкажет властям их, если нынче они дадут хоть малую оплошку.

А в доме Круглова собираются другие люди, богатеи — у тех свои планы и расчеты на жизнь. Совершенно свои!

Удивительно, как люди больше всего любят заниматься тем делом, которое они меньше всего понимают и умеют?!

Все без конца переделывают жизнь, а поглядеть бы хоть раз на человека, мастера этого дела. Высокий он или низкий? Лысый или курчавый? И чтобы он показал бы свой продукт: «Вот как я произвел, вот как я сделал!

Ну не загляденье ли?! Ну где на моем продукте хотя бы один огрех, одна царапина?» Нет, не встречал такого мастера Устинов. Ни разу в жизни.

Конечно, люди меняются, а дети не могут жить, как деды их жили, но зачем же шалить-то с каждой жизненной переменой? Почему Круглов Прокопий и Веня Панкратов занимаются этим делом? Или они умнее Николая Устинова? Нет, что ни говори, а только не очень умный и не бог весть какой умелый Половинкин нынче больше всех казался Устинову по душе! Половинкин, когда понял, что не знает дела,— плюнул да и от него прочь. Честно! И даже разумно.

Устинову хотелось нынче простоты и ясности, как никогда в жизни. Он и всегда-то до нее страшный был охотник, но теперь без нее стало ему невмоготу — как без воздуха, как без самой жизни!

И вспомнился ему случай, как однажды он чуть было не ухватил эту простоту, чуть не взял ее обеими руками!

В одиннадцатом году было, в тот самый раз, когда техники с железной дороги звали Устинова на строительство, обещали положить жалованье пятьдесят пять рублей со сверхурочными.

Устинов тогда нарочно пригласил техников ночевать на сеновале и утром, только господа проснулись, пошел к ним изложить догадку. Грамотные же люди, понятливые. И к Устинову отнеслись хорошо, оценили его высоко.

Техники, только что проснувшись, лежали на свежем сене, из прохладных глиняных кружек пили утреннее парное молочко.

Устинов спросил у старшего:

— Узнать бы ваше имя-отчество? Вчерась беседу мы вели на предмет теодолита и других понятий, а имя-отчество ваше не узнано осталось. Нехорошо!

— Тезки мы с тобою!— ответил старший, потягиваясь на сенце:— Зовут меня Николаем. А отчество — Сигизмундович. Понятно?

Устинову было совсем непонятно, однако он кивнул утвердительно.

— А на какой предмет я тебе понадобился?— поинтересовался старший.

— Вот именно,— обрадовался Устинов,— опять же о предметах у меня соображение! Значит, так: существует фигура такая — круг называется...

— Существует!— согласился Николай Сигизмундович.

— А еще имеются в природе палочки. Который раз — длинные-предлинные.

— Прямые...— подсказал старший.

— Но иной же раз оне слишком короткие, чтобы быть прямыми. Глазом не видать.

— Тогда это точки...

— И не точки и не прямые, а вернее всего — коротенькие палочки.

— Ну-ну. И что же из этого следует?

— А следует вот что, господин старший техник: кроме круглешков и тех палочек, которые пущай будут правдашными прямыми, кроме их, на свете нет ничего более!

— Вот так история! — удивился старший и поставил кружку с молоком на щербатую доску сеновального настила. Товарищ его, у которого не хватало зубов, тоже вытаращил на Устинова и глаза, и беззубый свой рот.

— Энто с первого разу кажется — будто история! А присмотреться — так истинная правда и нонешняя существенность,— заверил Устинов.— Ей-богу! Взять любой и кажный предмет, вот хотя бы энту травинку, хотя бы энтот мой палец — он весь очерчен либо прямой линией, либо кривой. А кривая, она — что? Она обязательно часть какого-нибудь круга! Хотя огромного, в величину земного шара, хотя крохотного, не видимого глазом, но круга! Лепесток взять. Кривая на нем уже не одна, то есть много их. То есть часть одного круга переходит в часть другого круга, но все одно тут заложены круги и прямые, прямые и круги! И так во всем. Во всем, сказать, мире, который живой и мертвый! Да!

— Да?!

— Да!— подтвердил Устинов.

— А как же быть с паром? Или с дымом? У них-то нету твоих кружочков? И палочек? Как с ними-то быть, Николай Леонтьевич?

— Пар и дым, а еще и вода — тут, правда, одне точки. Но даже и оне стремятся в фигуру, в какое-нибудь облако. Хотя об них, об тех сплошняком бесформенных предметах, у меня речь может быть и впереди, когда позволите, Николай Сикиз...

Тут Устинов, припомнить, так споткнулся на слове,

на этом самом месте, а старший усмехнулся и сказал ему:

— Ну-ну! Давай дальше!

— Дальше вот как: вы бочку с обручами наблюдали?

— Наблюдал. Приходилось.

— Бочка в обруче своем находится неподвижно. Почему? Потому что бочка — круг, а обруч — тоже круг, того же почти размера, того же, правильно ежели сказать, диаметра. Но как только обруч станет во сколько-то разов больше своей бочки — она сразу же зачнет в нем кататься. Бочка уже воспринимает обруч как почти прямую, а круг и прямая обязательно вызывают движение! Верите ли, господин старший техник, я нисколь не удивился, когда действительно понял о Земле, что она круглая и бесперечь катится вокруг Солнца! Так и должно быть, а вовсе не иначе, тут опять же закон и порядок движения круга по прямой линии! И даже по кривой, когда ее изогнутость слишком малая в сравнении с тем предметом, который по ей двигается! К тому же, сказать, слишком уж длинных прямых линий, может, и вовсе нету на свете, и кажная прямая мало-помалу, а сгибается, делается кривой, старается выйти на круг и вернуться к само́й себе, то есть замкнуться. Отсюдова и получается всякое движение, как по местности, по воде и по воздуху, так и все иное прочее: хотя бы и движение человека от плода к ребенку, от ребенка — к взрослому. Тоже свой круг.

— Система мироздания?

— Вот-вот, Николай Сикиз... Вот как сказывается у человека учение: ученый то же самое видит, как и малограмотный, но слова сразу же найдет к увиденному правильные: мира здание!

— Ну, положим... А как же быть с богом? Где он у тебя, Николай Леонтьевич? В твоем мироздании?

— Он у меня вот где: в самом большом круге! В котором умещается все остальное. Который настолько большой и великий, что он — это уже прямая для всего на свете остального, и потому все остальное может по ему двигаться и бесконечно в том наибольшем круге повторяться... Повторяться в рождении детей от родителей, лета — от весны, зимы — от осени, в ветре и в течении, в самых разных предметах. Потому у бога

и нет лика, что он — самый громадный и необозримый круг. У всех святых есть, у его — нету!

Николай Сигизмундович встал и снял с гвоздика на стропиле форменную свою тужурку — он до этого момента в нижней белоснежной рубашечке находился и на белой же простынке, которую Домна гостям постелила. Не торопясь, надел тужурку, обернулся к Устинову и сказал ему:

— Ладно! Я согласен: кладу тебе даже и не пятьдесят пять, а шестьдесят рублей в месяц со сверхурочными! Включая полевые! Кладу, бог с тобой! Если уж ты такой головастый и очень хитрый мужик! Теперь доволен? Окончательно?

Устинов молча спустился с сеновала, быстро и молча запряг Моркошку и уехал со двора.

На пашню.

Он ехал тогда проселком, прищуриваясь, вглядывался в круглое солнце и в небо, в котором тоже просматривалась округлость, и чувствовал свою правоту...

Ну, конечно, сильно разгорячился он тогда, летом теперь уже далекого тысяча девятьсот одиннадцатого года, объясняя старшему технику-путейцу Николаю Сигизмундовичу, как отбивается на местности заданный угол инструментом-теодолитом, как подсчитывается объем земляного кавальера. И еще больше он хватил насчет устройства всего белого света, всего мира! Ну, конечно, не одними круглешками и палочками весь мир нарисован! Вспомнить, так он тогда обиделся не за круглешки и палочки — им что, не в том, так в другом виде и обличии они все равно существуют, как бы там Сигизмундовичи о них ни думали!

Он за себя обиделся, наверное,— неужели настолько далек он от правды, от истинного устройства мира, от главнейшей простоты, на которой все держится, что и руку протянуть к ним не может? Он же раньше всех каждый божий день встает и всякий раз видит, как солнце восходит — а для чего и как восходит оно — так это совсем не его дело?! Протянул к этому делу руку, а тебе в ладошку пятерку — р-р-раз! Шестьдесят — минус пятьдесят пять рублей — пятерка же получается!

А нынче уже и по-другому: ты к той же истинной простоте снова тянешься, а тебе ответ не пятеркой в ладошку могут дать, а прикладом по мозгам!

А почему так?

Устинов верил ведь, что если можно рассмотреть, в каком порядке устроен весь белый свет, так и жить в этом свете тоже можно по порядку и даже порядочно...

Нынче он шел Озерной улицей, глядел на знакомые бревенчатые избы и, зная каждую из них, хорошо зная каждого человека, который в избе живет, впервые сильно засомневался: а можно ли? Дано ли это людям? Хоть сколько-нибудь?

И снова и снова тосковал Устинов.

По круглешкам и палочкам.

Глава тринадцатая

БОРОНЬИ ЗУБЫ

Зима шла своим законом и порядком: сперва тоненько, а потом и наглухо упрятала под лед озеро Лебяжье, деревню Лебяжку запорошила снежком, спустя еще день-другой лесная дача тоже стала зимней, на ветвях — белым-бело, и весь-то бор, еще вчера иссиня-черный, действительно стал Белым Бором. А над ним, над всею местностью вокруг, по всему, от края до края, небу густые, раздобревшие и вширь и вглубь белесые облака.

Морозно стало...

По мерзлому простору озера зажужжал-зашелестел ознобный ветерок, иной раз ему удавалось выкарабкаться на берег в лебяжинские улицы, и тут он прихватывал за уши ребятишек, наводил рисунок на окна изб, блудил по оградам, приподнимая перья на курицах, утках и гусях, грозился бураном, но силенок на подлинный буран ему не хватало, он уматывался обратно в надозерный туманно-серый покров, оставляя в полном покое деревенские улицы и ограды, а попрятавшаяся было домашняя птица, озираясь, снова выползала на свет и спустя время принималась громко, как будто по весне, кукарекать, крякать и гоготать.

И ребятня — еще не подросшие, маломерные и потому беззаботные мужички и бабенки,— забыв про защипленные уши, тотчас взрывались пронзительным визгом и, догоняя отступавший блудливый ветерок, неслись вслед за ним на санках и ледяных лотках по уклону, с берега в озеро.

И печные дымы над пестрыми, не до конца укутанными в снега избами, поколебавшись вправо-влево, вы-

прямлялись в рост, вознося к облакам запахи горячего хлеба, свежих щей.

Зато взрослые лебяжинские жители, если не все, так многие, с нетерпением ждали лютых морозов, шальных буранов: надеялись, непогодь преградит путь колчаковским отрядам.

Не просто так они надеялись и тревожились: отряды эти, где всего несколько человек, а где и до сотни штыков, то и дело отрываясь от городов, от станций железных дорог, гуляли по деревням и селам, в одном селе пороли и вешали, в другом — вешали, пороли и конфисковали, в третьем — еще и мобилизовали молодых парней.

Но что-то не сбывались надежды лебяжинцев: вместо настоящих морозов нежданно-негаданно погоду потянуло на оттепель.

Заморосило, и туман потянулся с озера на берег.

«Ну, ладно, коли так!— ничего не оставалось лебяжинским жителям, как утешать самих себя.— Ладно: по разной мокрети и сырости и туманам колчакам не с руки двигаться двести верст к деревне Лебяжке... И зачем она им — эта дальная деревня? Она им вовсе не нужна! Ей-богу!»

Утешению все равно, на каких костылях оно держится. Лишь бы долго ли, коротко ли, а держаться.

В этакую грустную, приглушенную пору, когда и прохожих-то нигде не видать, в проулочке между двумя плетнями Зинаида встретилась с Домной Устиновой.

Дурной сон, да и только!

Он всегда Зинаиде казался дурным, не могла она представить, будто Домна была Устиновой, была женой Николы, матерью его детей, бабкой его внуков. Ничего этого не должно быть, и в снах ей множество раз казалось, что и нету этого ничуть, и только наяву был сон, в котором так было.

«Нет и нет — убей и прибери меня бог!— думалось Зинаиде всякий раз, когда издалека или вблизи она видела Домну.— Не может быть, чтобы эта женщина жила по тому же самому закону, по которому все живут! Она по чужому и подложному праву и закону живет! Когда бы она жила по своему собственному — не могла бы она сделаться женою Николы! Матерью его детей! Бабкой его внуков!» Но даже и не это страшно — страшно дру-

гое: никому, ни одному человеку на свете, ни одной живой душе подлога не докажешь! Хоть кричи, хоть беги и топись в озере Лебяжьем, хоть сожги всю деревню Лебяжку в огне — никто не прозреет, никто не поверит, никто тебя не поймет! Никто не заметит страшной ошибки. Ни один человек, кроме тебя самой!

Без рук и без ног люди рождаются, слепые, глухие, немые, безумные, уродливые, в детстве обреченные на раннюю смерть и от рождения мертвые — разные происходят случаи, но хотя бы явные. Здесь же тайна родилась глухая, на всем белом свете только Панкратовой Зинаиде известная!

И вот она, Домна, стояла теперь на узенькой, переметенной снегом тропиночке и, раскручивая куда-то, в неизвестную сторону дурной Зинаидин сон, с интересом спрашивала:

— Живешь-то как? Зинаида Пална?

— Живу...

— И я вот живая!— И повернулась лицом сперва в одну, после в другую сторону, показала себя.— Вот!

Лицо у нее белое... В Лебяжке все знали и повторяли — она ни в девках, ни в бабах никогда спать не ложилась, не обмыв лицо простоквашей. В белом лице — большие, круглые, слегка навыкате глаза. Была она в черной барчатке с белой оторочкой. В пуховой шали. В новых, еще не растоптанных на ходьбе катанках.

Только глянув на нее, Зинаида вспомнила: воскресенье! Запамятовалось, какой настал день, но Домна вся, с головы до ног, была воскресная.

— И как ты, Зинаида Пална, в нашем углу Озерном нонче оказалась? Куда тропочка твоя лежит?

А в Озерном углу Лебяжки Зинаида оказалась просто: она с той ночи, когда Веня Панкратов, словно привидение, явился, Устинова не видела, и вот ей нужно было за занавесочки в окнах его дома поглядеть. По занавесочкам понять, что он жив, Устинов Николай.

И, глянув через плетень вправо, можно было два окна устиновской избы, выходивших во двор, увидеть, но Зинаида туда не глянула, зато Домна бросила в свою ограду короткий взгляд и еще раз спросила:

— Куда тропочка твоя лежит?

— Так... Просто...

Домна усмехнулась.

— Как мужик-то твой живет? Кирилла? Давно я об нем не слыхивала?

— Он живет,— тяжко вздохнула Зинаида.— Он как всегда: крылечко ладит, другую поделку деревянную. Тихо живет Кирилла. Слышать об нем, правда что, нечего...— И вдруг, шагнув к Домне, громко и требовательно спросила:— А Устинов-то как живет нонче? Николай Левонтьевич? Известный человек? В трудах, поди-ка, и в заботах весь?

Другая бы женщина уже рассердилась, уже сорвалась бы, уже кричала бы: «А-ах, падла! С чужим мужиком по ночам играешь?! Заманиваешь к себе в избу! Под окошки к нему являешься его выглядывать! При живом-то своем муже? При людях — всенародно?!» Любая так бы и сделала, потому что вдовам горемычным и тем в Лебяжке такого не прощалось, а мужней жене — почему прощено должно быть?

Но Домна так не сделала. На миг какой-то она отступила; белое ее лицо озлобилось, но тут на него, на одну и на другую щеки, упало по влажной снежинке, и обе растаяли, обе протекли по щекам, как будто сделавшись слезками, смыли с лица всякое зло, всякую обиду...

И стояла Домна все такая ж ладная, красивая, красиво одетая и ко всему еще добрая. И спрашивала:

— Так ведь Николай-то Левонтьевич едва ли не каждый день в твоей избе, в Лесной Комиссии? Тебе ли о нем спрашивать?

— Спрашиваю: три дня уже не был он... В Комиссии...

А ведь в Домне действительно было что-то такое, за что она могла женою Устинова Николая сделаться. И сделалась. Зинаиде от этого еще страшнее стало, и она из всех сил пожалела, что Домна не кричит на нее, не срамит отчаянными словами.

— Он и всегда-то, Николай Левонтьевич, в трудах и в заботах,— поясняла Домна.— Хотя в Комиссии, хотя и у себя на ограде. Он без трудов-забот и в молодости дня не прожил, тем более взрослым мужиком. Отцом и дедом.

— Может, скушно с таким-то? Со слишком-то заботливым? И сурьезным? Всю-то жизнь с таким?

И опять Домна только слегка усмехнулась, помолчала и вспомнила:

— Бывало и скушно! Бывало! Я с ним свою молодость не сильно и углядела. Деды были у нас и бабки, те ребятишек выхаживали и за скотиной хорошо глядели — нам бы, молодым супругам, в ту пору только и погулять на праздниках, поиграться. Но разве у Николы Левонтьевича на уме это когда было? Ничуть! Когда не на пашне — так он книжку в руки, а то ребячью тетрадку и пишет в нее. Вот и все. Всякий праздник — так же.

— Ну а пошто же ты пошла за него? За скушного?

Странно очень и непонятно — как и почему этот разговор между ними шел, но он шел, и Домна по-прежнему отвечала тихо, спокойно, будто бы и не Зинаиде, а близкому какому-то и доверенному человеку:

— Отец научил! Покойный батюшко. Научил — я и пошла за его...

— Послушалась?

— Послушалась. Поняла батюшку: поскучаю сколь-то в молодости, после мне за это восполнится.

— Восполнилось?

— Ну, конешно! Год-другой прошел, и мне тот нрав вовсе хорошим сделался. И я уже дивилась, как услышу у кого в избе шум, ругань, пьянство. Синяки бабьи и даже — скандал! И когда мужик посылает бабу в поле либо к скотине, а сам в ту же пору на печь лезет, это уже по мне ужасный срам! Я привычная к другому: чтобы хорошо было, а как нехорошо, так Левонтьевич, я знаю, никогда не сделает!

— Легкое житье. И не женское вовсе!

— Самое-пресамое женское! И объясняю же тебе — заслужила я его! Это после он выровнялся в мужика, Никола, в мужика с почетом и с уважением, а был-то чем? Вспомнить не об чем, вот чем он был! И не видать его среди парней-то и женихов было, и не слыхать, он однеми разве книжечками и занимался! И девки-то на его не глядели, на замухрышку тогдашнего, и он-то в их толку не понимал, которая плохая, которая хорошая! За такого беспонятливого хорошей идти — одна обида. А я вот пошла, спасибо отцу! После, которые бабы готовые были за локоть себя искусать, но не достанешь! Поздно! Миновала грибная пора! — И Домна вдруг улыбнулась и даже засмеялась.

Умная женщина глупой и непутевой девчонке улыбнулась и засмеялась.

Вот она какая была, Домна, не во сне, а наяву!

И еще она тронула Зинаиду за рукав и незаметно-незаметно повела ее за собою из проулка в улицу, продолжая вспоминать ту грибную пору, когда она и правда первой была в Лебяжке невестой, на игрища иначе как в желтых шнуровых ботиночках на высоких каблучках никогда не ходила. Это в ту пору было, когда Зинаиду ее отец за четверть водки и за пару несвежих сапожонок готов был кому угодно отдать, а она, чтобы от непрошеных женихов отбиться, носила за голенищем острый ножик.

Вот, оказывается, каким образом жизнь самой первой лебяжинской невесте с ее высоких каблучков представлялась: для нее жених Никола Устинов замухрышкой был, она его принимала нехотя, жертвуя собой и чуть ли не из снисхождения! Она и не замечала, как многие-многие девки на Николу во все свои глаза глядели, как парни его уважали, а Зинаида так и глянуть на него не смела, помыслить не решалась, а когда было, что Иван Иванович допытывался — какой парень ей нравится, она сказала себе, что язык у нее отсохнет в тот миг, когда она скажет: «Устинов Никола...» И не сказала.

Ну а теперь шли они рядышком тихо-мирно, две наикрасивейшие лебяжинские бабы. Как подружки милые — водой не разольешь!

Одна, как встала девчонкой на желтые высокие каблучки, так и шла на них по сей день, ни разу не споткнувшись, не пострадав ни в чем и никогда.

Другая о тех самых каблучках все-то больше мечтала, но все равно шагали они нынче близенько, бровь к брови, шли и удивляли воскресную лебяжинскую улицу, не очень шумную и многолюдную, зато — глазастую.

Однако Зинаида глупой и бессловесной девчонкой, без каблучков и босой, все-таки недолго оставалась, приобняла товарку рукой, весело поглядела ей в лицо и сказала:

— Ты бы, Домна, в избу завела меня! Сроду ведь не бывала в устиновских гостях!

Домна споткнулась. Молча они прошли улицей еще, а тут вот она — калитка устиновской ограды.

Домна потянула щеколду за свеженький сыромятный ремешок с крупным узлом на самом кончике. И вот она, ограда! И вот оно, крылечко! Вот он, дом Устинова Николая Леонтьевича!

Жил этот человек, как и все живут: кухня с большим столом в углу под иконами; печь с синей каемкой поверху, ярко-желтые полати... Кинула взгляд Зинаида и в горницу — там чистенько, но, конечно, не так, как у нее в доме, где заседает Комиссия,— дома у нее стоят фикусы, стоит комод и стол, а больше нет ничего; здесь горница подо всяким барахлом — прямо на полу одежонка навалена какая-то ребячья, люлька висит, мельтешатся голопузые ребятишки, устиновские внучата, а посреди — сидит на низкой скамеечке ихняя мать, устиновская дочь Ксения, босая, веснушчатая и беременная, и, широко взмахивая рукой, спешно пришивает надорванный воротник к потрепанной шубейке. Увидела Зинаиду, кивнула ей и молча удивилась: «А это почему и зачем? Зачем у нас в доме Зинаида Панкратова?»

Ксенька — бабенка ничуть не злая, но слишком простоватая и, когда говорит слова, заглатывает их в себя...

А вот еще дальше, в следующей комнатушке-каморке, там как раз те предметы, которых у лебяжинских жителей не увидишь, только в устиновской, в саморуковской, ну и еще в двух-трех избах,— там были книги.

Горка, а в ней створки стеклянные, за стеклами много стояло книг.

Зинаида видывала книг и побольше, чем здесь, еще в России, но то было не в мужичьем, а в барском доме, в котором она девчонкой прислуживала.

Она прислуживала, дрова носила и воду, полы мыла в помещичьем доме, а еще — нравилась молодому барчуку. Барчук лишь только приезжал в дом родной из гимназии, тотчас начинал учить ее грамоте, сначала вслух ей читал, после заставлял ее читать те самые книги, которые так удивляли ее своим числом, почти бесконечностью: две стены были заняты ими, плотно, одна к другой, щелки нет, чтобы палец между просунуть.

Зинаида училась охотно, способно и запомнила день, когда подумала, что за свою жизнь человеку дано прочесть столько книг, сколько их стояло вдоль двух стен от одного угла до другого, от пола до потолка, но тут как раз молодой ее учитель-барчук тронул свою ученицу. И вовсе не слегка тронул, а сразу поперек груди, тяжело, краснея и потея, приваливая ее к дивану

красного дерева с глазастыми львами на высокой спинке.

Но растерялась ученица ненадолго, и уже в следующую минуту лежал учитель на полу под недоуменным взглядом тех львов — нос мокрый и красный, ноги выше головы.

На том и кончилось Зинаидино обучение. Жизнь ее в России тоже вскоре кончилась: тем же летом они со старшим братом уговорили родителей, запрягли кобыленку и двинулись из Тамбовской губернии в Томскую, в Сибирь... Родители — на телеге, брат с сестрицей — пешим ходом. И если бы брат не заболел дорогой и не умер, истощившись кровавым поносом, наверное, они достигли бы чего-то другого. Какого-нибудь почти что сказочного поселения, с добрыми людьми. Хотя Зинаида никогда на лебяжинцев не только не обижалась и не жаловалась, но и непременную благодарность испытывала к ним, все-таки люди, которых из-за кончины брата они так и не достигли, не повидали,— долгое время мнились ей, звали куда-то в свою, в неизвестную сторону, и она жалела, что на родине, в Тамбовской губернии, в барском доме, не успела прочитать о тех малоизвестных людях в одной из красивых книг, с золотыми буквами в заглавиях. Прочитать да и узнать что-то о них на всю свою будущую жизнь.

Теперь, в устиновской избе, вблизи от нескольких рядков книг за стеклами горки, это неисполненное желание и тотчас ставшая вящей потеря поднажали Зинаиде на сердце, она вздохнула, позавидовала Устинову и глубоко обиделась на него: он-то в своих книгах узнал и понял все, что ей узнать и понять не далось! Почему же скрывает свое узнавание? Уж этим-то он мог пожертвовать — сказать ей о том, что он в книгах прочитал? Уж от этого не убыло бы от него? Домне-то он говорит, поди-ка, об этом. Ей, поди-ка, неинтересно, а он все равно говорит?!

Вот уж от кого бы она поучилась! А когда бы учитель дал полную волю своим рукам, она бы его не отталкивала прочь. Нет, не отталкивала бы!

Тем временем Домна сбросила полушалок, и барчатку, и черные катанки, влажные от нынешней поздней сырости, тоже сбросила с ног — закинула на печь сушиться. Сказала гостье:

— Разоблачайся...— Но гостья стояла одетая, все еще заглядывая на книжную горку, и Домна тоже по-

смотрела туда же.— А, пущай читает...— сказала она, не говоря о том, кто же это «пущай читает»...— Бог с им! Другая давно пожгла бы те книжки, чтобы не баловался мужик ребячьим баловством, а я ничего! Достатку поменьше, зато дом без попреков друг дружке. С меня вот и Шурки-зятя попрекаться-то хватит! С им однем худых слов не оберешься. Нет уж, пущай оне будут, энти книжки! Не столь много от их греха! Разоблачайся, гостья Зинаида!

Гостья села на печной прилавок, тоже сняла катанки и распахнула дверь в сенцы, чтобы бросить их туда, но в тот же миг из дверей вскочил на кухню Барин.

— Цыть! Куды тебя занесло, скотину!— сердито крикнула на Барина Домна.— Порядку не знаешь — в избу заходить! Цыть! Пошел вон!— И она выхватила из-под печи ухват, но Барин ни на шаг не подался, он лег на пол, задрожал, затрясся длинным, вымаранным в лесной хвое телом и, подняв голову, взвыл. Жалобный и страшный был у него вой.

— А хозяин где?— тотчас спросила Зинаида.— Николай Левонтьевич дома ли?— Она, когда заходила в устиновскую избу, больше всего на свете боялась встретиться с хозяином — не знала, что ему скажет, как с ним поздоровается. Но теперь она забоялась совсем другим, еще не понятым, но сильным и ознобным страхом и спрашивала у Домны:— Где — он? Где — хозяин?

А Домне беда не чудилась нисколько, она покраснела от неловкости за свою, хоть и незваную, а все-таки гостью, отвернулась от нее и снова стала замахиваться на Барина.

Раз вскинула ухват и другой, а тем временем говорила с обидой:

— Он в лесу, наш хозяин, Левонтьевич! Когда тебе необходимо знать — он в лесу с утра раннего. Верший уехал...— Барин выл, не умолкая, и Домна снова крикнула на него:— Да и распропади ты пропадом, непутевый! Ей-богу! Вот сейчас и разобью тебе пасть железой. Ей-богу! Не веришь?

Верил Барин или нет, а только скулил, головой тряс, мокрый весь был — на хвосте ледышки, на ушах — тоже.

Зинаида нагнулась к Барину и рукою взяла в горсть шерсть, там, где было самое большое пятно. Когда ла-

донь разжала — увидела, как течет по пальцам бурое, пахучее.

— Кровь! Кровь и есть. Она!

— Ну? Ну и што? Да мало ли где кобелишка проклятый поцарапаться мог? Он смиренный-смиренный, а было дело, ухо вон оторвал одному кобелю напрочь, не глядя, что тот на голову выше был его! Взял и оторвал! Напрочь!

— Это не его, не Баринова кровь! На нем раны нету!

— А чья же? Скажи, когда знаешь? Чья же?

— Может, Николая Левонтьевича...— ответила Зинаида и всхлипнула, закрыла лицо рукой.

И тогда Домна рассердилась окончательно:

— А тебе того и надо, видать! Гостьюшка дорогая! Званая-перезваная! Ненаглядная!..— Домна кинула ухват в угол, пнула Барина, повернулась и ушла в горницу. Еще сказала оттуда:— Худого ему не сделается, Николаю Левонтьевичу! Войну всю провоевал, целый-невредимый вернулся ко мне, услыхал мои молитвы и вернулся, а нонче ни с того бы и ни с сего случилось с им! Да не поверю я тебе! Не поверю злыдням и завистникам! Никому не поверю!

По кухонному окну ползли одна за другою влажные снежинки, шелестели, словно кто-то невидимый хотел пробраться в дом, осторожно и робко ощупывал длинными пальцами стекло... Но где-то в глухом лесу, догадывалась Зинаида, где случилась беда, этой осторожности не было, не могло быть, там жестокая всем владела рука, слепая и глухая ко всякой боли и крови.

Выбежала из горницы Ксения с иголкой в руке, перепуганная, бледная,— она-то поверила Зинаиде:

— Беда! Ей-богу, беда! Собака вее-е-но кажет, случилось что-то с батей!

Зинаида схватила ее за плечи:

— Николай-то Левонтьевич на ком поехал? И когда?

— На Мокошке он!! На умном коне, да ведь мало ли как бывает-то! Па-а-вду говою!

Ксения «р» не выговаривала, а говорить торопилась, дрожала вся, уставившись на Барина.

Барин уже стоял на задних лапах, бил передними по дверям, звал за собою людей.

— Сейчас-сейчас!— пообещала ему Зинаида.— Сейчас! Ксения?!— крикнула она строго, по-хозяйски.— Беги, Ксения, на ограду, запрягай коня, поедем! Барин поведет нас!

— Да нету-ка коней нонче у нас, Зинаида Пална! Нету, да и все тут: на Мокошке батя уехал, на Соловом и на нашем новом — мужик мой, Шу-у-ка на база-а-е, кобыла Г-уня — та обезноженная... Нету, как назло! Нету, на беду! Нету, да и тольки! Хоть убей ты нас всех — нету!

И Ксения после всех этих слов, прижав руки к огромному животу, завыла в голос и еще и еще что-то продолжала сквозь вой и слезы Зинаиде объяснять, но та уже не слушала — кинулась вон из устиновского дома.

Когда спустя полчаса, даже меньше, Кирилл вышел на дворовое крыльцо, он увидел, что жена его торопливо и суматошно запрягает пегую кобылку, а около нее прыгает и визжит, исходит от нетерпения пестрый чей-то пес. Он присмотрелся — устиновский пес по кличке Барин.

— Да куды же ты?— робко спросил Кирилл у жены.— Темень-то вот-вот и наступит уже!

— А надо!— ответила ему Зинаида.— Надо и надо! Открой-ка поди ворота!

В тот воскресный день, еще затемно, Устинов заседлал Моркошку, приторочил дневной припас, взял бердану и, кликнув Барина, которого и кликать-то не надо было, потому что он тут же вертелся, повизгивая, словно щенок, от нетерпения,— тронулся в лес.

Устинову необходимо было избавиться от замешательства последних дней.

Для этого хорошо было бы нынче же попахать, умаяться в борозде до потери сознания, ах как хорошо это было бы! Как просятся к этому руки-ноги, с какой бы радостью отрешилась за пахотой голова от бесконечной маеты, как по вискам застучала бы кровь, доподлинно зная, для какого дела, ради какой жизни она стучится. И шкура бы вся зудилась и постанывала на нем, приглушенно отражая усталый гул всего, что находится под нею,— всех печенок, селезенок, всей брюшины и всей грудины! Сладкая жизнь, хотя и отзываешься иной раз о ней разными словами. Так это сдуру.

Но стеной стояло кругом непахотное время — зим-

нее, да еще со странной какой-то удивительно поздней оттепелью.

И Устинов поехал поглядеть на березняк — насчет устройства дегтярного промысла, о котором в Лесной Комиссии речь велась давным-давно, а дела все не было.

Березняк стоял крупный, вальяжный, поблескивая увлажненной нынешней погодою берестой, дерева не подозревали, что ежели в голове Устинова вот сейчас сложится подходящий расчет, так по весне они будут ободраны от комля до первых сучьев, и береста пойдет в дегтярную перегонку, а сами они — голо-рыжие — уже не зазеленеют, как следует, густой, непроницаемой листвою, а только серенькими и крохотными листочками откликнутся лету, листогонному маю-июню.

Но такого расчета к березовому счастью в устиновской голове не сложилось: маловат все-таки оказался березняк, невелик на нем берестяной запас, и деготь можно будет гнать только корчажный, низшего разбора. Разве чуть-чуть выгнать удастся берестяного, чтобы после наладить изделие дегтярного мыла. Это в случае, если нынешнее время протянется до весны, и, как сейчас нет в торговле ни иголок, ни мануфактуры, ни мыла,— так и не будет ничего этого в дальнейшем...

Похоже — так и случится, поворота к лучшему ждать неоткуда и не от кого. Адмирал Колчак навряд ли справится с делом — со спичками, с иголками и с мылом, чтобы они были в достатке, чтобы крестьянин голову из-за них не ломал.

И чего он пришел к власти? Зачем?

Всякий раз, когда мужики ведут между собою разговор о том, как спихивается одна власть и приходит другая, Устинов старается помалкивать.

Ему кажется — не правы мужики, все рассуждают темно, потому что суждение у них одно — власть делится точно так же, как деньги: одному отсчитывается тысяча, другому десять тысяч, а самому бойкому — мильон. И все тут.

Все-таки должно быть во власти что-то другое — желание должно быть сделать народу лучше, послужить ему, а не себе, истинно, верой-правдой.

Петр Первый сестрицу свою Софью с престола тоже, мало того что спихнул,— заточил еще и в темницу, это правда, но когда после рядовым бомбардиром воевал,

когда плотничал корабли — не ради же собственного денежного расчета он это делал?

И верил, верил Устинов наперекор мужикам, что власть берется людьми для такого вот бомбардирства и плотничанья, чтобы идти навстречу народному ожиданию, и каждый раз, когда объявлялась новая власть, томительно как-то, но почти что с полной уверенностью он думал: «Ну, вот эти-то сделают! Наконец-то! Дождался-таки народ!»

И только Колчак ему надежды не подал ничуть, уж очень по-свински пришел он к власти: «Ах, гады, без меня жрете?! Ну тогда мне самый большой кусок! Тогда — все мое, другим — что останется!»

По-другому не скажешь, когда человек сам заарестовал половину министров да еще и прихлопнул кого-то из них, а оставшихся заставил провозгласить себя Верховным Правителем, из вице-адмиралов произвести себя в адмиралы, из командующего — в верховного главнокомандующего и тут же, в тот же час издал приказ, что ему, адмиралу, и главковерху, и правителю, все должны подчиняться, и в газетке все это напечатано одно к одному вблизь, все подряд и вприпрыжку, все уместилось на четвертинке газетной странички, и там же еще написано прихлебателями: каждый, кто любит свою родину, должен безропотно подчиниться создавшемуся положению!

Ну, хотя бы чуть повременил, на две газетки растянул дело?! Хотя бы объяснил — что ему-то будет, какие кары, если он не выполнит всех своих обещаний и клятв, забирая власть в собственные руки? Нет — об этом он ни слова, зато подавай ему безропотное: люби свою родину, то есть опять же его, Колчака, и все тут. А что родина существует тысячи лет, а может, и миг-то вовсе дурной — ему опять нипочем!

Когда вот так, как нынче, едешь один-одинешенек лесом, да изморозь кругом, да туманец, да нет вокруг ни одной живой души,— очень просто вызвать к ответу кого угодно, и Устинов вызвал Колчака, спросил его:

«И не стыдно тебе? Неужто по-человечески сделано тобою?»

«Не твоего ума дело!— ответил Колчак.— Мне виднее, как надо было сделать! Обстоятельства!»

«Ладно! Не моего ума, так не моего!— согласился Устинов, хотя про себя и решил вопроса не забывать, не

отступаться от него совсем.— Обстоятельства — это тоже верно, они, конечно, имеются — жизни ведь нету и не предвидится без обстоятельств! Я лично власти сроду не делал, не в курсе, но вот какой вопрос — зачем тебе ее в нынешний-то момент было брать и делать?»

«Значит, нужно!»

А вот тут Устинову было что возразить:

«Ничего это не значит! По сю пору Сибирское Правительство и ты, его военный министр, объясняли народу: надо продолжать войну с Германией! Ради блага России нельзя изменять союзу с Антантой, когда в этом союзе уже пролито столько крови! До сих пор ты, Колчак, винил меня, Устинова: «Устинов бросил фронт, а мне, Колчаку, приходится за тебя расхлебывать, показывать свое благородство и честь!» Так?»

И Колчак тут же клюнул:

«Так! Именно!»

«Но вот какое дело: как раз неделю-полторы назад Германия капитулировала! Солдатики, и солдатки, и солдатские родители, и детишки ихние вздохнули во всем мире со слезами радости, обнялись между собою. Лебяжинские фронтовики, хотя и давно бросили войну, вздохнули тоже: подтвердилось, что никому нет от войны ни радости, ни счастья, всем — слезы, и побежденным и победителям, всем — стыд и беда, хотя бы потому, что усатый немецкий кайзер Вильгельм, беспредельно любивший свои фотографии в каске и при шашке, не пожелал отречься от престола и тем самым продолжил войну еще на месяцы, еще положил сотни тысяч своих и чужих в братские могилы... Но так ли, иначе ли, а кончилась постыдная война. Спрашивается — зачем же после этого власть Колчаку? Зачем ему адмиральство? Главковерхство? И верховное правление?»

«Спасать родину! От большевиков. Ради тебя же, Устинов, спасать ее. Но у тебя, Устинов, не хватает сознательности понять это! В этом все дело!»

«Значит, вся сознательность у тебя, когда ты в большом количестве навязываешь ее другим? Всем и каждому?»

«Она — у меня!» — согласился Колчак.

«А пошто же тогда ты так несознательно, так некрасиво и неблагородно приходишь к власти? Где она была, твоя сознательность, когда ты брал власть? Нет,

не верю я тебе! Какой же ты после этого благородный спаситель родины? Когда капитулировала Германия и кончилась война — у меня камень пал с души, но ты положил на нее другой, едва ли не потяжелее первого!»

«Время покажет, Устинов! Ты еще меня поблагодаришь! Еще помянешь меня добрым словом! Подожди!»

«Проще дела нет, как обещать! Обещать не Петру или Ивану, а сразу — всему народу! После — снова вспоминать обстоятельства! И сейчас, сегодня же — обратно звать в Россию помещика?! И сибирского мужика призывать в свою армию, чтобы он за того помещика воевал с мужиком российским?! Это и есть сознательность? Она? Кроме самого Верховного Правителя, никто и никогда такой сознательности не выдумает! Все другие ее постесняются!»

Колчак — он ехал ту минуту рядом с Устиновым на сером в яблоках коне — двинул свою грудь вперед:

«А я — герой! Весь в орденах, в наградах и в заслугах перед родиной! Вот он — я!» И шикарный нос — тоже вперед, а руку — на золоченую рукоятку кортика. «Видишь?! Или сомневаешься?! Глазам своим уже не веришь?»

«Не сомневаюсь ничуть! И глазам своим верю неизменно! Герой — это очень хорошо и красиво! Но зачем красоту-то портить верховным правлением? Военными матросами ты правил, знаю, а мужиками? Помещик тебе понятен, а мужик? У нас тоже вот вполне мог бы из героя хотя и небольшой, но свой, лебяжинский, Колчак образоваться,— из поручика Смирновского Р. Г. Но ему хватило ума и благородства не сделать этого! Он знает, что такое мужик, и не растерял мужицкую кровь по орденам и медалям!»

Нет, ничуть не сговорился Устинов с Колчаком, и тот сердито исчез — на своем в яблоках коне, потерялся в придорожном кустарнике, а оттуда, тот же миг, выпрыгнул Барин. Язык набок, глаза вылуплены на Устинова, лай сердитый, упречный:

«Да сдурел ты, что ли, Устинов? Действительно? Кругом — рябчики, кругом — тетерки влажные, тяжелые на подъем, стреляй их на земле либо влет, бердана же при тебе? Или ты вовсе уж тронутый сделался! Тьфу! Убегу прочь, куда глаза глядят! Надоел ты мне, хозяин малахольный и непутевый!»

Устинов сердито и нескладно махнул рукой в заскорузлом дождевике. И на Колчака махнул, и на Барина и повернул Моркошку к Семе Прутовских, вот к кому.

По узкой просеке-визирке, давно уже не чищенной, заросшей сосновым и откуда-то взявшимся в этих местах березовым молодняком, он проехал еще две с четвертью версты — расстояния здесь все были известны ему до сажени. От репера номер 37 другой визиркой повернул влево, почти на север, и, миновав красивое, глухое, с редкими разлапистыми и замшелыми соснами Брусничное займище, вскоре оказался рядом с избушкой Семы Прутовских.

Служба Прутовских по лесному делу в объездчиках, а потом — в кондукторах началась, когда не то что Устинова Николая не было на свете, но, пожалуй, и отца его — Устинова Леонтия Егориевича. И продолжалась эта служба лет, наверное, семьдесят, потому что Сема Прутовских, когда ему перевалило за полвека, перестал не то чтобы стариться, но даже сколько-нибудь меняться внешностью, не страдал ни зубами, ни слухом, ни зрением, перестал считать годы, а когда его спрашивали, сколько их у него, отвечал: «Сколь есть — все мои!»

Жил Сема своеобычно — не пахал, не сеял, кормился от леса грибом, ягодой, клубнем лесным, рыбкой-мелочью, водившейся в небольших лесных озерцах, и только кое-когда дичью и зайчатиной.

Иногда Сема женился, но супруги выдавались у него недолговечные, и он женился заново, и на этот случай семейной жизни у него была изба в Лебяжке, на самом краю селения, на опушке, он туда являлся то на денек, а то и на недельку, ладил надворные постройки, менял у мужиков лесной мед на хлеб и снова удалялся в избушку за Брусничным займищем для одинокой, никому не видной жизни. Впрочем, увидеть Сему Прутовских можно было в любое время дня и ночи: стоило поехать в какой угодно лесной угол, в самый далекий квартал, стукнуть топором десяток раз, и Сема — вот он, выходит и спрашивает: «Ну? Кого теперича будем с тобою делать?»

Пробовали лебяжинские рубить сразу в трех-четырех противоположных кварталах, однако и это не помогало — кого-то Сема брал на месте, а кого-то — по сле-

ду. Только мужик спрячет порубленную лесину под плетнем, закидает ее сеном или ботвой, день прошел, а на этой лесине уже сидит Сема, щурится в небо и зовет к себе порубщика: «Ну? Кого будем с тобою делать? Теперича?»

А дальше нужно было ждать, что Сема скажет еще. Если он, прищурившись, повздыхав, проговорит: «Человек ты хороший... Ладный человек...» — большой беды не жди. Но когда Сема, опустив глаза долу, пробурчит: «Худой человек! Знаю — худой!» — дело могло кончиться не только штрафом, но и тюрьмой. И бывали случаи — кончалось, и Сема являлся в суд с кокардой на голове, с бляхой на груди, в сюртуке и форменных шароварах, и даже начальство удивлялось, как строго и непреклонно он давал показания, подводил порубщика под самый строгий параграф «Положения о лесном имуществе Кабинета Его Императорского Величества».

Был случай — Сема закатал одного лебяжинского мужика в тюрьму, и надолго — на два года. Лебяжка за всю свою историю не помнила такого случая и вот решила Сему окалечить, а то и вовсе свернуть ему голову.

Сема явился к Ивану Ивановичу Саморукову и сказал ему так: «Я не царя берегу, царя все одно не видать, он далеко, я лес берегу, который близко. Народ желает меня порешить — пущай! Но подумайте сперва: со мной и нонешний народишко, и отцы его ладили, а когда пришлют заместо меня молодого да скорого лесного кондуктора — тот как будет управляться? Когда он и знать никого не знает, кто тут среди вас ладный, а кто — вовсе худой?»

Иван Иванович собрал стариков, они обсудили положение, решили: «Кто Сему тронет — тот Лебяжке враг!»

А потом что случилось: приехал урядник того самого мужика, которого Сема уже в тюрьму закатал, еще раз заарестовывать и к новому делу привлекать — он ворованного коня купил. И знал дотошно, что ворованный, а переклеймил и купил, соблазнился на дешевку. Ну а такого позора за лебяжинскими не водилось никогда. И в самом деле — худой оказался тот мужик, значит, Сема как в воду глядел!

Жил Сема в лесу один-одинешенек, где его заставала ночь — там и спал, были бы сосновые ветви над головой.

Людей чурался, порядок их жизни не признавал, богу не молился, бороду не чесал, зайцы, белки, лоси, медведи были ему своими, а человек — тварь почти что чужая. А между тем угадывал он людей безошибочно, ладный — так ладный, а худой — значит, кругом худой человек!

Устинов не раз удивлялся: может, правда, чтобы людей знать, нужно не с ними жить, а отшельничать в пещере, в берлоге медвежьей? И судить из той берлоги так: что в человеке не по-медвежьи — то и плохо в нем?

Но Сема секретом не открывался. Он Устинова любил, готов был с ним о букашке-таракашке, о лесной таксации поговорить, а заходила речь о людях — он умолкал.

Тайна великая есть в человечьем существовании, и Сема что-то об этой тайне знал, а доверить не хотел.

Устинов однажды спросил:

— Ты, Сема, думаешь ли когда помирать?

— Энто меня не касается...— ответил тот.

— Как так?

— Мне все одно — што тот свет, што энтот. Оне для меня обои одинаковые.

— Ну а в рай ты угадаешь либо в ад? Тоже все одно?

— Одинаково! Я сам-то хочь тама-ка, хочь здеся, завсегда буду однем и тем же. Какой нонче, такой буду завсегда и везде. А когда так — мне и все одно, как и пошто вокруг меня будет.

— Бог по-другому может рассудить.

— Зачем ему? Когда он меня таким на всю жизнь сделал и по сю пору в живых дёржит — зачем ему меня переиначивать?

Устинов и еще не раз хотел к тому разговору вернуться, ждал случая, но тут вот как повернулось — поймал Сема одного порубщика, а тот ему говорит: «Тебе, Прутовских, мужика штрафовать удобно: ты наперед знаешь, что тебе ни рая, ни ада не будет! Тебе и на том свете все та же должность выпадет — штрафы с мертвых душ строжайше брать!»

И Устинов был в этом виноват: рассказал о беседе своей с Семой Прутовских жене, а та — другим бабам, и вот пришли собственные Семины слова к Семе же обратно, только не с его, а с чужим значением.

Может быть, что Домна и не просто это сделала: она Сему и Кудеяра никогда не любила, презирала их, говорила — они страшные!

Сема же после того случая с Устиновым не только не беседовал, но часто и не здоровался. Встретятся — он голову свою наклонит лохматую, глаза спрячет, плечищем поведет, и все. Понимай, как хочешь, то ли — «здравствуй», то ли — «прощай».

И жалел и жалел Устинов, что так получилось — не договорили они с Семой, не коснулись первейшего. А прошло еще сколько-то лет, уже перед войной — помер-таки Сема, бессмертный человек.

Под сосной и помер, на случайной ночевке. Конь его пришел тогда в деревню оседланный, и все поняли — беда случилась с Прутовских Семеном, но был сенокос, время жаркое, страдное, никто не собрался на поиски сразу же. А когда нашли — труп уже поздний был, удушливый. Прибыли следователь с доктором, поглядели издалека на то, что Семой когда-то было, сказали: «Умер своей смертью. Похоронить и закопать!»

Похоронили и закопали. А всякое могло случиться, могла своя, а могла и не своя быть эта смерть.

Не стало Семы, и действительно прибыл новый кондуктор — тому дать красненькую — и руби полную ночь в два топора, в одну пилу. Тут как раз богатые мужики по столыпинской реформе начали выселяться на заимки, им леса на постройки нужно было бог знает сколько — и тот, который казна отпускала для них на обзаведение льготно, и много сверх того. Гришка Сухих из этих же заимщиков был.

Ну а где Гришкина порода — там Семе Прутовских, правда что, ни дела, ни жизни нету. Сема ни про кого из той породы никогда не сказал бы: «ладный человек». Они все, как один, были для него «худые».

Ну, вот она, Семина избушка, стоит обветшалая... Крохотная, а сложена из аршинных бревен. С одним оконцем. Без сенок. Труба жестяная. Дверь приперта огромным, пудов на двадцать, кряжем. У Семы замков не водилось, уходя из жилища, он дверь кряжем припирал, и все тут.

Когда нашли Сему мертвого, следователь велел зайти в избушку, поглядеть, что там и как, но с припором этим возиться не стали, влезли в избу через оконце.

Устинов и лазил, его тот раз следователь понятым взял, а он, хотя страда была, покос,— согласился. Ему хотелось на все, что Семиной жизни и смерти касалось, еще раз поглядеть.

Сушеные ягоды оказались в избушке, икона, под иконой — планы Лебяжинской лесной дачи и разные записи, медали за долгую и безупречную службу, целая стопка медалей, охотничий припас, сундук с одежонкой — Устинов обо всех предметах через окошечко сообщал, следователь — в протокол записывал, но как молчалива была Семина жизнь, так и смерть тоже оказалась молчаливой — ничего не открыла Устинову. Ни слова, ни звука. Сам себе был человек: жил — был, умер — не стало, следы свои и те унес с собою. Многое, наверно, вот так же унесено людьми в неизвестность.

Устинов и теперь, прожив еще много лет, догадывался, что из всех человечьих странностей странность Семы Прутовских была ему ближе других. Она к душе ему приходилась и ласкалась. Хотя бы уже потому, что Сема ее не навязывал, наоборот, ее надо было выманивать от него. По слову, по взгляду, по вздоху.

И ничего другого не осталось Устинову, как только вспоминать все, что когда-то говорилось между ними.

— Ты тольки глянь, Никола,— шептал, бывало, Сема и глаза делал большие, открытые,— ты тольки глянь — семечко сосновое, в ребячью ноздрюшку их две дюжины войдет, а упало на землю, и происходит из его лесина в двадцать саженей! Как так? Животное в матери сколь месяцев проживает, питается от ее, а здесь? Какое же такое материнство в земле? Какая в ей утробность?

— В книжке в какой-нибудь напечатано про это, Сема!— отвечал Устинов...— Не может быть, чтобы не было напечатано...

— Нет, не напечатано!— отмахивался и рукой и бородой Сема.— Кабы было — весь белый свет об том знал, а ведь не знает никто тайны той! Никто! Я, может, поболе других знаю ее, я про жизнь знаю все ж таки первейшее, а как там выдумано об ей на второй, на третий, на десятый ряд — остальные все придумки — оне пущай для книжек и остаются! Для их пущай оне будут!

И нынче, когда Устинов ехал визирной просекой и вспоминал Сему — он глядел на те двадцатисаженные сосны и удивлялся: мало того что они выросли из крохотных семечек, они еще и довели себя до самого конца. То есть все у них есть — и ствол есть, и ветви есть, и на ветвях сколько надо, столько хвоинок есть. Начав, умеет природа, не в пример человеку, довести до конца свое дело и вот на самую маковку сосновую поставит еще свечку-побег... Старое дерево, древнее, а вершинка у него — грудной младенец. И не собою, а младенчеством этим сосна живет свою жизнь, им тянется вверх, с нее же начинает и умирать: погибнет тот побег, и суховершинная сосна, как бы ни была она могуча, красива и высока, как бы широко ни разбрасывала нижние ветви, какой бы яркой хвоей ни была одета — смерти ей теперь уже не миновать, не отвернуться от нее. Не с корней древних, навсегда скрытых во тьме, где и смерти-то было не видать, а с молодости своей, выше всего другого вознесенной, погибает она. Ей бы уговорить нижние ветви, чтобы не брали земные соки на себя, пропускали бы их вверх, к вершине, к махонькому светлячку, который живет почти что в самом небе и влечет к себе всю сосновую жизнь — хвойную, ветвистую, ствольную, корневую,— но, должно быть, нижние разлапистые и вальяжные ветви, сами почти что стволы, только растущие не прямо, а вбок, недогадливы и незаботливы, и вот уже суховершинна сосна, и, значит, начинается ее смерть.

Вот как запросто погнать свою собственную жизнь не в ту сторону, ошибиться между жизнью и смертью...

Этому сосновому царству, царскому Белому Бору, денно и нощно служил весь свой век Сема Прутовских, научил служить ему других. А когда бы Бор стал истинно всеобщим и народным, Сема и правда что, погрузившись в свою службу, не умер бы, наверное, никогда?

Но что-то слишком уж медленно, неуклюже и даже глупо шло нынче дело — шел Белый Бор от царского удела в народные руки.

Когда на фронте полки, дивизии, корпуса, все солдатики, сколько их там было, кидали шапки вверх, провозглашая народную власть и собственность вместо царской,— дело казалось сделанным раз и навсегда. Прошло два года, и вот неизвестно, куда двинулось оно, это дело,— вперед или назад? Похоже, что назад...

А к избушке Семиной Устинов подъезжать не стал — зачем? Не в окошко же снова пробираться? Кряж-припорок от дверей ворочать — надорвешься. Пусть он стоит на месте, недвижимый караульщик, когда-то поставленный на часы Семой Прутовских, пусть охраняет ничье жилище.

Другое дело, что и в лес-то нынче Устинов подался из-за Семы. Всегда так бывало: вспомнишь Сему — захочется в лес, поедешь в лес — вспомнишь Сему. Лесной был человек, но и лес, Белый Бор, тоже ведь был человеческим. Эту человечью древесность и хвойность за столом Комиссии не заметишь. Ее заметить и понять можно только в самом лесу.

Узнать бы, догадаться, своею ли смертью умер Сема? Давнее дело, бесцветно-серое от времени, как тот подгнивший с торцов кряж-припорок, а все-таки?

Все-таки много тайн, да поверий, да сказаний водилось среди лебяжинцев о Белом Боре.

Одна из них, сказка, как бы даже и родственной была Устинову, была ему семейной, потому что рассказывалось в ней о полувятской девке именем Домна.

Если хорошо посчитать, у полувятских поселенцев имелось шесть невест, а девок — только пятеро: Домна была у них повенчана и замуж выдана как раз незадолго, как вернулись на зеленый бугор между озером и лесом кержаки из-за моря Байкала.

Она за своего же полувятского выходила, а тот сгинул. Поехал в дальний извоз и не вернулся. Не стало и не стало молодого мужика, неизвестно, куда подевалась его жизнь, каким ветром, в какую сторону развеяна она. Пылиночки от него не видать.

Теперь — Домне как быть? Замужняя она либо вдовая? Невеста либо жена? Любить ей кого-то либо в черное, тоскуя, одеваться?

Пылиночки-то от супруга не видать, а если он весь явится и в рост, и в голос, и во всю к ней любовь?

Бывало же такое с людьми? Случалось же?

А тут, как нарочно, все наоборот ладится: полувятские девки на кержацкую сторону тропки топчут, обольщают на той стороне парней, манят-завлекают их, а к вдовушке Домне кержацкий парень сам под окошко приходит.

Станет и стоит под окном с утра и до ночи, который раз и ночью все там же. Поробит сколь-то на себя

и опять — стоять и стоять неподвижно, глядеть и глядеть в немудрящее окошечко.

Домнин-то потерянный муж только и успел семейного дела сделать, что поставить избушку об одно это оконце.

И чего тот молодой кержак Филипп стоял да ждал бессловесно? Или он стеснялся слово выговорить, не зная, мужняя ли Домна жена либо вдовая? Или он мужа ее вот так ждал, не желая его дождаться, а только увериться, что нету его на свете?

Вся кержацкая сторона от его поведения в полное пришла беспамятство и беспокойство. Ну как же?! Совсем уж худо дело! То девки кержацких парней соблазняют, а то парень сам, по своей воле от вдовьей избы не отходит, завороженный стоит при ней! То парни берут за себя девок, хотя и худой веры, а все ж таки чистеньких, а то вдову возьмет за себя Филипп, бесовским обрядом уже повенчанную, чужим человеком тронутую? Разница!

Да и вдова-то еще постарше Филиппа годами, и вдова ли она? А вдруг и вправду вернется супруг ее законный?

Тут было от чего кержакам призадуматься, прийти в отчаяние. Не только кержаки, но и полувятская сторона отступилась: будь что будет, мы тут ни при чем!

И тогда решился кто-то невесте той мужней сделать лукавство, и вот был пущен слух, будто видел кто-то и где-то супруга ее живым-невредимым. То ли на заводе Демидовском, то ли в солдатской службе.

Мол, жив-здоров, землякам велел кланяться, а жене Домнушке блюсти себя да ждать его. Хотя и не в столь короткое время, а только вернется он в свою избушку обязательно!

Коснулся слух Филиппа-парня, он в лице переменился и покинул пост свой, не стало его видать под окошком Домниным.

Коснулся слух и Домнушки — она сколь ден дверей не открывала, ставню на окошке не распахивала. Сидела взаперти, не знал никто — живая, нет ли?

А сколь-то ден прошло, распахнулась она, побежала вся в слезах к Филиппу, и ну его уговаривать, и ну его умолять, чтобы он еще стоял под окошком у нее.

«Зачем?— Филипп ее спрашивает.— Когда мужняя ты есть жена, то и жди супруга своего!»

«А не могу я ждать одна!— плачет Домна, заливается.— Когда ты ждешь моей судьбы, так и я жду ее, а одной мне судьбы нет — ни сладкой, ни горькой, ни мужней, ни вдовьей — никакой! Одна, без твоего стояния, я и недели не проживу! Спаси меня, постой рядышком хоть годок еще! Пожди меня, тогда и я пожду, сумею!»

Вот как она умоляла!

Полувятские бабы уже и думать забыли, как в девках топтали они тропочки на кержацкую сторону, как заманивали женихов. Они ребятишек понесли одного за другим, кто двоих, кто троих, а баба Лизавета, которая за Кузьму с каменным глазком пошла, та уже и четырех исхитрилась принести, уже и сторон-то не стало ни кержацкой, ни полувятской — сошлись они обе посреди зеленого бугра, а Филипп все стоит на своем посту. Каждодневно.

Ну и когда так, когда нету больше той и другой стороны, надумано было сказать Филиппу с Домнушкой всю-то правду: «Не было, мол, того слуха! Выдуман был он нарочно! Женитесь теперь верно! Сколь годов уже прошло! Нынче — мир вам да любовь!»

«Как так?— спрашивают Домна с Филиппом.— Когда не было — кто же его пустил, тот слух? Кто надоумился?»

«Теперь уже забыто — кто да как! Давно было!»

«Так почто же все-то верили тому слуху? Когда не было его?!»

«Да никто ему не верил! Никто! Вы только двое! Остальные все знали, что пустой тот слух! И вы тоже забудьте его нонче! Когда свадьбу-то ладить будете? Гостей звать? Кумовьев кликать?»

«А мы не будем гостей звать, кумовьев кликать! Не гости и не кумовья нам — наши же обманщики!»

«А что же вы будете делать?»

«Мы уйдем от вас! Прочь и навсегда! От всего белого света уйдем!»

«Куды ж вы пойдете-то? Весь-то свет всюду ведь одинаковый?»

«Уйдем — где все по-другому ладится! Где вода и без травы зелена, где трава да лес и без воды белыми борами стоят, где обману среди людей нет нисколь,

а когда он есть — то нету и самих-то людей, перестают они быть!»

И ушли.

С котомочками малыми, и непонятно, кто такие: муж ли с женой, любовник ли с любовницей, монах ли с монашкой?

Ушли и забыты были.

А спустя уже много лет вот как случилось: мужик один лебяжинский нашел в лесу, и не столь уж в большом отдалении, землянку, а в землянке — человечьи косточки, одежонка кое-какая-то. Стали гадать: чье жилье? И угадали — Филиппа и Домнушки косточки, ихние одежонки, их нательные крестики!

И еще вспомнили тогда же, что уходили Филипп и Домна к Белому Бору, прозрачному и светлому, как вода озерная. Вот где он был, оказывается,— верст тридцать от Лебяжки, не более. И так всегда: думаешь, будто далеко живешь от чуда чудного, а оно рядом незаметно находится!

С той поры, с той печальной находки и явилось название: Белый Бор.

Подумав об этой сказке, Устинов поискал в ней чего-нибудь от нынешней своей судьбы, но не нашел ничего, не сумел.

Было в ней, в сказочке, обязательно было такое, что и его жизни касалось, и Домны, а еще — Зинаиды. Но касалось не явно, не отчетливо, а издалека откуда-то, и нельзя было понять — откуда и как.

А вот что было явным и в прошлом и в нынешнем, и в сказке и в действительности — так это Белый Бор. Он весь представал явью и отчетливостью, все равно какой — сказочной или действительной.

...Деревья кругом были опорошены снегом, очень поздняя пришла оттепель, и воздух, напитанный туманом, не совсем казался здешним, но все равно лесной был, пахучий, растворенный в древесных, а чуть-чуть и в травяных запахах.

Пролетел в каком-то небесном полукруге ворон, громко прокаркал, и слышен стал воздух, как со свистом, с гудением переливается он под крылами. Прошла минута, и точно тем же полукружием, в ту же самую даль, только ему одному видимым следом, помчался уже другой ворон, повторяя вещий крик, и тот же воздушный гул, и свист, и стремительный полет.

Устинов остановился, послушал: «К чему они вещают-то? Узнать бы? Угадать бы?»

Над степью во́роны так не летают, ни разу не довелось приметить, над лесом — сколько раз.

Постояв еще, Устинов тронул Моркошку, тот обрадовался — ему домой уже не терпелось, а вот Барин заскучал. Барину у́стали нет, он всю дорогу повёрстно круги описывал, облаивал тетерок, от души призывал хозяина пострелять. Бердану он хорошо заприметил за хозяйской спиной и никак не мог подумать, будто она взята просто так, неизвестно для чего.

А Устинов уже понял, что стрелять нынче не будет, нету желания.

Лес тихий, и, надо сказать, свежих порубок в нем незаметно. Есть же, значит, смысл в трудах Лесной Комиссии?

Поверх полушубка Устинов одет был в дождевик, догадался, что мокреть и сырость могут сегодня быть. Дождевик еще отцовский, износу ему нет и не будет. Реку на него выплесни — он капельки сквозь не пропустит, и теперь уютно было в нем Устинову, а вот ворочаться, тем более — стрелять, невозможно: суровый материал намок, одубел, находишься в нем, внутри, как в дупле, но ни вправо, ни влево его не повернешь.

Потом снежить стало посильнее, липко и густо, и Барин понял — охоты нынче ему не видать, и стал держаться к хозяину ближе. Моркошка же быстренько сообразил, что теперь уже бесполезно гонять его по лесу туда-сюда, путь лежит прямо домой, и побойчее взял шаг. Устинов, надышавшись теплым, влажным воздухом внутри дождевика, укачался, вздремывая и окончательно догадываясь, что поехал он в лес не столько за делом, сколько просто так. К Семе Прутовских.

К той ясности, в которой Сема жил всю свою долгую жизнь. К Семиным круглешкам и палочкам. Свои собственные Устинову не удались, так хотя бы чужими, хотя бы после времени хотелось ему нынче попользоваться.

И как раз в тот миг, когда Устинов отчетливо догадался, для чего он приехал в Белый Бор, его рвануло вперед, из седла: Моркошка перескакивал через поваленную на землю березку.

Устинов привычный был ездок, умелый, в седле удержался. И зря! Потому что наземь падал Моркошка

и, падая, придавил Устинову правую ногу. И что-то, какой-то гвоздь вцепился ему в мякоть бедра.

Устинову было плохо и больно, но еще больнее, еще хуже оказалось Моркошке. Он так всхлипнул и так заржал, что Устинов сразу этот голос понял: «Погибаю, хозяин!»

Что случилось? Помрешь и не узнаешь, от чего и почему помер?!

А случилось вот как хитро и неожиданно — и глазами, и пальцами, и болью в ноге Устинов не сразу, но догадался — на дороге под снежком, под веточками положена была кверху зубьями борона. Не одна, а две в ряд — большие, деревянные, с железными зубьями.

Ах, Моркошка, Моркошка! Однажды, было дело, плуг он спас от бороньего железного зуба, не захотел покалечить саковский лемех, а нынче сам погибал на бороне! Что за судьба?! Что за цыганка нагадала?

Паровая кровь свободно лилась из Моркошки, слышно было, как булькала, как тепло подкатывалась под Устинова.

Устинов стал приподнимать Моркошку, толкать его в холку, в шею, он верил, что и при смерти конь его послушается. И Моркошка послушался, рванулся было вверх, поднял голову, взмахнул ногами, но только тут же и упал обратно.

Вокруг суетился Барин, скулил, плакал, торопливо и отчаянно лизал то Моркошку, то Устинова в лицо, страдал от стыда и срама: ему бы предупредить о бороне, почуять ее, но он сзади бежал, ничего не заметил.

— Домой, Барин! Живо домой!— приказал Устинов, потрепал его за ухом и еще хлопнул свободной рукой по спине:— Беги! Зови помощь! Домой!

И Барин побежал, быстро взял с места. Устинов подумал:

«Однако буду спасен», а Барин вернулся... Шерсть торчком, зубы оскалены, вернулся тихо, шагом. Сел рядом с хозяином и зарычал.

— Домой!— снова крикнул Устинов.— Кому говорят, сволочь! До-о-мой!

А Барин все не уходил. И на вопль хозяйский никак не ответил, только двигал ушами, дрожал и скалился, глядя в лес, вправо от дороги.

— Бари-и-инушка! — стал уговаривать его Устинов. — Брату-у-шка! Да беги ты, ради бога, домой! Ну, беги, будь такой добрый! Нету же у нас другого исхода. Нету в нынешнем положении, ты пойми! Беги, милый! Ну?!

И опять Барин, повиляв мокрым хвостом, ступил по дороге вперед, двинулся осторожно, будто кругом расставлено было множество капканов и ловушек, оглядываясь по сторонам, щетинился, дрожал и принюхивался, будто за каждым деревом кто-то его подкарауливал...

Тут Устинов и понял, почему Барин не хотел уходить, оставлять хозяина: был кто-то в лесу. Тот был, кто приладил на дороге борону зубьями кверху. Кто присыпал ее снежком, забросал веточками.

Тот самый был!

Барин снова вернулся, спросил диковатым взглядом: «Ну? Теперь понял? Ну? На что и как будем решаться?»

А решаться надо было, и Устинов потихоньку, неловко стал доставать бердану из-за спины.

Он снимал ее медленно — никак не мог повернуться, прижатый Моркошкой к земле, ему мешал грубый, несгибающийся дождевик, схватил ногу и все туловище, словно клещами, и не выпускал, однако Устинов старался, отрывал от земли правое плечо и наконец-то взял оружие в руки.

Когда взял, приложил приклад к плечу, направил ствол на Барина:

— У-бью-у!

Барин глуше прежнего зарычал и, ступая, словно жгло ему лапы, пошел-таки по дороге. Но снова остановился, оглянулся на Устинова, на его бердану.

— Убью-у-у! — закричал Устинов и долго еще кричал так же, не видя, ушел Барин или нет: — Убью-у-у-у!

А перед смертью Моркошка забился на бороне, на железных зубьях, приподнялся еще раз, и Устинов успел выдернуть из-под него ногу. До колена нога еще оставалась под Моркошкиным телом, освободить ее совсем он так и не смог.

Моркошка же снова упал, застонал, ребра его заскрипели железно, а воздух ветряно засвистел у него в горле.

Оглушительно забулькало в Моркошкиной груди и в брюхе, он еще раз сильно и протяжно содрогнулся и замер.

— Моркошка! Моркошечка! Не помирай, бога ради! Не смей!— застонал Устинов и прижался к нему, бездыханному, уже острокостному... Не то хотел еще греться от Моркошки, не то согреть его своим теплом. Ногу рвала и саднила рана, но Устинов не мог понять, чья это боль — его или Моркошкина? Теплое и влажное дупло внутри дождевика сжималось вокруг поясницы, плеч и головы, делалось все меньше и меньше, все больше становилось единственным местом устиновской жизни.

Час назад Белый Бор с полянами, с просеками-визирками был ему путем-дорогой в разные стороны, и та степь, которая лежала за бором, тоже не была ему заказана ничуть, а теперь только и оставалось пространства, что под старым дождевиком.

Отсюда, из этого обиталища, и нацелился он старенькой берданкой во весь остальной мир, нацелившись, уже неподвижно и тихо лежал в Моркошкиной и своей крови, не шевелился. Угадывал, есть ли кто-нибудь в лесу, кто с нетерпением ждет его смерти? Лежал и думал: «Правильно толкал меня в огонь Кудеяр, тогда и надо было сгореть! Не дожидаться, покуда тебя убьют другие...»

А кто они могут быть — те странные люди, которым нужна его смерть? И зачем она им?

Глава четырнадцатая

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

В тот воскресный день, когда Устинов поехал на Моркошке в лес, в Белый Бор, и в тот час, когда он уже мучился на зубьях бороны, в доме Панкратовых члены Комиссии подписывали Обращение.

Калашников, который давно и чуть ли не целиком передоверил все дела Дерябину, на этот раз, после долгого спора, настоял на своем, и подписать Обращение были приглашены Иван Иванович Саморуков и Смирновский.

Они подписались — Иван Иванович нетвердой уже рукой, неразборчиво, Смирновский — целым рядом почти прямых черточек, завершенных полукруглым росчерком. Подписавшись, Смирновский задумался, приподнял ручку пером кверху, внимательно разглядел ее

и попросил дополнить Обращение еще одной фразой: «Нам угрожает не только всесибирская гражданская война, но и война между собою — жителями одной деревни, еще недавно далеко известной своею сплоченностью, единением и взаимопомощью, поэтому любой шаг прочь от этого страшного разлада должен быть нами сделан, если мы окончательно не потеряли честь и совесть!»

— Вот так! — сказал Калашников, когда дополнение Смирновского к тексту Обращения было принято.— Это и будет наш дневной, прямой и светлый ответ на ту подлую ночную записочку!

— На какую записочку? — поинтересовался Смирновский, а ему показали клочок бумажки, которую прошлой ночью кто-то засунул в пробой ставни панкратовской избы, крохотный кусочек, и коряво, косо по нему написано: «Лесная Комиссия хады мы вам шпана совецкая на неделе башки посвертываем шалавы».

Смирновский потеребил себя за ус:

— Вот тебе и шаг — прочь от страшного разлада! Вот и шаг!

А Игнашка, подписавшись последним, поморгал глазками и сказал:

— Оне — умные, Родион Гаврилович! Оне с ходу во какие слова придумывають! Однем махом — и про честь, и про совесть, и про все!

Смирновский отвернулся в сторону, Калашников и Дерябин тоже застеснялись за члена своей Комиссии, а Игнашка, должно быть, заметив эту общую неловкость, но так и не поняв ее причины, вздохнул и постарался перевести разговор на другой предмет:

— Тольки бы колчаки энти проклятые не пронюхали,— сказал он с таинственностью в голосе,— не пронюхали бы наш собственный военный маневр! Который мы, лебяжинцы, сотворили на Жигулихинской дороге! Тольки бы!

Тут еще бо̀льшее произошло замешательство...

В Лебяжке мужики всегда хорошо знали, о каком случае стоит говорить и вспоминать, о каком — не стоит никогда.

«Военный маневр», ни с того, ни с сего вспомнившийся Игнатову, был как раз тем случаем, о котором каждый лебяжинский житель молчаливо обязался забыть навсегда.

А произошел он в августе месяце, когда Сибирское правительство проводило мобилизацию молодых возрастов для войны с Российской Советской властью.

Многие деревни, которых это коснулось, восставали, отбивали у милиции своих новобранцев, на призывные же пункты вместо парней являлись фронтовики: «Берите нас! Вооружайте!» Но правительство фронтовиков не брало: во время Октября они повернули оружие против начальства, им нетрудно было снова повторить маневр.

И только лебяжинцы без малейшего сопротивления отдали парней в белую армию, проводили их с почетом.

Парней погнали в уезд под конвоем, словно они были арестанты, а не защитники отечества.

А за ними следом скрытно двинулся небольшой отряд лебяжинских фронтовиков — отцы мобилизованных — и где-то за пределами своей волости, ночью, отряд этот, разогнав милицию, освободил новобранцев.

После в Лебяжку приезжали офицеры: «Где ваши парни? Кто их отбил, куда они девались?»

Парни спрятаны были надежно — в лесу, в пашенных избушках, и Саморуков Иван Иванович, помаргивая, разводил руками:

— Удивляемся бесперечь! Ни писем, ни гука от их. Куды их подевало начальство, в какую такую секретную службу?

Нынче, придя к власти, Колчак жестоко мстил селениям, которые сопротивлялись осенней мобилизации, тем неприятнее было вспоминать «маневр», но Игнашку потянуло за язык, и, негромко кашлянув в кулак, ему ответил Иван Иванович:

— Ты бы, Игнатий,— ответил он,— когда все ишшо таскаешь на себе свою башку, то гораздо лучше позабыл бы тот случа́й!

— Ну, дак ить как?!— забеспокоился Игнатов.— Ить как она — башка-то?! Она, Иван Иванович, штонибудь забудет с полным удовольствием, а тут же вспомнится ей что-либо совсем другое!

— А ты ей накажи и другое тоже забыть! Когда ей охота ишшо на тулове поболтаться!

Игнашка согласно кивнул, потом ощупал себя по шее, а все присутствующие с некоторым дружелюбием

поглядели друг на друга: общий секрет всегда сближает.

Тем более что секрет этот отчетливо у всех был на памяти. Не только сам по себе — он еще продолжался интересным разговором Ивана Ивановича с офицерами.

Офицеры, двое, приехав тот раз дознаваться, первым делом взяли в оборот Ивана Ивановича:

— Ты староста?

— Сами поглядите: разве могет быть староста в подобном возрасте?

— Милиционер указывает на тебя! И в волости — на тебя же! И весь народ — тоже!

— Про волость, про милицию — не скажу, господа офицеры! Оне могут в чистосердешном находиться заблуждении, а народ — тот врет, верить ему невозможно! Народу што? Ему лишь бы свалить на кого дело, лишь бы не ответствовать самому!

— Ну а есть в этом селении староста? Кто он?

— Числится-то, можно сказать, Костриков Никита по сю пору.

— Где он?

— На кладбище наш Никита Петрович. Мертвый он там.

— Почему же не было выбора другому старосте? Живому?

— Да недосуг им, живым-то. Ни выбирать, ни тем более избираться недосуг.

— Собрать сход и выбрать старосту сегодня же! Собрать народ!

— Не соберется народ, господа офицеры! Народ — я же объясняю — он дурной. К тому же нонче страда!

— Ну раз так — назначаем тебя старостой! Точка!

— Какая могет быть на мне точка, господа офицеры? Да кто же мне будет верить-то, господа офицеры? Без выбора? И даже без демократии?!

— Ах ты, мухомор сопливый! «Демократия»! А плетки — не хочешь?!

— Я, господа офицеры, газетки Сибирского правительства читаю! Речи господина Вологодского читаю! Вот и знаю слово! Оно ежедневно им поминается! И не просто так, а про самого себя! И я не от себя слово произношу — от господина Вологодского.

— Господину-гражданину-товарищу Вологодскому тоже надо бы всыпку хорошую! За развращение наро-

да! — сказал один из офицеров, а Иван Иванович приложил палец к губам:

— Тш-ш-ш... Народ могет услыхать и бог знает как про наше офицерство понять! Тш-ш-ш!.. Он, энтот народ, не просто так: он деньги собирал между собою на доблестную сибирскую армию!

А тут и другая уже была история: когда деньги окончательно стали терять цену, Иван Иванович взял из наличности лебяжинской кассы взаимопомощи сумму и сделал перевод в адрес Губернской Земской управы на нужды Добровольческой армии. После всем приезжим показывал квитанцию.

Он показал ее и офицерам, они попритихли. Отобедали у Ивана Ивановича и уехали.

«Нет, — думали нынче все члены Комиссии, дружно и хорошо подумали, — нет, старикашечка этот, Иван Иванович Саморуков, еще не сошел с круга! Он еще Лебяжке пригодится!»

Даже Дерябин, который Ивана Ивановича не любил, а иногда ненавидел — и тот подумал так же, стал его расспрашивать:

— Ты, гражданин Саморуков, действительно давно уже не староста и даже никто в Лебяжке! А делом все одно ворочаешь! Скажи, какие нонче у тебя дела? Как обстоят?

А Иван Иванович не обиделся, во всяком случае, вида не показал и, не торопясь, чуть скособочившись на стуле, начал о делах повествовать.

Нынче осенью более десятка беднейших семейств он уклонил от налога — одним подстроил справки об отсутствии кормильцев, другим — подсказал составить акты на гибель посевов и на временное увечье главы семейства, у него на этот счет выдумка была, у Ивана Ивановича.

И на другое его тоже хватило: самым богатым мужикам он пригрозил, велел засыпать не менее, как по две нормы в общественный хлебный амбар. Те засыпали, не стали перечить.

Самое же главное, из рассказа Ивана Ивановича выяснилось, что вся почта, поступавшая на имя лебяжинского милиционера, сначала просматривалась Саморуковым. Он ее вскрывал, делал милиции указания, как начальству в Крушиху отвечать, как исполнять приказы.

Между прочим, из волости и даже из уезда не раз предписывалось установить строгое наблюдение над Лесной Комиссией, и тут Иван Иванович промашки тоже не допустил, он лично диктовал милиционеру ответы: Комиссия только и делает, что проявляет рвение к Сибирскому правительству.

— Ну а как насчет Колчака?— дотошно расспрашивал Дерябин Ивана Ивановича.

— Насчет Колчака, ребяты, дело худое! Я даже боюсь, кабы наша милиция из-под моего руководства не вышла и к ему, к адмиралу, окончательно не прибилась бы!— вздохнул Иван Иванович.

— По сю-то пору ты ею руководствовал? Каким-то образом?

— Образ такой: я ей жалованье платил. И здоровому и даже вовсе хворому и бесполезному милиционеру.

— Откуда жалованье?

— Из мирской кассы. Из кассы взаимной помощи. А также из общественного хлебного анбара.

— Ну так и продолжай кровное свое дело — плати!

— Я-то готовый. Однако же говорю: милиция нонче может принять другой интерес — переметнуться от меня к адмиралу.

Как получалось: Ивана Ивановича Лесная Комиссия не ценила ничуть, а разобраться, так, может, только благодаря ему она и существовала? Мало ли что мог сообщить милиционер, если бы не Ивана Ивановича рука?

Такой он был, этот старикан, бывший лучший человек.

Когда случалось в недавнем прошлом, что волость начинала ремонт дорог, раскладку гужевой повинности, выборы волостного суда и старосты, все окрестные деревни ставили Лебяжке условие — Саморукова к делу близко не подпускать! И действительно, Иван Иванович всегда и все поворачивал так, что Лебяжка оказывалась в выгоде. Он умел. И хотя был сильно верующим, обмануть начальство или всю волость полагал даром божьим. Обманет, пойдет в лебяжинскую немудрящую церквушку и долго шепчет перед святым ликом благодарственную молитву. Другое дело — обман своего же, лебяжинского, тут усматривал он грех великий! Дать ему волю — он бы три шкуры спустил с каждого, кто обманул соседа на копейку. Был случай, один лебяжинский мужик увез у другого стожок сена, а спустя время, год или два, умер. Так Иван Иванович на похоронах, у са-

мой могилы, приподнял крышку гроба и плюнул покойнику в лицо.

Другие старики возмутились, но Иван Иванович им сказал, что плюнет в каждого, кто будет потакать вору при жизни или после смерти — ему это все равно.

Саморуковы ходили в лучших людях уже в третьем или даже в четвертом поколении, чуть ли не со времен старца Самсония Кривого, но такой пройдоха, ругатель и лукавец был и среди них первым. Те, прошлые лучшие люди, тоже Иваны Ивановичи, совсем другого были склада и порядка: читали молитвы, беседовали со стариками по-божественному, наставляли молодежь. В мирские дела редко когда вмешивались — на это имелся сельский староста.

Когда Ивану Ивановичу напоминали о его предшественниках, а который раз даже и упрекали в том, что он слишком уж много взял на себя — и старостой был, и наставником, он объяснял:

— Правильно сделано мною! Стадо наше лебяжинское все больше делается, и мужиков с кажным годом куды больше в ем, и баб, и ребятишек! И соблазну к разной измене обществу — обратно делается больше. Грамоте обучаются люди — это хорошо, не однем только божественным старцам с грамотою быть, но и худо тоже — слишком разные делаются люди от грамоты, в слишком разные стороны они тянутся! Нет, двоим тут не управиться, между двоими тоже завсегда могет происходить неувязка, тут одному только под силу!

Но под старость лет и Саморукову Ивану Ивановичу подоспело времечко, что он, и строгий, и божественный, и лукавый, оказался в растерянности и должен был согласиться с Дерябиным, кивнул ему, когда тот сказал, что не сегодня-завтра лебяжинцы обязательно начнут стрелять друг в друга.

— И жили вместе, и воевали против общего врага вместе, а теперь — убивать друг друга?! — негромко сказал Смирновский. — Как это? Не могу я стрелять, ну хотя бы в тебя, Дерябин! Я — нет! А ты в меня можешь?

— В тебя? — переспросил, прищурившись, Дерябин.

— В меня!

Дерябин постучал пальцем по столу.

— Это от тебя же и зависит, поручик: какую ты поведешь линию! Поведешь неправильную линию — тогда об чем разговор?

— И как же ты будешь в меня стрелять, товарищ Дерябин?

— То есть как это — как?

— Ну, стоя? Лежа? С колена?

— Да не все ли это равно?

— В конце концов все равно. Но интересно представить.

— Дойдет дело — представим. Как нам удобнée будет, так и будем один в другого палить. Безо всяких там представлений. Лишь бы угадать в яблочко.

— Да-а-а...— протянул Смирновский.— Да-а-а... А сколько ведь говорилось о единении России? О братстве и дружбе? И ведь как ни главное слово, как ни святое — так и лишнее. Так и заезжено, словно хромой на четыре ноги конь! Правильно я говорю, Иван Иванович? Может, все-таки неправильно? А?

— Дак кто его знает, Родион Гаврилович. Сколь уж разов объяснял: никто жить не умеет — вот самая первая беда! Жизни вон сколь людям дано, а пользовать ее никто не умеет, только пакостя́т. От неспособности жить кажный на кажного и точит зуб, исходит злобо́й. И вот злобы́ накапливается с кажным годом — уже любая щелка набита ею до отказа. И вот вылазит она изо всех-то щелок и застрех наружу. Когда бы умел человек жизнию и природой всей пользоваться, откудова ей бы взяться, нонешней злобе́?

— А он ведь прав, Иван Иванович!— кивнул Смирновский.— Что за история? Хана Батыя мы, русские, свели на нет, Карла шведского Петр Великий разбил и навсегда низвел Швецию из великих держав в малые, и с Турцией примерно то же самое сделали мы, и Наполеон бежал от нас сломя голову, и в эту, хотя и бесславную войну, а Францию тоже спасали не раз — почему же между собою-то жить не умеем? Почему себя не бережем, расточаемся во всем? В обычаях, в родственных связях, в землячестве, в единстве национальном? Я в кавказских частях бывал, назови там солдата свиньей — весь эскадрон возропщет, будешь им на всю жизнь врагом, а мы друг друга обзываем последними словами, как будто так и надо?! Или мы — чернозем для произрастания других наций, или просто назём? Или все, что между нами нынче происходит, и есть наш конец? Я в Москве был в госпитале, оттуда меня прямо на офицерские курсы, ну а пока то да другое — водили нас по Кремлю, по музеям, по галереям... Боже ты мой —

богатство-то! Головокружение! Величие! Но какая-то черта у нас проходит роковая между великим и низким, и каждое существует само по себе, и величие неспособно наказывать низость, изгонять ее из нашей жизни!

— Гордость в тебе, Смирновский, барская! Слепая! Турков когда-то там побили мы, русские, а тебе по сю пору — гордость! Шведов побили — обратно гордость! А мне вот — плевать на все прошлые победы, я помню другое: сколь угнетения принесла Россия разным народам! И я спрашиваю: почто же ты угнетательную-то историю не помнишь, поручик?— спросил Дерябин.

— А я ее помню! Как же! Поскольку существуют в мире войны, то и армии существуют для одной цели — побеждать! И когда бы мы не побеждали турок или шведов — они побеждали бы нас. Но заметь, Дерябин, заметьте все,— русская армия, когда приходила к другим нациям, она заявляла только о своей силе. Только! Она побежденных за людей второго сорта не считала никогда, она, подобно Англии, в рабов их не обращала, сама была крепостной, а крепостничества в завоеванных странах не делала, она, подобно испанцам, чужие племена не истребляла, подобно французам, в армию для своей защиты их не брала — сама их защищала от чужих нашествий. И в чужие народы мы с крестом и мечом свою веру насаждать не ходили, религиозных войн не вели. Дальше гонений на предков наших, раскольников,— дело не пошло, хватило все ж таки ума и души именем Христа не воевать! А когда так — ни к одному государству добровольно не присоединялось столько же народов, как к России,— и армяне, и грузины, и Украйна, и еще другие! Они приходили равноправно, и армянин был вторым человеком в государстве после императора Александра Второго, грузины сплошь были офицерством в нашей армии, с украинцами различий не было ни в чем, те во все концы России сколько хотели, столько и переселялись! Гораздо больше, чем русских в Украину. Хотя бы и к нам, в Сибирь. И никто нигде малоросса за чужого не считал.

— Рай земной, да и только — Россия-то?— усомнился Калашников.— Конешно, рай, когда все в нее еще при жизни стремятся?

— Ну, какое там — рай?— усмехнулся Смирновский.— Если бы — он! Но нигде нет рая на земле — ни у победителей, ни у побежденных. И возможности выбора часто нет никакого. Но когда он бывает, народы

выбирают из двух зол меньшее. Под кем быть? Под турками? Под поляками и австрийцами? Под англичанами? И вот многие выбрали — под Россией. Потому что была надежда — не под ней быть, а вместе с нею. Потому что не бог весть сколь развитая страна, но с ней надежнее. А мы вот как сделали — взяли да между собою передрались!— И Смирновский подождал чего-то, еще какой-то мысли, но, должно быть, то, чего он ждал, не пришло к нему, он вздохнул и сказал:— Человеком и государством быть никогда не просто и не ясно. А человеком и государством русским — так и особенно...

— Ну, чего уж ты жалуешься-то, поручик?!— заметил на это Дерябин.— Тебе начальство вон какие мысли вдолбило! Живи с ими хоть сто лет!

— Я, Дерябин, их сам себе вдолбил. Сам их по книжкам, по жизни разыскивал. Когда я, мужик, пошел в армию — они мне понадобились. Без них я бы не пошел.

— Пахать, пахать надобно тебе поболее, поручик!— опять усмехнулся Дерябин.— Выкладываться на пашне! Вот тогда бы в тебя трудовое сознание хорошо проникло, тебе недосуг стало бы всяким патриотизмом заниматься. Ты вернулся с фронта, сколь десятин сеял?

— Шесть сеял.

— А посеял бы десять, и больше у тебя было бы порядку в мозгах!

— Посеял бы десять — ты бы еще громче на меня кричал: «Кулак, враг!» Еще скорее захотел бы взять меня на мушку! Хотя ты и не бог весть как воевал, и не бог весть как пахал! Десяти-то десятин тоже не сеял!

Дерябин повременил, даже вздохнул участливо и спросил:

— Правда — нет, поручик, что племянничек твой, Матвейка Куприянов, скрылся из Лебяжки? В неизвестном, а может, и в известном для тебя направлении?

— Это правда. Скрылся он. Не знаю куда.

— Что же ты, поручик, не удержал племянничка-то?

— Не сумел. Не мой сын.

Новость приглушила разговор, всем припомнился Матвейка Куприянов — шестнадцатилетний мужик, косая сажень в плечах, этакий молодой, сильный, злой и преглупый бычок. Куда-то он теперь подался? И для чего?

— События-то какие на белом свете происходят?— еще спросил Смирновский.— Кому, может, газетки попадались?

— Какие нонче газеты? — безнадежно махнул рукой Калашников.— Никаких газет, никаких вестей. Сидим в Лебяжке, навроде сусликов в норках. Однем глазком на небо глянешь — небо есть, существует на своем постоянном в высоте месте. Ну и ладно, и ты уже довольный. А между тем там ведь, в небе-то, твоя собственная судьба находится, и надо бы поболее об ней знать?! Я тут клочок «Народной свободы» поглядел. Напечатано: «Достоверно сообщают, что Шаляпин расстрелян большевиками».

— Сам читал?

— Своими глазами! Слово в слово передаю!

— Ну, туды ему и дорога!— сделав движение рукой вроде крестного знамения, сказал Игнашка.— Сколь гибнет народу разных званий — однем больше либо однем меньше — какая разница?

— Разница есть, Игнатий!— возразил Калашников.— А что до Шаляпина — так разница огромная. Ты слыхал ли — кто он такой был-то? Шаляпин-то? Он ведь певец бог знает какой! Такого, может, не было на свете, да и не будет никогда, не даст такого же людям природа!

— Ну, раз стрелили — значит, кому-то энто нужно было! Чей-то интерес все же соблюден. Он певец, певец, а может, враг народу?

— Ну, какой он может быть враг? С песнями-то?

— Не то пел, што надо!

— А что — надо?

— Я, сказать, не так сильно в пении разбираюсь. Могу на гармошке, и то не сильно. Ну а кому надо — тот, поди-ка, разобрался!

Смирновский выразил сомнение:

— Ничему верить нынче нельзя! Тут надо смотреть — кому выгодно? Выгодно белым, чтобы красные расстреляли Шаляпина, и белые глазом не моргнут, напишут: «Расстрелян!»

И вот уже тот лад, возникший между членами Комиссии, когда Игнашка, как будто совсем не к месту, вспомнил «Военный маневр», которым лебяжинцы освободили своих парней от мобилизации, тот недолгий, но приятный и душевный лад снова пошел на разлад.

Члены Комиссии примолкли, еще поглядели друг на друга, и Дерябин с подозрительностью спросил, обращаясь к Смирновскому:

— Ну, ладно, вот сидит Иван Иванович — хороший ли, плохой ли, но общественный человек. Спорить не станешь. Лучшим человеком сколь годов ходил, и когда он является в Комиссию по собственному желанию — это понятно! Но вот интересно мне, поручик, а почему ты решился прийти к нам? Не раньше, ие позже, а нонче! Кто тебе-то был агитатором? Уж не Устинов ли Николай?

— Ты! — кивнул Смирновский.— Ты был!

— Я?

— Говорю же — ты! Ты был моим агитатором.

— Сильно загибаешь, поручик!

— Все наоборот: я пришел, чтобы ты, Дерябин, не загибал очень-то сильно! Чтобы не уводил Комиссию, пускай и от малого, но единства, о котором мы говорили устно, которое только что объявили письменно в своем Обращении к лебяжинским гражданам.

— И тебе, поручик, мы предлагали ее взять, нашу охрану! Но ты отказался. Теперь жалеешь? Да? Помнишь, как отказывался-то? Коротко эдак. Благородно. Жалеешь о допущенном благородстве?

— Я, когда бы уводил прочь, не подписывался бы под тем Обращением! И дело в том, Дерябин, что ты всю лесную охрану взял в свои руки! Да как взял — с загибом!

Но Смирновский переводить разговор на себя не хотел, он кивнул и как бы между прочим сказал:

— Я самому себе в этом отчета еще не давал. Может, и жалею! Не обо мне речь. Объясни-ка вот: почему ты из охраны в двадцать с лишним человек выделил особую доверенную тебе шестерку и тренируешь ее отдельно и тайно ото всех?

Дерябин изменился в лице, усмехнулся.

— А ты осведомленный, поручик! Разведка работает? Собственные сыновья?

— Собственные... Они рыбаки у меня, охотники, ребята приметливые. Замечали в бору твою ударную группу. Из шести человек. Не раз. И тебя вместе с нею!

— Ну, ежели только меня — так это еще ничего!

— Покуда только тебя!

— И то хорошо! Ну а чего же ты видишь в этом слишком плохого, поручик? Очень просто: не всей

охране можно доверять. Хотя бы на случай предстоящих военных действий против колчаковских карателей. На тот случай надобно иметь группу небольшую, истинно ударную, на все готовую. А понадобится — она поведет за собою уже всех остальных. Всю охрану и даже — всю сознательную Лебяжку.

— Понятно! Однако же Комиссия тебе этого не поручала? И ты от нее, даже от председателя Калашникова, делаешь это тайно?!

— Пришло бы время — я бы ему доложил об этом!

— Какое же это время? Когда ты сместил бы Калашникова? И даже — арестовал бы его! Если бы он сказал тебе «нет»!

— И в мыслях не было! Такими вот словами ты, поручик, первый нарушаешь наше единство внутри Комиссии! Я честно готовился к сопротивлению нашему общему и злейшему врагу! И только!

— Предположим...

— Так зачем ты все-таки пришел к нам, в Комиссию-то?

— Пока что — сделать твой тайный замысел явным.

— Это пока. Ну а позже?

— Повторяю: я хотел быть здесь не позже того, как тебе придет мысль своей шестеркой устранить Комиссию. И даже не мысль, а само действие. Калашникова ты бы мог убрать в любой момент, ты это прекрасно знаешь. Зря скрываешься, потому что и сам-то Калашников это тоже знает. Только не противится этому. Такой уж он человек — непротивленец. А я вот предупреждаю: ударная твоя шестерка против меня не пойдет. Имей это в виду. Они, чуть ли не все, мои однополчане. И я верю им, они — мне! Во всяком случае, Брестский мир я с ними заключить всегда смогу!

— Они уже перевоспитались. И слушаться тебя, благородия, не будут!

— Слушаться не будут. Верно. Но и против меня тоже не пойдут. С этим тебе еще придется повременить. Придется!

— Ничего не поделаешь — придется...— согласился Дерябин.— Ну а ты что скажешь, Калашников? Председатель?!

Калашников повздыхал, покачался на табуретке. Он собирался с мыслями, с отдаленными какими-то, может быть, и с нездешними.

С ним это часто случалось — когда надо быстро ответить, он пускался в рассуждения, почти что молитвенные.

— Как так?— спросил он.— Мы добра людям несомненно хотим, а люди в обиде? Матвейка — в обиде. Ну ладно, он парень глупой. А Половинкин? Он темноватый мужик, Половинкин, а ушел, и мы лишились массы. Помните, товарищи, он обозвал нас «интелепупией»? Пупией! Иначе сказать — укорил нас в глупости, в самозванстве и в бесполезности! И может, по правде, дак не нужны мы никому, и нисколь, и не желает нас нонче слышать ни один здравый человек — бесполезных писарей? И тут я готовый все дела передать в руки товарища Дерябина — пущай делает как хотит! Он не сомневается, не переживает, вот как я, и уже по одному по этому у его, может, больше прав руководствовать Комиссией? Но тут же проходит еще минута, и я сам себе делаю возражение: «Да как же так, Петро?! Ведь с какой великой и честной душой ты сам же записывал в Обращение, что «любая работа в пользу общества должна быть исполнена нонче со всей ответственностью»?! Такое во мне происходит сейчас разнообразие! Я еще недавно думал — понятна мне жизнь под старость лет! Я поверил в человеческую кооперацию. От всей души и поверил! А что получается? Ну ладно — в России крестьянство отымает у помещиков землю, так это и ранее бывало. Разин был Степан, Пугачев Емельян — они в народе не умирали никогда. А тут еще и рабочий захотел отнять у капиталиста его фабрику — тоже понятно. Ну а нам-то, сибирякам, что и кого делить? Земля есть, не так уж мало, чтобы бороться за ее с оружием в руках, фабрик — вовсе нет. Чего делить? Но все одно будем стрелять друг в дружку по той причине, что у одного на ограде восемь коней, а у другого — только два! Так это не война, а разбой! Вооруженное конокрадство! Ну ладно, разные министры и председатели Сухомлиновы, конокрады Распутины, императоры Романовы, министры Керенские, Милюковы, Колчаки — конца им нету, и всему тому, что они хотят иметь и разделять,— тоже нету конца. А нам-то, народу, что между собою делить? Какое имение? Народ тем и отличается от буржуазии, что он не должен желать друг другу худа! Фабрикант своей собственной фабрикой всегда желает погасить чужую, соседскую, это понятно, но мы-то не фабриканты? Или эта вражда

и зависть пронизывает людей всех наскрозь, никого не минует — от царей до нищих? Ведь сколь мы наслушались: в народе правда и справедливость, глас народа — глас божий, народ — он великий, народная совесть — превыше всего и подобное же этому! Так, может, нас обманывают?! Обольщают нас? Может, в действительности мы — никуда не годные и корыстные, на любые братоубийства, преступления и подлости готовые? Где же наше-то собственное, народное сознание? Сибирские правители новобранцев брали, а мы не дали, отбили всех до одного, полгода не прошло — те же самые парни и те же самые отцы зачнут между собою вооруженно действовать? Нет, непонятно! Когда даже мы, сама Комиссия, мысленно уже берем один другого на мушку? Лежа, с колена либо стоя! Не могу и не могу понять: как происходит?

Иван Иванович, выслушав Калашникова, спросил:

— А што, Петро, хороших людей не хватает на земле? Из-за того и беда, по-твоему?

— Хороших людей хватает, Иван Иванович, да не знают они, к чему приложиться.

— К богу, Петро! Хорошие люди — божьи люди, и разум у их не покалечен собственной гордыней, а происходит от веры, от заповедей Христовых. И тогда ладно получается: оне сами от бога и к богу же прилагаются!

— Словами! Словами прилагаются, гражданин Саморуков! А на деле?— спросил Дерябин, а Смирновский ему ответил:

— На деле должно быть: каждая нация должна иметь свой не только божий, но государственный разум. Но когда его нет — идет полный развал: государства не может быть без народного разума, а народа — без государственного.

— Верно, Родион Гаврилович!— согласился Калашников.— До какой степени хочется разумной над собой власти, человеческого над собою управления, что и слов нету выразиться! Исстрадались мы все по этому, как ни по чему другому! Как ровно по самой великой правде.

— А это и есть великая правда!— снова кивнул Смирновский, покачался на табуретке.— Она! Что такое правда, ежели не разумное и всем видимое, всем понятное устройство жизни?

— Три раза ходила нынешняя армия в Галицию...— начал Дерябин, но его перебил Игнашка Игнатов.

— Мужики!— перебил он.— Товарищи члены Лесной Комиссии! Да как же энто так? Нам бы протокол какой писать, что ли? А то ить — сидим все, сложивши руки, а более ничево!! С улицы вон кто в окно глянет, дак непременно скажет: «Вот те раз! Мы Лесную Комиссию выбирали дело делать, а она — вот она: сидит вся как есть сложивши руки!» Давайте какой-никакой, а протокол писать! А то ить стыд, страм и безделица получается!

Дерябин стукнул по столу:

— Да подожди ты, Игнатий! Протокольщик мне нашелся!— Потом он поморщился и сказал:— Ты бы вот что, Игнатий, ты бы сбегал за Устиновым! Надо нам его для разговору нынче! Надо.

Все кивнули, подтвердили, что надо, а Саморуков сказал:

— Когда бы здесь был Устинов Николай, то и миру между нами тоже стало бы поболее.

И он верно сказал. Сидел бы сейчас за столом Устинов, поглядывал бы вокруг и вглубь каждого внимательно и с бесконечным каким-то интересом, и от этого взгляда, от того, как он приглаживает свои белые, почти детские волосы, было бы всем уютнее. И спокойнее.

— Ну, чо за им бегать-то?— приподнялся и снова сел Игнашка.— В лес он уехал нонче. Там и находится по сю пору.

— А ты все ж таки побеги! Необходим нонче Устинов Коля!— еще подтвердил Саморуков.

— Побегу, Иван Иванович, только не враз. После я сбегаю, ей-бо!— пообещал Игнашка.

— Значит, как я начал говорить-то?— стал вспоминать Дерябин.— Значит, так: три разá ходила наша армия в Галицию...

Но тут Дерябина перебил уже Калашников:

— Знаем, знаем! Известно, что скажешь: три разá ходила наша армия в Галицию, два — в Пруссию! Царя спихнули и стрелили. Керенский убежал с дворца в бабьем одеянии. И все здря — скажешь ты,— все одно жизнь по сю пору не принесла людям никакой пользы и разумения. А когда так — надо ее в коренную переделку, такую жизнь! Вот как ты скажешь! Но и во что ее переделывать, чтобы еще одной мировой глупости не получилось,— этого ты не скажешь, Дерябин!

Дерябин рассердился.

— Не знает этого тот, кто о переделке и слышать не хочет. Кто боится ее, как черт ладана! Да из-за чего сыр-то бор у нас разгорелся? Из-за Половинкина, что он ушел?! И пущай уходит. Он ведь как? Он рад-радешенек, когда умные люди тоже глупыми оказываются. А мы ему должны были объяснить еще раз: случаются годы, что люди делаются готовыми, не глядя на жертвы, идти на переделку себя и всей своей жизни! В этом и есть их единственная надежда на будущее! Тут и есть для их смысл! Остальное все — бессмыслица, унижение и рабство! Перед царями — рабство, перед соседом — рабство, перед самим собой и то рабство! Конечно, и в рабстве, и в угнетении жить можно не худо, особенно ежели его бесперечь хвалить: ах, какое оно хорошее и благородное, лучше и справедливее его ничего на свете нету и быть не может! И хозяева тебя услышат, и хороший кусок тебе за это дадут, и даже за свой стол примут — но неужто это будет человеческое состояние?!— И Дерябин помолчал, почему-то погрозил пальцем Игнашке, а потом неожиданно повернулся к Саморукову: — Ты вот, поди-ка, возражать будешь мне, бывший лучший человек?

— Правда, Дерябин, какой я нонче человек? — согласился Саморуков.— Верно, што бывший! А пошто? Не по старости, нет. Народу много наплодилось на земле, вот што. И гляди-ко, едва ли не все старики сделались среди его бывшими! Энто как в лесу: народится слишком уж много одной твари — зайца либо белки, ну а после того она сильно дохнет и околевает. В первую очередь, конешно, престарелые зайчишки-бельчишки дохнут. И нашей Лебяжке тоже надо быть не более себя — ей свойственно двести дворов, а двести пятьдесят уже через силу. Когда не через силу, тогда в обчестве могет быть свой пастырь и поводырь. И свой порядок. И бог для всех единый. Тогда кажного человека всем видать — кто он, за што живет. Тогда жизнь прадедов тоже может браться в пример, а делу не позволять уйти от слова. Когда же заместо тысячи станет мильон — никому, хотя какой голове, хотя какому работнику, с им не управиться, не разглядеть его, тот мильон. А я што? Я покуда знал, как делать,— делал. Но как не знал — не делал никогда! И доволен энтим. И нонче я вам не завидую, мужики, нисколь, я себе завидую: мне вот-вот и помирать, а вам жить! Я жил, но жизнь редко когда

поминал, без того обходился, а вы нонче трех слов не скажете, чтобы жизнь так ли, эдак ли не помянуть, а жить не умеете, жизни вроде бы и нет в вас и рядышком — вдалеке она где-то! — Иван Иванович перекрестился и замолк, а Калашников снова поворошил голову и вспомнил:

— Я на японской на войне был, так в санитарной части. И сколь смертельно раненных перетаскал на себе — на две волости хватило бы мужского населения! Таскал и все слушал — не скажут ли смертники самого главного? Не откроют ли какую истину? Нет, не сказал ни один ни одного главного слова, а так все больше про детишек. Про жену и мать. Женщин часто упоминают и с тем отходят.

— В прошлую, в германскую, так же было,— подтвердил Дерябин.

— В нынешнюю, в гражданскую, так же было и так же будет! — проговорил Смирновский.— Может, женский вопрос и есть самый главный? А?

Все затихли, и тут Игнашка Игнатов неожиданно и тоненько засмеялся:

— Хи-хи! — И еще раз: — Хи-хи!

— Тебе с чего смешно-то, Игнатий? — поинтересовался Саморуков.

— Ну, Родион Гаврилович — тоже, скажут! — прикрыв лицо рукой, ответил Игнатов...— Женский, да еще и вопрос! Хи-хи! Энто как бы матерно и даже гораздо хужее!

— Глупóй ты, что ли, Игнатий?! — удивился Калашников.— Да во всех газетах и даже в книгах этак печатно пишется: «Крестьянский вопрос», «Сибирский вопрос», «Женский вопрос», «Военный вопрос». И у нас, и за границей так же!

— И ты тоже, Калашников, произносишь! Ай-ай, не ожидал я от тебя-то, Петро! От председателя нашей Комиссии! И разве мыслимо это сравнить? То военный вопрос, а то — хи-хи — женский? Тоже мне — сравнил! Ну и ну! — Игнашка закрыл лицо еще и другой рукой, а Дерябин сказал ему:

— Игнатий! Кому говорят: сбегай за Устиновым! Узнай, не вернулся ли?

Игнатий теперь уже отнекиваться не стал, схватил с крюка шапку, а в кухне надел полушубок и убежал, похихикивая.

Члены Комиссии еще поговорили по женскому вопросу: не лучше ли было вручить всю государственную власть женщинам, если мужчины так плохо управляются с нею?

Но тут вспомнили, что при Елизавете и при Екатерине тоже войны были великие, что порядка и при них не хватало сильно, что Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна были злее Грозного, а Иван Иванович указал, что в елизаветинское царствование ежегодно одна четверть государственной казны разворовывалась, и это было как бы даже законом российским.

Дерябин постучал пальцем по столу:

— Ближе к делу, товарищи Комиссия! И вот еще что: я не сильно-то доволен тобою, поручик Смирновский, за твои нонешние необдуманные слова! И все мы должны быть недовольные ими! Все!

— Что такое?

— Ну, ты узнал о моей ударной группе в шесть человек — честь тебе и хвала, и тут проявился твой военный глаз! Ладно! Но зачем же при всех-то, при Игнашке хотя бы Игнатове, объявлять об этом? Зачем?

— Он тоже член Комиссии! Вы же его не выгоняете прочь, он заседает и голосует? Значит, вы ему доверяете?

— Доверие доверию рознь! — И Дерябин хотел еще что-то объяснить поручику, но его перебил Саморуков:

— Ты бы назвал поименно ударную-то свою шестерочку, начальник охраны? Нам их как-никак, а должно знать! Шестерых девок святых полувятских, дак помним всех, и энту шестерочку тоже надобно держать в своем в уме?! А?

Дерябин замялся.

Смирновский, подождав, сказал:

— Неохота тебе говорить, Дерябин? Ну, не говори, ладно. Подумать, так ничего ведь от этого не меняется, кто в шестерку входит! К тому же я ее почти знаю! Ну в одном человеке могу ошибиться, в одном, не более!

Спустя немного вернулся запыхавшийся, очень довольный Игнашка, полушубок сбросил в кухне, шапку снова принес в горницу и повесил над собою на гвоздь в оконном карнизе, сообщил:

— Устинова Николы как не было с леса, так и нету! Говорил же я — нету его! А хозяйка наша, Зинаида, та в гости к Устиновой к Домне пошла! Сам видел, своими

глазами, уходя: обои зашли к им, в избу! Вот уже верно што, вот женский вопрос, дак женский! Хи-хи!

Игнашкино сообщение, должно быть, действительно смутило Комиссию, хотя никто и не подал вида.

Калашников сказал:

— Верно, что ли? Передать бы наши все дела, ну и, само собою, распри тоже, в женские руки? В Зинаидины вот и передать? Я пожизненно дивлюсь — как это она своими руками избу дёржит? В какой-такой немыслимой чистоте? Вы глядите хотя бы вот на этот один цветошный листочек? Вот он — сияет от черенка до наконечника и радуется бесконечно такому существованию! Ведь это надо же уметь?

Члены Комиссии поглядели на занавесочки, на комод, на семейные карточки между окнами, на часы-ходики, на все то, что видели уже множество раз, и опять удивились сиянию всех предметов и всей горницы, тусклому, потому что сумрачно уже было, но все-таки сиянию, а Калашников и еще сказал:

— Мы вот, мужичье, сколь топчемся тут, ранней осенью начали и по сю пору никак не кончим. Окурки кажный божий день, а то и по ночам в цветошные горшки втыкаем, а все одно — не смогли сделать Зинаиде Павловне беспорядку! Вот руки, дак уж руки!

— Да-а-а...— вздохнул протяжно Игнашка.— Действительно, в энти бы угадать руки! Да хотя бы только чуть повыше ихнего локоточка!

— Игнашка!— сердито оборвал его Калашников.— Срамник ты, в самом-то деле, либо кто? Да и Кирилл вон дома — услышит! Неудобство же!

— А што такого? Сами же вон об чем говорите — об женском вопросе! А я дак тольки чуток, и уже неладно, и уже — срамник! Несправедливо же энто!

И тут члены Комиссии снова подобрели друг к другу, не стало ни у кого в глазах зла. Иван Иванович Саморуков и тот, хотя по возрасту и глядел не слишком участно, зато — понимающе.

Даже Дерябин улыбнулся тонкими своими губами, прикрыл глаза и сказал:

— А ведь верно! На фронте, бывало, приснится солдатику, будто на жениной руке поночевал, и уже счастье! Он об этом счастье после дружку своему, когда оне из котелка вдвоем хлебают ложками, потихоньку рассказывает... У вас, у офицерства, поручик, не так же ли бывает?

— У всех так же!— кивнул Смирновский.— Даже удивительно, что у всех!

Как раз в этот момент Саморуков глянул в дворовое, запотевшее от непогоды окно и с удивлением, даже с испугом каким-то сказал:

— Зинаида-то, хозяйка-то запрягает кудай-то? Запрягла уже. И вроде одна в нонешнюю непогодь?!

К окну тотчас прильнул Игнашка и тоже сообщил:

— Устиновский кобель рядом с ей зачем-то?.. И торопятся обои!

Иван Иванович встал, открыл дверь в кухню, спросил:

— Кирилла? Ты дома?

— Я дома, Иван Иванович!— быстро, но тихо и как-то неуверенно отозвался Кирилл. Он только что вошел в дом со двора, но как будто и сам не знал — дома он или нет.— Пошто спрашиваете?

— Бабу-то куды послал? Погода хужее худой?

— А она сама, Иван Иванович. И даже не сказалась куда-зачем.

— Может, сурьезное што? Когда сурьезное — позвала бы вот мужиков комиссионных помочь ей?!

— Да уехала она уже — слышите?

Верно: скрип тугих полозьев доносился со двора и нетерпеливый собачий лай.

Иван Иванович почесал свое низкое плечо:

— И ворота не закрыла за собой. Не закрыла ведь? А от тебя не пахнет ли чем, Кирилла? Самогоном не разит ли?

— Ну, самую што малость, Иван Иванович. Воскресенье же...— еще тише отозвался Кирилл и отошел в дальний угол кухни.

Иван Иванович неопределенно пожевал губами, вернулся на свое место в горнице. Сказал:

— Мужики! Вы сколь уже заседаете в Кирилловой избе — без конца, без края! А как-то слишком не видно в ей хозяина. Вроде тень его заметная, а самого нет... Энто, скажу я вам, нехорошо!

— Ну и что?— пожал плечами Дерябин.— Он, Кирилл, наперед всего на свете деревом занимается. Столярством. Мы его в охрану лесную утвердили, а он шага туда одного не сделал — настолько сильно занятый своим делом. Пусть его, когда так!

— Чем бы ни был он занятый, но живой он? А тогда почто от его одна лишь тень? От живого?

Дерябин усмехнулся, громко спросил в кухню:

— Кирилл! Слышишь — нет, как тут об тебе говорится?

— Слышу...— отозвался тихий Кириллов голос.— Как, поди, не слышать...

— Правду об тебе говорит гражданин Саморуков? Либо нет? Будто ты — тень?

— Не знаю я... Я знаю, Иван Иванович, оне завсегда правду говорят. Сколь я их помню — завсегда...

Настала в избе тишина, некоторое смущение, Иван Иванович, побольше других смутившись, сказал:

— Ты тоже выразишься, Кирилл! Да уж я ли на своем веку не врал? И не брехал! Боже ты мой, сколь приходилось энтим-то заниматься?! Ну ладно: мы с тобою еще один на один разговор поимеем, Кирилл!

Дела в Комиссии как будто были окончены, Калашников, поворочавшись нескладным туловищем на стуле, попыхтел и сказал:

— Самого-то Устинова нету, в лесу он, а собака здесь его! Вроде как бы и неладно?

— А устиновский кобель, Барин энтот, он шибко самостоятельный!— заметил Игнашка.— Он кого любит, дак ладно, а на кого злобу поимеет — управы на его уже нету никакой. Он и по собственному делу вполне может от хозяина оторваться!

— Ну нет — добрый он пес. К хозяину — ласковый...

— Когда как. Помните, мужики, до войны было,— устиновский Барин другому приезжему кобелю всю картину испортил? Неужто забыли?— спросил Игнашка, и хотя случай был давний, мелкий, но все равно почему-то всем припомнился.

До войны за год в Лебяжку приехала дачница с прислугой, с мальчишкой в синем костюмчике, с девчонкой кругом в белых бантиках и с черным-пречерным кобелем по названию Мадрид.

Лебяжинцы дачников не любили и не привечали — чужие люди, болтливые и любопытные. До всего им дело — как мужики едят, как пьют, как отправляют подводу с подарками крестьянскому начальнику, как баб поколачивают, как свадьбы гуляют, как от болезней лечатся — на все они таращат свои шарики.

Лебяжку, деревню дальнюю, бог, в общем-то, от чужих людей миловал. Но та дачница настырная была — Иван Иванович ей объяснял, что для здоровья лучше

в степи жить, она отвечает: Лебяжка деревня очень чистая, красивая, а кумыс ей будет ежедневно привозить из степи киргиз Сулейман — пятнадцать верст ему ничто.

Иван Иванович толкует, что в деревне и хозяев-то таких нету, чтобы пускали на квартиру, а она кажет записочку от большого начальника: «Старосте Саморукову. Устроить-обиходить, за оплатой дело не станет».

У Ивана Ивановича она и устроилась жить, та дачница с прислугой, с мальчишкой, с девчонкой и с черным кобелем. А Ивану Ивановичу ничего не оставалось, как предупредить лебяжинских мужиков, баб и даже ребятишек, чтобы к гостье были вежливы.

Людей-то он предупредил, а собакам разве втолкуешь?

И лебяжинские дворняги, все до одной, возненавидели Мадрида, а пуще всех почему-то устиновский Барин. Пес добрый, обходительный и в ту пору молодой еще, он сам не свой ходил — шерсть дыбом, зубы оскалены, глаза злые. День-деньской на карауле — не отбежит ли со двора Мадрид?

Однако тот Мадрид тоже был не дурак, понял обстановку — из дома никуда, голоса через ограду и то не подает, ни с кем не связывается, не ругается.

И долго он так в осаде был, пока однажды не соблазнился и не ударился по улице за вертлявой пестренькой сучкой. Тут его и взял в оборот Барин. Взял, хотя Мадрид и был на голову повыше его.

Пока подбежали мужики, пока разняли собачью драку, от которой шерсть клочьями летела, визг и рык стояли невероятные, посмотрели, а Мадрид только при одном ухе, другое — напрочь откушено.

Кому от этого выпала очевидная выгода, так это Игнатию Игнатову: он ездил в Крушиху за ветеринаром, еще куда-то за лекарствами, а потом доставлял дачницу, ее прислугу, ее деток и с головой забинтованного Мадрида на станцию железной дороги.

А Мадрид — кобель не простой, он был медальный — имел бляшку на ленточке за свою породу и за внешность и должен был получить еще одну, но без уха почет, слава и медали, конечно, его судьбе уже не улыбались, и вот он раньше срока в инвалидном состоянии отбывал из Лебяжки. И хозяйка его тоже отбывала вся в горючих слезах, несчастная и похудевшая, и прислуга, и детки, один только Игнатий Игнатов был счастлив

и доволен: происшествие доставило ему сорок два рубля сорок две копейки.

Нынче Калашников выразил сомнение: так ли было все ж таки дело? Уж очень большая сумма!

Игнашка стал божиться, бить себя в грудь.

— Да с чего бы это мне, товарищ председатель Комиссии, врать-то? Какой особый расчет? И тогда, и поныне точно называю цифру — сорок две рубли сорок две копейки!

— Ведь золотые деньги-то были в ту пору! — вздохнул Саморуков.— Поехал вот на станцию, отдал в банк бумажки, а золото взял и вот сюда положил! — Иван Иванович похлопал себя по карману пиджачишка.— Вот как было! Сорок две рубли золотом за собачье ухо?! А тогда весь-то кобель во сколь же ценился? Ты не догадался, Игнатий, тот раз поменять бумажки-то на золото, да и приберечь их по сю пору!

— Не догадался! — всерьез признался Игнатий.— Я, Иван Иванович, правда что дураком был тогда! Ей-богу!

— Государство, когда оно с золотом — оно крепкое! — заметил Смирновский.— И каждый гражданин в нем чувствует себя тоже крепким — заработал рубль и знает, что никакие потрясения у него рубля этого не отнимут, он его на деньги любого государства всегда обменяет. Старатель нашел слиток или кто-то решился продать золотую вещь, так пошел, отдал ее в казну и получил по весу бумажными рублями. Вот это — твердые деньги!

— И казна-то в обмен на рубли принимала не менее четверти фунта золота! — вспомнил Саморуков.— С меньшей суммой ей возиться недосуг было!

— Действительно! — удивился Калашников.— Так и было: дают тебе на базаре золотой, а ты спрашиваешь бумажкой — ее хотя в картуз, в подклад положи, хотя в кошель — тоже карман не тянет. Вот и считалось, что с бумажкой удобнée! Это же сорок два рубля золотые — скольких бы нынче тысяч стоили? Хотя царских, хотя временных керенок, хотя советских, хотя колчаковок? Уму непостижимо!

Все примолкли, на разные лады подсчитывая сумму, а Смирновский вдруг улыбнулся и спросил у Ивана Ивановича:

— Нет, все-таки: что их мир-то не взял тот раз — Барина с Мадридом?

— Ну, Родион Гаврилович, энто уж ихнее собачье дело!— развел руками Саморуков.

— Пустяком обошлась кобелишняя злоба — ухом одним, хотя бы и золотым!— вздохнул Калашников.— Пустяком!

— Оно бы так не обошлось, да было кому их разнять,— усмехнулся Дерябин, а Калашников раздумчиво так вспомнил:

— А ведь барынька-то, городская-то, не столь уж по Мадриду убивалась. Она по другой вовсе причине убивалась. Сурьезно. По-человечески!

— Ну-ну? — поинтересовался Дерябин.

— Она почему не поехала в степь-то, в кибитку в киргизскую, а стала у нас в Лебяжке дачничать? Другим же господам даже нравилось в кибитках, оне велят поставить новенькую-чистенькую и живут себе лето, наслаждаются кумысом и воздухом. Но той нельзя было этого. Невозможно: у ее возлюбленный был в Сулеймановском-то стане, тоже на кумысе. И вот она от его так и держалась — не слишком далеко, но и вблизи им тоже нельзя было показывать, что знакомые оне, да и не просто так знакомые-то! Нельзя, хоть убейся! И Сулейман ей вовсе не одне только четверти с кумысом доставлял, но и записочки возлюбленные от его. Каждодневные. Он студентом был, ее-то красавец, учился на доктура и вот, через учебу, сошел с круга, истощился, прихватил смертельной чахотки. И в ту пору, как Барин оторвал Мадриду ухо, у студента тоже кровь пролилась горлом, и, кровяного с ног до головы, Сулейман помчал его на станцию. Не сам и помчал, брата своего послал. Но студент все одно не доехал живым. Помер.

— Ну а чего это на кумысы-то он поехал в таком предсмертном виде? В степь, да и далеко так?— спросил Дерябин.

— Так в том-то все и дело, что не на кумысы и не лечиться поехал он! Он же с возлюбленной со своей поехал таким вот образом прощаться. Навсегда. Навеки... Высокий был такой, борода темная и, видать, красавец, пока не сделался чахотошным.

— Тут заплачешь...— не то фыркнул, а не то и всхлипнул Игнашка.— Ишшо как!

— Конечно!— согласно кивнул Калашников.— Она думала, поди-ка, не надо было ей на такое свидание-прощание соглашаться! Она, поди-ка, думала: вот согласилась, вот он через это, через меня, и сгинул ранее

собственного срока?! Да мало ли как она в тот день думала?

— А встречались оне все ж таки между собою? В Лебяжке, у ее, либо у его в кибитке?— и еще интересовался Дерябин.

— Разá два или три. Не в Лебяжке, и не в кибитке, а посреди было у их место, в Белом Бору. Поблизости Гришки Сухих заимки. Гришка только-только тогда отстроился, а сараюшка была у его лесная на делянке, от заимки — верста, там оне и встречались.

— Значит, радость все ж таки была у их?

— Ну, какие радости, когда обоим известно, что все — последнее! И вздох, и взгляд, и слово — все последнее, да и только, хоть убейся!

— Он, поди-ка, еще и сторонился ее-то? Красавец чахотошный! Боялся заразить? Или, наоборот, она его сторонилась?

— Кто их знает... Только она навряд ли боялась! Когда бы боялась — не поехала бы из города след за им тайно, да с двумя собственными детками.

— Детей пуще всего матери жалко. Это так.

— Но это ведь как у женщины случается? Это у ее случается выше всякой жалости...

Дерябин подумал, пожевал губами, еще спросил:

— Тебе-то, Калашников, откудова известно все? До тонкостей?

— От Сулеймана знаю. Да вот Иван Ивановичу тоже, поди-ко, известно кое-что? Так?

Иван Иванович слегка наклонил седую, редковолосую голову и, все еще пристально глядя в мокрое и пасмурное окно, негромко отозвался:

— Так...

— Знали сколь годов, а молчали обои! Тоже мне — тайны-заговоры!— усмехнулся Дерябин.— Еще и барские тайны-то! Ну ладно — по домам! Подписали Обращение, Устинов Никола вернется с леса — подпишется тоже, вывесим тогда бумаги на самых видных местах. А покуда — расходимся. Мы нынче, правда что, от серьезного на сплошной женский вопрос все время сбиваемся!

Зинаида понукала пегую кобылешку, хлестала ее, мокрую, мокрым кнутом, а что сама была промокшая до костей — этого не замечала.

Темнело. Почти совсем уже было темно.

Сани тяжко шли по взмокшему снегу, переваливаясь через кочки необъезженной и ненакатанной, едва видимой дороги.

Барин тоже был чуть виден то прозрачной тенью, то густо-черным круглым бесом с искрой в глазах. Иногда он исчезал совсем, только лай слышался, визг и скулеж, которым он умолял Зинаиду торопиться не то к жизни, не то к смерти хозяина своего, Николая Устинова.

Барин исходил в своей собачьей молитве, Зинаида — в страхе и в предчувствиях...

Приподнявшуюся в степной стороне луну тотчас застили мутные тучи.

Около самого леса, под одиночным деревом, кажется, угадала Зинаида верховых. Двое, показалось, было их.

Она встала в санях и громко, надсадно крикнула:

— Григорий?! Сухих? Ты, что ли, сделал, подлая душа? Проклятие тебе!

Но тени исчезли, и Зинаида засомневалась: было или нет? Кого проклянула она? Вот и Барин пробежал это место, не задержавшись, ни на кого не залаяв, так же, как до сих пор весь этот страшный путь бежал — все вперед и вперед, завывая, захлебываясь и стеная в молитве о спасении, которую он выливал собачьему богу.

Но и другое Зинаида тоже знала: все, что с Устиновым нынче случилось, сделано людьми. Бог сам по себе, без людей, не сделал бы этого!

И не напрасно она Устинова умоляла: «Уйдем, убежим, спасемся двое от людей! Не сегодня, так завтра сотворят они тебе несчастье!»

Ну, вот оно — то самое завтра! Настало! Опрокинулось на сегодня сквозь темное, в клочки изорванное небо!

Лицо Устинова показалось Зинаиде белым ликом, белее снега, и только когда он спросил: «А кто тут?», она поверила, что он жив. Он еще спросил:

— Конь-то какой у меня? Моркошка? Неужто, правда, мертвый?! Моркошечка!..

— Он — мертвый!— приложив руку к отвислым и похолодевшим губам коня, ответила Зинаида. И заплакала: не знала, будет, нет ли жить Устинов. Голос у него был слабый, нежилой и раздавался будто с того света.— Как тебя убивали-то, Никола?! И за что?

— Кабы знать...

Устинов пошарил, взял руку Зинаиды, навел ее на холодный, на острый бороний зуб.

Она спросила:

— Да што же тут? Што? — А догадавшись, отдернула руку, словно от горячего, провела ею по лицу.— Нечеловечески удумано! Боже ты мой — нечеловечески-то как! Гадами сделано! Гадами, более — никем! — С трудом приподняла холодеющего Моркошку. Вынула изпод него устиновскую ногу, потащила Устинова волоком.

Он же, будто только сейчас заметив ее, удивился:

— Зинаида? Откуда взялась-то? — Она не ответила, Устинов повторил: — Откуда взялась-то? Удивительно мне...

— Удивительно ему! Не должна я здесь быть, да? Другая заместо меня должна быть, да? Но нету ее, Никола! Нету и никогда, запомни это, и не было бы ее здесь! Запомни, Никола!

— А Моркошка? — еще слабее спросил Устинов.— Неужто бросим его?

— Он холодный!

— И я тоже холодный! Вовсе!

— И врешь! И не вовсе! Холодных я бы обоих оставила вас. Оставила бы здесь и сама бы захолодела с вами вместе! А хотя капелькой одной теплого я тебя возьму! Себе возьму! Никому не отдам!..— И она уронила его в сани и крикнула кобыленке: — Да тяни ты, тяни! Живая ведь — тяни!

Взвыл Барин — он тоже не хотел Моркошку одного оставить. Он лизал его в морду, падая наземь. Не хотел верить, будто поднять Моркошку на ноги нельзя, уже поздно поднимать его.

— Спина-то целая у тебя, Никола? — спрашивала Зинаида, нахлестывая кобылку...

— Целая...

— Брюхо?

— Целое тоже...

— Ноги, значит?

— Правая. Повыше колена. А куда повезешь-то меня, Зинаида?

— А мало вывихнуло тебя, Устинов! — зло ответила она.— Мало и мало сделали тебе люди! Надо бы язык тебе вырвать! Тоже на железный зуб надеть его!

— Ты, Зинка, в уме ли? Почто так?

— Чтобы не спрашивал — куда повезу! Чтобы молчал, куда бы ни повезла! Чтобы молча лежал бы нонче в моей избе, в моей же постельке! Буду я раненого обихаживать, сестричка милосердия! Вот как буду я делать нонче, потому что пора уже делать так! Не делала, опоздала, вот и надели тебя на зубья железные!

— Ты правду, Зинаида?!

— Поигрались мы без правды-то! В игралку невзаправдашнюю: этого мне нельзя, другого мне с тобой — нельзя, ничего нельзя! Хватит обмана! Настало время — к себе везу. Свое везу, не чужое! Спросит кто, скажу: свое подобрала в лесу, свое с бороны сняла. Свое предупреждала я, чтобы береглось оно людей, уходило бы от их прочь! За своим за человеком сколь годов след в след я шла, одна шла одинешенька, никого больше не нашлось идти, а тогда чей же он нынче — человек-то?! И кажный меня поймет! Кажный, у кого душа! Ты один только и не поймешь, так я тебя и спрашивать не буду! Один ты такой беспонятливый, беспамятливый, бессердешный, но уж в этот-то раз я на тебя не погляжу, не послушаюсь, не-ет! Все! Нонче я — сестричка милосердия, вот кто я! Сколь захочу, столь буду над тобою милосердствовать!

— Слушай, как я скажу тебе, Зинаида...

— Хватит! Наслушалась! Наперед, на сколь уже лет про твои «нельзя» все мною услышано! Хватит и хватит мне, сестричке милосердия!

Так они ехали, мотаясь по необъезженным кочкам, то в полной тьме, то при неярком свете робкой луны, а потом Барин залаял и бросился вперед.

Устинов охнул и сказал:

— На Соловке едут, Зинаида. По голосу Барина слышу — на Соловке!

Зинаида остановила кобылку, и тут они замолкли. И Барин где-то там, впереди, тоже заглох.

Устинов подумал: «Домна?» Но не поверилось ему, будто это она.

И Зинаиде тоже припомнилась Домнина барчатка-барнаулка с оторочкой по воротнику, по рукавам, пушистая оренбургская шаль припомнилась, спокойное, с голубыми глазами навыкате лицо. Она тоже подумала: «Не она ли?.. Не может быть!»

Так ждали они молча — кто же к ним подъедет?

Подъехал Шурка. Остановил Соловка за сажень, спросил:

— Кто там! Свои ли?

Первым гавкнул Барин: «Да ты что, Шурка? Не признаешь хозяина? Да ты что это, Шурка?»

Но Устинов молчал. И Зинаида молчала.

— Кто? — крикнул Шурка еще громче и тревожнее.

— Я это! — ответил наконец Устинов.

— Дак пошто же вы молчите-то, батя, когда спрашивают вас? — Устинов и еще промолчал, а Шурка спросил: — С кем же это вы есть? — Подстегнул Соловка, подъехал близь, узнал: — Ты, Зинаида Пална? Значит, ты? Откудова же ты батю везешь? С какого места?

— Из беды везу я его.

— Из какой? А Моркошка где же, батя?

— Гибель ему пришла... Окончательная. И я-то сам ранен сильно... Тебя кто послал за мною?

— Ксенька послала меня, батя. У Мишки у Горячкина опознала она меня. Я к Мишке на миг с Крушихинского базара только и своротил, а она — тут как тут. Да мы, батя, с Мишкой с Горячкиным и не пили вовсе. И в карты не играли. Мы сурьезно с им беседовали.

— Ты трезвый, Шурка?

— Хоть сейчас дыхну, батя! Я с Мишкой — ни вот столечко! С базара могло остаться в дыхании. Вы-то, батя, в каких санях далее поедете? В энтих? Либо в своих? Ну? Пошто же вы молчите? Либо мутит вас?

— В своих...

Шурка торопливо кинулся перетаскивать тестя. Он тащил его неловко, мимо Зинаиды и через ее колени, а та сидела молча, и сначала ни слова не говорила, и ни одного движения не было у нее, а потом она стала у кого-то спрашивать:

— А как же я? А как же я? Как же я-то?

Устинов простонал — засаднило у него в ноге. Шурка спросил: «И кровь, однако, из вас, батя?» — Зинаида все спрашивала: «Как же я-то?»

Наконец Устинов оказался в Шуркиных санях весь — с руками-ногами. Шурка расправил его, скрюченного, по соломе, развернул Соловного в обратную сторону и удивленно спросил:

— Ты, Зинаида Пална, почто все о себе-то? Как ты да как ты? Заладила свой вопрос, и ничего более! Женский вопрос-то! Бабий!

И Шурка с сердцем стегнул Соловка, погнал его, нерасторопного, к дому.

Глава пятнадцатая

СКАЗКА ПРО ДЕВКУ НАТАЛЬЮ, ПРО ПАРНЯ СЕМУ-ШМЕЛЯ

А еще жила-была в Лебяжке сказка про девку Наталью.

Наталья эта заморышем росла, от горшка два вершка, не более того.

На нее никто и не глядел сроду, ни один парень, так она сама сказала: «Пойду взамуж! Хоть тут што! Все идут, и я пойду!»

Ей говорят: «Ладно уж, сиди уж век свой в девках! С тебя не спросится, тебе не припомнится, это от бога тебе написано!»

Она: «Нет, пойду! А не выдадите меня, не сможете — я удавлюся на веревочке! И другим нашим девкам дорожку перебегу, свадьбы попорчу! Все кержацкие парни от наших девок отшатнутся, когда середь их висельницы водятся!»

Вот зараза так зараза девка эта была, Наталья!

Думали-думали полувятские — как и что им со своей с замухрышкой делать, как быть, и — надо же! — придумали.

А когда так, слышат однажды на кержацкой-то стороне с утра раннего: полувятские за бугром галдят. Шум у них там и звон, в дуду и в струну играется, и песни бесперечь поются.

Што тако?

Уже за полдень кержак один вернулся с лесу — он в бору лесину рубил, говорит своим: «Знаю, што там у их происходится! Весть от человека ихнего получил. И сам собою, ехал мимо с лесиной, тоже краюшком глаза заприметил...»

«А што тако?»

«Оне там девку одну навеличиваюты!»

«Девку?!»

«Ее!»

«Да с ума они посходили, нехристи?! Из-за девки эдакий шум на весь мир? Взамуж выдают, что ли, ее?»

«Не выдають, а просто так. Именины ей правять. Три дни будут править их. Может, и больше!»

«Боже ты мой! — крестятся староверы двумя перстами. — Истинные нехристи тот полувятский народ! Да

ежели из-за кажной девки-именинницы столь делается шуму, дак и молиться-то когда? И робить когда же?»

«Да у их не из-за каждой деется так. У их из-за одной только это происходится, из-за особой! Натальей зовуть!»

А пойти поглядеть все ж таки охота кержакам на ту, на шумную сторону.

Пошли.

Глядят.

А там, правда што, девка стоит в круге, от горшка два вершка и убрана в ленты шелковые вся, а мужики, бабы, ребятишки и даже, сказать, попишка ихний, полуватский, девку славят, целуют и обнимают, на руках по кругу носят, подымают.

Вот диво так диво!

Тут одному кержацкому парню — Семой звали, Семка, прозвище — Шмель,— гудел он сильно в нос, в правую ноздрю,— вот ему и стало шибко интересно.

«Пошто же у вас обычай такой: без свадьбы, а просто так девок столь велико славить?!» — спрашивает он.

— А это не обычай у нас! Это, говорим же вам, бестолковым кержакам, никого не касается, ни для кого не деется, как только для одной Наташеньки милой нашей!»

«Да пошто же для ее-то для одной?»

«Она у нас раскрасавица! Распригляднал, расдушенька, свет-девонька!»

Вот те на!

Поглядывает Сема-Шмель сверху вниз, сперва издаля, после — близко, где же она, та самая красота-красотища? Не видать ее ничуть ему!

Другой день — обратно шум на той же полувятской стороне. Дуда еще громче, струна еще пуще, песни гуще!

«Пойду ишшо! — думает Сема-Шмель.— Не углядел я в прошлый раз красоту-красотищу, не иначе — худо глядел. Нонче буду глядеть в оба!»

Приходит.

Спрашивает:

«Ну а што же тако у вас, у полувятских, получится, когда взамуж станете ту девку выдавать? Какой же ишшо шум и галдеж?»

«А взамуж мы ее, нашу Натальюшку-свет-росиночку, никому не выдадим! Сами будем ей вот этак же

каждый год в ножки кланяться, любоваться ею, распригляднои душенькой!»

Обратно — вот те на!

Ну и ну!

«А когда бы я — Сема-Шмель, парень хоть куды, в правую ноздрю гужу,— позвал бы девку за себя? И тогда не отдали бы?»

«Дак и не думай даже! Вот шестеро у нас девок-невест — пятерых кто хотите берите, шестую оставляем за собой! Шестую пальчиком тронуть никому не дадено!»

И вот уже третий день идет гулянка вокруг девки Натальи, от горшка два вершка.

Уже и дуда хрипит, и струна с устали скрипит, и попишка полувятский на ногах едва стоит — именины идут своим чередом да ладом.

Тут-то и углядел Сема-Шмель девки Натальи красотищу!

Што станешь делать?

Он, Сема, сделал так: схватил из круга девку и ну бежать с ей, и ну бежать. Она легка ему в руках-то была, он быстро мчался, все полувятские его догоняли, ни один не догнал.

После всею-то свою жизнь Сема хвастался, в правую ноздрю гудел:

«Все женились как женились, а я свою милую посередь дня с кругу украл! Убегом взял! Вот я какой!»

Вот как было, как случилось.

С той поры в Лебяжке фамилия Шмелевых тоже водилась.

«А вот бы в сказке пожить бы сколько-то? Хорошо, поди-ка?!» — подумал Устинов, лежа в постели, только что проснувшись.

Сказку рассказывала в горнице Домна старшей внучке Наташке, Ксенькиной дочери.

И эта Наташка с интересом слушала про ту Наташку-невесту, не все понимала, зато всему радовалась:

— Бабаня, скажи еще? Как было-то, бабаня, где Шмель-то Сема побежал? А сильно догоняли-то его?

— Сильно догоняли Шмеля, но не догнали никак! — подтверждала Домна, и что-то было нынче в ее голосе, что Устинов прежде будто бы и не замечал. Не совсем ему известное, а может быть, забытое.

Это, припомнилось ему, бывало с ним, но только давно уже, в молодости, когда что-то еще и еще незна-

комое и неизвестное он вдруг замечал в жене своей Домне. То в голосе ее, то в походке, то во взгляде. Но слишком уж много прошло времени с той поры их начальной супружеской жизни, чтобы такая же неизвестность являлась снова.

«Может, это обида в Домне слышится?— подумал Устинов.— Обида, что Зинка Панкратова отыскала меня в лесу, сняла с бороны? Зинка, а не она сама?» — подумалось Устинову.

Однако не обидчиво, а скорее с лаской произносилась Домной сказочка. «Тогда, может быть, Домна радуется, что мужик у нее живой остался?»

Опять не то... Не радость была в ее голосе, а что-то другое.

«А ну их к черту, баб этих!— рассердился Устинов.— Начнешь их угадывать — после и сам голову потеряешь, заблудишься!» И он осторожно вытянулся в кровати и обратился к самому себе, только себя начал слушать и понимать.

Вытянув раненую ногу, он пошевелил на ней пальцами, потом согнул, потом разогнул в колене и тут догадался, каким он проснулся нынче: выздоровевшим!

А то он испугался, что охромеет. Глупо! С войны вернулся целым, а из Белого Бора — дырявым!

Правда, на войне, помимо контузии, один раз его тоже продырявили. Штыком. И тоже очень глупо.

Выбросили австрияки белый флаг из окопа, взвод, в котором воевал Устинов, спокойненько подошел к этому окопу, и вдруг — р-раз!— черняВенький такой австрияк, молоденький, штыком Устинова в руку! Это он с испуга, зажмурившись и дрожа как осиновый лист.

Устинов, не раздумывая, тоже штыком — напрямую! Но в последний какой-то неуловимый момент вильнул винтовкой в сторону, оставил черняВенького жить. Только плюнул в него и всячески отматерил.

Где-то нынче он, тот чудом спасенный австрияк? Поди-ка, здоров-здоровешенек, а вот Устинов ни с того ни с сего снова ранен! А если уж кому опять быть раненым, то, по справедливости, конечно, австрияку! Не Устинову же?!

Хотя и с запозданием, но справедливость откликнулась: нога была уже своя, слушалась хозяина.

Домна в лечебных припарках и травках имела толк. Посторонних не лечила, а касалось дело своих, домашних, тотчас шла в амбарушку, у нее там угол один заве-

шен был пучками разных трав, листочков, корешков, она брала пучки эти в руки, ощупывала их, обнюхивала, пробовала на зубок, разглядывала на свет, приносила в дом и запаривала. После пользовала ими больного.

Нутряные болезни, правда, не очень-то ей давались, а вот синяки разные, ушибы, раны, коросты и нарывы, а еще ревматизм, хотя скотский, а хотя и человечий,— это все было ей с руки, с этим она управляться знала как. Сама никогда не болела, и постороннего пятнышка к белой ее коже не прилипало ни одного за всю жизнь, может, поэтому выводилась всякая такая нечисть из других с легкой Домниной руки.

Вот и кобыле Груне нынче лечила левую переднюю и мужику своему — правую. Мужик против Груни выходил податливее, хотя еще и не так-то легко ему было ногой ворочать справа налево, пяткой внутрь и пяткой вбок, но это не имело серьезного значения: все равно пятками вбок никто не ходит. А в обычной позиции — пальцами вперед, пяткой назад — нога не жаловалась, если в ней еще и саднило, так она сама этого стеснялась.

Так и должно быть: мужицкая же нога и солдатская, пашни отмеряла, походов отшагала многие тыщи верст, ко всему привыкла. Ей долго болеть не полагается. Ей одно из двух — либо совсем пропадать, меняться на деревянную, либо быть здоровой. Вот она и желает быть здоровой.

И Устинов, похвалив свою мужицкую ногу, не забыл и себя, мужика. Воспрял духом, покряхтел, попыхтел и оделся.

Вышел в горницу. Сказал Домне, которая никак не ожидала увидеть мужа на своих двоих, принести ему палку-костыль. Он вспомнил, что такого рода палочка, оставшись от деда Егория, висела на гвозде в дальней кладовке, терпеливо дожидалась своего срока — понадобиться кому-нибудь. Хорошая была палочка, крепкая, обхоженная, и вот понадобилась.

Домна все еще отнекивалась от Наташки, которая упрашивала бабку пересказать, как Сема-Шмель украл невесту, как его догоняли, да не догнали. Накручивая ручку старенького «зингера», Домна отвечала Наташке: «Отстань, михрютка!»

Значит, разжилась где-то нитками, а то все жаловалась, что «зингер» есть, и даже матерьял кое-какой имеется, а ниток подходящих — одного юрка нету.

Машина под рукою Домны тележно стукнула еще раз-другой и замолкла: Домна, едва начав крутить ручкой, оставила ее, пошла в кладовую. За палочкой.

На ходу обернулась, сказала Устинову:

— Ты бы, Николай Левонтьевич, полежал в кровати еще сколько-то! Куда тебе торопиться?

Устинов снова заметил в голосе ее звучание, которого не было прежде, но ему было уже не до этого: он встал, стоял и даже ходил на двух, и к нему тут же со всех сторон прибились дела-заботы. Прежде всего он огляделся вокруг.

Картина в горнице обыкновенная...

Наташка игралась с тряпичной куклой, Шурка, отец ее, тоже играл — закусив на левую сторону язык, старательно вырезывал по дощечке шашечные клетки. На истинной работе забот Шурке нет, не было и не может быть, там он язык не закусит никогда, зато в несерьезном, в игровом каком-нибудь деле бóльшего старателя трудно найти.

Средний мальчонка, Шурка-младший, сидел под столом и кукарекал оттуда. Самого же меньшего — Егорку — Ксения купала в корыте, а тот, розовенький весь, не то смеялся, не то бунтовал, бил руками-ногами, и брызги летели из-под него, словно из-под весеннего воробьишки, когда тот в самой первой лужице барахтается. Мать уже измучилась с ним, вымокла вся, растрепалась, а Егорка все бил да бил ее пятками в грудь, будто, отталкиваясь от нее, хотел уплыть в какой-нибудь край света.

Все жались к огоньку сальной свечки, которая в блюдечке прилажена была на задвижку печи-голландки. Кто как мог, так и жил на этом тускленьком сиянии.

— Шурка?! — спросил Устинов. — Ты мой наказ выполнил? Либо нет?

— Насчет чего это вы, батя? — будто бы удивился Шурка вопросу и глубже врезался чьим-то чужим сапожным ножиком в широкую квадратную доску.

— А то не знаешь? О Моркошке тебя спрашивают!

Устинов, как только привезли его, раненого, домой, наказывал Шурке нанять в помощники кого-нибудь за два и даже за три пуда зерна и выкопать на скотском кладбище могилу, похоронить в ней верного друга Моркошку.

Однако нынче, поглядев на Шурку, Устинов засомневался: три, а то и четыре пуда этот веселый малый

запросто мог загнать кому-нибудь из самогонщиков, а Моркошку бросить в открытом поле на растерзание лисицам и волкам... И волки, может быть, как раз сию минуту уже обгрызали последнюю Моркошкину косточку и теперь страшно щерятся друг на дружку желтыми клыками.

— Нет, я, как вы сказали, так и сделал, батя!— заверил Устинова Шурка.— Только за три пуда никто в помочь не пошел. Народ, он ведь нонче, сами знаете, батя, какой. Так и пришлось четыре пуда посулить и отдать! Хошь не хошь — четыре отдал!

— Побожись-ка?

— Ей-богу, батя! Да неужто вы мне не верите?!

— С тебя много не возьмешь, не спросишь. Хотя и с твоей божбы.

Шурка как бы обиделся и, сделавшись еще старательнее к своим трудам, не сразу заметил:

— Вы, батя, завсегда так: вовсе не об том спрашиваете, об чем надобно спросить.

— Ну-ну?!— тревожно обернулся к зятю Устинов. Он вспомнил, что, покуда болел и лежал в кровати, ему непрерывно мнилось, будто его рана — вовсе не последняя беда и забота, может, даже, и не главная, а главная подойдет вот-вот, как только он встанет на ноги.— Ну-ну? Об чем это ты?

Ксения приутихла у корыта, Наташка спрятала куклу в подол своего платьишка, а Шурка, сощурившись левым глазом, уставился на тестя правым, язык убрал внутрь и стал медленно поглаживать себя по шее. Прикидывал — справится ли его глотка с тем самым сообщением, которое он собирается выпустить через нее наружу.

— Об чем ты?— снова спросил Устинов.

— Я об мерине бывшем куприяновском и кругловском, батя!

— А с ним что и как? Приключилось как-нибудь? Да?

— Вот как, батя: увел его Прокопий Круглов. Обратно на ограду свою увел. Позапозавчерась было!

— Немыслимо!— закричал Устинов и в чем был бросился на улицу, на мороз, а Домна вслед за ним выбежала из кладовой:

— Да подожди ты минуту, Никола! Да сейчас же я тебе палку твою подам! Да и шапку-то на голову накинь! Хотя бы!

Мороз был крепенький, туманилось на улице, время стояло еще не вечернее, но слегка сумеречное, и первое, что Устинову показалось, были мешки, плотно сложенные друг к другу посреди ограды. Те самые мешки, в которых Шурка отвозил зерно Кругловым в счет бывшего куприяновского мерина. Пять полных, пузатых, наполненных зерном под завязки, шестой — порожний наполовину. Собственные устиновские мешки, новые, конопляные, которые он в виде хорошей и благородной придачи отдал Прокопию Круглову.

Но вот как сделал Круглов: мерина забрал обратно и зерно вернул, будто бы и не было между ними, двумя хозяевами, почти что соседями, никакого сговора! Будто и не приводил никогда Устинов бывшего куприяновского мерина в собственную ограду! Будто не шел тот мерин следом за ним в поводу, дыша ему в спину, не шагал своим немыслимо рабочим и пахарским шагом!

Засаднило в ноге, и Устинов опустился на ступеньку крылечка, а Домна нахлобучила ему на голову шапку, сунула в руки палку-костыль деда Егория, а еще сбегала в избу, принесла полушубок.

С крылечка через свой и через соседний огород, вниз по озерному склону виднелись, едва маячили в сумраке вершины столбов — это те самые были столбы, которые артельщики производственной кооперации закапывали в землю, начиная постройку общественного машинного сарая.

Война, отметив артельное дело своим крестом, положила ему конец, но столбы для памяти оставила, и Устинов, глядя на них издалека, вот как сейчас, а особенно глядя иной раз вблизи, неизменно чувствовал их могильность, что-то кладбищенское существовало в них.

А теперь так и по-другому он увидел их — они были словно виселицы.

Ни перекладин, ни веревок, ни саванов, в которых тихо покачиваются после исполнения жестокого приговора висельники, не было на этих столбах, так ведь и надежды, и мечты — тоже невидимы, тоже ни на взгляд, ни на ощупь недоступны...

Вот как выздоровел Николай Устинов! Вот как встал на ноги!

Так встал, будто упал нáземь ничком, будто бы по нему один за другим идут-шагают его бывшие и настоящие кони!

Моркошка идет и коваными копытами жалуется Устинову на Устинова: ни за что ни про что загубил его в лесу на железной бороне этот мужик! Просто так, ни для чего прокатиться поехал в Белый Бор!

Груня подпрыгивает на нем, лежачем Устинове, на трех ногах, жалуется, что окончательно охромела левой передней.

Севки Куприянова мерин, конь-крестьянин, конь-трудовик и пахарь, конь-сказка, а копытами давит Устинова — ох как ладно и крепко: «Непутевый ты мужик, когда упустил меня со своей ограды! Уж я ли не послужил бы тебе верою-правдою, немыслимым старанием? Тебе, и детям, и внукам твоим?»

Соловко топчет хозяина медленно и тяжко, старческим, изработанным шагом. Что ни шаг, то и скрип и стон всех его одряхлевших, изнутри пожелтевших костей...

Лучше и не жалеть в это время дурашливого и глупого мужика, Устинова Николая, которому комиссионные дела оказались важнее своих собственных, крестьянских и хозяйских. Он им изменил, своим-то, теперь расплачивается. Сполна.

Что зять его, Шурка, что сам он — в обеих головах ветер гуляет, одинаково посвистывает!

У одного забота — шашки изладить, после денно ли, нощно ли стукать ими, выходить в дамки, запирать в сортир приятеля, в картишки перекинуться, а то — с Мишкой Горячкиным, лебяжинским сапожником, хорошо напиться, пройти всю деревню из конца в конец, погорланить, погрозить кому-то чем-то и неизвестно за что; у другого — о Лесной Комиссии бог знает зачем и сколько разных забот, планы, да речи, да Обращения, да протоколы, да нескончаемые беседы-собеседования, басни-побасенки, со всех сторон собранные, да разные книжечки, да еще — шалая баба, чужая жена Зинаида Панкратова, вылупившая на него бурые глаза, каждую минуту дня и ночи готовая в охапку его прибрать и убежать с ним хоть куда. Лишь бы убежать!

Людям кажется, будто совсем разные они — Шурка и тесть его, Устинов Николай, что один — и ветрогон, и вертопрах, а другой — добрый хозяин. Однако же это неправда вовсе, а истинную правду знает преотлично тот ветер-свистун, которому в обеих головах — и в Шуркиной молодой, и в устиновской старой — вот как удобно существовать, гулять и разгуливать в полное

свое удовольствие! Во всяком разе итог у них с Шуркой один — разоренное хозяйство. А что еще есть главнее итога?

Подошел Барин, тоже примостился рядом на крылечке, повилял хвостом: «Ну? Что скажешь, хозяин? Признайся: как бы не я, и вовсе пропал бы ты тот раз на бороне в лесу?! Признаешься?»

Устинов не сказал Барину ничего. Ему припомнилась прошлая ночь, он уже выздоравливает, он во сне или в полусне слушает свою ногу, как напоследок саднит она, а еще слышит с улицы лай Барина... И нехороший лай. Тревожный. Похожий на тот, которым Барин заходился, когда Устинов с Моркошкой лежали, нанизанные на борону, а Барин метался по лесной дороге туда-сюда и не хотел бежать в деревню за помощью и не знал, что ему делать, как поступить. «Ну,— подумал Устинов,— все еще мнится мне тот ужасный час. Все еще! Пора бы уже и забыть его!..»

И Устинов протянул руку, не глядя на Барина, потрепал его за ухо: «Ты чего это лаял-то прошлой ночью? Или только послышалось мне?»

«Надо было — вот и лаял!— снова постукал Барин хвостом по примороженному, не чисто обметенному от снега крылечку.— На то я и собака, чтобы лаять!»

— А ты уже старая собака-то!— вздохнул Устинов.— Древний пес! Престарелый! По человеческому обычаю — тебе бы только на печке лежать и скучать. Может, это ты со скуки просто так и лаешь по ночам? На луну и на небо безлунное? И правда: кто-то ведь должен быть виноватым в том, что годы идут, уходят и расходуются, а свеженьких, нерасходованных никак не дождешься? Может, и правда, луна в этом виновата?»— еще подумал он. Ему хотелось на кого-нибудь свалить эту вину.

Потом сильно замерз на холоду глупый этот мужик, Устинов Николай, остудившись, зашевелился, встал и подался к себе в дом обратно.

Но вошел он в дом уже совсем не тем хозяином, которым до нынешнего дня в нем жил; вошел он, измолоченный своими же конями, обидой на самого себя.

Вышел-то на свое крылечко, помнилось ему, мужиком четырехконным, вернулся — об одном коне, а то и вовсе — бесконный: ну какой же нынче работник одряхлевший Соловко?

Как был в полушубке и в шапке, Устинов молча отшагал через горницу, мимо Домны и Шурки, мимо Ксеньки, Егорки и Наташки, а в каморке своей бросил полушубок на кровать и сам повалился сверху.

Захотел сызнова болеть. Ничего не знать, слушать сказочку о Семе-Шмеле, обманутом на всю жизнь, зато счастливом.

Можно было сию минуту схватиться и, опираясь на палку-костыль деда Егория, похромать к Прокопию Круглову. А — зачем? Правоту свою доказывать? Так ее не докажешь, потому что ее нету! Ну, покуражился над ним, над пьяненьким, тоже пьяненький Прокопий, ну вдарили они для смеху по рукам и отвезли с ограды на ограду, туда-сюда, тридцать два пуда пшеницы в новеньких конопляных мешках, ну и что? Смех же все это! Прибаутки!

Умолять Прокопия, опираясь на костыль, объяснять ему свое положение? Не мог этого Устинов, не в его это было силах — жаловаться на свое бессилие! Обещать Прокопию все, что ни захочет, для него сделать? Какие протоколы пишутся в Лесной Комиссии — и об этом тайно говорить ему? Когда будет Круглов пойман на лесной порубке — его защищать, отпускать с миром? Когда отнимет у него Дерябин или Калашников самогонный аппарат — заступаться за него?

Но Устинов и так унизился, когда повел от Прокопия бывшего Севки Куприянова мерина. Сколько мог — унизился, больше мочи у него не было, хоть убей!

Вошла в каморку Домна. Со свечкой вошла, посветила.

— Спишь, Никола? Вот и хорошо!

— Чего хорошего-то?

— А плохого чего?

Свечка освещала Домнино крупное лицо — спокойное, нетревожное. Покуда Устинов жив — она ничего плохого на свете не ждала. Она сказала:

— Эдак ты, Никола Левонтьевич, растревожился! Не надо!

— Не надо?!

— Да ни в коем даже случа́е! Ну, другого купим коня. На хлеб у самогонщиков в степной какой-нибудь деревне выменяем! Станешь без палки, сам по себе ходить,— и выменяешь. И все тут!

— И все тут?

— Само собою!

Устинов приподнялся на локте и вдруг задрожал — резкая дрожь охватила его, тряская.

— Домна! Уйди-ка ты прочь от меня!

Она не поняла:

— Как-как, Николай Левонтьевич?!

— Уйди прочь, сказываю я! Уйди скорее!

Свечка в руке у Домны пошатнулась, лицо скрылось в темноте. Из темноты она еще спросила:

— Почто?

— Уйди!

Она постояла в молчании, коснулась рукою лба Устинова.

— Правда, что горячий ты, однако, по сю пору, Никола! Ну, когда так — лежи спокойно-недвижимо! — Натянула на Устинова полушубок, взяла свечку и ушла.

И в тот самый миг, как Домна ушла, припомнился Устинову один давний-давний случай.

Он даже испугался неожиданности-негаданности, с которой воспоминание пришло, но отогнать его прочь было уже поздно.

Год был, точно, тысяча девятьсот третий, а пашня устиновская была разбросана в нескольких местах: доля отцовского надела, да общество прирезало ему, молодому хозяину, из сельского земельного фонда, да старший брат, покойник уже нынче, уступил полторы десятины, и все в разных местах было.

На следующую зиму Лебяжка устраивала очередной передел земли, и участки таких вот, как Устинов Николай, чересполосных мужиков, сводились для каждого к одному наделу, но только — через год, а в ту пору Устинов маялся по трем пашням, ни на одной избушки не ставил, колодца не копал, и приходилось ему либо каждый день ездить домой, в деревню, верст по семи в один конец, либо ночевать в поле под телегой, бросивши на землю охапку сена, прикрывшись тулупчиком.

И тут однажды ночью, в пахоту, застал его под этакой ненадежной крышей дождь, майская гроза, хлебородная, но и ледяная тоже, и спустя чуть времени у него зуб на зуб не попадал. И сверху полощет, и снизу подтекает под него, и Устинов подумал: «Пропаду! Простыну, проболею весь посев, а то и дальше посева!»

Делать нечего, надо идти проситься к пашенному соседу в избушку, и он пошел к Панкратову Кириллу.

Но Кирилла в избушке не было. Была одна только Зинаида.

Неловко ему было, неудобно, но и прочь уйти он тоже не решился, тем более что Зинаида быстренько сварила кипяточку, и даже кусочек сахарку нашелся у нее нежданному гостю.

После чая Устинов лежал на жердяном настиле, скованный, с тяжелой головой, и слушал дождь и сквозь него — редкое и сильное Зинаидино дыхание и страшился, как бы Зинаида не заговорила с ним. Она угадала его страх:

— Пужливый ты, Никола! Жилки-то все до единой в тебе ходуном ходят!

Устинов не ответил.

Она протянула к нему руку.

— Уж здесь ли ты? Может, изошелся весь от страха-дрожи? В дым, в туман?!

— Неужто ты можешь, Зинка?— спросил Устинов тихо.— Сроду на тебя не подумал бы, будто можешь? И никто не подумал бы.

— Не могу... Но когда только так и делать, только так и жить, как можешь,— какая это жизнь?!

Как после тех слов было — Устинов никогда не вспоминал. Даже в военной холостяцкой службе, когда солдатики тешились разными воспоминаниями, он своей памяти хода не давал: мало ли что и как с человеком приключается, не каждый его шаг, не каждый час должен в нем застревать.

А теперь, лежа в постели, самим собою вконец разруганный, он случай тот отчетливо вспомнил и удивился: как же Зинаида ни разу, ни словом, ни намеком его не помянула? Не могла же она забыть его? Не могла его не помнить, когда снимала Устинова с железных зубьев бороны? Когда тянулась к нему ночью в своей избе и дотянулась бы ведь, если бы не явился Веня Панкратов! Не молчала же ее память?

Однако она знала и верно знала: снова начать она может, но вспомнить, как было уже когда-то,— нельзя! Нельзя, потому что он этого не мог, не хотел воспоминания!

И приятна была нынче Устинову Зинаидина догадливость и понятливость, и еще вспоминалась ему неотступно песня одна — старинная, давняя, любовная:

Помнишь ли, помнишь, моя дорогая,
Как по тропиночкам гуляли мы весной?
Ты мне всю правду тогда говорила,
Что дальше будет с тобой и со мной...

Он этой нежданно-негаданно явившейся песне не удивился ничуть, повторял и повторял: «Что дальше будет с тобой и со мной...», а удивился он другому: Гришке-то Сухих тот давний случай, оказывается, был известен!

И Гришка не сдержался. Молчал сколько лет, после не выдержал своего молчания, пришел к Устинову в пашенную избушку, злобно пнул Барина, излился в ревности, лесной участок сам себе затвердил на бумажке и ушел было, но вдруг вернулся и крикнул Устинову: «Не обманывай! Уже за Кириллом сопливым Зинка была, а ты ночевал у ее в избушке! Не было? Не знаешь такого? Забыл?!»

Или Гришка в ту грозовую ночь волком голодным и мокрым блуждал круг избушки, зная, что Кирилла в ней нету, что Зинаида одна ночует? Что Никола Устинов рядом с нею? Может, он, Гришка Сухих, скрипя зубами, прислонялся к оконцу, к дверной щели? В тот самый раз?

Или еще как-то было? По-другому?

А вот слова, которые Зинаида ночью до Вениного стука в окошко успела ему сказать, и даже те, которые сказать не успела, он знал нынче наперечет. Как свои.

«Ты поверь мне, Никола,— слышалось нынче Устинову,— только так и нужно делать, как я говорю: бежать нам нужно отсюда, ото всех людей! Поверь мне, и я всему белому свету поверю! Без этого я — неверующая! Отступница от жизни всей, сколь ее есть! Лебяжка меня приняла, призрела-приютила — я и ей не верю, неблагодарная! Сынов я вырастила, но и сынам веры нету у меня, не знаю, почему они есть на свете, когда в крови у них — мое же безверие? Сделай ты меня верующей, Никола Левонтьевич! Один ты можешь — более никто! Иисусу Христу и то не всякий раз удавалось сделать, тебе — удастся, только пожелай!»

И жутковато, и сладко было теперь Устинову: вот он, разнесчастный мужик, израненный, разорившийся, безлошадный, а для кого-то он — Иисус Христос! Пусть разорится он еще более, пусть останется совсем нищ, наг и немощен — Зинаиде это нисколько не страшно, лишь бы только Устинов был на свете. Будет Устинов жив, будет ей и живой Христос!

И когда снова засаднило в ноге, а на эту боль медленным кружением отозвалась голова, Устинов тоже знал, почему оно, это кружение: ему представлялся тот

миг в панкратовской избе, когда, словно крохотный ребеночек, он прильнул к Зинаиде, а она сильными своими руками прибрала его голову к себе. И погладила его, и пообещала ему совсем иную, нездешнюю жизнь. Указала, чтобы он в ту жизнь заглянул.

Вот так, словно в сказке, от великого Христа до безмолвного и счастливого ребеночка, мог он выбирать нынче свою собственную судьбу да еще и быть при этом справедливым!

Справедливости сильно не хватало ему. Откуда ей было взяться, если спасла его женщина, с бороньих зубьев сняла, а он отвернулся от нее в ту же минуту, как только отвернуться можно стало, запросился из ее рук, из ее саней в другие сани — к зятю Шурке и, спасибо ей не сказав, уехал?! Словом одним и то не попрощался с нею?!

Однако же пора было возвращаться к самому себе — к изувеченному и непутевому мужичонке, и Устинов подумал: «Домну-то прочь нынче я прогнал от себя? Позвать? Она вмиг дело исполнит — отлучит странные мои мысли!» Но все еще лежал тихо и неподвижно, предаваясь той же странности. «Или позвал бы кто-нибудь меня? В окошко бы стукнул? Веня же Панкратов постучался тот раз?— Палочка-костыль деда Егория стояла, прислонившись к изголовью. Устинов пошевелил ее:— Пусть позовут хотя бы в Лесную Комиссию — тот же миг пойду на палочке этой! Ей-богу, пойду!»

Не звал никто.

А к нему снова вошли и снова осветили его свечой.

Шурка вошел. В первый раз за всю жизнь — вовремя.

Устинов это так понял: Домна обиделась, не захотела вернуться и велела Ксении проведать отца. Ксенька замешкалась, может, застеснялась, с нею это бывало, ну а тогда добровольцем вызвался Шурка: «Я пойду! Я в момент батю развеселю!»

Он так и спросил:

— Развеселить вас, батя?— И поставил свечку на подоконник.

— Давай-давай!

— А вы, батя, поди-ка, все об одном и том же думаете? Да? Вы думаете: «Как же все на свете будет в дальнейшем?»

— Это тебе о том — как будет,— заботы нету!

— Так правильно же! — обрадовался Шурка.— Правильно же, я вперед не думаю, не загадываю! Никогда!

— Умный?

— А поумнее умников-то! Вы только не обижайтесь — поумнее умниц, таких вот, как вы, батя!

— Ну-ну...

— Само собой! Вот вы, батя, Святку покупали, самостоятельную и теплую избу ладили ей. Вы конями обзаводились; за Севки Куприянова мерина так придуриться перед Кругловым Прокопием решились! Вы в Комиссии своей неделями сидите, рассуждаете,— а к чему? Все гадаете: как будет? Как будет завтре, через год либо через два и того дальше? Пустое занятие! Неужто непонятно вам — пустое? Вы и перед четырнадцатым годом так же заботились о шешнадцатом, а вас о тех заботах никто не спросил, вас заместо того побрили на войну, и все тут! И где вы шешнадцатый-то год встретили? Ну, правда, случай выпал вернуться вам живым-непокалеченным. Так случай, не более того! Нонче, обратно, война вот-вот нас всех накроет, но вы все одно копошитесь, все одно не войну берете в расчет, а тот счастливый случай остаться живым-непокалеченным, будто бы он и есть — главнейшая ваша судьба? Вы что, загодя знали, каким нонешний год будет? Что и как нонче происходить станет? Нет, не знали, сроду не угадывали! Так пошто же вы сызнова и сызнова гадаете о будущих годах?

— Развеселил ты меня, Шурка. Хорошо развеселил.

— Правда, што ли?

— Ну как не правда?! Ты ведь какой веселый, ребятишек одного за другим на свет ладишь, а ладить им жизнь тебя нету! А я этак не умею — чтобы меня не было, когда я детям и внукам нужон! Раз я им нужон, значит, я есть, и вот он я! Я у них в крепостничестве нахожусь. А когда так — неизбежно думаю: как будет? И через год, и через два, и далее — как?

Шурка, присев на табуретку, поболтал ногой.

— Да ить никто же, батя, не знает — куда ихняя жизнь пойдет — детей ваших, а тем более внучков? Седни вы для их стараетесь, а назавтре оне живыми будут ли? Или вот — вы им хозяйство ладите, а они на его раз плюнут да уйдут на промысел, на службу какую-либо! Спрашивается, чего же вы старались-то? Потели-то на семи потах? Либо так: вы им оставили добра,

а завтре — кто-то пришел да и отнял добро это до ниточки?!

— Не так-то просто отнять у человека свое, трудовое! Не так-то!

— Да проще простого! Придет кто-то — белый ли, красный ли, обыкновенный ли, наган покажет; «руки вверх!» прикажет — и все! И сделано дело!..

— Ты, Шурка, как ровно Мишка Горячкин! Тот вечно грозится пожечь-убить, и ты следом так же! Недаром он тебе нонче дружок!

— Недаром, батя!— согласился Шурка. И охотно согласился.

Дружба с Мишкой Горячкиным еще недавно каждому была и стыдом и срамом, но, должно быть, действительно изменились времена, если Шурка так легко согласился с тестем и даже подтвердил еще раз: «Недаром!»

Горячкин Мишка, сапожник, мужичонка рябой, суетливый и золотушный, с какого-то времени начал провозглашать себя врагом всей Лебяжки, напившись, бегал по деревне и грозился: «У-у-убью! По-о-ожгу! Дайте малый строк — всем поломаю шеи-то, хозяева! У-у-у, хады! Черви земляные! Вцепились, ровно хады, в почву, сосете из ее, а я вот не дам вам сосать, кровопийцам! Рассчитаюсь с вами! По всей форме и справедливости!»

Мишку, были случаи, поколачивали, тогда он каялся, божился, что больше не будет, однако, напившись, принимался за свое.

Откуда взялась у него дикая ненависть ко всем и каждому лебяжинскому жителю, сказать нельзя. Может, потому, что он, бывало, грозился, а над ним в ответ только смеялись: «Ну-ну, Мишка-воин! Давай-давай! Кого же ты первого начнешь бить-уничтожать?» Мишка наливался кровью, золотушные пятна на его лице темнели. «Хотя бы и тебя!» — ворочая глазами, отвечал он. «Ну, меня так меня!— соглашался Мишкин заказчик.— Приладь-ка вот подошву на сапоге. И каблук новый! Да хорошо сделай, не то возьму в оборот! И даже — не беспричинно!» Вот так миролюбиво с ним говорили, тем более что Мишка сапожником был неплохим, главное же — единственным на всю Лебяжку.

Но с некоторых пор к Мишкиным угрозам: «У-у-убью! По-о-ожгу!» — люди начали относиться не шутя, не с легким сердцем. Когда тут и там ходят банды и ка-

рательные отряды, убивают, вешают, отнимают, жгут — почему бы Мишке и в самом деле не заняться тем же делом? Если у него многие годы руки чешутся? Если это мечта его давняя и заветная?

Организовалась Лесная Комиссия, Мишка и на нее кричал: «Сошлися, кровопийцы хозяева! Знаю, для чего сошлися — чужую кровь сосать! Брюхи отращивать! Деток нежить-холить, избы им ставить, лесины страхованные за ими оставлять! У-у-у-у, хады! Я все знаю, носом все чую!»

Между прочим, когда Лесная Комиссия затеяла устроить смолокуренный промысел, Мишка отозвался первым: «Бросаю сапожничество! Надоело кровопийц обувать, пятки обмерять им! Буду в лесу жить, после вернусь — рассчитаюсь со всеми на свете!»

Но в лесу не жил ни дня, зато перессорил между собою смолокуров и куда-то продал артельный котел старинной поделки. Смолокуренная артель, не приступив к делу, распалась, а Мишка озверел на Лесную Комиссию еще больше: «Вот с кого начинать-то надоть! Теперича мне преотлично известно — с кого и как!»

— Да пошто же он такой злобливый-то, Горячкин-то? Ужас, какой нонче он! Нечеловеческий! — спросил Устинов.

— Значит, ндравится ему так. Дух у его такой имеется!— с некоторой гордостью не то за Мишку Горячкина, не то за самого себя пояснил Шурка.— Дух этакий!

— Пьют очень уж сильно нонче! Может, от этого. Больше вроде и не с чего.

— Всегда пили.

— Не скажи! Тут на улице вижу — Гуляев Никанор с головы до ног пьяный. Едва держится, а ведь праздника нет, будний день. Именин, свадьбы, рождения, поминок — ничего нету. Просто пьяный, и все! Когда так-то было? Беспричинно?

— Не было, дак будет! К просветлению своему идет народ! К понятию идет: ни к чему для его всякое там имение, всякие бесконечные заботы. Никто ему не хозяин, да и сам он себе — тоже! Всякие там комиссии-раскомиссии, собрания-рассобрания — это все ему пустая выдумка, видимость и обман. Вот в какое входит он просветление. А вы, батя, вы вовсе здря недовольные, что я с Мишкой вожжаюсь и якшаюсь. Здря! Надо еще понять, кто из нас больше для малых детишек сдела-

ет — вы, разными заботами, либо я, когда поступаю совсем наоборот, Мишкой Горячкиным не пренебрегаю, а на кажной неделе хоть один день, но хорошим делаюсь для его человеком!

— А к чему? К чему нужно перед Мишкой Горячкиным хорошим быть? Раз в неделю?

— Ну как же! Вот он сильно разгуляется, Мишка, на всех будет кидаться, а я ему скажу: «Устинова Николая Левонтьевича не трогай! Он мне тесть!» Вот он и не тронет вас, батя!

— А пошел ты, знаешь, куда?!— ответил Устинов Шурке, но тот ничуть не смутился.

— Будто бы вы, батя, сами-то по-другому соображаете? Так же вы соображаете, как и я, только других людей в свой расчет берете. Я беру Мишку Горячкина, вы — коопмужика Петра Калашникова, да Саморукова Ивана Ивановича, да Смирновского-поручика! Ну вот хотя бы, когда оне были у вас, навещали больного, разве не сговор вы какой-нибудь затеяли, и не то же самое между вами происходило, как у меня с Горячкиным? Обо што хотите бьюсь — то же самое было между вами! Было ведь? Давайте биться об заклад, батя, я знаю — было!

И глазенки Шуркины заиграли: биться на что-нибудь, спорить ради копеечного выигрыша, пустячного азарта — это Шурке первое занятие. И ему не докажешь, что существуют люди других начал и другой природы, которым неинтересно бить по рукам, спорить-убиваться о том, кто кого обыграет в шашки — он Мишку Горячкина или Мишка Горячкин — его. Он добрый-добрый, Шурка, но между тем из-за этого копеечного азарта он злой, и вот не может себе представить, будто Смирновский, Калашников или Саморуков могли прийти к Устинову без всякого заднего интереса, поговорить о его здоровье, а заодно — о здоровье всего человечества. Для Шурки всякий разговор — это сговор, если не насчет шашек, так насчет распить полбутылки, если не насчет бутылки — значит, насчет того, чтобы двоим или троим быть против кого-то третьего или четвертого. Шуркина беззаботность — это даже не лень, он всегда чем-то занят, о чем-то хлопочет, но только обязательно — о пустяке, о какой-то игрушке, и всех вокруг себя тоже подозревает в таких же играх и сговорах между собою.

Устинову тем более неприятна была нынче игра Шуркиных глазенок, да и весь-то он тоже, что на этот раз Шурка был хоть и немного, а все-таки прав: и Калашников, и Смирновский, и Саморуков Иван Иванович приходили его проведать, а, кроме того, еще и договориться — как же быть, как жить после этого несчастного случая с бороной?

Смирновский настаивал, что надо сделать негласный розыск, выяснить, кем была подставлена борона.

Саморуков и Калашников вздыхали: хочешь не хочешь, а прав Дерябин, когда говорит, что пожар на заимке Гришки Сухих, что борона-ловушка на лесной дороге — все это по нынешним временам пустяки, а искать, кем это сделано,— бесполезно и даже смешно. Время больное, а с больного что спросишь? «Вот уж помрет это время окончательно,— говорит Дерябин,— народится совсем другое, полностью справедливое, вот тогда будем искать и строго наказывать виновника любого, хотя бы и самого малого, злодейства».

А Устинов думал так: борона подставлена была не для него, а для любого стражника лесной охраны, искать же виновников действительно толку нет. Единственно, что нужно,— держаться нынче с опаской, с осторожностью, и весь тут вывод! И другого не сделаешь.

Устинов и Шурку прогнал:

— Иди, иди! Тебя добру не научишь, а мне от тебя учиться — надобности нету!

— Нету так нету!— согласился Шурка.— Вам, батя, и вообще-то сказать, так учиться не у кого, вы сами умный. Разве лишь от Кирилла Панкратова братца! Разве от его — от Вени!

— От кого, от кого?— встрепенулся Устинов.— Повтори-ка, от кого?

— Ну, чо там повторять-то...— вздохнул Шурка, потом посоветовал:— А вы все ж таки поправляйтесь, батя!— и пошел прочь. Только сперва поднял брови и еще раз с особым интересом поглядел на Устинова. «Ну а вы-то, батя, тоже каков нынче, а?— не скрываясь, говорил этот взгляд.— И почему это не кто-то там, а Зинаида, чужая жена, сняла вас с бороны? Она?! Не напрасно, значит, батя, происходят ваши заботы в Лесной Комиссии. А?!»

— Свечку-то задуй!— сказал Устинов Шурке.

Шурка громко дохнул на свечку и ушел окончательно.

«Надо же — Шурка-то, оказывается, знает о Вене Панкратове,— страшно удивился, даже обомлел Устинов.— Не я ли как-нибудь высказался при Шурке нечаянно? Во сне, в бреду, еще как-нибудь? Веня-то — он ведь меня сильно предупреждал не делать этого, держать язык за зубами!»

Устинов придирчиво проверил себя: нет, не было, не могло быть, чтобы он хоть словом обмолвился кому-то насчет Вени.

Не обмолвился, но легче на душе у него не стало — не в первый уже раз, но теперь как-то очень отчетливо он представил, что вот сейчас, где-то за стенами его избы, идет в Лебяжке тайная, невидимая ночная и жестокая жизнь, и одни люди только для того и дышат, чтобы свернуть шею другим...

Устинов тайны, в которую так хотел посвятить его Веня Панкратов, не касался, не участвовал в ней, старался жить всем и каждому видимой жизнью, другой жизни знать не хотел, но все равно узнавал ее.

Ведь что значит человеческое вражество? Это когда люди не только не могут поспорить один с другим, но даже видеть друг друга им то же самое, что конец света, провозглашаемый Кудеяром! Для каждого его жизнь делается тайной от всех других, и он прячет ее, скрывается с нею, никому ее не показывает.

Попробуй-ка собери-ка за одним столом в одних гостях Гришку Сухих, и Веню Панкратова, и Смирновского, и Мишку Горячкина, и Половинкина, и Прокопия Круглова, и Дерябина, и Кудеяра, и Саморукова Ивана Ивановича?

Нельзя! Невозможно. Нет сил человеческих это простое дело сделать! Сложное что-нибудь, немыслимое — можно, простое — нельзя!

Нет, Устинов тайн не любил, ненавидел их, старался жить всем и каждому видимой жизнью, но в какую-то тайну его нынче все равно влекло, тащило и волочило.

Тайны мешали ему жить, тайны были ему как собственная вина перед собою и перед людьми, особенно перед самыми малыми людьми — внучатами.

Когда внучата добирались до его колен, тыкались ему в лицо яично-пахучими головенками, они делали его своим крепостным. Ну а хороший крепостной должен быть мужиком здоровым и безо всяких тайн — весь на виду.

Внучата на коленях у него дрыгались либо сидели тихо, а детское тепло вовсе не колени ему пронизывало, а сердце.

И страшно делалось Устинову: это сколько же ради них предстоит сработать — запахать, засеять, сжать, купить, продать, накопать, напилить, наладить самых разных предметов, необходимых для жизни?! А когда успеть? Об этом не спрашивай!

Должно быть, из-за страха перед ними Устинов не очень-то внучат баловал, гораздо меньше, чем Шурка. Тот позволял и верхом на себе ездить, и за волосы себя теребить. Шурке что? Позволил, а через минуту свистнул и ушел на целый день. Что и как дома без него происходит — ему не придет подумать.

Из устиновской же головы они не то что днем — ночью не всякий раз уходили, внучата.

Помнится, когда он еще на фронте был и по-солдатски недоверчиво прикидывал жизнь, которая настанет после войны, жизнь эта получалась у него свободной, ладной.

А что? Детей они с Домной вырастили, а вдвоем какие заботы? При справедливой-то жизни, когда война кончится, а начальство — уездное, губернское и даже питерское — будет научено обхождению с мужиком?! Ведь не кто иной, как мужик, выручит начальников всех степеней и званий, всех толков и перетолков из войны, из российского разорения, из питерской голодухи!

Но не тут-то было: принесли домой солдатики войну в своих же вещмешках. Только шнурки на мешочках успели развязать, как тот же миг услышали: «А вот и я! Принимайте, мужички! И вообще все граждане всей свободной России — принимайте!»

Человеческого обхождения с мужиком тоже нет, и стало видно, насколько глупой была мечта о хорошем начальстве.

Жизни вдвоем с Домной для самих себя — тоже нет и в помине.

Сын Леонтий погиб, и Елена, жена его, осталась в немудрящей избенке, с двумя стариками родителями, с двумя ребятишками; за главного кормильца им дед Никола Леонтьевич.

Вернулся Шурка, досрочно отвоевавшись где-то по тылам, в фуражирной команде, но не в свой дом, а к тестю. Устинов надеялся — может, война научила

Шурку хоть какому-нибудь разумению, но и тут просчет, и вот уже Шуркиным ребятишкам дед Никола тоже кормилец-поилец и даже наставник, потому что на отцовское наставление сильно не понадеешься. И не сильно тоже не понадеешься.

Кормилец и опора ты многим, но тебе-то на что опираться? На какой порядок жизни? Уж сколько там и надо русскому мужику порядка — с гулькин нос! — но нету и того! Уж сколько он способен, этот мужик, пережить беспорядка — больше всех способен! — но только на нынешний беспорядок не хватает и его!

Хваленная Петром Калашниковым сибирская кооперация год назад окрестила сама себя новым именем — «Закупсбыт», и тут же и в закупе, и в сбыте проворовалась невиданно, стала «Закупворсбытвором».

Возила она масло и хлебушко в Китай, оттуда — мануфактуру, спички, иголки, сепараторы, даже керосин, и только обнадежила мужиков, как тут же и прогорела: «Соболезнуем, граждане: с великим богатством шли эшелоны из Харбина, но были разграблены под Читою!» И шло и шло тем же диким беспорядком нынешнее существование, которое и жизнью-то назвать невозможно!

«Все для народа!» — провозгласило Сибирское правительство и все стало с народом делать: и обирать его, и мобилизовать его, и арестовывать его же.

«Общественное достояние» — печатали газетки, и не сразу, но вскорости стало понятно, что это такое. А это пирог, от которого сколько бы ни отщипывалось, сколько бы ни урывалось — никто не закричит: «Карраул! Меня грабят! Меня — лично!» Ну а не личный крик — это уже не крик и вопль, а та́к себе, бормотание!

Но ребятишкам-то, внучатам-то, им про «Закупсбыт», про Сибирское правительство, про газетки не объяснишь, они собственное дело знают: растут! Требуют быть сытыми, одетыми, обутыми, в школу с тетрадкой и с чернилкой желают бегать. Старайся, дед, трудись на ребячью потребность! И Устинов — не против. Он это может. Хоть и дед, но не старый, силенок хватит. Не хватает другого: порядок и старание должны быть не только на твоей ограде, но и в государстве, если же его там нет — тогда правым делается беззаботный Шурка, он, а не кто-нибудь другой!

Это слава богу еще, что Лебяжка, как всегда, пострадала меньше других селений.

Покуда кооперация была своя, сельская, лебяжинцы голосовали «за» — за маслоделку, за общественные машинные сараи, за кассы взаимопомощи, но только касалось дело объединения с другими деревнями, тем более «Закупсбыта» и Харбина, тут граждане прислушивались к Ивану Ивановичу Саморукову: «На своего жителя своему же сходу и жалобу можно принести, а на Харбин — кому пожалуешься? Тем более при нонешнем-то времечке? Которое само-то неизвестно на чем держится? Когда властей много, а власти — нет. Воровства много, а чести — нисколько. Куда этакое время идет, в какую сторону? Неизвестно! Будущего не видать, так хотя бы прошлое разумно вспомнить — что там было худого, а что — хорошего, чтобы отцовский-праотцовский разум попользовать. Нету и таких воспоминаний, отшибло у нас, у всех людей, память!»

Время было как суховершинная сосна: гонит соки земные не к молодому и высокому побегу, через который оно только и может продолжаться, гонит оно всю живую кровь в боковые, заскорузлые и загрубелые ветви и сучья. Чем толще этакий сук, чем пушистее одет он хвоей, чем привольнее раскинулся в стороны ветвями, сучками, отросточками, тем больше он берет на себя соков и тем ненужнее он для жизни всей сосны, для самого верхнего, истинно растущего побега.

Обида на нынешнее никудышное время давно прижилась в Устинове, но только он старался, не давал ей шевелиться: «Не надо, не шевелись! Толку от шевеления твоего — ничуть!» А нынче обида взяла свое.

Почитать бы с горя книжечку, но свечей горело в избе уже две: одна в горнице, а вокруг другой бабы на кухне посудой постукивали, квашню месили, и зажигать третью около горки с книгами было немыслимо. Тем более при нынешнем устиновском разорении.

Все-таки Устинов поднялся с кровати, пересел к горке. А услышав его движение, из горницы просунулась Ксения:

— Вы, батя, как тут? В потемках? Может, свету вам надобно? — И Ксения поставила свой огарочек и ушла, вздохнув робко, негромко.

Очень любил Устинов Ксеньку, из всех детишек она была ему милей душевностью и простотой. Никогда, бывало, не слукавит, набедокурит чего и сама же бежит-ревет: «Ой, мамынька! Ой, батя! Исделала-то я как — я чашку лазбила! Ой-ой!»

Любил Устинов дочь и сейчас, но какою-то совершенно уже другой любовью, не очень-то понятной и ему, а ей — особенно. На колени ее к себе не посадишь, хворостинкой по заднюшке не поддашь, с ней надобно словами говорить, больше ничем, а какие слова, когда она, хотя и не самостоятельная, и не хозяйка в доме, но все равно — взрослая баба со своим же, бабьим, а не отцовским умом и понятием? И отцу она не столько уже дочка, сколько мать его внуков. Покуда о внучатах разговор — разговор, а когда не о них, то и нет его вовсе!

...Свет огарочный тлел вхолостую, а светом каким-никаким надо было пользоваться, и Устинов взял с горки одну, другую книгу, полистал и вот что, в конце концов, прочитал, что заставило его приникнуть к строчкам:

И мы молчим. И гибнет время...
Нас не пугает стыд цепей —
И цепи носит наше племя,
И молится за палачей...

«Верно-верно!— вздохнул Устинов.— Царь Николай пострелял людей в пятом году, а я знал об том и все одно — за его молился! Он войну затеял бессмысленную, народу положил — миллионы, а я все молился и молился за его! Полковой поп велит — я и молюсь! Будто не знаю ничего худого за ним!»

Русь под гнетом, Русь болеет:
Гражданин в тоске немой —
Явно плакать он не смеет,
Сын об матери больной!

В одна тысяча девятьсот шестом году была напечатана книжка, а стихи сочинены Никитиным Иваном.

Из простых людей сочинитель, все строчки просто и понятно положил в стихотворение: «Гражданин в тоске немой...»

Два слова всегда вызывали в Устинове замешательство, растерянность: «бог» и «гражданин».

Все другие, кроме этих, живые и мертвые предметы, он запросто мог себе представить. Если и не видывал их никогда — все равно мог. Император либо императрица, толстый французский главнокомандующий Жоффр или морской кот, подводный змей, драгоценный камень необыкновенных размеров — все это Устинову было вот тут, рукой достать. Глаза закрыть, чуть подумать —

и вот они! Это он помнит, в начале войны прошел слух, что германцы, да и наши тоже, летают по воздуху на аппаратах. Все солдатики хотели тогда поглядеть: как чудо устроено?

А вот Устинов сразу же догадался: без крыльев, без хвоста, без колес, без движка — не полетишь, так что вся эта принадлежность у аппарата должна быть?

И верно — вся она у летательного аппарата оказалась.

Камень бросишь либо пулю порохом из ствола вытолкнешь — они полетят и без этого, но уже назад не вернуться. Для возвращения необходимы хвост и крылья. И колеса: мало на землю опуститься, надо еще в нее не воткнуться, то есть сперва на чем-то побежать по ней. Больше не на чем, как на колесах.

Но «бог» и «гражданин» — те устиновской сообразительности никак не давались. Один — потому что на всем свете он один, никто на него не похож, и он тоже ни на кого. И Устинов, как представил бога мужиком-крестьянином, и — еще раз — в виде огромнейшего круга, в котором все другие круглешки и палочки и весь белый свет умащивается, так и отступился от дальнейших о нем рассуждений.

«Гражданин», тот, наоборот, жил на земле в несметном количестве, но, сколько ни встречал его Устинов, хоть в генеральском облачении, хоть нагишом в полковых банях, ни разу не представился ему тем самым, о котором без конца и края он читал в газетках, которым солдатики, да и начальство тоже, с удовольствием стали навеличивать друг друга с весны семнадцатого года. Которым, как бы прихвастывая, любили обратиться один к другому и лебяжинские жители, особенно члены Лесной Комиссии.

Ну хорошо, а вот взять Мишку Горячкина? Каждый про него знает — гад и сволочь,— но вот Мишка тянет руку вверх на собрании, и председательствующий как ни в чем не бывало объявляет: «Слово имеет гражданин Горячкин!», а потом все, будто не зная, с кем имеют дело, слушают «гражданина»! Всем понятно: обман. Но сказать, что обман,— никто не скажет. И ведь далеко может зайти. Если Мишка Горячкин — уже гражданин. Игнашка Игнатов — тоже, так почему бы из простых им не сделаться гражданами самыми главными? И не руководствовать Лебяжкой, покрикивать «У-у-бью! По-

ожгу!». Очень просто: кто сам не умеет жить, тот и рвется изо всех сил учить жизнь и всех людей.

А что же останется тогда истинному гражданину, если он все-таки есть на свете? Может, ему останется вечно пребывать «в тоске немой»?

Одно как-никак, а ладно — не по книжкам идет жизнь.

Когда бы все и неизменно жили по одной какой-нибудь книге — по Библии или вот по этой строке о немом гражданине, когда бы следовала жизнь призыву одного, хотя бы и самого святого из всех святых — изошлась бы она давно, пошла бы то ли по кудеяровскому, то ли по букашечному и муравьиному, то ли по какому-то совсем не известному, нечеловеческому пути.

Ну а покуда люди бьются вокруг жизни с разными призывами, а она в одно ухо призывы эти впускает, а в другое выпускает, она еще жизнь, еще сама по себе что-то значит и что-то ведает. Она еще поживет!

Повздыхал Устинов: мужику думать — все равно что корове плавать! Конечно, корова умеет, деваться будет некуда — реку переплывет, однако же это рыбье дело, а не коровье — быть в воде. Подумать мужик тоже может, который раз и должен, а вот уже задумываться — ни в коем случае!

И Устинов занялся своей ногой.

Хотя она и была похожа на Соловка — рабочая, неприхотливая, но, заболев, желала обихода. Надо ее, выздоравливающую, раздеть, умыть, лекарственной травкой покормить, снова запеленать. Все сделать старательно, а тогда за ней не пропадет.

Устинов начал было со своей ногой стараться и тут же остановился — как же он один-то? И он окликнул-таки Домну. Она догадалась, зачем окликнута, вошла с тазиком и с узелком, в узелке — травки лекарственные.

Рваная рана на устиновской ноге хорошо и даже как-то весело затягивалась розовой кожицей, подмигивала Устинову: «Ладно уж — живи, живи, мужик! Живи — не задумывайся!» Домна помыла ногу и начала заново обкладывать ее травками. Были тут разные листочки — подорожника, была сушеница и еще какие-то зубчатые, почти что круглые. Устинов хотел спросить у Домны — что за листочки?— но не спросил, и она

молча, быстро делала свое дело. Когда же сказала одно-другое слово, опять Устинову послышался все тот же изнутри голос, не совсем знакомый, хотя и Домнин.

И Устинов снова растревожился: кончался бы нынешний день поскорее, что ли? Слишком уж много в нем разных загадок, в Домнином голосе и то звучат. Остаться бы скорее одному снова, да тотчас бы и уснуть. Без всяких мыслей, без всяких догадок.

Но Домна не ушла. Перевязала Устинову ногу, погладила его по голове да и сама легла рядом.

Она, покуда муж болел, отдельно спала, в горнице, а теперь поняла так, что он уже здоров.

Она так и сказала:

— Хорошая у тебя рана, Левонтьевич, вот-вот и заживет!

И всякий на ее месте так же сказал бы и так же радовался...

— Ты не кручинься, Никола!— еще полежав-помолчав, сказала она.— Проживем! Выменяем коня на хлеб в степном селении и проживем. А тот конь, которого Круглов Прокопий у Куприянова Савелия взял, тот и не сильно мне глянется — шаг некрасивый. Качается он сильно на ходу!

И всякий так же вот мог сказать, утешить мужика.

Домна до локтя подсунула под него свою теплую, мягкую руку.

— Не серчай, Никола. На кого тебе серчать-то — на меня? Так я худого тебе ничуть не сделала. Ничуть!

И опять верно: если уж на кого ему было серчать, так на себя самого! Только...

Мороз все крепче забирать начинал, потрескивали стропила над избою, холодный и туманный дух, чуялось, блуждал по деревенским улицам и переулкам, зима сильно обижалась на себя за недавнюю оттепель, желала наверстать свое. Наверстать с лихвою.

К Устинову нынешняя зима тоже имела свой счет: «Вот приду — я тебе покажу-у-у!.. То ли еще тебе будет!» — гудела зима на манер Мишки Горячкина. И слушал Устинов, как стужа прохаживалась за стенами его избы, и догадывался, в чем виновата перед ним Домна: она предстоящего расчета не понимала. Она все, что с ним уже случилось нынче, тоже не поняла. Один случай, ну — другой, ну — третий и — последний!

И все плохое уже позади. Она рядом со своим мужиком по-другому понять и не могла, не было у нее иной привычки. Потому-то вовсе не она, а другая догадалась, когда беда приключилась с ним. Другая, а не эта поехала его спасать, снимать с железных зубьев.

Вот как...

И вдруг Домна вздохнула и проговорила явственно:

— Теперь, Никола, я тебе скажу. Не говорила нонешние дни, ну вот — скажу!

Устинов снова не пошевелился, плотнее закрыл глаза.

Домна вынула у него из-под головы мягкую, почти что пушистую руку, оперлась на локоть, возвысив свое лицо над его лицом, повторила:

— Скажу!

— Говори...

— Ребенок будет, Никола... Ребятеночек. Дитя.

— Бог ты мой! Неужто вдова безмужняя — Елена?! — догадался Устинов.— Неужели? Да как же...

Домнин взгляд из темноты, пристальный и с упреком, остановил его.

— Наш с тобою ребеночек будет, Николай Левонтьевич! Твой и мой. Мой и твой...

Устинов сел на кровати, согнул здоровую ногу в колене, обхватив ее руками.

— Старые же мы с тобою, Домна! Старые уже!

— Значит, не старые.

— Так ведь он-то, наш-то, на сколь же годов будет младше наших же внуков?

— Будет...

— Неладно это! И перед людьми всеми! И перед детями нашими. А перед внуками — даже и вина. Истинно перед ними вина! Нет, неладно!

— Значит, ладно.

— Обо всем на свете загадывал, как случится, как будет, о таком — не догадывался я,— нет!

— Ты, Никола, жизни младенческой не рад? Собственной кровиночке? Да ей-то не все ли одно, кого она будет старше, а кого — младше? Она — жизнь, вот что ей известно, а больше ничего! И конец тут разным словам! Не рад?! Все одно радуйся! Грех же не радоваться наказу божьему! Не рад? Или ты, верно что, греховный уже нонче?

Устинов не откликался.

Домна мягкой своей рукой, легонько-легонько опрокинула его на спину. По-прежнему глядя на него сверху, из темноты, сказала:

— Отдыхай, Никола Левонтьевич. Это спервоначалу боязно. День-два пройдет — свыкнешься. Выздоравливай к радости, спи.— И тут же сама не то задремала, не то и совсем заснула в том чувстве своей правоты, которое ей никогда не изменяло, тем более не изменило сегодня.

«Вот в чем дело-то!— догадался Устинов.— Почему Домна нынче этаким необычным голосом сказку про девку Наташку, про Сему-Шмеля сказывала! Вот в чем дело!»

Долго не спалось ему, ждалось чего-то, и казалось, будто кто-то о чем-то еще должен ему сказать.

И в самом деле за полночь кто-то постучал в ставню. Не громко, но уверенно, по-свойски.

Устинов поднялся с постели, прихрамывая, подошел к окну, спросил сквозь ставню:

— Кто там?

— Выходи, Устинов! На минуту одну!

— Хро́мый же я! Не встал еще на ногу!

— На минуту!

— А кто? Не признаю голоса!

— По общественному делу! Выйдешь — узнаешь!

Тишина стояла на улице, в морозе. Барин голоса не подавал, убрался куда-то с ограды прочь.

Проснулась Домна. Потянулась, вздохнула:

— Ладно уж — выйди, Никола! Выйди, скажи — в последний раз выходишь, чтобы не было эдакого стука-беспокойства и дальше по ночам. Скажи, не забудь!

— Не призна́ю, кто такой...

— Палочка-то у тебя рядом стоит. В головах.

«Порубки лесные — в ночь, пожар Гришке Сухих сделать — в ночь, все — в ночь»,— вздыхал Устинов, медленно одеваясь. И опять послышался ему Домнин голос в сказке про девку Наталью, про парня Сему-Шмеля.

Он еще раз глубоко, всей грудью вздохнул и, опираясь на палку-костыль деда Егория, протянув руку вперед, чтобы не наткнуться во тьме на какой-нибудь предмет, пошел через горницу к выходу, полусонным сознанием все еще вспоминая ту сказку...

Глава шестнадцатая

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Лесная Комиссия со всеми своими бумагами переехала в помещение сельской сходни.

Иван Иванович посоветовал и настоял: «Вы, Комиссия, обращения к людям, к народу делаете, а сами от его удаляетесь в частное владение, таитесь в панкратовской избе. Нехорошо! Неладно! Вам нонче необходимо в месте присутственном заседать! Полностью доступном всем и каждому, ежели вы решились повседневно обращаться к людя́м, искать с ими общее».

Иван Иванович, помимо всего прочего, наверное, не хотел, чтобы Устинов, когда поправится, снова чуть ли не ежедневно бывал в избе Панкратовых.

Комиссия с Иваном Ивановичем согласилась — пора было и честь знать, избавить Панкратовых от затянувшегося постоя, тем более что Кирилл, хотя и тихо и незаметно, наедине сам с собою, а все-таки начал ударяться в самогонку. Только Игнашка Игнатов был против, говорил, непонятно ему, когда люди ни с того ни с сего хорошее меняют на худое: кашей пшенной пахучей, медовой никто же не будет угощать Комиссию в казенном помещении?!

А сходня, правда, была неказистой, казенной, до земли прокуренной, замаранной чернильными и еще какими-то пятнами. Одна большая комната, за дощатыми перегородками — две поменьше, коридорчик, сенцы, и все имеет вид, словно одна огромная каталажка.

В разное время тут разные службы помещались: при царе — сельский староста с писарем, при Советской власти — совдепщики, только-только создавшийся и сразу же разогнанный комбед, а нынче, при Колчаке,— опять писарь и двое милиционеров, один больной, годный только для счета и присутствия, безвыходно находился в самой малой каморке, ворочался там, вздыхал и грел кипяток на печурке; другой, здравствующий, с фамилией Пилипенков, красный, круглолицый, представлял собою власть.

Нынешнее заседание Лесной Комиссии было необычным, потому что происходило в сумеречном помещении сходни и потому еще, что на заседании снова

присутствовали Саморуков и Смирновский. Оба, как бы в роли наблюдателей, сидели на длинной лавке сбоку от стола, а за столом были Калашников, Дерябин и очень важный, зачем-то все время фыркающий Игнашка Игнатов. Был тут и Пилипенков, были в качестве ответчиков Прокопий Круглов и пугливо-молчаливый брат его Федот, они по третьему разу привлекались за самогоноварение, было два порубщика, учителка, принесшая жалобу на хулиганство Мишки Горячкина, и Горячкин. На задних лавках, почти в полной тьме, сидели несколько граждан просто так, из любопытства.

Члены Комиссии посоветовались, как распределить нынешние обязанности,— Калашников Петр взялся вести протокол, Дерябин — председательствовать, Игнашка Игнатов — присутствовать до конца заседания, никуда не убегать, никого не перебивать, не суетиться.

Началось рассмотрение вопроса «О выбитии двух школьных окон гражданином Горячкиным М. А.».

Учителка тихим, прерывающимся голоском сообщила, что в прошлую субботу вечером она была в школе и за неимением настоящих учебных пособий изображала на газетном листе карту Европы, когда к ней начал стучаться пьяный гражданин Горячкин.

Она поименованного гражданина в школу не пустила, тогда он выбил два окна, через одно и через другое обругал ее нецензурно и отбыл с угрозами применить силу и даже полное уничтожение, а школу — поджечь.

В других окружающих селениях учителя и учительницы занимались с детьми послабее, далеко не так старались, но зато сами были увереннее, держались с достоинством, избирались в сельские общественные организации, в кооперативные правления, нередко возглавляли их — за лебяжинской учителкой ничего этого не водилось никогда.

Как приехала она чуть ли не двадцать пять лет назад в Лебяжку, в крохотную, о трех подслеповатых оконцах школу, так никто ее за все это время, кроме детишек, толком никогда и не видел, настолько тихо и незаметно она жила.

Детишки в ней души не чаяли, а вот из жизни взрослых, даже бывших ее учеников, она почему-то исчезала навсегда. Может быть, потому, что она и сама-то

как будто бы и не жила на свете, а только чуть свет являлась в школу, затемно из нее уходила и сыта была уже тем, что объясняла детям четыре действия арифметики, простые дроби, азбуку и кое-какие правила грамматики, рассказывала им о разных материках и странах и о вращении Земли вокруг Солнца.

Никогда не было, да и не могло быть далеко вокруг человека, которому лебяжинская учителка хоть чем-нибудь помешала, но вот нынче такой человек объявился: Мишка Горячкин. А помешало ему вращение Земли, которое наглядно изображала учительница в своей новой школе.

Она изображала его, обрядив одного мальчонку в желтые листы бумаги, а одну девчушку — в черные, после чего мальчонка, стоя посреди класса, медленно поворачивался на месте, девочка же, пробираясь между партами и слегка придерживая подол, чтобы не запутаться в нем, двигалась вокруг своего «солнышка», поворачиваясь к нему то лицом, то спиной. Она была Землей.

Взрослые иногда тоже приходили посмотреть на занимательный урок, хотя учителка и встречала посетителей безрадостно: она стеснялась всех взрослых на свете. Она боялась и не понимала их, вообще не принимала за настоящих людей, тем более она растерялась, когда Мишка Горячкин, само собою в пьяном виде, поглядев на «землевращение», сказал ей, что она дура набитая, ежели изображает Солнце желтым, а Землю — черной. Он потребовал, чтобы Солнце было красным, а Земля — голубой, пригрозился разбить в школе окна и вечером того же дня исполнил угрозу.

— А што?— взмахнул обеими руками Мишка в ответ на вопрос Дерябина, так ли было дело.— А што? Мало было-то, вовсе мало! Я и не так сделаю, когда эдакая безобразия будет и далее! Сморчок она, старая девка и лягушка иссохшая,— тыкал Мишка пальцем, как бы нацеливаясь на потрескавшееся стеклышко в очках учительницы.—Вот она кто, а туды же — указывать! Да кто ей дал права на ребеночка женского полу напяливать черным-черное монашеское одеяние? И в таком позорном виде изображать всею Землю?! Кто и когда?

— О каком это безобразии ты здесь объявляешь, гражданин Горячкин?— возмутившись, весь покраснев

и бросив писать протокол, спросил Калашников.— О каком? Ты сам — первейшее и злостное безобразие, вот как! И как ты смеешь бессовестно обзывать человека, который едва ли не всем нам, здесь присутствующим, открыл глаза на букварь и на грамоту? Мне даже непонятно — откуда в человеке может взяться столь злобы и бесстыдства?!

— Ну-ну!— зыркнул Мишка.— Погоди, придешь ко мне с починкой, с какой-никакой обуткой, вот тогда я тебе объясню — откуда! А покамест скажи: ты тоже ладишь на то, будто Земля черная?

— А какая же она?

— Очень просто: голубенькая!

— И пашня, поди-ка, тебе голубой мнится, Горячкин?— усмехнулся Дерябин.— И сапожонки ты голубенькие на голубенькой Земле латаешь?

— А вот именно, гражданин председатель товарищ Дерябин! Энто червям земляным, червям-хозяевам от жадности ихней все черным-черно представляется! Коим далее своего сопливого носу не видать ничего, и глаза-то у их теми соплями тоже занавешены! А ты погляди подале-то — какая она, Земля? Она — голубая! И Солнце — оно красное, в любой песне об том поется! Кто же ей дал право, учителке, позорить всею от начала до конца Землю? И Солнышко — то же самое?

И учительница, поправляя на переносице очки в тоненькой оправе с треснувшим поперек стеклышком, как будто даже соглашалась с Мишкой Горячкиным, принимала его упреки... «Вот-вот!— страдал ее взгляд.— Вы же все здесь взрослые, вы же — не дети! Ну а если так — разве можно иметь с вами дело? Разве можно понять вас?»

Действительно, Дерябин и тот растерялся, заморгал, остренький его нос покраснел.

Игнашка недоуменно разевал рот.

Учительница сама по себе и не думала жаловаться, но Дерябин посылал к ней Игнатова, велел передать, чтобы пришла, чтобы сообщила Комиссии о хулиганстве Мишки Горячкина, тем более что Лесная Комиссия была ведь попечительницей новой школы.

И учительница пришла, объяснила все как было, а что получилось? «Что получилось?— спрашивали ее подслеповатые, робкие глаза.— Не надо, не надо никаких жалоб, никаких разбирательств, потому что вот как

нехорошо, как страшно бывает, когда взрослые вдруг захотят в чем-то разобраться!»

А Мишка Горячкин, позыркивая красными, будто у окуня, глазами, сидел на лавке нога за ногу, а руки крест-накрест на груди, голос — простуженный и пропитый, сиплый, и этим своим голосом, распространяя вокруг сивушную и еще какую-то невыразимую вонь, объяснял учительнице:

— Ума надобнуть тебе набираться — вот што! А то учишь-от невозможно как! А приходит честный гражданин правильно тебе сказать — ты на его жалиться, интелегенка разнесчастная!

И тут поднялся со своего места Смирновский, руки в карманах, подошел к Мишке и негромко, резко сказал:

— Встать!— Даже и не скомандовал, не приказал, а только велел встать.

— Ась?— отозвался Горячкин.— Чо тако?!

— Встать!— Медленно-медленно Смирновский начал вынимать руки из карманов своего полувоенного пальтеца, в которое он осенью ли, зимой ли неизменно одевался.

Мишка встал. И быстро встал-то, и еще икнул, выпрямившись в небольшой свой росток.

— Ну?!— обратился Смирновский к членам Комиссии.— Ну, объявляйте свое решение! Дерябин?! Калашников?! Объявляйте!

— Подумать надо, Родион Гаврилович! — отозвался Калашников, тяжко вздыхая, сморкаясь и бесконечно стыдясь всего, что произошло.— Мы сейчас подумаем!

— Тогда так,—сказал Смирновский,— тогда Горячкину предписывается не позже завтрашнего дня вставить в школе окна. Вменяется ему, Горячкину, внеочередной двухнедельный наряд с завтрашнего же дня возить в школу воду и колоть дрова. Не будет этого им, Горячкиным, исполнено, тогда Комиссия срочно исполняет ремонт старой школы и приглашает в нее на постоянное жительство сапожника из Крушихи либо из другого селения. Нет возражений? Согласна ли Комиссия?

Калашников согласился с облегчением и восторгом: «Вот-вот, Родион Гаврилович, именно так!», Игнашка погрозил Горячкину: «Во, Мишка, во наука дак наука тебе, Мишка! Понимай землевращение как следоват!» Дерябин же кивнул молча — ему было неловко за свою

собственную растерянность, за то, что не он, а поручик Смирновский так быстро решил вопрос. Он кивнул еще и сказал:

— Я думаю, ни у кого возражениев не будет. Правильно, а главное — быстро и ясно внес свое предложение Смирновский. Теперь выйди, гражданин Горячкин, отседова прочь — о тебе решено все, что необходимо!

И Мишка Горячкин, бормоча что-то о самоуправстве и самозванстве, путаясь между скамейками, пошел к выходу.

— Следующий наш вопрос,— объявил Дерябин,— об гражданах Кругловых, Федоте и, главным образом, Прокопии! Тихо, граждане, все присутствующие! Выслушивается гражданин милиционер Пилипенков!

Встал Пилипенков — огромный, с узкими глазками на красном лице. Первым делом он уставился на Саморукова Ивана Ивановича, он его привык слушаться, руководствоваться его указаниями и от него же подкармливаться.

Так, не спуская с него глаз, Пилипенков сообщил, что у Кругловых Прокопия и Федота уже в третий раз конфискованы и разбиты самогонные аппараты. Не с очень-то большой охотой и старанием делал Пилипенков свое сообщение, как будто признаваясь не в своей, а в чужой вине: «Комиссия указала мне застать, поймать и разбить в кругловских избах те самые аппараты,— говорил он глухо, словно из пустой бочки.— Комиссией было предложено мне нонешнее мое сообщение, и вот оно сообщается...»

Смирновский опять морщился, покусывая губу, а когда Пилипенков кончил, спросил его:

— Как понять? Значит, не дело милиции бороться с самогоноварением? Не ее, а только Лесной Комиссии?

На минуту оторвав глаза от Ивана Ивановича, Пилипенков принял стойку «смирно» и четко, словно рапортуя, ответил:

— Никак нет! Наоборот сказать, исполняем службу со всем старанием!

Стало ясно, что служакой Пилипенков был немалым, имел когда-то опыт службы фельдфебеля, городового, еще кого-нибудь, и всем было интересно это неожиданное преображение ленивого милиционера, но тут взвился Прокопий Круглов. Обеими руками захватив

свою длинную, ни дать ни взять, козлиную бороденку, он помахал ею в сторону Пилипенкова и накинулся на него:

— А-а-а, вот она есть какая — лебяжинская милиция! Я в своей очереди на тот же ход ставлю вопрос: дак кому же ты служишь, Пилипенков? Лесной Комиссии, когда она посылает тебя подглядывать в избах свободных граждан? Призывает тебя на сходню и приказывает соопчать, как ей нужно? Либо служишь ты истинной и твердой власти Верховного адмирала Колчака? Ты скажи об энтом прямо и нисколь не таясь?! Я вот говорю: мне нонешняя Лебяжинская Комиссия — никто, вот кто! Язьвило бы ее! А тебе? Я готовый на все за Верховную власть, а ты? Обратно, спрашиваю я у тебя же? Давай разберемся, выяснимся до конца — кто за кого? А тогда уже и будем по-настоящему судить-рядить друг дружку! Тогда, может, и даже наверно уже, не тебе на меня, а мне на тебя выйдет доказывать! — Круглов Прокопий победно-диковато огляделся, стукнул брата по плечу и громко продолжил: — Знайте все и зарубите на носу — во какие мы братовья Кругловы есть! Во какие! И не зовите нас на свой суд, а то кабы мы не призвали вас на подсудную скамейку по всей форме и при солдатах с ружьями, да и милиционера Пилипенкова вместях с вами — тоже! Язьвило бы вас! Ты подумай об том, гражданин милиционер, подумай на все свои мозги! А то грех какой: самогонный аппарат! Даже смешно, язьви тебя! Да вовсе не в аппарат надобно глядеть, а в преданность власти — вот во што! Вот она в чем — главная-то мерка! Главнейшая! Остатнее все — тьфу! Трын-трава и мелюзга! И в энтом никто с нами, с братьями Кругловыми, не сравняется! Никто! Потому мы и не потерпим с тобою, Федотушка, единокровный брат мой, ни от кого и никакого произволу и насилия — во! Мы родную нашу власть на вас призовем — глазом не успеете моргнуть! — Тут Круглов Прокопий еще раз, еще сильнее вдарил молчаливого Федота по плечу и снова крикнул: — Во!..

Откуда что взялось в Прокопии, откуда что?

Снова и снова вспоминали члены Комиссии, что мужик он — темнейший, только и умел, что денно-нощно тянуть из себя жилы на пашне и на ограде. Но как научился нынче разговаривать! Как почуял время!

И опять была в затруднении Комиссия. Она привыкла решать дела тихо-мирно, в чистой, блистающей

зеленью фикусов избе Панкратовых и без посторонних глаз. Она выносила решения, а Дерябин со своей лесной охраной как-то и не очень заметно, зато быстро эти решения исполнял.

Теперь же все было внове, и Дерябин снова растерялся: то ли произнести ответную речь, то ли как следует крикнуть на Круглова Прокопия?

И опять не он, а теперь уже Иван Иванович Самоуков, сперва понюхавши табачку, боком-боком первым поднялся со скамьи, руки взвил над головою и отчаянно как-то не то что заговорил, а почти что запричитал:

— Дак энто что же за надсмешку такую над собою позволяем нонче мы делать гражданину Круглову? Круглову Прокопию! И над представителем верховенствующей власти, над милицией Пилипенковым — позволяем всенародно то же самое! Он, вишь ли, Круглов Прокопий, преданный Верховному правителю, а мы дак — нет, мы — нисколь?! Ах ты гад за это! Да откуль тебе известна наша собственная преданность! Хотя бы моя лично? Либо вот — Игната Игнатова? Да кому все мы служим, Комиссия, как не Верховному правителю и новой его власти? Откуль у тебя твое самозванство и наглость? А где ты был, гражданин Круглов, когда все наше обчество делало складчину на доблестную армию Сибирского правительства? Вот хотя бы тот же гражданин Игнатов в ту пору сказал так: «Не жалко от души отдать, сколь могу, рублей!» И дал сколь-то от себя рублей в полных деньгах! А ты, Круглов Прокопий? А твои слова? «А пошла она, доблестная армия, к ...!» — вот какие были твои в ту пору слова!

— Иван Иванович! Побойся бога! — ужаснулся Прокопий, но Иван Иванович бога не побоялся, а повторил громко и раздельно:

— Ей-богу, вот вам, граждане все присутствующие, крест,— было сказано Прокопием Кругловым: «А пошла она, доблестная армия, к ...!» Вот и Пилипенков подтвердит, при ем были слова говорены!

Пилипенков открыл свой бесформенный с жирными губами рот, сказал «конешно» и улыбнулся на всю красную физиономию, а Иван Иванович принял торжественный вид, поднял палец кверху и предложил:

— Давайте вот так и подступимся к Прокопию Круглову и запишем в протокол: изъять у братьев

Кругловых семьдесят пять штрафных пудов зерна. Изъять, опять же как штрафного, поскольку он им без конца спекулировал и отвозил на ём самогонный котел из собственной избы в братову избу,— рабочего мерина. Которого он за спасибочки взял у Савелия Куприянова. Всю энту, а может, и другую, каковая может случиться, штрафную конфискацию передать от лебяжинского общества на доблестную армию Верховного правителя!— И Саморуков осенил себя крестным знамением и сказал еще:— Ну, с богом! Кто — за?

Калашников с Игнатием Игнатовым подняли руки, посмеиваясь легко, будто сбрасывая с рук что-то лишнее, Дерябин же примеривался несколько раз, то приподнимая, то снова опуская руку,— произвести Круглову конфискацию, да побольше, ему страсть хотелось, но отдавать конфискованное добро Колчаку — не хотелось нисколько.

Он с недоверием, сердито глянул на Ивана Ивановича, а тот подмигнул одним глазком: «Да энто же я просто так! Конфискуем, а после неужто будем отдавать кому-то добро? Хотя бы — и Колчаку? Неужто мы такие глупые — отдавать?!» И Саморуков еще раз повторил:

— Ну с богом!

Дерябин поднял руку тоже.

Саморуков и еще сказал Круглову, когда все проголосовали:

— Бога мало, политики много — вот в чем беда! Заполитиковался народ до края! Ить энто надо же — Круглов Прокопий в политику ударился?! Вот бог-то и наказал тебя, Прокопий! Вот и заплатишь семьдесят пять пудов да мерином ишшо заплатишь за политику-то!

А дальше дело пошло без помех — у порубщиков опять-таки было решено конфисковать браконьерский лес и передать его в обменный фонд Комиссии, а Игнашке Игнатову поручено обменять этот лес на школьные принадлежности в степных деревнях. Кроме того, взимался штраф по десять пудов с каждой незаконно срубленной лесины; двум членам лесной охраны, сильно повздорившим друг с другом, был установлен трехдневный срок для примирения; еще решены были некоторые вопросы, а перед тем как приступить к рассмотрению дела по организации лесных промыслов, Комиссия устроила перерыв.

Надо было покурить, сходить до ветра, милиционеру Пилипенкову не терпелось поглядеть, как записано о нем в протоколе.

Игнашка Игнатов очень был восхищен нынешним заседанием:

— Вот говорилось у нас в Комиссии — оторвались мы от массы! Ничуть даже! Глядите — все слушаются нас, все дела нами делаются и улаживаются! Народ — за нас! Вон уже и на заседания к нам люди приходят просто так, поглядеть, послушать, ума набраться!

Рассматривая протокол, Пилипенков тоже остался доволен — ничего лишнего, что говорил о нем Круглов Прокопий, в бумаге не значилось, и Пилипенков, поглаживая себя по короткой, почти не существующей шее, объяснял Игнашке Игнатову:

— Служба, говорю я тебе, Игнатий, служба, она в действительности — кому? Она — сильному и никому более. Смекай, кто сильнее, тут все и дело. Слабый — он как? Он сразу же объявляет себя человечеством, а это врака! Врака и даже преступление! Я знаю, я мно-о-го служивал! Кто служивал, тому известно: не хочешь — не ходи в службу, пошел — служи громко и явно, во весь-то свой голос! И тайно тоже служи! Без того и без другого службы не бывает!

Покуда, разинув рот, Игнашка слушал Пилипенкова, председатель Петр Калашников пригласил к столу Саморукова, минутой позже — Смирновского, сказал, что надо бы с сего числа официально оформить их как членов Комиссии. После утвердить решение на общем собрании граждан.

И только кончился перерыв, как в дверях показалась Домна Устинова.

Она была в будничной одежонке — старенький вылинявший полушубок, суконный платок на голове, но и в этом облачении все равно казалась приглядной — статной, розовой с морозца, улыбалась, как всегда, спокойно, к людям доброжелательно. Ни дать ни взять — невеста!

Первым заметил ее Калашников, оглядел, тоже улыбнулся:

— Тебе кого, Домнушка? На кого из нас ты вот этак глядишь-то?

— Мужика своего поглядываю. Нету разве его среди вас?

— Нету...

— Как так? И не было?

— Не было! Ведь больным же он в постели лежит? Разве нет?

Домна задумалась...

И лицо у нее медленно обмякло, стало серым, морозная прохладная розовость медленно отступала с него, потом исчезла совсем.

— Непонятно мне!— сказала она, припадая плечом к дверному косяку.— Непонятно: ночью-то вызывали Левонтьевича из дома, в окно стучались — разве не вы? По общественному делу звали, срочно — не вы?

— У нас в понятиях не было!

Замолчали все.

— Искать! Искать повсюду!— очнулся первым Смирновский.— Искать!

Устинова Николая Левонтьевича искали всей деревней и часа через два нашли в сугробах, пониже того узкого проулочка, в котором недавно встречались Домна и Зинаида, повыше того отмелого берега, где летом, бывало, приставали лодки, возвращаясь с Крушихинского базара.

Там, по некрутому озерному склону, поросшему боярышником, тополем-кустарником и тальником, каждую зиму высоко наметывало снегов.

Голова Устинова была пробита чем-то тяжелым и тупым, вернее всего — обухом топора.

На голове — мешок, руки связаны. Между руками зачем-то просунута палочка-костыль деда Егория.

В сугробе неподалеку закопан был и Барин с веревочной петлей на белом воротничке.

Беду и войну лебяжинцы предчувствовали давно, томились жутким ожиданием изо дня в день, из ночи в ночь, но почему беда началась с Устинова Николая?

Не одна только Домна, но едва ли не вся Лебяжка знала и верила, будто Устинов Николай если уж и погибнет, так после всех других: он был разумным, добрым и спокойным, зря ничего не делал и не говорил, а все — по смыслу и на пользу. На него и обижаться-то будто бы было некому, и счеты сводить не за что. Угадал он в лесу на борону, на железные зубья — так это случайно. Не для него борона была поставлена — для кого-

нибудь из лесной охраны, кто первый по дороге проедет. Те злодеи, которые из бороны ловушку подстроили, если бы знали, что попадет в нее Устинов, так убрали бы ее с дороги.

Оказалось — нет, не убрали бы!

Лебяжинцы думали: ну, если Устинов попал-таки на борону, а все равно — жив, так после этого ему жить да жить, ничего с ним больше уж не случится.

Оказалось — нет, не жить!

По скрипучему снегу торопливо ходили лебяжинские мужики со двора на двор, из одной избы в другую. Отрываясь от печей, чугунков и ребячьих люлек, бегом бегали одна к другой бабы — как бы чего-нибудь понять? Как бы узнать — что это значит, погибель Устинова? И следующий кто? Что же это дальше-то будет, если началось не с кого-нибудь, а с Устинова Николая Леонтьевича?

Вечером того же дня, почти уже к ночи, в той же сходне, по тем же лавкам снова сидели все члены Комиссии: о чем-то все вместе они, может быть, и догадаются? И всем другим, недогадливым, объяснят?

Пилипенков явился.

Половинкин пришел. Лохматый, молчаливый. Держась подальше, сел в темный угол.

Решено было назначить похороны на послезавтра. На послеобеда. Похороны провести по гражданскому образцу, с траурным митингом, но и отпевания тоже не избегать, занести гроб из помещения сходни в церковь, а уже оттуда — на кладбище.

Дерябин предложил всем членам Комиссии выступить на митинге.

— Я думаю — начнем с тебя, Калашников. Ответь нам сейчас и заранее: что скажешь народу? С какими обратишься к ему словами?

— Как тут скажешь?— закрыв глаза и покачиваясь, ответил Калашников.— Мы тут все без малого собрались фронтовики разных войн и народов. Повидали, слава богу, смерти! Но никакая война в нас, в русских мужиках, не способна вконец извести душу. Вот и давайте прислушаемся, что она нам нонче укажет, душа? Как застонет? Заболит — как? Вот это я и знаю, а слова об том же самом неизвестны мне.

— Так ведь ты уже и высказался, Калашников!— заметил негромко Смирновский.

— Где там!— не согласился Калашников.— И голова, и сердце, и весь я до последней капли крови переполненный товарищем Устиновым. И вижу я его. И слышу. И чую. Разве это обскажешь? Никогда! И годы наши тоже не те надеяться, будто мы такого человека, каким был товарищ Устинов, еще повстречаем. Не повстречаем! И таких людей завсегда после смерти показывают — вот какой человек! Но в пустоту уже показывают, в ничье место!

Дерябин, обжигая пальцы, прежде чем заговорить, подправил фитилек на свече, света стало побольше, отчетливо проступили пазы в нештукатуренных стенах и тени людей, изломавшиеся на них.

— А я вот что — я выскажу нонче всю правду! До конца! Хватит всем нам, а мне так и особенно, вполголоса разговаривать, думать, а для людей утаивать — что и как! Я скажу — игрушка была наша Лесная Комиссия, вот что! Вот мы и доигрались в свою игрушечку! Вместо того чтобы самим до конца идти по пути самой главной переделки человечества, вместо того чтобы до конца ликвидировать Гришку Сухих, разных там Кругловых, а может, даже и тебя вот, Иван Иванович, и уже объявиться военной действующей силой против деспотов,— мы занимались речами, да лесинами разными, да самогонными аппаратами. И дождались гибели товарища Устинова! И я спрошу: как понимают люди эту гибель? И никто мне на вопрос не ответит! Потому что общество наше находится в полном заблуждении. Такие вот, как ты, Иван Иванович, в этот совершенно темный тупик его когда-то завели, то есть предали окончательно! Я даже про себя скажу, не постесняюсь: я тоже поддаюсь твоему, Иван Иванович, вредоносному влиянию! Хотя бы взять последний случай, когда я под воздействием поднял руку за конфискацию у братьев Кругловых, но не просто так, а в пользу Колчака, с клятвою и с верноподданническими возгласами к нему! Позор! Есть один только выход — безжалостная война всех, кто хочет светлого будущего для народа, со всеми, кто не хочет и не желает его! И вот я скажу: «Спи спокойно, дорогой товарищ Устинов,— мы борьбу за тебя, за все твое человеческое, за то, чтобы никогда уже такие же люди, каким ты был, не убивались злодейски, а только помирали бы сами по себе, в кругу любимых

родственников и детей — мы эту борьбу доведем до полного и победоносного конца!» Настало время все это сказать всей массе, всему народу.

Смирновский, слушая, переложил со стола на колени шапку-папаху офицерского образца, но без кокарды, потеребил небольшой ус.

— А может быть, общую траурную речь составить? От всей Комиссии? Сможем? Перед лицом покойного Коли Устинова?— спросил он.

— Нет!— ответил Дерябин.— Нет, не сможем!

— Обращение общее — мы же написали?

— То — другой разговор!

— Так что же — мы сегодня уже разрушаем наше собственное Обращение? Признаем, что нет у нас общественного начала? — спрашивал Смирновский, а Дерябин отвечал:

— Да что оно нонче такое — общественное-то? Когда весь белый свет на куски расколотый, и собирать их да склеивать гораздо трудней и бессмысленней, чем сделать все заново?

— Что все-то?— не понял Калашников.

— Говорю же — весь белый нонешний свет. Весь мир. Все человечество. Все сделать заново раз и навсегда. Разрушить до основания, а затем... вот так.

— Ну, как же так?— развел руками Калашников.— Как же так? Травинки разные и те составляют один луг, а люди? Уже ни во что не могут складываться? Ни во что составиться?

— Могут!— сказал Смирновский.— Обязаны! В нации и в государства. Не пустое дело. Люди без этого не существуют!

— Это — вообще. А нонче — не могут и не должны!— стоял на своем Дерябин.— Нонче людям срочно необходимо избавиться от сорного пырея, который повелся среди них в изобилии в любой нации, в любом государстве. Вот что — первое и главное! И ты, Смирновский, ты сам-то что скажешь траурному митингу?

Смирновский помолчал, постукивая пальцами по коленке, и еще раз переложил папаху с коленей на стол...

— Честный солдат из-за угла убит своими же — страшно! И не знаю, как будет, ежели мы этого не испугаемся, не содрогнемся от этого! Я вот что предлагаю сказать,— ухватился Смирновский за пришедшую к не-

му мысль,— это убийство на каждом из нас лежит позором, каждый нынче подозревается в низости, а чтобы очиститься от скверны — найдем убийцу! Пусть каждый вспомнит, что он слышал прошлую ночь? Шаги какие-то, езду по улице? Скрип ворот у соседа? Чьи собаки лаяли тогда? Пусть каждый считает, что, если не будет найден виновник, тогда он тоже — виновный, не убийца, так соучастник! Ведь это же своими сделано! Чужие не знали бы, что Устинов ходит уже после болезни на улицу и можно его, хоть и хромого, а вызвать из дома? Свои, свои сделали! Знающие!

— Нет, Смирновский, не добьешься ты настоящего следствия! В наше-то время? Выдумка это и блажь,— заметил Дерябин.

— Помолчим!— ответил ему Смирновский. Встал, широко перекрестился и снова сел.

— Вот так, вот так,— подал из угла глухой свой голос Половинкин.— Надобно всем на похоронах широко креститься! Чтобы другим видать было и самим себе: все от бога! И торжественные слова, громкие, хотя бы и рыдательные, должны быть. Чтобы оне каждого клюнули в саму душу. До боли!

После того как Половинкин, громко хлопнув дверью панкратовской избы, ушел из Комиссии, он как будто одичал вовсе. Он и всегда-то был мужиком запущенным, лохматым, ходил в рванье, а нынче совсем стал мрачным. Говорил, глухо кашляя, взявшись обеими руками за голову, ни на кого не глядя.

— Это власть да вот еще священнослужители говорят-то слишком громко!— отозвался на его слова Калашников.— Это оне подмяли под себя все: и землю, и дворцы разные, и громкие слова. А нам, народу, посвоему и обыкновенно, зато по правде надо выразиться! Ты вот, Половинкин, что сказал бы о Николе Левонтьевиче?

— Ну кого я там скажу, ежели от себя самого, а не от бога говорить? Никого не скажу. Работник был Устинов, вот! Страсть какой работник, мы ить с им пашенные соседи. Как зачнет пахать на Моркошке своем, да на Соловом, дак, верите ли, мужики, пар у его от пласта бесперечь идет, ну будто вот веником березовым он пашню парит, а не плугом пашет ее. И от зари до зари — все ему одинаково, у́стали на его нет! Как зачнет с утра, так же во тьме кончит. Глядеть без зависти не-

возможно, дак я грешил, завидовал! — И Половинкин не через рукав, а сквозь дыру полушубка высунувши руку, махнул ею и еще сказал: — Я ить как? Я ить зарекся с вами, с Комиссией, вожжаться, надоели вы мне сильно разными словами, но вот повернулось — я обратно вас тут слушаю и даже сам разговариваю. Все из-за Устинова. Он и живой и мертвый не отстает от меня!

Половинкин смолк, а торопливо, даже слегка заикаясь, заговорил Игнашка Игнатов.

— Умный он был сильно, Николай-то наш Левонтьевич, — заговорил он. — А энто человеку во вред! И совестливый он был. Опять — во вред! Я тоже покаюсь, сколь годов был шесть с полтиной рублев ему должóн, а он стеснялся спрашивать. Я вот и в Комиссию-то тоже стеснялся пойтить, думаю, сидеть буду за столом с Устиновым рядом, а он и спросит шесть с полтиной — дак не спросил же ведь ни разочку! И еще покаюсь, не отдал бы я долгу, кабы не нонешний случай со злодейским убийством! Ну, теперь ужо отдам — при всех обещается мною, отдам вдовой Домне Устиновой. И скажу ей — не убиваться, все одно совестливые эдакие, оне ведь не жильцы — нет и нет!

— Нет! — тихо повторил Иван Иванович. — Нет, ты их не слушайся никого, Никола Левонтьевич! Их не слушайся, слушайся меня. Оне все — кажный об себе да об своем, ну и пущай их, а я без малого девяносто годов топтался по земле, всякого вытоптал, и своего у меня за столь великий строк без малого вовсе не осталось. Я потому жил — не помирал, что какой предмет мне непонятный в жизни, не умею сказать о ём, не знаю его, я тот же час догадываюсь: «Ну ладно, — я не пойму, другие поймут! Никола Левонтьевич поймет заместо меня, вот кто!» И вот нонче думаю-считаю: сколь же годов-то я прожил благодаря тебя, Никола Левонтьевич? По твоёй причине? А когда нету уже тебя, дак я беспричинно живу, да? Да, так оно и есть дело! И уже полным обманом живу с минуты твоей кончины, вот как! Жить нехорошо мне без тебя, а помирать — как? На кого же понадеяться, если б не на тебя! На кого глянуть раз последний, кого услыхать отходящим слухом? Я же вот на их на всех, — показал Иван Иванович на присутствующих, — я на их, на живую Комиссию, понадеяться правдишно не могу! А не понадеявшись, не страшно ли разве помирать, Никола Левонтьевич? Вот

какое ты сделал мне положение! Не могу выговорить я смерть твою, не в силах, тем более — истинно она сделана своими же жителями. Как же случилось и бесподобно: жить нельзя, и помереть страшно, страшно к старцу Самсонию Кривому пойти, пасть у ног его босых, под взгляд жаждущий ока его! Пасть и поставить перед им чашу отравленную, из коей испить нету ему одного глотка, ибо отрава она, яды в ей во множестве! «За что принимал я великую скорбь, и муки, и мрак? И гнев и упрек — проклятие старшего брата своего, старца Лаврентия святоликого? За что?— возгласит ко мне Самсоний.— За что, когда, заместо искупления грехов моих и заступничества за вас, вы, внуки мои, еще более отравили чашу сию? Пошто владеет вами блуд, и страм, и бесчеловечье великое? Для того ли отвел я вас обратно на место нонешнего жительства и рождения и крещения вашего?» Вот как возгласит ко мне Самсоний-старец, а я? Ожидание возгласа его — смертная мне пытка, но одного я прошу: «Господь бог! Не томи, призови скорее к ответу и к мукам адовым! Не распинай на энтом свете, распинай на том — при лике твоем скорбном светлее мне будет, распятому, чем при взглядах неблагодарных человечьих, не по праву живущих убийц и козлов блудливых!»

А когда Иван Иванович протянул руки, подхватывая что-то невидимое, никто не сомневался — это он смерть свою подхватывает и вот сейчас умрет.

Но Иван Иванович не умер.

Кособокий, со слезами, застывшими в морщинах, он встал, стоял долго и недвижно, а потом вздохнул продолжительно, руки опустил и пошел. Тихо-тихо, едва-едва. У выхода сказал:

— Ну? Как мы можем? Никак! И — ничего!

Зима брала свое, и на послезавтра, в день похорон, мороз сильно окреп.

Белый Бор, не шевелясь ни веточкой, ни хвоинкой, четко пронизывал небо.

Растворенный в небе туман, тоже неподвижный, редкий, белесовато-голубой, кое-где был освещен солнцем, а солнце, бесцветное, остекленевшее, с одной лишь яркой полоской окружности, тихо удалялось прочь с небес, подхваченное невидимым и медленным движением.

Только у солнца было движение, весь остальной небесный мир погрузился в неподвижность и сам излучал ее.

Мир земной и виден и слышен был недалеко, черный край Белого Бора, белая, слегка светящаяся поверхность озера Лебяжьего. В мороз и в снег впаяны серенькие крапинки лебяжинских изб, в глухую тишину — редкий похоронный звон деревенской церквушки.

В малой комнате сельской сходни на стене расклеено было обращение Лесной Комиссии к гражданам села Лебяжки, аккуратно переписанное Устиновым на двух больших, светлых и красивых листах бумаги, когда-то изъятой из конторы Лебяжинского лесничества, а на длинном столе, в узкой раме из сосновых досок, пахнущих смолой и с затейливыми коричневыми разводьями смолы, лежал и сам Устинов Николай Леонтьевич.

Глаза плотно закрыты, смотреть вокруг ему уже нельзя.

Он был худ, изможден, страдание было на его лице, и ужас таился под закрытыми глазами, а он все еще хотел что-то увидеть, он был в ожидании.

Что могло случиться с ним — все случилось, но ему все еще интересно, как и что сейчас будет: как будут говорить о нем люди, как понесут его в церковь и отпоют, как в нынешний мороз будет закапываться над ним земля.

В головах его стояла Домна — выплакавшаяся, бесслезная и тоже в ожидании — в ней зрели и накапливались следующие слезы и вопли. Только они и могли быть, больше для нее не могло быть ничего, никакой иной судьбы.

А в ногах у отца стояла Ксения, вся набрякшая слезами, огромный живот под истрепанным тулупчиком, оттуда же, из порыжевшей овчины, торчат немигающие глазенки Наташки и Шурки-младшего и ничего понять не могут, только страшатся. На руках у Ксении безмолвный, позабывший непрестанное свое беспокойство, крики и возню Егорка. Этот смотрит и, кажется, будто понимает все. Один только и понимает на всем белом свете.

Шурка, устиновский зять, тут же был, стоял неловко, словно на чужих ногах. Плакал горько, беспрестанно. Закрывал глаза ладонью.

И еще была Зинаида Панкратова. Лица не видно, оно в тени и прикрыто платком, видны руки с помойным ведром и с тряпкой. Она пришла на сходню с утра, ее спросили: «Зачем?» — «Помыть, да хотя бы как почистить помещение,— ответила Зинаида.— Я дома у себя сколь обихаживала ее, Комиссию-то! Привыкла уже!»

Ведро подрагивало в ее крупных руках, позвякивало — единственный был звук вблизи устиновского гроба.

Потом Зинаида поставила ведро на пол, на темные некрашеные доски, и стало совсем тихо, беззвучно.

Только через дощатую перегородку из смежной комнаты доносился искаженный, прерывистый голос Дерябина.

Там снова находились все члены Комиссии, и Половинкин тоже пришел — своею мертвою властью их снова собрал Николай Устинов, и все, не то слушая, не то совсем не слушая, сидели молча, неподвижно, а Дерябин сбивчиво, торопливо, зло говорил:

— Я и сам-то не хочу при такой отвратительной жизни жить!— говорил он.— Это же надсмешка все над тем, что в действительности должно быть! Не жизнь — а похабная надпись на заборе! Дерьмо вонючее! Обман из обманов! И нету такой жертвы, чтобы она была слишком велика для переделки этой похабности! Не только что нету, но и не может быть!

— Ну, Дерябин, Дерябин!— останавливал его Калашников.— Нельзя все ж таки жизнь так ненавидеть и проклинать! Нельзя, хотя бы она и убила нашего Левонтьевича! Он бы ее за это не проклял! Я уверен! Знаю.

— Вот за то, что он ее не проклинал, она с им так и обошлась! С такой благодарностью! Не-ет, я лишь только открою утром глаза — сразу же начинаю ее страшно ругать и разоблачать! Понимать: все в ей не так — не по разуму, не по порядку, а ровно в помойной яме. И даже хуже!

— Ты, Дерябин, нонче, как словно Кудеяр провозглашаешь! Помолчи перед памятью нашего друга-товарища!

— Не буду молчать! Не буду! Кудеяр — тот мальчишка передо мною сопливый, вон он кто! Конец света призывать! Дак это же пустяки! Это по-бабьи жалостли-

во! Не-ет, тут сперва надо покуражиться надо всем, что есть на свете! Как все, что есть на свете, веками издевалось и куражилось над человеком, так настало время, человеку надобно отнестися ко всей жизни, ко всему свету! Настало! Надо все переделать наново, не так, как было, ну а ежели обратно ничего не выйдет — обломки пустить под откос!

Смирновский, сидя к Дерябину спиной, будто бы и не у него, а все-таки спросил:

— Не понимаю: а как же при этом в Лесной Комиссии состоять? Состоять, да еще и стараться? Аккуратно исполнять обязанности?

— А это — для пробы, господин поручик! Ну вот как дети в куклешки играют, и это для их будущие взрослые действия, как парнишки крохотные играются в войну, чтобы после уже по-настоящему уничтожить друг дружку, так и я играюсь в Лесную Комиссию! Старательно играюсь! А сам жду того часа-времени, когда весь народ поймет и созреет для проклятия и для переделки и перемолки всего белого света! Жду!

И Дерябин смолк, и долго стояла тишина, а потом в тишину эту начали закрадываться Ивана Ивановича Саморукова старческие слова...

За последние сутки он отжил свою бесконечную жизнь, лицом стал желт, исковеркался и скособочился, как будто бы из человека начал становиться уже не человеком, а чем-то другим — плечи вывернуты одно вверх, другое вниз, влево и вправо, шея окостенела, из нее вот-вот совсем вывернется кадык, один глаз оплыл, а сам он сидит зачем-то еще чуть-чуть, но живой, задыхаясь, то громко, то совсем тихо рассказывает о Большой Медведице.

Разные в Лебяжке существовали сказки, давние, праотцовские, все больше шутливые или про любовь, но эта была совсем другого нрава. Эта была людьми почти совсем забыта, но вот Иван Иванович в последней своей памяти припомнил ее.

Старец Самсоний Кривой, уходя с этого света, покидая первонасельников Лебяжки, боялся, как бы кержаки и полувятские, породнившись, сделавшись одним селением, когда-нибудь после не учинили бы между собою нового раскола и вражды.

И заклинал Самсоний и тех и других, и взрослых и малых, и мужчин и женщин против такой беды и отчаяния.

И взывал старец к небу, а в небе — к звездам Большой Медведицы, чтобы они, когда заметят со своей высоты что-то худое между лебяжинцами — распрю и злобу, замыслы друг на друга,— чтобы дали знак на Землю, в дремучую чащу Белого Бора, в глубокую берлогу, куда и солнце-то досветиться бессильно, а только звездное сияние проникает на миг однажды в ночь.

По знаку тому выйдет из берлоги слепая, о семи разноцветных малых и больших головах Медведица и пойдет на запах человечьей злобы и распри, и порушит лебяжинские избы без малого все до одной, не пощадит виноватых и даже — правых.

Так будто бы предрекал Самсоний Кривой, и повторял нынче его предречение, склонив голову на руки, Иван Иванович, повторял и повторял, покуда Дерябин не поднялся за столом:

— Пора уже с товарищем Устиновым в последний раз всем нам заняться! Глядите — на улице, несмотря на мороз, народ все-таки собрался в огромном количестве, пора открывать наш траурный митинг! Я лично готовый сказать свою речь, ну а кто все еще не одумался хорошенько — тот пускай помолчит! Пошли! Народ нас ждет!

— Не нас он ждет, народ-то!— заметил Калашников.— Не нас, а Устинова Николу ждет в последний раз! И я под это народное ожидание вот что скажу — я призову в память Николая Левонтьевича всем жителям быть едиными между собою в нонешний грозный час, а также поддерживать свою Лесную Комиссию.

— Ну это все равно — если люди ждут Устинова, это значит, что они ждут и нас, Лесную Комиссию. Пошли!— еще поторопил Дерябин.— И вот что, товарищи члены Комиссии, покуда идет траурный митинг — шапки не надевать! Хотя и сильный холод,— все одно ни в коем случае не надевать!

И только Дерябин протянул руку распахнуть дверь, как она распахнулась снаружи, и сквозь густой морозный клубок воздуха кто-то крикнул:

— Солдаты явились! офицеры-колчаки!

Снова заметнулся густой морозный воздух, из него выступил офицер в темно-зеленой, без погон, куртке, в папахе под башлыком.

Он снял однопалые рукавицы, развязал башлык, потоптался, размял ноги после седла.

Покуда он разминался и развязывался, вошли и еще солдаты, они оттеснили Комиссию в угол, а офицер, прислонившись к столу, закоченелыми руками переместил кожаную сумку с левого бока на живот, расстегнул и достал бумажку. Расправил бумажку на ладони, спросил:

— Это и есть Комиссия? Вся? В полном сборе?

— Вся! Вся, ваше благо! — бойко, но не без страха ответил милиционер Пилипенков. Он вошел в помещение вместе с солдатами.

Офицер кивнул, начал читать по бумажке:

— Де-ре... Дерябин? Здесь?

— Я — здесь! — отозвался Дерябин из угла. — А что такое?

— Калашников Петр?

И Калашников тоже отозвался, но как-то неуверенно, как будто забыв что-то о себе самом. Офицер подсказал ему:

— Бывший кооператор! Ну-ну! Игнатий Игнатов! Здесь?

— Здеся я... Вот он...

— Половинкин?

— Я — тоже...

— Саморуков?

Иван Иванович громко, с облегчением вздохнул и голосом не таким уж замогильным, которым он только что рассказывал о Большой Медведице, а как будто чем-то обнадежившись, сказал:

— Здесь Саморуков Иван Иванович! Здеся он!

— Смирновский? Родион? Бывший поручик?

— Здесь!

— Тоже — член Комиссии?

— Тоже!

Появился еще один офицер, он сел за стол, положил перед собою маузер и, быстро взглядывая в лица всех членов Комиссии, стал растирать прихваченное морозом лицо.

— Удачно! Полный сбор! — кивнул ему первый, а этот повторил:

— Удача... Полный сбор, Ано!— Он был чех, этот второй офицер.

— Пилипенков? Правильно они назвались — члены этой самой Комиссии?

— Точно оне назвались, ваше благо!— подтвердил Пилипенков, но офицер, должно быть, не доверился ему и спросил еще:— А этот... ну, местный житель. Молодой башибузук, который с нами,— он здесь?

— Куприянов! Куприянов Матвей!— подсказал Пилипенков.— Вот он! Рядом со мною находится!

— Выйди-ка сюда, Куприянов Матвей!— приказал офицер.

Вперед, почти что военным шагом, в новенькой форменной куртке и в своей деревенской шапке вышел Матвейка Куприянов, обернулся к офицеру, нескладно отдал ему честь. Сам он был повыше многих солдат, а лицом — парнишка о десяти-двенадцати годах, но злой парнишка.

— Подтверждаешь, Куприянов, фамилии этих людей?

— Каких-то?

— Которых только что выкликал?

— Всех я подтверждаю.

— Ну а староста — не ты ли, старик?— спросил офицер у Ивана Ивановича, закончив перекличку.— Лебяжинский староста?

Иван Иванович промолчал, только пожевал губами, а Пилипенков опять шагнул два шага вперед:

— Он, ваше благо! Он только не завсегда признается, но другого нету никого на месте! И давно уже нету!

— Ну пошто же энто не признаюсь?— отозвался Саморуков.— Когда надобно — я признаюсь. Когда нету настоящего старосты — я за его!

— Объясни: кто выбирал Комиссию? Когда?

— По ранней осени было, господин офицер. Обчеством выбиралась она. Полномочным сходом.

— И протокол есть?

— Все по форме, господин офицер! Как же без протоколу? Никогда невозможно!

— Куда посылали протокол? Куда? Кому?— Спрашивая, офицер все еще дышал в ладони, и видно было, что ему становится все теплее и теплее, однако вопросы он задавал все строже и жестче глядел на Ивана Ивановича.

А Иван Иванович отвечал все веселее, распрямлялся в плечах и живее смотрел будто бы и подслеповатыми, а на самом деле уже прозревшими глазками.

— Протокол-от, само собою, был посланный нами. В Крушиху. Властям.

— Каким властям?

— Вот уже не скажу! Осенью ранней какая находилась тогда над нами власть? Припомнить бы! Ну, кои в ту пору были, тем и посылали! Однем словом!

— Ответ был на ваш протокол? Из Крушихи?

— Ответа не было, однако. Нет, не было.

— А это что значит? Что значит отсутствие ответа?

— Энто значит, властям, господин офицер, сильно недосуг было в ту пору. Оне сильно делами занятые были.

— Если власти оставили протокол об избрании Комиссии без ответа, так она не имела права существовать! А если существовала — так самочинно и самоуправно! Ты что — не понимаешь этого, старик?

— А вот у нас бумаги на милиционера Пилипенкова по сю пору нету, господин офицер! Сам здесь, сам прибыл еще во времена сенокосу, а бумаги на его нет как нет! Может, он тоже самочинный? Может, вы, господин офицер, строго прикажете удалиться ему отседова?

— Я ему прикажу посадить тебя в каталажку, старик! Понятно?

— Как, поди, непонятно, господин офицер! На энто дело у нас понятие заведено!

— А еще спрошу тебя, старик: ты что же — не знаешь, не слыхал, что еще в июле Временное Сибирское правительство восстановило права частной собственности? И на землю, и на лес? Что леса Кабинета Его Величества переданы в собственность государственную? А в это время Комиссия самочинно присваивает права на лес и даже устраивает свою собственную вооруженную лесную охрану! Это ли не преступление?

Тут вперед выдвинулся Смирновский, стал по стойке «смирно», спросил у офицера:

— Не могу знать вашего звания. Не подскажете?

— Начальник отряда.

— Благодарю!— коротко наклонил голову Смирновский.— Недоразумение, господин начальник отряда! В Лесной Комиссии никто не присваивал власти корыстно, но бескорыстно и безвозмездно каждый испол-

нял общественную обязанность. Не будь охраны, государство потеряло бы лесного богатства во много раз больше. Комиссия может безотлагательно представить все свои документы, расчеты, ведомости, и вы убедитесь, как разумно народ охранял природное и национальное богатство!

Офицер-чех, перелистывая на столе бумаги Комиссии, приподнял один какой-то листочек вверх и спросил:

— Докум-энты? Ано?

— Эти документы!— подтвердил Смирновский.

— О! О! О!— покачал головою чех, а начальник отряда снова передвинул свою потрепанную сумку с бока на живот, чуть поискал в ней и вынул еще одну бумагу. Прочел: «Вас, граждане Лебяжки, мы призываем к всесторонней поддержке избранной вами же общественной организации, на сегодня единственной в селении и тем более необходимой для утверждения во всех нас гражданственности и понятия, которые не создаются ничем, как только общественным сотрудничеством».— Прочел, поднял сине-прозрачные глаза на Смирновского, повторил: — «Вас, граждане Лебяжки, мы призываем...» А? До чего дошло дело — они призывают!! А кто вам дал это право — призывать? Откуда вы его взяли? У кого узурпировали? И подпись бывшего поручика? Поручик — тоже призывщик!

— Призыв! О! О!— поднял палец вверх офицер-чех.— О! О!

— Благородный призыв! Трудно под ним не подписаться! Нельзя не подписаться!— отозвался Смирновский.

В сходне было сумрачно, заиндевевшие окна пропускали блеклый свет, в котором нельзя было угадать ни солнца, ни дневного сияния, даже небо отсутствовало в этом разрушенном свете. И нельзя было угадать — что же будет дальше? Еще до того, как этот свет зимнего короткого дня погаснет окончательно.

Начальник отряда отшагнул назад, к окну, подставил под серый свет бумагу, прочел еще: «...сущность власти — разумный закон и порядок, а всякий человеческий закон и порядок бессмысленны без убережения людьми природы и земли...» Слушай-ка! Бывший поручик! Да кто знает сущность власти, кроме нее самой? А? Уж не ты ли? Или, может быть, вот этот мужик?— протянул он руку вперед, указывая на кого-то — не то

на Дерябина, не то на Калашникова.— Почему не на службе?— И еще раз повторил: — Почему поручик не на службе?

— Освобожден по ранению!

Начальник отряда помолчал, спросил у Пилипенкова, имеется ли у Смирновского свидетельство об освобождении. Пилипенков гаркнул, что имеется, сам видел, своими глазами.

— Ну, ну. Дезертир по закону!— кивнул офицер.— Отлично!

— Прошу вас...— возразил ему Смирновский, но офицер крикнул:

— Мол-чать! Последняя должность на службе?

— Командир стрелковой роты.

— Почему участвовал в шайке, командир стрелковой роты?

— Я участвовал в органе общественного самоуправления!

— Само-управления! Где? В деревне Лебяжке! Она что — не в России, твоя Лебяжка?

— Она — в России. Именно поэтому крайне необходимо...

— Мол-чать! Отвечай на вопросы! Кто из вас убил вашего сообщника Устинова? Николая? Ты это сделал, бывший поручик? В этакой бандитской шайке, называемой Комиссией, почему бы и не сделать? Тут у вас один другого стоит — разбойники!— Офицер передохнул, чуть подумал.— Ну, наплевать! Хоть бы и все перебили друг друга — для нас меньше хлопот.

— Я требую...

— Мол-чать!— И неожиданно тихо, даже задумчиво, начальник отряда обратился сначала ни к кому, куда-то в сторону, потом к Смирновскому.— Вольности всё! Всё — они!— Он был заметно младше Смирновского, но, сокрушенно покачав головой, сказал:— Вольности, молодой человек! Спроси меня: почему я здесь? В этой мерзкой деревушке? В берлоге из берлог? Потому что проходил через это. Разве попал бы я сюда, если бы не отрабатывал за них, за вольности! И ты, молодой человек, бывший поручик, тоже отработаешь!— Голос начальника отряда служебно изменился, и, встав по стойке «смирно», он обратился к чеху:

— Как думает господин Тимошек?

— Трид-сать!— кивнул тот. Потом подумал:— Господин поручик Смирновский — трид-сать — мало...

Господин поручик Смирновский, офицер русской армии, должен был воевать с общим врагом, с Германией должен! Освобождать славян от германского ига! А он? Он в Лебяжечке? А Чехия? А Галиция? Сербия? Они оказались в немецком плену. Да? Мало трид-сать... Ано, господин Смирновский. Мало? Вам? Я тоже поручик. Я знаю — мало! Я вам сказать — нечестно бросать союзников!

— Вы-то, господин поручик чешской армии, не воюете с Германией? Вы тоже — в Лебяжке?

— Мне воевать с Германией помешать большевик. Вы большевик? Ано?

— И всю войну, все четыре года вам тоже мешал воевать с Германией большевик? Сербам же никто не помешал?

— О! О! Тогда немного больше делать шомполов... Тогда — сорок! Сорок — это хорошо!— И чех улыбнулся доброжелательно, с пониманием.

— Ну вот, граждане Комиссия,— тоже усмехнувшись, сказал начальник отряда,— легко отделались: всем по тридцать шомполов, поручику Смирновскому за особые заслуги — сорок! Погода не соответствует, морозец, заголяться неприятно. Ну, сибирячкам к морозу не привыкать! Кузьмин?!

— Слушаю, вашбродь! — отозвался солдат от дверей.

— Тебе все понятно? Повторять не надо?

— Понятно, вашбродь!

— Люди — на площади? Лебяжинские граждане-товарищи?

— Ни один прочь не отпущен. Перекрыты все переулки и ворота!

— Исполни живенько! Конский рацион у тебя имеется?

— Конский, ваше благородие, имеется!

— Через час выступим обратно на Барсуково! Пилипенков?!

Пилипенков откликнулся, начальник отряда приказал ему объявить членам лесной охраны, чтобы в течение суток сдали оружие и подписки о невыезде из Лебяжки. Начальник отряда и еще хотел сказать что-то Пилипенкову, его перебил Смирновский:

— Разрешите из бумаг Лесной Комиссии показать вам одну? Оч-чень любопытную! Из которой вы многое поймете!

Начальник отряда кивнул, офицер-чех кивнул тоже, сказал: «Давай!» — и Смирновский подошел к столу, начал торопливо перебирать стопку бумаг.

— Сейчас, сейчас! — говорил он при этом глухо, как будто чужим голосом.— Сейчас! Сию минуту найду!

Члены Комиссии, стоя плотно друг к другу в полутьме угла, молча следили оттуда за быстрыми движениями рук Смирновского, и Дерябин сказал шепотом: «Выкручивается поручик-то! Предает, сволочь!»

Офицер-чех, сидя за столом и положив руку на маузер, поторапливал Смирновского, кивал ему головой: «Ну! Ну! Ано?» — И вдруг Смирновский с невероятной быстротой всем туловищем ударился ему в бок, и тот упал навзничь, оставив маузер на столе. Раздался выстрел. Еще один.

— Бегите!— перехваченно крикнул Смирновский.— Беги...

Стон, крик, звон стекла, удары прикладами, еще выстрел, еще удары, и через минуту стало видно, чем кончилась отчаянная попытка Смирновского: офицер-чех правой рукой держался за левую руку, и под пальцами у него кровенилось пятно, начальник отряда шарил под опрокинутым столом, отыскивая свою сумку; трое солдат поднимали с пола Смирновского; члены Комиссии, плотно прижатые солдатами в угол и друг к другу, тяжело и громко дыша, озирались по сторонам.

Через разбитое окно в помещение проникало больше света, морозный воздух клубился по полу.

Начальник отряда нашел под столом сумку, медленно встал в рост, потом, слегка согнувшись в коленях, ударил Смирновского в лицо. Офицер-чех ударил с другой стороны.

Размеренно они били справа и слева, а двое солдат с боков и один сзади поддерживали Смирновского, слегка разворачивая его в сторону то одного, то другого офицера.

И странно было, что Смирновский все явственнее проявлял признаки жизни, двигая головой, он отстранял от ударов калмыковатые глаза и вздыхал все ровнее... Потом он выпрямился. Потом напрягся и, метнув ногой вперед и вбок, ударил начальника отряда в живот, а офицеру-чеху в тот же миг выплюнул в лицо

кровь, кусочки кровяной мякоти и белые косточки зубов.

Снова глухо застучали друг о друга и обо что-то твердое человеческие тела, и снова послышался прерывающийся от боли голос начальника отряда:

— Кузьмин! Выводи! Всех! По восемьдесят горячих — каждому! Запороть — всех!

Солдаты стали выводить членов Комиссии из помещения.

Пилипенков спросил:

— Ваше благо! Как прикажете с убиенным?

— С кем еще?— Начальник отряда, вдвое согнувшись на табуретке, постанывал от боли.

— С убиенным... С Устиновым с Николаем? Оставить тело родственникам? Либо — как? Он в гробу, в соседней вот каморе находится?

— Под шомпола! Туда же, мерзавца!

— Дак мертвый же он! Сделано же с им уже все, и убитый он!

— Под шомпола!

— Восем-десят. Так!— вытирая лицо от крови, медленно выговаривал чех.— Восем-десят... Восем-десят...

Начальник отряда встал и, пошатываясь, тоже пошел к дверям, а Пилипенков еще спросил его:

— Ваше благо! Старикашечке-то, Саморукову-то Ивану Ивановичу,— как бы полегше? За им селение все стоит, да и пошто таиться — кормился я от его. Без жалованья от Крушихи, забытый здесь всеми, кормился я от его! Восемьдесят — это же верный тот свет, а без старосты — как управляться буду?

Начальник команды, растирая живот обеими руками, выдохнул:

— Как хочешь!— И снова опустился на табуретку.— Черт с ним, со стариком, как хочешь!

А Ивана Ивановича в этот момент последним уже выводили из дверей, и он, схватившись за полушубок солдата, закричал тоненько, с отчаянием:

— Да нешто я хужее других-то, господин офицер! За што вы меня эдак-то? Я ведь тоже харкну в личико-то вам! Я с малолетства метко плюваюсь в разную падлу!

— Ну, Пилипенков,— сказал начальник отряда,— этого сморчка, эту скотину — тоже запороть! А тебе — свернуть башку!

На площади перед сходней стояла густая, смерзшаяся и молчаливая толпа лебяжинских жителей.

Все здесь были: и Кругловы-братья, и Мишка Горячкин, и Куприянов Севка, и Кирилл Панкратов, и Шурка, устиновский зять, дрожал на морозе, как осиновый лист. Учителка здесь же была, помаргивала кругом наивными детскими глазками, ежилась и в крохотной муфточке, как могла, грела ручонки.

Около крыльца сходни стоял синий весь, но все равно бесчувственный к морозу Кудеяр. Без шапки, с расстегнутым воротником он шептал и шептал что-то о конце света.

Членов Комиссии по одному выводили на площадь. Смирновского несли на руках солдаты. Калашников глядел вверх недоуменно, будто не веря, что идет; Игнашка Игнатов, всхлипывая, тянулся к толпе руками, Саморуков Иван Иванович шагал деловито, подергивая косыми плечами, все еще обещая плюнуть в офицера. И как будто даже радовался, громко объявляя народу:

— Вот падло, офицеры энти, дак — падло! А Устинов-то, Коля-то — вот молодец дак молодец: сам обошелся, без падлов, сам загодя погибнул! Ну — не молодец ли?! А? Вот умница! Завсегда он был умницей!

К офицеру-чеху подошел Кирилл Панкратов, стал объяснять, поглаживая свою бородку, часто моргая заиндевевшими ресницами:

— Господин офицер, я вам скажу... Я на войне пленных чехов сопровождал, я с ими очень по-человечески обходился. Обойдитесь, прошу, и вы по-человечески — отпустите на волю старика нашего, Саморукова Ивана Ивановича! Он — старик глубокий, он к тому же сколь добра сделал в разное время людям?!

— Фамилие?— спросил чех.

— Чья такая?— не понял Кирилл.

— Твоя, мужик, твоя! Фа-ми-ли-е! Ну?

— Панкратов! Панкратов Кирилл...

— В твоем доме собирались заговорщики? Ано? Лесная Комис-сия? За-го-вор! Да? Написано документом: «в доме Панкратова Кирилла»! Ано! Пятьдесят шомполов! Пять-десят!

И Кирилла подхватили солдаты и поволокли за собою.

Мишка Горячкин улыбался сине-застывшими губами:

— Так вам и надоть, Комиссии, хозяевам-кровопийцам! Ага! Вот она, ваша справедливость! Ага!

Дерябин шел рядом с Половинкиным злой, даже торжествующий, и с упреком говорил ему:

— Так вам и надоть всем! И правильно, что с вас со всех шкуру спустят до смерти! За вашу слепоту! За благородные игрушечки мужицкого барина, поручика Смирновского!

— Ну, а с тебя-то не спустят разве ее?— поинтересовался Половинкин.— Ты-то неужто живым располагаешь остаться?

— А мне свою не жаль! Черт с ей! Лишь бы вас всех, дураков, и вот которые на площади находются, научили! Лишь бы подтвердились мои слова: хочешь справедливости — жизнешку эту поганую пускай в переделку! Под откос! На скотское кладбище! Еще жаль — Устинов нынче мертвый уже! Не видит, как есть, ничего! Жаль! А то бы поглядел, чего он сам-то сто́ит весь — со своей добротой, со своим бесконечным желанием делать добрую справедливость! Жаль — мертвый уже, и ничего ему не докажешь... Он, видишь ли, под конец нашей Комиссии вроде как схитрил, взял да и раньше всех нас погиб, а не с нами вместе!

Тут Дерябин с ходу натолкнулся на Кудеяра... Натолкнулся, обнял его бессильно, словно в каком-то ужасе и отчаянии, и, покуда солдаты мешкали, успел Кудеяру нашептать:

— Сделай, Кудеяр, хоть раз в жизни человеческое и необходимое! Ты — юродивый, тебя обратно в сходню пропустят, ты оттуда в сараюшку, там — лаз на Озерную улицу. А в моей избе, в подполе, там Веня Панкратов нонче, там — люди, скажи им — засаду сделать, уничтожить всех до единого, гадов, на барсуковской дороге, на обратном пути! Сделай, и тебе это добро от людей не забудется никогда! Сделай?! Не забудется!

Через минуту-другую Кудеяр, задыхаясь, бежал по Озерной улице.

Он падал и снова вскакивал, догонял и снова отставал от двух женщин — от Домны и Зинаиды. Домна и Зинаида на веревках тоже торопливо, тоже бегом, волокли по накатанной и скрипучей дороге гроб с телом Николая Устинова.

А солнце тем временем ушло, медленно удалилось с неподвижного, заледеневшего неба, и в сумеречности и затмении Белый Бор близко-близко подошел-приблизился к Лебяжке.

Неглубокие, едва зримые лесные тени падали на приозерный покатый бугор, на ту его сторону, в которой были когда-то вырыты раскольничьи землянки, куда по снежным тропкам бегали полувятские девки — Наталья, Елена, Анютка, Ксения, Лизавета, куда молчаливо и немо глядела Ксеньюшка, заступница лошадей и всего живого на земле.

Над избами там и здесь вздымались дымы, подвешивая к небу заснеженные кровли, слегка приподнимая их над землею.

Зима прислушивалась к себе, к своей природе.

Звезды очнулись. Сверкнули две крайние, обращенные к востоку, звезды из ковша Большой Медведицы.

1975

СОДЕРЖАНИЕ

Залыгин С. П.
З-24 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 3. Южно-Американский вариант; Комиссия: Романы.— М.: Худож. лит., 1990.— 647 с.
ISBN 5-280-01042-1 (Т. 3)
ISBN 5-280-00785-4

Том составили два романа писателя: «Южно-Американский вариант» (1973) и «Комиссия» (1975).

З $\frac{4702010201-028}{028(01)-90}$ Подписное

ББК 84Р7

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ**

**ТОМ
ТРЕТИЙ**

Редактор Т. ШЕХАНОВА
Художественный редактор Е. ЕНЕНКО
Технический редактор Е. ПОЛОНСКАЯ
Корректоры Л. ВОЛКОВА, О. КОВАЛЬ

ИБ № 5743

Сдано в набор 28.03.89. Подписано в печать 19.01.90. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,02. Усл. кр.-отт. 34,02. Уч.-изд. л. 36,84. Изд. № III — 3497. Тираж 100 000 экз. Заказ № 59. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

2 р. 00 к.